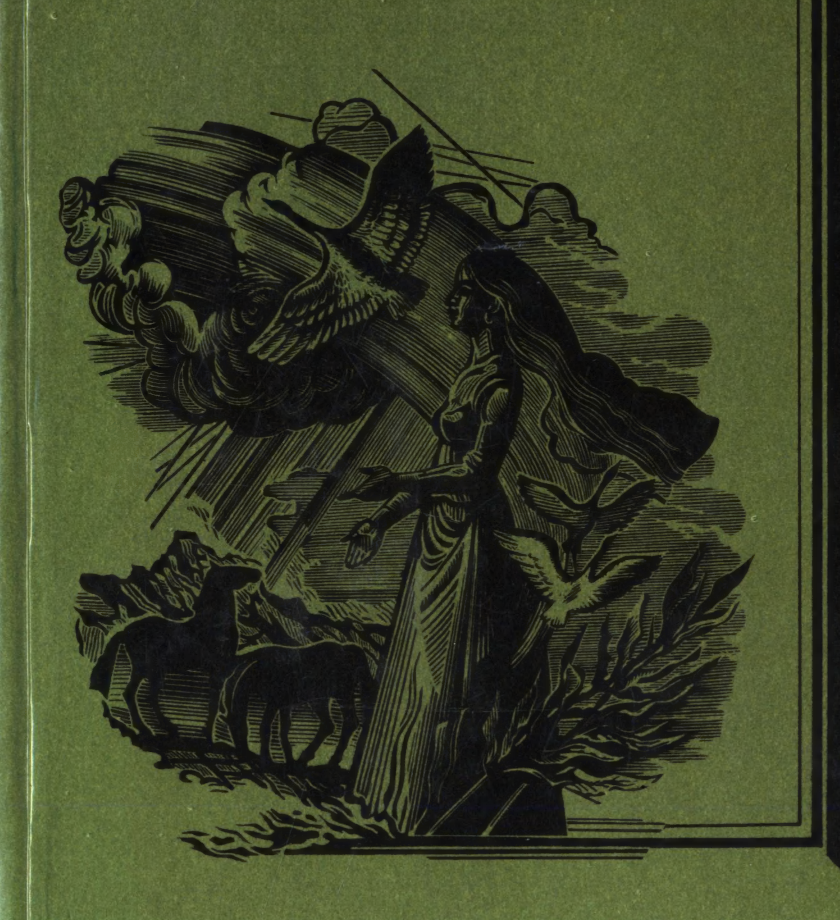
Чингиз Айтматов

ЭХО МИРА



x

107275

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ

ЭХО МИРА





Чингиз Айтматов



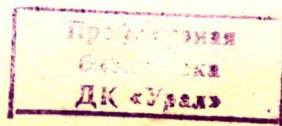
ЭХО МИРА



Повести
Рассказы
Публицистика



МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
1985



Составление
В. Ф. Коркина

Иллюстрации
В. В. Лукашова

А $\frac{4702280200-1063}{080(02)-85}$ 1063—85

Повести





ДЖАМИЛЯ



от опять стою я перед этой небольшой картиной в простенькой рамке. Завтра с утра мне надо ехать в аил, и я смотрю на картину долго и пристально, словно она может дать мне доброе напутствие.

Эту картину я еще никогда не выставлял на выставках. Больше того, когда приезжают ко мне из аила родственники, я стараюсь запрятать ее подальше. В ней нет ничего стыдного, но это далеко не образец искусства. Она проста, как проста земля, изображенная на ней.

В глубине картины — край осеннего, поблекшего неба. Ветер гонит над далекой горной грядой быстрые пегие тучки. На первом плане — красно-бурая полынная степь. И дорога, черная, еще не просохшая после недавних дождей. Теснятся у обочины сухие, обломанные кусты чия. Вдоль размытой колеи тянутся следы двух путников. Чем дальше, тем слабее проступают они на дороге, а сами путники, кажется, сделают еще шаг — и уйдут за рамку. Один из них... Впрочем, я забегаю немного вперед.

Это было в пору моей ранней юности. Шел третий год войны. На далеких фронтах, где-то под Курском и Орлом, бились наши отцы и братья, а мы, тогда еще подростки лет по пятнадцати, работали в колхозе. Тяжелый повседневный крестьянский труд лег на наши неокрепшие плечи. Особенно жарко приходилось нам в дни уборки. По целым неделям не бывали мы дома и дни и ночи пропадали в поле, на току или в пути на станцию, куда свозили зерно.

В один из таких знойных дней, когда серпы, казалось, раскалились от жатвы, я, возвращаясь на порожней бричке со станции, решил завернуть домой.

Возле самого брода, на пригорке, где кончается улица, стоят два двора, обнесенные добротным саман-

ным дувалом. Вокруг усадьбы возвышаются тополя. Это наши дома. С давних пор живут по соседству две наши семьи. Я сам из Большого дома. У меня два брата, оба они старше меня, оба холостые, оба ушли на фронт, и давно уже нет от них никаких вестей.

Отец мой, старый плотник, с рассветом совершал намаз и уходил на общий двор, в плотницкую. Возвращался он уже поздним вечером.

Дома оставались мать и сестренка.

В соседнем дворе, или, как называют его в аиле, в Малом доме, живут наши близкие родственники. Не то наши прадеды, не то наши прапрадеды были родными братьями, но я называю их близкими потому, что жили мы одной семьей. Так повелось у нас еще с времен кочевья, когда деды наши вместе разбивали стойбища, вместе гуртовали скот. Эту традицию сохранили и мы. Когда в аил пришла коллективизация, отцы наши построились по соседству. Да и не только мы, а вся Аральская улица, протянувшаяся вдоль аила в междуречье,— наши одноплеменники, все мы из одного рода.

Вскоре после коллективизации умер хозяин Малого дома. Жена его осталась с двумя малолетними сыновьями. По старому обычаю родового адата, которого тогда еще придерживались в аиле, нельзя отпускать на сторону вдову с сыновьями, и наши одноплеменники женили на ней моего отца. К этому его обязывал долг перед духами предков: ведь он доводился покойному самым близким родственником.

Так появилась у нас вторая семья. Малый дом считался самостоятельным хозяйством: со своей усадьбой, со своим скотом, но, по существу, мы жили вместе.

Малый дом тоже проводил в армию двух сыновей. Старший, Садык, ушел вскоре после того, как женился. От них мы получали письма, правда, с большими перерывами.

В Малом доме остались мать, которую я называл «кичи-апа» — младшей матерью, и ее невестка — жена Садыка. Обе они с утра до вечера работали в колхозе. Моя младшая мать, добрая, покладистая, безобидная женщина, в работе не отставала от молодых, будь то рытье арыков или полив,— словом, прочно держала в руках кетмень. Судьба словно в награду послала ей

работящую невестку. Джамиля была под стать матери — неутомимая, сноровистая, только вот характером немного иная.

Я горячо любил Джамилю. И она любила меня. Мы очень дружили, но не смели друг друга называть по имени. Будь мы из разных семей, я бы, конечно, звал ее Джамиля. Но я называл ее «джене», как жену старшего брата, а она меня — «кичине бала» — маленьким мальчиком, хотя я вовсе не был маленьким, и разница у нас в годах совсем невелика. Но так уже заведено в аиле: невестки называют младших братьев мужа «кичине бала» или «мой кайни».

Домашним хозяйством обоих дворов занималась моя мать. Помогала ей сестренка, смешная девочка с ниточками в косичках. Мне никогда не забыть, как усердно она работала в те трудные дни. Это она пасла за огородами ягнят и телят обоих дворов, это она собирала кизяк и хворост, чтобы всегда было в доме топливо. Это она, моя курносая сестренка, скрашивала одиночество матери, отвлекая ее от мрачных дум о сыновьях, пропавших без вести.

Согласием и достатком в доме наше большое семейство обязано моей матери. Она полновластная хозяйка обоих дворов, хранительница семейного очага. Совсем молоденькой вошла она в семью наших дедов-кочевников и потом свято чтила их память, управляя семьями по всей справедливости. В аиле с ней считались, как с самой почтенной, совестливой и умудренной опытом хозяйкой. Всем в доме ведала мать. Отца, по правде говоря, жители аила не признавали главой семьи. Не раз приходилось слышать, как люди по какому-либо поводу говорили: «Э-э, да ты лучше не иди к устаке,— так почтительно у нас называют мастеровых людей,— он только и знает, что свой топор. У них старшая мать всему голова — вот к ней и иди, так оно вернее будет...»

Надо сказать, что я, несмотря на свою молодость, частенько вмешивался в хозяйственные дела. Это было возможно только потому, что старшие братья ушли воевать. И меня чаще в шутку, а порой и серьезно называли джигитом двух семей, защитником и кормильцем. Я гордился этим, и чувство ответственности не покидало меня. К тому же мать поощряла мою самостоятельность. Ей хотелось, чтобы я был хозяйствен-

ным и смекалистым, а не таким, как отец, который день-деньской молча строгает и пилит.

Так вот, я остановил бричку возле дома, в тени под вербой, ослабил постромки и, направляясь к воротам, увидел во дворе нашего бригадира Орозмата. Он сидел на лошади, как всегда, с подвязанным к седлу костылем. Рядом с ним стояла мать. Они о чем-то спорили. Подойдя ближе, я услышал голос матери.

— Не быть этому! Побойся бога, где это видано, чтобы женщина возила мешки на бричке? Нет, милый, оставь мою невестку в покое, пусть она работает, как работала. И так света белого не вижу, ну-ка, попробуй управься в двух дворах! Ладно еще дочка подросла... Уж неделю разогнуться не могу, поясницу ломит, словно кошму валяла, а кукуруза вон томится — воды ждет! — запальчиво говорила она, то и дело засовывая конец тюрбана за ворот платья. Она делала это обычно, когда сердилась.

— Ну что вы за человек! — проговорил в отчаянии Орозмат, покачнувшись в седле.— Да если бы у меня нога была, а не вот этот обрубок, разве стал бы я вас просить? Да лучше бы я сам, как бывало, накидал мешки в бричку и погнал лошадей!.. Не женская это работа, знаю, да где их взять, мужчин-то?.. Вот и решили солдаток упросить. Вы своей невестке запрещаете, а нас начальство последними словами кроет... Солдатам хлеб нужен, а мы план срываем. Как же так, куда это годится?

Я подходил к ним, волоча по земле кнут, и, когда бригадир заметил меня, он необычайно обрадовался,— видно, его осенила какая-то мысль.

— Ну, если вы так уж боитесь за свою невестку, то вот ее кайни,— с радостью указал он на меня,— никому не позволит близко к ней подойти. Уж можете не сомневаться! Сеит у нас молодец. Эти вот ребятки — кормильцы наши, только они выручают.

Мать не дала бригадиру договорить.

— Ой, да на кого же ты похож, бродяга ты мой?! — запричитала она.— А голова-то, зарос весь... Отец-то наш тоже хорош, побрить голову сыну никак не найдет времени...

— Ну вот и ладно, пусть сынок побалуется сегодня у стариков,— ловко подхватил Орозмат в тон матери.— Сеит, оставайся сегодня дома, лошадей подкор-

ми, а завтра с утра дадим Джамиле бричку: будете вместе работать. Смотри у меня, отвечать будешь за нее! Да вы не тревожьтесь, байбиче. Сеит не даст ее в обиду. И если уж на то пошло, отправлю с ними Данияра. Вы же его знаете: безобидный такой малый... ну, тот, что недавно с фронта вернулся. Вот и будут втроем на станцию зерно возить. Кто же посмеет тогда тронуть вашу невестку? Верно ведь, Сеит? Ты как думаешь,— вот хотим Джамилю возницей поставить, да мать не соглашается, уговори ты ее.

Мне польстила похвала бригадира и то, что он советуется со мной, как со взрослым человеком. К тому же я сразу представил себе, как будет хорошо вместе с Джамилей ездить на станцию. И, сделав серьезное лицо, я сказал матери:

— Ничего ей не сделается, что ее, волки съедят, что ли?

И, как завзятый ездовой, деловито сплюнув сквозь зубы, я поволок за собой кнут, степенно покачивая плечами.

— Ишь ты! — изумилась мать и вроде бы обрадовалась, но тут же сердито прикрикнула: — Я вот тебе покажу волков! Тебе-то откуда знать, умник какой нашелся!

— А кому же знать, как не ему, он у вас джигит двух семейств, гордиться можете! — вступился за меня Орозмат, опасливо поглядывая на мать: как бы она опять не заупрямилась.

Но мать не возразила ему, только как-то сразу поникла и проговорила, тяжело вздохнув:

— Какой уж там джигит, дитя еще, да и то день и ночь пропадает на работе... Джигиты-то наши ненаглядные бог знает где! Опустели наши дворы, точно брошенное стойбище...

Я уже отошел далеко и не расслышал, что еще говорила мать. На ходу хлестнул кнутом угол дома так, что пыль пошла, и, не ответив даже на улыбку сестренки, которая, прихлопывая ладошками, лепила во дворе кизяки, важно прошел под навес. Тут я присел на корточки и не спеша вымыл руки, поливая себе из кувшина. Войдя затем в комнату, я выпил чашку кислого молока, а вторую отнес на подоконник и принялся крошить в нее хлеб.

Мать и Орозмат все еще были во дворе. Только они уже не спорили, а вели спокойный, негромкий разговор. Должно быть, они говорили о моих братьях. Мать то и дело вытирала припухшие глаза рукавом платья и, задумчиво кивая головой в ответ на слова Орозмата, который, видно, утешал ее, смотрела затуманенным взором куда-то далеко-далеко, поверх деревьев, будто надеялась увидеть там своих сыновей.

Поддавшись печали, мать, кажется, согласилась на предложение бригадира. А он, довольный, что добился своего, стегнул лошадь камчой и выехал со двора быстрой иноходью.

Ни мать, ни я не подозревали тогда, конечно, чем все это кончится.

Я нисколько не сомневался, что Джамиля управится с пароконной бричкой. Лошадей она знала, ведь Джамиля — дочь табунщика из горного аила Бакаир. Наш Садык тоже был табунщиком. Однажды весной на скачках он будто не сумел догнать Джамилю. Кто его знает, правда ли, но говорили, что после этого оскорбленный Садык похитил ее. Другие, впрочем, утверждали, что женились они по любви. Но как бы там ни было, а прожили они вместе всего четыре месяца. Потом началась война, и Садыка призвали в армию.

Не знаю, чем объяснить, может, оттого, что Джамиля с детства гоняла с отцом табуны — она у него была одна, и за дочь и за сына,— но в характере у нее проявлялись какие-то мужские черты, что-то резкое, а порой даже грубоватое. И работала Джамиля напористо, с мужской хваткой. С соседками ладить умела, но, если ее понапрасну задевали, никому не уступала в ругани, и бывали случаи, что и за волосы кое-кого таскала.

Соседи не раз приходили жаловаться:

— Что это у вас за невестка такая? Без году неделя как переступила порог, а языком так и молотит! Ни тебе уважения, ни тебе стыдливости!

— Вот и хорошо, что она такая! — отвечала на это мать.— Невестка у нас любит правду в глаза говорить. Это лучше, чем скрытничать да исподтишка жалить. Ваши тихонями прикидываются, а такие вот тихони — что протухшие яйца; снаружи чисто да гладко, а внутри — нос заткни.

Отец и младшая мать никогда не обходились с Джамилей с той строгостью и придирчивостью, как это положено свекру и свекрови. Относились они к ней по-доброму, любили ее и желали только одного: чтобы она была верна богу и мужу.

Я понимал их. Проводив в армию четырех сыновей, они находили утешение в Джамиле, единственной невестке двух дворов, и потому так дорожили ею. Но я не понимал своей матери. Не такой она человек, чтобы просто любить кого-нибудь. У моей матери властный и суровый характер. Она жила по своим правилам и никогда не изменяла им. Каждый год с приходом весны она ставила во дворе и окуривала можжевельником нашу кочевую юрту, которую отец сладил еще в молодости. Она и нас воспитала в строгом трудолюбии и почтении к старшим. Она требовала от всех членов семьи беспрекословного подчинения.

А вот Джамиля с первых же дней, как пришла к нам, оказалась не такой, какой положено быть невестке. Правда, она уважала старших, слушалась их, но никогда не склоняла перед ними голову, зато и не язвила шепотком, отвернувшись в сторону, как другие молодухи. Она всегда прямо говорила то, что думала, и не боялась высказывать свои суждения. Мать часто поддерживала ее, соглашалась с ней, но всегда решающее слово оставляла за собой.

Мне кажется, что мать видела в Джамиле, в ее прямодушии и справедливости, равного себе человека и втайне мечтала когда-нибудь поставить ее на свое место, сделать ее такой же властной хозяйкой, такой же байбиче, хранительницей семейного очага.

— Благодари аллаха, дочь моя,— поучала мать Джамилю,— ты пришла в крепкий и благословенный дом. Это твое счастье. Женское счастье — детей рожать да чтобы в доме достаток был. А у тебя, слава богу, останется все, что нажили мы, старики, в могилу ведь с собой не возьмем. Только счастье — оно живет у того, кто честь и совесть свою бережет. Помни об этом, соблюдай себя!..

Но кое-что в Джамиле все-таки смущало свекровей: уж слишком откровенно была она весела, точно дитя малое. Порой, казалось бы, совсем беспричинно начинала смеяться, да еще так громко, радостно. А когда возвращалась с работы, то не входила, а вбе-

гала во двор, перепрыгивала через арык. И ни с того ни с сего принималась целовать и обнимать то одну свекровь, то другую.

А еще любила Джамиля петь, она постоянно напевала что-нибудь, не стесняясь старших. Все это, конечно, не вязалось с устоявшимися в аиле представлениями о поведении невестки в семье, но обе свекрови успокаивали себя тем, что со временем Джамиля остепенится: ведь в молодости все, мол, они такие. А для меня лучше Джамили никого не было на свете. Нам было вместе очень весело, мы могли хохотать без всякой причины и гоняться друг за другом по двору.

Джамиля была хороша собой. Стройная, статная, с прямыми жесткими волосами, заплетенными в две тугие, тяжелые косы, она ловко повязывала свою белую косынку, чуть наискосок спуская ее на лоб, и это очень шло ей и красиво оттеняло смуглую кожу гладкого лица. Когда Джамиля смеялась, ее иссиня-черные миндалевидные глаза вспыхивали молодым задором, а когда она вдруг начинала петь соленые аильные песенки, в ее красивых глазах появлялся недевичий блеск.

Я часто замечал, что джигиты, в особенности фронтовики, вернувшись домой, заглядывались на нее. Джамиля и сама любила пошутить, но, правда, давала по рукам тем, кто забывался. И все-таки это всегда задевало меня. Я ревновал ее, как ревнуют младшие братья своих сестер, и если замечал возле Джамили молодых людей, то старался хоть чем-нибудь помешать им. Я пыжился и смотрел на них с такой злостью, как бы говорил своим видом: «Вы не больно тут гогочите. Она жена моего брата, и не думайте, что некому вступиться за нее».

В такие минуты я с нарочитой развязностью, к месту и не к месту, встревал в разговор, пытался высмеять ее ухажеров, а когда из этого ничего не получалось, терял самообладание и, набычившись, сопел.

Парни прыскали со смеху:

— Ой, ты только погляди на него! Да никак она его джене! Вот потеха-то, а мы и не знали!

Я крепился, но чувствовал, как предательски загорались у меня уши и от обиды слезы навертывались на глаза. А Джамиля, моя джене, понимала меня. Ед-

ва сдерживая рвущийся наружу смех, она делала серьезное лицо.

— А вы думали, что джене на дороге валяются? — приосанившись, говорила она джигитам.— Может, у вас и валяются, а у нас нет! Пошли отсюда, кайни мой, ну вас! — И, красуясь перед ними, Джамиля гордо вскидывала голову, вызывающе поводила плечами и, уходя вместе со мной, молча улыбалась.

И досаду и радость видел я в этой улыбке. Может быть, она думала тогда: «Эх ты, глупенький! Если только захочу дать себе волю, кто меня удержит? Всей семьей следите — не уследите!» Я в таких случаях виновато молчал. Да, я ревновал Джамилю, боготворил ее, гордился тем, что она моя джене, гордился ее красотой и независимым, вольным характером. Мы с ней были самыми задушевными друзьями и ничего не таили друг от друга.

В те дни в аиле было мало мужчин. Пользуясь этим, некоторые парни вели себя с женщинами нагло и относились к ним пренебрежительно: чего, мол, с ними канителиться, только помани пальцем — любая побежит!

Однажды на сенокосе к Джамиле стал приставать Осмон, наш дальний родственник. Он тоже был из тех, которые считали, что перед ними ни одна не устоит. Джамиля неприязненно оттолкнула его руку и встала из-под стога, где она отдыхала в тени.

— Отстань! — проговорила она с болью и отвернулась.— Хотя чего от вас еще ждать, жеребцы вы табунные!

Осмон, развалившись под стогом, презрительно скривил мокрые губы.

— Для кошки то мясо вонючее, что высоко на шесте висит... Чего ломаешься, небось самой до смерти хочется, а тоже — нос воротишь.

Джамиля резко обернулась.

— Может, и хочется! Да только судьба нам выпала такая, а ты, дурак, смеешься. Сто лет буду солдаткой, а на таких, как ты, и плевать не захочу: противно. Посмотрела бы я, если бы не война, кто бы стал с тобой разговаривать!

— Вот я и говорю! Война — ты и бесишься без мужниной камчи! — Осмон ухмыльнулся.— Эх, была бы ты моей бабой, тогда бы ты не то запела.

Джамиля кинулась было к нему, хотела что-то сказать, но промолчала: поняла, что не стоит связываться. Она смотрела на него долгим ненавидящим взглядом. Потом, брезгливо сплюнув, подняла с земли вилы и зашагала прочь.

Я стоял на можаре за скирдой. Увидев меня, Джамиля круто повернула в сторону. Она поняла, в каком я был состоянии. У меня было такое ощущение, что не ее, а меня оскорбили, что именно меня опозорили. С душевной болью я упрекал ее:

— Зачем ты связываешься с такими, зачем ты с ними разговариваешь?

До самого вечера Джамиля ходила, мрачно насупившись, ни словом не обмолвилась со мной и не смеялась, как прежде. Когда я подгонял к ней можару, Джамиля, чтобы не дать мне заговорить о той страшной обиде, которую она таила в себе, с размаху втыкала вилы в копну и, разом приподняв ее всю, несла перед собой, пряча за ней лицо. Она скидывала сено рывком и тут же бросалась к другой копне. Можара быстро наполнялась. Удаляясь, я оборачивался и видел, как она понуро стояла минутку-другую, опираясь на черенок вил, и о чем-то думала, а потом, спохватившись, снова бралась за работу.

Когда мы загрузили последнюю можару, Джамиля, словно позабыв обо всем на свете, долго смотрела на закат. Там, за рекой, где-то на краю казахской степи, отверстием горящего тандыра[1] пламенело разомлевшее вечернее солнце косовицы. Оно медленно уплывало за горизонт, обагряя заревом рыхлые облачка на небе и бросая последние отсветы на лиловую степь, уже подернутую в низинах просинью ранних сумерек. Джамиля смотрела на закат с таким тихим восторгом, словно ей явилось сказочное видение. Лицо ее светилось нежностью, по-детски мягко улыбались ее полураскрытые губы. И тут Джамиля, точно отвечая на мои невысказанные упреки, которые все еще просились у меня с языка, повернулась и заговорила таким тоном, будто мы продолжали разговор:

— А ты не думай о нем, кичине бала, ну его! Разве это человек?...— Джамиля умолкла, провожая взглядом угасающий край солнца, и, вздохнув, задум-

---

[1] Тандыр — устроенная в земле возле дома печь с круглым отверстием, в которой пекут лепешки.

чиво продолжала: — Откуда им знать, таким, как Осмон, что у человека на душе? Никто этого не знает. Может, и нет таких мужчин на свете...

Пока я разворачивал лошадей, Джамиля уже успела подбежать к женщинам, что работали в стороне от нас, и до меня донеслись их громкие веселые голоса. Трудно сказать, что с ней произошло,— может, просветлело у нее на душе, когда она глядела на закат, может, просто развеселилась оттого, что хорошо поработала. Я сидел на можаре, на высокой копне сена, и смотрел на Джамилю. Она сорвала с головы свою белую косыночку и побежала за подружкой по затененному скошенному лугу, широко раскинув руки. На ветру трепетал подол ее платья. И от меня тоже вдруг отлетела грусть: «Стоит ли думать о болтовне Осмона!»

— Но-о, пошли! — заспешил я, подхлестывая лошадей.

В тот день, как мне и наказывал бригадир, я решил дождаться отца, чтобы побрить голову, а тем временем принялся писать ответ на письмо Садыка. И тут у нас были свои правила: братья писали письма на имя отца, аильский почтальон вручал их матери, читать письма и отвечать на них было моей обязанностью. Еще не начав читать, я наперед знал, что писал Садык. Все его письма походили одно на другое, как ягнята в отаре. Садык постоянно начинал со слов «послание о здравии» и затем неизменно сообщал: «Посылая это письмо по почте моим родным, живущим в благоухающем, цветущем Таласе, премного любимому, дорогому отцу Джолчубаю...» Далее шла моя мать, затем его мать, а потом уже все мы в строгой очередности. После этого следовали непременные вопросы о здоровье и благополучии аксакалов рода, близких родственников, и только в самом конце, вроде бы второпях, Садык приписывал: «А также шлю привет моей жене Джамиле...»

Конечно, когда живы отец с матерью, когда здравствуют в аиле аксакалы и близкие родственники, называть жену первой, а тем более писать письма на ее имя просто неудобно, даже неприлично. Так считает не только Садык, но и каждый уважающий себя мужчина. Да тут и толковать нечего, так уж было заведено в аиле, и это не только не подлежало обсужде-

нию, но мы просто над этим не задумывались, да и не до того было. Ведь каждое письмо — желанное, радостное событие.

Мать заставляла меня по нескольку раз перечитывать письмо, потом с набожным умилением брала его в свои потрескавшиеся руки и держала листок так неловко, словно птицу, которая вот-вот выпорхнет. С трудом шевеля негнущимися пальцами, она складывала наконец письмо в треугольник.

— А-а, дорогие мои, как талисман мы будем хранить ваши письма! — приговаривала она дрожащим от слез голосом.— Вот ведь справляется, как там отец, мать, родичи... Да куда мы денемся, мы-то ведь у себя в аиле. А каково-то вам? Хоть одно словечко черкните, жив, мол, я, и все — нам большего не надо...

Мать еще долго смотрела на треугольник, потом прятала его в кожаный мешочек, где хранились все письма, и запирала в сундук.

Если в это время Джамиля оказывалась дома, то и ей давали прочитать письмо. Каждый раз, когда Джамиля брала в руки треугольник, я замечал, как она вспыхивала. Она читала про себя, жадно, торопливо перебегая глазами по строчкам. Но чем ближе подходила к концу, тем ниже опускались ее плечи, и огонь на щеках медленно угасал. Она хмурила свои упрямые брови и, не дочитав последних строк, возвращала письмо матери с таким холодным равнодушием, словно отдавала то, что брала в долг.

Мать, видно, по-своему понимала настроение невестки и старалась подбодрить ее.

— Ты что это? — говорила она, запирая сундук.— Вместо того чтобы радоваться, поникла вся! Или только у тебя у одной муж в солдатах? Не ты одна в беде — горе народное, с народом и терпи. Думаешь, есть такие, что не скучают, что не тоскуют по мужьям по своим... Тоскуй, но виду не показывай, в себе таи!

Джамиля молчала. Но ее упрямый, тоскливый взгляд, кажется, говорил: «Ничего-то вы не понимаете, матушка!»

Письмо Садыка и на этот раз пришло из Саратова. Он лежал там в госпитале. Садык писал, что, бог даст, осенью вернется домой по ранению. Об этом он сообщал и раньше, и мы все радовались скорой встрече с ним.

Я все-таки не остался в тот день дома, а поехал на ток. Там я ночевал обычно. Лошадей отвел на люцерник и спутал их. Председатель не разрешал пасти скот на люцерне, но, чтобы лошади у меня были справными, я нарушал запрет. Я знал одно укромное местечко в низине, к тому же ночью никто ничего не мог заметить, но в этот раз, когда выпряг лошадей и повел их, оказалось, что кто-то уже пустил на люцерник четырех лошадей. Это меня возмутило. Ведь я был хозяином пароконной брички, что давало мне право возмущаться. Не раздумывая, я решил отогнать чужих лошадей куда-нибудь подальше, чтобы проучить наглеца, вторгшегося в мои владения. Но вдруг я узнал двух коней Данияра, того самого, о котором говорил днем бригадир. Вспомнив, что с завтрашнего дня мы будем вместе с Данияром возить зерно на станцию, я оставил его лошадей в покое и вернулся на ток.

Данияр, оказывается, был здесь. Он только что кончил смазывать колеса своей брички и сейчас подкручивал гайки на осях.

— Данике, это твои лошади в низине? — спросил я.

Данияр медленно повернул голову:

— Две мои.

— А другая пара?

— Это, как ее, Джамили, что ли, это ее лошади. Она тебе кем доводится, джене твоя?

— Да, джене.

— Бригадир сам их тут оставил, приказал присмотреть...

Как хорошо, что я не отогнал лошадей!

Наступила ночь, улегся вечерний ветерок, дувший с гор. На току тоже утихло. Данияр расположился возле меня, под скирдой соломы, но спустя немного времени поднялся и пошел к реке. Он остановился неподалеку, над обрывом, да так и остался стоять, заложив руки за спину и чуть склонив на плечо голову. Он стоял спиной ко мне. Его длинная, угловатая фигура, словно вытесанная топором, резко выделялась в мягком лунном свете. Казалось, он чутко прислушивался к шуму реки, все отчетливее нарастающему ночью на перекатах. А может, он прислушивался еще к каким-то неуловимым для меня звукам и шорохам ночи. «Опять он задумал ночевать у реки, вот чудак!» — усмехнулся я.

Данияр недавно появился в нашем аиле. Как-то на сенокос прибежал мальчишка и говорит, что в аил пришел раненый солдат, а кто и чей, он не знает. Ох, что тут было! Ведь в аиле-то как: вернется кто-нибудь из фронтовиков, так все до единa, и старые и малые, гуртом бегут поглядеть на прибывшего, за ручку поздороваться, расспросить, не видал ли близких, послушать новости. Тут крик поднялся невообразимый, каждый гадал: может, наш брат вернулся, а может, сват? Ну и помчались косари узнать, в чем дело.

Оказывается, Данияр был коренным нашим земляком, уроженцем аила. Рассказывали, что в детстве он остался сиротой, года три мыкался по дворам, а потом подался к казахам в Чакмакскую степь — родственники по материнской линии у него казахи. Близких родных не было, чтобы вернуть мальчонку назад, так и позабыли о нем. Когда его спрашивали, как жилось ему после ухода из дому, Данияр отвечал уклончиво. И все-таки можно было понять, что с лихвой хлебнул горюшка, вдоволь познал сиротскую долю. Жизнь гоняла Данияра, как перекати-поле, по разным краям. Он долгое время пас овец на Чакмакских солончаках, а когда подрос, рыл каналы в пустынях, работал в новых хлопкосовхозах, потом на Ангренских шахтах, под Ташкентом, а оттуда ушел в армию.

Возвращение Данияра в родной аил народ встретил с одобрением. «Сколько ни мотало его по чужим краям, а вернулся — значит суждено пить воду из родного арыка. И ведь не забыл своего языка, на казахский чуть сбивается, а так говорит чисто!»

«Тулпар [1] за тридевять земель отыщет свой косяк. Кому не дорога своя родина, свой народ! Молодец, что вернулся. И мы довольны, и духи твоих предков. Вот, бог даст, добьем германа, заживем мирно, и ты, как и другие, обзаведешься семьей, и у тебя взовьется свой дымок над очагом!» — говорили старые аксакалы.

Припомнив предков Данияра, они точно установили, из какого он рода. Так появился в нашем аиле «новый родич» — Данияр.

И вот бригадир Орозмат привел к нам на сенокос высокого сутуловатого солдата, прихрамывающего на левую ногу. Перекинув шинель через плечо, он порывисто шагал, стараясь не отставать от семенящей ино-

---

[1] Тулпар — сказочный скакун.

ходью приземистой кобыленки Орозмата. А сам бригадир рядом с длинным Данияром своим небольшим росточком и подвижностью чем-то напоминал беспокойного речного кулика. Ребята даже рассмеялись.

Раненая нога Данияра, тогда еще не совсем зажившая, не сгибалась в коленке, потому в косари он не годился, и его назначили к нам, ребятам, на сенокосилки. Скажу по чести, не очень-то он нам понравился. Прежде всего не пришлась по душе его замкнутость. Говорил Данияр мало, а если и говорил, то чувствовалось, что думает он в это время о чем-то другом, постороннем, что у него какие-то свои мысли, и не поймешь, видит он тебя или не видит, хотя и глядит прямо тебе в лицо своими задумчиво-мечтательными глазами.

— Бедный парень, видать, все еще не может опомниться после фронта! — говорили про него.

Но что интересно — при такой вот постоянной задумчивости Данияр работал быстро, точно, и со стороны можно было подумать, что он общительный и открытый человек. Может быть, трудное сиротское детство приучило его скрывать свои чувства и мысли, выработало в нем такую сдержанность? Возможно, и так.

Тонкие губы Данияра с твердыми морщинками по углам всегда были плотно сомкнуты, глаза смотрели печально, спокойно, и только гибкие, подвижные брови оживляли его худощавое, всегда усталое лицо. Иногда он настораживался, словно услышал что-то недоступное другим, и тогда взлетали у него брови и глаза загорались непонятным восторгом. А потом он долго улыбался и радовался чему-то. Нам все это казалось странным. Да и не только это, у него были и другие странности. Вечером мы выпрягали лошадей, собирались у шалаша и ждали, когда кухарка сварит еду, а Данияр взбирался на караульную сопку[1] и просиживал там дотемна.

— Что он там делает, на дозор поставлен, что ли? — смеялись мы.

Однажды и я ради любопытства полез за Данияром на сопку. Казалось бы, ничего особенного здесь не было. Широко простиралась окрест предгорная степь,

---

[1] Караульная сопка — возвышенность, откуда обозревается вся окрестность. Это название осталось у киргизов со времен кочевых набегов.

погруженная в сиреневые сумерки. Темные, смутные поля, казалось, медленно растворялись в тишине.

Данияр даже не обратил внимания на мой приход; он сидел, обхватив колено, и смотрел куда-то перед собой задумчивым, но светлым взглядом. И опять мне показалось, что он напряженно вслушивается в какие-то не доходящие до моего слуха звуки. Порой он настораживался и замирал с широко раскрытыми глазами. Его что-то томило, и мне думалось, что вот сейчас он встанет и распахнет свою душу, только не передо мной — меня он не замечал,— а перед чем-то огромным, необъятным, неведомым мне. А потом я глянул и не узнал его, понуро и вяло сидел Данияр, будто просто отдыхал после работы.

Сенокосы нашего колхоза разбросаны по угодьям в пойме реки Куркуреу. Недалеко от нас Куркуреу вырывается из ущелья и несется по долине необузданным, бешеным потоком. Пора косовицы — это пора половодья горных рек. С вечера начинала прибывать вода, замутненная, пенистая. В полночь я просыпался в шалаше от могучего содрогания реки. Синяя, отстоявшаяся ночь заглядывала звездами в шалаш, порывами налетал холодный ветер, спала земля, и только ревущая река, казалось, угрожающе надвигалась на нас. Хотя мы находились и не у самого берега, ночью вода была так близко ощутима, что невольно нападал страх: а вдруг снесет, вдруг смоет шалаш? Товарищи мои спали непробудным сном косарей, а я не мог уснуть и выходил наружу.

Красива и страшна ночь в поймище Куркуреу. Там и здесь темнеют на лугу стреноженные лошади. Они напаслись вдоволь на росистой траве и сейчас, изредка пофыркивая, чутко дремлют. А рядом, сгибая исхлестанный мокрый тальник, набегая на берег, глухо перекатывает камни Куркуреу. Неистовым, грозным шумом наполняет ночь неумолчная река. Жуть берет. Страшно.

В такие ночи я всегда вспоминал о Данияре. Он обычно ночевал в копнах у самого берега. Неужели ему не страшно? Как только он не глохнет от шума реки? Спит он или нет? Почему он ночует один у реки? Что он находит в этом? Странный человек, не от мира сего. Где же он сейчас? Смотрю по сторонам — никого не видать. Пологими холмами уходят вдаль бе-

рега, в темноте проступают гребни гор. Там, в верховьях, тихо и звездно.

Казалось бы, пора было уже Данияру завести в аиле друзей. Но он по-прежнему оставался одиноким, словно ему было чуждо понятие дружбы или вражды, симпатий или зависти. А ведь в аиле тот джигит на виду, который может постоять за себя и за других, кто способен сделать добро, а порой и зло причинить, кто, не уступая аксакалам, распоряжается на пиршествах и поминках,— такие и у женщин на примете.

А если человек, подобно Данияру, держится в стороне, не вмешиваясь в повседневные дела аила, то одни его просто не замечают, а другие снисходительно говорят: «Никому от него ни вреда, ни пользы. Живет, бедняга, перебивается кое-как, ну и ладно...»

Такой человек, как правило, является предметом насмешек или жалости. А мы, подростки, которым всегда хочется казаться старше своего возраста, чтобы быть на равной ноге с истинными джигитами, конечно, не прямо в лицо, а между собой постоянно смеялись над Данияром. Мы смеялись даже над тем, что он сам стирал свою гимнастерку в реке. Выстирает — и еще не просохшую наденет: она у него была одна.

Но странное дело, казалось бы, тихий и безобидный был Данияр, а мы так и не решались обходиться с ним запанибрата. И не потому, что он был старше нас,— подумаешь, три или четыре года разницы, с такими мы не церемонились и называли их на «ты»,— и не потому, что он был суров или важничал, что подчас внушает подобие уважения, нет, что-то недоступное таилось в его молчаливой угрюмой задумчивости, и это сдерживало нас, готовых поднять на смех кого угодно.

Возможно, поводом для нашей сдержанности послужил один случай. Я был очень любопытным малым и нередко надоедал людям своими вопросами, а расспрашивать фронтовиков о войне было моей настоящей страстью. Когда Данияр появился у нас на сенокосе, я все искал подходящий случай выведать что-нибудь у нового фронтовика.

Вот сидели мы как-то вечером после работы у костра, поели и спокойно отдыхали.

— Данике, расскажи что-нибудь о войне, пока спать не легли,— попросил я.

Данияр сперва промолчал и вроде бы даже обиделся. Он долго смотрел на огонь, потом поднял голову и глянул на нас.

— О войне, говоришь? — спросил он и, будто отвечая на свои собственные раздумья, глухо добавил:— Нет, лучше вам не знать о войне!

Потом он повернулся, взял охапку сухого бурьяна и, подбросив ее в костер, принялся раздувать огонь, не глядя ни на кого из нас.

Больше Данияр ничего не сказал. Но даже из этой короткой фразы, которую он произнес, стало понятно, что нельзя вот так, просто, говорить о войне, что из этого не получится сказка на сон грядущий. Война кровью запеклась в глубине человеческого сердца, и рассказывать о ней нелегко. Мне было стыдно перед самим собой. И я никогда уже не спрашивал у Данияра о войне.

Однако тот вечер быстро забылся, так же как и пропал в аиле интерес к самому Данияру.

На другой день рано утром мы с Данияром привели лошадей на ток, а к тому времени Джамиля пришла. Еще издали, увидев нас, она крикнула:

— Ой, кичине бала, а ну, веди моих коней сюда! А где мои хомуты? — И, будто всю жизнь была ездовым, принялась с деловым видом осматривать брички, пробуя ногой, хорошо ли подогнаны колесные втулки.

Когда мы с Данияром подъехали, вид наш показался ей потешным. Длинные худые ноги Данияра болтались в готовых вот-вот соскочить кирзовых сапогах с широченными голенищами. А я понукал лошадь босыми, задубелыми до черноты пятками.

— Ну и пара! — Джамиля весело вскинула голову. И не мешкая начала командовать нами: — Поживей давайте, чтоб до жары степь проехать!

Она схватила коней под уздцы, уверенно подвела их к бричке и принялась запрягать. И ведь сама запрягла, только один раз попросила меня показать, как налаживать вожжи. Данияра она не замечала, будто его и вовсе не было рядом.

Решительность и даже вызывающая самоуверенность Джамили, видно, поразили Данияра. Недружелюбно, но в то же время со скрытым восхищением он смотрел на нее, отчужденно сомкнув губы. Когда он

молча поднял с весов мешок с зерном и поднес его к бричке, Джамиля накинулась на него.

— Это что же, каждый так и будет сам по себе тужиться? Нет, друг, так не пойдет, а ну, давай сюда руку! Эй, кичине бала, что ты смотришь, лезь на бричку, укладывай мешки!

Джамиля сама схватила руку Данияра, и когда они вместе — на сомкнутых руках — подхватили мешок, он, бедняга, покраснел от смущения. И потом каждый раз, когда они подносили мешки, крепко сжимая друг другу руки, а головы их почти соприкасались, я видел, как мучительно неловко Данияру, как напряженно он кусает губы, как старается не глядеть в лицо Джамиле. А Джамиля хоть бы что, она, казалось, и не замечала своего напарника, перекидываясь шутками с весовщицей. Потом, когда брички были нагружены и мы взяли вожжи в руки, Джамиля, лукаво подмигнув, сказала сквозь смех:

— Эй ты, как тебя, Данияр, что ли? Ты же мужчина с виду, давай первым открывай путь!

Данияр опять молча рванул бричку с места. «Ох ты, горемыка, какой же ты ко всему еще и стыдливый!» — подумал я.

Путь нам предстоял дальний: километров двадцать по степи, потом через ущелье, к станции. Одно было хорошо: как выедешь и до самого места дорога все время идет под гору, лошадям не в тягость.

Наш аил Куркуреу раскинулся по берегу реки на склоне Великих гор. Пока не въедешь в ущелье, аил с его темнеющими купами деревьев всегда на виду.

За день мы успевали сделать только один рейс. Мы выезжали утром, а приезжали на станцию после полудня.

Солнце немилосердно палило, а на станции толчея, не пробьешься: брички, можары с мешками, съехавшиеся со всей долины, навьюченные ишаки и волы из дальних горных колхозов. Пригнали их мальчишки и солдатки, черные, в выгоревших одеждах, с разбитыми о камни босыми ногами и в кровь потрескавшимися от жары и пыли губами.

На воротах «Заготзерна» висело полотнище: «Каждый колос хлеба — фронту!» Во дворе — сутолока, толкотня, крики погонщиков. Рядом, за низеньким дувалом, маневрирует паровоз и, выбрасывая тугие клубы

горячего пара, пышет угарным шлаком. Мимо с оглушительным ревом проносятся поезда. Раздирая слюнявые пасти, злобно и отчаянно орут верблюды, не желая подниматься с земли.

На приемном пункте под железной накаленной крышей горы зерна. Мешки надо нести по дощатому трапу наверх, под самую крышу. Густая хлебная духота, пыль спирает дыхание.

— Эй ты, парень, смотри у меня! — орет внизу приемщик с красными от бессонницы глазами.— Наверх тащи, на самый верх! — Он грозит кулаком и разражается бранью.

Ну чего он ругается? Ведь мы и так знаем, куда тащить, и дотащим. Ведь несем мы этот хлеб на своих плечах с самого поля, где по зернышку выращивали и собирали его женщины, старики и дети, где и сейчас, в горячую страдную пору, комбайнер бьется у истерзанного, давно отслужившего свой век комбайна, где спины женщин вечно согнуты над раскаленными серпами, где маленькие ребячьи руки бережно собирают каждый оброненный колос.

Я и сейчас еще помню, как тяжелы были мешки, которые я носил на плечах. Такая работа под стать самым крепким мужчинам. Я шел наверх, балансируя по скрипучим, прогибающимся доскам трапа, намертво закусив зубами край мешка, чтобы только удержать его, не выпустить. В горле першило от пыли, на ребра давила тяжесть, перед глазами стояли огненные круги. И сколько раз, ослабев на полпути, чувствуя, как неумолимо сползает со спины мешок, мне хотелось бросить его и вместе с ним скатиться вниз. Но сзади идут люди. Они тоже с мешками, они мои ровесники, такие же юнцы или солдатки, у которых такие дети, как я. Если бы не война, разве позволили бы им таскать такие тяжести? Нет, я не имел права отступать, когда такую же работу выполняли женщины.

Вон Джамиля идет впереди, подоткнув платье выше колен, и я вижу, как напрягаются крутые мускулы на ее смуглых красивых ногах, вижу, с каким усилием держит она свое гибкое тело, пружинисто сгибаясь под мешком. Иногда только приостанавливается Джамиля, словно чувствуя, что я слабею с каждым шагом.

— Крепись, кичине бала, немного осталось!

А у самой голос незвонкий, придушенный.

Когда мы, высыпав зерно, возвращались назад, навстречу нам попадался Данияр. Он шел по трапу, чуть прихрамывая, сильным мерным шагом, как всегда одинокий и молчаливый. Поравнявшись с нами, Данияр окидывал Джамилю мрачным, жгучим взглядом, она, разгибая натруженную спину, оправляла измятое платье. Он так глядел на нее каждый раз, словно видел впервые, а Джамиля продолжала не замечать его.

Да, так уж повелось: Джамиля или смеялась над ним, или вовсе не обращала на него внимания. Это зависело от ее настроения. Вот едем мы по дороге, вдруг вздумается ей, и она крикнет мне: «Айда, пошли!» И, гикая и наворачивая над головой кнут, погонит лошадей вскачь. Я за ней. Мы обгоняли Данияра, оставляя его в густых облаках долго не оседающей пыли. Хотя это делалось в шутку, но не каждый бы стал такое терпеть. А вот Данияр, казалось, не обижался. Мы проносились мимо, а он с угрюмым восхищением смотрел на хохочущую Джамилю, стоявшую на бричке. Я оборачивался. Данияр смотрел на нее даже сквозь пыль. И было что-то доброе, всепрощающее в его взгляде, но еще я угадывал в нем упрямую, затаенную тоску.

Как насмешки, так и полное равнодушие Джамили ни разу не вывели из себя Данияра. Он словно бы дал клятву — сносить все. Вначале мне было его жалко, и я несколько раз говорил Джамиле:

— Ну зачем ты смеешься над ним, джене, ведь он такой безобидный!

— А ну его,— смеялась Джамиля и махала рукой.— Я ведь так просто, в шутку, ничего с этим бирюком не случится!

А потом и я стал подшучивать и подсмеиваться над Данияром не хуже самой Джамили. Меня начали беспокоить его странные упорные взгляды. Как он смотрел на нее, когда она взваливала себе мешок на плечи! Да и право, в этом гомоне, толкотне, в этой базарной сутолоке двора, среди мятущихся, охрипших людей Джамиля бросалась в глаза своими уверенными, точными движениями, легкой походкой, словно бы все это происходило на просторе.

И нельзя было не заглядеться на нее. Чтобы взять с борта брички мешок, Джамиля вытягивалась, изги-

баясь, подставляла плечо и закидывала голову так, что обнажалась ее красивая шея и бурые от солнца косы почти касались земли. Данияр, как бы между делом, приостанавливался, а потом провожал ее взглядом до самых дверей. Наверно, он думал, что делает это незаметно, но я все примечал, и мне это начинало не нравиться и даже вроде бы оскорбляло мои чувства: ведь уж Данияра-то я никак не мог считать достойным Джамили.

«Подумать только, даже он заглядывается, а что же говорить о других!» — возмущалось все мое существо. И детский эгоизм, от которого я еще не освободился, разгорался жгучей ревностью. Ведь дети всегда ревнуют своих близких к чужим. И вместо жалости к Данияру я испытывал теперь к нему чувство такой неприязни, что злорадствовал, когда над ним смеялись.

Однако наши проделки с Джамилей окончились однажды весьма печально. Среди мешков, в которых мы возили зерно, был один огромный, на семь пудов, сшитый из шерстяного рядна. Обычно мы вдвоем управлялись с ним, одному это не под силу. И вот как-то на току мы решили подшутить над Данияром. Мы свалили этот огромный мешок в его бричку, а сверху завалили его другими. По пути мы с Джамилей забежали в русском селе в чей-то сад, нарвали яблок и всю дорогу смеялись; Джамиля кидалась яблоками в Данияра. А потом мы, как обычно, обогнали его, подняв тучу пыли. Нагнал он нас за ущельем, у железнодорожного переезда: путь был закрыт. Отсюда мы уже вместе прибыли на станцию, и как-то получилось, что мы совершенно забыли об этом семипудовом мешке и вспомнили о нем, когда уже кончали разгрузку. Джамиля озорно толкнула меня в бок и кивнула в сторону Данияра. Он стоял на бричке, озабоченно рассматривая мешок, и, видно, обдумывал, как с ним быть. Потом огляделся по сторонам и, заметив, как Джамиля подавилась смешком, густо покраснел: он понял, в чем дело.

— Штаны подтяни, а то потеряешь на полдороге! — крикнула Джамиля.

Данияр метнул в нашу сторону злой взгляд, и не успели мы одуматься, как он передвинул мешок по дну брички, поставил его на ребро борта, спрыгнул,

придерживая мешок одной рукой, и, взвалив его на спину, пошел. Сначала мы сделали вид, будто ничего особенного в этом нет. А другие и подавно ничего не заметили: идет человек с мешком, так ведь все идут. Но когда Данияр подходил к трапу, Джамиля догнала его:

— Брось мешок, я же пошутила!

— Уйди! — раздельно сказал он и пошел по трапу.

— Смотри, тащит! — вроде бы оправдываясь, проговорила Джамиля.

Она все еще тихонько посмеивалась, но смех ее становился каким-то неестественным, словно она вынуждала себя смеяться.

Мы заметили, что Данияр стал сильнее припадать на раненую ногу. Как же мы не подумали об этом раньше? До сих пор не могу простить себе этой дурацкой шутки, ведь это я, глупец, такое выдумал!

— Вернись! — вскрикнула Джамиля сквозь невеселый смех.

Но вернуться Данияр уже не мог: позади него шли люди.

Я толком не помню, что было дальше. Я видел Данияра, согнувшегося под большущим мешком, его низко склоненную голову и прикушенную губу. Он шел медленно, осторожно занося раненую ногу. Каждый новый шаг, видно, причинял ему такую боль, что он дергал головой и на секунду замирал. И чем выше он взбирался по трапу, тем сильнее качался из стороны в сторону. Его раскачивал мешок. И мне до того было страшно и стыдно, что даже в горле пересохло. Оцепенев от ужаса, я всем своим существом ощущал тяжесть его груза и нестерпимую боль в его раненой ноге. Вот опять его качнуло, он мотнул головой, и в глазах у меня все закачалось, потемнело, земля поплыла из-под ног.

Я очнулся из оцепенения, когда вдруг кто-то сильно, до ломоты в костях, сжал мою руку. Я не сразу узнал Джамилю. Белая-белая, с огромными зрачками в широко раскрытых глазах, а губы все еще вздрагивают от недавнего смеха. Тут уже не только мы, а все, кто был, и приемщик тоже, сбежались к подножию трапа. Данияр сделал еще два шага, хотел поправить на спине мешок — и начал медленно опускаться на колено. Джамиля закрыла лицо руками.

— Бросай! Бросай мешок! — крикнула она.

Но Данияр почему-то не бросал мешок, хотя давно можно было свалить его боком с трапа в сторону, чтобы он не сбил идущих сзади. Услышав голос Джамили, он рванулся, выпрямил ногу, сделал еще шаг, и снова его замотало.

— Да бросай же ты, собачий сын! — заорал приемщик.

— Бросай! — закричали люди.

Данияр и на этот раз выстоял.

— Нет, он не бросит! — убежденно прошептал кто-то.

И кажется, все — и те, что шли следом по трапу, и те, что стояли внизу,—поняли: не бросит он мешок, если только сам не свалится вместе с ним. Наступила мертвая тишина. За стеной, снаружи, отрывисто свистнул паровоз.

А Данияр, покачиваясь, как оглушенный, шел вверх под раскаленной железной крышей, прогибая доски трапа. Через каждые два шага он приостанавливался, теряя равновесие, и, снова собрав силы, шел дальше. Те, что шли сзади, старались подладиться к нему и тоже приостанавливались. Это выматывало людей, они выбивались из сил, но никто не возмутился, никто не обругал его. Будто связанные невидимой веревкой, люди шли со своей ношей, как по опасной, скользкой тропе, где жизнь одного зависит от жизни другого. В их согласном безмолвии и однообразном покачивании был единый тяжелый ритм. Шаг, еще шаг за Данияром, и еще шаг. С каким состраданием и мольбой, стиснув зубы, смотрела на него солдатка, что шла за ним следом! У нее у самой заплетались ноги, но она молилась о нем.

Уже осталось немного, скоро кончится наклонная часть трапа. Но Данияр опять зашатался, раненая нога уже не подчинялась ему. Он того гляди сорвется, если не выпустит мешок.

— Беги! Поддержи сзади! — крикнула мне Джамиля, а сама растерянно протянула руки, будто могла этим помочь Данияру.

Я бросился вверх по трапу. Протискиваясь между людьми и мешками, я добежал до Данияра. Он глянул на меня из-под локтя. На потемневшем мокром лбу его вздулись жилы, налитые кровью глаза обожгли меня гневом. Я хотел поддержать мешок.

— Уйди! — грозно прохрипел Данияр и двинулся вперед.

Когда Данияр, тяжело дыша и прихрамывая, сошел вниз, руки у него висели как плети. Все молча расступились перед ним, а приемщик не выдержал и закричал:

— Ты что, парень, сдурел? Разве я не человек, разве я не разрешил бы тебе высыпать зерно внизу? Зачем ты таскаешь такие мешки?

— Это мое дело,— негромко ответил Данияр.

Он сплюнул в сторону и пошел к бричке. А мы не смели поднять глаза. Стыдно было, и зло брало, что Данияр так близко к сердцу принял нашу дурацкую шутку.

Всю ночь мы ехали молча. Для Данияра это было естественно. Поэтому мы не могли понять, обижен он на нас или уже забыл обо всем. Но нам было тяжело, совесть мучила.

Утром, когда мы грузились на току, Джамиля взяла этот злополучный мешок, наступила ногой на край и разодрала его с треском.

— На̀ свою дерюгу! — Она швырнула мешок к ногам удивленной весовщицы.— И скажи бригадиру, чтоб второй раз не подсовывал таких!

—Да ты что? Что с тобой?

— А ничего.

Весь следующий день Данияр ничем не проявлял своей обиды, держался ровно и молчаливо, только прихрамывал больше обычного, особенно когда носил мешки. Видно, крепко разбередил вчера рану. И это все время напоминало нам о нашей вине перед ним. Вот если бы он засмеялся или пошутил, стало бы легче — на том и забылась бы наша размолвка.

Джамиля тоже делала вид, что ничего особенного не произошло. Гордая, она хоть и смеялась, но я видел, что весь день ей было не по себе.

Мы поздно возвращались со станции. Данияр ехал впереди. А ночь выдалась великолепная. Кто не знает августовских ночей с их далекими и в то же время близкими, необыкновенно яркими звездами! Каждая звездочка на виду. Вон одна из них, будто заиндевевшая по краям, вся в мерцании ледяных лучиков, с на-

ивным удивлением смотрит на землю с темного неба. Мы ехали по ущелью, и я долго глядел на нее. Лошади в охотку рысили к дому, под колесами поскрипывала щебенка. Ветер доносил из степи горькую пыльцу цветущей полыни, едва уловимый аромат остывающего спелого жита, и все это, смешиваясь с запахом дегтя и потной конской сбруи, слегка кружило голову.

С одной стороны над дорогой нависли поросшие шиповником затененные скалы, а с другой, далеко внизу, в зарослях тальника и диких топольков, бурунилась неугомонная Куркуреу. Изредка где-то позади со сквозным грохотом пролетали через мост поезда и, удаляясь, долго уносили за собой перестук колес.

Хорошо было ехать по прохладе, смотреть на колышущиеся спины лошадей, слушать августовскую ночь, вдыхать ее запахи! Джамиля ехала впереди. Бросив вожжи, она смотрела по сторонам и что-то тихонько напевала. Я понимал: ее тяготило наше молчание. В такую ночь невозможно молчать, в такую ночь хочется петь!

И она запела. Запела, быть может, еще и потому, что хотела как-то вернуть прежнюю непосредственность в наших отношениях с Данияром, хотела отогнать чувство своей вины перед ним. Голос у нее был звонкий, задорный, пела она обыкновенно аильные песенки, вроде «Шелковым платочком помашу тебе» или «В дальней дороге милый мой». Знала она много песенок и пела их просто и задушевно, так что слушать ее было приятно. Но вдруг она оборвала песню и крикнула Данияру:

— Эй ты, Данияр, спел бы хоть что-нибудь! Джигит ты или кто?

— Пой, Джамиля, пой! — смущенно отозвался Данияр, попридержав лошадей.— Я слушаю тебя, оба уха навострил!

— А ты думаешь, у нас, что ли, ушей нет? Подумаешь, не хочешь — не надо! — И Джамиля снова запела.

Кто знает, зачем она просила его петь! Может, просто так, а может, хотела вызвать его на разговор? Скорее всего ей хотелось поговорить с ним, потому что спустя немного времени она снова крикнула:

— А скажи, Данияр, ты любил когда-нибудь? — и засмеялась.

Данияр ничего не ответил. Джамиля тоже умолкла.

«Нашла кого просить петь!» — усмехнулся я.

У речушки, пересекавшей дорогу, лошади, цокая подковами по мокрым серебристым камням, замедлили ход. Когда мы миновали брод, Данияр подстегнул коней и неожиданно запел скованным, прыгающим на ухабоинах голосом:

Горы мои, сине-белые горы,
Земля моих дедов, моих отцов!

Он вдруг запнулся, закашлялся, но уже следующие две строчки вывел глубоким, грудным голосом, правда, чуть с хрипотцой:

Горы мои, сине-белые горы,
Колыбель моя...

Тут он снова осекся, будто испугался чего-то, и замолчал.

Я живо представил себе, как он смутился. Но даже в этом робком прерывистом пении было что-то необыкновенно взволнованное, и голос, должно быть, у него был хороший, просто не верилось, что это Данияр.

— Ты смотри! — не удержался я.

А Джамиля даже воскликнула:

— Где же ты был раньше? А ну, пой, пой как следует!

Впереди обозначился просвет — выход из ущелья в долину. Оттуда подул ветерок. Данияр снова запел. Начал он так же робко, неуверенно, но постепенно голос его набрал силу, заполнил собой ущелье, отозвался эхом в далеких скалах.

Больше всего меня поразило, какой страстью, каким горением была насыщена сама мелодия. Я не знал, как это назвать, да и сейчас не знаю, вернее, не могу определить: только ли это голос, или еще что-то более важное, что исходит из самой души человека, что-то такое, что способно вызвать у другого такое же волнение, способно оживить самые сокровенные думы.

Если бы я только мог хоть в какой-то мере воспроизвести песню Данияра! В ней почти не было слов, без слов раскрывала она большую человеческую душу. Ни до этого, ни после — никогда я не слышал такой песни: она не походила ни на киргизские, ни на казахские напевы, но в ней было и то и другое. Музыка Данияра вобрала в себя все самые лучшие мелодии двух родных народов и по-своему сплела их в единую, неповто-

римую песню. Это была песня гор и степей, то звонко взлетающая, как горы киргизские, то раздольно стелющаяся, как степь казахская.

Я слушал и диву давался. «Так вот он, оказывается, какой, Данияр! Кто бы мог подумать?»

Мы уже ехали степью по мягкой, наезженной дороге, и напев Данияра теперь разворачивался вширь, новые и новые мелодии с удивительной гибкостью сменяли одна другую. Неужели он так богат? Что с ним произошло? Словно он только и ждал своего дня, своего часа!

И мне вдруг стали понятны его странности, которые вызывали у людей и недоумение и насмешки, его мечтательность, любовь к одиночеству, его молчаливость. Я понял теперь, почему он просиживал целые вечера на караульной сопке и почему оставался один на ночь у реки, почему он постоянно прислушивался к неуловимым для других звукам и почему иногда вдруг загорались у него глаза, взлетали обычно настороженные брови. Это был человек глубоко влюбленный. И влюблен он был, почувствовал я, не просто в другого человека; это была какая-то другая, огромная любовь — к жизни, к земле. Да, он хранил эту любовь в себе, в своей музыке, он жил ею. Равнодушный человек не мог бы так петь, каким бы он ни обладал голосом.

Когда, казалось, угас последний отзвук песни, ее новый трепетный порыв словно пробудил дремлющую степь. И она благодарно слушала певца, обласканная родным ей напевом. Широким плесом колыхались спелые сизые хлеба, ждущие жатвы, и предутренние блики перебегали по полю. Могучая толпа старых верб на мельнице шелестела листвой, за речкой догорали костры полевых станов, и кто-то, как тень, бесшумно скакал по-над берегом в сторону аила, то исчезая в садах, то появляясь опять. Ветер доносил оттуда запах яблок, молочно-парной медок цветущей кукурузы и теплый дух подсыхающих кизяков.

Долго, самозабвенно пел Данияр. Притихнув, слушала его зачарованная августовская ночь. И даже лошади давно уже перешли на мерный шаг, будто боялись нарушить это чудо.

И вдруг на самой высокой, звенящей ноте Данияр оборвал песню и, гикнув, погнал лошадей вскачь.

Я думал, что и Джамиля устремится за ним, и тоже приготовился, но она не шелохнулась. Как сидела, склонив голову на плечо, так и осталась сидеть, будто все еще прислушивалась к витающим где-то в воздухе неостывшим звукам. Данияр уехал, а мы до самого аила не проронили ни слова. Да и надо ли было говорить? Ведь словами не всегда и не все выскажешь...

С этого дня в нашей жизни, казалось, что-то изменилось. Я теперь постоянно ждал чего-то хорошего, желанного. С утра мы грузились на току, прибывали на станцию, и нам уже не терпелось побыстрее выехать, чтобы на обратном пути слушать песни Данияра. Его голос вселился в меня, он преследовал меня на каждом шагу: с ним по утрам я бежал через мокрый, росистый люцерник к стреноженным лошадям, а солнце, смеясь, выкатывалось из-за гор навстречу мне. Я слышал этот голос и в мягком шелесте золотистого дождя пшеницы, подкинутой на ветер стариками веяльщиками, и в плавном, кружащем полете одинокого коршуна в степной выси,— во всем, что видел я и слышал, мне чудилась музыка Данияра.

А вечером, когда мы ехали по ущелью, мне каждый раз казалось, что я переношусь в иной мир. Я слушал Данияра, прикрыв глаза, и передо мной вставали удивительно знакомые, родные с детства картины: то проплывало в журавлиной выси над юртами весеннее кочевье нежных, дымчато-голубых облаков; то проносились по гудящей земле с топотом и ржанием табуны на летние выпасы, и молодые жеребцы с нестрижеными челками и черным диким огнем в глазах гордо и ошалело обегали на ходу своих маток; то спокойной лавой разворачивались по пригоркам отары овец; то срывался со скалы водопад, ослепляя глаза белизной всклокоченной кипени; то в степи за рекой мягко опускалось в заросли чия солнце, и одинокий далекий всадник на огнистой кайме горизонта, казалось, скакал за ним — ему рукой подать до солнца — и тоже тонул в зарослях и сумерках.

Широка за рекой казахская степь. Раздвинула она по обе стороны наши горы и лежит суровая, безлюдная...

Но в это памятное лето, когда грянула война, загорелись огни по степи, затуманили ее горячей пылью табуны строевых коней, поскакали гонцы во все сто-

роны. И помню, как с того берега кричал скачущий казах гортанным пастушьим голосом:

— Садитесь, киргизы, в седла: враг пришел! — и мчался дальше в вихрях пыли и волнах знойного марева.

Всех подняла на ноги степь, и в торжественно-суровом гуле двинулись с гор и по долинам наши первые конные полки. Звенели тысячи стремян, глядели в степь тысячи джигитов, впереди на древках колыхались красные знамена, позади, за копытной пылью, бился о землю скорбно-величественный плач жен и матерей: «Да поможет вам степь, да поможет вам дух нашего богатыря Манаса!»

Там, где шел на войну народ, оставались горькие тропы...

И весь этот мир земной красоты и тревог раскрывал передо мной Данияр в своей песне. Где он этому научился, от кого он все это слышал? Я понимал, что так мог любить свою землю только тот, кто всем сердцем тосковал по ней долгие годы, кто выстрадал эту любовь. Когда он пел, я видел и его самого, маленького мальчика, скитающегося по степным дорогам. Может, тогда и родились у него в душе песни о родине? А может, тогда, когда он шагал по огненным верстам войны?

Слушая Данияра, я хотел припасть к земле и крепко, по-сыновьи, обнять ее только за то, что человек может так ее любить. Я впервые почувствовал тогда, как проснулось во мне что-то новое, чего я еще не умел назвать, но это было что-то неодолимое, это была потребность выразить себя, да, выразить, не только самому видеть и ощущать мир, но и донести до других свое видение, свои думы и ощущения, рассказать людям о красоте нашей земли так же вдохновенно, как умел это делать Данияр. Я замирал от безотчетного страха и радости перед чем-то неизвестным. Но я тогда еще не понимал, что мне нужно взять в руки кисть.

Я люблю рисовать с детства. Я срисовывал картинки с учебников, и ребята говорили, что у меня получается «точь-в-точь». Учителя в школе тоже хвалили меня, когда я приносил рисунки в нашу стенгазету. Но потом началась война, братья ушли в армию, а я бросил школу и пошел работать в колхоз, как и все мои сверстники. Я забыл про краски и кисти и не думал,

что когда-нибудь вспомню про них. Но песни Данияра всполошили мою душу. Я ходил точно во сне и смотрел на мир изумленными глазами, будто видел все впервые.

А как изменилась вдруг Джамиля! Словно и не было той бойкой, языкастой хохотушки. Весенняя светлая грусть застилала ее притушенные глаза. В дороге она постоянно о чем-то упорно думала. Смутная, мечтательная улыбка блуждала на ее губах, она тихо радовалась чему-то хорошему, о чем знала только она одна. Бывало, взвалит мешок на плечи, да так и стоит, охваченная непонятной робостью, точно перед ней бурный поток и она не знает, идти ей или не идти. Данияра она сторонилась, не смотрела ему в глаза.

Однажды на току Джамиля сказала ему с бессильной вымученной досадой:

— Снял бы ты, что ли, свою гимнастерку. Давай постираю!

И потом, выстирав на реке гимнастерку, она разложила ее сушить, а сама села подле и долго, старательно разглаживала ее ладонями, рассматривала на солнце потертые плечи, покачивала головой и снова принималась разглаживать, тихо и грустно.

Только один раз за это время Джамиля громко, заразительно смеялась, и у нее, как прежде, сияли глаза. На ток шумной гурьбой завернули мимоходом со скирдовки люцерны молодые женщины, девушки и джигиты — бывшие фронтовики.

— Эй, баи, не вам одним пшеничный хлеб есть, угощайте, а не то в реку покидаем! — И джигиты шутя выставили вилы.

— Нас вилами не запугаешь! Подружек своих найду чем угостить, а вы сами промышляйте! — звонко отозвалась Джамиля.

— Раз так, всех вас в воду!

И тут схватились девушки и парни. С криком, визгом, смехом они толкали друг друга в воду.

— Хватай их, тащи! — громче всех смеялась Джамиля, быстро и ловко увертываясь от нападающих.

Но, странное дело, джигиты точно и видели только одну Джамилю. Каждый старался схватить ее, прижать к себе. Вот трое парней разом обхватили ее и занесли над берегом.

— Целуй, а нет — бросим!

— Давай раскачивай!

Джамиля изворачивалась, хохотала, запрокинув голову, и сквозь смех звала на помощь подруг. Но те суматошно бегали по берегу, вылавливая свои косынки. Под дружный хохот джигитов Джамиля полетела в реку. Она вышла из воды с растрепанными мокрыми волосами, но даже еще красивее, чем была. Мокрое ситцевое платье прилипло к телу, облегая округлые сильные бедра, девичью грудь, а она, ничего не замечая, смеялась, покачиваясь, и по ее разгоряченному лицу стекали веселые ручейки.

— Целуй! — приставали джигиты.

Джамиля целовала их, но снова летела в воду и снова смеялась, откидывая кивком головы мокрые, тяжелые пряди волос.

Над затеей молодых все на току смеялись. Старики веяльщики, побросав лопаты, вытирали слезы, морщины на их бурых лицах лучились радостью и ожившей на миг молодостью. И я смеялся от души, забыв на этот раз о своем ревностном долге оберегать Джамилю от джигитов.

Не смеялся один Данияр. Я случайно заметил его и умолк. Он одиноко стоял на краю гумна, широко расставив ноги. Мне казалось, что он сорвется, побежит и выхватит Джамилю из рук джигитов. Он смотрел на нее не отрываясь, грустным, восхищенным взглядом, в котором сквозили и радость, и боль. Да, и счастье, и горе его были в красоте Джамили. Когда джигиты прижимали ее к себе, заставляя целовать каждого, он опускал голову, делал движение, чтобы уйти, но не уходил.

Между тем и Джамиля заметила его. Она сразу оборвала смех и потупилась.

— Побаловались, и хватит! — неожиданно осадила она разошедшихся джигитов.

Кто-то еще попытался обнять ее.

— Отстань! — Джамиля отпихнула парня, вскинула голову, мельком бросила виноватый взгляд в сторону Данияра и побежала в кусты выжимать платье.

Мне не все еще было ясно в их отношениях, да я, признаться, и боялся думать об этом. Но почему-то мне было не по себе, когда я замечал, что Джамиля становится грустной оттого, что сама же сторонится Данияра. Лучше бы уж она по-прежнему смеялась и

подшучивала над ним. Но в то же время меня охватывала необъяснимая радость за них, когда мы возвращались по ночам в аил и слушали пение Данияра.

По ущелью Джамиля ехала на бричке, а в степи слезала и шла пешком. Я тоже шел пешком, так лучше: идти по дороге и слушать. Сперва мы шли каждый около своей брички, но шаг за шагом, сами не замечая того, все ближе и ближе подходили к Данияру. Какая-то неведомая сила влекла нас к нему, хотелось разглядеть в темноте выражение его лица и глаз. Неужели это он поет, нелюдимый, угрюмый Данияр!

И каждый раз я замечал, как Джамиля, потрясенная и растроганная, медленно тянула к нему руку, но он не видел этого, он смотрел куда-то вверх, далеко, подперев затылок ладонью, и покачивался из стороны в сторону, а рука Джамили безвольно опускалась на грядку брички. Тут она вздрагивала, резко отдергивала руку и останавливалась. Она стояла посреди дороги, понурая, ошеломленная, долго-долго смотрела ему вслед, потом снова шла.

Порой мне казалось, что мы с Джамилей встревожены каким-то одним, одинаково непонятным чувством. Может быть, это чувство было давно запрятано в наших душах, а теперь пришел его день?

В работе Джамиля еще забывалась, но в те редкие минуты нашего отдыха, когда мы задерживались на току, она не находила себе места. Она слонялась возле веяльщиков, бралась им помогать, высоко и сильно вскидывала на ветер несколько лопат пшеницы, потом вдруг бросала лопату и уходила прочь, к скирдам соломы. Здесь она садилась в холодке и, точно боясь одиночества, звала меня:

— Иди сюда, кичине бала, посидим!

Я всегда ждал, что она скажет мне что-то важное, объяснит, что тревожит ее. Но она ничего не говорила. Молча клала она мою голову к себе на колени, глядя куда-то вдаль, ерошила мои колючие волосы и нежно гладила меня по лицу дрожащими горячими пальцами. Я смотрел на нее снизу вверх, на это лицо, полное смутной тревоги и тоски, и, казалось, узнавал в ней себя. Ее тоже что-то томило, что-то копилось и созревало в ее душе, требуя выхода. И она страшилась этого. Она мучительно хотела и в то же время мучительно не хотела признаться себе, что влюблена, так же

как и я желал и не желал, чтобы она любила Данияра. Ведь в конце-то концов она невестка моих родителей, она жена моего брата!

Но такие мысли лишь на мгновение пронизывали меня. Я гнал их прочь. Для меня тогда истинным наслаждением было видеть ее по-детски приоткрытые, чуткие губы, видеть ее глаза, затуманенные слезами. Как хороша, как красива она была, каким светлым одухотворением и страстью дышало ее лицо! Тогда я только видел все это, но не все понимал. Да и теперь я часто задаю себе вопрос: может быть, любовь — это такое же вдохновение, как вдохновение художника, поэта? Глядя на Джамилю, мне хотелось убежать в степь и криком кричать, вопрошая землю и небо, что же мне делать, как мне побороть в себе эту непонятную тревогу и эту непонятную радость. И однажды я, кажется, нашел ответ.

Мы, как обычно, ехали со станции. Уже опускалась ночь, кучками роились звезды в небе, степь клонило ко сну, и только песня Данияра, нарушая тишину, звенела и угасала в мягкой темной дали. Мы с Джамилей шли за ним.

Но что случилось в этот раз с Данияром? В его напеве было столько нежной, проникновенной тоски и одиночества, что слезы к горлу подкатывали от сочувствия и сострадания к нему.

Джамиля шла, склонив голову и крепко держась за грядку брички. И когда голос Данияра начал снова набирать высоту, Джамиля вскинула голову, прыгнула на ходу в бричку и села рядом с ним. Она сидела окаменевшая, сложив на груди руки. Я шел рядом, забегая чуть вперед, и смотрел на них сбоку. Данияр пел, казалось, не замечая возле себя Джамили. Я увидел, как ее руки расслабленно опустились и она, прильнув к Данияру, легонько прислонила голову к его плечу. Лишь на мгновение, как перебой подстегнутого иноходца, дрогнул его голос — и зазвучал с новой силой. Он пел о любви!

Я был потрясен. Степь будто расцвела, всколыхнулась, раздвинула тьму, и я увидел в этой широкой степи двух влюбленных. А они и не замечали меня, словно меня и не было здесь. Я шел и смотрел, как они, позабыв обо всем на свете, вместе покачивались в такт песни. И я не узнавал их. Это был все тот же Данияр,

в своей расстегнутой, потрепанной солдатской гимнастерке, но глаза его, казалось, горели в темноте. Это была моя Джамиля, прильнувшая к нему, но такая тихая и робкая, с поблескивающими на ресницах слезами. Это были новые, невиданно счастливые люди. Разве это не было счастьем? Ведь всю эту вдохновенную музыку Данияр целиком отдавал ей, он пел для нее, он пел о ней.

Мной опять овладело то самое непонятное волнение, которое всегда приходило с песнями Данияра. И вдруг мне стало ясно, чего я хочу. Я хочу нарисовать их.

Я испугался собственных мыслей. Но желание было сильнее страха. Я нарисую их такими вот, счастливыми! Да, вот такими, какие они сейчас! Но смогу ли я? Дух захватило от страха и радости. Я шел в сладко-пьяном забытьи. Я тоже был счастлив, потому что не знал еще, сколько трудностей доставит мне в будущем это дерзкое желание. Я говорил себе, что надо видеть землю так, как видит ее Данияр, я красками расскажу песню Данияра, у меня тоже будут горы, степь, люди, травы, облака, реки. Я даже подумал тогда: «А где же я возьму краски? В школе не дадут: им самим нужны!» Будто все дело только и заключалось в этом.

Песня Данияра неожиданно оборвалась. Это Джамиля порывисто обняла его, но тут же отпрянула, замерла на мгновение, рванулась в сторону и спрыгнула с брички. Данияр нерешительно потянул вожжи, лошади остановились. Джамиля стояла на дороге, повернувшись к нему спиной, потом резко вскинула голову, глянула на него вполоборота и, едва сдерживая слезы, проговорила:

— Ну что ты смотришь? — И, помолчав, сурово добавила: — Не смотри на меня, езжай! — И пошла к своей бричке.— А ты чего уставился? — накинулась она на меня.— Садись, бери свои вожжи! Эх, горе мне с вами!

«Что это она вдруг?» — недоумевал я, погоняя лошадей. А догадаться-то ничего не стоило: нелегко ей было, ведь у нее законный муж, живой, где-то в саратовском госпитале. Но мне решительно не хотелось ни о чем думать. Я сердился на нее и на себя и, быть может, возненавидел бы Джамилю, если бы знал, что

Данияр больше не будет петь, что мне уже никогда не доведется услышать его голос.

Смертельная усталость ломила тело, хотелось быстрее добраться до места и повалиться на солому. Колыхались в темноте спины рысивших лошадей, невыносимо тряслась бричка, вожжи выскальзывали из рук.

На току я кое-как стянул хомуты, бросил их под бричку и, добравшись до соломы, упал. Данияр в этот раз сам отогнал лошадей пастись.

Но утром я проснулся с ощущением радости в душе. Я буду рисовать Джамилю и Данияра! Я зажмурил глаза и очень точно представил себе Данияра и Джамилю такими, какими я их изображу. Казалось, бери кисть и краски и рисуй.

Я побежал к реке, умылся и бросился к стреноженным лошадям. Мокрая, холодная люцерна сочно стегала по босым ногам, щипало потрескавшиеся, в цыпках ступни, но мне было хорошо. Я бежал и отмечал на ходу, что делалось вокруг. Солнце тянулось из-за гор, а к солнцу тянулся подсолнух, что случайно вырос над арыком. Жадно обступили его белоголовые горчаки, но он не сдавался: ловил, перехватывал у них своими желтыми язычками утренние лучи, поил тугую, плотную корзинку семян. А вот развороченный колесами переезд через арык, вода сочится по колеям. А вот сиреневый островок вымахавшей по пояс пахучей мяты. Я бегу по родимой земле, над моей головой носятся наперегонки ласточки. Эх, были бы краски, чтобы нарисовать и утреннее солнце, и бело-синие горы, и росистую люцерну, и этот подсолнух-дичок, что вырос у арыка!

Когда я вернулся на ток, мое радужное настроение сразу омрачилось. Я увидел хмурую, осунувшуюся Джамилю. Она, наверно, не спала в эту ночь: темные тени залегли у нее под глазами. Мне она не улыбнулась и не заговорила со мной. Но когда появился бригадир Орозмат, Джамиля подошла к нему и, не поздоровавшись, сказала:

— Забирайте свою бричку! Посылайте куда угодно, а на станцию ездить не буду!

— Ты чего это, Джамиля, овод тебя укусил, что ли? — добродушно удивился Орозмат.

— Овод у телят под хвостом! А меня не допытывайте! Сказала, не хочу, и все тут!

Улыбка исчезла с лица Орозмата.

— Хочешь не хочешь, а возить зерно будешь! — Он стукнул костылем о землю.— Если обидел кто, скажи — костыль на его шее обломаю! А нет — не дури: хлеб солдатский возишь, у самой муж там! — И, круто повернувшись, он запрыгал на своем костыле.

Джамиля смутилась, зарделась вся и, глянув в сторону Данияра, тихонько вздохнула. Данияр стоял чуть поодаль, спиной к ней, и рывками стягивал супонь на хомуте. Он слышал весь разговор. Джамиля постояла еще немного, теребя в руке кнут, потом отчаянно махнула рукой и пошла к своей бричке.

В этот день мы вернулись раньше обычного. Данияр всю дорогу гнал лошадей. Джамиля была мрачна и молчалива. А мне не верилось, что передо мной лежит выжженная, почерневшая степь. Ведь вчера она была совсем не такая. Будто в сказке я слышал о ней, и из головы не выходила перевернувшая мое сознание картина счастья. Казалось, я схватил какой-то самый яркий кусок жизни. Я представлял себе его во всех деталях, и только это волновало меня. И не успокоился я до тех пор, пока не выкрал у весовщицы плотный лист белой бумаги. Я забежал за скирды с колотящимся в груди сердцем и положил его на деревянную, гладко обструганную лопату, которую по пути стащил у веяльщиков.

— Благослови, аллах! — прошептал я, как когда-то отец, впервые сажая меня на коня, и тронул карандашом бумагу. Это были первые, неумелые штрихи. Но когда на листе обозначились черты Данияра, я забыл обо всем! Мне уже казалось, что на бумагу легла та августовская ночная степь, мне казалось, что я слышу песню Данияра и вижу его самого, с запрокинутой головой и обнаженной грудью, и вижу Джамилю, прильнувшую к его плечу. Это был мой первый самостоятельный рисунок: вот бричка, а вот они оба, вот вожжи, брошенные на передок, спины лошадей колышутся в темноте, а дальше степь, далекие звезды.

Я рисовал с таким упоением, что не замечал ничего вокруг, и очнулся, когда надо мной раздался чей-то голос:

— Ты что, оглох, что ли?

Это была Джамиля. Я растерялся, покраснел и не успел спрятать рисунок.

— Брички давно нагружены, целый час кричим не докричимся! Ты что тут делаешь?.. А это что? — спросила она и взяла рисунок.— Гм! — Джамиля сердито вздернула плечи.

Я готов был провалиться сквозь землю. Джамиля долго-долго рассматривала рисунок, потом подняла на меня опечаленные, повлажневшие глаза и тихо сказала:

— Отдай мне это, кичине бала... Я спрячу на память...— И, сложив лист вдвое, она сунула его за пазуху.

Мы уже выехали на дорогу, а я никак не мог прийти в себя. Как во сне все это произошло. Не верилось, что я нарисовал нечто похожее на то, что видел. Но где-то в глубине души уже поднималось наивное ликование, даже гордость, и мечты — одна другой дерзновеннее, одна другой заманчивее — кружили мне голову. Я уже хотел написать множество разных картин, но не карандашом, а красками. И я не обращал внимания на то, что мы ехали очень быстро. Это Данияр так гнал лошадей. Джамиля не отставала. Она глядела по сторонам, порой чему-то улыбалась, трогательно и виновато. И я улыбался, значит, она уже не сердится на нас с Данияром и если попросит, то Данияр споет сегодня...

На станцию мы приехали в этот раз намного раньше обычного, зато лошади были взмылены. Данияр с ходу начал таскать мешки. Куда он спешил и что с ним творилось, трудно было понять. Когда мимо проходили поезда, он останавливался и провожал их долгим, задумчивым взглядом. Джамиля тоже смотрела туда, куда и он, словно пыталась понять, что у него на уме.

— Подойди-ка сюда, подкова болтается, помоги оторвать,— позвала она Данияра.

Когда Данияр сорвал подкову с копыта, зажатого между колен, и распрямился, Джамиля негромко заговорила, глядя ему в глаза:

— Ты что, или не понимаешь?.. Или на свете только я одна?..

Данияр молча отвел глаза.

— Думаешь, мне легко? — вздохнула Джамиля.

Брови Данияра взлетели, он посмотрел на нее с любовью и грустью и что-то сказал, но так тихо, что я не расслышал, а потом быстро зашагал к своей бричке, даже довольный чем-то. Он шел и поглаживал подкову. Я глядел на него и недоумевал: чем могли утешить его слова Джамили? Какое уж тут утешение, если человек говорит с тяжелым вздохом: «Думаешь мне легко?..»

Мы уже кончили разгрузку и собирались уезжать, когда во двор зашел раненый солдат, худой, в помятой шинели, с вещевым мешком за плечами. За несколько минут до этого на станции остановился поезд. Солдат огляделся по сторонам и крикнул:

—Кто тут из аила Куркуреу?

— Я из Куркуреу! — ответил я, раздумывая, кто бы это мог быть.

— А ты чей будешь, браток? — Солдат направился было ко мне, но тут он увидел Джамилю и удивленно и радостно заулыбался.

—Керим, это ты?! — воскликнула Джамиля.

— Ой, Джамиля, сестрица! — Солдат бросился к ней и сжал обеими руками ее ладонь.

Оказывается, это был земляк Джамили.

— Вот кстати-то! Как знал, завернул сюда! — возбужденно говорил он.— Ведь я только от Садыка, вместе лежали в госпитале, бог даст, и он через месяц-другой вернется. Когда прощались, сказал ему: напиши письмо жене, свезу... Вот оно, получай, в целости и сохранности.— И Керим протянул Джамиле треугольник.

Джамиля схватила письмо, вспыхнула, потом побелела и осторожно покосилась на Данияра. Он одиноко стоял возле брички, как тогда на гумне, широко расставив ноги, и глазами, полными отчаяния, смотрел на Джамилю.

Тут со всех сторон сбежались люди, сразу нашлись у солдата и знакомые, и родные, посыпались расспросы. А Джамиля не успела даже поблагодарить его за письмо, как мимо нее прогрохотала данияровская бричка, вырвалась со двора и, подпрыгивая на выбоинах, запылила по дороге.

— Очумел он, что ли? — закричали ему вслед.

Солдата уже куда-то увели, а мы с Джамилей все еще стояли посреди двора и смотрели на удаляющиеся клубы пыли.

— Поедем, джене,— сказал я.

— Езжай, оставь меня одну! — с горечью ответила она.

Так, первый раз за все время, мы ехали порознь. Горячая духота обжигала высохшие губы. Потрескавшаяся, выжженная земля, раскаленная за день добела, казалось, сейчас остывала, покрываясь соленой сединой. И в таком же соленом белесом мареве колыхалось на закате зыбкое, бесформенное солнце. Там, над смутным горизонтом, собирались оранжево-красные буревые тучки. Порывами налетал суховей, белой накипью оседая на конских мордах, и, тяжело откидывая гривы, уносился прочь, вороша по пригоркам метелки полыни.

«К дождю, что ли?» — думал я.

Каким бесприютным почувствовал я себя, какая тревога охватила меня! Я подстегивал лошадей, норовивших все время перейти на шаг. Тревожно пробежали куда-то в балку длинноногие сухопарые дрофы. На дорогу выносило пожухлые листья пустынных лопухов — таких у нас нет, их принесло откуда-то с казахской стороны. Закатилось солнце. Вокруг ни души. Только истомившаяся за день степь.

Когда я приехал на ток, было уже темно. Тишина, безветрие. Я кликнул Данияра.

— Он ушел к реке,— ответил сторож.— Духотища-то какая, все разошлись по домам. Без ветра на току и делать нечего!

Я отогнал лошадей пастись и решил завернуть к реке,— я знал излюбленное место Данияра под обрывом.

Он сидел ссутулившись, склонив голову на колени, и слушал ревущую под обрывом реку. Мне захотелось подойти, обнять его и сказать ему что-нибудь хорошее. Но что я мог ему сказать? Я постоял немного в сторонке и вернулся. А потом долго лежал на соломе, смотрел на темнеющее в тучах небо и думал: «Почему так непонятна и сложна жизнь?»

Джамиля все еще не возвращалась. Куда она запропастилась? Мне не спалось, хотя морила усталость. Далекие зарницы вспыхивали над горами, в глубине туч.

Когда пришел Данияр, я еще не спал. Он бесцельно бродил по току, то и дело поглядывал на дорогу.

А потом повалился за скирдой на солому возле меня. «Уйдет он куда-нибудь, не останется теперь в аиле! А куда ему идти? Одинокий, бездомный, кому он нужен?» И уже сквозь сон я услышал медленное постукивание приближающейся брички. Кажется, приехала Джамиля...

Не помню, сколько я проспал, только вдруг у самого уха зашуршали по соломе чьи-то шаги, будто мокрое крыло легко задело меня по плечу. Я открыл глаза. Это была Джамиля. Она пришла с реки в прохладном отжатом платье. Джамиля остановилась, беспокойно огляделась по сторонам и села возле Данияра.

— Данияр, я пришла, сама пришла,— тихо сказала она.

Вокруг стояла тишина, бесшумно скользнула вниз молния.

— Ты обиделся? Очень обиделся, да?

И опять тишина, только с мягким всплеском оборвалась в реку подмытая глыба земли.

— Разве я виновата? И ты не виноват...

Над горами вдали прогромыхал гром. Профиль Джамили осветила молния. Она оглянулась и припала к Данияру. Плечи ее судорожно вздрагивали под руками Данияра. Вытянувшись на соломе, она легла рядом с ним.

Запаленный ветер набежал из степи, вихрем закружил солому, ударился в пошатнувшуюся юрту, что стояла на краю гумна, и кособоко заюлил волчком по дороге. И снова заметались в тучах синие всполохи, с сухим треском переломился над головой гром. Жутко и радостно стало — надвигалась гроза, последняя летняя гроза.

— Неужели ты думал, что я променяю тебя на него? — горячо шептала Джамиля.— Да нет же, нет! Он никогда не любил меня. Даже поклон, и то в самом конце письма приписывал. Не нужен мне он со своей запоздалой любовью, пусть говорят что угодно! Родимый мой, одинокий, не отдам тебя никому! Я давно любила тебя. И когда не знала — любила и ждала тебя, и ты пришел, будто знал, что я тебя жду!

Голубые молнии одна за другой, изламываясь, вонзались под обрыв в реку. Зашуршали по соломе косые студеные капли дождя.

— Джамилям, Джамалтай! — шептал Данияр, называя ее самыми нежными казахскими и киргизскими именами.— Повернись, дай мне поглядеть тебе в глаза!

Гроза разразилась.

Забилась, хлопая крыльями, как подбитая птица, сорванная с юрты кошма. Бурными порывами, словно целуя землю, хлынул дождь, подстегнутый понизу ветром. Наискось, через все небо раскатывался могучими обвалами гром. Весенним палом тюльпанов зажигались на горах яркие вспышки зарниц. Гудел, неистовствовал в яру ветер.

Дождь лил, а я лежал, зарывшись в солому, и чувствовал, как бьется под рукой сердце. Я был счастлив. У меня было такое ощущение, будто я вышел впервые после болезни посмотреть на солнце. И дождь, и свет молний доставали меня под соломой, но мне было хорошо, я засыпал, улыбаясь, и не понимал, то ли это шептались Данияр и Джамиля, то ли это шелестел по соломе стихающий дождь.

Теперь пойдут дожди, скоро осень. В воздухе уже настаивался по-осеннему влажный запах полыни и намокшей соломы. А что ожидало нас осенью? Об этом я почему-то не думал.

В ту осень после двухлетнего перерыва я снова пошел в школу. После уроков я частенько ходил к реке на кручи и сидел возле прежнего гумна, теперь заглохшего и опустевшего. Здесь я писал свои первые этюды ученическими красками. Даже по тогдашним моим понятиям, мне не все удавалось.

«Краски негодные! Вот были бы настоящие краски!» — говорил я себе, хотя и не представлял, какими же они должны быть.

Лишь значительно позднее мне довелось увидеть настоящие масляные краски в свинцовых тюбиках.

Краски красками, а все же учителя, кажется, были правы: этому надо учиться. Но об учебе не приходилось мечтать. Где там, когда от братьев так и не было никаких вестей, и мать ни за что не отпустила бы меня, своего единственного сына, «джигита и кормильца двух семей»! Об этом я и не смел заговорить. А осень, как назло, выдалась такая красивая, только пиши ее.

Обмелела студеная Куркуреу, обнаженные валуны на перекатах поросли темно-зеленым и оранжевым мхом. Краснел по ранним заморозкам голый нежный тальник, но топольки еще сберегли желтые плотные листья.

Прокопченные, омытые дождями юрты табунщиков чернели в поймище на порыжелой отаве, и над дымовыми отверстиями вились сизые пахучие струйки. По-осеннему голосисто ржали поджарые жеребцы — разбредались матки, и теперь уже до самой весны нелегко их будет удержать в косяках. Скот, вернувшийся с гор, гуртами бродил по стерне. Побуревшую сухостойную степь вдоль и поперек пересекли ископыченные тропы.

Вскоре задул степняк, помутилось небо, пошли холодные дожди — предвестники снега. Как-то выдался сносный день, и я пошел к реке — уж очень приглянулся мне на отмели огненный куст горной рябины. Сел я неподалеку от брода, в тальнике. Вечерело. И вдруг я увидел двух людей, которые, судя по всему, перешли реку вброд. Это были Данияр и Джамиля. Я не мог оторвать глаз от их суровых тревожных лиц. С вещевым мешком за плечами Данияр шагал порывисто, полы распахнутой шинели хлестали по кирзовым голенищам его стоптанных сапог. Джамиля повязалась белым платком, сбитым сейчас на затылок, на ней было ее лучшее цветастое платье, в котором она любила щеголять по базару, а поверх него — вельветовый стеганый жакет. В одной руке она несла небольшой узелок, а другой держалась за лямку данияровского мешка. Они о чем-то переговаривались на ходу.

Вот они пошли тропой через лог по зарослям чия, а я смотрел им вслед и не знал, что делать. Может, окликнуть? Но язык точно присох к нёбу.

Последние багряные лучи скользнули по быстрой веренице пегих тучек вдоль гор, и сразу начало темнеть. А Данияр и Джамиля, не оглядываясь, уходили в сторону железнодорожного разъезда. Раза два еще мелькнули их головы в зарослях чия, а потом скрылись.

— Джамиля-а-а! — закричал я что было силы.

«А-а-а-а!» — бесприютно откликнулось эхо.

— Джамиля-а-а! — крикнул я еще раз и, не помня себя, бросился бежать за ними через реку, прямо по воде.

Тучи ледяных брызг летели мне в лицо, одежда намокла, а я бежал дальше, не разбирая пути, и вдруг со всего размаха упал на землю, обо что-то зацепившись. Я лежал, не поднимая головы, и слезы заливали мне лицо. Тьма будто навалилась мне на плечи. Тонко, тоскливо посвистывали гибкие стебли чия.

— Джамиля! Джамиля! — всхлипывал я, захлебываясь слезами.

Я расставался с самыми дорогими и близкими мне людьми. И только сейчас, лежа на земле, я вдруг понял, что любил Джамилю. Да, это была моя первая, еще детская любовь.

Долго лежал я, уткнувшись в мокрый локоть. Я расставался не только с Джамилей и Данияром, я расставался со своим детством.

Когда я прибрел впотьмах домой, во дворе был переполох, звенели стремена, кто-то седлал лошадей, а пьяный Осмон, гарцуя на коне, орал во всю глотку:

— Давно надо было гнать из аила эту приблудную собаку-полукровку! Срам, позор всему роду! Попадись он мне, убью на месте, пусть судят — не позволю, чтобы каждый бродяга уводил наших баб! Айда, садись, джигиты, никуда ему не уйти, догоним на станции!

Я похолодел: куда они поскачут? Но, убедившись, что погоня пошла по большой дороге на станцию, а не на разъезд, я незаметно прокрался в дом и завернулся с головой в отцовскую шубу, чтобы никто не видел моих слез.

Сколько разговоров и пересудов было в аиле! Женщины наперебой осуждали Джамилю.

— Дура она! Ушла из такой семьи, растоптала счастье свое!

— На что позарилась, спрашивается? Ведь у него добра только шинелишка да дырявые сапоги!

— Уж конечно, не полон двор скота! Безродный скиталец, бродяга — что на нем, то и его. Ничего, опомнится красотка, да поздно будет.

— Вот то-то и оно! А чем Садык не муж, чем не хозяин? Первый джигит в аиле!

— А свекровь? Такую свекровь не каждому бог дает! Пойди сыщи еще такую байбиче! Погубила она себя, дура, ни за что ни про что!

Может быть, только я один не осуждал Джамилю, свою бывшую джене. Пусть на Данияре старая шинель

и дырявые сапоги, но я-то ведь знал, что душой он богаче всех нас. Нет, не верилось мне, что Джамиля будет несчастна с ним. Только жалко мне было мать. Мне казалось, что вместе с Джамилей ушла ее былая сила. Она приуныла, осунулась и, как я теперь понимаю, никак не могла примириться с тем, что жизнь иной раз так круто ломает старые устои. Если могучее дерево выворотит буря, оно уже не поднимется. Раньше мать никого не просила вдеть ей нитку в иголку: гордость не позволяла. А вот вернулся я однажды из школы и вижу: дрожат руки у матери, не видит она ушка иголки и плачет.

— На, вдень нитку! — попросила она и тяжело вздохнула.— Пропадет Джамиля... Эх, какой хозяйкой была бы она в семье! Ушла!.. Отреклась... А зачем ушла! Или худо ей было у нас?

Мне захотелось обнять, успокоить мать, рассказать ей, что за человек Данияр, но я не посмел, я бы на всю жизнь оскорбил ее.

И все-таки мое невинное участие в этой истории перестало быть тайной...

Вскоре вернулся Садык. Он, конечно, горевал, хотя и говорил по пьянке Осмону:

— Ушла — туда ей и дорога. Подохнет где-нибудь. А на наш век баб хватит. Даже золотоволосая баба не стоит самого что ни на есть никудышного парня.

— Это-то верно! — отвечал Осмон.— Только жаль, не попался он мне тогда: убил бы, и все тут! А ее за волосы да к конскому хвосту! Небось на юг подались, на хлопок, или по казахам пошли, ему-то не впервой бродяжничать! Только вот в толк не возьму, как все получилось, и знать никто не знал, да и подумать бы никто не мог. Это она все, подлая, сама устроила! Я бы ее!..

Слушая такие речи, мне так и хотелось сказать Осмону: «Не можешь забыть, как она тебя отчитала на сенокосе. Подлая ты душонка!»

И вот сидел я как-то дома, рисовал что-то для школьной стенгазеты. Мать хлопотала у печи. Вдруг в комнату ворвался Садык. Бледный, со злобно прищуренными глазами, он кинулся ко мне и сунул мне под нос лист бумаги.

— Это ты рисовал?

Я оторопел. Это был мой первый рисунок. Живые Данияр и Джамиля глянули в тот миг на меня.

— Я.

— Это кто? — ткнул он пальцем в бумагу.

— Данияр.

— Изменник! — крикнул мне в лицо Садык.

Он разорвал рисунок на мелкие клочки и вышел, с треском хлопнув дверью.

После долгого гнетущего молчания мать спросила:

— Ты знал?

— Да, знал.

С каким укором и недоумением смотрела она на меня, прислонившись к печи. И когда я сказал: «Я еще раз их нарисую!» — она горестно и бессильно покачала головой.

А я смотрел на клочки бумаги, валявшиеся на полу, и нестерпимая обида душила меня. Пусть считают меня изменником. Кому я изменил? Семье? Нашему роду? Но я не изменил правде, правде жизни, правде этих двух людей! Я никому не мог рассказать об этом, даже мать не поняла бы меня.

В глазах у меня все расплывалось, клочки бумаги, казалось, кружились по полу, как живые. В память так врезался тот миг, когда Данияр и Джамиля глянули на меня с рисунка, что мне вдруг почудилось, будто я слышу песню Данияра, которую пел он в ту памятную августовскую ночь. Я вспомнил, как они уходили из аила, и мне нестерпимо захотелось выйти на дорогу, выйти, как они, смело и решительно в трудный путь за счастьем.

— Я поеду учиться... Скажи отцу. Я хочу быть художником! — твердо сказал я матери.

Я был уверен, что она начнет укорять меня и заплачет, вспоминая погибших на войне братьев. Но, к моему удивлению, она не заплакала. Только грустно и тихо сказала:

— Поезжай... Оперились вы и по-своему крыльями машете... Да откуда нам знать, высоко ли взлетите? Может, и ваша правда. Поезжай... А может, там одумаешься. Не ремесло это — рисовать да малевать... Поучись — узнаешь... Да не забывай дом свой...

С того дня Малый дом отделился от нас. А я вскоре уехал учиться.

Вот и вся история.

В академию, куда меня послали после художественного училища, я представил свою дипломную работу — это была картина, о которой я давно мечтал.

Нетрудно догадаться, что на этой картине изображены Данияр и Джамиля. Они идут по осенней степной дороге. Перед ними широкая, светлая даль.

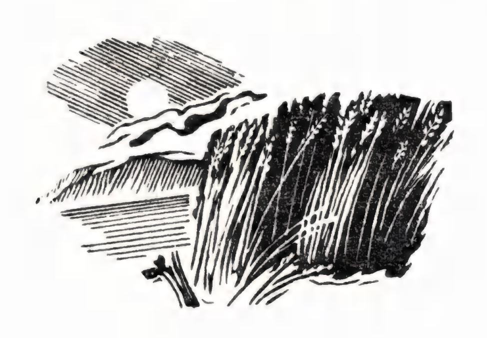
И пусть несовершенна моя картина — мастерство не сразу приходит,— но она мне бесконечно дорога, она мое первое, осознанное творческое беспокойство.

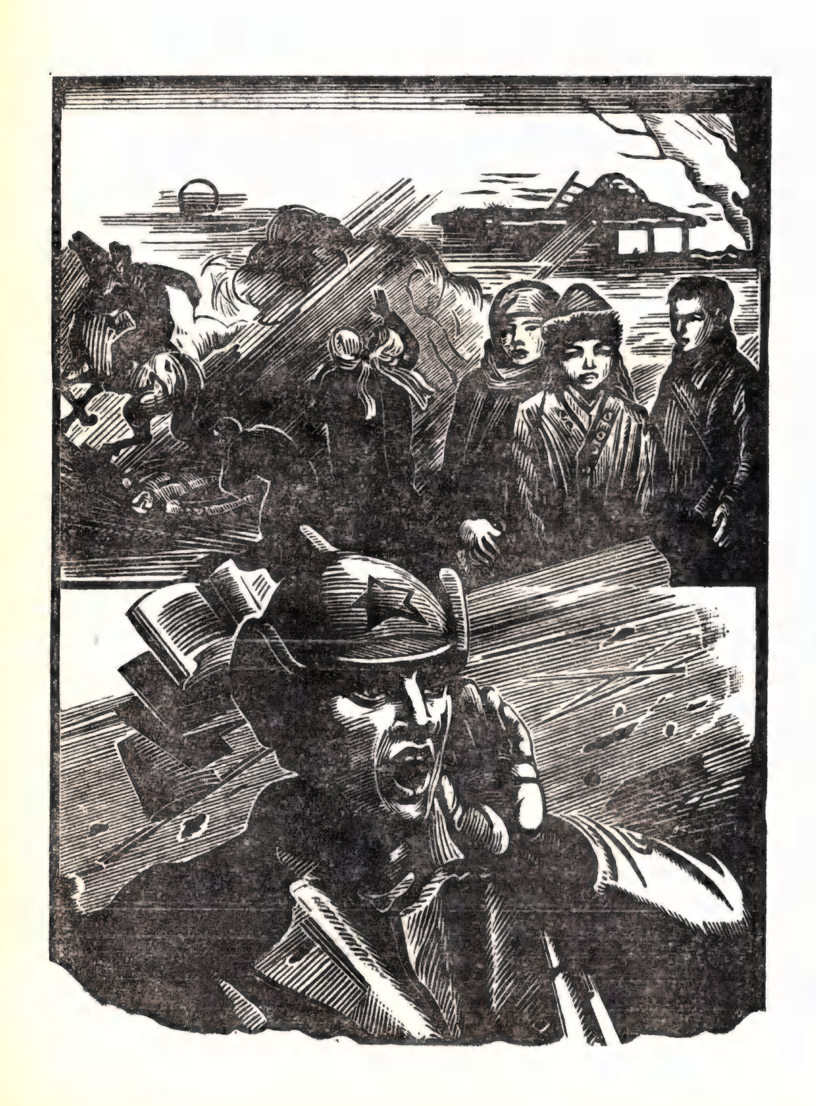
И сейчас бывают у меня неудачи, бывают и такие тяжелые минуты, когда я теряю веру в себя. И тогда меня тянет к этой родной мне картине, к Данияру и Джамиле. Подолгу я смотрю на них и каждый раз веду с ними разговор.

Где вы сейчас, по каким дорогам шагаете? Много у нас теперь в степи новых дорог — по всему Казахстану до Алтая и Сибири! Много смелых людей трудится там. Может, и вы подались в те края? Ты ушла, моя Джамиля, по широкой степи, не оглядываясь. Может, ты устала, может, потеряла веру в себя? Прислонись к Данияру. Пусть он споет тебе свою песню о любви, о земле, о жизни! Пусть всколыхнется и заиграет всеми красками степь! Пусть вспомнится тебе та августовская ночь! Иди, Джамиля, не раскаивайся, ты нашла свое трудное счастье!

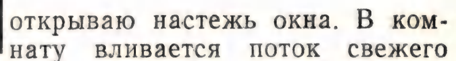
Я смотрю на них и слышу голос Данияра. Он зовет и меня в путь-дорогу — значит, пора собираться. Я пойду по степи в свой аил, я найду там новые краски.

Пусть в каждом мазке моем звучит напев Данияра! Пусть в каждом мазке моем бьется сердце Джамили!





ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ



Я открываю настежь окна. В комнату вливается поток свежего воздуха. В яснеющем голубоватом сумраке я всматриваюсь в этюды и наброски начатой мною картины. Их много, я много раз начинал все заново. Но о картине в целом судить пока рано. Я не нашел еще своего главного, того, что приходит вдруг так неотвратимо, с такой нарастающей ясностью и необъяснимым, неуловимым звучанием в душе, как эти ранние летние зори. Я хожу в предрассветной тиши и все думаю, думаю, думаю. И так каждый раз. И каждый раз я убеждаюсь в том, что моя картина — еще только замысел.

Я не сторонник того, чтобы заранее говорить и оповещать даже близких друзей о незаконченной вещи. Не потому, что я слишком ревниво отношусь к своей работе,— просто, мне думается, трудно угадать, каким вырастет ребенок, который сегодня еще в люльке. Так же трудно судить и о незавершенном, невыписанном произведении. Но на этот раз я изменяю своему правилу — я хочу во всеуслышание заявить, а вернее, поделиться с людьми своими мыслями о еще не написанной картине.

Это не прихоть. Я не могу поступить иначе, потому что чувствую — мне одному это не по плечу. История, всколыхнувшая мне душу, история, побудившая меня взяться за кисть, кажется мне настолько огромной, что я один не могу ее объять. Я боюсь не донести, я боюсь расплескать полную чашу. Я хочу, чтобы люди помогли мне советом, подсказали решение, чтобы они хотя бы мысленно стали со мной рядом у мольберта, чтобы они волновались вместе со мной.

Не пожалейте жара своих сердец, подойдите поближе, я обязан рассказать эту историю...

Наш аил Куркуреу расположен в предгорьях, на широком плато, куда сбегаются из многих ущелий шумливые горные речки. Пониже аила раскинулась Желтая долина, огромная казахская степь, окаймленная отрогами Черных гор да темной черточкой железной дороги, уходящей за горизонт на запад, через равнину.

А над аилом, на бугре, стоят два больших тополя. Я помню их с тех пор, как помню себя. С какой стороны ни подъедешь к нашему Куркуреу, прежде всего увидишь эти два тополя, они всегда на виду, точно маяки на горе. Даже и не знаю, чем объяснить,— то ли потому, что впечатления детских лет особенно дороги человеку, то ли это связано с моей профессией художника,— но каждый раз, когда я, сойдя с поезда, еду через степь к себе в аил, я первым долгом издали ищу глазами родные мои тополя.

Как бы высоки они ни были, вряд ли так уж сразу можно увидеть их на таком расстоянии, но для меня они всегда ощутимы, всегда видны.

Сколько раз мне приходилось возвращаться в Куркуреу из дальних краев, и всегда с щемящей тоской я думал: «Скоро ли увижу их, тополя-близнецы? Скорей бы приехать в аил, скорей на бугор к тополям. А потом стоять под деревьями и долго, до упоения слушать шум листвы».

В нашем аиле сколько угодно всяких деревьев, но эти тополя особенные — у них свой особый язык и, должно быть, своя особая, певучая душа. Когда ни придешь сюда: днем ли, ночью ли, они раскачиваются, перехлестываясь ветвями и листьями, шумят неумолчно на разные лады. То кажется, будто тихая волна прилива плещется о песок, то пробежит по ветвям, словно незримый огонек, страстный, горячий шепот, то вдруг, на мгновенье затихнув, тополя разом, всей взбудораженной листвой шумно вздохнут, будто тоскуя о ком-то. А когда набегает грозовая туча и буря, заламывая ветви, обрывает листву, тополя, упруго раскачиваясь, гудят, как бушующее пламя.

Позже, много лет спустя, я понял тайну двух тополей. Они стоят на возвышенности, открытой всем ветрам, и отзываются на малейшее движение воздуха, каждый листик чутко улавливает легчайшее дуновение.

Но открытие этой простой истины вовсе не разочаровало меня, не лишило того детского восприятия, которое я сохраняю по сей день. И по сей день эти два тополя на бугре кажутся мне необыкновенными, живыми. Там, подле них, осталось мое детство, как осколок зеленого волшебного стеклышка...

В последний год учебы, перед началом летних каникул, мы, мальчишки, мчались сюда разорять птичьи гнезда. Всякий раз, когда мы с гиканьем и свистом взбегали на бугор, тополя-великаны, покачиваясь из стороны в сторону, вроде бы приветствовали нас своей прохладной тенью и ласковым шелестом листьев. А мы, босоногие сорванцы, подсаживая друг друга, карабкались вверх по сучьям и веткам, поднимая переполох в птичьем царстве. Стаи встревоженных птиц с криком носились над нами. Но нам все было нипочем, куда там! Мы взбирались все выше и выше — а ну, кто смелее и ловчее! — и вдруг с огромной высоты, с высоты птичьего полета, точно бы по волшебству, открывался перед нами дивный мир простора и света.

Нас поражало величие земли. Затаив дыхание, мы замирали каждый на своей ветке и забывали о гнездах и птицах. Колхозная конюшня, которую мы считали самым большим зданием на свете, отсюда казалась нам обыкновенным сарайчиком. А за аилом терялась в смутном мареве распростертая целинная степь. Мы всматривались в ее сизые дали, насколько хватал глаз, и видели еще много-много земель, о которых прежде не подозревали, видели реки, о которых прежде не ведали. Реки серебрились на горизонте тоненькими ниточками. Мы думали, притаившись на ветках: это ли край света или дальше есть такое же небо, такие же тучи, степи и реки? Мы слушали, притаившись на ветках, неземные звуки ветров, а листья в ответ им дружно нашептывали о заманчивых, загадочных краях, что скрывались за сизыми далями.

Я слушал шум тополей, и сердце у меня колотилось от страха и радости, и под этот неумолчный шелест я силился представить себе те далекие дали. Лишь об одном, оказывается, я не думал в ту пору: кто посадил здесь эти деревья? О чем мечтал, о чем говорил этот неизвестный, опуская в землю корни деревцев, с какой надеждой растил он их здесь, на взгорье?

Этот бугор, где стояли тополя, у нас почему-то называли «школой Дюйшена». Помню, если случалось кому искать пропавшую лошадь и человек обращался к встречному: «Слушай, не видел ты моего гнедого?»— ему чаще всего отвечали: «Вон наверху, возле школы Дюйшена, паслись ночью кони, сходи, может, и своего там найдешь». Подражая взрослым, мы, мальчишки, не задумываясь, повторяли: «Айда, ребята, в школу Дюйшена, на тополя,— воробьев разгонять!»

Рассказывали, что когда-то на этом бугре была школа. Мы и следа ее не застали. В детстве я не раз пытался найти хотя бы развалины, бродил, искал, но ничего не обнаружил. Потом мне стало казаться странным, что голый бугор называют «школой Дюйшена», и я как-то спросил у стариков, кто он такой, этот Дюйшен. Один из них небрежно махнул рукой: «Кто такой Дюйшен? Да тот самый, что и сейчас тут живет, из рода Хромой овцы. Давно это было, Дюйшен в ту пору комсомольцем был. На бугре том стоял чей-то заброшенный сарай. А Дюйшен там школу открыл, детей учил. Да разве же то школа была, название одно. Ох, и интересные же времена были! Тогда кто мог схватиться за гриву коня и вдеть ногу в стремя — тот сам себе начальник. Так и Дюйшен. Что взбрело ему в голову, то и сделал. А теперь и камешка не найдешь от того сарайчика, одна польза, что название осталось...»

Я мало знал Дюйшена. Помнится, это был пожилой уже человек, высокий, угловатый, с нависшими орлиными бровями. Его двор был по ту сторону реки, на улице второй бригады. Когда я еще жил в аиле, Дюйшен работал колхозным мирабом [1] и вечно пропадал на полях. Изредка он проезжал по нашей улице, подвязав к седлу большой кетмень [2], и конь его был похож чем-то на хозяина — такой же костлявый, тонконогий. А потом Дюйшен постарел, и говорили, что он стал возить почту. Но это к слову. Дело в другом. В моем тогдашнем понятии комсомолец — это горячий на работу и на слово джигит, самый боевой из всех в аиле, который и на собрании выступит, и в газете о лодырях и расхитителях напишет.

---

[1] Мираб — лицо, ведающее оросительной системой.

[2] Кетмень — сельскохозяйственное орудие типа мотыги.

И я никак не мог себе представить, что этот бородатый смирный человек был когда-то комсомольцем, да к тому же, что самое удивительное, учил детей, будучи сам малограмотным. Нет, не укладывалось такое у меня в голове! Откровенно говоря, я считал, что это одна из многочисленных сказок, которые бытуют в нашем аиле. Но все оказалось совсем не так.

Прошлой осенью я получил из аила телеграмму. Земляки приглашали меня на торжественное открытие новой школы, которую колхоз построил своими силами. Я сразу решил — ехать, не мог же я в такой радостный день для нашего аила усидеть дома. Я выехал даже на несколько дней раньше. Поброжу, думал, погляжу, сделаю новые зарисовки. Из приглашенных ждали, оказывается, и академика Сулайманову. Мне сказали, что она пробудет здесь день-два и отсюда поедет в Москву.

Я знал, что эта прославленная теперь женщина в детстве ушла из нашего аила в город. Став горожанином, я познакомился с ней. Она была уже в преклонном возрасте, полная, с густой проседью в гладко зачесанных волосах. Наша знаменитая землячка заведовала кафедрой в университете, читала лекции по философии, работала в академии, часто ездила за границу. Словом, человеком она была занятым, и мне не удавалось познакомиться с ней поближе, но каждый раз, где бы мы ни встречались, она всегда интересовалась жизнью нашего аила и непременно, пусть даже коротко, высказывала мнение о моих работах. Однажды я решился сказать ей:

— Алтынай Сулаймановна, хорошо бы вам съездить в аил, повидаться с земляками. Вас там все знают, гордятся вами, но знают-то больше понаслышке и, случается, поговаривают, что, мол, наша знаменитая ученая, видно, чурается нас, дорогу позабыла в свой Куркуреу.

— Надо бы, конечно, съездить,— невесело улыбнулась тогда Алтынай Сулаймановна.— Я и сама давно мечтаю побывать в Куркуреу, век уже не была там. Правда, родственников у меня в аиле нет. Но дело ведь не в этом. Непременно поеду, я должна поехать, истосковалась по родным краям.

Академик Сулайманова приехала в аил, когда торжественное собрание в школе вот-вот должно уже бы-

ло начаться. Колхозники увидели в окно ее машину, и все повалили на улицу. Знакомым и незнакомым, старым и малым — всем хотелось пожать ей руку. Пожалуй, Алтынай Сулаймановна не ожидала такой встречи и, как мне показалось, даже растерялась. Приложив руки к груди, она кланялась людям и с трудом пробиралась в президиум на сцену.

Наверно, не раз на своем веку Алтынай Сулаймановна бывала на торжественных собраниях, и встречали ее, наверно, всегда и с радостью, и с почестями, но здесь, в обыкновенной сельской школе, радушие земляков очень растрогало ее, взволновало, и она все пыталась скрыть непрошеные слезы.

После торжественной части пионеры повязали дорогой гостье красный галстук, преподнесли цветы и ее именем открыли почетную книгу новой школы. Потом был концерт школьной самодеятельности — очень интересный и веселый, после которого директор школы пригласил нас — гостей, учителей и активистов колхоза — к себе.

И здесь не могли нарадоваться приезду Алтынай Сулаймановны. Ее посадили на самое почетное место, украшенное коврами, и всячески старались подчеркнуть свое к ней уважение. Как всегда в таких случаях, было шумно, гости оживленно разговаривали, провозглашали тосты. Но вот в дом вошел местный паренек и подал хозяину пачку телеграмм. Телеграммы пошли по рукам: бывшие ученики поздравляли своих земляков с открытием школы.

— Слушай, а телеграммы эти старик Дюйшен привез, что ли? — спросил директор.

— Да,— ответил парень.— Всю дорогу, говорит, подстегивал коня, хотел поспеть к собранию, чтобы при народе прочитали. Опоздал малость наш аксакал, огорченный приехал.

— Так что ж он там стоит, пусть слезает с коня, зови его!

Парень вышел позвать Дюйшена. Алтынай Сулаймановна, сидевшая рядом со мной, почему-то встрепенулась и как-то странно, словно внезапно вспомнив о чем-то, спросила у меня, о каком это Дюйшене говорят.

— А это колхозный почтальон, Алтынай Сулаймановна. Вы знаете старика Дюйшена?

Она неопределенно кивнула, потом попыталась было встать, но в этот момент мимо окна кто-то с топотом проехал на коне, и парень, вернувшийся назад, сказал хозяину:

— Я его звал, агай, но он уехал, ему еще надо письма развозить.

— Ну и пусть развозит, незачем его задерживать. Потом со стариками посидит,— недовольно проговорил кто-то.

— О-о! Вы не знаете нашего Дюйшена! Он человек закона. Пока дела не выполнит, никуда не завернет.

— Верно, странный он человек. После войны вышел из госпиталя, на Украине это было, и остался там жить, всего лет пять как вернулся. Умирать, говорит, вернулся на родину. Всю жизнь бобылем так и живет...

— А все-таки зайти бы ему сейчас... Ну да ладно.— И хозяин махнул рукой.

— Товарищи, когда-то мы учились, если кто помнит, в школе Дюйшена.— Один из почтеннейших людей аила поднял бокал.— А сам-то он наверняка не знал всех букв алфавита.— Говоривший зажмурил при этом глаза и покачал головой. Весь вид его выражал и удивление и насмешку.

— А ведь и правда, было так,— отозвалось несколько голосов.

Кругом засмеялись.

— Что уж там говорить? Чего только не затевал тогда Дюйшен. А мы-то ведь всерьез считали его учителем.

Когда смех утих, человек, поднявший бокал, продолжал:

— Ну а теперь люди выросли на наших глазах. Академик Алтынай известна на всю страну. Почти все мы со средним образованием, а многие имеют высшее. Сегодня мы открыли у себя в аиле новую среднюю школу, одно это уже говорит, насколько изменилась жизнь. Так давайте, земляки, выпьем за то, чтобы и впредь сыновья и дочери Куркуреу были передовыми людьми своего времени!

Все опять зашумели, дружно поддержав тост, и только Алтынай Сулаймановна покраснела, чем-то очень смущенная, и лишь пригубила бокал. Но празднично настроенные люди, занятые разговором, не замечали ее состояния.

Алтынай Сулаймановна несколько раз взглянула на часы. А потом, когда гости вышли на улицу, я увидел, что она стоит в стороне от всех у арыка и пристально смотрит на бугор — туда, где покачиваются на ветру порыжевшие осенние тополя. Солнце было на закате — у сиреневой черточки далекой сумеречной степи. Оно светило оттуда меркнущим светом, окрашивая верхушки тополей тусклым, печальным багрянцем.

Я подошел к Алтынай Сулаймановне.

— Сейчас они листву роняют, а посмотрели бы вы на эти тополя весной, в пору цвета,— сказал я ей.

— И я об этом же думаю,— вздохнула Алтынай Сулаймановна и, помолчав, добавила, словно бы про себя: — Да, у всего живого есть своя весна и своя осень.

По ее увядающему, со множеством мелких морщинок вокруг глаз лицу пробежала грустная, задумчивая тень. Она смотрела на тополя как-то очень по-женски, горестно. И я вдруг увидел, что передо мной стоит не академик Сулайманова, а самая обыкновенная киргизская женщина, бесхитростная и в радостях и в печалях. Эта ученая женщина, видимо, вспомнила сейчас пору своей юности, которой, как поется в наших песнях, не докричишься с самой высокой горной вершины. Она, кажется, хотела что-то сказать, глядя на тополя, но потом, наверно, передумала и порывисто надела очки, которые держала в руке.

— Московский поезд здесь проходит, кажется, в одиннадцать?

— Да, в одиннадцать ночи.

— Значит, мне надо собираться.

— Почему вдруг? Алтынай Сулаймановна, вы же обещали побыть здесь несколько дней. Народ вас не отпустит.

— Нет, у меня срочные дела. Я должна сейчас же ехать.

Как ни уговаривали ее земляки, как ни выражали они свою обиду, Алтынай Сулаймановна была неумолима.

Тем временем стало смеркаться. Огорченные земляки посадили ее в машину, взяв слово, что она приедет в другой раз на неделю, а то и больше. Я поехал проводить Алтынай Сулаймановну до станции.

Почему Алтынай Сулаймановна так неожиданно заторопилась? Обидеть земляков, тем более в такой

день, мне казалось просто неразумным. По дороге я несколько раз собирался спросить ее об этом, но не посмел. Не потому, что боялся показаться бестактным,— просто я понял, что она все равно ничего не скажет. Всю дорогу она ехала молча, о чем-то крепко задумавшись.

На станции я все-таки спросил ее:

— Алтынай Сулаймановна, вы чем-то расстроены, может, мы обидели вас?

— Ну что вы! И не смейте так думать! На кого я могла обидеться? Разве что на себя. Да, на себя можно было, пожалуй, обидеться.

Так и уехала Алтынай Сулаймановна. Я вернулся в город и через несколько дней неожиданно получил от нее письмо. Сообщая о том, что она задержится в Москве дольше, чем предполагала, Алтынай Сулаймановна писала:

«Хотя у меня множество важных и срочных дел, я решила все отложить и написать вам это письмо... Если вам покажется интересным то, что я здесь пишу, я вас убедительно прошу подумать над тем, как это можно будет использовать, чтобы поведать людям обо всем, что я расскажу. Я считаю, что это нужно не только нашим землякам, это нужно всем, в особенности молодежи. К такому убеждению я пришла после долгих раздумий. Это моя исповедь перед людьми. Я должна исполнить свой долг. Чем больше людей узнает об этом, тем меньше будут мучить меня угрызения совести. Не бойтесь поставить меня в неловкое положение. Ничего не скрывайте...»

Несколько дней я ходил под впечатлением ее письма. И ничего лучшего не придумал, как рассказать обо всем от имени самой Алтынай Сулаймановны.

Это было в 1924 году. Да, именно в тот год...

Там, где сейчас находится наш колхоз, тогда был небольшой аил оседлых бедняков-джатакчей. Мне в ту пору было лет четырнадцать, и жила я у двоюродного брата своего покойного отца. Матери у меня тоже не было.

Еще осенью, вскоре после того, как те, что побогаче, откочевали в горы на зимовья, к нам в аил пришел незнакомый парень в солдатской шинели. Я запомни-

ла его шинель, потому что она была почему-то из черного сукна. Появление человека в казенной шинели явилось для нашего аила, отдаленного от дорог, приткнувшегося где-то под горами, настоящим событием.

Сперва утверждали, что в армии он ходил в командирах, а потому и в аиле будет начальником, потом оказалось, что вовсе он никакой не командир, а сын того самого Таштанбека, который ушел из аила на железную дорогу еще в голод, много лет назад, да так и пропал. А он, сын его Дюйшен, будто прислан в аил для того, чтобы открыть здесь школу и учить детей.

В те времена такие слова, как «школа», «учеба», были в новинку, и люди не очень-то в них разбирались. Кто-то верил слухам, кто-то считал все это бабьими сплетнями, и, быть может, вообще забыли бы о школе, если бы вскоре не созвали народ на сходку. Мой дядя долго ворчал: «Это еще что за собрание такое, вечно отрывают от дела по всяким пустякам»,— но потом все-таки оседлал свою лошаденку и поехал на собрание верхом, как и положено всякому уважающему себя мужчине. Вслед за ним вместе с соседскими ребятами увязалась и я.

Когда мы, запыхавшись, прибежали на пригорок, где обычно проходили сходки, там уже перед кучкой пеших и конных людей выступал тот самый бледнолицый парень в черной шинели. Мы не могли расслышать его слов и придвинулись было ближе, но тут один старик в драной шубе, словно очнувшись, торопливо перебил его.

— Слушай, сынок,— начал он заикающейся скороговоркой,— раньше детей учили муллы, а твоего отца мы знали: такая же голытьба, как и мы. Так скажи на милость, когда это ты успел сделаться муллой.

— Я не мулла, аксакал, я комсомолец,— быстро отозвался Дюйшен.— А детей теперь будут учить не муллы, а учителя. Я обучался грамоте в армии и до этого малость учился. Вот какой я мулла.

— Ну это дело...

— Молодец! — раздались одобрительные возгласы.

— Так вот, комсомол послал меня учить ваших детей. А для этого нам нужно какое-нибудь помещение. Я думаю устроить школу, с вашей помощью ко-

нечно, вон в той старой конюшне, что стоит на бугре. Что скажете на это, земляки?

Люди замялись, как бы прикидывая в уме: куда он гнет, этот пришлый? Молчание прервал Сатымкул-спорщик, прозванный так за свою несговорчивость. Он давно уже прислушивался к разговорам, облокотясь на луку седла, и изредка поплевывал сквозь зубы.

— Ты постой, парень,— проговорил Сатымкул, прищуривая глаз, словно бы прицеливаясь.— Ты лучше скажи, зачем она нам, школа?

— Как зачем? — растерялся Дюйшен.

— А верно ведь! — подхватил кто-то из толпы.

И все разом зашевелились, зашумели.

— Мы испокон веков живем дехканским трудом, нас кетмень кормит. И дети наши будут жить так же, на кой черт им учение. Грамота начальникам требуется, а мы простой народ. И не морочь нам голову!

Голоса приутихли.

— Так неужели вы против того, чтобы ваши дети учились? — спросил ошарашенный Дюйшен, пристально вглядываясь в лица окружавших его людей.

— А если против, то что, силком заставишь? Прошли те времена. Мы теперь народ свободный, как хотим, так и будем жить!

Кровь отхлынула с лица Дюйшена. Обрывая дрожащими пальцами крючки шинели, он вытащил из кармана гимнастерки лист бумаги, сложенный вчетверо, и, торопливо развернув его, поднял над головой:

— Значит, вы против этой бумаги, где сказано об учении детей, где поставлена печать Советской власти? А кто вам дал землю, воду, кто дал вам волю? Ну, кто против законов Советской власти, кто? Отвечай!

Он выкрикнул слово «отвечай» с такой звенящей, гневной силой, что оно, как пуля, прорезало теплынь осенней тиши и словно выстрел отозвалось коротким эхом в скалах. Никто не проронил ни слова. Люди молчали, понурив головы.

— Мы бедняки,— уже тихо проговорил Дюйшен.— Нас всю жизнь топтали и унижали. Мы жили в темноте. А теперь Советская власть хочет, чтобы мы увидели свет, чтобы мы научились читать и писать. А для этого надо учить детей...

Дюйшен выжидающе умолк. И тогда тот самый, в драной шубе, что спрашивал его, как он сделался муллой, пробормотал примирительным тоном:

— Ладно уж, учи, если тебе охота, нам-то что... Мы не против закона.

— Но я прошу вас помочь мне. Нам надо отремонтировать эту байскую конюшню на горе, надо перекинуть мост через речку, дрова нужны школе...

— Погоди, джигит, очень уж ты прыткий! — оборвал Дюйшена несговорчивый Сатымкул.

Сплюнув сквозь зубы, он опять прищурил глаз, словно бы прицеливаясь.

— Вот ты на весь аил кричишь: «Школу буду открывать!» А поглядеть на тебя — ни шубы на тебе, ни коня под тобой, ни землицы вспаханной в поле, хоть бы с ладонь, ни единой скотинки во дворе! Так как же ты думаешь жить, дорогой человек? Разве что чужие табуны угонять... Только у нас их нет. А у кого табуны есть — те в горах.

Дюйшен хотел ответить что-то резкое, но сдержал себя и негромко сказал:

— Проживу как-нибудь. Жалованье буду получать.

— Да-а, давно бы так! — И Сатымкул, очень довольный собой, с победоносным видом выпрямился в седле.— Вот теперь все ясно. Ты, джигит, сам делай свои дела и на свое жалованье детей учи. В казне денег хватит. А нас оставь в покое, у нас, слава богу, своих забот полон рот...

С этими словами Сатымкул повернул коня и поехал домой. Вслед за ним потянулись другие. А Дюйшен так и остался стоять, держа в руке свою бумагу. Он, бедняга, не знал, куда ему теперь податься...

Мне стало жаль Дюйшена. Я смотрела на него не отрывая глаз, пока мой дядя, проезжая мимо, не окликнул меня:

— А ты, косматая, что тут делаешь, что рот разинула, а ну, беги домой! — И я кинулась догонять ребят.— Ишь ты, и они уже повадились на сходки!

На другой день, когда мы, девчонки, пошли по воду, нам встретился у реки Дюйшен. Он перебирался вброд на другой берег с лопатой, кетменем, топором и каким-то старым ведром в руках.

С этого дня каждое утро одинокая фигура Дюйшена в черной шинели поднималась по тропинке на

бугор к заброшенной конюшне. И лишь поздно вечером Дюйшен спускался вниз, к аилу. Частенько мы его видели с большущей вязанкой курая или соломы на спине. Заметив его издали, люди привставали на стременах и, приложив руку к глазам, удивленно переговаривались:

— Слушай, да это никак учитель Дюйшен несет вязанку?

— Он самый.

— Эх, бедняга. Учительское дело тоже, видно, не из легких.

— А ты как думал. Гляди, сколько прет на себе, не хуже, чем байский батрак.

— А послушаешь его речи, так куда там!

— Ну, это потому, что бумага у него с печатью: в ней вся сила.

Как-то раз, возвращаясь с полными мешками кизяка, который обычно собирали в предгорье над аилом, мы завернули к школе: интересно было посмотреть, что там делает учитель. Старый глинобитный сарай прежде был байской конюшней. Зимой здесь держали кобыл, ожеребившихся в ненастье. После прихода Советской власти бай куда-то откочевал, а конюшня так и осталась стоять. Никто сюда не ходил, и все вокруг поросло репьем да колючками. Теперь сорняки, вырубленные с корнем, лежали в стороне, собранные в кучу, двор был расчищен. Обвалившиеся, размытые дождями стены были подмазаны глиной, а скособоченная, рассохшаяся дверь, вечно болтавшаяся на одной петле, оказалась починенной и прилаженной на место.

Когда мы опустили свои мешки на землю, чтобы немного отдохнуть, из дверей вышел Дюйшен, весь заляпанный глиной. Увидев нас, он удивился, а потом приветливо улыбнулся, стирая с лица пот.

— Откуда это вы, девочки?

Мы сидели на земле подле мешков и смущенно переглядывались. Дюйшен понял, что мы молчим от застенчивости, и ободряюще подмигнул нам:

— Мешки-то больше вас самих. Очень хорошо, девочки, что заглянули сюда, вам ведь здесь учиться. А школа ваша, можно сказать, почти готова. Только что сложил в углу что-то вроде печки и даже трубу вывел над крышей, видите какая! Теперь осталось

топлива на зиму заготовить, да ничего — курая много вокруг. А на пол постелим побольше соломы и начнем учебу. Ну как, хотите учиться, будете ходить в школу?

Я была старше своих подруг и поэтому решилась ответить.

— Если тетка отпустит, буду ходить,— сказала я.

— Ну почему же не отпустит,— отпустит, конечно. А как тебя звать?

— Алтынай,— ответила я, прикрывая ладонью колено, видневшееся сквозь дыру на подоле.

— Алтынай — хорошее имя.— Он улыбнулся както так хорошо, что на сердце потеплело.— Ты чья будешь?

Я помолчала: не любила, когда меня жалели.

— Сирота она, у дяди живет,— подсказали подруги.

— Так вот, Алтынай,— снова улыбнулся мне Дюйшен,— ты и других ребят веди в школу. Ладно? И вы, девочки, приходите.

— Ладно, дяденька.

— Меня учителем зовите. А хотите посмотреть школу? Заходите, не робейте.

— Нет, мы пойдем, нам надо домой,— застеснялись мы.

— Ну хорошо, бегите домой. Посмотрите потом, когда придете учиться. А я еще разок схожу за кураем, пока не стемнело.

Прихватив веревку и серп, Дюйшен пошел в поле. Мы тоже поднялись, взвалили на спины мешки и засеменили к аилу. Мне вдруг пришла в голову неожиданная мысль.

— Стойте, девочки! — крикнула я своим подругам.— Давайте высыпем кизяки в школе, все больше топлива на зиму будет.

— А домой придем с пустыми руками? Ишь ты, умная какая!

— Да мы вернемся и насобираем еще.

— Нет уж, поздно будет, дома заругают.

И, уже не ожидая меня, девочки заторопились домой.

До сих пор не могу понять, что заставило меня в тот день решиться на такое дело. То ли я обиделась

на подруг за то, что не послушались меня, и потому решила настоять на своем, то ли оттого, что с малых лет моя воля, мои желания были захоронены под окриками и подзатыльниками грубых людей, но мне вдруг захотелось хоть чем-нибудь отблагодарить незнакомого, в сущности, человека за его улыбку, от которой потеплело на сердце, за его небольшое доверие ко мне, за его несколько добрых слов. И я хорошо знаю, я убеждена в том, что настоящая судьба моя, вся моя жизнь со всеми ее радостями и муками началась именно в тот день, с того самого мешка кизяка. Я говорю так, потому что именно в тот день я первый раз за всю свою жизнь, не задумываясь, не боясь наказания, решила и сделала то, что посчитала нужным. Когда подружки покинули меня, я бегом вернулась к школе Дюйшена, опорожнила мешок под дверью и тут же пустилась со всех ног по лощинам и балкам предгорья собирать кизяк.

Я бежала, не думая куда, словно бы от избытка сил, и сердце мое билось в груди так радостно, словно бы я совершила величайший подвиг. И солнце словно бы знало, отчего я так счастлива. Да, я верю, что оно знало, почему я так легко и вольно бегу. Потому что я сделала маленькое доброе дело.

Солнце уже склонилось к холмам, но оно, казалось мне, медлило, не скрывалось, оно хотело наглядеться на меня. Оно украшало мою дорогу: пожухлая осенняя земля стелилась под ногами в багряных, розовых и лиловых красках. Мерцающим пламенем проносились по сторонам метелки сухих чийняков. Солнце горело огнем на посеребренных пуговицах моего испещренного заплатами бешмета. А я все бежала вперед и мысленно ликовала, обращаясь к земле, к небу и ветру: «Смотрите на меня! Смотрите, какая я гордая! Я буду учиться, я пойду в школу и поведу за собой других!..»

Не знаю, долго ли я так бежала, но потом вдруг опомнилась: надо собирать кизяк. И вот странность какая: все лето здесь бродило столько скота и столько здесь кизяка было всегда на каждом шагу, а сейчас его точно земля проглотила. А может, я просто не искала? Я перебегала с места на место и чем дальше, тем реже находила кизяк. Тогда я подумала, что не успею засветло набрать полный мешок, и перепуга-

лась, и заметалась по кустам чия, заторопилась. Набрала кое-как полмешка. Тем временем угас закат, в лощинах стало быстро темнеть.

Никогда еще не оставалась я одна в поле в такую позднюю пору. Над безлюдными, безмолвными холмами нависло черное крыло ночи. Не помня себя от страха, я перекинула мешок за плечо и бросилась бежать к аилу. Мне было жутко, быть может, я даже закричала бы, заплакала, но меня удерживала от этого, как ни странно, безотчетная мысль о том, что сказал бы учитель Дюйшен, если бы увидел меня такой беспомощной. И я крепилась, запрещая себе лишний раз оглянуться, точно бы учитель наблюдал за мной со стороны.

Я прибежала домой запыхавшись, в поту и пыли. Тяжело дыша, переступила порог. Тетка, сидевшая у огня, угрожающе поднялась мне навстречу. Она была злая и грубая женщина.

— Ты где это пропадала? — подступила она ко мне, и я слова не успела вымолвить, как она выхватила у меня мешок и швырнула его в сторону.— И это все, что ты собрала за весь день?

Подружки мои, оказывается, успели ей насплетничать.

— Ах ты, черномазая тварь! Что тебя понесло в школу? Почему ты не подохла там, в этой школе! — Тетка схватила меня за ухо и принялась колотить по голове.— Сирота поганая! Волчонок никогда не станет собакой. У людей дети в дом тащат, а она — из дома. Я тебе покажу школу, посмей только близко подойти, ноги переломаю. Ты у меня попомнишь школу...

Я молчала, я только старалась не кричать. Но потом, приглядывая за огнем в очаге, я плакала беззвучно, украдкой, тихо поглаживая нашу серую кошку, а кошка, между прочим, всегда знала, когда я плачу, и прыгала ко мне на колени. Я плакала не от теткиных побоев, нет — к ним мне было не привыкать,— я плакала потому, что поняла: тетка ни за что не пустит меня в школу...

Дня через два после этого ранним утром в аиле беспокойно залаяли собаки, послышались громкие голоса. Оказывается, это Дюйшен ходил по дворам, собирая детей в школу. Тогда не было улиц, подсле-

поватые серые мазанки наши были беспорядочно разбросаны по аилу, каждый селился там, где ему заблагорассудится. Дюйшен и с ним ребятишки шумной гурьбой переходили от двора к двору.

Наш двор стоял с самого края. Мы с теткой как раз рушили просо в деревянной ступе, а дядя откапывал пшеницу, хранившуюся в яме возле сарая: он собирался везти зерно на базар. Мы, как молотобойцы, поочередно ударяли тяжелыми пестами, но я еще успевала украдкой глянуть, далеко ли учитель. Я боялась, что он не дойдет до нашего двора. И хотя я знала, что тетка не отпустит меня в школу, все-таки мне хотелось, чтобы Дюйшен пришел сюда, чтобы он хотя бы увидел, где я живу. И я молила про себя учителя, чтобы он не повернул обратно, не дойдя до нас.

— Здравствуйте, хозяйка, да поможет вам бог! А бог не поможет, так мы всем гуртом поможем, смотрите, сколько нас! — шуткой приветствовал тетку Дюйшен, ведя за собой будущих учеников.

Она что-то промычала в ответ, а дядя, тот даже головы из ямы не поднял.

Это смутило Дюйшена. Он деловито опустился на колоду, что лежала посреди двора, достал карандаш и бумагу:

— Сегодня мы начинаем учебу в школе. Сколько лет вашей дочери?

Ничего не ответив, тетка со злостью всадила пест в ступу. Она явно не собиралась поддерживать разговор. Я внутренне вся съежилась: что же будет теперь? Дюйшен глянул на меня и улыбнулся. И как в тот раз, у меня потеплело на сердце.

— Алтынай, сколько тебе лет? — спросил он.

Я не посмела ответить.

— А зачем тебе знать, что ты за проверщик такой! — раздраженно отозвалась тетка.— Ей не до учебы. Не такие безродные, а те, что с отцом да с матерью, и то не учатся. Ты вон набрал себе ораву и гони их в школу, а тут тебе делать нечего.

Дюйшен вскочил с места.

— Подумайте, что вы говорите! Разве она виновата в своем сиротстве? Или есть такой закон, чтобы сироты не учились?

— А мне дела нет до твоих законов. У меня свои законы, и ты мне не указывай!

— Законы у нас одни. И если эта девочка вам не нужна, то нам она нужна. Советской власти нужна. А пойдете против нас, так и укажем!

— Да откуда ты взялся, начальник такой! — вызывающе подбоченилась тетка.— Кто же, по-твоему, должен распоряжаться ею? Я, которая ее кормлю и пою, или ты, сын бродяги и сам скиталец?!

Кто знает, чем бы все это кончилось, если бы в этот момент не показался из ямы голый по пояс дядя. Он терпеть не мог, когда жена лезла не в свои дела, забывая, что в доме есть муж, хозяин. Он нещадно бил ее за это. И в этот раз, видно, закипела в нем злоба.

— Эй, баба,— гаркнул он, выбираясь из ямы.— С каких это пор ты стала головой в доме, с каких это пор ты стала распоряжаться? Поменьше болтай, побольше делай. А ты, сын Таштанбека, забирай девчонку, хочешь — учи, хочешь — изжарь ее. А ну, убирайся со двора!

— Ах так, она будет шляться по школам, а дома, а по хозяйству кто? Все я? — заголосила было тетка.

Но муж цыкнул на нее:

— Сказано — все!

Нет худа без добра. Вот как суждено мне было пойти первый раз в школу.

С этого дня каждое утро Дюйшен собирал нас по дворам.

Когда мы первый раз пришли в школу, учитель усадил нас на разостланную по полу солому и дал каждому по тетрадке, по карандашу и по дощечке.

— Дощечки положите на колени, чтобы удобнее было писать,— объяснил Дюйшен.

Потом он показал на портрет русского человека, прикленный к стене.

— Это Ленин! — сказал он.

На всю жизнь запомнила я этот портрет. Впоследствии он мне почему-то больше не встречался, и про себя я называю его «дюйшеновским». На том портрете Ленин был в несколько мешковатом военном френче, осунувшийся, с отросшей бородой. Раненая рука его висела на повязке, из-под кепки, сдвинутой на затылок, спокойно смотрели внимательные глаза. Их мягкий, согревающий взгляд, казалось, говорил нам: «Если бы вы знали, дети, какое прекрасное будущее

ожидает вас!» Мне казалось в ту тихую минуту, что он в самом деле думал о моем будущем.

Судя по всему, у Дюйшена давно хранился этот портрет, отпечатанный на простой плакатной бумаге,— он потерся на сгибах, края его обтрепались. Но, кроме этого портрета, больше ничего в школьных четырех стенах не было.

— Я научу вас, дети, читать и считать, покажу, как пишутся буквы и цифры,— говорил Дюйшен.— Буду учить вас всему, что знаю сам...

И действительно, он учил нас всему, что знал сам, проявляя при этом удивительное терпение. Склоняясь над каждым учеником, он показывал, как нужно держать карандаш, а потом с увлечением объяснял нам непонятные слова.

Думаю я сейчас об этом и диву даюсь: как это малограмотный парень, сам с трудом читавший по слогам, не имевший под рукой ни единого учебника, даже самого обыкновенного букваря, как он мог отважиться на такое поистине великое дело? Шутка ли— учить детей, чьи деды и прадеды до седьмого колена были неграмотны. И конечно же, Дюйшен не имел ни малейшего представления о программе и методике преподавания. Вернее всего, он и не подозревал о существовании таких вещей.

Дюйшен учил нас так, как умел, как мог, как казалось ему нужным, что называется, по наитию. Но я больше чем убеждена, что его чистосердечный энтузиазм, с которым он взялся за дело, не пропал даром.

Сам того не ведая, он совершил подвиг. Да, это был подвиг, потому что в те дни нам, киргизским детям, нигде не бывавшим за пределами аила, в школе, если можно так назвать ту самую мазанку с зияющими щелями, через которые всегда были видны снежные вершины гор, вдруг открылся новый, не слыханный и не виданный прежде мир.

Именно тогда мы узнали, что город Москва, где живет Ленин, во много-много раз больше, чем Аулиэ-Ата, чем даже Ташкент, и что есть на свете моря, большие-большие, как Таласская долина, и что по тем морям плавают корабли, громадные, как горы. Мы узнали о том, что керосин, который привозят с базара, добывается из-под земли. И мы уже тогда твердо верили, что,

когда народ заживет побогаче, наша школа будет помещаться в большом белом доме с большими окнами и что ученики там будут сидеть за столами.

Кое-как постигнув азы, еще не умея написать «мама», «папа», мы уже вывели на бумаге: «Ленин». Наш политический словарь состоял из таких понятий, как «бай», «батрак», «Советы». А через год Дюйшен обещал научить нас писать слово «революция».

Слушая Дюйшена, мы мысленно сражались вместе с ним на фронтах с белыми. А о Ленине он рассказывал так взволнованно, словно видел его своими глазами. Многое из того, что говорил, как я теперь понимаю, было сложенными в народе сказаниями о великом вожде, но для нас, Дюйшеновых учеников, все это представлялось такой же истиной, как то, что молоко белое.

Однажды без всякой задней мысли мы спросили:

— Учитель, а вы с Лениным за руку здоровались?

И тогда наш учитель сокрушенно покачал головой:

— Нет, дети, я никогда не видел Ленина.

Он виновато вздохнул — ему было неловко перед нами.

В конце каждого месяца Дюйшен отправлялся по своим делам в волость. Он ходил туда пешком и возвращался через два-три дня.

Мы по-настоящему тосковали в эти дни. Будь у меня родной брат, я и его, пожалуй, не ждала бы с таким нетерпением, как ждала возвращения Дюйшена. Тайком, чтобы не заметила тетка, я то и дело выбегала на задворки и подолгу глядела в степь, на дорогу: когда же покажется учитель с котомкой за спиной, когда же я увижу его улыбку, согревающую сердце, когда же услышу его слова, приносящие знания.

Среди учеников Дюйшена я была самой старшей. Возможно, поэтому я и училась лучше других, хотя, мне кажется, не только поэтому. Каждое слово учителя, каждая буква, показанная им,— все для меня было свято. И не было для меня ничего важнее на свете, чем постигнуть то, чему учил Дюйшен. Я берегла тетрадь, которую он дал мне, и потому выводила буквы острием серпа на земле, писала углем на дувалах, прутиком на снегу и на дорожной пыли. И не было для меня на свете никого ученее и умнее Дюйшена.

Дело шло к зиме.

До первых снегов мы ходили в школу вброд через каменистую речку, что шумела под бугром. А потом ходить стало невмоготу — ледяная вода обжигала ноги. Особенно страдали малыши, у них даже слезы навертывались на глаза. И тогда Дюйшен стал на руках переносить их через речку. Он сажал одного на спину, другого брал на руки и так по очереди переправлял всех учеников.

Сейчас, когда я вспоминаю об этом, мне просто не верится, что именно так все и было. Но тогда то ли по невежеству своему, то ли по недомыслию люди смеялись над Дюйшеном. Особенно богачи, что зимовали в горах и приезжали сюда только на мельницу. Сколько раз, поравнявшись с нами у брода, таращили они на Дюйшена глаза, проезжая мимо в своих красных лисьих малахаях и в богатых овчинных шубах, на сытых диких конях. Кто-нибудь из них, прыская со смеху, подталкивал соседа:

— Гляди-ка, одного тащит на спине, другого на руках!

И тогда другой, подстегивая храпящего коня, добавлял:

— Эх, провалиться мне сквозь землю, не знал я раньше, вот кого надо было взять во вторые жены!

И, обдавая нас брызгами и комьями грязи из-под копыт, они с хохотом удалялись.

Как мне хотелось тогда догнать этих тупых людей, схватить их коней под уздцы и крикнуть в их глумящиеся рожи: «Не смейте так говорить о нашем учителе! Вы глупые, дурные люди!»

Но кто внял бы голосу безответной девчонки? И мне оставалось лишь глотать горючие слезы обиды. А Дюйшен точно бы и не замечал оскорблений, вроде бы ничего такого и не слышал. Придумает, бывало, какую-нибудь шутку-прибаутку и заставит нас смеяться, позабыв обо всем.

Сколько ни старался Дюйшен, не удавалось ему достать леса, чтобы построить мосток через речку. Както раз, возвращаясь из школы и переправив малышей, мы остались с Дюйшеном на берегу. Решили соорудить из камней и дерна переступки, чтобы больше не мочить ноги.

Если рассудить по справедливости, то стоило жителям нашего аила собраться да сообща перебросить

через поток две-три лесины, глядишь — и мост для школьников был бы готов. Но в том-то и дело, что в те дни люди по темноте своей не придавали значения учебе, а Дюйшена считали в лучшем случае чудаком, который возится с ребятишками от нечего делать. Охота тебе — учи, а нет — разгони всех по домам. Сами они ездили верхом и в переправах не нуждались. А все-таки следовало, конечно, нашему народу призадуматься: ради чего этот молодой парень, который ничем не хуже и не глупее других, ради чего он, терпя трудности и лишения, снося насмешки и оскорбления, учит их детей, да еще с таким необыкновенным упорством, с такой нечеловеческой настойчивостью?

В тот день, когда мы укладывали камни через поток, на земле уже лежал снег и вода была такая студеная, что дух захватывало. Не представляю себе, как терпел Дюйшен, ведь он работал босой, без передышки. Я с трудом ступала по дну, казалось, усеянному жгучими углями. И вот на середине речки судорога в икрах вдруг скорчила меня в три погибели. Я не могла ни вскрикнуть, ни разогнуться и начала медленно валиться в воду. Дюйшен бросил камень, подскочил ко мне, подхватил на руки, выбежал со мной на берег и усадил меня на свою шинель. Он то растирал мои синие, онемевшие ноги, то сжимал в ладонях мои застывшие руки, то подносил их ко рту и согревал дыханием.

— Не надо, Алтынай, посиди тут, согрейся,— приговаривал Дюйшен.— Я и сам справлюсь...

Когда наконец переход был готов, Дюйшен, натягивая сапоги, глянул на меня, нахохленную и озябшую, и улыбнулся:

— Ну как, помощница, отогрелась? Накинь на себя шинель, вот так! — И, помолчав, спросил: — Это ты, Алтынай, оставила в тот раз кизяк в школе?

— Да,— ответила я.

Он улыбнулся чуть заметно, уголками губ, как бы говоря про себя: «Я так и думал!»

Помню, как в ту минуту огнем полыхнули мои щеки: значит, учитель знал и не забывал об этом, казалось бы, пустяковом случае. Я была счастлива, я была на седьмом небе, и Дюйшен понял мою радость.

— Ручеек ты мой светлый,— сказал он, ласково гладя меня.— И способности у тебя хорошие... Эх, если

бы я мог послать тебя в большой город. Каким бы ты человеком стала!

Дюйшен порывисто шагнул к берегу.

И сейчас он стоит перед моими глазами, как стоял тогда у шумливой каменистой речки, закинув руки на затылок, и смотрит устремленными вдаль сияющими глазами на белые облака, гонимые ветром над горами.

О чем он думал тогда? Может быть, и правда, в мечтах своих отправлял меня учиться в большой город? А я думала в ту минуту, кутаясь в шинель Дюйшена: «Если бы учитель был моим родным братом! Если бы я могла кинуться к нему на шею и крепко обнять его и, крепко зажмурив глаза, прошептать ему на ухо самые лучшие на свете слова! Боже, сделай же его моим братом!»

Наверно, мы все любили тогда своего учителя за его человечность, за его добрые помыслы, за его мечты о нашем будущем. Хотя мы и были детьми, мне думается, мы это уже тогда понимали. Что же еще заставило бы нас каждый день ходить в такую даль и взбираться на крутой бугор, задыхаясь от ветра, увязая в сугробах? Мы сами шли в школу. Никто нас не гнал туда. Никто не заставил бы нас мерзнуть в этом холодном сарае, где дыхание оседало белой изморозью на лицах, руках и одежде. Мы только позволяли себе по очереди греться у печки, пока все остальные сидели на своих местах, слушая Дюйшена.

В один из таких студеных дней — это было, как теперь помню, в конце января — Дюйшен собрал нас, обойдя все дворы, и, как обычно, повел в школу. Шел он молчаливый, строгий, со сдвинутыми, как крылья беркута, бровями, и лицо его казалось выкованным из черного, прокаленного железа. Никогда еще не видели мы таким своего учителя. Глядя на него, мы тоже притихли: почувствовали что-то неладное.

Когда на дороге встречались большие сугробы, Дюйшен обычно сам прокладывал путь, за ним шла я, а за мной все остальные. И в этот раз у подножия бугра, где за ночь намело много снега, Дюйшен пошел вперед. Иногда посмотришь на человека со спины — и сразу поймешь, в каком он состоянии, что творится у него на душе. Вот и тогда видно было, что учитель наш убит горем. Он шел с поникшей головой, с трудом во-

лоча ноги. Я до сих пор помню страшное чередование перед глазами черного и белого: мы взбирались гуськом на бугор — под черной шинелью горбилась спина Дюйшена, а выше по крутизне над ним горбились верблюжьими хребтинами белые сугробы, и ветер срывал с них поземку, а еще выше — в белом мутном небе темнела одинокая черная туча.

Когда мы пришли, Дюйшен не стал растапливать печь.

— Встаньте,— приказал он.

Мы поднялись.

— Снимите шапки.

Мы послушно обнажили головы, и он тоже сорвал с головы буденовку. Мы не понимали, к чему это. И тогда учитель сказал простуженным, прерывающимся голосом:

— Умер Ленин. По всей земле люди стоят сейчас в трауре. И вы стойте на своих местах, замрите. Смотрите вот сюда, на портрет. Пусть запомнится вам этот день.

В нашей школе стало так тихо, будто ее накрыла лавина. И слышно было, как ветер врывается в щели. И слышно было, как снежинки с шорохом падают в солому.

В тот час, когда онемели неумолчные города, когда затихли содрогавшие землю заводы, когда замерли на путях грохочущие поезда, когда весь мир погрузился в траур,— в тот скорбный час и мы, маленькая частица частицы народа, затаив дыхание, торжественно стояли в карауле вместе со своим учителем там, в неведомом никому промерзшем сарае, именуемом школой, и прощались с Лениным, мысленно считая себя самыми близкими ему людьми, больше всех горюющими о нем. А наш Ленин в своем несколько мешковатом военном френче, с рукой на повязке все так же смотрел на нас со стены. И все так же говорил нам своим ясным, чистым взглядом: «Если бы вы знали, дети, какое прекрасное будущее ожидает вас!» И чудилось мне в ту тихую минуту, что он и в самом деле думает о моем будущем.

Потом Дюйшен вытер глаза рукавом и сказал:

— Я ухожу сегодня в волость. Я иду вступать в партию. Вернусь через три дня...

Эти три дня мне всегда представляются самыми суровыми из всех зимних дней, которые мне пришлось пережить. Словно бы какие-то могучие силы природы пытались восполнить на земле место великого человека, ушедшего из нашего мира: гудел, не стихая, ветер в яру, кружили снежные метели, железно звенел мороз... Не находила себе покоя стихия: металась, билась в плаче о землю...

Притих наш аил, примолк под горами, смутно темнеющими в низких наплывах туч. Из завьюженных труб тянулись тоненькие дымки, люди не выходили из домов. Да к тому же залютовали вдруг волки. Обнаглели, днем появлялись на дорогах, а по ночам рыскали вблизи аила и до самого рассвета выли голодным, истошным воем.

Боялась я почему-то за нашего учителя: как он там в такие холода, без шубы, в одной шинели. А в тот день, когда Дюйшен должен был вернуться, я совсем потеряла голову, чуяло, видно, сердце что-то недоброе. То и дело выбегала я из дома, смотрела на заснеженную безлюдную степь: не покажется ли учитель на дороге? Но не видно было ни души.

«Где же ты, учитель наш? Умоляю тебя, не задерживайся допоздна, возвращайся быстрей. Мы ждем тебя, ты слышишь, учитель, на дороге?» Но не видно было ни души.

Но степь не отзывалась на мой безмолвный крик, и я почему-то плакала.

Тетке надоели мои хождения.

— Ты дашь сегодня покой дверям? А ну, садись на свое место, берись за пряжу. Детей поморозила. Попробуй выскочи еще! — погрозила она мне пальцем и больше не выпускала из дома.

Вечерело уже, а я так и не знала, вернулся учитель или нет. И от этого не находила себе места. То утешалась мыслью, что Дюйшен, пожалуй, уже в аиле, ведь не было еще случая, чтобы он не вернулся в обещанный день. То вдруг казалось мне, что он заболел и поэтому идет медленно, а поднимется буран, так и заблудиться недолго ночью в степи. Работа не клеилась, руки не слушались меня, пряжа то и дело обрывалась, и это бесило тетку.

— Да что с тобой сегодня? Руки у тебя деревянные, что ли? — все больше свирепела она, косясь на

меня. А потом терпение у нее лопнуло: — Ух, погибели на тебя нет! Иди-ка лучше отнеси старухе Сайкал ихний мешок.

Я чуть не подпрыгнула от радости. Ведь Дюйшен жил как раз у старухи Сайкал. Старики Сайкал и Картанбай доводились мне дальними родственниками по матери. Прежде я частенько у них бывала, а иной раз даже и ночевать оставалась. Вспомнила ли тетка об этом или бог ей так подсказал, но, сунув мне мешок, она добавила:

— Ты сегодня осточертела мне, как толокно в голодный год. Ступай и, если позволят старики, переночуй там. Иди с глаз моих долой...

Я выскочила во двор. Ветер бесновался, как шаман: захлебывался, а потом внезапно накидывался, швыряя в разгоряченное лицо пригоршни колючего снега. Я зажала мешок под мышкой и пустилась бежать в другой конец аила по свежему раскидистому следу конских копыт. А голову точила только одна мысль: «Вернулся ли, вернулся ли учитель?»

Прибежала, а его нет. Сайкал перепугалась, когда я застыла на пороге, едва переводя дыхание.

— Что с тобой? Ты что так бежала, беда какая?

— Нет, так просто. Мешок вот принесла. Можно, я у вас останусь сегодня?

— Оставайся, ниточка моя. Фу ты, негодница, страху-то нагнала. Ты что-то с самой осени не заглядываешь. Садись к огню, грейся.

— А ты, старуха, мяса положи в казан, угости дочку. Да и Дюйшен часом подоспеет,— отозвался Картанбай, который сидел подле окна и подшивал старые валенки.— Давно бы пора ему дома быть, ну да ничего, приедет, пока смеркается. Наша лошаденка к дому ходкая.

Незаметно подобралась к окнам ночь. Сердце мое, казалось, стояло на страже, оно напряженно замирало, когда лаяли собаки или доносились голоса людей. А Дюйшена все не было. Хорошо еще, Сайкал скрадывала время разговорами.

Так мы ждали его с часу на час, а к полуночи Картанбай устал:

— Давай-ка, старуха, стели постель. Не приедет он сегодня. Поздно уже. Мало ли дел у начальников, задержали, стало быть, а не то давно бы дома был.

Старик стал укладываться.

Мне постелили в углу за печкой. Но я не могла заснуть. Старик все кашлял, ворочался, шептал в ночи молитвы, а потом пробормотал беспокойно:

— Как-то там лошаденка моя? Ведь клочка сена задарма не выпросишь, а овса и за деньги не достанешь.

Картанбай вскоре уснул, но тут ветер не стал давать покоя. Он шарил по крыше, ворошил шершавой пятерней стреху, скребся в стекла. Слышно было, как снаружи поземка билась в стены.

Не успокоили меня слова старика. Мне все казалось, что учитель приедет, и я думала о нем, представляла его себе в пути, среди пустынных снегов. Не знаю, надолго ли я заснула, но вдруг что-то заставило меня оторвать голову от подушки. Гнусавый, утробный вой разнесся над землей и застыл где-то в воздухе. Волк! И не один — их много. Перекликаясь с разных сторон, волки быстро сближались. Их подвывания слились в единый протяжный вой, который вместе с ветром метался по степи, то удаляясь, то приближаясь снова. Иной раз казалось, что они где-то совсем рядом, на краю аила.

— Буран накликают! — прошептала старуха.

Старик промолчал, прислушался, затем вскочил с постели:

— Нет, старуха, неспроста это! Гонят они кого-то. Человека ли, лошадь ли окружают. Слышишь? Упаси бог, Дюйшена. Ведь ему все нипочем, дурень он этакий.— Картанбай всполошился, ища в темноте шубу.— Свет, свет давай, старуха! Да быстрей ты, ради бога!

Дрожа от страха, мы вскочили, и, пока Сайкал нашла лампу, пока она засветила ее, яростный вой волков вдруг разом смолк, словно его рукой сняло.

— Настигли, окаянные! — вскрикнул Картанбай и, схватив клюку, кинулся было к двери, но в это время залаяли собаки. Кто-то пробежал под окнами, скрипя подошвами по снегу, и громко, нетерпеливо застучал в дверь.

В комнату ворвалось морозное облако. Когда оно рассеялось, мы увидели Дюйшена. Бледный, задыхаю-

щийся, он, шатаясь, перешагнул через порог и прислонился к стене.

— Ружье! — выдохнул Дюйшен.

Но мы словно бы не поняли его. У меня в глазах потемнело, и я слышала только, как запричитали старики:

— Черную овцу — в жертву, белую овцу — в жертву! Да хранит тебя святой Баубедин. Ты ли это?

— Ружье, дайте ружье! — повторил Дюйшен.

— Нет ружья, что ты, куда?

Старики повисли на плечах Дюйшена.

— Дайте палку!

Но старики взмолились:

— Никуда не пойдешь, никуда, пока мы живы. Лучше убей нас на месте!

Я почувствовала вдруг странную слабость во всем теле и молча легла в постель.

— Не успел, настигли у самого дома,— Дюйшен шумно перевел дыхание и швырнул в угол камчу.— Лошадь еще в дороге заморилась, а потом волки погнали, она доскакала до аила и рухнула, как сноп. Там они и набросились на нее.

— Ну и бог с ней, с лошадью, главное, что сам живой остался. А не упади конь, они бы и тебя не упустили! Слава хранителю Баубедину, что все так кончилось. Теперь раздевайся, садись к огню. Давай сапоги стяну,— суетился Картанбай.— А ты, старуха, подогрей что там у тебя есть.

Они сели к огню, и тогда Картанбай облегченно вздохнул.

— Ну ладно, чему быть, того не миновать. А чего же это ты так поздно выехал?

— Заседание в волкоме затянулось, Караке. Я вступил в партию.

— Это хорошо. Ну выехал бы на другой день с утра, ведь тебя, я думаю, никто не гнал прикладом в дорогу.

— Я обещал детям вернуться сегодня,— ответил Дюйшен.— Завтра с утра начнем заниматься.

— Эх, дурень! — даже привскочил Картанбай и от негодования замотал головой.— Ты послушай только, старуха: он, видишь ли, обещанье дал детям, этим сопливкам! А если бы в живых не остался? Да соображаешь ли ты своей головой, что говоришь?

— Это мой долг, моя работа, Караке. Вы о другом скажите: обычно пешком ходил, а тут, черт меня дернул, выпросил у вас лошадь и отдал ее волкам на съедение...

— Да не об этом речь. Пропади она пропадом, эта кляча. Пусть будет в жертву тебе принесена! — осерчал Картанбай.— Век был безлошадным и теперь не пропаду. А будет стоять Советская власть, наживу еще...

— Дело говоришь, старик,— отозвалась набрякшим от слез голосом Сайкал.— Наживем еще... На-ка, сынок, хлебай, пока горячее...

Они замолчали. А минуту спустя, разгребая кизячный жар, Картанбай задумчиво промолвил:

— Смотрю я на тебя, Дюйшен, вроде бы и не глупый ты, а скорее умный парень. И не пойму никак, чего ради ты мыкаешься с этой школой, с ребятишками несмышлеными? Или не найти тебе другого дела? Да наймись ты к кому-нибудь в чабаны, тепло и сытно будет...

— Я понимаю, Караке, что вы добра мне желаете. Но если эти несмышленыши будут потом вот так же, как вы, говорить, зачем нужна школа, зачем нам учение, то дела Советской власти недалеко пойдут. А ведь вы хотите, чтобы она стояла, чтобы она жила. И потому школа для меня не в тягость, Караке. Если бы я мог лучше учить ребят, я бы ни о чем больше не мечтал. Вот ведь и Ленин говорил...

— Да, к слову...— перебил Картанбай Дюйшена и, помолчав, сказал: — Вот ты все убиваешься. А ведь слезами не воскресишь Ленина! Эх, если бы была такая сила на земле! Или, ты думаешь, другие не печалятся, не горюют?.. А ты загляни ко мне под ребра: дымит там сердце горьким дымом. Не знаю, право, сойдется ли это с твоей политикой, но хотя Ленин был человеком другой веры, а я пять раз на день молюсь за него. А иной раз думаю я, Дюйшен, сколько бы мы с тобой его ни оплакивали, все без пользы. Так я это по-своему, по-стариковски, рассудил: Ленин в народе самом остался, Дюйшен, и перейдет по крови — от отцов к сыновьям.

— Спасибо вам за ваши слова, Караке, спасибо. Правильно вы думаете. Ушел от нас, а мы жизнь по Ленину мерить будем...

Слушая их разговоры, я как бы медленно возвращалась издалека к самой себе. Вначале все походило на сон. Я долго не могла заставить себя поверить, что Дюйшен вернулся живой и невредимый. А потом, как вешний поток, хлынула в мою раскованную душу неуемная, неудержимая радость, и, захлебываясь в этом горячем потоке, я заплакала навзрыд. Может быть, еще никто никогда не радовался так, как я. В эту минуту для меня ничего не существовало: ни этой мазанки, ни буранной ночи на дворе, ни волчьей стаи, терзающей на окраине аила единственную лошадь Картанбая. Ничего! Сердцем, разумом, всем существом своим я ощущала бесконечное, безмерное, как свет, необыкновенное счастье. Я укрылась с головой и зажала рот, чтобы меня не услышали. Но Дюйшен спросил:

— Кто это всхлипывает за печкой?

— Да это Алтынай, перепугалась давеча, вот и плачет,— сказала Сайкал.

— Алтынай? Откуда она? — Дюйшен вскочил с места и, опустившись на колени у моего изголовья, тронул меня за плечо: — Что с тобой, Алтынай? Ты почему плачешь?

А я отвернулась к стене и пуще прежнего залилась слезами.

— Да что ты, милая, чего ты так испугалась? Ну разве можно так, ведь ты у нас большая... А ну, глянь на меня...

Я крепко обняла Дюйшена и, уткнувшись в его плечо мокрым горячим лицом, неудержимо всхлипывала и ничего не могла поделать с собой. Меня била радость, как в лихорадке, и я бессильна была унять ее.

— Да никак сердце у ней сдвинулось с места! — забеспокоился Картанбай и тоже поднялся с кошмы.— А ну, старуха, заговори, пошепчи малость, да живей...

И все они вдруг всполошились. Сайкал нашептывала заклинания, брызгала мне в лицо то холодной, то горячей водой, обдавала паром и сама плакала вместе со мной.

Ах, если бы они знали, что сердце мое «сдвинулось с места» от великого счастья, о котором я не в силах была рассказать, да, пожалуй, и не сумела бы.

И пока я не успокоилась и не уснула, Дюйшен сидел возле меня и тихо гладил прохладной рукой мой горячий лоб.

Зима откочевала за перевал. Уже гнала свои синие табуны весна. С оттаявших, набухших равнин потекли в горы теплые потоки воздуха. Они несли с собой весенний дух земли, запах парного молока. Уже осели сугробы, и тронулись льды в горах, и тренькнули ручьи, а потом, схлестываясь в пути, они хлынули бурными, всесокрушающими речками, наполняя шумом размытые овраги.

Может быть, это и была первая весна моей юности. Во всяком случае, она казалась мне краше прежних весен. С бугра, где стояла наша школа, открывался глазам прекрасный мир весны. Земля, словно бы раскинув руки, сбегала с гор и неслась, не в силах остановиться, в мерцающие серебряные дали степи, объятые солнцем и легкой, призрачной дымкой. Где-то за тридевять земель голубели талые озерца, где-то за тридевять земель ржали кони, где-то за тридевять земель пролетали в небе журавли, неся на крыльях белые облака. Откуда летели журавли и куда они звали сердце такими томительными, такими трубными голосами?..

С приходом весны мы зажили веселее. Мы придумывали разные игры, беспричинно смеялись, а после уроков от самой школы до аила всю дорогу бежали, громко перекликаясь. Тетке не нравилось это, и она не упускала случая обругать меня:

— Ты-то что резвишься, дуреха? И дела тебе нет, что в девках засиделась. У добрых людей такие, как ты, давно замуж повыходили, родных в дом прибавили, а ты... нашла себе забаву в школу ходить... Но погоди, я тебя приберу к рукам...

По правде говоря, я не очень-то принимала близко к сердцу теткины угрозы: не в новость же — всю жизнь ругается. А сказать про меня, что я засиделась, и вовсе было несправедливо. Я просто вытянулась в эту весну.

— Ты еще лохматая девчонка,— смеялся Дюйшен.— Да к тому же, кажется, рыжая!

Его слова меня нисколечко не обижали. Конечно, думала я про себя, я лохматая, но все-таки не совсем рыжая. А вот когда я вырасту, стану настоящей неве-

стой, то разве же я буду такая? Пусть посмотрит тогда тетка, какая я буду красивая. Дюйшен говорит, что у меня глаза блестят, как звездочки, и лицо открытое.

Как-то раз, когда я прибежала из школы, у нас во дворе стояли две чужие лошади. Судя по седлам, по сбруе, хозяева их приехали с гор. И раньше случалось, что они заворачивали по пути с базара или на мельницу.

Еще с порога меня резанул какой-то неестественный смех тетки: «Да ты, племянничек, не очень-то тужи, не обедняешь. Зато потом, когда получишь голубку в руки, добрым словом меня помянешь. Хи-хи-хи!» В ответ послышались поддакивающие, хохочущие голоса, а когда я появилась в дверях, все сразу смолкли. У разостланной на кошме скатерти сидел, как пень, краснолицый, грузный человек. Он покосился на меня из-под лисьей шапки, надвинутой на потный лоб, и, кашлянув, опустил глаза.

— А, доченька, вернулась, заходи, милая! — ласково ухмыляясь, встретила меня тетка.

Дядя сидел на краешке кошмы тоже с каким-то незнакомым мне человеком. Они играли в карты, пили водку и ели бешбармак. Оба были пьяны, и их головы как-то странно мотались, когда они били картами.

Наша серая кошка подобралась было к скатерти, но краснолицый так стукнул ее по голове костяшками пальцев, что она, дико взвизгнув, отскочила в сторону и забилась в угол. Ох, как больно было ей! Мне захотелось уйти, только я не знала, как это сделать. Тут меня выручила тетка.

— Доченька,— сказала она,— там в казане еда, покушай, пока не остыло.

Я вышла, но мне очень не понравилось такое поведение тетки. И на душе стало неспокойно. Я невольно насторожилась.

Часа через два приезжие сели на коней и уехали в горы. Тетка тут же начала осыпать меня обычной бранью, и у меня отлегло от души. «Значит, она просто спьяну была такой ласковой»,— решила я.

Вскоре после этого к нам пришла как-то старуха Сайкал. Я была на дворе, но услышала, как она сказала:

— Да что ты, бог с тобой! Погубишь ты ее.

Перебивая друг друга, тетка и Сайкал о чем-то горячо заспорили, и затем старуха вышла из дома очень разгневанная. Она бросила на меня сердитый и в то же время жалостливый взгляд и молча ушла. А мне стало не по себе. Почему она так посмотрела на меня, чем я ей не угодила?

На другой день в школе я сразу заметила, что Дюйшен мрачен и чем-то озабочен, хотя и старается не показать нам виду. И еще я заметила, что он почему-то не смотрит в мою сторону. После уроков, когда мы всей гурьбой вышли из школы, Дюйшен окликнул меня.

— Постой, Алтынай.— Учитель подошел ко мне, пристально посмотрел мне в глаза и положил руку на плечо.— Ты домой не иди. Ты поняла меня, Алтынай?

Я помертвела от страха. Только теперь до меня дошло, что собиралась сделать со мною тетка.

— Я сам за тебя отвечу,— сказал Дюйшен.— А жить ты будешь пока у нас. И далеко от меня не отлучайся.

Наверно, на мне лица не было. Дюйшен взял меня за подбородок, и, глядя в глаза, улыбнулся, как всегда.

— Да ты не бойся, Алтынай! — засмеялся он.— Когда я с тобой, никого не бойся. Учись, ходи в школу, как прежде, и ни о чем не думай... А то ведь я знаю, какая ты трусиха... Да, кстати, давно собирался рассказать тебе.— Видно, вспомнив что-то смешное, он опять засмеялся.— Помнишь, в тот раз Караке поднялся спозаранку и куда-то исчез. Смотрю, приводит — кого бы ты думала? — знахарку, Джайнакову старуху. «Зачем?» — спрашиваю. «Пусть,— говорит,— пошаманит, а то у Алтынай сердце сдвинулось с места со страху». А я и говорю: «Гоните ее со двора, от нее иначе как одной овцой не отделаешься. А мы не так богаты. Коня подарить тоже не можем: волкам отдали...» А ты еще спала. Так я и выпроводил ее. А Караке потом целую неделю не разговаривал со мной, обиделся. «Ты,— говорит,— подвел меня, старого». И все-таки хорошие они старики, редкой доброты люди. Ну, теперь пошли домой, пошли, Алтынай...

Как ни старалась я держать себя в руках, чтобы не огорчать понапрасну учителя, тревожные мысли уже не отпускали меня. Ведь в любой час сюда могла за-

явиться тетка и силой увести меня. А там они сделают со мной, что захотят, и никто в аиле не запретит им этого. Я всю ночь не спала, ожидая беды.

Дюйшен, конечно, понимал мое состояние. И может быть, поэтому, чтобы как-то отвлечь меня от мрачных дум, он принес на другой день в школу два деревца. А после уроков взял меня за руку и отвел в сторону.

— Сейчас мы с тобой, Алтынай, сделаем одно дело,— сообщил он, загадочно улыбаясь.— Вот эти топольки я принес для тебя. Мы с тобой их посадим. И пока они вырастут, пока наберут силу, ты тоже вырастешь, будешь хорошим человеком. У тебя душа хорошая и ум пытливый. Мне всегда кажется, что ты будешь ученым человеком. Я в это верю, вот посмотришь, у тебя на роду так написано. Ты сейчас молоденькая, точно прутик, такая же, как эти топольки. Так давай посадим их, Алтынай, своими руками. И пусть твое счастье будет в учении, звездочка ты моя ясная...

Деревца были ростом с меня, молоденькие сизоствольные топольки. И когда мы их посадили неподалеку от школы, с предгорья набежал ветерок и первый раз тронул их совсем еще маленькие листочки, словно бы жизнь вдохнул в них. Дрогнули листочки, шевельнулись топольки, закачались...

— Погляди, как хорошо! — засмеялся Дюйшен, отступая назад.— А теперь проведем сюда арык вон от того родника. И потом увидишь, какие это будут красивые тополя! Они будут стоять здесь, на бугре, рядышком, как два брата. И всегда они будут на виду, и добрые люди будут им радоваться. Тогда и жизнь настанет иная, Алтынай. Все лучшее еще впереди...

Я и сейчас не могу найти слов, чтобы хоть сколько-нибудь выразить, как я была тронута благородством Дюйшена. А тогда я просто стояла и смотрела на него. Я смотрела так, будто бы впервые увидела, сколько светлой красоты в его лице, сколько нежности и добра в его глазах, будто бы никогда прежде не знала я, как сильны и ловки его руки в работе, как чиста его ясная улыбка, согревающая сердце. И горячей волной поднялось в моей груди новое, незнакомое чувство из неведомого еще мне мира. И я внутренне рванулась к Дюйшену, чтобы сказать ему: «Учитель, спасибо вам

за то, что вы родились таким... Я хочу обнять и поцеловать вас!» Но я не посмела, постыдилась произнести эти слова. А может быть, надо было...

Но тогда мы стояли на бугре под ясным небом, среди зеленеющих весенних предгорий, каждый мечтая о своем. И в тот час я совсем забыла об угрозе, нависшей надо мной. И не подумала я, что ждет меня завтра, и не подумала, почему вот уже второй день тетка не ищет меня. Может, они позабыли обо мне, может, решили оставить в покое? Но Дюйшен, оказывается, думал об этом.

— Ты не больно печалься, Алтынай, найдем выход,— сказал он, когда мы возвращались в аил.— Послезавтра я поеду в волость. Буду говорить там о тебе. Может быть, добьюсь, чтобы тебя послали в город учиться. Хочешь поехать?

— Как скажете, учитель, так и будет,— ответила я.

Хотя я и не представляла себе, какой он такой, город, но для меня оказалось достаточно слов Дюйшена, чтобы уже мечтать о городской жизни. То я страшилась неизвестности, ждущей меня в чужих краях, то снова решалась отправиться в путь — словом, город теперь не выходил у меня из головы.

И на следующий день в школе я думала о том же: как и у кого буду жить в городе. Если кто-нибудь приютит, буду дрова колоть, воду носить, стирать, буду делать все, что прикажут. Размышляла я так, сидя на уроке, и от неожиданности вздрогнула, когда за стенами нашей ветхой школы раздался дробный топот копыт. Это было так внезапно, и кони мчались так стремительно, словно вот-вот растопчут нашу школу. Мы все насторожились, замерли.

— Не отвлекайтесь, занимайтесь своим делом,— быстро сказал Дюйшен.

Но тут дверь с шумом распахнулась, и на пороге мы увидели мою тетку. Она стояла со злорадной, вызывающей улыбкой на лице, Дюйшен подошел к дверям:

— Вы по какому делу?

— А по такому, что тебя не касается. Девку свою замуж буду провожать. Эй ты, бездомная! — Тетка ринулась ко мне, но Дюйшен преградил ей дорогу.

— Здесь только школьницы, и замуж выдавать еще некого! — твердо и спокойно сказал Дюйшен.

— Это мы еще посмотрим. Эй, мужики, хватайте ее, волочите сучку!

Тетка поманила рукой одного из всадников. Это был тот самый краснорожий в лисьей шапке. За ним спешились с коней еще двое с увесистыми кольями в руках.

Учитель не двинулся с места.

— Ты что, безродная собака, распоряжаешься чужими девками, как своими женами? А ну, прочь!

И краснорожий медведем двинулся на Дюйшена.

— Вы не имеете права входить сюда, это школа! — сказал Дюйшен, крепко держась за дверные косяки.

— Я же говорила! — взвизгнула тетка.— Он сам давно уже с ней снюхался. Приманил сучку задарма!

— Плевать мне на твою школу! — взревел красноРожий, замахиваясь камчой.

Но Дюйшен опередил его. Он с силой пнул его в живот ногой, и тот, ахнув, упал. В ту же минуту те двое с кольями набросились на учителя. Ребята с ревом кинулись ко мне. Под ударами дверь разлетелась в щепки. Я метнулась к дерущимся, волоча за собой вцепившихся в меня малышей.

— Отпустите учителя! Не бейте! Вот я, берите меня, не бейте учителя!

Дюйшен оглянулся. Он был весь в крови, страшный и ожесточенный. Подхватив с земли доску и размахивая ею, он закричал:

— Бегите, дети, бегите в аил! Убегай, Алтынай! — и захлебнулся в крике.

Ему перебили руку. Прижимая ее к груди, Дюйшен попятился, а те, ревя, как бешеные быки, стали избивать его, теперь уже беззащитного.

— Бей! Бей! Сади по голове! Бей наповал!

Ко мне подскочила разъяренная тетка вместе с красноРожим. Они накинули мне на шею косу и поволокли во двор. Я рванулась изо всех сил и на секунду увидела оцепеневших в крике детей, а у стены, забрызганной темной кровью, Дюйшена.

— Учитель!

Но Дюйшен ничем не мог помочь мне. Он еще держался на ногах, шатаясь, точно пьяный, под ударами извергов, он пытался поднять мотающуюся голову, а те все били и били его. Меня повалили на землю и связали руки. В это время Дюйшен покатился по земле.

— Учитель!

Но мне зажали рот и перебросили поперек седла.

Краснорожий был уже на коне и придавил меня руками и грудью. Те двое, что избивали Дюйшена, тоже вскочили в седла, а тетка бежала рядом и колотила меня по голове:

— Дождалась, дождалась! Вот как, вот как я выпроводила тебя! И учителю твоему конец...

Но это был еще не конец. Сзади донесся вдруг отчаянный крик:

— Алты-на-а-ай!

Я с трудом подняла повисшую с коня голову и глянула. За нами бежал Дюйшен. Избитый до полусмерти, окровавленный, он бежал с булыжником в руке. А за ним следом — с плачем и криком весь наш класс.

— Стойте, звери! Стойте! Отпустите ее, отпустите! Алтынай! — кричал он, догоняя нас.

Насильники приостановились, и те двое закружились на конях вокруг Дюйшена. Ухватив зубами рукав, чтобы не мешала перебитая рука, Дюйшен примерился и метнул камень, но не попал. И тогда те двое свалили его в лужу двумя ударами кольев. В глазах у меня помутилось, я только успела еще заметить, как ребята наши подбежали к учителю и в страхе остановились над ним.

Не помню, как и куда меня привезли. Очнулась я в юрте. В открытый купол заглядывали ранние звезды, спокойные, ничем не потревоженные. Где-то рядом шумела река да слышались голоса ночных пастухов, сторуживших отары. У потухшего очага сидела угрюмая, высохшая, словно коряга, старая женщина. Лицо у нее было темное, как земля. Я повернула голову в другую сторону... О, если бы я могла убить его взглядом!

— Чернуха, подними ее,— приказал краснорожий.

Черная женщина подошла ко мне и тряхнула за плечо жесткой, корявой рукой.

— Усмири свою напарницу, втолкуй ей. А нет — все равно: разговор с ней будет короткий.

Он вышел из юрты. А черная женщина даже не двинулась с места и не вымолвила ни слова. Может быть, она была немая? Ее потухшие, подобно холодному пеплу, глаза смотрели, ничего не выражая. Бывают собаки, забитые еще со щенячьего возраста. Злые люди бьют их чем попало по голове, и те постепенно к этому

привыкают. Но в их взгляде поселяется такая беспросветная, пустая глухота, что жуть берет. Я смотрела в мертвые глаза черной женщины, и мне казалось, что сама я уже не живу, что я в могиле. Я готова была поверить в это, если бы не шум реки. Вода с плеском и гулом неслась по перепадам — она была свободна...

Тетка, черная твоя душа, будь же ты проклята во веки веков! Захлебнись в моих слезах и крови моей!.. В эту ночь, пятнадцати лет от роду, я стала женщиной... Я была моложе детей этого насильника...

На третью ночь я решила во что бы то ни стало бежать. Пусть пропаду в дороге, пусть настигнет меня погоня, но я буду биться до последнего дыхания так же, как мой учитель Дюйшен.

Бесшумно пробралась я в темноте к выходу, ощупала двери, они были накрепко перевязаны волосяным арканом. Веревку в хитроумных тугих узлах невозможно было развязать в темноте. Тогда я попыталась приподнять остов юрты, чтобы проползти как-нибудь. Однако сколько я ни билась, ничего у меня не получалось — и снаружи юрта была также притянута к земле арканами.

Оставалось только найти что-нибудь острое и перерезать веревки на дверях. Я принялась шарить вокруг, но ничего не нашла, кроме небольшого деревянного колышка. В отчаянии я стала копать им землю под юртой. Затея была, конечно, безнадежная, но я уже не отдавала себе в этом отчета. В голове колотилась лишь одна безысходная мысль — вырваться отсюда или умереть, только бы не слышать его сопение, беспробудный храп, только бы не оставаться здесь, умереть — так умереть на свободе, в схватке, только бы не покориться!

Токол — вторая жена. О, как ненавижу я это слово! Кто, в какие гиблые времена выдумал его! Что может быть унизительнее положения подневольной второй жены, рабыни телом и душой? Встаньте, несчастные, из могил, встаньте, призраки загубленных, поруганных, лишенных человеческого достоинства женщин! Встаньте, мученицы, пусть содрогнется черный мрак тех времен! Это говорю я, последняя из вас, перешагнувшая через эту судьбу!

Не знала я в ту ночь, что мне суждено будет произнести эти слова. Исступленно, остервенело скребла

я землю под юртой. Почва оказалась каменистой, не поддавалась. Я копала ногтями и разодрала в кровь пальцы. А когда под юрту можно было просунуть руку, уже рассвело. Залаяли собаки, пробудился народ по соседству. С топотом промчался табун на водопой, фыркая, прошли сонные отары. Потом кто-то подошел к юрте, отвязал стягивающие ее снаружи арканы и принялся снимать кошмы. Это была молчаливая черная женщина.

Значит, аил готовился к перекочевке. Тут я вспомнила, что вчера краем уха слышала разговоры о том, что с утра предстоит сняться с места, откочевать сначала к перевалу, на новое стойбище, а затем на все лето в глубину гор, за перевал. И еще тяжелее стало у меня на душе — бежать оттуда во сто крат труднее.

Как сидела я у подкопанного места, так и осталась сидеть, не отодвинулась даже. А что мне было скрывать и зачем?.. Черная женщина все равно увидела, что земля под юртой разрыта, и ничего не сказала, молча продолжала делать свое дело. Да и вообще она вела себя так, словно бы ее ничего не касалось, вроде бы ничто в жизни не пробуждало в ней никаких ответных чувств. Она даже не разбудила мужа, не посмела попросить его помочь ей собираться в дорогу. Он храпел, как медведь, под одеялами и шубами.

Все кошмы были свернуты, юрта осталась раздетой, и я сидела в ней, точно в клетке, и видела, что неподалеку за рекой люди навьючивают волов и лошадей. Потом я увидела, как к тем людям откуда-то со стороны подъехали три всадника и, что-то спросив у них, направились в нашу сторону. Вначале я подумала, что они едут собирать народ в дорогу, а потом присмотрелась и оторопела. Это был Дюйшен, а двое других — в милицейских фуражках, с красными петлицами на шинелях.

Я сидела ни жива ни мертва, я не могла даже вскрикнуть. Радость охватила меня — жив мой учитель! — и в то же время пустота зияла в душе: я погибшая, опороченная...

У Дюйшена была забинтована голова и рука висела на повязке. Он спрыгнул с коня. Вышиб ударом ноги дверь, вбежал в юрту и сдернул одеяла с красноррожего.

— Вставай! — крикнул он грозно.

Тот поднял голову, протер глаза и кинулся было на Дюйшена, но сразу сник от направленных на него милицейских наганов. Дюйшен схватил его за шиворот, тряхнул и рывком подтянул его голову к себе.

— Сволочь! — прошептал он белыми губами.— Теперь угодишь куда следует! Пошли!

Тот покорно двинулся, но Дюйшен снова рванул его за плечо и, в упор глядя на него, проговорил срывающимся голосом:

— Ты думаешь, что истоптал ее, как траву, погубил ее?.. Врешь, прошли твои времена, теперь ее время, а тебе на этом конец!..

Краснорожему дали надеть сапоги, связали ему руки и взгромоздили на коня. Один из милиционеров повел коня на поводу, следом ехал второй. Я села на коня Дюйшена, он шел рядом.

Когда мы двинулись, сзади раздался дикий, нечеловеческий вопль. Это бежала за нами черная женщина. Она, точно сумасшедшая, подскочила к мужу и сбила камнем его лисью шапку.

— За кровь мою выпитую, душегуб! — орала она истошным голосом.— За черные дни мои, душегуб! Не отпущу тебя живым!

Наверно, сорок лет не поднимала она головы. А теперь прорвалось все, что накопилось, все, что накипело у нее на душе. Ее пронзительные крики метались эхом в скалах ущелья. Она забегала то с одной стороны, то с другой, кидала в трусливо согнувшегося мужа навозом, камнями, комьями глины, всем, что попадалось ей под руку, и выкрикивала проклятья:

— Чтоб трава не росла там, где ступит нога твоя! Пусть кости твои останутся в поле, чтоб ворон выклевал твои глаза. Не приведи господь увидеть тебя еще раз! Сгинь с моих глаз, сгинь, чудовище, сгинь, сгинь, сгинь! — прокричала она, потом умолкла, потом с воплем кинулась прочь. Казалось, она убегала от своих развевающихся на ветру волос.

Подоспевшие соседи пустились на конях догонять ее.

Как после кошмарного сна, гудело у меня в голове. Пришибленная, угнетенная, ехала я на коне. Дюйшен

шел чуть впереди, держа в руке повод. Он молчал, низко опустив забинтованную голову.

Прошло немало времени, прежде чем злосчастное ущелье осталось позади. Милиционеры уехали далеко вперед. Дюйшен приостановил лошадь и первый раз посмотрел на меня измученными глазами.

— Алтынай, я не сумел уберечь тебя, прости меня,— сказал он. А потом взял мою руку и поднес к своей щеке.— Но если ты даже простишь меня, я сам никогда не прощу себе этого...

Я зарыдала и припала к гриве коня. А Дюйшен стоял рядом, молча гладил мои волосы и ждал, пока я наплачусь.

— Успокойся, Алтынай, поедем,— сказал он наконец.— Послушай, что я тебе расскажу. Третьего дня я был в волости. Ты поедешь учиться в город. Ты слышишь?

Когда мы остановились у звонкой светлой речушки, Дюйшен сказал:

— Сойди с коня, Алтынай, умойся.— Он достал из кармана кусочек мыла.— На, Алтынай, не жалей. А хочешь, я отойду в сторону, попасу лошадь, а ты разденься, искупайся в речке. И забудь обо всем, что было, и никогда не вспоминай об этом. Выкупайся, Алтынай, легче станет. Ладно?

Я кивнула головой. И когда Дюйшен отошел в сторону, я разделась и осторожно ступила в воду. Белые, синие, зеленые, красные камни глянули на меня со дна. Быстрый голубой поток закипел с говорком у щиколоток. Я зачерпнула пригоршнями воду и плеснула себе на грудь. Студеные струйки побежали по телу, и я невольно засмеялась, первый раз за эти дни. Как хорошо было смеяться! Еще и еще раз я обдала себя водой, а потом бросилась в глубину потока. Течение стремглав выносило меня на отмель, а я вставала и снова кидалась в бурунистый брызжущий поток.

— Унеси, вода, с собой всю грязь и погань этих дней! Сделай меня такой же чистой, как ты сама, вода! — шептала я и смеялась, сама не зная чему.

Почему следы людей не остаются навеки на дорогих им, памятных местах? Если бы сейчас я нашла ту тропу, по которой мы возвращались с Дюйшеном с гор, я приникла бы к земле и поцеловала следы учителя. Тропа эта для меня — всем дорогам дорога. Да будут

благословенны тот день, та тропа, тот путь моего возвращения к жизни, к новой вере в себя, к новым надеждам и свету... Спасибо тому солнцу, спасибо земле той поры...

А через два дня Дюйшен повез меня на станцию.

Оставаться в аиле после всего, что случилось, я не хотела. Новую жизнь надо было начинать на новом месте. Да и люди нашли мое решение правильным. Провожали меня Сайкал и Қараке, они суетились, плакали, как малые дети, совали мне кульки и узелки на дорогу. Пришли попрощаться со мной и другие соседи, даже спорщик Сатымкул.

— Ну, с богом, детка,— сказал он,— светлого пути тебе. Не робей, живи по наказу учителя Дюйшена — и не пропадешь. Что уж там говорить, мы тоже кое-что понимать стали.

Ученики из нашей школы долго бежали за бричкой и долго махали мне вслед...

Я уезжала вместе с несколькими ребятами, которых тоже отправляли в ташкентский детдом. На станции нас ждала русская женщина в кожаной куртке.

Сколько раз потом проезжала я мимо этой затененной тополями маленькой станции в горах. Мне кажется, что половину сердца своего я навсегда оставила там.

В сиреневом зыбком свете весеннего вечера было что-то такое грустное и щемящее, словно бы сами сумерки знали о нашем расставании. Дюйшен старался не показать, как больно ему, как тяжело у него на душе, но я-то ведь знала: такая же боль горячим комом подкатывала у меня к горлу. Дюйшен пристально смотрел мне в глаза, руки его гладили мои волосы, мое лицо, даже пуговицы на моем платье.

— Я бы тебя, Алтынай, никогда ни на шаг не отпустил от себя,— сказал он.— Но не имею права мешать тебе. Ты должна учиться. А ведь я не очень-то грамотен. Уезжай, так лучше будет... Может, ты станешь настоящим учителем и тогда вспомнишь нашу школу, может, и посмеешься... Пусть будет так, пусть будет так...

Оглашая эхом станционное ущелье, вдали загудел паровоз, завиднелись огни поезда. Народ на станции зашевелился.

— Ну вот, сейчас ты уедешь,— дрогнувшим голосом проговорил Дюйшен, сжимая мою руку.— Будь счастлива, Алтынай. И главное — учись, учись...

Я ничего не могла ответить: слезы душили меня.

— Не плачь, Алтынай.— Дюйшен вытер мне глаза. И вдруг вспомнил: — А те топольки, что мы с тобой посадили, я сам буду растить. И когда ты вернешься большим человеком, ты увидишь, какие они будут красивые.

В это время подоспел поезд. Вагоны остановились с шумом и лязгом.

— Ну, давай попрощаемся! — Дюйшен обнял меня и крепко поцеловал в лоб.— Будь здорова, счастливого пути, прощай, родная... Не бойся, иди смелей.

Я прыгнула на подножку и обернулась через плечо. Никогда не забыть мне, как стоял Дюйшен с рукой на повязке и смотрел на меня затуманенными глазами, а потом потянулся, словно хотел прикоснуться ко мне, и в эту минуту поезд тронулся.

— Прощай, Алтынай! Прощай, огонек мой! — крикнул он.

— Прощайте, учитель! Прощайте, дорогой мой учитель!

Дюйшен побежал рядом с вагоном, потом отстал, потом вдруг рванулся и крикнул:

— Алты-на-а-ай!

Он крикнул так, будто забыл сказать мне что-то очень важное и вспомнил, хотя и знал, что было уже поздно... До сих пор стоит у меня в ушах этот крик, исторгнутый из самого сердца, из самых глубин души...

Поезд миновал туннель, вышел на прямую и, набирая скорость, понес меня по равнинам казахской степи к новой жизни...

Прощай, учитель, прощай, моя первая школа, прощай, детство, прощай, моя первая, никому не высказанная любовь...

Да, я училась в большом городе, о котором мечтал Дюйшен, в больших школах с большими окнами, о которых рассказывал он. Потом окончила рабфак, и меня послали в Москву — в институт.

Сколько трудностей пришлось мне испытать за долгие годы учебы, сколько раз я была в отчаянии, казалось, нет, не осилю я премудростей науки, и всякий раз в самые тяжелые минуты я мысленно держала ответ

перед моим первым учителем и не смела отступать. То, что другим давалось сразу, я постигала с величайшим трудом. Потому что мне пришлось начинать все с азов.

Когда я училась на рабфаке, я написала учителю письмо и призналась, что люблю его и жду. Он не ответил. На том оборвалась наша переписка. Я думаю, что отказал он мне и себе потому, что не хотел мешать мне учиться. Может быть, он был прав... А может быть, были какие-нибудь иные причины? Сколько я перестрадала и передумала в ту пору!

Свою первую диссертацию я защитила в Москве. Для меня это было большой, серьезной победой. За все эти годы я не смогла побывать в аиле. А тут началась война. Поздней осенью, эвакуируясь из Москвы во Фрунзе, я сошла с поезда на той самой станции, с которой провожал меня мой учитель. Мне повезло: я сразу нашла попутную бричку, которая направлялась в совхоз через наш аил.

О родимая сторона, в тяжелое для нас военное время пришлось мне наведаться к тебе. Как ни радовалась я, глядя на преображенную землю — выросли новые аилы, распахано много полей, построены новые дороги и мосты,— но война омрачила эту встречу.

Приближаясь к аилу, я волновалась. Я всматривалась издали в новые, незнакомые улицы, в новые дома и сады, а потом глянула на тот бугор, где стояла наша школа, и дыхание у меня перехватило — на бугре рядышком стояли два больших тополя. Они покачивались на ветру. И первый раз я назвала человека, которого всю жизнь называла учителем, просто по имени.

— Дюйшен! — прошептала я.— Спасибо тебе, Дюйшен, за все, что ты для меня сделал! Не забыл, значит, думал... Как это похоже на тебя!..

Увидев слезы на моем лице, паренек-возница встревожился:

— Что с вами?

— Да так, ничего. Ты знаешь кого-нибудь из этого колхоза?

— Знаю, конечно. Все тут свои.

— А Дюйшена знаешь, ну тот, что учителем был?

— Дюйшена? Так ведь он в армию ушел. Я его сам из колхоза на этой вот бричке в военкомат отвозил.

У въезда в аил я попросила паренька остановиться и сошла с брички. Сошла и призадумалась. Идти сейчас по домам, в такое тревожное время искать знакомых, спрашивать, помните ли вы меня, я, мол, ваша землячка, я не решилась. А Дюйшен был уже в армии. И еще: я поклялась никогда не бывать там, где живут мои тетка и дядя. Людям многое можно простить, но такое злодеяние, я думаю, никто никому не простит. Я даже не хотела, чтобы они знали, что я приезжала в аил. Я свернула с дороги и пошла к тополям, на бугор.

Эх тополя, тополя! Сколько же воды утекло с тех пор, когда вы были молоденькими сизоствольными деревцами! Все, о чем мечтал, все, что предсказывал человек, посадивший и вырастивший вас, сбылось. Что же вы так грустно шумите, о чем печалитесь? Или жалуетесь, что зима приближается, что холодные ветры обрывают вашу листву? Или боль и скорбь народная гуляет в ваших стволах?

Да, еще будет зима, и стужи будут, и лютые бураны, но придет и весна...

Я долго стояла, прислушиваясь к шуму осенней листвы. Арык у подножия деревьев был кем-то недавно расчищен: на земле еще сохранились глубокие, почти свежие следы кетменя. Отстоявшаяся, светлая вода в полном арыке чуть рябилась, и на ней колыхались желтые листья тополей.

С бугра мне была видна крашеная крыша новой школы, а нашей уже и в помине не было.

Потом я спустилась к дороге, встретила попутную бричку и поехала на станцию.

Была война, потом пришла победа. Сколько горького счастья привалило народу: детвора бегала в школу с полевыми сумками отцов, к труду вернулись мужские руки, солдатки выплакали все глаза и молча примирились со своей вдовьей долей. А были и такие, что все еще ждали своих близких. Ведь не все сразу вернулись домой.

Не знала и я, что сталось с Дюйшеном. Мои земляки, приезжавшие в город, говорили, что он пропал без вести, бумагу такую получил сельсовет.

— А может, и погиб,— предполагали они,— время-то идет, а о нем ни слуху ни духу.

«Стало быть, не вернется уж мой учитель,— думала я временами.— Так и не пришлось нам увидеться с того памятного дня, когда мы попрощались на станции...»

Вспоминая порой о прошлом, я и не подозревала, оказывается, сколько горя скопилось в душе моей.

В сорок шестом году поздней осенью я ехала в Томский университет в научную командировку. Ехала я по Сибири впервые. Сурова и мрачна была Сибирь в ту предзимнюю пору. Темной стеной проносились за окнами вековые леса. В перелесках мелькали черные крыши деревень с белыми дымками из труб. На холодных полях оседал первый снег, летало над ними нахохленное воронье. Небо постоянно хмурилось.

Но мне в поезде было весело. Сосед по купе — бывший фронтовик, инвалид на костылях — смешил нас забавными историями и анекдотами из военной жизни. Я поражалась неистощимости его выдумки, за простоватостью которой и безобидным, казалось бы, смехом всегда ощущалась истинная правда. Он очень полюбился всем в вагоне. Так вот, где-то за Новосибирском наш поезд задержался на минуту на каком-то маленьком разъезде. Я стояла у окна и, глядя в него, смеялась над очередной шуткой моего соседа.

Поезд двинулся, набирая ход; проплыл за окном одинокий станционный домишко, и на стрелке я отпрянула от окна и снова приникла к стеклу. Там был он, Дюйшен! Он стоял у будки с путейским флажком в руке. Не знаю, что со мной произошло.

— Стойте! — крикнула я на весь вагон и кинулась к выходу, сама не зная, что делать, но тут увидела стоп-кран и с силой сорвала его с пломбы.

Сшиблись вагоны, поезд резко затормозил и так же резко отдал назад. С грохотом повалились вещи с полок, покатилась посуда, заголосили дети и женщины. Кто-то крикнул не своим голосом:

— Человек под поездом!

А я была уже на ступеньках, спрыгнула, не видя под собой земли, как в бездну, и так же, ничего не видя перед собой, ничего не понимая, пустилась бежать к будке стрелочника, к Дюйшену. Сзади раздавались свистки кондукторов. Из вагонов выпрыгивали пассажиры и бежали за мной.

Одним духом промчалась я вдоль состава, а Дюйшен бежал уже навстречу.

— Дюйшен, учитель! — крикнула я, бросаясь к нему.

Стрелочник приостановился, непонимающе глядя на меня. Это был он, Дюйшен, его лицо, его глаза, только усы он прежде не носил и немного постарел.

— Что с вами, сестрица, что вы? — участливо спросил он по-казахски.— Вы, наверно, обознались, я стрелочник Джангазин, меня зовут Бейнеу.

— Бейнеу?

И не знаю, как я успела зажать рот, чтобы не закричать от горя, от боли, от стыда. Что я наделала? Я закрыла лицо руками и опустила голову. Почему не разверзлась земля под ногами? Мне надо было извиниться перед стрелочником, попросить прощения у народа, а я все стояла и молчала, как камень. Толпа сбежавшихся пассажиров тоже почему-то молчала. Я ждала, что сейчас начнут кричать на меня, обругают. Но все молчали. И в этой жуткой тишине всхлипнула какая-то женщина:

— Несчастная, мужа иль брата признала, да не он оказался, ошиблась.

Люди зашевелились.

— И надо же быть такому,— пробасил кто-то.

— А чего не бывает, чего только не пережили мы в войну...— ответил срывающийся женский голос.

Стрелочник отнял мои руки от лица и сказал:

— Идемте, я провожу вас до вагона, холодно.

Он взял меня под руку. С другой стороны меня взял под руку какой-то офицер.

— Идемте, гражданка, мы все понимаем,— сказал он.

Люди расступились, и меня повели, точно на похоронах. Мы медленно шли впереди, а за нами все остальные. Встречные пассажиры тоже молча пристраивались к толпе. Кто-то накинул мне на плечи пуховый платок. Мой сосед по купе ковылял на своих костылях сбоку. Он чуть забегал вперед, смотрел мне в лицо. Весельчак, балагур, добрый и мужественный человек, он почему-то шел, обнажив голову, и, кажется, плакал. И я плакала. И в этом мерном шествии вдоль состава, в посвисте и гудении ветра в телеграфных про-

водах мне слышались звуки похоронного марша. «Нет, не увижу я его никогда».

У вагона нас остановил начальник поезда. Он что-то кричал, грозя мне пальцем, говорил что-то о судебной ответственности, о штрафе. Но я ничего не отвечала. Мне было все безразлично. Он сунул мне протокол, потребовал, чтобы я расписалась, но у меня не было сил взять в руки карандаш.

И тогда мой сосед по купе выхватил у него бумагу и, надвигаясь на него на своих костылях, закричал ему в лицо:

— Оставь ее в покое! Я распишусь, это я сорвал стоп-кран, я буду отвечать!..

По сибирской земле, по исконно русскому краю спешил припоздавший поезд. Печально звенела в ночи гитара моего соседа. Как протяжную песню русских вдов, уносила я в своем сердце скорбный отголосок от встречи с отгремевшей войной.

Шли годы. Уходило прошлое, вечно звало грядущее с его большими и малыми заботами. Замуж я вышла поздно. Но встретила хорошего человека. У нас дети, семья, живем мы дружно. Я теперь доктор философских наук. Часто приходится ездить. Побывала во многих странах... А вот в аиле больше не была. На то были, конечно, причины, и много, но я не собираюсь оправдывать себя. То, что я порвала связь с земляками,— это плохо, непростительно. Но так уж сложилась судьба моя. Я не то что позабыла о былом, нет, я не могла этого забыть, я как-то отдалилась от него.

Бывают такие родники в горах: проляжет новая дорога, тропа к ним забывается, все реже заворачивают туда путники напиться воды, и родники понемногу зарастают мятой да ежевикой. А потом и не заметишь их со стороны. И редко кто вспомнит о таком роднике да свернет к нему с большака в жаркий день, чтобы утолить жажду. Придет человек, разыщет то заглохшее место, раздвинет заросли и тихо ахнет: давно никем не замутненная, прохладная вода необыкновенной чистоты поразит его своим спокойствием и глубиной своей. И увидит он в том роднике и себя, и солнце, и небо, и горы... И подумает тот человек, что грех не знать такие места, надо и товарищам рассказать об этом. Подумает и забудет до следующего раза.

Вот так иной раз в жизни бывает. Но на то она, наверно, и есть жизнь...

Я вспомнила о таких родниках недавно, после того как побывала в аиле.

Вы, конечно, недоумевали тогда, почему я так неожиданно уехала из Куркуреу. Разве нельзя было рассказать людям все, что я сейчас поведала вам, там, на месте? Нет. Я была так расстроена, мне было так стыдно, я стыдилась самое себя, потому и решила сразу же уехать. Я поняла, что не смогу встретиться с Дюйшеном, не смогу посмотреть ему прямо в глаза. Мне надо было успокоиться, собраться с мыслями, подумать в пути обо всем, что я хотела бы сказать не только нашим землякам, но и многим другим людям.

Я чувствовала себя виноватой еще и потому, что не мне надо было оказывать всяческие почести, не мне надо было сидеть на почетном месте при открытии новой школы. Такое право имел прежде всего наш первый учитель, первый коммунист нашего аила — старый Дюйшен. А получилось наоборот. Мы сидели за праздничным столом, а этот золотой человек спешил развезти почту, спешил доставить к открытию школы поздравительные телеграммы ее бывших выпускников.

Ведь это не единственный случай. Я не раз это наблюдала. И потому я задаюсь таким вопросом: когда мы утратили способность по-настоящему уважать простого человека, как уважал его Ленин? И слава богу, что мы говорим теперь о подобных вещах без ханжества и лицемерия. Очень хорошо, что мы и в этом еще ближе подошли к Ленину.

Молодежь не знает, каким учителем был Дюйшен в свое время. А среди старшего поколения многих уже нет. Немало учеников Дюйшена погибло на войне, они были настоящими советскими воинами. Я обязана была поведать молодежи о своем учителе Дюйшене. Каждый на моем месте должен был бы это сделать. Но я не бывала в аиле, не знала ничего о Дюйшене, и со временем его образ превратился для меня словно бы в дорогую реликвию, хранимую в музейной тиши.

Я еще приеду к своему учителю и буду держать перед ним ответ. Попрошу прощения.

По возвращении из Москвы я хочу поехать в Куркуреу и предложить там людям назвать новую школу-

интернат «школой Дюйшена». Да, именем этого простого колхозника, ныне почтальона. Надеюсь, что и вы, как земляк, поддержите мое предложение. Я прошу вас об этом.

В Москве сейчас второй час ночи. Я стою на балконе гостиницы, смотрю на раздолье московских огней и думаю о том, как приеду в аил, встречусь с Учителем и поцелую его в седую бороду...

Я открываю настежь окна. В комнату вливается поток свежего воздуха. В яснеющем голубоватом сумраке я всматриваюсь в этюды и наброски начатой мной картины. Их много, я много раз начинал все заново. Но о картине в целом судить пока рано. Я не нашел еще главного... Я хожу в предрассветной тиши и все думаю, думаю, думаю. И так каждый раз. И каждый раз я убеждаюсь в том, что моя картина — еще только замысел.

И все-таки я хочу поговорить с вами о своей еще не написанной вещи. Хочу посоветоваться. Вы, конечно, догадываетесь, что картина моя будет посвящена первому учителю нашего аила, первому коммунисту — старому Дюйшену.

Но я еще не представляю себе, сумею ли выразить красками эту сложную жизнь, исполненную борьбы, эти многообразные судьбы и страсти человеческие. Как сделать, чтобы не расплескать эту чашу, чтобы я сумел донести ее до вас, мои современники, как сделать, чтобы мой замысел не просто дошел до вас, а стал бы нашим общим творением?

Я не могу не написать эту картину, но столько раздумий и тревог охватывает меня! Иной раз мне кажется, что у меня ничего не получится. И тогда я думаю: зачем судьбе было угодно вложить мне в руки кисть? Что за мученическая жизнь! А другой раз я чувствую себя таким могучим, что горы свернуть готов. И тогда я думаю: смотри, изучай, отбирай. Напиши тополя Дюйшена и Алтынай, те самые тополя, которые доставили тебе в детстве столько отрадных мгновений, хотя ты и не знал их истории. Напиши босоногого загорелого мальчишку. Он взобрался высоко-высоко и сидит на ветке тополя, смотрит зачарованными глазами в неведомую даль.

Или напиши картину и назови ее «Первый учитель». Это может быть тот момент, когда Дюйшен переносит на руках ребятишек через речку, а мимо на сытых диких конях проезжают глумящиеся над ним тупые люди в красных лисьих малахаях...

А не то напиши, как учитель провожает Алтынай в город. Помнишь, как крикнул он в последний раз? Напиши такую картину, чтобы она, как крик Дюйшена, который до сих пор слышит Алтынай, отозвалась в сердце каждого человека.

Это я так говорю себе. Я много кое-чего говорю себе, да не всегда все получается. И сейчас я не знаю, какую еще напишу картину. Но зато я твердо знаю одно: я буду искать.





ПРОЩАЙ, ГУЛЬСАРЫ!



1

На старой телеге ехал старый человек. Буланый иноходец Гульсары тоже был старым конем, очень старым...

Дорога взбиралась на плато томительно долго. Среди серых, пустынных холмов зимой вечно крутит поземка, летом жара стоит, как в аду.

Для Танабая этот подъем всегда был сущим наказанием. Не любил он медленной езды, ну просто не переносил. В молодости, когда довольно часто приходилось ездить в райцентр, каждый раз на обратном пути он пускал коня в гору галопом. Не жалел его, нахлестывая камчой. Если же ехал с попутчиками на мажаре, да притом запряженной быками, спрыгивал на ходу, молча брал свою одежду и уходил пешком. Шел яростно, как в атаку, и останавливался, только поднявшись на плато. Там, хватая ртом воздух, ждал ползущую внизу колымагу. От быстрой ходьбы сердце бешено колотилось и кололо в груди. Но хоть и так, а все же лучше, чем тащиться на быках.

Покойный Чоро любил, бывало, подтрунить над чудачеством друга. Он говорил:

— Хочешь знать, Танабай, почему тебе не везет? От нетерпения. Ей-богу. Все тебе скорее да скорее. Революцию мировую подавай немедленно! Да что революция, обыкновенная дорога, подъем из Александровки и тот тебе невмоготу. Все люди как люди, едут спокойно, а ты соскочишь — и бегом в гору прешь, точно за тобой волки гонятся. А что выигрываешь? Ничего. Все равно сидишь там наверху, дожидаешься других. И в мировую революцию один не вскочишь, учти, будешь ждать, пока все подтянутся.

Но это было давно, очень давно.

На этот раз Танабай и не заметил, как миновал Александровский подъем. Привык, выходит, к старости. Ехал ни скоро, ни тихо. Ехал, как ехалось. Те-

перь он всегда отправлялся в путь один. Тех, кто ватагой ходил с ним когда-то по этой шумной дороге, уже не сыщешь. Кто погиб на войне, кто умер, кто сидит дома, век свой доживает. А молодежь ездит на машинах. На жалкой кляче тащиться с ним не будет.

Колеса стучали по старой дороге. Долго еще стучать им. Впереди лежала степь, а там, за каналом, надо было еще ехать предгорьем.

Он уже давно начал замечать, что конь вроде сдает, слабеет. Но, занятый своими нелегкими мыслями, не очень беспокоился. Разве уж такая беда, что конь притомился в дороге? Не такое бывало. Довезет, дотянет...

Да и откуда он мог знать, что его старый иноходец Гульсары [1], прозванный так за свою необыкновенную светло-желтую масть, последний раз в своей жизни преодолел Александровский подъем и сейчас вез его последние версты? Откуда ему было знать, что голова коня кружилась, как от дурмана, что в его помутневшем взоре земля плыла цветными кругами, кренилась с боку на бок, задевая небо то одним, то другим краем, что дорога перед Гульсары временами вдруг обрывалась в темную пустоту и коню казалось, что впереди, куда он держит путь и где должны быть горы, плывет красноватый туман или дым?

Глухо и затяжно ныло давно надсаженное сердце коня, дышать в хомуте становилось все трудней. Резала, сбившись набок, шлея, а с левой стороны под хомутом постоянно кололо что-то острое. Может, это была колючка или кончик гвоздя, вылезшего из войлочной подбивки хомута. Открывшаяся ранка на старой мозолистой намятине плеча нестерпимо жгла и зудела. И ноги все больше тяжелели, точно он шел по мокрому вспаханному полю.

Но старый конь все же шел, пересиливая себя, а старый Танабай, изредка понукая его, подергивал вожжами и все думал свою думу. Ему было о чем думать.

Колеса стучали по старой дороге. Гульсары пока еще шел все той же привычной иноходью, все тем же особым ритмом, тротом, с которого он ни разу не сбивался с тех пор, как впервые встал на ноги и неуве-

---

[1] Гульсары — желтый цветок, лютик.

ренно затрусил по лугу за своей матерью — большой гривастой кобылой.

Гульсары был иноходцем от рождения, и за его знаменитую иноходь выпало ему в жизни много хороших и много горьких дней. Раньше никому бы не пришло в голову запрячь его в телегу, это было бы кощунством. Но, как говорится, если беда свалится на коня — конь будет взнузданным воду пить, если беда свалится на молодца — молодец и вброд пойдет в сапогах.

Все это было, осталось далеко позади. Теперь иноходец шел к своему последнему финишу из последних сил. Никогда так медленно не шел он к финишу и никогда так быстро не приближался к нему. Последняя черта все время была от него на расстоянии одного шага.

Колеса стучали по старой дороге.

Ощущение неустойчивости земной тверди под копытами смутно всколыхнуло в угасшей памяти коня те давние летние дни, тот мокрый зыбкий луг в горах, тот удивительный и невероятный мир, в котором солнце ржало и скакало по горам, а он, глупыш, пускался вдогонку за солнцем через луг, через речку, через кусты, пока косячный жеребец со злобно прижатыми ушами не догонял его и не заворачивал назад. Тогда, в те давние дни, табуны, казалось, ходили вверх ногами, как в глубине озера, а его мать — большая гривастая кобыла — превращалась в теплое молочное облако. Он любил то мгновение, когда мать вдруг превращалась в ласково фыркающее облако. Соски ее становились тугими и сладкими, молоко пенилось на губах, и он захлебывался от обилия его и сладости. Он любил стоять так, уткнувшись в живот своей большой гривастой матери. Какое это было упоительное, пьяное молоко! Весь мир — солнце, земля, мать — умещался в глотке молока. И, уже насытившись, можно было сделать еще глоток, потом еще и еще...

Увы, это продолжалось недолго, совсем недолго. Скоро все изменилось. Солнце в небе перестало ржать и скакать по горам, оно всходило строго на востоке и неуклонно шло на запад, табуны перестали ходить вверх ногами, под их копытами истоптанный луг чавкал и темнел, а камни на отмели цокали и ло-

пались. Большая гривастая кобыла оказалась строгой матерью, она больно кусала его за холку, когда он слишком надоедал. Молока уже не хватало. Надо было есть траву. Начиналась та жизнь, которая тянулась долгие годы и которой теперь подходил конец.

За всю свою долгую жизнь иноходец никогда не возвращался в то ушедшее навсегда лето. Он ходил под седлом, махал ногами по разным дорогам, под разными седоками, а дорогам все не было конца. И только теперь, когда солнце вновь стронулось с места, а земля закачалась под ногами, когда в глазах его зарябило и замутилось, ему снова почудилось то лето, которое так долго не возвращалось. Те горы, тот мокрый луг, те табуны, та большая гривастая кобыла стояли сейчас перед его глазами в странном зыбком мерцании. И, весь напрягаясь, вытягиваясь, он отчаянно заработал ногами, чтобы, вырвавшись из-под дуги, выскочив из хомута и оглобель, вступить в этот прошлый, вдруг снова открывшийся ему мир. Но обманчивое видение всякий раз отодвигалось, и это было мучительно. Мать манила его, как в детстве, тихим ржанием, табуны проносились, как в детстве, задевая его боками и хвостами, а у него не хватало сил преодолеть мерцающую мглу метели — она разыгрывалась вокруг все сильнее, она секла его жесткими хвостами, она забивала ему снегом глаза и ноздри, в жарком поту он содрогался от холода, и тот недосягаемый мир бесшумно утопал, исчезал в метельных вихрях. Вот уже исчезли горы, луг, река, убежали табуны, и лишь смутным пятном проступала впереди тень матери — большой гривастой кобылы. Она не хотела его оставлять. Она звала его. Он заржал изо всех сил, рыдая, но голоса своего не услышал. И все исчезло, исчезла и метель. Колеса перестали стучать. Перестала щемить ранка под хомутом.

Иноходец остановился, зашатался из стороны в сторону. Глазам было больно смотреть. Странный бесконечный гул стоял в голове.

Танабай бросил вожжи на передок, неловко слез с телеги, расправил затекшие ноги и хмуро подошел к коню.

— Эх, будь ты неладен! — тихо выругался он, глядя на иноходца.

Тот стоял, вывалив из хомута огромную голову на длинной, исхудавшей шее. Ребра иноходца туго ходили вверх и вниз, вздымая худые, дряблые бока под маклаками. Некогда светло-желтый, золотой, он был теперь бурым от пота и грязи. Сизые потеки пота мыльными полосами спускались с костистого крестца на брюшину, на ноги, на копыта.

— Вроде бы я не гнал,— пробормотал Танабай и засуетился. Ослабил подпругу, развязал супонь, разнуздал коня. Удила были в горячей липкой слюне. Рукавом шубы отер иноходцу морду и шею. Потом кинулся к телеге — собрать остатки сена, наскреб пол-охапки, бросил к ногам коня. Но тот не притронулся к корму, его била мелкая дрожь.

Танабай поднес иноходцу клок сена.

— На бери, ешь, ну что же ты!

Губы иноходца шевельнулись, однако не смогли захватить сена. Танабай заглянул ему в глаза и помрачнел. В глубоко запавших, полуприкрытых облезлыми складками век глазах лошади он ничего не увидел. Они померкли и были пусты, как окна заброшенного дома.

Танабай растерянно огляделся по сторонам: вдали — горы, окрест — голая степь, и на дороге никого не видно. В эту пору года проезжие здесь — редкость.

Старый конь и старый человек стояли одни на пустынной дороге.

Был конец февраля. Снег уже сошел с равнин, только по оврагам да камышовым буеракам оставались еще в затаенных логовах зимы волчьи хребтины последних сугробов. Ветер доносил слабый запах лежалого снега, и земля была еще смерзшаяся, сизая, не ожившая. Бесприютна и уныла каменная степь в конце зимы. От одного ее вида у Танабая захолодело внутри.

Вскинув всклокоченную сивую бороду, он долго смотрел из-под пожухлого рукава шубы на запад. Солнце зависало средь облаков над краем земли. И уже сочился по горизонту неяркий, дымный закат. Непогоды ничто не предвещало, а все же было холодно и жутковато.

«Знал бы, не выезжал лучше,— сокрушался Танабай...— А теперь ни туда, ни сюда, стой средь чистого поля. И коня понапрасну загублю».

Да, пожалуй, ему надо было выехать завтра утром. Днем, случись что в пути, все-таки может подвернуться какой-нибудь проезжий. А он выехал уже за полдень. Разве же можно так в эту-то пору?

Танабай поднялся на пригорок, чтобы взглянуть, не покажется ли вдали попутная или встречная машина. Но ни в той, ни в другой стороне ничего не было видно и слышно. Он побрел назад к телеге.

«Зря я выехал»,— опять подумал Танабай, уже в который раз упрекая себя за вечную спешку. Он злился от досады и на самого себя, и на все то, что вынудило его поторопиться с отъездом из дома сына. Конечно, надо было переночевать и дать коню передохнуть. А он?..

Танабай сердито махнул рукой. «Нет, все равно не остался бы. Пешком ушел бы! — оправдывался он перед собой.— Разве же можно так говорить с отцом мужа? Какой я ни есть, а все же отец. Ишь ты, зачем было вступать в партию, если всю жизнь в пастухах да в табунщиках проходил, к старости выгнали... Сын тоже хорош. Молчит, глаза боится поднять. Скажет она ему: откажись от отца — и откажется. Тряпка, а тоже в начальники лезет. Эх, что там говорить! Не тот народ пошел, не тот».

Танабаю стало жарко, он расстегнул ворот рубашки и, трудно дыша, начал ходить вокруг телеги, забыв про коня, про дорогу, про наступающую ночь. И никак не мог успокоиться. Там, в доме сына, он сдержался, посчитал ниже своего достоинства пререкаться с невесткой. А сейчас вдруг вскипел, сейчас бы он все, о чем горько думал по дороге, высказал ей: «Не ты принимала меня в партию, и не ты выгоняла. Откуда тебе знать, невестка, что тогда было? Теперь обо всем судить легко. Теперь всяк грамотный, почет и уважение тебе. А с нас спрашивали, да как еще спрашивали! За отца, за мать, за друга и недруга, за себя, за собаку соседскую, за все на свете были в ответе. А что исключили, так это ты не тронь! Это моя печаль, невестушка. Это ты не тронь!»

— Это ты не тронь! — продолжал повторять он вслух, топчась у телеги.— Это ты не тронь! — твердил он все одно и то же. И самое обидное, унизительное было в том, что, кроме этого «не тронь», вроде бы и сказать-то было нечего.

Он все ходил и ходил вокруг телеги, пока не вспомнил, что надо что-то делать — не оставаться же здесь на всю ночь.

Гульсары стоял в упряжи все так же неподвижно, ко всему безучастный, сгорбившись, подобрав ноги в кучу,— казалось, одеревенел, умер.

— Ты что? — Танабай подскочил к нему и услышал тихий протяжный стон коня.— Задремал? Худо тебе, старина? Плохо? — Он торопливо пощупал холодные уши иноходца, сунул руку под гриву. Там тоже было холодно и влажно. Но больше всего его испугало то, что он не ощутил привычной тяжести гривы. «Совсем постарел, иссеклась грива, легкая, как пушок. Все мы стареем, всем нам один конец»,— с горечью подумал он. И встал в нерешительности, не зная, что делать. Если бросить коня с телегой и уйти пешком, то к полуночи он мог бы добраться до дома, до своей сторожки в ущелье. Жил он там на базе с женой, по соседству со смотрителем водхоза, обитавшим в полутора километрах выше по речке. Летом Танабай присматривал за сенокосом, зимой за скирдами, чтобы чабаны не растащили и не потравили сено раньше срока.

Минувшей осенью как-то приехал он в контору по делам, а новый бригадир, молодой агроном из приезжих, и говорит ему:

— Идите, аксакал, на конюшню, мы там коня вам другого подобрали. Староват, правда, но для вашей работы сойдет.

— Это какого же? — насторожился Танабай.— Опять клячу какую-нибудь?

— Там вам покажут. Буланый такой. Вы должны знать, говорят, ездили на нем когда-то.

Танабай отправился на конюшню, и, когда увидел во дворе иноходца, сердце у него больно сжалось. «Вот и свиделись, выходит, снова»,— сказал он про себя старому, заезженному вконец коню. А отказаться не хватило духу. Увел коня с собой.

Дома жена едва узнала иноходца.

— Танабай, неужели это тот Гульсары? — удивилась она.

— Он, он самый, что ж тут такого...— пробурчал Танабай, стараясь не смотреть жене в глаза.

Им не стоило особенно вдаваться в воспоминания, связанные с иноходцем. Был за Танабаем грех по молодости, был. И чтобы избежать нежелательного оборота разговора, он грубовато сказал ей:

— Ну, что стоишь, согрей нам поесть. Голодный я как собака.

— Да вот смотрю и думаю,— ответила она,— что значит старость. Не скажи ты мне, что это тот самый Гульсары, и не признала бы.

— Что ж тут удивляться? Думаешь, мы с тобой лучше выглядим! Всему свое время.

— Вот и я ж об этом.— Она задумчиво покачала головой и, добродушно посмеиваясь, сказала: — Может, ты опять по ночам будешь разъезжать на своем иноходце? Разрешу.

— Куда там,— неловко отмахнулся он и повернулся к жене спиной. На шутку бы шуткой ответить, а он от смущения полез под крышу сарая за сеном. Долго там возился. Думал, забыла она про то, выходит, нет.

Из трубы валил дым, жена грела на ужин остывший обед, а он все возился с сеном, пока она не крикнула из дверей:

— Слезай, а то еда опять остынет.

Больше она не заговаривала о давнем, да и к чему?..

Всю осень и зиму Танабай выхаживал иноходца, кормил теплыми отрубями, резаной свеклой. Зубы-то у Гульсары были на исходе, одни пеньки оставались. И казалось, поставил уже коня на ноги, так надо же случиться такому. Как теперь с ним быть?

Нет, не хватало у него духу кинуть коня среди дороги.

— Что ж, Гульсары, так и будем стоять? — Танабай толкнул иноходца рукой, тот закачался, переступил ногами.— А ну постой, я сейчас.

Он поднял кнутовищем со дна телеги порожний мешок, в котором привозил невестке картошку, достал оттуда узелок. Жена испекла хлеба на дорогу, а он и забыл о нем, не до еды было. Танабай отломил половину лепешки, мелко накрошил ее в подол бешмета, поднес крошево коню. Гульсары шумно вдохнул запах хлеба, но есть не смог. Тогда Танабай стал кормить его с ладони. Затолкал ему в рот несколько кусочков, и конь начал жевать.

— Ешь, ешь, может, и дотянем, а? — Танабай повеселел.— Потихоньку, полегоньку, может, доберемся, а? А там не страшно, там мы со старухой выходим тебя,— приговаривал он. На его дрожащие руки стекала с лошадиных губ слюна, а он радовался, что слюна становится теплее.

Потом он взял иноходца за повод.

— А ну пошли! Нечего стоять. Пошли! — приказал он решительно.

Иноходец тронулся с места, телега заскрипела, колеса медленно застучали по дороге. И они медленно пошли — старый человек и старый конь.

«Совсем ослаб,— думал Танабай про коня, шагая по обочине.— Сколько же тебе лет, Гульсары? Двадцать, а то и больше. Пожалуй, что больше...»

2

Первый раз встретились они после войны. Побывал ефрейтор Танабай Бакасов и на Западе и на Востоке, демобилизовался после капитуляции Квантунской армии. В общей сложности почти шесть лет прошагал он по солдатским дорогам. И ничего, бог миловал, один раз контузило в обозе, другой раз ранило осколком в грудь, месяца два лежал в госпитале и снова догнал свою часть.

А когда возвращался домой, станционные торговки называли его стариком. Ну, это больше в шутку. Танабай не очень-то обижался на них. Не молодой он был, конечно, но и не старый, это с виду будто старый, побурел порядком за войну, седина замелькала в усах, но телом и духом он был еще крепкий. Через год жена родила дочь, а потом вторую. Обе уже замужем, с детьми. Частенько наезжают летом. Муж старшей — шофер. Посадит всех в кузов — и в горы, к старикам. Нет, не в обиде они на дочерей и зятьев, а вот сын не вышел. Но это разговор другой...

А тогда в пути, после победы, казалось, что жизнь-то настоящая только начинается. Так хорошо было на сердце. На больших станциях эшелон встречали и провожали духовые оркестры. Дома жена ждала, сынишке восьмой год шел, в школу собирался. Ехал с таким ощущением, точно бы родился на свет заново, точно бы все, что было до этого, вроде уже не в счет. Хоте-

лось все забыть, хотелось думать только о будущем. И представлялось оно ясным, простым: надо жить, детей растить, хозяйство налаживать, дом строить, в общем — жить. И этому уже ничто больше не должно помешать — потому что все прошлое как бы отдано было в залог того, что теперь-то наконец начнется та настоящая жизнь, к которой все это время стремились, ради которой побеждали и умирали на войне.

Только оказалось, спешил Танабай, слишком спешил — в залог будущего надо было отдать еще годы и годы.

Сначала поработал он в кузнице молотобойцем. Имел когда-то в этом сноровку и, дорвавшись до наковальни, с утра до вечера сыпал сплеча так, что кузнец едва успевал поворачивать под молотом раскаленный кусок железа. Ему и сейчас еще слышится иной раз тот перестук и звон в кузнице, что заглушал все тревоги и заботы. Не хватало хлеба, одежды, женщины ходили в галошах на босу ногу, детишки не знали, что такое сахар, колхоз весь в долгах сидел, счета в банке были арестованы, а он отмахивался от всего этого молотом. Ухал им, наковальня звенела, разлетались синими брызгами искры. «Уг-ха, уг-ха!» — выдыхал он, вздымая и опуская молот, и думал: — Все уладится, главное — победили, главное — победили!» А молот вторил: «Победили, победили, дили, дили, дили!» И не только он, в те дни все жили воздухом победы, как хлебом.

А потом Танабай пошел в табунщики, уехал в горы. Чоро его уговорил. Покойный Чоро был тогда председателем колхоза, он всю войну председательствовал. В армию его не взяли из-за больного сердца. Вроде и дома он сидел, а постарел здорово. Танабай это сразу заметил, когда вернулся.

Вряд ли кто другой уговорил бы его сменить кузню на табун. Но Чоро был его давнишним другом. Вместе они когда-то начинали комсомольцами агитировать за колхоз, вместе кулаков раскулачивали. Особенно он, Танабай, старался тогда. Не щадил он тех, кто попадал в список на раскулачивание...

Уговорил его Чоро, приехав к нему в кузницу, и, кажется, очень был доволен этим.

— А я боялся, что ты прирос к молоту, не оторвешь,— говорил он, улыбаясь.

Больной был Чоро, тощий, шея вытянулась, морщины залегли на впалых щеках. Время еще было теплое, но Чоро и летом ходил в своей неизменной фуфайке.

Сидели они, опустившись на корточки, у арыка, неподалеку от кузницы, беседовали. Вспомнилось Танабаю, каким был Чоро в молодости. В ту пору он был самым грамотным в аиле и видным собой парнем. Люди уважали его за спокойный, добрый нрав. А Танабаю не нравилась его доброта. На собраниях он, бывало, вскакивал и прорабатывал Чоро за недопустимую мягкотелость в классовой борьбе с врагом. Получалось у него это крепко, прямо как по газете. Все, что слушал на громких читках, наизусть повторял. Иной раз самому становилось страшно от своих слов. Зато здорово получалось.

— Понимаешь, был я третьего дня в горах,— рассказывал Чоро.— Старики спрашивают, все ли солдаты вернулись? Да все, говорю, кто в живых остался. «А когда думают браться за работу?» Работают уже, отвечаю, кто на поле, кто на стройке, кто где. «Это и мы знаем. А табуны кому водить? Будут ждать, пока мы помрем, так нам немного уже осталось». Стыдно мне стало. Понимаешь, к чему этот разговор ведут? Стариков этих мы в войну послали в горы табунщиками. С тех пор они там. Не тебе говорить, дело это не стариковское. Вечно в седле, ни днем ни ночью покоя. А в зимние ночи как! Помнишь Дербишбая, тот так и окоченел в седле. А они ведь и коней объезжали — армии нужны были кони. Попробуй на седьмом десятке лет, чтоб потаскал тебя как-нибудь сатана по горам да по долам. Костей не соберешь. Спасибо им и на том, что выстояли. А фронтовики вот вернулись и нос воротят, культуры понавидались за границей, в табунщики уже не желают. Зачем, мол, мне скитаться по горам? Вот как получается. Так что выручай, Танабай. Ты пойдешь, тогда и других заставим.

— Хорошо, Чоро, попробую поговорю с женой,— отвечал Танабай. А сам думал: «Жизнь-то какая прошумела над головой, а ты, Чоро, все такой же. Сгораешь от своей доброты. Может, это и хорошо. Всякое повидали за войну, нам бы всем добрее быть. Может, это и есть самое верное в жизни?»

На том они было и разошлись.

Танабай пошел к себе в кузницу. Но Чоро вдруг окликнул его:

— Постой, Танабай.— Он подъехал к нему на коне, склонился на луку седла, заглядывая в лицо.— Ты, случаем, не обижаешься? — спросил он негромко.— Понимаешь, времени никак не выкрою. Посидеть хотелось, поговорить по душам, как бывало. Сколько лет не виделись. Думал, кончится война, легче станет, а забот не убавляется. Иной раз глаз не сомкнешь, всякие мысли лезут в голову. Как сделать, чтобы хозяйство поднять, народ накормить и чтобы планы все выполнять. И люди уже не те, жить хотят лучше...

Но им так и не удалось потолковать по душам, так и не нашли они случая посидеть наедине. А время шло, потом было уже поздно.

Вот тогда-то, отправившись в горы табунщиком, Танабай впервые и увидел там в табуне старого Торгоя буланого жеребчика-полуторалетку.

— В наследство что оставляешь, аксакал? Табун-то не ахти, а? — уязвил Танабай старого табунщика, когда лошади были пересчитаны и выгнаны из загона.

Торгой был сухонький старичок без единой волосинки на сморщенном лице, сам с локоток, как подросток. Большая косматая баранья шапка сидела на нем словно гриб. Такие старики обычно легки на подъем, занозисты и горласты.

Но Торгой не вспылил.

— Какой есть, табун как табун,— невозмутимо ответил он.— Хвалиться особенно нечем, погоняешь — увидишь.

— Да я так, отец, к слову,— примирительно промолвил Танабай.

— Один есть! — Торгой сдвинул с глаз нависшую шапку и, привстав на стременах, показал рукояткой камчи.— Вон тот буланый жеребчик, что с правого края пасется. Далеко пойдет.

— Это который — вон тот, круглый как мяч? Что-то мелковат с виду, поясница короткая.

— Поздныш он. Выправится — ладный будет.

— А что в нем? Чем он хорош?

— Иноходец от роду.

— Ну и что?

— Таких мало встречал. В прежние времена ему

цены не было бы. За такого в драках на скачке головы клали.

— А ну глянем! — предложил Танабай.

Они пришпорили коней, пошли краем табуна, отбили буланого в сторону и погнали его перед собой. Жеребчик не прочь был пробежаться. Он весело тряхнул челкой, фыркнул и пошел с места, как заводной, четкой, стремительной иноходью, описывая большой полукруг, чтобы вернуться к табуну. Увлеченный его бегом, Танабай закричал:

— О-о-о, смотри, как идет! Смотри!

— А ты как думал,— задорно отозвался старый табунщик.

Они быстро рысили вслед за иноходцем и кричали, как маленькие дети на байге. Голоса их словно бы подстегивали жеребчика, он все убыстрял и убыстрял бег, почти без напряжения, без единого сбоя на скач, шел ровно, как в полете.

Им пришлось пустить коней в галоп, а тот продолжал идти в том же ритме иноходи.

— Ты видишь, Танабай! — кричал на скаку Торгой, размахивая шапкой.— Он на голос чуткий, как нож под рукой, смотри, как поднадает на крик! Айт, айт, ай-та-а-ай!

Когда буланый жеребчик вернулся наконец к табуну, они оставили его в покое. Но долго еще не могли угомониться, проезжая своих разгоряченных лошадей.

— Ну спасибо, Торгой-аке, хорошего коня вырастил. На душе даже веселей стало.

— Хорош,— соглашался старичок.— Только ты смотри,— вдруг посуровел он, скребя в затылке.— Не сглазь. И прежде времени не болтай. На хорошего иноходца, как на красивую девку, охотников много. Девичья судьба какая: попадет в хорошие руки — будет цвести, глаза радовать, попадет к какому-нибудь дурню — страдать будешь, глядя на нее. И ничем не поможешь. Так и с хорошим конем. Загубить просто. Упадет на скаку.

— Не беспокойся, аксакал, я ведь тоже разбираюсь в этом деле, не маленький.

— Вот то-то. А кличка его — Гульсары. Запомни.

— Гульсары?

— Да. Внучка прошлым летом приезжала гостить.

Это она так прозвала его. Полюбила. Тогда он стригунком был. Запомни: Гульсары.

Словоохотливым оказался старичком Торгой. Всю ночь наказы давал. Танабай терпеливо выслушивал.

Провожал он Торгоя и жену его верст семь от стойбища. Оставалась пустая юрта, в которой он должен был поселиться с семьей. В другой юрте поселится его помощник. Но помощника еще не подобрали. Пока он был один.

На прощанье Торгой снова напоминал:

— Буланого пока не тронь. И никому не доверяй. Весной сам объезжай его. Да смотри осторожней. Как пойдет под седлом, сильно не гони. Задергаешь, собьется с иноходи, испортишь коня. Да смотри, чтобы в первые дни не опился сгоряча. Вода на ноги упадет, мокрецы пойдут. А когда выездишь — покажешь, если не помру...

И уехал Торгой со своей старухой, оставив ему табун, юрту, горы, уводя с собой верблюда, навьюченного пожитками...

Если бы знал Гульсары, сколько разговоров шло о нем и сколько еще будет и к чему это все приведет!..

Он по-прежнему вольно ходил в табуне. Вокруг было все то же, те же горы, те же травы и реки. Только вместо старика стал гонять их другой хозяин — в серой шинели и в солдатской ушанке. Голос нового хозяина был с хрипотцой, но громкий и властный. Табун к нему вскоре привык. Пусть себе носится вокруг, если нравится.

А потом пошел снег. Он выпадал часто и долго лежал. Лошади разгребали снег копытами, чтобы добраться до травы. Хозяин почернел лицом, и руки его задубели от ветров. Теперь он ходил в валенках, кутался в большую шубу. Гульсары оброс длинной шерстью, и все же ему было холодно, особенно по ночам. В морозные ночи табун сбивался в затишке в плотную кучу и стоял так, индевея, до восхода солнца. Хозяин тут же топтался на коне, хлопал рукавицами, растирал лицо. Иногда исчезал и снова появлялся. Лучше было, когда он не отлучался. Крикнет он или крякнет от мороза — табун вскинет головы, навострит уши, но тут же, убедившись, что хозяин рядом, задремлет под шорох и посвист ночного ветра.

С той зимы Гульсары запомнил голос Танабая на всю жизнь.

Забуранило однажды ночью в горах. Сыпал колкий снег. Он набивался в гриву, тяжелил хвост, залеплял глаза. Неспокойно было в табуне. Лошади жались друг к другу, дрожали. Старые кобылицы тревожно храпели, загоняя жеребят в середину табуна. Они оттеснили Гульсары на самый край, и он никак не мог пробиться в кучу. Стал брыкаться, расталкивать других, оказался вовсе в стороне, и тут ему здорово досталось от косячного жеребца. Тот давно уже колесил вокруг, пахал снег крепкими ногами, сбивал табун в кучу. Иногда он бросался куда-то в сторону, угрожающе пригнув голову и прижав уши, пропадал в темноте, слышался только его храп, и снова прибегал к лошадям, злой и грозный. Заметив отошедшего в сторону Гульсары, он налетел на него грудью и, развернувшись, со страшной силой ударил его задними копытами по боку. Это было так больно, что Гульсары чуть не задохнулся. Внутри у него что-то ухнуло, он взвизгнул от удара и едва устоял на ногах. Больше он не пытался своевольничать. Смирно стоял, прибившись с края табуна, с ноющей болью в боку и обидой на свирепого жеребца. Лошади приутихли, и тут он услышал смутный тягучий вой. Он никогда не слышал волчьего воя и почувствовал, как все в нем на миг приостановилось и заледенело. Табун дрогнул, напрягся прислушиваясь. Все стихло. Но тишина эта была жуткая. Снег все сыпал, с шорохом налипая на вскинутую морду Гульсары. Где хозяин? Он так нужен был в эту минуту, хоть бы голос его услышать, вдохнуть дымный запах его шубы. А его нет. Гульсары покосил глазами в сторону от себя и оцепенел от страха. Сбоку точно бы мелькнула какая-то тень, пластаясь во тьме по снегу. Гульсары резко отпрянул, и табун тотчас же шарахнулся, сорвался с места. С диким визгом и ржанием обезумевшие лошади понеслись лавиной в кромешную тьму. И не было уже такой силы, которая могла бы их остановить. Лошади рвались вперед изо всей мочи, увлекая друг друга, как камни горного обвала, сорвавшегося с крутизны. Ничего не понимая, Гульсары мчался в жаркой, бешеной скачке. И вдруг раздался выстрел, затем прогрохотал второй. Лошади услышали на бегу яростный крик хозяина. Крик раз-

дался где-то сбоку и, не стихая, пошел им наперерез и затем оказался впереди. Они настигали теперь этот неумолкавший голос, он вел их за собой. Хозяин был с ними. Он скакал впереди, рискуя сорваться в любую минуту в расщелину или в пропасть. Он кричал уже вполсилы, потом стал хрипеть, но продолжал подавать голос: «Кайт, кайт, кайта-а-айт!» И они бежали вслед, спасаясь от преследующего их ужаса.

К рассвету Танабай пригнал табун на старое место. И только тут лошади остановились. Пар валил над табуном густым туманом, лошади тяжело водили боками и все еще дрожали от пережитого испуга. Горячими губами хватали они снег. Танабай тоже ел снег. Сидел на корточках и пригоршнями совал в рот белые холодные комки. Потом вдруг будто замер, уткнувшись лицом в ладони. А снег все сыпал сверху, таял на горячих лошадиных спинах и стекал вниз мутными, желтыми каплями...

Сошли глубокие снега, открылась, зазеленела земля, и Гульсары быстро набирал тело. Табун слинял, залоснился новой шерстью. Зимы и бескормицы будто и в помине не было. Лошади не помнили об этом, помнил об этом человек. Помнил стужу, помнил волчьи ночи, помнил, как застывал в седле, как кусал губы, чтобы не заплакать, отогревая у костра закоченевшие руки и ноги, помнил весенний голод, свинцовой коростой сковавший землю, помнил, как гибли тогда слабые в табуне, как, спустившись с гор, не поднимая глаз, подписывал он в конторе акты о падеже лошадей и как, взорвавшись вдруг, орал и стучал кулаком по столу председателя:

— Ты на меня не смотри так! Я тебе не фашист! Где сараи для табунов, где корм, где овес, где соль? На одном ветру держимся! Разве же так велено нам хозяйствовать? Посмотри, в каком рванье мы ходим! Посмотри на наши юрты, посмотри, как я живу! Хлеба досыта не едим. На фронте и то в сто раз лучше было. А ты еще смотришь на меня, будто я сам передушил этих лошадей!

Помнил страшное молчание председателя, его посеревшее лицо. Помнил, как ему стыдно стало своих слов и как он начал извиняться.

— Ну, ты, ты прости меня, я погорячился,— запинаясь, выдавил он из себя.

— Это ты должен простить меня,— сказал ему Чоро.

И еще больше стало ему стыдно, когда председатель, вызвав кладовщицу, распорядился:

— Выдай ему пять кило муки.

— А как же ясли?

— Какие ясли? Вечно ты все путаешь! Выдай! — резко приказал Чоро.

Танабай хотел было отказаться наотрез, скоро, мол, молоко пойдет, кумыс будет, но, глянув на председателя и разгадав его горький обман, заставил себя промолчать. Потом он всякий раз обжигался лапшой из этой муки. Бросал ложку:

— Ты что, спалить меня собираешься, что ли?

— А ты остуди, не маленький,— спокойно отвечала жена.

Помнил он, все помнил...

Но стоял уже май. Голосили жеребцы, сшибаясь в схватке один на один, угоняя молодых кобылиц из чужих косяков. Отчаянно носились табунщики разгоняя драчунов, ругались между собой, иногда тоже схватывались, замахивались плетками. Гульсары дела не было до всего этого. Солнце светило вперемежку с дождями, трава лезла из-под копыт. Луга стояли зеленые-зеленые, а над ними сияли белые-белые снега на вершинах хребтов. Прекрасную пору молодости начинал в ту весну буланый иноходец. Из мохнатого кургузого полуторалетки он превращался в стройного, крепкого жеребчика. Он вытянулся, корпус его, утратив мягкие линии, принимал уже вид треугольника — широкая грудь и узкий зад. Голова его тоже стала как у истинного иноходца — сухая, горбоносая, с широко расставленными глазами и подобранными, упругими губами. Но ему и до этого не было никакого дела. Одна лишь страсть владела им пока, доставляя хозяину немалые хлопоты,— страсть к бегу. Увлекая за собой своих сверстников, он носился среди них желтой кометой. В горы и вниз со склонов, вдоль по каменистому берегу, по крутым тропам, по урочищам и по лощинам гоняла его без устали какая-то неистощимая сила. И даже глубокой ночью, когда он засыпал под звездами, снилось ему, как убегала под ним земля, как ветер посвистывал в гриве и ушах, как лопотали и словно бы звенели копыта.

К хозяину он относился так же, как и ко всему другому, что прямо его не касалось. Не то чтобы любил его, но и не питал никакой неприязни, потому что тот ничем не стеснял ему жизнь. Разве что ругался, догоняя их, когда они слишком далеко уносились. Иногда хозяину удавалось раз-другой стегануть буланого по крупу укруком[1]. Гульсары вздрагивал при этом всем телом, но больше от неожиданности, чем от удара, и еще пуще прибавлял шагу. И чем сильней он бежал, возвращаясь к табуну, тем больше нравился своему хозяину, скакавшему следом с укруком наперевес. Иноходец слышал сзади себя одобрительные покрики, слышал, как тот начинал петь в седле, и в такие минуты он любил хозяина, любил бежать под песню. Потом он хорошо узнал эти песни — разные были среди них, веселые и печальные, длинные и короткие, со словами или без слов. Любил он еще, когда хозяин кормил табун солью. В длинные дощатые корыта на колышках хозяин разбрасывал комки лизунца. Наваливались всем табуном, то-то было наслаждение. На соли-то он и попался.

Как-то раз забарабанил хозяин в порожнее ведро, стал скликать лошадей: «По, по, по!» Лошади сбежались, припали к корытам. Гульсары лизал соль, стоя среди других, и ничуть не обеспокоился, когда хозяин вместе с напарником стали обхаживать табун с укруками в руках. Это его не касалось. Укруком ловили верховых лошадей, дойных кобылиц и прочих, но только не его. Он был вольный. И вдруг волосяная петля скользнула по его голове и повисла на шее. Гульсары не понимал, в чем дело, петля пока не пугала его, и он продолжал лизать соль. Другие лошади рвутся, на дыбы встают, когда на них накидывают укрук, а Гульсары не шелохнулся. Но вот ему захотелось побежать к реке напиться. Он стал выбираться из табуна. Петля на шее стянулась и остановила его. Такого еще никогда не бывало. Гульсары отпрянул, захрапел, выкатывая глаза, затем взвился на дыбы. Лошади вокруг мигом рассыпались, и он оказался один на один с людьми, держащими его на волосяном аркане. Хозяин стоял впереди, за ним — второй табунщик, и тут же топтались мальчишки табунщи-

[1] Укрук — длинная палка с петлей на конце для ловли лошадей.

ков, появившиеся здесь недавно и уже изрядно надоевшие ему своими бесконечными скачками вокруг табуна.

Иноходца охватил ужас. Он рванулся на дыбы еще раз, затем еще и еще, солнце замельтешило в глазах, рассыпаясь жаркими кругами, горы, земля, люди падали, опрокидываясь навзничь, глаза застила на миг черная пугающая пустота, которую он молотил передними ногами.

Но сколько он ни бился, петля затягивалась все туже, и, задыхаясь, иноходец метнулся не в сторону от людей, а к ним. Люди шарахнулись, петля на секунду ослабла, и он с разгона поволок их по земле. Женщины закричали, погнали мальчишек к юртам. Однако табунщики успели встать на ноги, и петля снова захлестнулась на шее Гульсары. В этот раз так туго, что дышать было уже нельзя. И он остановился, изнемогая от головокружения и удушья.

Стравливая аркан в руках, хозяин стал приближаться сбоку. Гульсары видел его одним глазом. Хозяин подходил к нему в изодранной одежде, со ссадинами на лице. Но глаза хозяина смотрели не злобно. Он тяжело дышал и, причмокивая разбитыми губами, негромко, почти шепотом приговаривал:

— Тек, тек, Гульсары, не бойся, стой, стой!

За ним, не ослабляя аркан, осторожно приближался его помощник. Хозяин наконец дотянулся рукой до иноходца, погладил его по голове и коротко, не оборачиваясь, бросил помощнику:

— Уздечку.

Тот сунул уздечку.

— Стой, Гульсары, стой, умница,— приговаривал хозяин. Прикрыв глаза иноходца ладонью, он накинул ему на голову уздечку.

Теперь предстояло взнуздать его и оседлать. Когда уздечка была накинута ему на голову, Гульсары захрипел, попытался рвануться прочь. Но хозяин успел ухватить его за верхнюю губу.

— Накрутку! — крикнул он помощнику, и тот подбежал, быстро наложил на губу накрутку из ремня и стал накручивать ее на губе палкой, как воротом.

Иноходец присел от боли на задние ноги и больше уже не сопротивлялся. Холодные железные удила загремели на зубах и впились в углы рта. На спину

ему что-то набрасывали, подтягивали, рывками стискивали ему ремнями грудь, так что он качался из стороны в сторону. Но это уже не имело значения. Была только всепоглощающая, немыслимая боль в губе. Глаза лезли на лоб. Нельзя было ни шелохнуться, ни вздохнуть. И он даже не заметил, когда и как сел на него хозяин, очнулся лишь после того, как сняли с губы накрутку.

Минуту-другую он стоял, ничего не соображая, весь стянутый и отяжелевший, потом покосил глазом через плечо и вдруг увидел на спине у себя человека. От испуга он кинулся прочь, но удила раздирали рот, а ноги человека крепко впились в бока. Иноходец вскинулся на дыбы, заржал негодующе и яростно, заметался, взбрыкивая задом, и, весь напрягшись, чтобы сбросить с себя все, что давило его, ринулся в сторону, но аркан, конец которого держал под стременем другой человек, на другом верховом коне, не пустил его. И тогда он побежал по кругу, побежал, ожидая, что круг разомкнется и он пустится прочь отсюда куда глаза глядят. Однако круг не размыкался, и он все бежал и бежал по кругу. Этого-то и надо было людям. Хозяин нахлестывал его плеткой и понукал каблуками сапог. Два раза иноходцу все же удалось скинуть его с себя. Но тот вставал и снова садился в седло.

Так продолжалось долго, очень долго. Кружилась голова, кружилась земля вокруг, кружились юрты, кружились облака в небе. Потом он устал и пошел шагом. Очень хотелось пить.

Но пить ему не давали. Вечером, не расседлывая, чуть только приослабив подпруги, его поставили у коновязи на выстойку. Повода уздечки были крепко намотаны на луку седла, так что голову приходилось держать прямо и ровно и лечь на землю в таком положении он не мог. Стремена были подняты наверх и тоже надеты на луку седла. Так он стоял всю ночь. Стоял смирно, обескураженный всем тем невероятным, что ему пришлось пережить. Удила во рту все еще мешали, малейшее движение их причиняло жгучую боль, неприятен был привкус железа. Набухшие углы рта были раздерганы. Саднили под боком растертые ремнями места. И под потником ломило набитую спину. Страшно хотелось пить. Он слышал шум

реки, и от этого еще больше одолевала жажда. Там, за рекой, как всегда, паслись табуны. Доносился топот многих копыт, ржанье лошадей и крики ночных табунщиков. Люди возле юрт сидели у костров, отдыхали. Мальчишки дразнили собак, тявкали по-собачьи. А он стоял, и никому не было дела до него.

Потом взошла луна. Горы тихо выплыли из мрака и тихо закачались, освещенные желтой луной. Звезды разгорались все ярче, все ниже опускаясь к земле. Он смирно стоял, прикованный к одному месту, а его кто-то искал. Он слышал ржанье маленькой гнедой кобылицы, той самой, вместе с которой вырос и с которой всегда был неразлучен. У нее белая звезда во лбу. Она любила бегать с ним. За ней уже стали гоняться жеребцы, но она не давалась, убегала вместе с ним подальше от них. Она была еще недоростком, а он тоже не достиг еще такого возраста, чтобы делать то, что пытались сделать с ней другие жеребцы.

Вот она заржала где-то совсем поблизости. Да, это была она, он точно узнал ее голос. Он хотел ответить ей, но боялся раскрыть издерганный, опухший рот. Это было страшно больно. Наконец она нашла его. Подбежала легким шагом, поблескивая при луне белой звездочкой во лбу. Хвост и ноги ее были мокрые. Она перешла через реку, принеся с собой холодный запах воды. Ткнулась мордой, стала обнюхивать, прикасаясь к нему упругими теплыми губами. Нежно фыркала, звала его с собой. А он не мог двинуться с места. Потом она положила голову на его шею и стала почесывать зубами в гриве. Он тоже должен был положить голову на ее шею и почесать ей холку. Но не мог ответить на ее ласку. Он не в состоянии был шевельнуться. Он хотел пить. Если бы она могла напоить его! Когда она убежала, он смотрел ей вслед, пока тень ее не растворилась в сумеречной тьме за рекой. Пришла и ушла. Слезы потекли из его глаз. Слезы стекали по морде крупными горошинами и бесшумно падали у ног. Иноходец плакал первый раз в жизни.

Рано утром пришел хозяин. Он глянул вокруг на весенние горы, потянулся и, улыбаясь, застонал от ломоты в костях.

— Ох, Гульсары, ну и потаскал ты вчера меня. Что? Продрог? Смотри, как подвело тебя.

Он потрепал иноходца по шее и стал говорить ему что-то доброе, насмешливое. Откуда было Гульсары знать, что именно говорил человек? А Танабай говорил:

— Ну, ты не обижайся, друг. Не вечно тебе ходить без дела. Привыкнешь, все пойдет на лад. А что намучился, так без этого нельзя. Жизнь, брат, такая штука, подкует на все четыре ноги. Зато потом не будешь кланяться всякому встречному камню на дороге. Проголодался, а? Пить хочешь? Знаю...

Он повел иноходца к реке. Разнуздал его, осторожно вынимая удила из пораненного рта. Гульсары с дрожью припал к воде, в глазах заломило от холода. Ах какая вкусная была вода и как благодарен он был за это человеку!

Вот так. Вскоре он настолько привык к седлу, что почти не чувствовал никакого стеснения от него. Легко и радостно ему стало носить на себе всадника. Тот всегда придерживал его, а он рвался вперед, четко печатая по дорогам дробный перестук иноходи. Он научился ходить под седлом так стремительно и ровно, что люди ахали.

— Поставь на него ведро с водой — и ни капельки не выплеснется!

А прежний табунщик, старичок Торгой, сказал Танабаю:

— Спасибо, хорошо выездил. Теперь увидишь, как поднимется звезда твоего иноходца!

3

Колеса старой телеги медленно скрипели по пустынной дороге. Время от времени скрип прерывался. Иноходец останавливался, выбившись из сил. И тогда в наступившей мертвой тишине он слышал, как гулко отдавались в ушах удары его сердца: тум-туп, тум-туп, тум-туп...

Старый Танабай поджидал, пока отдышится конь, затем снова брал его под уздцы:

— Пошли, Гульсары, пошли, вечереет уже.

Так они тащились часа полтора, пока иноходец не остановился совсем. Дальше он уже не мог тянуть телегу. Танабай снова засуетился, забегал вокруг коня:

— Что же ты, Гульсары, а? Смотри, скоро ночь уже!

Но конь не понимал его. Он стоял в упряжи, мотая головой, тяжесть которой стала ему уже непосильна, и шатаясь на ногах из стороны в сторону. А в ушах продолжал отдаваться оглушительный стук сердца: тум-туп, тум-туп, тум-туп.

— Ну, ты прости меня,— проговорил Танабай.— Мне бы сразу догадаться. Да пропади она пропадом, эта телега, эта сбруя, только бы довести тебя домой.

Он скинул на землю шубу и стал торопливо выпрягать коня. Вывел его из оглобель, сдернул хомут через голову и кинул всю сбрую на телегу.

— Вот и все,— сказал он, надев шубу, поглядел на выпряженного иноходца. Без хомута, без сбруи, с непомерно большой головой, конь стоял сейчас среди холодной вечерней степи как призрак.— Боже, во что ты превратился, Гульсары? — прошептал Танабай.— Если бы тебя увидел сейчас Торгой, перевернулся бы в могиле...

Он потянул иноходца за повод, и они снова медленно побрели по дороге. Старый конь и старый человек. Позади оставалась брошенная телега, а впереди, на западе, ложилась на дорогу темно-фиолетовая тьма. Ночь бесшумно растекалась по степи, заволакивая горы, смывая горизонт.

Танабай шел, вспоминал все связанное с иноходцем за долгие годы и с горькой усмешкой думал о людях: «Такие мы все. Вспоминаем друг о друге к концу жизни, когда тяжело заболеет человек или помрет. Вот тогда вдруг становится всем нам ясно, кого потеряли, каким он был, чем славен, какие дела совершил. А что говорить о бессловесной твари? Кого только не носил на себе Гульсары! Кто только не ездил на нем! А состарился, и все о нем забыли. Идет теперь, еле волочит ноги. А ведь какой конь был!..»

И он снова вспоминал и удивлялся тому, как давно не возвращался в мыслях к прошлому. Все, что когда-то было, ожило в нем. Оказывается, ничто не исчезает бесследно. Раньше он просто мало думал о прошлом или, вернее, не позволял себе думать, а теперь, после разговора с сыном и невесткой, бредя по ночной дороге с издыхающим иноходцем на поводу, оглянулся с

болью и грустью на прожитые годы, и все они живо встали перед ним.

Так он шел, погруженный в свои мысли, а иноходец плелся сзади, все больше и больше оттягивая повод. Когда рука старика немела, он перекладывал повод на другое плечо и снова тянул иноходца за собой. Потом это стало ему трудно, и он дал иноходцу отдохнуть. И, подумав, снял уздечку с головы коня.

— Иди впереди, иди как можешь, я буду сзади, я не брошу тебя,— сказал он.— Ну, иди, иди потихоньку.

Теперь иноходец шел впереди, а Танабай сзади, перекинув уздечку через плечо. Уздечку он никогда не бросит. Когда Гульсары останавливался, Танабай поджидал, пока он наберется сил, и они снова брели по дороге. Старый конь и старый человек.

Танабай грустно улыбнулся, вспомнив, как по этой же самой дороге мчался в свое время Гульсары и пыль стелилась за ним хвостом. Чабаны говорили, что по этой пыли они за многие версты узнают бег иноходца. Пыль из-под его копыт прочерчивала степь белым бегучим следом и в безветренную погоду нависала над дорогой, как дым реактивного самолета. Стоял чабан в такие минуты, прикрыв глаза козырьком ладони, говорил себе: «Это он идет, Гульсары!» — и с завистью думал о том счастливце, который, обжигая лицо горячим ветром, летел на этом коне. Великая честь для киргиза, когда под ним бежит такой знаменитый иноходец.

Скольких председателей колхоза пережил Гульсары, разные бывали — умные и самодуры, честные и нечестные,— но все до одного ездили на иноходце с первого и до последнего дня своего председательства. «Где они теперь? Вспоминают ли порой про Гульсары, который носил их с утра и до вечера?» — думал Танабай.

Они добрались наконец до моста через овраг. Здесь опять остановились.

Иноходец стал подгибать ноги, чтобы лечь на землю, но Танабай не мог этого допустить: потом никакими силами не поднимешь.

— Вставай, вставай! — закричал он и ударил коня уздечкой по голове. И, досадуя на себя за то, что ударил, продолжал орать: — Ты что, не понимаешь? По-

дыхать собрался? Не дам! Не позволю! Вставай, вставай, вставай! — Он тянул коня за гриву.

Гульсары с трудом выпрямил ноги, тяжело застонал. Хотя и темно было, Танабай не посмел глянуть коню в глаза. Он погладил его, пощупал, затем приник ухом к его левому боку. Там, в груди у коня, захлебываясь, плескалось сердце, как мельничное колесо в водорослях. Он стоял так, согнувшись возле коня, долго, пока не заныло в пояснице. Потом разогнулся, покачал головой, вздохнул и решил, что, пожалуй, придется рискнуть — свернуть за мостом с дороги на тропу, что идет вдоль оврага. Тропа та уходила в горы, и по ней можно было быстрей добраться домой. Правда, ночью немудрено и заблудиться, но Танабай надеялся на себя, места эти издавна знал, только бы конь выдержал.

Пока старик думал об этом, вдали засветились фары попутной машины. Огни внезапно выплыли из мрака парой ярких шаров и стали быстро приближаться, прощупывая перед собой дорогу длинными, качающимися лучами. Танабай с иноходцем стояли у моста. Машина им ничем не могла помочь, и все же Танабай ждал ее. Ждал просто так, безотчетно. «Наконец-то хоть одна»,— подумал он, довольный уже тем, что на дороге появились люди. Фары грузовика мощным снопом света полоснули его по глазам, и он прикрыл их рукой.

Двое людей, сидевших в кабине машины, с удивлением смотрели на старого человека у моста и стоящую рядом с ним захудалую клячу без седла, без уздечки, точно то была не лошадь, а собака, увязавшаяся за человеком. На какое-то мгновение прямой поток света добела озарил старика и коня, и они вдруг превратились в белые бесплотные контуры.

— Чудно, чего он здесь среди ночи? — сказал сидящий рядом с шофером долговязый парень в ушанке.

— Это он, это его телега там,— пояснил шофер и остановил машину.— Ты чего, старик? — крикнул он, высунувшись из кабины.— Это ты бросил на дороге телегу?

— Да, я,— ответил Танабай.

— То-то. Глядим, бричонка разваляшая на доро-

ге. Вокруг никого. Хотели сбрую подобрать, да тоже никудышная.

Танабай промолчал.

Шофер вылез из машины, прошелся несколько шагов, обдавая старика перегорелым запахом водки, и стал мочиться на дорогу.

— А что случилось? — спросил он, обернувшись.

— Конь не потянул, занемог, да и старый уже.

— М-м. Ну и куда же теперь?

— Домой. В Сарыгоускую щель.

— Тю-у,— присвистнул шофер.— В горы? Не по пути. А то лезь в кузов, так и быть, подброшу до совхоза, а там уедешь завтра.

— Спасибо. Я с конем.

— Вот эта дохлятина? Да брось ты его к собакам, столкни вон в овраг — и делу конец, склюет воронье. Хочешь, поможем?

— Поезжай,— мрачно процедил Танабай.

— Ну, как знаешь,— усмехнулся шофер и, захлопывая дверцу, бросил в кабину:— Ополоумел старик!

Машина тронулась, унося с собой мутный поток света. Мост тяжело заскрипел над оврагом, освещенным темно-красным светом стоп-сигналов.

— Зачем смеешься над человеком, а если бы тебе так пришлось? — сказал за мостом парень в ушанке, сидевший в кабине с шофером.

— Ерунда...— Шофер, зевая, крутанул баранку.— Мне приходилось всякое. Я дело сказал. Подумаешь, кляча какая-то! Пережитки прошлого. Сейчас, брат, техника всему голова. Везде техника. И на войне. А таким старикам и лошадям конец пришел.

— Зверюга ты! — сказал парень.

— Плевал я на все,— ответил тот.

Когда машина ушла, когда ночь снова сомкнулась вокруг и когда глаза снова привыкли к темноте, Танабай погнал иноходца:

— Ну пошли, чу, чу! Иди же!

За мостом он завернул коня с большой дороги на тропинку. Теперь они медленно продвигались по тропе, едва приметной в темноте над оврагом. Луна еще чуть выглядывала из-за гор. Звезды ждали ее выхода, холодно поблескивали в холодном небе.

4

В тот год, когда Гульсары был объезжен и обучен, табуны поздно снялись с осенних выпасов. Осень затянулась против обычного, и зима выдалась мягкая, снег падал часто, но не залеживался, корма хватало. А весной табуны снова спустились в предгорья и, как только зацвела степь, двинулись вниз.

После войны это было, пожалуй, самое лучшее время в жизни Танабая. Серый конь старости ждал его еще за перевалом, хотя и близким, и Танабай пока ездил на молодом буланом иноходце. Попадись ему этот иноходец несколько лет спустя, вряд ли бы он испытывал такое мужественное возбуждение, какое давала ему езда на Гульсары. Да, Танабай не прочь был иной раз и покрасоваться на людях. И как ему было не красоваться, сидя верхом на бегущем иноходце! Гульсары это хорошо знал. Особенно когда Танабай ехал в аил через поля, где встречались на дороге женщины, идущие гурьбой на работу. Еще далеко от них он выпрямлялся в седле, весь как-то напруживался, и его возбуждение передавалось коню. Гульсары поднимал хвост почти вровень со спиной, грива со свистом пласталась на ветру. Похрапывая, он петлял, легко неся на себе всадника. Женщины в белых и красных косынках расступались по краям дороги, утопая по колено в зеленой пшенице. Вот они остановились как завороженные, вот разом обернулись, мелькнули лица, сияющие глаза, улыбки и белые зубы.

— Эй, табунщик! Остано-ви-ись!

И вдогонку неслись смех и последние слова:

— Смотри, попадешься, поймаем!

Бывало, что и вправду ловили, перегораживали дорогу, держась за руки. Что тут было! Любит бабье подурачиться. Стаскивали Танабая с седла, хохотали, визжали, вырывая из рук камчу:

— Признавайся, когда привезешь нам кумыса?

— Мы тут на поле с утра до вечера, а ты на иноходце раскатываешь!

— Кто же вас держит? Идите табунщиками. Только накажите мужьям, чтобы они подыскивали себе других. Замерзнете в горах, как сосульки.

— Ах вот как! — И снова принимались тормошить его.

Но не было случая, чтобы Танабай позволил кому-нибудь сесть на иноходца. Даже та женщина, при встрече с которой у него сразу менялось настроение и он заставлял иноходца идти шагом, так ни разу и не проехалась на его коне. Возможно, она этого и не хотела.

В тот год избрали Танабая в ревизионную комиссию. Часто наезжал он в аил и почти каждый раз встречался там с этой женщиной. Из конторы он часто выходил злой. Гульсары это чуял по его глазам, по голосу, по движению рук. Но, встречаясь с ней, Танабай всегда добрел.

— Ну-ну, потише, куда так! — шептал он, успокаивая ретивого иноходца, и, поравнявшись с женщиной, ехал шагом.

Они о чем-то негромко переговаривались, а то и просто молчали. Гульсары чувствовал, как отлегала тяжесть с сердца хозяина, как теплел его голос, как ласковей становились его руки. И поэтому он любил, когда они нагоняли по дороге эту женщину.

Откуда было знать коню, что в колхозе жилось туго, что на трудодни почти ничего не перепадало и что член ревизионной комиссии Танабай Бакасов допытывался в конторе, и как же это получается, и когда же наконец начнется такая жизнь, чтобы и государству было что дать и чтобы люди не даром работали.

В прошлом году был неурожай, бескормица, в нынешнем — отдали сверх плана хлеб и скот за других, чтобы район не ударил лицом в грязь, а что будет дальше, на что колхозники могут рассчитывать — неизвестно. Время шло, о войне уже стали забывать, а жили по-прежнему тем, что собирали с огородов и ухитрялись утащить с полей. Денег в колхозе тоже не было: все сдавалось в убыток себе — хлеб, молоко, мясо. Летом животноводство разрасталось, а зимой шло прахом, скот подыхал с голода и холода. Надо было срочно строить кошары, коровники, базы для кормов, а стройматериалов неоткуда было взять и никто не обещал их дать. А жилье во что превратилось за войну? Если кто строился, так только те, что больше по базарам промышляли скотом да картошкой. Такие стали силой, они и стройматериалы находили на стороне.

— Нет, не должно быть так, товарищи, что-то тут не в порядке, какая-то тут большая загвоздка у нас,—

говорил Танабай.— Не верю, что так должно быть. Или мы разучились работать, или вы неправильно руководите нами.

— Что не так? Что неправильно? — Бухгалтер совал ему бумаги.— Вот смотри планы... Вот что получили, вот что сдали, вот дебет, вот кредит, вот сальдо. Доходов нет, одни убытки. Чего ты еще хочешь? Разберись сначала. Один ты коммунист, а мы враги народа, да?

В разговор влезали другие, начинался спор, шум, и Танабай сидел, сжав голову руками, и думал в отчаянье, что же это такое происходит. Он страдал за колхоз не только потому, что работал в нем,— были еще и другие, особые причины. Были люди, у которых с Танабаем давно счеты. Он знал, что они теперь посмеиваются над ним втихую и, завидев его, вызывающе глядят в лицо: ну как, мол, дела-то? Может, опять раскулачивать возьмешься? Только с нас теперь спрос невелик. Где сядешь, там и слезешь. У-ух, почему только не пришибло тебя на фронте!..

И он им отвечал взглядом: подождите, сволочи, все равно будет по-нашему! А ведь люди это не чужие, свои. Сводный брат его Кулубай — старик уже, до войны отсидел в Сибири семь лет. Сыновья тоже пошли в отца, люто ненавидят Танабая. И с чего бы им любить? Может, и дети их будут ненавидеть род Танабая. И имеют на то причины. Дело это давнее, а обида у людей живет. Надо ли было поступать так с Кулубаем? Разве не был он просто справным хозяином, середняком? А родство куда денешь? Кулубай от старшей жены, а он от младшей, но у киргизов такие братья считаются как единоутробные. Значит, и на родство он посягнул, сколько разговоров тогда было. Теперь, конечно, можно по-разному судить. А тогда? Разве не ради колхоза он пошел на это дело? А надо ли было? Раньше не сомневался, а после войны думал порой иначе. Не нажил ли лишних врагов себе и колхозу?

— Ну что ты сидишь, Танабай, очнись,— возвращали его к разговору. И снова все то же: надо за зиму вывезти весь навоз на поля, собирать по дворам. Колес нет — значит, надо купить карагачевого леса, железа на шины, а на какие деньги, дадут ли кредит и подо что? Банк словам не верит. Старые арыки надо

ремонтировать, новые прокопать, работа большая, тяжелая. Зимой народ не идет, земля мерзлая, не раздолбишь. А весной не успеть — посевная, окот, прополки, а там сенокос... А как быть с овцеводством? Где помещения для расплода? И на молочной ферме тоже не лучше. Крыша прогнила, кормов не хватает, доярки не хотят работать. Толкутся с утра до ночи, а что получают? А сколько еще было разных других забот и нехваток? Жутко становилось подчас.

И все же собирались с духом, снова обсуждали эти вопросы на партсобрании, на правлении колхоза. Председателем был Чоро. Потом только оценил его Танабай. Критиковать, оказывается, было легче. Танабай отвечал за табун лошадей, а Чоро за всех и за все в колхозе. Да, крепким был человеком Чоро. Когда, казалось, все разваливается, когда стучали на него по столу в районе и хватали за грудки в колхозе, не пал Чоро духом. Танабай на его месте или с ума сошел бы, или покончил с собой. А Чоро все же удержал хозяйство, стоял до последнего, пока совсем не сдало сердце, и потом еще поработал года два парторгом. Умел Чоро убеждать, говорить с людьми... Вот так и получалось, что, послушав его, Танабай снова верил, что все наладится, что будет наконец так, как мечтали об этом в самом начале. Один раз только пошатнулась его вера в Чоро, но и то он сам больше был виноват...

Иноходец не знал, что творилось на душе Танабая, когда он выходил из конторы со злым взглядом и сдвинутыми бровями, когда он жестко садился в седло и резко дергал поводья. Но он чуял, что хозяину очень плохо. И хотя Танабай никогда его не бил, иноходец в такие минуты боялся хозяина. А увидев на дороге ту женщину, конь уже знал, что хозяину теперь станет легче, что он подобреет, придержит его и будет о чем-то негромко разговаривать с ней, а ее руки будут теребить его, Гульсары, гриву, гладить шею. Ни у кого из людей не было таких ласковых рук. Это были удивительные руки, упругие и чуткие, как губы той маленькой гнедой кобылицы со звездой на лбу. И ни у кого на свете не было таких глаз, как у этой женщины. Танабай разговаривал с ней, склонившись с седла, а она то улыбалась, то хмурилась, качала головой, не соглашаясь с чем-то, и глаза ее переливались

светом и тенью, как камни на дне быстрого ручья в лунную ночь. Уходя, она оглядывалась и опять качала головой.

После этого Танабай ехал задумчивый. Он отпускал поводья, и иноходец шел так, как ему хотелось. Вольно, дорожным тротом. Хозяина словно и не было в седле. Словно и он и конь были каждый сам по себе. И песня появлялась сама по себе. Негромко, без ясных слов, под мерный топот иноходца напевал Танабай про страдания давно ушедших людей. А конь выбирал знакомую тропку и нес его в степь за реку, к табунам...

Гульсары любил, когда у хозяина было такое настроение, любил он по-своему и эту женщину. Он знал ее фигуру, походку, улавливал даже своим тонким нюхом какой-то странный, диковинный запах незнакомой травы, исходящий от нее. То была гвоздика. Она носила бусы из гвоздики.

— Ты заметь, как он тебя любит, Бюбюжан,— говорил ей Танабай.— А ну погладь, погладь еще. Ишь как уши развесил. Прямо теленок. А в табунах сейчас жизни нет от него. Дай только волю. Грызется с жеребцами, как собака. Вот и держу его под седлом, боюсь, как бы не покалечили. Зелен еще.

— Он-то любит,— думая о чем-то своем, отвечала она.

— Хочешь сказать, что другие не любят?

— Я не о том. Мы свое отлюбили. Жаль мне тебя будет.

— Это почему же?

— Не такой ты человек, тяжело потом тебе будет.

— А тебе?

— Что мне? Я вдова, солдатка. А ты...

— А я член ревизионной комиссии. Вот встретил тебя и выясняю кое-какие факты,— пытался шутить Танабай.

— Что-то ты часто стал выяснять факты. Смотри.

— Ну а я при чем? Я иду, и ты идешь.

— Я иду своей дорогой. Нам не по пути. Ну, прощай. Некогда мне.

— Слушай, Бюбюжан!

— Ну что? Не надо, Танабай. Зачем? Ты же умный человек. Мне и без тебя тошно.

— Что ж, я тебе враг, что ли?

— Ты себе враг.
— Как это понимать?
— Как хочешь.

Она уходила, а Танабай ехал по улицам села вроде бы куда-то по делу, заворачивал на мельницу или к школе и снова, сделав круг, возвращался, чтобы посмотреть, хотя бы издали, как она выйдет из дома свекрови, где она оставляла дочку на время работы, и как пойдет к себе, на окраину, ведя девочку за руку. Все в ней было до бесконечности родным. И то, как она шла, стараясь не смотреть в его сторону, и ее белеющее в темном полушалке лицо, и ее девочка, и собачонка, бежавшая рядом.

Наконец она скрывалась в своем дворе, и он ехал дальше, представляя себе, как она отомкнет дверь пустого дома, скинет обтрепанный ватник, побежит в одном платье за водой, растопит очаг, умоет и накормит девочку, встретит корову в стаде и ночью будет лежать одна в темном, беззвучном доме и будет убеждать себя и его, что им нельзя любить друг друга, что он семейный человек, что в его годы смешно влюбляться, что всему есть своя пора, что жена его хорошая женщина и что она не заслуживает того, чтобы муж тосковал по другой.

От таких мыслей Танабаю становилось не по себе. «Значит, не судьба»,— думал он и, глядя в дымчатую даль за рекой, напевал старинные песни, позабыв обо всем на свете, о делах, о колхозе, об обувке и одежде детям, о друзьях и недругах, о сводном брате Кулубае, с которым они не разговаривают многие и многие годы, о войне, которая нет-нет да и приснится, обливая его холодным потом, забывал обо всем, чем жил. И не замечал, что конь шел бродом через реку и, выйдя на другой берег, снова пускался в путь. И только тогда, когда иноходец, почуяв близость табуна, прибавлял шагу, он приходил в себя.

— Т-р-р, Гульсары, куда ты так несешь?! — спохватывался Танабай, натягивая поводья.

5

И все же, несмотря ни на что, прекрасное было то время и для него, и для иноходца. Слава скакуна сродни славе футболиста. Вчерашний мальчишка, гоняв-

ший мяч по задворкам, становится вдруг всеобщим любимцем, предметом разговоров знатоков и восхищения толпы. И чем дальше, тем больше возрастает его слава, пока он забивает голы. Потом он постепенно сходит с поля и начисто забывается. И первые забывают его те, кто громче всех восхищался им. На смену великому футболисту приходит другой. Таков и путь славы скакуна. Он знаменит, пока непобедим в состязаниях. Единственная разница, пожалуй, лишь в том, что коню никто не завидует. Лошади не умеют завидовать, а люди, слава богу, еще не научились завидовать лошадям. Хотя как сказать — пути зависти непостижимы, известны случаи, когда, чиня зло человеку, завистники вколачивали гвоздь в копыто коня. Ох, эта черная зависть!.. Но бог с ней...

Сбылось предсказание старика Торгоя. В ту весну высоко поднялась звезда иноходца. Уже все знали о нем — и стар и мал: «Гульсары!», «Иноходец Танабая», «Краса аила»...

А чумазые мальчишки, еще не выговаривающие букву «р», бегали по пыльной улице, подражая бегу иноходца, и наперебой кричали: «Я Гульсалы... Нет, я Гульсалы... Мама, скажи, что я Гульсалы... Чу, впелед, а-и-и-й, я Гульсалы...»

Что значит слава и какую великую силу имеет она, познал иноходец на первой своей большой скачке.

То было Первое мая. После митинга на большом лугу у реки начались игры. Народу сошлось и съехалось отовсюду уйма. Люди понаехали из соседнего совхоза, с гор и даже из Казахстана. Казахи выставляли своих коней.

Говорили, что после войны не было еще такого большого праздника.

С утра еще, когда Танабай оседлывал, с особой тщательностью проверяя подпруги и крепления стремян, иноходец почувствовал по блеску в его глазах и дрожанию рук приближение чего-то необыкновенного. Хозяин очень волновался.

— Ну, смотри у меня, Гульсары, не подкачай,— шептал он, расчесывая коню гриву и челку.— Ты не должен опозорить себя, слышишь! Мы не имеем на то права, слышишь!

Ожидание чего-то необыкновенного чувствовалось в самом воздухе, взбудораженном голосами и беготней людей. По соседним стойбищам седлали своих коней табунщики. Мальчишки были уже на лошадях, они с криками носились вокруг. Потом табунщики съехались и все вместе двинулись к реке.

Гульсары был ошеломлен таким скоплением на лугу людей и коней. Гул и гомон стояли над рекой, над лугом, над пригорками вдоль поймы. В глазах рябило от ярких платков и платьев, от красных флагов и белых женских тюрбанов. Кони были в лучших сбруях. Звенели стремена, бряцали удила и серебряные подвески на нагрудниках.

Кони под всадниками, теснясь в рядах, нетерпеливо топтались, просили поводья и рыли копытами землю. В кругу гарцевали старики, распорядители игр.

Гульсары ощущал, как в нем все больше нарастает напряжение, как весь он наливается силой. Ему казалось, что в него вселился какой-то огненный дух, и, чтобы от него освободиться, надо скорее вырваться в круг и понестись.

И когда распорядители дали знак к выходу в круг и Танабай приопустил поводья, иноходец вынес его на середину, завертелся, не зная еще, куда устремиться. По рядам пронесся гул: «Гульсары! Гульсары!..»

Выехали все желающие принять участие в большой байге. Набралось человек пятьдесят верховых.

— Просите у народа благословения! — торжественно провозгласил главный распорядитель игр.

Бритоголовые всадники с тугими повязками на лбу двинулись вдоль рядов, подняв руки с раскрытыми ладонями, и из края в край прошумел единый вздох: «Оомиин!» — и сотни рук поднялись ко лбам и опустились ладонями по лицам, как стекающие потоки вод.

После этого всадники отправились на рысях к старту, который был в поле, за девять километров отсюда.

Тем временем начались игры на кругу — борьба пеших и конных, стаскивание с седел, поднятие монет на скаку и другие состязания. Все это было только вступлением, главное начнется там, куда ускакали всадники.

Гульсары горячился по пути. Он не понимал, почему хозяин сдерживает его. Вокруг гарцевали и ярились другие кони. И оттого, что их было много и все просились вскачь, иноходец злился и дрожал от нетерпения.

Наконец все выстроились на старте в один ряд, голова к голове, отправитель проскакал перед фронтом из конца в конец, поднял белый платок. Все замерли, возбужденные и настороженные. Рука взмахнула платком. Кони рванулись, и вместе со всеми, подхваченный порывом, ринулся вперед Гульсары. Земля загремела барабаном под лавиной копыт, взметнулась пыль. Под гиканье и крики верховых лошади распластались в бешеном карьере. Только один Гульсары, не умевший скакать галопом, шел иноходью. В этом были и слабость его и сила.

Сначала шли все кучей, но уже через несколько минут начали растягиваться. Гульсары не видел этого. Он видел только, что резвые скаковые лошади обошли его и были уже впереди, на дороге. В морду хлестали из-под копыт горячий щебень и комья сухой глины, а вокруг скакали кони, кричали верховые, свистели нагайки и клубилась пыль. Пыль разрасталась облаком и летела над землей. Резко пахло потом, кремнем и молодой растоптанной полынью.

Так продолжалось почти до половины пути. Впереди всех неслись с недосягаемой для иноходца скоростью с десяток лошадей. По сторонам стало стихать, шум задних отставал, но то, что впереди шли другие, и то, что поводья так и не давали ему полной свободы, поднимало в нем ярость. В глазах темнело от злобы и ветра, дорога стремительно уплывала под ноги, солнце катилось навстречу, падая с неба огненным шаром. Жаркий пот прошибал по всему телу, и чем больше иноходец потел, тем легче становился он сам для себя.

И вот наступил момент, когда скаковые лошади стали уставать и постепенно сдавать в беге, а иноходец только входил в разгар своих сил. «Чу, Гульсары, чу!» — услышал он голос хозяина, и солнце еще быстрей покатилось навстречу. И замелькали одно за другим настигнутые и оставленные позади искаженные яростью лица всадников, взмытые в воздух плетки, оскаленные, хрипящие морды коней. Исчезла вдруг

власть удил и поводьев, не стало для Гульсары ни седла, ни всадника — в нем бушевал огненный дух бега.

И все же впереди шли бок о бок два скачущих коня, темно-серый и рыжий. Оба, не уступая друг другу, мчались, подгоняемые криками и плетками верховых. Это были сильные скакуны. Гульсары долго настигал их и на подъеме дороги обошел наконец. Он выскочил на бугор, точно бы на гребень большой волны, и на какое-то мгновение словно завис в полете, невесомый. Дух захватило в груди, и еще ярче брызнуло солнце в глаза, и он стремительно пошел вниз по дороге, но вскоре услышал позади топот настигающих копыт. Те двое, темно-серый и рыжий, брали реванш. Они подошли с двух сторон почти вплотную и уже не отставали ни на шаг.

Так мчались они втроем, голова к голове, слившись в едином движении. Гульсары казалось, что они теперь вовсе не бегут, что все они просто застыли в каком-то странном оцепенении и безмолвии. Можно было даже разглядеть выражение глаз соседей, их напряженно вытянутые морды, закушенные удила, уздечки и поводья. Темно-серый смотрел свирепо и упрямо, а рыжий волновался, взгляд его неуверенно скользил по сторонам. Именно он первым начал отставать. Сначала скрылся его виноватый, блуждающий взгляд, затем уплыла назад морда с раздутыми ноздрями, и больше его не стало. А темно-серый отставал мучительно и долго. Он медленно умирал на скаку, взгляд его постепенно стекленел от бессильной злобы. Так и ушел он, не желая признать поражения.

Когда соперники отстали, вроде бы легче стало дышать. А впереди уже серебрилась излучина реки, зеленел луг и слышался оттуда далекий рев человеческих голосов. Самые рьяные болельщики поджидали, оказывается, по пути. С улюлюканьем и гиканьем они скакали по сторонам. И тут иноходец почувствовал вдруг слабость. Сказывалось расстояние. Что там было позади, настигали его или нет, этого Гульсары не знал. Бежать становилось невмоготу, силы покидали его.

Но там, впереди, гудела и колыхалась огромная толпа, и уже покатились двумя рукавами навстречу конные и пешие, крики становились все громче, силь-

ней! И он вдруг явственно услышал: «Гульсары! Гульсары! Гульсары!..» И, вбирая в себя эти крики, возгласы и вопли, наполняясь ими, как воздухом, иноходец с новой силой устремился вперед. Ах, люди, люди! Чего только они не могут!..

При неумолкающем шуме и криках ликования Гульсары прошел сквозь гулкий коридор встречающих и, сбавляя бег, описал круг по лугу.

Но это было еще не все. Теперь ни он, ни его хозяин не принадлежали себе. Когда иноходец немного отдышался и успокоился, народ расступился, образуя круг победителя. И снова взмыли крики: «Гульсары, Гульсары, Гульсары!» А вместе с ним гремело и имя его хозяина: «Танабай! Танабай! Танабай!»

И снова люди совершили какое-то чудо с иноходцем. Гордый и стремительный, он вступил на арену с высоко поднятой головой, с горящими глазами. Хмелея от воздуха славы, Гульсары пошел выплясывать, вышагивать боком, порываясь к новому бегу. Он знал, что он красив, могуч и знаменит.

Танабай объезжал народ с распростертыми руками победителя, и снова из края в край прошумел единый вздох благословения: «Оомиин!» — и снова сотни рук поднимались ко лбам и опускались ладонями по лицам, как стекающие потоки вод.

И тут среди множества лиц иноходец увидел вдруг знакомую женщину. Он сразу узнал ее, когда она опустила ладони по лицу, хотя в этот раз она была не в темном полушалке, а в белом платье. Она стояла в первом ряду толпы, счастливая и радостная, и не отрываясь смотрела на них сияющими, как камни в быстром солнечном водопое, глазами. Гульсары привычно потянулся к ней, чтобы постоять возле нее, чтобы хозяин поговорил с ней и чтобы она потеребила гриву, погладила ему шею своими удивительными руками, упругими и чуткими, как губы той маленькой гнедой кобылицы со звездой на лбу. Но Танабай почему-то тянул поводья в другую сторону, а иноходец все крутился и порывался к ней, не понимая хозяина. Неужели хозяин не видит, что здесь стоит та женщина, с которой ему, хозяину, надо обязательно поговорить?..

И второй день, то есть второе мая, тоже был днем Гульсары. В этот раз пополудни разыгрывалось в степном урочище козлодранье — своеобразный конный футбол, в котором вместо мяча служит обезглавленная туша козла. Козел удобен тем, что шерсть на нем длинная, прочная и его можно подхватывать с коня за ногу или за шкуру.

Снова огласилась степь древними криками, снова зарокотала барабаном земля. Лавина конных болельщиков с возгласами и воплями металась вокруг игроков. И снова героем дня был Гульсары. В этот раз, уже окруженный ореолом славы, он сразу стал самой сильной фигурой в игре. Танабай, однако, приберегал его к финишу, к аламан-байге, когда будет дано разрешение на вольную схватку: кто ловок и скор, тот и утащит козла в свой аил. Аламан-байгу ждали все, ибо это апофеоз состязания, к тому же любой всадник имеет право принять в ней участие. Каждому хотелось попытать свое счастье.

А майское солнце тем временем тяжело оседало на дальней казахской стороне. Оно было как желток, выпуклое и густое. На него можно было смотреть не щурясь.

До самого вечера носились киргизы и казахи, свисая с седел, подхватывая на скаку тушу козла, вырывая ее друг у друга, сбиваясь в гомонящую кучу и вновь рассыпаясь с криками по полю.

И лишь когда побежали по степи длинные пестрые тени, старики разрешили наконец аламан-байгу. Козел был брошен в круг. «Аламан!..»

Со всех сторон кинулись к нему всадники, столпились, пытаясь подхватить тушу с земли. Но в давке сделать это было не так-то просто. Кони ошалело крутились, кусались, ощерив зубы. Гульсары изнывал в этой свалке, ему бы на простор, но Танабаю все никак не удавалось завладеть козлом. И вдруг раздался пронзительный голос: «Держи-и, казахи взяли!» Из конной круговерти вырвался молодой казах в разодранной гимнастерке на карем озверевшем жеребце. Он кинулся прочь, подтягивая под ногу, под стремя, тушу козла.

— Держи-и! Это карий! — закричали все, бросаясь в погоню.— Скорей, Танабай, только ты можешь догнать!

С болтающимся под стременем козлом казах на карем жеребце уходил прямо туда, где алело закатное солнце. Казалось, еще немного — и он влетит в это пламенеющее солнце и растает там красным дымом.

Гульсары не понимал, зачем Танабай сдерживает его. Но тот знал, что надо дать казахскому джигиту оторваться от лавины преследующих всадников, уйти подальше от толпы спешивших к нему на помощь сородичей. Стоило им окружить карего скачущим заслоном, и тогда никакими силами не вырвать упущенную добычу. Только в единоборстве можно было рассчитывать на какой-то успех.

Выждав нужное время, Танабай припустил иноходца во весь мах. Гульсары приник к набегающей на солнце земле, и топот и голоса позади сразу стали отставать, удаляться, а расстояние до карего жеребца сокращаться. Тот шел с тяжелым грузом, и настигнуть его было не так трудно. Танабай выводил иноходца по правую сторону карего. Туша козла висела, зажатая под ногу всадника, на правом боку коня. Вот уже стали равняться. Танабай наклонился с седла, чтобы ухватить козла за ногу и перетянуть его к себе. Но казах ловко перекинул добычу с правой стороны на левую. А кони мчались все так же прямо к солнцу. Теперь Танабаю надо было приотстать и снова настигнуть, чтобы зайти с левой стороны. Трудно было отрывать иноходца от карего, но все же удалось проделать и этот маневр. И опять казах в разодранной гимнастерке успел перекинуть козла на другую сторону.

— Молодец! — азартно закричал Танабай.

А кони неслись все так же прямо к солнцу.

Больше рисковать было нельзя, Танабай прижал иноходца почти вплотную к карему жеребцу и упал грудью на луку седла соседа. Тот пытался отделиться, но Танабай не отпускал. Резвость и гибкость иноходца позволяли ему почти лежать на шее карего жеребца. Так он дотянулся до туши козла и стал тащить ее к себе. Ему было сподручно действовать с правой стороны, к тому же обе руки его были свободны. Вот ему уже удалось перетянуть козла почти наполовину.

— Держись теперь, брат казах! — прокричал Танабай.

— Врешь, сосед, не отдам! — ответил тот.

И началась схватка на бешеном скаку. Сцепившись, как орлы на одной добыче, они орали благим матом, хрипели и рычали по-звериному, устрашая друг друга, руки их сплетались, из-под ногтей сочилась кровь. А кони, соединенные единоборством всадников, мчались в злобе, торопясь настигнуть багровое солнце.

Да будут благословенны предки, оставившие нам эти мужские игры бесстрашных!

Туша козла была теперь между ними, они держали ее на весу между скачущими конями. Приближалась развязка. Молча, сцепив зубы, напрягая все свои силы, перетягивали тушу, каждый старался зажать ее под ногу, с тем чтобы потом оторваться и уйти в сторону. Казах был силен. Руки у него были крупные, жилистые, к тому же он был гораздо моложе Танабая. Но опыт — великое дело. Танабай неожиданно высвободил правую ногу из стремени и уперся ею в бок карего жеребца. Подтягивая козла к себе, он одновременно отталкивал ногой коня соперника, и пальцы того медленно разжались.

— Держись! — успел предупредить его побежденный.

От резкого толчка Танабай едва не вылетел из седла. Но все же удержался. Ликующий вопль вырвался из его груди. И, круто разворачивая иноходца, он бросился убегать, зажимая под стременем добытый в честном поединке трофей. А навстречу уже летела орда орущих всадников:

— Гульсары! Гульсары взял!

Казахи большой группой бросились наперехват.

— Ойбай, лови, держи Танабая!

Теперь главное было избежать перехвата и чтобы свои аильчане поскорей окружили его заслоном.

Танабай снова круто развернул иноходца, уходя в сторону от перехватчиков. «Спасибо, Гульсары, спасибо, родной, умница!» — про себя благодарил он иноходца, когда тот, улавливая малейшие наклоны его тела, увертывался от погони, кидаясь то в одну, то в другую сторону.

Почти припадая к земле, иноходец вышел из трудного виража и пошел напрямую. Тут подскочили аиль-

чане Танабая, пристроились по сторонам, закрыли его с тыла и все вместе, плотной кучей бросились наутек. Однако погоня снова вышла наперерез. Опять пришлось разворачиваться и опять уходить. Как стаи быстрокрылых птиц, падающих на лету с крыла на крыло, носились по широкой степи убегающие и догоняющие их орды всадников. В воздухе клубилась пыль, звенели голоса, кто-то падал вместе с конем, кто-то летел через голову, кто-то, прихрамывая, догонял свою лошадь, но все до единого были охвачены восторгом и страстью состязания. В игре никто не в ответе. У риска и бесстрашия одна мать...

Солнце смотрело уже одним краешком, смеркалось, а аламан-байга все еще катилась в синей прохладе вечера, содрогая землю конскими копытами. Уже никто не кричал, уже никто никого не преследовал, но все продолжали скакать, увлеченные страстью движения. Растянувшаяся по фронту лавина перекатывалась темной волной с пригорья на пригорье во власти ритма и музыки бега. Не оттого ли были сосредоточены и молчаливы лица всадников, не это ли породило рокочущие звуки казахской домбры и киргизского комуза!..

Уже приближались к реке. Она тускло блеснула впереди за темными зарослями. Оставалось еще немного. За рекой — игре конец, там аил. Танабай и окружение его все еще неслись слитной кучей. Гульсары шел в середине, как главный корабль, под охраной.

Но он уже устал, очень устал — слишком трудный выдался день. Иноходец вымотался из сил. Двое джигитов, скакавших по бокам, тянули его под уздцы, не давали упасть. Остальные прикрывали Танабая с тыла и по сторонам. А он лежал грудью на туше козла, переброшенной перед седлом. Голова Танабая моталась, он едва держался в седле. Не будь сейчас сопровождающих рядом всадников, ни он сам, ни его иноходец уже не в состоянии были бы двигаться. Так, наверное, убегали прежде с добычей, так, наверное, спасали и от плена раненого батыра...

Вот и река, вот луг, широкий галечный брод. Пока он еще виден в темноте.

Всадники с ходу бросились в воду. Закипела, взбурлилась река. Сквозь тучи брызг и оглушающее кла-

цанье подков джигиты протащили иноходца на тот берег. Все! Победа!

Кто-то снял тушу козла с седла Танабая и поскакал в аил.

Казахи остались на той стороне.

— Спасибо вам за игру! — крикнули им киргизы.

— Будьте здоровы! Встретимся теперь осенью! — ответили те и повернули коней назад.

Было уже совсем темно. Танабай сидел в гостях, а иноходец вместе с другими лошадьми стоял во дворе на привязи. Никогда так не уставал Гульсары, разве только в первый день объездки. Но тогда он был лозинкой в сравнении с тем, каким стал сейчас. В доме шла речь о нем.

— Выпьем, Танабай, за Гульсары: если бы не он, не видать нам сегодня победы.

— Да, карий жеребец могуч был, как лев. И парень тот силен. Далеко пойдет он у них.

— Это верно. А у меня и сейчас перед глазами, как Гульсары уходит от перехвата, прямо стелется по земле травой. Дух захватывает, глядя.

— Что и говорить. В прежние времена батырам бы на нем в набег ходить. Не конь, а дулдул! [1]

— Танабай, ты когда собираешься пустить его к кобылам?

— Да он и сейчас уже гоняется, но пока рано. А к следующей весне как раз будет в пору. С осени отпущу гулять, чтобы тело набрал...

Захмелевшие люди долго еще сидели, перебирая подробности аламан-байги и достоинства иноходца, а он стоял во дворе, просыхая от пота и грызя удила. Ему предстояла голодная выстойка до рассвета. Но не голод мучил его. Ломило в плечах, ноги были будто не свои, копыта горели от жара, а в голове все еще стоял гул аламан-байги. Все еще мерещились ему крики и погоня. Время от времени он вздрагивал и, всхрапывая, навострял уши. Очень хотелось поваляться по траве, встряхнуться и побродить среди лошадей на выпасе. А хозяин задерживался.

---

[1] Дулдул — сказочный скакун.

Вскоре он, однако, вышел, слегка покачиваясь в темноте. От него несло каким-то резким, жгучим запахом. С ним такое случалось изредка. Пройдет год — и иноходцу придется иметь дело с человеком, от которого постоянно будет разить этим запахом. И он возненавидит того человека и этот мерзкий запах.

Танабай подошел к иноходцу, потрепал его по холке, сунул руку под потник:

— Остыл немного? Устал? Я тоже чертовски устал. А ты не косись, ну выпил, так в твою же честь. Праздник. Да и то малость. Я свое знаю, ты это учти. И на фронте знал меру. Брось, Гульсары, не косись. Уедем сейчас в табун, отдохнем...

Хозяин подтянул подпруги, поговорил с другими людьми, вышедшими из дома, все сели по лошадям и разъехались.

Танабай ехал по уснувшим улицам аила. Тихо было кругом. Окна темны. Чуть слышно тарахтел трактор на поле. Луна уже стояла над горами, в садах белели цветущие яблони, где-то заливался соловей. Почему-то он был один на весь аил. Он пел, прислушиваясь к себе, умолкал и затем снова принимался щелкать и свистать.

Танабай придержал иноходца.

— Красота какая! — сказал он вслух.— А тихо как! Только соловей заливается. Ты понимаешь, Гульсары, а? Где тебе... Тебе в табун, а я...

Они миновали кузницу, и отсюда надо было выехать по крайней улице к реке, а там — в табуны. Но хозяин почему-то потянул в другую сторону. Он поехал по средней улице, в конце ее остановился возле двора, где жила та женщина. Выбежала собачонка, которая часто бегала с девочкой, полаяла и умолкла, виляя хвостом. Хозяин молчал в седле, о чем-то думал, потом вздохнул и нерешительно тронул поводья.

Иноходец пошел дальше. Танабай свернул вниз к реке и, выйдя на дорогу, заторопил коня. Гульсары и сам хотел побыстрей добраться до стойбища. Пошли лугом. Вот и река, заклацали подковы по берегу. Вода была холодная, гремучая. И вдруг на середине брода, резко натянув поводья, хозяин круто потянул назад. Гульсары мотнул головой, думая, что хозяин

ошибся. Не должны они были возвращаться назад. Сколько можно ездить? Но в ответ хозяин стегнул его камчой по боку. Гульсары не любил, когда его били. Раздраженно грызя удила, он нехотя подчинился и повернул назад. Снова через луг, снова по дороге, снова к тому двору.

У дома хозяин опять заерзал в седле, задергал удила то туда, то сюда, не поймешь, чего он хочет. Остановились у ворот. Впрочем, самих ворот не было. От них остались только одни покосившиеся столбы. Опять выбежала собачонка, полаяла и умолкла, виляя хвостом. В доме было тихо и темно.

Танабай слез с седла, пошел по двору, ведя на поводу иноходца, и, приблизившись к окну, застучал пальцем по стеклу.

— Кто там? — раздался изнутри голос.

— Это я, Бюбюжан, открой. Слышишь, это я!

В доме вспыхнул огонек, и окна тускло засветились.

— Ты чего? Откуда так поздно? — Бюбюжан появилась в дверях. Она была в белом платье с расстегнутым воротом и темными волосами на плечах. От нее пахнуло теплым запахом тела и тем диковинным запахом незнакомой травы.

— Ты извини,— негромко проговорил Танабай,— с аламана поздно прискакали. Устал. А конь совсем заморился. Его на выстойку надо, а табуны далековато, сама знаешь.

Бюбюжан помолчала.

Глаза ее вспыхнули и погасли, как камни на дне освещенного луной водопоя. Иноходец ждал, что она подойдет и погладит его по шее, но она не сделала этого.

— Холодно,— передернула Бюбюжан плечами.— Ну что стоишь? Заходи, коли так. Эх ты, придумал,— тихо засмеялась она.— Я и сама извелась вся, пока ты тут топтался на коне. Как мальчишка.

— Я сейчас. Коня поставлю.

— Ставь вон там в углу у дувала.

Никогда так не дрожали руки хозяина. Он спешил, вынимая удила, и долго возился с подпругами: одну приослабил, а другую так и забыл.

Он ушел вместе с ней, и свет в окнах вскоре погас.

Непривычно было иноходцу стоять на незнакомом дворе.

Луна светила в полную силу. Поднимая глаза над дувалом, Гульсары видел вздымающиеся в выси ночные горы, облитые молочно-голубым сиянием. Чутко перебирая ушами, он прислушивался. Журчала вода в арыке. Вдали тарахтел на поле все тот же трактор, и пел в садах все тот же одинокий соловей.

С веток соседней яблони падали белые лепестки, бесшумно оседая на голову и гриву коня.

Ночь светлела. Иноходец стоял и переминался, перекладывая тяжесть тела с одной ноги на другую, стоял и терпеливо ждал хозяина. Не знал он, что еще не раз придется стоять ему здесь, коротая ночь до утра.

Танабай вышел на рассвете, стал взнуздывать Гульсары теплыми руками. Теперь и его руки пахли тем диковинным запахом незнакомой травы.

Бюбюжан вышла проводить Танабая. Приникла к нему, и он долго целовал ее.

— Исколол усами,— прошептала она.— Торопись, смотри, как светло.— Она повернулась, чтобы уйти.

— Бюбю, поди сюда,— позвал ее Танабай.— Слышишь, погладь его, поласкай,— кивнул он на иноходца.— Ты уж не обижай нас!

— Ох, я и забыла,— засмеялась она.— Смотри, да он весь в яблоневом цвету.— И, приговаривая ласковые слова, стала гладить коня своими удивительными руками, упругими и чуткими, как губы той маленькой гнедой кобылицы со звездой на лбу.

За рекой хозяин запел. Хорошо было идти под его песню, и очень хотелось быстрей добраться к табунам на выпас.

Повезло Танабаю в эти майские ночи. Как раз пришел его черед ночной пастьбы. И у иноходца начался какой-то ночной образ жизни. Днем он пасся, отдыхал, ночью, отогнав табун в лощину, хозяин мчался на нем опять туда же, к тому двору. На рассвете, еще затемно, снова мчались они, как конокрады, по неприметным степным тропам к лошадям, оставшимся в лощине. Здесь хозяин сгонял табун, пересчитывал лошадей и наконец успокаивался. Туго приходилось иноходцу. Хозяин спешил в оба конца, и туда и обратно, а бегать по ночам по бездорожью не так-то легко. Но так хотел хозяин.

Гульсары хотелось другого. Если бы его воля, он вообще не отлучался бы из табуна. В нем зрел самец. Пока еще он уживался с косячным жеребцом, но с каждым днем все чаще сталкивались они, обхаживая одну и ту же кобылу. Все чаще, выгибая шею и подняв хвост трубой, красовался он перед табуном. Заливисто ржал, горячился, покусывая кобыл за бедра. А тем, видно, это нравилось, они льнули к нему, вызывая ревность косячного жеребца. Иноходцу крепко перепадало — жеребец был старым и свирепым драчуном. Однако лучше было волноваться и бегать от косячного, чем стоять всю ночь во дворе. Здесь он тосковал по кобылам. Долго топтался, бил копытами и только потом смирялся. Кто знает, сколько бы длились эти ночные поездки, если бы не тот случай...

В ту ночь иноходец привычно стоял во дворе, тоскуя по табуну в ожидании хозяина, и уже начал подремывать. Поводья уздечки были высоко подвязаны к балке под стреху крыши. Это не позволяло лечь: всякий раз, когда голова его клонилась, удила врезались в мякоть рта. И все-таки тянуло уснуть. Тяжесть какая-то стояла в воздухе, тучи темнили небо.

Уже сквозь дрему, сквозь полусон Гульсары услышал вдруг, как закачались и зашумели деревья, точно бы кто-то налетел внезапно и начал трепать их и валить. Ветер захлестал по двору, покатил, брякая, пустой подойник, сорвал и умчал с веревки белье. Собачонка заскулила, заметалась, не зная, куда приткнуться. Иноходец сердито всхрапнул, замер, наставляя уши. Вскинув голову над дувалом, он пристально смотрел в подозрительно накипавшую мглу — туда, в сторону степи, откуда приближалось с гулом что-то грозное. И в следующее мгновение ночь затрещала, как поваленный лес, прогрохотал гром, молнии располосовали тучи. Хлынул крутой дождь. Иноходец рванулся с привязи, как от удара бича, и отчаянно заржал от страха за свой табун. В нем пробудился извечный инстинкт защиты своего рода от опасности. Инстинкт звал его туда, на помощь. И, обезумев, он поднял мятеж против узды, против удил, против волосяного чумбура, против всего, что так крепко держало его здесь. Он стал метаться, рыть землю копытами и, не переставая, ржал в надежде услышать ответные крики та-

буна. Но только буря свистела и выла. Ах, если бы ему удалось тогда сорваться с привязи!..

Хозяин выскочил в белой нательной рубашке, за ним — женщина, тоже в белом. Они вмиг потемнели под дождем. По их мокрым лицам и испуганным глазам мазнул синий всполох, выхватывая из черноты часть дома с хлопающей на ветру дверью.

— Стой! Стой! — заорал на коня Танабай, намереваясь отвязать его. Но тот уже не признавал его. Иноходец кинулся на хозяина зверем, обрушил копытами дувал и все рвался и рвался с привязи. Танабай подкрался к нему, прижимаясь к стене, бросился вперед, закрывая голову руками, и повис на уздечке.

— Скорее отвязывай! — крикнул он женщине.

Та едва успела отвязать чумбур, как иноходец, дыбясь, потащил Танабая по двору.

— Камчу скорей!

Бюбюжан кинулась за плеткой.

— Стой, стой, убью! — кричал Танабай, остервенело хлеща коня камчой по морде. Ему надо было сесть в седло, ему надо было сейчас быть в табуне. Что там? Куда угнал ураган лошадей?

Но и иноходцу тоже надо было в табун. Немедленно, сию же минуту — туда, куда звала его в грозный час могучая власть инстинкта. Потому он ржал и взмывал на дыбы, потому он рвался отсюда. А дождь лил сплошной стеной, гроза бушевала, сотрясая грохотом мятущуюся во вспышках ночь.

— Держи! — приказал Танабай Бюбюжан и, когда та схватилась за уздечку, прыгнул в седло. Он еще не успел сесть, только уцепился за гриву коня, а Гульсары уже ринулся со двора, сшибив и проволочив женщину по луже.

Не подчиняясь уже ни удилам, ни плети, ни голосу, Гульсары мчался сквозь буревую ночь, сквозь секущий ливень, угадывая путь одним лишь чутьем. Он пронес безвластного теперь хозяина через взбурлившую реку, сквозь грохот воды и грома, сквозь заросли кустов, через рвы, через лога, он неудержимо мчался и мчался вперед. Никогда до этого, ни на большой скачке, ни на аламан-байге, не бежал так Гульсары, как в ту ураганную ночь.

Танабай не помнил, как и куда уносил его осатаневший иноходец. Дождь казался ему жгучим пламе-

нем, полыхавшим по лицу и телу. Одна лишь мысль колотилась в мозгу: «Что с табуном? Где теперь лошади? Не дай бог, умчатся в низовья к железной дороге. Крушение! Помоги мне, аллах, помоги! Помогите, арбаки [1], где вы? Не упади, Гульсары, не упади! Вынеси в степь, туда, туда, к табуну!»

А в степи шарахались белые зарницы, ослепляя ночь белым полымем. И снова смыкалась тьма, ярилась гроза, бил по ветру дождь.

То светло, то темно, то светло, то темно...

Иноходец взметнулся на дыбы и ржал, раздирая пасть. Он звал, он взывал, он искал, он ждал. «Где вы? Где вы? Отзовитесь!» В ответ грохотало небо — и снова в бег, снова в поиски, снова в бурю...

То светло, то темно, то светло, то темно...

Буря улеглась только к утру. Постепенно расползлись тучи, но гром все еще не утихал на востоке — погромыхивал, урчал, потягивался. Дымилась истерзанная земля.

Несколько табунщиков рыскали по окрестности, собирая отбившихся лошадей.

А Танабая искала жена. Вернее, не искала, а ждала. Еще ночью кинулась она с соседями верхом на помощь мужу. Табун нашли, удержали в яру. А Танабая не было. Думали, заблудился. Но она знала, что он не заблудился. И когда соседский паренек радостно воскликнул: «Вот он, Джайдар-апа, вон он едет!» — и поскакал ему навстречу, Джайдар не тронулась с места. Молча смотрела с коня, как возвращался блудный муж.

Молчаливый и страшный, ехал Танабай в мокрой исподней рубашке, без шапки, на перепавшем за ночь иноходце. Гульсары прихрамывал на правую ногу.

— А мы вас ищем! — радостно сообщил ему добежавший паренек.— Джайдар-апа беспокоиться уже начала.

Эх, мальчишка, мальчишка...

— Заблудился,— пробубнил Танабай.

Так встретились они с женой. Ничего не сказали друг другу. А когда паренек отлучился выгонять табун из-под обрыва, жена тихо проговорила:

---

[1] Арбаки — духи предков.

— Что ж ты, не успел даже одеться. Хорошо еще штаны да сапоги при тебе. И не стыдно? Ведь ты уже не молод. Дети вот скоро взрослые, а ты...

Танабай молчал. Что было ему говорить?

Парнишка тем временем подогнал табун. Все лошади и жеребята были целы.

— Поехали домой, Алтыке,— позвала парнишку Джайдар.— Дел не оберешься сегодня и у вас и у нас. Юрты разворотило ветром. Поехали собирать.

А Танабаю она сказала вполголоса:

— Ты тут побудь. Привезу тебе поесть да во что одеться. Людям-то как покажешься на глаза?

— Там я буду, внизу,— кивнул Танабай.

Они уехали. Танабай погнал табун на выпас. Долго гнал. Уже светило солнце, тепло стало. Запарилась степь, ожила. Запахло дождем и молодой травой. Лошади не спеша потрусили по перепадкам, по логам, вышли на взлобье. И словно бы мир другой открылся перед Танабаем. Далеко-далеко отстоял горизонт, подернутый белыми облаками. Небо было большое, высокое, чистое. И очень далеко отсюда дымил в степи поезд.

Танабай слез с коня, пошел по траве. Рядом вспорхнул жаворонок, поднялся и защебетал. Танабай шел, опустив голову, и вдруг грохнулся на землю.

Никогда не видел Гульсары своего хозяина в таком положении. Он лежал вниз лицом, и плечи его тряслись от рыданий. Он плакал от стыда и горя, он знал, что утратил счастье, которое выдалось ему последний раз в жизни. А жаворонок все щебетал...

Через день табуны двинулись в горы — теперь они должны были вернуться сюда только на следующий год, ранней весной. Кочевье шло вдоль реки, по пойме, мимо аила. Шли отары овец, стада, табуны. Шли под вьюком верблюды и кони, ехали в седлах женщины и дети. Бежали лохматые псы. В воздухе стояло разноголосье: покрики, ржанье, блеянье...

Танабай гнал свой табун через большой луг, затем по пригорку, где недавно гомонил народ на празднике, и все старался не смотреть в сторону аила. И когда Гульсары вдруг потянул туда, ко двору на окраине, он получил за это плеткой. Так и не заехали они к женщине с удивительными руками, упругими и чутки-

ми, как губы той маленькой гнедой кобылицы со звездой на лбу...

Табун дружно бежал.

Хотелось, чтобы хозяин пел, но он не пел. Аил остался позади. Прощай, аил. Впереди горы. До свиданья, степь, до следующей весны. Впереди горы.

6

Близилась полночь. Дальше Гульсары уже не мог идти. Сюда, до оврага, он кое-как доковылял, останавливаясь десятки раз, но оврага ему уже было не одолеть. Старик Танабай понял, что большего не вправе требовать от коня. Гульсары стонал мучительно, стонал, как человек. И когда он стал ложиться, Танабай не помешал ему.

Лежа на холодной земле, иноходец продолжал стонать, мотая головой из стороны в сторону. Ему было холодно, он дрожал всем телом. Танабай скинул с себя шубу и покрыл ею спину коня.

— Ну что, плохо тебе? Совсем плохо? Замерз ты, Гульсары. А ведь ты никогда не мерз.

Танабай что-то еще бормотал, но иноходец уже ничего не слышал. Сердце у него стучало уже в самой голове, оглушительно, срываясь и захлебываясь: тум-там, тум, тум-там, тум...— будто табун убегал в панике от настигавших его преследователей.

Луна вышла из-за гор, повисла в тумане над миром. Беззвучно упала и потухла звезда...

— Ты тут полежи, я пойду курая наломаю,— сказал старик.

Он долго бродил вокруг, собирая сухостой прошлогоднего бурьяна. Руки исколол колючками, пока собрал охапку. Пошел еще, спустился в овраг, на всякий случай с ножом в руке, и наткнулся здесь на кусты тамариска. Обрадовался — будет настоящий костер.

Гульсары всегда боялся горевшего вблизи огня. Теперь не боялся, его обдавало теплом и дымом. Танабай молча сидел на мешке, подкидывал в костер тамариск вперемешку с бурьяном и смотрел на огонь, грея руки. Иногда вставал, поправлял на коне наброшенную шубу и снова садился к огню.

Гульсары отогрелся, дрожь затихла, но в глазах стояла желтая муть, давило и жало в груди, дышать

было нечем. Пламя то падало, то вставало на ветру. Старик, сидевший напротив, давнишний хозяин его, то исчезал, то появлялся. И казалось иноходцу в бреду, что скачут они по степи в грозовую ночь, ржет он, вскидываясь на дыбы, ищет табун, а его нет. Загораются и гаснут белые всполохи.

То светло, то темно, то светло, то темно...

7

Отошла зима, отошла на время, чтобы показать пастухам, что жить на свете не так-то уж и трудно. Будут теплые дни, скот нажирует тело, будет вдоволь молока и мяса, будут скачки в праздники, будут будни — окот, стрижка, выхаживание молодняка, кочевка, и между всем этим у каждого своя жизнь — любовь и разлука, рождения и смерти, гордость за успехи детей и огорчения при неутешительных вестях о них из интернатов: при себе-то, может, лучше учился бы... Мало ли чего будет, забот всегда предостаточно, и позабудутся на время зимние невзгоды. Джуты, падежи, гололедицы, дырявые юрты и холодные кошары останутся в сводках и отчетах до следующего года. А там опять грянет зима — на белой верблюдице домчится, разыщет пастуха, где бы он ни был, в горах или в степи, и покажет ему свой норов.Все припомнит он, о чем на время призабыл. И в двадцатом веке зима ведет себя все так же...

Все так же было и тогда. Спустились с гор отощавшие стада и табуны и разбрелись по степи. Весна. Пережили зиму.

В ту весну гулял Гульсары жеребцом в табуне. Танабай теперь редко когда оседлывал его, жалел, да и нельзя было этого делать — приближался случной сезон.

Хорошим жеребцом обещал быть Гульсары. Следил за махонькими жеребятами прямо как отец. Чуть что проглядит матка, он уже здесь, не даст жеребенку упасть куда-нибудь или отбиться от косяка. И еще одно достоинство было у Гульсары: не любил, чтобы напрасно тревожили лошадей — если так случалось, сразу угонял табун подальше.

Зимой того года в колхозе произошли изменения. Прислали нового председателя, Чоро сдал дела и ле-

жал в районной больнице. С сердцем у него становилось совсем плохо. Танабай все собирался поехать проведать друга, да разве вырвешься? Пастух, как многодетная мать, вечно в заботах, особенно зимой да по весне. Животное не машина: не отключишь рубильник и не уйдешь. Так и не смог тогда Танабай съездить в районную больницу. Сменщика теперь у него не было. Подменным табунщиком числилась жена — надо же было как-то зарабатывать на жизнь: хоть и мало чего стоил трудодень, а все же на два трудодня можно было получить больше, чем на один.

Но Джайдар — с ребенком на руках. Какой она сменщик? День и ночь самому приходилось управляться. Пока Танабай собирался, сговариваясь с соседями о подмене, пришла весть, что Чоро выписался из больницы и вернулся в аил. И тогда они с женой решили, что побывают у него потом, спустившись с гор. А только спустились в долину, только обжились на новом месте, как случилось то, о чем Танабай до сих пор не может вспомнить спокойно...

Слава иноходца — палка о двух концах. Чем больше гремит он на всю округу, тем больше зарится на него начальство.

В тот день с утра отогнал Танабай лошадей на выпас, а сам вернулся домой позавтракать. Сидел с дочуркой на коленях, пил чай, переговариваясь с женой о разных семейных делах.

Надо было съездить в интернат к сыну, а заодно и на базар, к станции, купить там на барахолке кое-что из одежды для детей и жены.

— В таком случае, Джайдар, оседлаю я иноходца,— сказал Танабай, прихлебывая из пиалы.— А то не успею обернуться. Съезжу последний раз и больше не буду его трогать.

— Смотри, тебе виднее,— согласилась она.

Снаружи послышался топот верховых, кто-то ехал к ним.

— Глянь-ка,— попросил он жену.— Кто там?

Она вышла и, вернувшись, сказала, что это «завферма Ибраим» и с ним еще кто-то.

Танабай поднялся нехотя, вышел из юрты с дочкой на руках. Хотя и недолюбливал он заведующего коневодческой фермой Ибраима, но гостя полагается встретить. А за что он недолюбливал Ибраима, Та-

набай и сам не знал. Вроде бы и обходительный он, не в пример другим, а что-то в нем было все же скользковатое. Самое главное — делать он ничего не делал, так себе — учет, перечет. Настоящей коневодческой работы на ферме вовсе не было, каждый табунщик был предоставлен самому себе. На партсобраниях Танабай не раз говорил об этом, все соглашались, соглашался и Ибраим, благодарил за критику, но все оставалось по-прежнему. Хорошо еще, что табунщики подобрались добросовестные, Чоро их сам подбирал.

Ибраим, сойдя с седла, приветливо развел руки.

— Ассалом алейкум, ба-ай! — Он всех табунщиков называл баями.

— Алейкум ассалом! — сдержанно отвечал Танабай, пожимая приехавшим руки.

— Как живы-здоровы? Как лошади, Танаке, как сам? — Ибраим сыпал свои привычные вопросы, и его мясистые щеки расплывались в столь же привычной улыбке.

— В порядке.

— Слава богу. За вас я не беспокоюсь.

— Прошу в юрту.

Джайдар стелила для гостей новую кошму, а на кошму бостек из козьих шкур — специальный полог для сидения на полу.

И ей уделил внимание Ибраим.

— Здравствуйте, Джайдар-байбиче. Как ваше здоровье? Хорошо ли ухаживаете за своим баем?

— Здравствуйте, проходите, садитесь сюда.

Все расселись.

— Налей нам кумыса,— попросил Танабай жену.

Пили кумыс, говорили о том о сем.

— Сейчас самое верное дело — животноводство. Здесь хоть летом молоко, мясо,— рассуждал Ибраим,— а на полеводстве или там на других работах — вовсе ничего. Так что лучше сейчас держаться табунов да отар. Верно ведь, Джайдар-байбиче?

Джайдар кивнула, а Танабай промолчал. Знал он это и сам и не впервые слышал такое от Ибраима, не упускавшего случая намекнуть на то, что положением животновода следует дорожить. Хотелось Танабаю сказать, что ничего, мол, тут хорошего нет, если люди

будут держаться за теплые местечки, где молоко и мясо. А как же другие? До каких пор люди будут работать задарма? Разве так было до войны? Осенью по две, по три брички хлеба свозили в каждый дом. А теперь что? Бегают с пустыми мешками, где бы что бы добыть. Сами хлеб растят и сами без хлеба сидят. Куда это годится? Одними собраниями да увещеваниями далеко не протянешь. Чоро потому и подорвал свое сердце, что, кроме хороших слов, ничего уже не мог дать людям за работу. Но все это, что наболело у него на душе, бесполезно было говорить Ибраиму. Да и не хотел Танабай сейчас затягивать разговор. Надо было побыстрей выпроводить их, оседлать иноходца — ехать по делам, чтобы пораньше обернуться. Зачем они пожаловали? Но спрашивать было неудобно.

— Что-то не узнаю я тебя, брат,— обратился Танабай к спутнику Ибраима, молодому молчаливому джигиту.— Не сын ли ты покойного Абалака?

— Да, Танаке, я его сын.

— О, как время идет! Взглянуть приехал на табуны? Любопытно?

— Да нет, мы...

— Он приехал вместе со мной,— перебил его Ибраим.— Мы тут по делу, об этом потом. Кумыс у вас, Джайдар-байбиче, прямо отменный. А запах какой крепкий. Налейте-ка еще чашку.

Снова заговорили о том о сем. Чуял Танабай неладное, но никак не мог взять в толк, что же привело к нему Ибраима. Наконец Ибраим достал из кармана какую-то бумагу.

— Танаке, мы к вам по такому делу, вот с такой бумагой. Прочтите.

Читал Танабай про себя, по складам, читал и не верил глазам. Размашистыми буквами на бумаге было написано:

«Распоряжение.

Табунщику Бакасову.

Отправить иноходца Гульсары на конюшню для верховой езды.

Пред. к-за (подпись неразборчивая). 5 марта 1950 г.».

Ошарашенный столь неожиданным оборотом дела, Танабай молча сложил бумагу вчетверо, положил в

нагрудный карман гимнастерки и долго сидел, не поднимая глаз. Под ложечкой неприятно холодило. Собственно, неожиданного тут ничего не было. Для того он и выращивал лошадей, чтобы затем передавать их другим для работы, для езды. Скольких он уже отправил по бригадам за эти годы! Но отдать Гульсары! Это было сверх его сил. И он стал лихорадочно соображать, как ему отстоять иноходца. Надо было все хорошенько обдумать. Надо было взять себя в руки. Ибраим уже начал тревожиться.

— Вот по такому небольшому делу и завернули к вам, Танаке,— осторожно пояснил он.

— Хорошо, Ибраим,— спокойно глянул на него Танабай.— Дело это никуда не ускачет. Попьем еще кумыса, поговорим.

— Ну конечно, вы же разумный человек, Танаке.

«Разумный! Черта с два поддамся на твои лисьи слова!» — озлился про себя Танабай.

И снова пошел незначительный разговор. Спешить теперь было некуда.

Так впервые столкнулся Танабай с новым председателем колхоза. Вернее, не с ним лично, а с его неразборчивой подписью. Его самого он в глаза еще не видел. В горах зимовал, когда тот пришел на смену Чоро. Говорили, что человек он крутой, в больших начальниках ходил. На первом же собрании предупредил, что будет строго наказывать нерадивых, а за невыполнение минимума трудодней пригрозил судом, сказал, что все беды в колхозах происходили оттого, что колхозы были мелкими, теперь их будут укрупнять, вскоре положение должно выправиться — для того и послали его сюда, и он ставит своей главной задачей вести хозяйство по всем правилам передовой агротехники и зоотехники. А для этого все обязаны учиться в агротехнических и зоотехнических кружках.

И действительно, учебу наладили,— развесили плакаты, лекции стали читать. А если чабаны засыпали на лекциях, то это уж их дело...

— Танаке, нам пора собираться,— выжидающе посмотрел на Танабая Ибраим и стал натягивать оползшие голенища сапог, встряхивать и прихорашивать свой лисий тебетей [1].

---

[1] Тебетей — шапка, отделанная мерлушкой или лисьим мехом.

— Вот что, завферма, передай председателю: Гульсары я не отдам. Он у меня табунный жеребец. Маток кроет.

— Ой-бой, Танаке, да мы вам вместо него пять жеребцов дадим, ни одна матка холостая не останется. Разве же это вопрос? — изумился Ибраим. Он был доволен, все шло хорошо, и вдруг... Эх, будь это не Танабай, а кто-нибудь другой, разговор был бы короток. Но Танабай есть Танабай, он и брата своего не пожалел, с этим надо считаться. Тут приходится помягче стелить.

— Не нужны мне ваши пять жеребцов! — Танабай отер вспотевший лоб и, помолчав, решил идти напрямую.— Что, твоему председателю не на чем ездить, что ли? Лошади на конюшне перевелись? Почему именно Гульсары потребовался?

— Ну как же, Танаке? Председатель — руководитель наш, уважение, стало быть, ему. Ведь он в район ездит, и к нему люди приезжают. Председатель на виду, при народе, так сказать...

— Что «так сказать»? На другом коне признавать его никто не будет? Или если на виду, так обязательно на иноходце?

— Обязательно не обязательно. Но вроде полагается. Вот вы, Танаке, солдатом были на войне. Разве вы ездили на легковой, а генерал ваш на грузовике? Нет, конечно. Генералу — генеральское, а солдату — солдатское. Резонно?

— Здесь дело другое,— неуверенно возразил Танабай. Почему именно другое, он не стал объяснять, да и не мог бы объяснить. И, чувствуя, что кольцо вокруг иноходца сжимается, сказал зло: — Не отдам. А неугоден — убирайте с табуна. Пойду в кузницу. Там вы у меня молот не отберете.

— К чему так, Танаке? Мы вас уважаем, ценим. А вы как маленький. Разве же вам к лицу так? — Ибраим заерзал на месте. Кажется, влип. Сам наобещал, сам подсказал, сам вызвался, а этот упрямый тип все дело срывает.

Ибраим тяжело вздохнул и обратился к Джайдар:

— Сами посудите, Джайдар-байбиче, ну что такое один конь, ну иноходец? В табуне каких только лошадей нет — выбирайте любую. Человек приехал, прислали его...

— А ты что так стараешься? — спросила Джайдар.

Ибраим запнулся, развел руками:

— А как же? Дисциплина. Мне поручили, я человек маленький. Не для себя. Мне хоть на ишаке. Вот спросите, сына Абалака послали пригнать иноходца.

Тот молча кивнул головой.

— Нехорошо получается,— продолжал Ибраим.— Председателя нам прислали, он наш гость, а мы всем аилом коня порядочного не дадим ему. Узнает народ, что скажет? Где видано такое у киргизов?

— Вот и хорошо,— отозвался Танабай,— пусть узнает аил. Я поеду к Чоро. Пусть он рассудит.

— Вы думаете, Чоро скажет — не отдавать? С ним согласовано. Подведете только его. Вроде саботаж. Нового председателя не признаем, к старому идем жаловаться. А Чоро — человек больной. Зачем портить ему отношения с председателем? Чоро будет парторгом, ему работать с ним. Зачем мешать...

И тут, когда речь зашла о Чоро, Танабай замолчал. Все замолчали.

Джайдар тяжело вздохнула.

— Отдай,— сказала она мужу,— не держи людей.

— Вот это разумно, так бы давно, спасибо вам, Джайдар-байбиче.

Не зря Ибраим рассыпался в благодарностях. Не так уж много времени прошло после этого, а он из завфермой стал заместителем председателя по животноводству...

Танабай сидел в седле, потупив глаза, и, не глядя, все видел. Видел, как Гульсары был пойман и как на него надели новый недоуздок — свой Танабай ни за что не отдал бы. Видел, как не хотел Гульсары уходить из табуна, как рвался он на поводу у сына Абалака, как лупцевал его плеткой Ибраим с потягом, сплеча, подскакивая на коне то с одной, то с другой стороны. Видел глаза иноходца, смятенный взгляд их, не понимающий, куда и зачем уводят его незнакомые люди от маток и жеребят, от его хозяина, видел, как вырывался пар из его раскрытой пасти, когда он ржал, видел его гриву, спину, круп, следы плетки на спине и боках, видел все его стати, даже небольшой нарост каштана на правой передней ноге выше запястья, видел его поступь, следы копыт, все видел до последней волосинки его светло-желтой буланой шерсти,— все

видел и, прикусив губу, молча страдал. Когда он поднял голову, те, что увели Гульсары, уже скрывались за бугром. Танабай вскрикнул и припустил коня вслед за ними.

— Стой, не смей,— Джайдар выбежала из юрты.

И на скаку его вдруг осенила страшная догадка — мстит жена иноходцу за те ночи. Он круто развернул коня, нахлестывая камчой, повернул назад. Осадил возле юрты, спрыгнул и, страшный, с исказившимся, побелевшим лицом, подбежал к жене.

— Ты почему? Ты почему сказала «отдай»? — прошептал он, глядя в упор.

— Уймись. Опусти руки,— как всегда спокойно, осадила она его.— Послушай, что я тебе скажу. Разве Гульсары твоя собственная лошадь? Личная? Что у тебя есть своего? Все у нас колхозное. Этим живем. Иноходец тоже колхозный. А председатель — хозяин колхоза: как скажет, так и будет. А насчет того напрасно думаешь. Можешь хоть сейчас уходить. Уходи. Она лучше меня, красивей, моложе. Хорошая женщина. Я тоже могла овдоветь, но ты вернулся. Сколько я тебя ждала! Ну пусть это не в счет. У тебя трое детей. Куда их? Что им скажешь потом? Что они скажут? Что я им скажу? Решай сам...

Уехал Танабай в степь. Пропадал у табуна до самого вечера, все никак не мог успокоиться. Осиротел табун. Осиротела душа. Унес иноходец вместе с собой и ее. Все унес. Все не то. И солнце не то, и небо не то, и сам вроде не тот.

Вернулся уже затемно. Вошел в юрту молчаливый, почерневший. Девочки спали уже. Огонь горел в очаге. Жена слила ему воды на руки. Подала ужин.

— Не хочу,— отказался Танабай. А потом сказал: — Возьми темир-комуз [1], сыграй «Плач верблюдицы».

Джайдар взяла темир-комуз, поднесла его к губам, тронула пальцем тоненькую стальную струнку, дохнула на нее, затем вдохнула воздух в себя, и полилась древняя музыка кочевников. Песня о верблюдице, потерявшей белого верблюжонка. Много дней бежит она по пустынному краю. Ищет, кличет детеныша. Горю-

[1] Темир-комуз — щипковый музыкальный инструмент в виде железной скобы со стальным языком посредине.

ет, что не водить ей больше за собой его в час вечерний над обрывом, в час утренний по равнинам, не обирать им вместе листья с веток, не ходить по зыбучим пескам, не бродить по весенним полям, не кормить его белым молоком. Где ты, темноглазый верблюжонок? Отзовись! Бежит молоко из вымени, из переполненного вымени, струится по ногам. Где ты? Отзовись! Бежит молоко из вымени, из переполненного вымени. Белое молоко...

Хорошо играла Джайдар на темир-комузе. Когда-то полюбил он ее за это, девчонкой еще.

Слушал Танабай, уронив голову, и опять, не глядя, все видел. Руки ее, погрубевшие от долголетней работы в жару и холод. Поседевшие волосы и морщины, появившиеся на шее, возле рта, возле глаз. Проступала за теми морщинами ушедшая юность—смуглая девчонка с косицами, падающими на плечи, и он сам — молодой-молодой тогда, и их былая близость. Он знал, что сейчас она его не замечает. Она была погружена в свою музыку, в свои мысли. И видел он еще в тот час половину бед и страданий своих в ней. Она несла их всегда в себе.

...Бежит верблюдица много дней, ищет, кличет детеныша. Где ты, темноглазый верблюжонок? Бежит молоко из вымени, из переполненного вымени, струится по ногам. Где ты! Отзовись! Бежит молоко из вымени, из переполненного вымени. Белое молоко...

А девочки спали обнявшись. А за юртой лежала степь — огромная и непроглядная во мраке ночи.

В тот час бунтовал Гульсары в конюшне, не давал конюхам спать. Первый раз он попал в конюшню — в тюрьму для лошадей.

8

Велика была радость Танабая, когда однажды утром увидел он в табуне своего иноходца. Со свисающим обрывком веревки от недоуздка, под седлом.

— Гульсары, Гульсары, здравствуй! — подскочил наметом Танабай и увидел его вблизи в чужой уздечке, под чужим громоздким седлом с тяжелыми стременами. И что его особенно возмутило — с пышной бархатной подушкой на седле, точно ездил на нем не мужчина, а баба толстозадая.

— Тьфу! — Танабай сплюнул от возмущения. Хотел поймать коня, сбросить с него всю эту нелепую сбрую, но Гульсары увильнул. Иноходцу сейчас было не до него. Он обхаживал маток. Он так истосковался по ним, что не заметил своего бывшего хозяина.

«Значит, сбежал-таки, оборвал повод. Молодец! Ну погуляй, погуляй, так и быть, я умолчу»,— подумал Танабай и решил, что надо дать пробежку табуну. Пусть Гульсары почувствует себя как дома, пока за ним не примчалась погоня.

— Кайт-кайт-кайт! — крикнул Танабай, привстал в седле и, размахивая укруком, погнал табун прочь.

Двинулись матки, сзывая жеребят, побежали, резвясь, молодые кобылицы. Ветер обдувал их гривы Смеялась под солнцем зеленеющая земля. Гульсары встрепенулся, выправился, пошел гоголем. Вымахнул в голову табуна, отбил нового жеребца, загнал его на зады, а сам, красуясь перед табуном, зафыркал, затанцевал и пошел забегать то с одной, то с другой стороны. Кружил ему голову табуний дух — запах кобыльего молока, запах жеребят, запах полынного ветра. Дела ему не было, что сидело на нем нелепое седло с нелепой бархатной подушкой, что тяжелые стремена колотили его по бокам. Забыл он, как вчера стоял в районе у большой коновязи, грызя удила и шарахаясь от громыхающих грузовиков. Забыл, как стоял потом в луже у вонючей забегаловки и как новый его хозяин вышел вместе со всей своей компанией и ото всех несло вонью. Как рыгал и сопел новый, садясь на него. Забыл, как по дороге устроили они дурацкую скачку по грязи. Как понес он нового хозяина во весь опор и как тот трюхал в седле, болтаясь мешком, а потом стал рвать удила и бить его камчой по голове.

Все забыл иноходец, все: кружил ему голову табуний дух — запах кобыльего молока, запах жеребят, запах полынного ветра... Бежал иноходец, бежал, не подозревая, что погоня уже мчится за ним.

Вернул Танабай табун на прежнее место, и тут подоспели из аила двое конюхов. И снова увели Гульсары из табуна в конюшню.

Однако вскоре он появился опять. На этот раз без уздечки и без седла. Скинул каким-то образом узду с головы и ночью убежал из конюшни. Танабай сперва посмеялся, а потом примолк и, подумав, накинул ук-

рук на шею иноходца. Сам поймал, сам обротал и сам повел его в аил, попросив молодого табунщика с соседнего стойбища подгонять иноходца сзади. На полпути встретили конюхов, едущих за беглым иноходцем. Передавая им Гульсары, Танабай даже поворчал на них:

— Вы что там, безрукие, что ли, собрались, не можете уследить за конем председателя. Вяжите его покрепче.

А когда Гульсары прибежал в третий раз, Танабай не на шутку рассердился:

— Ты что, дурак! Что тебя носит сюда нелегкая? Дурак ты и есть дурак,— ругался он, гоняясь с укруком за иноходцем. И снова потащил его назад и опять ругался с конюхами.

Но Гульсары не собирался умнеть, прибегал при каждом удобном случае. Осточертел конюхам, осточертел Танабаю.

...В тот день уснул Танабай поздно — поздно вернулся с выпаса. Подогнал табун поближе к юрте на всякий случай и заснул — беспокойно, тяжело. Измучился за день. Снилось ему странное что-то — то ли он опять на войне, то ли на бойне где-то. Кровь кругом, руки тоже в липкой крови. И сам думает во сне: не к добру снится кровь. Хочет вымыть руки где-нибудь. А его толкают, смеются над ним, хохочут, визжат — и непонятно кто: «Танабай, в крови моешь руки, в крови. Здесь нет воды, Танабай, здесь кругом кровь! Ха-ха, хо-хо, хи-хи!..»

— Танабай, Танабай! — трясла его за плечо жена.— Проснись.

— А, что?

— Слышишь, в табуне что-то. Дерутся жеребцы. Наверно, опять Гульсары прибежал.

— Будь он проклят! Покою нет никакого! — Танабай быстро оделся, схватил укрук и побежал в ложбину, где слышалась какая-то свалка. Светло было уже.

Подбежал и увидел Гульсары. Но что это? Иноходец прыгает, сдвуноженный кишеном — железными путами. Гремят кандалы на ногах, крутится он, на дыбы встает, стонет, кричит. А этот лопух — косячий жеребец — и лягает и грызет его почем зря.

— Ах ты изверг! — Танабай налетел вихрем, протянул лопуха так, что переломился укрук. Отогнал.

А у самого слезы на глазах.— Что с тобой сделали, а? Кто же это додумался заковать тебя! И чего ты притащился сюда, болван разнесчастный?..

Надо же — в такую даль, через реку, через рвы и кочки допрыгал сюда в кандалах, добрался-таки до табуна. Всю ночь, наверно, прыгал, всю ночь шел. Один, под звон цепей, как беглый каторжник.

«Ну и ну!» — качал головой Танабай. Стал гладить иноходца, лицо подставил ему под губы. А тот перебирал губами, щекотал, глаза жмурил.

— Как же нам быть, а? Бросил бы ты это, Гульсары. Не поздоровится тебе. Глупый ты, глупый. Ничего-то ты не знаешь...

Осмотрел Танабай иноходца. Ссадины, полученные в драке, заживут. А вот ноги потер кандалами крепко. Венчики копыт кровоточат. Войлочная обшивка кишена оказалась гнилой, моль побила. Когда прыгал конь по воде, обшивка слезла, обнажила железо. Вот оно и раскровенило ему ноги. «Не иначе Ибраим раскопал у стариков кишен. Его это дело»,— со злостью думал Танабай. Да и чье же еще? Кишен — старинные цепные путы. У каждого кишена особый замок, без ключа не откроешь. Раньше надевали кишен на ноги лучшим коням, чтобы конокрады не могли их угнать с выпаса. Обыкновенные путы из веревки перерезал ножом — и делу конец, а с кишеном коня не уведешь. Но то было давно, а сейчас кишен стал уже редкостью. У старика разве какого-нибудь хранился как память о прошлом. И вот надо же, наверняка кто-то подсказал. Заковали иноходца, чтобы не смог он далеко уйти с аильного выпаса. А он все-таки ушел...

Снимали кишен с ног Гульсары всей семьей. Джайдар держала под уздцы, прикрывала иноходцу глаза, дочки играли поблизости, а Танабай, притащив весь свой короб с инструментами, обливался пóтом, пытаясь подобрать отмычку к замку. Пригодилась кузнечная сноровка, долго пыхтел, возился, руки сбил, но все же нашел способ, отомкнул.

Швырнул кишен подальше, с глаз долой. Смазал мазью кровоточины на ногах иноходца, и Джайдар повела его к коновязи. Старшенькая дочка подняла на спину младшую, и они тоже отправились к дому.

А Танабай еще сидел отдувался — устал. Потом собрал инструмент, пошел поднял с земли кишен. Вернуть надо, а то еще отвечать придется. Разглядывая поржавевший кишен, подивился работе мастера. Все было сделано отменно, с выдумкой. Работа старых киргизских кузнецов. Да, потеряно теперь это ремесло, забыто навсегда. Не нужны теперь кишены. А вот другие вещи исчезли — это жаль. Какие украшения, утварь какую из серебра, из меди, из дерева, из кожи умели делать! И недорогие вроде, а красивые вещи были. Каждая сама по себе, особая. Теперь таких нет. Теперь из алюминия лепят все подряд: кружки, чашки, ложки, серьги и тазы — куда ни придешь, все одно и то же. Скучно даже. И мастера-седельники тоже последние остались. А какие седла умели делать! Каждое седло свою историю имело: кто, когда, для кого сделал и как отблагодарен был за свой труд. Скоро, наверно, на машинах будут ездить все, как там, в Европе. Все на одинаковых машинах, только по номерам и отличишь. А умение дедовское забываем. Похоронили начисто старое ручное мастерство, а ведь в руках и душа и глаза человека...

Иногда вдруг находило на Танабая такое. Пускался в рассуждения о народном ремесле, негодовал и не знал, кого винить, что оно исчезает. А ведь в молодости сам был одним из таких могильщиков старины. Однажды выступил даже на комсомольском собрании с речью о ликвидации юрт. Услышав откуда-то, что юрта должна исчезнуть, что юрта — дореволюционное жилье. «Долой юрту! Хватит жить по старинке».

И «раскулачили» юрту. Стали строить дома, а юрты пошли на слом. Кошмы резали на всякие нужды, дерево пошло на изгороди, загоны для скота и даже на растопку...

А потом оказалось, что отгонное животноводство немыслимо без юрт. И всякий раз теперь Танабай сам поражался, как он мог говорить такое, ругать юрту, лучше которой пока ничего не придумали для кочевья. Как он мог не видеть в юрте удивительное изобретение своего народа, где каждая мельчайшая деталь была точно выверена вековым опытом поколений?

Теперь он жил в дырявой, прокопченной юрте, доставшейся от старика Торгоя. Юрте было много лет,

и если она еще кое-как держалась, то только благодаря долготерпению Джайдар. Целыми днями чинила, латала она юрту, приводила ее в жилой вид, а через неделю-другую снова расползалась квелая кошма, снова зияли прорехи, задувал ветер, сыпал снег, протекал дождь. И опять жена принималась за починку, и конца этому не было видно.

— До каких пор будем мучиться? — жаловалась она.— Смотри, это же не кошма, а прах, сыплется, как песок. А кереге-ууки [1] во что превратились! Стыдно сказать. Ты хоть добился бы, чтобы дали нам хотя бы новые кошмы. Хозяин ты дома или нет? Должны же мы наконец зажить по-людски...

Танабай первое время успокаивал, обещал. А когда заикнулся было в аиле, что ему нужно поставить новую юрту, оказалось, что старые мастера давно повымерли, а молодежь и представления не имеет, как их надо делать. Кошм для юрт в колхозе тоже не было.

— Хорошо, дайте шерсти, мы сами сваляем кошмы,— попросил Танабай.

— Какая шерсть! — сказали ему.— Ты что, с луны свалился? Вся шерсть идет на продажу по плану, в хозяйстве не положено оставлять ни грамма...— И предложили взамен брезентовую палатку.

Джайдар наотрез отказалась:

— Лучше уж в дырявой юрте жить, чем в палатке.

Многие животноводы к тому времени вынуждены были перейти в палатки. Но что это за жилье? Ни встать, ни сесть, ни огня развести. Летом невозможная жарища, зимой собаку не удержишь от холода. Ни тебе вещи расставить, ни кухню устроить, ни убрать покрасивей. А гости появятся — не знаешь, куда их приткнуть.

— Нет-нет! — отказывалась Джайдар.— Как хочешь, а в палатку я жить не пойду. Палатка для бессемейных разве, и то на время, а мы с семьей, у нас дети. Купать их надо, воспитывать, нет, не пойду.

Встретил как-то Танабай в те дни Чоро, рассказал обо всем.

---

[1] Кереге-уук — разборный деревянный остов юрты.

— Как же это получается, председатель?

Чоро грустно покачал головой.

— Об этом мы с тобой должны были подумать в свое время. И руководители наши наверху. А сейчас что — пишем письма и не знаем, что скажут. Говорят, шерсть — ценное сырье. Дефицит. Экспорт. На внутрихозяйственные нужды расходовать, говорят, вроде бы нецелесообразно.

Умолк после этого Танабай. Выходит, сам был отчасти виноват. И молча посмеивался над своей глупостью: «Нецелесообразно! Ха-ха-ха! Нецелесообразно!»

Долго не выходило у него из головы это жестокое слово — «нецелесообразно».

Так они и жили в старой, латаной и перелатанной юрте, для починки которой нужна была обыкновенная шерсть. А шерсть эту, кстати, тоннами стригли с колхозных отар...

Подошел Танабай к своей юрте с кишеном в руках. И такой убогой показалась она ему, такое зло взяло его на все — и на себя, и на кишен этот, которым раскровенили ноги иноходцу, что зубами заскрипел. А тут под горячую руку подвернулись еще конюхи, примчавшиеся за Гульсары.

— Забирайте! — крикнул им Танабай. И губы его запрыгали от злости.— А кишен этот передайте председателю и скажите ему: если еще раз посмеет заковать иноходца, я ему этим кишеном голову размозжу. Так и скажите!..

Зря он это сказал. Ох, зря! Никогда не проходила ему даром эта горячность и прямота его...

9

Стоял светлый, солнечный день. Щурилась на солнце весна, курчавилась новой листвой, дымилась на пашне и лезла травой на тропы, прямо под ноги.

Возле конюшни ребятня играла в чижика. Подкинет чижик в воздух этакий шустрый паренек и пульнет его с размаху вдоль дороги. Станет мерить палкой по земле расстояние — раз, два, три... семь... десять... пятнадцать... Придирчивые судьи идут рядом гурьбой, следя, чтобы тот не мухлевал. Двадцать два.

— Было семьдесят восемь и теперь двадцать два,— считает паренек и, подведя итог, вскрикивает, вне себя от радости: — Сто! Есть сто!

— Ура-а, сто! — подхватывают другие.

Значит, попал в точку. Без перебора и недобора. Теперь проигравший должен «дудеть». Победитель идет к кону и отсюда снова закидывает чижик. Да так, чтобы подальше. Все бегут туда, где он упал, оттуда еще один удар по чижику, и так три раза. Побежденный чуть не плачет — так далеко придется ему дудеть! Но закон игры неумолим. «Что стоишь, давай дуди!» Дудильщик набирает воздуху в легкие и бежит приговаривая:

Акбай, Кокбай,
Телят в поле не гоняй.
А погонишь — не догонишь,
Будет тебе нагоняй — ду-у-у-у!

Голова уже трещит, а он все дудит. Но нет, до кона не дотянул. Надо возвращаться назад и начинать снова. И снова не дотянул. Победитель ликует. Раз не хватает дыху — вези! Он забирается дудильщику на спину, и тот везет его, как ишак.

— Ну, вперед, а ну быстрей! — понукает ногами седок.— Ребята, смотрите, это мой Гульсары. Смотри, как он идет иноходью...

А Гульсары стоял за стеной, в конюшне. Томился. Что-то его и не оседлывали сегодня. Не кормили и не поили с утра. Позабыли. Конюшня давно опустела, разъехались брички, разъехались верховые, только он один в стойле...

Конюхи убирают навоз. Ребята шумят за стеной. В табуны бы сейчас, в степь! Видится ему вольная равнина, как бродят там по раздолью табуны. Летят над ними серые гуси, машут крыльями, кличут за собой...

Дернулся Гульсары, попробовал оборвать привязь. Нет, крепко привязали его на двух цепных растяжках. Может, услышат свои? Вскинул голову к окну под крышей Гульсары и, перетаптываясь по настилу, гулко и протяжно заржал: «Где вы-ы-ы?..»

— Стой, черт! — подскочив, замахнулся на него лопатой конюх. И, обращаясь к кому-то за дверью, крикнул: — Выводить, что ли?

— Выводи! — ответили со двора.

И вот двое конюхов выводят иноходца во двор. Ух, как светло! А воздух какой! Затрепетали тонкие ноздри иноходца, трогая и вбивая в себя пьяный воздух весны. Листьями горьковато пахнет, влажной глиной пахнет. Кровь играет в теле. Побежать бы сейчас. Гульсары припрыгнул слегка.

— Стой! Стой! — осадило его сразу несколько голосов.

Что это сегодня так много людей вокруг него? С засученными рукавами, руки здоровенные, волосатые. Один, в сером халате, выкладывает на белую тряпицу какие-то блестящие металлические предметы. Сверкают они на солнце до боли в глазах. Другие — с веревками. О, и новый хозяин здесь! Стоит важно, расставив толстые короткие ноги в широченных галифе. Брови насуплены, как и у всех. Только рукава не засучены. Одной рукой подбоченился, другой крутит пуговицу на кителе. Вчера от него опять разило все тем же вонючим духом.

— Ну, что стоите, начинайте! Начинать, Джорокул Алданович? — обращается к председателю Ибраим. Тот молча кивает головой.

— Ну, давайте! — суетится Ибраим и торопливо вешает на гвоздь в воротах конюшни свой лисий тебетей. Шапка срывается, падает в навоз. Ибраим брезгливо отряхивает и снова вешает.— Вы бы посторонились чуток, Джорокул Алданович,— говорит он между тем,— а то ведь, не ровен час, заденет копытом. Конь — тварь неразумная, всегда жди подвоха.

Передернул кожей Гульсары, почувствовав на шее волосяной аркан. Колючий. Аркан завязали скользящей петлей на груди, перекинули конец наружу, на бок. Чего им надо? Зачем-то заводят аркан к задней ноге, на лодыжку, зачем-то еще опутывают ноги. Гульсары начинает нервничать, храпит, косит глазами. К чему все это?

— Быстрей! — торопит Ибраим и взвизгивает неожиданным фальцетом: — Вали!

Две пары здоровенных волосатых рук рывком берут на себя аркан. Гульсары падает на землю как подкошенный — гха-а! Солнце кувыркнулось, дрогнула от удара земля. Что это? Почему он лежит на боку? Почему странно вытянулись вверх лица людей, почему

деревья поднялись ввысь? Почему так неудобно лежит он на земле? Нет, так не пойдет.

Гульсары мотнул головой, подался всем туловищем. Арканы врезались жгучими путами, сводя ему ноги под живот. Иноходец рванулся, напрягся, отчаянно засучил свободной еще задней ногой. Аркан натянулся, затрещал.

— Наваливай, дави, держи! — заметался Ибраим.

Все кинулись на коня, придавили коленями.

— Голову, голову прижимайте к земле! Вяжи! Тяни! Так. Да побыстрей. Возьми тут еще разок. Тяни, еще раз, еще. Вот так. Теперь зацепи здесь, вяжи узлом! — не переставая визжал Ибраим.

И все туже опутывали арканом ноги иноходца, пока все они не были собраны в один жесткий узел. Застонал, замычал Гульсары, все еще пытаясь высвободиться из этой мертвой хватки аркана, сбрасывая тех, кто наседал на шею и на голову. Но они снова давили его коленями. Судорога пробежала по взмокшему телу иноходца, онемели ноги. И он сдался.

— Фу, наконец-то!

— Ну и силища!

— Теперь не шелохнется, если даже он трактор!

И тут к поваленному иноходцу подскочил он сам, новый хозяин его, присел на корточки в изголовье, обдал вчерашним сивушным духом и заулыбался в откровенной ненависти и торжестве, точно бы лежал перед ним не конь, а человек, враг его лютый.

К нему подсел, утираясь платком, распаренный Ибраим. И, сидя так рядышком, они закурили в ожидании того, что должно еще было последовать.

А за двором играли мальчишки в чижика:

Акбай, Кокбай,
Телят в поле не гоняй.
А погонишь — не догонишь,
Будет тебе нагоняй — ду-у-у!

Солнце все так же светило. И видел он в последний раз большую степь, видел, как бродят табуны там по раздолью. Летят над ними серые гуси, машут крыльями, кличут за собой... А морду облепили мухи. Не сгонишь.

— Начнем, Джорокул Алданович? — снова спросил Ибраим.

Тот молча кивнул. Ибраим встал.

Все снова задвигались, навалились коленями и грудями на связанного иноходца. Прижали еще крепче голову его к земле. Чьи-то руки завозились в паху.

Мальчишки поналезли на дувал, как воробьи.

— Смотри, ребята, смотри, что делают.

— Копыта чистят иноходцу.

— Знаешь ты много. Копыта! Вовсе и не копыта.

— Эй, что вам тут надо, а ну прочь отсюда! — замахал на них Ибраим.— Идите играйте. Нечего вам тут.

Ребята скатились с дувала.

Стало тихо.

Гульсары весь сжался от толчков и прикосновения чего-то холодного. А новый хозяин сидел на корточках перед ним, смотрел и чего-то ожидал. И вдруг острая боль взорвала свет в глазах. Ах! Вспыхнуло ярко-красное пламя, и сразу стало темно, черным-черно...

Когда все было кончено, Гульсары лежал еще связанный. Надо было, чтобы унялась кровь.

Ну вот, Джорокул Алданович, все в порядке,— потирая руки, говорил Ибраим.— Теперь он никуда бегать не будет. Все, набегался. А на Танабая не обращайте внимания. Плюньте. Он всегда был таким. Он брата своего не пожалел — раскулачил, в Сибирь заслал. Кому он, думаете, добра желает...

Довольный Ибраим снял с гвоздя лисий тебетей, встряхнул его, пригладил и надел на потную голову.

А ребятня все гоняла чижа:

Акбай, Кокбай,
Телят в поле не гоняй.
А погонишь — не догонишь,
Будет тебе нагоняй — ду-у-у-у!

— Ага, не добежал, подставляй спину. Чу, Гульсары, вперед! Ура-а, это мой Гульсары!

Стоял светлый, солнечный день...

10

Ночь. Глубокая ночь. Старый человек и старый конь. Горит костер на краю оврага. Пламя падает и встает на ветру...

Леденит иноходцу бок мерзлая, жесткая земля. Затылок сводит чугунной тяжестью, голова устала мотаться то вверх, то вниз, как тогда, когда он прыгал, сдвуноженный кишеном. И как тогда, не может Гульсары разбежаться, не может порвать кандалы. Хочется ему свободно махать ногами, чтобы копыта горели от бега, хочется лететь над землей, чтобы дышать всей грудью, хочется быстрей домчаться до выпаса, чтобы заржать во всю глотку, скликая табун, чтобы бежали кобылы и жеребята вместе с ним по большой полынной степи, но кандалы не пускают. Один, под звон цепей, как беглый каторжник, идет он, прыгает шаг за шагом, шаг за шагом. Пусто, темно, одиноко. Мелькает луна наверху в струях ветра. Она встает перед глазами, когда иноходец, прыгая, вскидывает голову, и падает камнем, когда он роняет голову.

То светло, то темно, то светло, то темно... Глаза устали смотреть.

Гремят цепи, растирают ноги в кровь. Прыжок, еще прыжок, еще. Темно, пусто. Как долго идти в кандалах, как трудно идти в кандалах.

Горит костер на краю оврага. Леденит иноходцу бок мерзлая, жесткая земля...

11

Через две недели предстояло отправиться в новое кочевье, снова в горы. На все лето, на всю осень и всю зиму, до следующей весны. С квартиры на квартиру и то чего стоит переехать! Откуда только набирается барахло? Не потому ли киргизы издавна говорят: если считаешь, что ты беден,— попробуй перекочуй.

Надо было уже приготовляться к кочевке, надо было сделать уйму разных дел, съездить на мельницу, на базар, к сапожнику, в интернат к сыну... А Танабай ходил как в воду опущенный. Странным он казался жене в те дни. На рассвете спешит — поговорить не успеешь, ускачет в табун. Возвращается к обеду мрачный, раздраженный. И все будто чего-то ожидает, все время настороже.

— Что с тобой? — допытывалась Джайдар.

Он отмалчивался, а однажды сказал:

— Сон я видел недавно дурной.

— Это ты чтобы отвязаться от меня?

— Нет, на самом деле. Из головы не выходит.

— Дожили. Не ты ли был заводилой безбожников в аиле? Не тебя ли проклинали старухи? Стареешь ты, Танабай, вот что, крутишься возле табуна, а что кочевка на носу — тебе хоть бы что. Разве я управлюсь одна с детьми? Съездил бы хоть повидал Чоро. Порядочные люди перед кочевкой проведывают больных.

— Успеется,— отмахивался Танабай,— потом.

— Когда потом? Да ты что, в аил боишься ехать? Поедем завтра вместе. Возьмем детей и поедем. Мне тоже надо побывать там.

На другой день, договорившись с молодым соседом, что он будет приглядывать за табуном, они выехали всей семьей верхом на лошадях. Джайдар — с маленькой девочкой, Танабай — со старшей. Детей везли, посадив перед седлами.

Ехали по улицам аила, здоровались со встречными и знакомыми, а возле кузницы Танабай вдруг остановил лошадь.

— Постой,— сказал он жене. Слез с седла и пересадил старшую дочь к жене на круп коня.

— Ты что? Куда ты?

— Я сейчас, Джайдар. Ты езжай. Скажи Чоро, что я мигом подъеду. В конторе срочные дела, закроется на обед. И в кузницу надо забежать. Подковы, кухнали на кочевку запасти.

— Да неудобно же врозь.

— Ничего, ничего. Ты езжай. Я сейчас.

Ни в контору, ни в кузницу Танабай не заглянул. Поехал он прямо на конный двор.

Спешившись, никого не окликая, вошел в конюшню. Пока глаза привыкали к полумраку, во рту пересохло. В конюшне было пустынно и тихо, все лошади в разъезде. Оглядевшись, Танабай облегченно вздохнул. Вышел через боковую дверь во двор конюшни повидать кого-нибудь из конюхов. И тут увидел то, чего боялся все эти дни.

— Так и знал, сволочи! — тихо сказал он, сжимая кулаки.

Гульсары стоял под навесом с забинтованным хвостом, подвязанным веревкой к шее. Между задними раскоряченными ногами темнела огромная, с кувшин, тугая воспаленная опухоль. Конь стоял неподвижно, понуро опустив голову в кормушку. Танабай замычал,

кусая губы, хотел подойти к иноходцу, но не посмел. Ему стало жутко. Жутко от этой пустынной конюшни, пустынного двора и одинокого, выхолощенного иноходца. Он повернулся и молча побрел прочь. Дело было непоправимое.

Вечером, когда они вернулись уже к себе в юрту, Танабай печально сказал жене:

— Сбылся мой сон.

— А что?

— В гостях не стал об этом говорить. Гульсары больше не будет прибегать. Ты знаешь, что они сделали с ним? Охолостили, сволочи!

— Знаю. Потому и потащила тебя в аил. Ты боялся узнать об этом? А чего бояться? Не маленький же ты! Разве первый и последний раз выхолащивают коней? Так было испокон веку и так будет. Это же известно каждому.

Ничего не ответил на это Танабай. Только сказал:

— Нет, все же сдается мне, что наш новый председатель — плохой человек. Чует сердце.

— Ну, ты это брось, Танабай,— сказала Джайдар.— Если оскопили твоего иноходца, так сразу и председатель плохой? Зачем так? Человек он новый. Хозяйство большое, трудное. Чоро вон говорит, что теперь с колхозами разберутся, помогут. Планы какие-то намечают. А ты судишь обо всем раньше времени. Мы-то ведь многого здесь не знаем...

После ужина Танабай отправился в табун и пробыл там до глубокой ночи. Ругал себя, заставлял все забыть, но из головы не выходило то, что увидел днем на конюшне. И думал он, объезжая табун, кружа по степи: «Может, и вправду нельзя судить так о человеке? Глупо, конечно. Оттого, наверно, что старею, что гоняю круглый год табун, ничего не вижу и не знаю. Но до каких пор будет так трудно жить?.. А послушаешь речи — будто все идет хорошо. Ладно — положим, я ошибаюсь. Дай бог, чтобы я ошибался. Но ведь и другие, наверно, так думают...»

Кружил по степи Танабай, думал, не находил ответа на свои сомнения. И вспомнилось ему, как начинали они когда-то колхоз, как обещали народу счастливую жизнь, какие мечты у всех были. И как бились за те мечты. Перевернули все, перелопатили старое. Что ж, и зажили поначалу неплохо. Еще лучше зажи-

ли бы, если бы не эта проклятая война. А теперь? Сколько лет уже прошло после войны, а все латаем хозяйство, как старую юрту. В одном месте прикроешь — в другом лезет прореха. Отчего? Отчего колхоз будто не свой, как тогда, а вроде чужой? Тогда собрание что постановило — закон. Знали, что закон приняли сами и его надо выполнять. А теперь собрание — одни пустые разговоры. Никому нет дела до тебя. Колхозом вроде не сами колхозники управляют, а кто-то со стороны. Точно бы со стороны виднее, что делать, как лучше работать, как вести хозяйство. Крутят, вертят хозяйство то так, то эдак, а толку никакого. Встретиться с людьми и то страшно — того и гляди спросят: ну-ка, вот ты, партийный человек, колхоз начинали — больше всех глотку драл, растолкуй нам, как все это получается? Что им скажешь? Хоть бы собрали да рассказали, что к чему. Спросили бы, что у кого на душе, какие мысли, какие заботы. Так нет, уполномоченные приезжают из района тоже какие-то не такие, как прежде. Раньше уполномоченный в народ шел, всем доступный был. А теперь приедет, накричит на председателя в конторе, а с сельсоветом так и вовсе не разговаривает. На партсобрании выступит, так все больше о международном положении, а положение в колхозе вроде не такое уж и важное дело. Работайте, давайте план, и все...

Вспомнил Танабай, как приезжал тут недавно один, все толковал о каком-то новом учении о языке. А попробовал Танабай с ним заговорить о колхозном житье-бытье — косится: мысли ваши, говорит, сомнительные. Не одобрил. Как же все это получается?

«Вот встанет Чоро с постели,— решил Танабай,— заставлю его душу выложить. И сам выложу. Если я путаю, пусть скажет, а если нет?.. Что же тогда? Нет-нет, так не должно быть. Конечно, я путаю. Кто я? Простой табунщик, пастух. А там люди мудрые...»

Вернулся Танабай в юрту и долго не спал. Все голову ломал: в чем тут загвоздка? И снова не находил ответа.

А с Чоро так и не удалось потолковать. Перед кочевкой дела заели.

И опять двинулось кочевье в горы на все лето, на всю осень и зиму, до следующей весны. Снова вдоль реки, по пойме пошли стада, табуны, отары. Карава-

ны вьюков. В воздухе повисло разноголосье, запестрели платки и платья женщин, пели девушки о расставании.

Гнал Танабай свой табун через большой луг, по пригоркам мимо аила. Все так же стоял на окраине тот дом, тот двор, куда заезжал он на своем иноходце. Заныло сердце. Не было теперь для него ни той женщины, ни иноходца Гульсары. Ушло все в прошлое, прошумела та пора, как стая серых гусей по весне...

...Бежит верблюдица много дней, ищет, кличет детеныша. Где ты, черноглазый верблюжонок? Отзовись! Бежит молоко из вымени, из переполненного вымени, струится по ногам. Где ты? Отзовись! Бежит молоко из вымени, из переполненного вымени. Белое молоко...

12

Осенью того года судьба Танабая Бакасова неожиданно повернулась.

Вернувшись из-за перевала, он остановился в предгорье, на осенних выпасах, с тем чтобы вскоре уйти с табунами на зимовье в горные урочища.

И как раз в эти дни прибыл посыльный из колхоза.

— Чоро прислал меня,— сказал он Танабаю.— Передал, чтобы ты завтра приехал в аил, а оттуда поедете на совещание в район.

На следующий день Танабай приехал в контору колхоза. Чоро был здесь, в комнатке парторга. Выглядел он куда лучше, чем весной, хотя и заметно было по синеве губ и худобе его, что болезнь все еще сидела в нем. Держался он бодро, очень занят был, народ обступал его. Танабай порадовался за друга. Ожил, значит, снова принялся за работу.

Когда они остались вдвоем, Чоро глянул на Танабая, потрогал ладонью свои впалые, жесткие щеки, улыбнулся:

— А ты, Танабай, не стареешь, все такой же. Сколько мы не виделись — с самой весны? Кумыс и воздух гор — дело великое. А я вот сдаю понемногу. Время, наверно, уже...— Помолчав, Чоро заговорил о деле: — Вот что, Танабай. Знаю, скажешь — дай нахальному ложку, так он вместо одного раза пять раз хлебнет. Опять по твою душу. Завтра едем на совеща-

ние животноводов. С животноводством очень плохо, особенно с овцеводством и особенно у нас в колхозе. Прямо гиблое дело. Райком обратился с призывом: коммунистов и комсомольцев на отстающие участки, в отары. Выручай! Тогда выручил с табунами, спасибо, и теперь выручай. Берись за отару, переходи в чабаны.

— Скор ты шибко, Чоро.— Танабай помолчал. «К лошадям я привык,— думал он.— А с овцами скучновато будет! Да и как все это пойдет?»

— Неволю тебя, Танабай,— сказал опять Чоро.— А ничего не поделаешь — партийное поручение. Не сердись. При случае припомнишь по-дружески, отвечу за все сразу!

— Да уж припомню как-нибудь! — засмеялся Танабай, не подозревая, что не так далеко то время, когда придется ему припомнить Чоро все...— А насчет отары подумать надо, с женой поговорить...

— Ну что ж, подумай. Но к утру решай, завтра надо доложить перед совещанием. С Джайдар потом посоветуешься, объяснишь ей все. Да я и сам при случае подъеду, расскажу. Она умная — поймет. Не будь ее при тебе, давно бы где-нибудь шею себе свернул,— пошутил Чоро.— Как там она поживает? Дети как?

И они разговорились о семьях, о болезнях, о том о сем. Танабая все подмывало начать большой разговор с Чоро, однако стали заходить скотоводы, вызванные с гор, да Чоро и сам заспешил, поглядев на часы.

— Значит, так. Коня своего сдай в конюшню. Решили ехать все вместе на машине с утра. Мы ведь машину получили. И вторую скоро получим. Заживем! А я отправлюсь сейчас, приказано к семи быть в райкоме. Председатель уже там. Думаю, успею на иноходце к вечеру, он не хуже машины идет.

— Как, разве ты ездишь на Гульсары? — удивился Танабай.— Уважил, выходит, председатель...

— Как сказать. Уважил не уважил, но отдал его мне. Понимаешь, какая беда,— смеясь, развел руками Чоро.— Возненавидел почему-то Гульсары председателя. Просто уму непостижимо. Звереет, близко не подпускает к себе. Пробовали и так и эдак. Ни в какую! Хоть убей. А я езжу — идет хорошо, крепко ты его выездил. Знаешь, схватит иной раз сердце, болит,

а сяду на иноходца, пойдет он, и боль как рукой снимет. Только за одно это готов всю жизнь работать парторгом, лечит он меня! — смеялся Чоро.

Танабай не смеялся.

— Я ведь тоже его не люблю,— промолвил он.

— Кого? — спросил Чоро, утирая прослезившиеся от смеха глаза.

— Председателя.

Чоро посерьезнел.

— За что же ты его не любишь?

— Не знаю. Думается мне, пустой он человек, пустой и злой.

— Ну знаешь, на тебя трудно угодить. Меня ты упрекал всю жизнь за мягкотелость, этого тоже, оказывается, не любишь... Не знаю. Вышел я на работу не так давно. Пока не разобрался.

Они замолчали. То, что Танабаю хотелось рассказать Чоро — о кишене, в который заковывали Гульсары, о том, как оскопили жеребца,— показалось ему теперь неуместным, неубедительным. И чтобы не длить заминку, Танабай заговорил о том, что порадовало его в разговоре как приятная новость:

— Очень хорошо, что машину дали. Значит, и в колхозы теперь пойдут машины. Надо, надо. Пора. Помнишь, перед войной получили мы первую полуторку. Митинг целый собрался. Как же — своя машина в колхозе. Ты еще выступал, стоя в кузове: «Вот, товарищи, плоды социализма!» А потом и ее забрали на фронт...

Да, было такое время... Удивительное время, как солнца восход. Что там автомашина! Когда вернулись со стройки Чуйского канала и привезли с собой первые патефоны, как потянулся тогда аил к новой песне! В конце лета то было. По вечерам собирались все к тем, у кого патефоны, выносили их на улицу и все слушали и слушали пластинку про ударницу в красной косынке. «Эй, ударница в красной косынке, скипятила бы ты мне чайку!..» Это тоже были для них плоды социализма...

— А мы сами-то, помнишь, Чоро, после митинга понабивались в полуторку — полным-полно! — вспоминал, оживляясь, Танабай.— Я стоял у кабины с красным флагом, как на празднике. И поехали мы просто

так, без дела, на станцию, а оттуда вдоль железной дороги на другую станцию, в Казахстан. Пиво пили в парке. И всю дорогу туда и обратно пели песни. Из тех джигитов мало кто остался — погибли все на войне. Да... И ночью, слушай, не выпускал я из рук этот красный флаг. Ночью-то кто бы его увидел? А я все не выпускал его из рук... То был мой флаг. И все пел, охрип даже, помню... Почему мы теперь не поем, Чоро?

— Стареем, Танабай, теперь уж не к лицу как-то...

— Да я не об этом — мы свое отпели. А молодежь? Вот я бываю у сына в интернате. Каким он там выучится? С этих пор знает уже, как угождать начальству. Ты, говорит, отец, почаще привози кумыса директору школы. А зачем? Учится он ничего... А послушал бы, как они поют. Батрачил я в детстве у Ефремова в Александровке, как-то водил он меня в церковь на пасху. Вот и наши ребята станут все на сцене, руки по швам, лица каменные, и поют, как в русской церкви. И все одно и то же... Не нравится мне это. И вообще много непонятно мне теперь, поговорить бы нам надо... Отстал я от жизни, не все стал понимать.

— Ладно, Танабай. В другой раз потолкуем, выберем время.— Чоро стал собирать свои бумаги, складывать их в полевую сумку.— Только ты не переживай больно. Я, например, верю, крепко верю: как бы трудно ни было, а все равно поднимемся мы, заживем еще, как мечтали...— говорил он, уже уходя. На пороге обернулся, вспомнил: — Слушай, Танабай, проезжал я как-то по улице — совсем запустел твой дом. Не глядишь ты за ним. Ты все в горах, а дом без хозяина, Джайдар в войну одна без тебя и то лучше содержала. Ты пойди посмотри. Скажешь, что потребуется, весной поможем как-нибудь с ремонтом. Наш Самансур приезжал летом на каникулы и то не утерпел. Взял косу — пойду, говорит, выкошу бурьян во дворе Танаке. Штукатурка пообвалилась, стекла повыбиты, говорит: воробьи носятся по комнатам, как на гумне.

— Насчет дома — это ты верно. И Самансуру спасибо. Как там он учится?

— На втором курсе уже. А учится, по-моему, хорошо. Вот ты говоришь — молодежь, а я по сыну своему сужу — вроде неплохая нынешняя молодежь. По рассказам его вижу, дельные у них ребята в институте.

Ну, да видно будет. Молодежь грамотная идет, подумает о себе...

Чоро отправился на конюшню, а Танабай поехал посмотреть свой дом. Обошел во дворе все кругом. Хрумкал под ногами сухой, пыльный бурьян, скошенный летом студентом — сыном Чоро. Совестно было, что дом стоит без хозяйского пригляда. У других животноводов по домам оставались родственники или присматривал кто. А у него две сестры родные жили в других аилах, с братом Кулубаем он не в ладах, а у Джайдар вообще нет близких родичей. Вот и получилось, что дом оказался заброшенным. И опять работать предстояло на отгонном животноводстве, теперь уже чабаном. Танабай пока еще колебался, но про себя знал, что Чоро все равно уговорит его, не сможет он отказать ему, согласится, как всегда.

Утром выехали на машине из аила и покатили в райцентр. Новый трехтонный ГАЗ понравился всем. «Едем как цари»,— шутили скотоводы. Радовался и Танабай — давно не приходилось ему ездить на машине, почитай с самой войны. Довелось тогда поколесить по дорогам Словакии и Австрии на американских «студебеккерах». Мощные были грузовики, трехосные. «Вот бы нам такие,— подумал тогда Танабай.— Особенно на вывозку зерна с предгорий. Такие нигде не завязнут». И верил: кончится война — будут и у нас. После победы все будет!..

В открытом кузове, на ветру разговор не клеился. Все больше молчали, пока Танабай не напомнил молодежи:

— Запевайте песни, ребята. Что ж вы смотрите на нас, стариков? Пойте, мы послушаем.

Молодежь запела. Сперва у них не ладилось, а потом дело пошло. Веселей стало ехать. «Вот и хорошо,— думал Танабай.— Так-то лучше. А главное, хорошо, что собирают наконец нас. Доложат, наверное, как и что, как быть с колхозом. Начальству-то виднее, чем нам. Мы знаем то, что у себя, не больше. Подскажут, глядишь, и мы у себя по-новому возьмемся за дело...»

В райцентре было шумно и людно. Машины, телеги, множество верховых лошадей запрудили всю пло-

щадь возле клуба. И шашлычники, чайханщики были тут как тут. Дымили, чадили, скликали приезжих.

Чоро уже ждал.

— Слезайте быстрей да идемте. Занимайте места. Скоро начнется. Танабай, куда ты?

— Я сейчас,— бросил Танабай, пробираясь сквозь кучу верховых лошадей. Он еще с машины заметил своего Гульсары и теперь шел к нему. Не видел с самой весны.

Иноходец стоял под седлом среди других лошадей, выделяясь своей светло-желтой, буланой мастью, широким, крепким крупом и горбоносой сухой головой с темными глазами.

— Здравствуй, Гульсары, здравствуй! — зашептал Танабай, протискиваясь к нему.— Ну, как ты тут?

Иноходец скосил яблоко глаза, признал старого хозяина, переступил ногами, зафыркал.

— А ты, Гульсары, выглядишь ничего. Смотри, раздался в груди. Бегаешь, стало быть, много. Плохо тебе было тогда? Знаю... Ну ладно, еще в хорошие руки попал. Веди себя смирно, и все будет в порядке,— говорил Танабай, ощупывая в переметной суме остатки овса. Значит, Чоро не морил его здесь голодом.— Ну, ты стой, а я пойду.

У входа в клуб на стене алели полотнища с надписями: «Коммунисты — вперед!», «Комсомол — авангард советской молодежи!»

Народ шел густо, растекаясь в фойе и зрительном зале. В дверях Танабая встретили Чоро и председатель колхоза Алданов.

— Танабай, отойдем в сторонку,— заговорил Алданов.— Мы тебя уже отметили, вот твой блокнот. Ты должен выступить. Ты партийный, лучший табунщик у нас.

— А о чем же мне говорить?

— Скажи, что ты, как коммунист, решил идти на отстающий участок. Чабаном маточной отары.

— И все?

— Ну как все! Скажешь свои обязательства. Обязуюсь, мол, перед партией и народом получить и сохранить по сто десять ягнят от каждых ста маток и настричь по три килограмма шерсти с головы.

— Как же я скажу, если я в глаза не видел отару?

— Ну вот еще, подумаешь! Отару получишь.— Чо-

ро смягчил разговор.— Выберешь себе овец, какие приглянутся. Не беспокойся. Да, и еще скажи, что берешь под шефство двух молодых чабанов-комсомольцев.

— Кого?

Люди толкались. Чоро смотрел списки.

— Болотбекова Эшима и Зарлыкова Бектая.

— Так ведь я с ними не говорил, как они посмотрят на это?

— Опять ты свое! Странный ты человек. Обязательно тебе говорить с ними? Не все ли равно? Никуда они не денутся, мы их наметили к тебе, дело решенное.

— Ну, если решенное, зачем со мной разговор вести? — Танабай пошел.

— Постой,— удержал его Чоро.— Ты все запомнил?

— Запомнил, запомнил,— раздраженно бросил Танабай на ходу.

13

Совещание закончилось к вечеру. Опустел райцентр, разъехались люди кто куда: в горы, к отарам и стадам, на фермы, в аилы и села.

Уезжал Танабай вместе с другими в грузовике через Александровский подъем, через степное плато. Темно было уже, ветер пробирал. Осень. Примостился Танабай в углу кузова, упрятался в поднятый воротник с мыслями своими. Вот и закончилось совещание. Сам он ничего дельного не сказал, зато других послушал. Выходит, много еще надо труда положить, чтобы пошло все на лад. Верно говорил этот в очках, секретарь обкома: «Никто не уготовил нам пути-дороги, самим их пробивать». Подумать только, с самых тридцатых годов — то вверх, то вниз, то на подъем, то на спуск... Непростое, видно, дело, колхоз. Вот и сам он уже седой наполовину, всю молодость ухлопал, чего только не повидал, чего не делал, и глупости порол не раз, все казалось — вот оно, вот оно то, а тягот с колхозом все не оберешься...

Ну что ж, работать — значит работать. Правильно сказал секретарь — жизнь, она никогда не покатится сама собой, как думалось когда-то, после войны. Ее вечно надо подталкивать плечом, пока сам жив... Толь-

ко вот оборачивается она каждый раз острыми углами, все плечи уже в мозолях. Да что мозоли — была бы душа довольна тем, что делаешь, что делают другие и чтобы от трудов этих счастье было... Как-то повернется у него теперь с отарой? Что скажет Джайдар? В магазин даже не успел забежать — девчушкам конфет хотя бы прихватить. Наобещал. Легко сказать, по сто десять ягнят на сотню да по три килограмма шерсти с головы. Каждый ягненок народиться да прижиться должен, а против него дождь, ветер, холод. А шерсть? Возьми шерстинку, глазом не различишь, дунешь — и нет ее. Килограммы-то откуда? Ох, золотые то килограммы. А ведь иные, наверно, и ведать не ведают, как все оно добывается...

Да, сбил его Чоро, спутал... «Выступи,— говорит,— но только коротко, о своих обязательствах. Ничего другого не говори. Не советую». А Танабай и послушался. Вышел на трибуну, оробел и так ничего не сказал, что на душе накипело. Пробубнил обязательства и сошел. Вспомнить стыдно. А Чоро доволен. И что это он осторожный стал такой? От болезни, что ли, или потому, что не главный теперь человек в колхозе? Зачем ему надо было предостерегать Танабая? Нет, что-то в нем сдвинулось, переиначилось как-то. Оттого, наверно, что всю жизнь председателем колхоз тянул, всю жизнь начальство его ругало. Ловчить научился, кажется...

«Ну постой, друг, припомню я тебе когда-нибудь с глазу на глаз...» — думал Танабай, закутываясь поплотнее в тулуп. Холодно было, ветер, до дома еще далеко. Что-то там его ждет?..

Чоро поехал на иноходце. Ехал он один, не стал дожидаться попутчиков. Домой хотелось быстрей, сердце побаливало. Пустил коня своим ходом, тот настоялся за день и шел теперь размашистой, прочной иноходью. Печатал копыта по вечерней дороге, как заведенная машина. Из всего прежнего осталась у него лишь одна страсть к бегу. Все другое давно уже умерло в нем. Умертвили, чтобы знал он только седло и дорогу. В беге Гульсары жил. Бежал добросовестно, неутомимо, точно бы мог догнать то, что было отнято людьми. Бежал и никогда не настигал.

На ветру в дороге Чоро немного полегчало. Отошла боль в сердце. Совещанием в целом он был доволен,

очень понравилось выступление секретаря обкома, о котором он много слышал, но видел его впервые. И все же не совсем по себе было парторгу. Коробило на душе. Ведь он Танабаю добра желал. Ведь он собаку съел на всех таких совещаниях, заседаниях и собраниях, знал, что и где надо говорить, а что не следует. Научен был. А Танабай хотя и послушался, но не желал этого понять. После совещания не обмолвился с ним ни словом. Сел в машину, отвернулся. Обиделся. Эх, Танабай, Танабай! Простак ты, ничему-то тебя жизнь не научила. Ничего-то ты не знаешь и не замечаешь. Каким был в молодости, таким и остался. Все бы тебе рубить сплеча. А времена-то уже не те. Теперь важнее всего — как сказать, при ком сказать и чтобы слово в духе времени звучало, как у всех, не выделяясь, не спотыкаясь, а гладкое, как писаное было. Тогда все будет на месте. А пусти тебя, Танабай, как душе твоей угодно, наломал бы дров, отвечать еще пришлось бы. «Как вы воспитываете членов своей организации? Что за дисциплина? Что за распущенность?» Эх, Танабай, Танабай...

14

Все та же ночь, заставшая их двоих в пути. Старый человек и старый конь. Горит костер на краю оврага. Танабай встает, в который раз поправляет шубу, накинутую на издыхающего Гульсары. И снова садится в его изголовье. Перебирает он в мыслях всю свою жизнь. Годы, годы, годы, как бег иноходца... А что было тогда, в тот год, в ту позднюю осень, в ту раннюю зиму, когда он ходил чабаном с отарой?..

15

Весь октябрь в горах был сух и золотист. Дня два только вначале лили дожди, захолодило, лег туман. Но потом за ночь развеяло, разнесло непогоду, и утром, выйдя из юрты, Танабай чуть не попятился — горы шагнули к нему в свежем снегу на вершинах. Как им шел снег! Они стояли в поднебесье в безупречной своей чистоте, отчетливые на свету и в тени, будто только что созданные богом. Там, где лежал снег, начиналась синяя бесконечность. А в ее глубине, в ее да-

лекой-далекой сини проступала призрачная даль вселенной. Танабай поежился от изобилия снега и свежести, и тоскливо стало ему. Опять он вспомнил о той, к которой ездил на Гульсары. Был бы иноходец под рукой, сел бы и, крича от восторга и радости, явился бы к ней, как этот белый снег поутру...

Но он знал, что это только мечта... Что ж, половина жизни проходит в мечтах, потому, быть может, и сладка она так, жизнь. Быть может, потому и дорога она, что не все, не все сбывается, о чем мечтаешь. Смотрел он на горы и небо и думал, что вряд ли все люди могут быть в одинаковой мере счастливы. У каждого своя судьба. А в ней свои радости, свои горести, как свет и тень на одной и той же горе в одно и то же время. Тем и полна жизнь... «А она, наверно, и не ждет уже. Разве что вспомнила, увидев свежий снег на горах...»

Стареет человек, а душа не желает сдаваться, нет-нет да и встрепенется, подаст свой голос.

Танабай оседлал лошадь, открыл овечий загон, крикнул в юрту жене:

— Джайдар, я отгоню овец, вернусь, пока ты управишься.

Отара засеменила торопливо, потекла потоком спин и голов, поднимаясь по склону. Соседние чабаны тоже уже выгоняли своих овец. Тут и там по косогорам, по лощинам, по распадам пошли овечьи стада, собирать извечную дань земли — траву. Серо-белыми кучами бродили они среди рыжего и бурого разнотравья осенних гор.

Пока что все обстояло благополучно. Отара Танабаю досталась неплохая — матки второго и третьего окота. Полтыщи голов. Полтыщи забот. А после окота станет их в два с лишним раза больше. Но до окота, до страды чабанской, было еще далеко.

С овцами спокойнее, конечно, чем с табунами, однако не сразу привык к ним Танабай. То ли дело лошади! Но потеряло, говорят, коневодство свое значение. Машины пошли. Лошади, выходит, уже не прибыльны. Теперь главное — овцеводство, шерсть, мясо, овчина. Задевала Танабая такая трезвость расчета, хотя и понимал он, что была в этом своя правда.

Хороший табун при хорошем жеребце можно иной раз и оставить на время, на полдня, а то и больше, отлучиться по другим своим делам. А с овцами — нику-

да. Днем неотступно ходи с ними, ночь — сторожи. Кроме чабана, подпасок должен быть при отаре, но его не давали. Вот и получалось — сплошная работа, без смены, без отдыха. Джайдар числилась ночным сторожем, днем она только иногда могла приглядывать с дочками за овцами, до полуночи ходила с ружьем у загона, а потом приходилось самому стеречь. А Ибраим, теперь хозяин всего животноводства в колхозе, на все находил свои причины.

— Ну, где я вам возьму подпаска, Танаке? — говорил он с горестным видом.— Вы же разумный человек. Молодежь вся учится. А те, что не учатся, и слышать не хотят об овцах, уходят в город, на железную дорогу и даже на рудники куда-то. Что делать, ума не приложу. У вас всего одна отара — и то вы стонете. А я? У меня все животноводство на шее. Под суд я попаду. Зря я, зря пошел на это дело. Попробуй с такими, как ваш Бектай подшефный. Ты, говорит, обеспечь мне радио, кино, газеты, юрту новую и чтобы магазин приезжал ко мне каждую неделю. А не будет — уйду куда глаза глядят. Вы бы хоть поговорили с ним, Танаке!..

Ибраим не врал. Он и сам не рад был, что залез высоко. И насчет Бектая — тоже правда. Танабай иногда урывал время, наезжал к своим подшефным комсомольцам. Эшим Болотбеков покладистый был парень, хотя и не очень расторопный. А Бектай красив был, ладен, но в его черных раскосых глазах так и сквозила злость. Танабая он встречал угрюмо, говорил ему:

— Ты, Танаке, не разрывайся на части. Лучше с детьми своими побудь. А проверяльщиков у меня и без тебя хватает.

— А что ж тебе, хуже будет, что ли?

— Хуже не хуже. А таких, как ты, я не люблю. Это вы расшибались в доску. Все — ура, ура! А человеческой жизни и сами не видели, и нам житья не давали.

— Ты, парень, не очень,— едва сдерживая себя, цедил сквозь зубы Танабай.— И пальцем в меня не тычь. Не твое это дело. Расшибались мы в доску, а не ты. И не жалеем. Для вас расшибались. А не расшибались бы, посмотрел бы я, как бы ты сейчас разговаривал. Не то что там кино или газеты, имени своего не знал

бы. Одно было бы у тебя имя из трех букв — кул — раб!

Не любил Танабай Бектая, хотя где-то втайне и уважал его за прямоту эту. Пропадала в нем сила характера. Горько было Танабаю, видел он, что не туда ведет парня кривая... И потом, когда дороги их разошлись и встретились они в городе случайно, ничего не сказал ему, но и слушать его не стал.

В ту раннюю зиму...

Быстро домчалась она на свирепой белой верблюдице своей и пошла донимать пастухов за их забывчивость.

Октябрь весь был сух и золотист. А в ноябре грянула разом зима.

Пригнал Танабай вечером овец, пустил в загон, все как будто было в порядке. А в полночь разбудила его жена:

— Вставай, Танабай, замерзла я совсем. Снег идет.

Руки у нее были холодные, и вся она пахла мокрым снегом. И ружье было мокрое и холодное.

На дворе стояла белесая ночь. Снег сыпал густо. Овцы лежали в загоне неспокойно, мотали головами с непривычки, перхали, отряхивали снег, а он все сыпал. «Постойте, еще не то будет нам с вами,— запахнув плотней шубу, подумал Танабай.— Рано, очень рано пожаловала ты, зима. К чему это, к добру или к худу? Может, потом, к концу, приотпустишь, а? Только бы к расплоду убралась. Вот и вся просьба наша. А пока делай свое дело. Право имеешь и можешь никого не спрашивать...»

Молчала народившаяся зима, молча, торопливо хлопотала впотьмах, чтобы к утру все ахнули, засновали, забегали.

Горы стыли в ночи пока еще темными громадами. Зима им нипочем. Это пастухи со стадами своими пусть побегают. А горы как стояли, так и будут стоять.

Началась та памятная зима, но что она замышляла, пока никто не знал.

Снег лежал, через несколько дней его еще подвалило, потом еще и еще, и выжил он чабанов с осенних стойбищ. Отары стали разбредаться, прятаться по уще-

льям, по затишкам, по малоснежным местам. Пошло в ход вековое искусство пастухов — находить отарам корм там, где другой махнул бы рукой и сказал, что нет тут ничего, кроме снега. На то они и были чабанами... Наедет иногда какое-нибудь начальство, поглядит-поглядит, порасспросит, наобещает кучу всего — и быстрей назад. А чабан опять остается один, лицом к лицу с зимой.

Все хотелось Танабаю как-нибудь вырваться в колхоз, разузнать, как там думают насчет проведения окота, все ли сделано, все ли припасено. Но где там! И дыхнуть некогда было. Джайдар однажды съездила к сыну в интернат, но недолго задержалась там: знала, что без нее совсем трудно стало. Танабай пас тогда отару вместе с дочерьми. Маленькую усаживал перед собой в седло, кутал в шубу, тепло и покойно ей, а старшая мерзла — сидела она сзади, за отцом. И даже огонь в очаге горел по-другому, бесприютно.

А когда мать на другой день вернулась, что тут было! Дети кинулись ей на шею, отцеплять пришлось силой. Ох нет — отец, конечно, отец, но без матери и он не то.

Так шло время. Зима выдалась переменчивая — то прижмет, то отпустит, раза два бураны были, потом стихало, таяло. Это-то и тревожило Танабая. Хорошо, как расплод попадет в теплую полосу, а если нет, что тогда?

Животы овец между тем все больше тяжелели. У иных, у кого крупный плод или двойня, они уже начали обвисать. Суягные матки шагали трудно, осторожно, сильно сдали с тела. Хребты выпирали. Да и что удивляться — плод рос в чреве, наливался материнскими соками, а тут каждую травинку из-под снега выбивай. Чабану прикармливать бы маток по утрам и вечерам, подвозить бы корм в горы, но в амбарах колхозных — все под метелку. Кроме семян да овса для рабочих лошадей, ничего и нет.

Каждое утро, выгоняя из загона, Танабай осматривал маток, ощупывал животы, вымя. Прикидывал, что если все обойдется благополучно, то свое обязательство по ягнятам выполнит, а вот с шерстью нет, пожалуй, не выйдет. Плохо росло руно за зиму, а у иных овец шерсть даже поредела, выпадать стала — опять же кормить надо было бы лучше. Хмурился Та-

набай, злился, а сделать ничего не мог. И ругал себя последними словами за то, что послушался Чоро. Насулил. С трибуны выступал. Я, мол, такой-сякой, передовой, перед партией и Родиной слово даю. Хоть бы уж этого не говорил! Да и при чем тут партия и Родина! Обыкновенное хозяйское дело. Так нет... Положено! И чего мы на каждом шагу, надо не надо, бросаемся этими словами?..

Ну что ж, сам и виноват. Не обдумал. По чужим подсказкам стал жить. Им-то что — отбрешутся, вот только Чоро жалко. Никак не везет ему. День здоров, два болеет. Всю жизнь суетится, уговаривает, обнадеживает, а что толку? Осторожный уже становится, слова выбирает. Раз больной, то уходил бы уж, что ли, на отдых...

Зима шла своим ходом, то обнадеживая, то тревожа чабанов. В отаре Танабая пали две матки от истощения — слабы оказались. И у подшефных его, молодых чабанов, тоже подохло по нескольку овец. Ну не без этого же. Десяток маток потерять за зиму — дело обычное. Главное было там, впереди, на подходе к весне.

И вдруг начало теплеть. У овец сразу же стало наливаться вымя. Смотришь, худущие уже такие, животы едва тащат, а соски розовеют, набухают не по дням, а по часам. И с чего бы? Откуда силы такие берутся? Слух пронесся, что у кого-то уже объягнилось несколько маток. Значит, недогляд был при случке. И это было первым сигналом. Через неделю-другую посыплются ягнята, как груши. Успевай только принимать. И начнется великая страда чабанская! За каждого ягненка дрожать будет чабан и проклинать тот день, когда пошел за отарой, и радости его предела не будет, если сбережет молодняк, если встанут ягнята на ноги и покажут хвосты свои зиме.

Но только бы вышло оно так, только бы вышло! Чтоб потом не прятать глаза от людей...

Прислали из колхоза сакманщиц — женщин большей частью престарелых да бездетных, которых удалось вытащить из села,— для помощи на время окота. К Танабаю в отару прислали двух сакманщиц. Приехали с постелями, с палаткой и пожитками. Веселей стало. Сакманщиков надо было, по крайней мере, человек семь. Ибраим заверил, что они будут, когда ота-

ры перекочуют на окотный пункт, в долину Пяти Деревьев, а сейчас, мол, хватит и этих.

Зашевелились отары, стали перебираться пониже, в предгорья, на окотные базы. Танабай попросил Эшима Болотбекова, чтобы он помог женщинам добраться до места и устроиться там, пока он подгонит отару. Отправил их с утра, караваном целым, а сам собрал овец и направил их своим ходом, полегоньку, чтобы нетрудно было маткам на сносях. Потом ему придется проделать этот же путь в долину Пяти Деревьев еще два раза, помочь подшефным.

Медленно передвигались овцы, а не поторопишь их. Даже пес соскучился, побежал рыскать по сторонам.

Солнце было уже на закате, но пригревало. И чем ниже опускалась отара в предгорья, тем теплей становилось. Зелень уже пробивалась на солнцепеке.

В пути вышла небольшая задержка — окотилась первая матка. Не должно было быть этого, огорчался Танабай, продувая уши и ноздри новорожденному. Срок окота наступал через неделю, не раньше. А тут на тебе!

Может, еще начнут ягниться по пути? Осмотрел других — нет, вроде бы непохоже. Успокоился, а потом даже повеселел. То-то обрадуются девчушки его первому ягненку. Первенец всегда мил. И ягненок-то оказался хорошенький. Белый, с черными ресницами и черными копытцами. Было в отаре несколько полугрубошерстных овец, одна из них как раз разрешилась. Ягнята от них обычно рождаются крепкие, в шерсточке, не то что от тонкорунных, те рожают почти голышей.

— Ну, раз уж ты поторопился, погляди на божий свет,— приговаривал Танабай.— И принеси нам счастье! Принеси нам таких, как ты, столько, чтобы ступить негде было ногой, чтобы от голосов ваших в ушах звенело и чтобы жили все, как один! — Он поднял ягненка над головой.— Смотри, покровитель овец, вот он, первый, помоги нам!

Вокруг стояли горы, и они молчали.

Танабай упрятал ягненка под шубу и пошел, подгоняя овец. Матка бежала следом, беспокоилась, блеяла.

— Пошли, пошли! — сказал ей Танабай.— Здесь он, никуда не денется.

Обсох ягненок под шубой, пригрелся.

На базу Танабай пригнал отару к вечеру.

Все были уже на месте, из юрты тянулся дымок. Возле палатки хлопотали сакманщицы. Управились, стало быть, с переездом. Эшима не видно было. Ну да, увел уже вьючного верблюда, чтобы завтра самому перекочевать. Все правильно.

Но то, что Танабай увидел затем, потрясло его, как гром среди бела дня. Ничего хорошего он не ожидал, но чтобы кошара для расплода стояла с прогнившей и провалившейся камышовой крышей, с дырами в стенах, без окон, без дверей, чтобы ветер продувал ее вдоль и поперек,— нет, этого он не ожидал. Вокруг уже почти не было снега, а в кошаре лежали сугробы.

Загон, сложенный когда-то из камней, тоже лежал в руинах. Танабай так расстроился, что не стал даже глядеть, как девочки радуются ягненку. Сунул им его в руки и пошел осматривать все кругом. И куда бы ни ткнулся — всюду такая бесхозяйственность, какой свет не видывал. С самой войны, должно быть, все здесь было заброшено, справлялись кое-как с окотом овец и уходили, кинув все дождям и ветрам. На крыше сарая пригорюнился кособокий прикладок гнилого сена, лежали кучи разбросанной соломы — вот и весь корм, и вся подстилка для ягнят и маток на всю отару, если не считать двух неполных мешков ячменной муки да ящика с солью, что были свалены в углу. Там же, в углу, было брошено несколько фонарей с разбитыми стеклами, ржавый бидон с керосином, две лопаты и обломанные вилы. Так и хотелось облить все это керосином, сжечь к чертям собачьим и уйти отсюда куда глаза глядят...

Ходил Танабай, спотыкаясь о мерзлые кучи прошлогоднего навоза и снега, и не знал, что сказать. Слов не находил. Только и повторял как помешанный: «Да как же так можно?.. Да как же так можно?.. Да как же так можно?..»

А потом выскочил из кошары, бросился седлать коня. Руки тряслись, когда седлал. Сейчас он поскачет туда, поднимет всех на ноги среди ночи и сделает сам не знает что! Схватит за шиворот этого Ибраима, этого председателя Алданова и Чоро: пусть не ждут от него пощады! Раз они с ним так — не видать им от него добра! Все, конец!..

— А ну постой! — успела перехватить поводья Джайдар.— Куда ты? Не смей. Слезь, послушай меня!

Но где там! Попробуй останови Танабая.

— Отпусти! Отпусти! — орал он, вырывая поводья, наезжая на жену, нахлестывая коня.— Отпусти, говорю! Я убью их! Я убью!

— Не пущу! Тебе надо кого-нибудь убить? Убей меня.

Тут прибежали сакманщицы на помощь Джайдар, прибежали дочки, подняли рев.

— Отец! Отец! Не надо!

Остыл Танабай, но все еще порывался ехать.

— Не держи меня, разве ты не видишь, что тут творится? Разве ты не видишь — вон матки с ягнятами. Куда мы их завтра денем, где крыша? Где корм? Передохнут все. Кто будет отвечать? Отпусти!

— Да постой ты, постой. Ну хорошо, ну поедешь ты, накричишь, наскандалишь. А что из того? Если они до сих пор ничего не сделали, значит, нет у них сил на это. Было бы из чего, разве колхоз не построил бы новую кошару?

— Но крышу-то перебрать можно было? А где двери? Где окна? Все кругом развалено, в кошаре снег, навоз не вывозили лет десять! А смотри, на сколько хватит этого гнилого сена? Разве же ягнятам такое сено? А подстилку откуда возьмем? Пусть в грязи дохнут ягнята, да? Так, по-твоему? Уйди!

— Хватит, Танабай, уймись. Ты что, лучше всех? Как все, так и мы. И тебя еще мужчиной считают? — стыдила жена.— Подумай лучше, что можно сделать, пока не поздно. Плюнь ты на них. Нам отвечать, и нам делать. Я вон приметила по пути к ложбинке шиповник густой, колючий, правда,— нарубим, позатыкаем крышу, сверху навоза набросаем. А на подстилку курая придется накосить. Как-нибудь да и перебьемся, если погода не подведет...

Тут и сакманщицы стали успокаивать Танабая. Сполз он с седла, плюнул на баб и пошел в юрту. Сидел, уронив голову, поникшую, как после тяжелой болезни.

Притихли все дома. Разговаривать боялись. Джайдар сняла с кизячных углей чайник, заварила покрепче, принесла в кувшине воды, дала мужу руки помыть. Расстелила чистую скатерть, конфеты даже откуда-то

достала, масла топленого положила в тарелку желтыми ломтиками. Пригласила сакманщиц, и сели пить чай. Ох уж эти бабы! Пьют себе чай из пиал, разговоры разговаривают всякие, будто в гостях сидят. Молчал Танабай, а после чая вышел и стал укладывать обвалившиеся камни загона. Работы тут невпроворот. Но хоть что-то надо было сделать, чтобы загнать овец на ночь. Вышли женщины и тоже взялись за камни. Даже девчонки силились подносить их.

— Бегите домой,— сказал им отец.

Стыдно было ему. Таскал камни, не поднимая глаз. Правду говорил Чоро: не будь Джайдар, не сносить Танабаю головы своей бедовой...

16

На другой день съездил Танабай подсобить перекочевке своих подшефных, а потом всю неделю работал не покладая рук. Не помнил даже, когда так доводилось, разве что на фронте, когда оборону строили круглыми сутками. Но там — со всем полком, с дивизией, с армией. А здесь — сам, жена да одна из сакманщиц. Вторая пасла овец поблизости.

Труднее всего пришлось с очисткой кошары от навоза и рубкой шиповника. Заросли оказались густые, сплошь в колючках. Сапоги все изодрал Танабай, шинель солдатскую свою доконал — вся в клочьях висела на нем. Нарубленный шиповник связывали веревками и тащили волоком, потому что на лошадь не навьючишь и на себе не утащишь — колючки. Чертыхался Танабай — долина Пяти Деревьев, а от них и пяти пеньков не сыщешь. Согнувшись в три погибели, обливаясь потом, волокли они этот проклятый шиповник, дорогу им проборонили к кошаре. Жалко было Танабаю женщин, но ничего не поделаешь. И работалось неспокойно. Времени в обрез, и на небо надо поглядывать — как там? Повалит снег, тогда и это все ни к чему. И все заставлял старшую дочурку бегать к отаре — узнавать, не начался ли окот.

А с навозом и того хуже. Тут его было столько, что за полгода не вынести. Когда под хорошей крышей лежит сухой, утрамбованный овечий навоз, то работать с ним даже приятно. Слитными, плотными кусками отделяется вырубленный пласт. Его складывают

сушиться большими штабелями. Жар овечьего кизяка приятен и чист, как золото, им и обогреваются чабаны в зимние холода. Но если навоз полежал под дождем или под снегом, как тут, то нет ничего более тяжкого, чем возиться с ним. Каторжная работа. А время не ждало. Ночью, засветив чадящие фонари, продолжали они выносить на носилках эту холодную, липкую, тяжелую, как свинец, грязь. Вот уж вторые сутки.

На задворках навалили уже огромную кучу навоза, а в кошаре оставался еще непочатый край. Торопились очистить хотя бы один угол кошары для ожидавшихся ягнят. Но что значит один угол, когда всей этой большой кошары мало, чтобы поместить всех маток и их приплод — ведь в день будет появляться по двадцать — тридцать ягнят! «Что будет?» — только об этом и думал Танабай, накладывая на носилки навоз, вынося его, затем вновь возвращаясь, и так без конца, до полуночи, до рассвета. Мутило уже. Руки онемели. Да еще и фонари то и дело задувало ветром. Хорошо, сакманщицы не роптали, работали так же, как Танабай и Джайдар.

Прошли сутки, затем еще сутки и еще. А они все носили и носили навоз, затыкали дыры в стенах и в крыше. И ночью однажды, выходя с носилками из кошары, услышал Танабай, как замекал ягненок в загоне и как матка взблеяла в ответ, стуча ногами. «Началось!» — екнуло под сердцем.

— Ты слышала? — обернулся Танабай к жене.

Они разом бросили под ноги носилки с навозом, схватили фонари и побежали в загон.

Зашарили фонари, мигая неверным светом, по отаре. Где он? Вон там, в углу! Матка уже облизывала крохотное, дрожащее тельце новорожденного. Джайдар подхватила ягненка в подол. Хорошо, что вовремя подоспели, а не то так и замерз бы в загоне. Рядом, оказывается, окотилась еще одна матка. Она принесла двойню. Этих положил в подол плаща Танабай. В потугах лежали еще штук пять и сдавленно мычали. Значит, началось. К утру и эти разродятся. Позвали сакманщиц. Стали выводить из загона окотившихся маток, чтобы поместить их в тот угол кошары, что уже был кое-как расчищен.

Постелил Танабай соломы под стену, уложил ягнят, отведавших впервые молозива матерей, прикрыл их

мешком. Холодно. Маток впустил сюда же. И призадумался, закусив губу. А что толку было думать? Оставалось только надеяться, что, может быть, все как-нибудь образуется. Сколько дел, сколько забот... Хоть бы соломы было вдосталь, так и той нет. Ибраим и на это найдет уважительную причину. Скажет, попробуй привезти солому по бездорожью в горы.

Эх, что будет, то будет! Пошел принес банку с разведенными чернилами. Одному ягненку намалевал на спине двойку, а двойняшкам по тройке. Так же пронумеровал и маток. А то потом попробуй разберись, когда они будут здесь кишеть сотнями. Не за горами, страда чабанская началась!

И началась она круто, жестко, как в обороне, когда нечем отбиваться, а танки идут. А ты стоишь в окопе и не уходишь, потому что некуда уходить. Одно из двух — или чудом выстоять в схватке, или умереть.

Стоял Танабай поутру на пригорке перед выгоном отары на пастьбу и молча смотрел по сторонам, словно оценивая свои позиции. Ветхой, никудышной была его оборона. Но он должен был стоять. Уходить ему было некуда. Небольшая извилистая долинка с обмелевшей речушкой теснилась между увалами, за ними поднимались сопки повыше, а за теми — еще выше, в снегу. Чернели над белыми склонами голые каменные скалы, а там, на хребтах, скованных сплошным льдом, лежала зима. Ей было рукой подать сюда. Стоило шевельнуться, скинуть вниз тучи, и утонет долинка во мгле, не разыщешь.

Небо было серое, в серой стылой мути. Ветер поддувал низом. Пустынно было вокруг. Горы, кругом горы. Холодно на душе от тревоги. А в кошаре-развалюшке уже мекали ягнята. Только что отбили из стада еще голов десять подоспевших овец, оставили на окот.

Отара потихоньку ушла добывать себе скудный корм. И там, на выгоне, тоже теперь глаз да глаз нужен. Бывает, что овца не подает никаких признаков, что скоро окотится. А потом — раз, прилегла за кустом и опросталась. Если недоглядеть, застудится на сырой земле ягненок, и тогда он уже не жилец.

Однако застоялся Танабай на пригорке. Махнув рукой, он зашагал к кошаре. Там еще работы невпроворот, надо хоть что-то успеть еще сделать.

Приезжал потом Ибраим, муку привозил — бесстыжие глаза его... А где, говорит, дворцы я вам возьму? Какие были кошары в колхозе, такие и есть. Других нет. До коммунизма пока не дошли.

Танабай едва удержался, чтобы не броситься на него с кулаками.

— При чем тут смешки твои? Я о деле говорю, я о деле думаю. Мне отвечать.

— А я, по-вашему, не думаю? Вы отвечаете за какую-то одну отару, а я за все, за вас, за других, за все животноводство. Думаете, мне легко! — И вдруг, к изумлению Танабая, тот ловкач заплакал, уткнувшись в ладоши, и забормотал сквозь слезы: — Под суд я попаду! Под суд! Нигде ничего не достанешь. Люди не хотят идти даже в сакманщики на время. Убейте, растерзайте меня, ничего я больше не могу. И не ждите от меня ничего. Зря я, зря пошел на это дело...

С тем и уехал, оставив простака Танабая в немалом смущении. Больше его тут и не видели.

Окотилась пока первая сотня маток. В отарах Эшима и Бектая, стоявших выше по долине, окот и не начинался еще, но Танабай уже чувствовал, что надвигается катастрофа. Все они, сколько их было — трое взрослых, не считая старую женщину-сакманщицу, которая теперь постоянно пасла отару, и старшая шестилетняя девочка,— едва успевали принимать ягнят, обтирать их, подсаживать к маткам, утеплять чем придется, выносить навоз, подтаскивать хворост на подстилку. И уже слышны были голодные крики ягнят — им не хватало молока, матки были истощены, и кормить их было нечем. А что ждало впереди?

Закружились круговертью дни и ночи чабанские, наваливалась расплодная — ни вздохнуть, ни разогнуться.

А вчера как напугала их погода! Сильно захолодало вдруг, тучи поползли хмарые, посыпалась жесткая снежная крупа. Потонуло все во мгле, потемнело...

Но вскоре тучи разошлись и стало теплеть. Весной запахло в воздухе, сыростью. «Дай-то бог, может, весна встанет. Только бы уж прочно встала, а то нет ничего хуже, когда пойдет шататься туда-сюда»,— думал Танабай, вынося на вилах с соломой водянистые последы приплода.

И весна пришла, только не так, как ожидал Танабай. Заявилась вдруг ночью с дождем, туманом и снегом. Всей своей мокрой и холодной массой обрушилась на кошару, на юрту, на загон, на все кругом. Вспучилась ручьями и лужами на мерзлой, слякотной земле. Просочилась сквозь гнилую крышу, подмыла стены и пошла затапливать кошару, пробирать ее обитателей дрожью до мозга костей. Всех подняла на ноги. Сбились в кучу ягнята в воде, орали матки, котившиеся стоя. С подхвата крестила весна новорожденных холодной водой.

Засуматошились люди в плащах, с фонарями. Забегал Танабай. Как пара загнанных зверей, метались во тьме большие сапоги его по лужам, по жиже навозной. Хлестали полы плаща крыльями подбитой птицы. Хрипел он, кричал на себя и на других:

— Лом давай скорей! Лопату! Навоз валите сюда! Загораживайте воду!

Надо было хотя бы отвести в сторону вбегавшие в кошару потоки воды. Рубил мерзлую землю, долбил канавы.

— Свети! Свети сюда! Что смотришь!

А ночь никла туманом. Валил снег дождем. И ничем нельзя было этого остановить.

Танабай побежал в юрту. Засветил лампу. Здесь тоже капало отовсюду. Но не так, как в кошаре. Дети спали, и одеяло их намокало. Танабай сгреб детей в охапку, вместе с постелью перетащил их в угол, освобождая в юрте побольше места. Набросил на детей кошму поверх, чтобы одеяло не промокло сверху, и, выбежав, крикнул женщинам в кошару:

— Ягнят тащите в юрту! — и сам побежал туда же.

Но сколько их можно было поместить в юрту? Несколько десятков, не больше. А куда девать остальных? Ох, хоть бы спасти то, что можно...

Вот и утро уже. А хляби небесной — ни конца ни края. Приутихнет немного, и снова то дождь, то снег, то дождь, то снег...

Юрта битком набита ягнятами. Орут не смолкая. Вонь, смрад. Вещи сложили в одно место, в кучу, накрыли брезентом, а сами переселились в палатку к сакманщицам. Дети мерзнут, плачут.

Пришли черные дни чабана. Клянет он свою долю. Кроет всех и вся на свете. Не спит, не ест, бьется из

последних сил среди мокрых с головы до ног овец, среди коченеющих ягнят. А смерть уже косит их в промозглой кошаре. Ей нетрудно было заявиться сюда — входи, где хочешь. Через гиблую крышу, через окна без стекол, через пустые проемы дверей. Заявилась и пошла косить ягнят и ослабевших маток. Выносит чабан синие трупики, по нескольку штук сваливает их за кошарой.

А на улице, в загоне, под дождем и снегом стоят пузатые суягные матки. Им котиться не сегодня-завтра. Бьет их дождь, судорога сводит челюсти. Клочьями обвисает мокрая шерсть, клочьями...

Не хотят уже овцы идти на пастбище. Какой там выпас в такую стужу и мокроту?! Старая сакманщица с мешком на голове гонит их, а они бегут назад, точно им тут рай уготован. Женщина плачет, собирает их, опять гонит, а они опять бегут назад. Танабай выбегает разъяренный. Палкой бы избить этих глупых овец, но ведь они суягны. Зовет других, и все вместе с трудом выпроваживают отару на выпас.

С тех пор как началось это бедствие, Танабай потерял счет времени, счет гибнущему на глазах приплоду. Двойни шли больше и даже тройни. И все это богатство пропадало. Все труды шли прахом. Ягнята появлялись на свет и в тот же день околевали в слякоти и навозной жиже. А те, что оставались, кашляли, хрипели, их поносило, и они загаживали друг друга. Осиротевшие матки орали, бегали, толкались, топтали тех, что лежали в потугах. Во всем этом было что-то противоестественное, чудовищное. Ох, как хотелось Танабаю, чтобы расплодная хоть немного замедлилась! Хотелось кричать этим глупым овцам: «Остановитесь! Не рожайте! Остановитесь!..»

Но они, матки, точно сговорившись, котились одна за другой, одна за другой, одна за другой!..

И поднималась в душе его темная, страшная злоба. Поднималась, застилая глаза черным мраком ненависти ко всему, что творилось здесь, в этой гиблой кошаре, к овцам, к себе, к жизни своей, ко всему тому, ради чего бился он тут как рыба об лед.

Отупение какое-то нашло на него. Дурно становилось от мыслей своих, гнал он их прочь, но они не отступали, лезли в душу, лезли в голову: «Зачем все это? Кому это нужно? Зачем мы разводим овец, если убе-

речь их не можем? Кто виноват в этом? Кто? Отвечай, кто? Ты и такие, как ты сам, болтуны. Мы, мол, все поднимем, догоним, перегоним, слово даем. Красиво говорим. Вот поднимай теперь дохлых ягнят, выноси их. Волоки вон ту матку, что подохла в луже. Покажи себя, какой ты есть...»

И особенно по ночам, хлюпая по колено в грязи и моче овечьей, задыхался Танабай от обидных и горьких дум своих. О эти бессонные ночи расплодной! Под ногами болото раскисшего навоза, сверху льет. Ветер шастает по кошаре, как в поле, задувает фонари. Танабай идет ощупью, спотыкается, на четвереньках лезет, чтобы не подавить новорожденных, находит фонарь, зажигает и в свете его видит свои черные, опухшие руки, вымазанные в навозе и крови.

Давно уже он не видел себя в зеркале. Не знал, что поседел и постарел на много лет. И что отныне старик — имя ему. Не до того, не до себя ему было. Поесть и умыться некогда. Ни себе, ни другим не давал ни минуты покоя. Видя, что дело идет к полной катастрофе, посадил молодую сакманщицу на коня:

— Скачи, найди Чоро. И скажи, чтобы приехал немедленно. А если не приедет, то передай: пусть не показывается мне на глаза!

Прискакала она назад к вечеру, свалилась с седла, посиневшая, промокшая до нитки:

— Больной он, Танаке. Лежит в постели, сказал, что через день-два хоть мертвый, но доберется.

— Чтоб не видеть ему продыху от этой болезни! — ругался Танабай.

Хотела Джайдар одернуть его, но не посмела, нельзя было.

Погода стала проясняться на третий день. Уползли нехотя тучи, поднялся в горы туман. Приутих ветер. Но было уже поздно. Суягные овцы за эти дни отощали до того, что смотреть на них было страшно. Стоит худоба с раздутыми животами на тоненьких ножках. Какие же они матки-кормилицы! А те, что окотились, и ягнята, что еще живы,— многие ли из них смогут дотянуть до лета и поправиться на зеленой траве? Рано или поздно хворь доконает их. А нет — будет хурда: ни шерсти, ни мяса от них...

Только прояснилась погода, другая беда — наледь стала намерзать на землю. Гололеду быть. В полдень,

однако, отпустило. Обрадовался Танабай: может, удастся еще кое-что спасти. Снова пошли в ход лопаты, вилы, носилки. Хоть немного, но надо в кошару ходы проделать, а то ведь ступить шагу нельзя. Недолго, однако, занимались этим. Надо еще кормить сосунков-сирот, подсаживать их к бездетным маткам. Те не даются, не принимают чужих. Ягнята тычутся, просят молока. Холодными ротиками хватают пальцы, сосут. Отгонишь — обсасывают грязные полы плащей. Есть хотят. Бегают вслед плачущей гурьбой.

Хоть плачь, хоть разрывайся на части. Сколько еще можно требовать от этих женщин и от своей маленькой дочки? На ногах едва держатся. Вот уже сколько дней плащи не просыхают на них. Не говорит им ничего Танабай. Один раз только не выдержал. Пригнала старая женщина отару в загон в полдень, хотела помочь Танабаю. Он выскочил глянуть, как там. Глянул — и в жар его кинуло: стоят овцы — шерсть едят друг у друга. Это значит, что отаре уже грозит гибель от голода. Выбежал, накинулся на женщину.

— Ты что, старая! Не видишь? Почему молчишь? Вон отсюда! Гони отару. И не давай останавливаться. Не давай им грызть шерсть. Пусть ходят. Чтобы ни минуты не стояли. А то убью!

А тут еще напасть — матка одна с двойнями стала отрекаться от своих ягнят. Бодает их, не подпускает к себе, ногами бьет. А ягнята лезут, падают, плачут. Такое случается, когда вступает в силу жесточайший закон самосохранения, когда матка инстинктивно отказывается кормить сосунков, чтобы выжить самой, потому что организм ее не в силах питать других. Явление это, как болезнь, заразное. Стоит одной овце показать пример, и все начнут следовать ему. Переполошился Танабай. Выгнали они с дочкой озверевшую от голода матку с ее ягнятами во двор, к загону, и здесь начали заставлять ее кормить своих детенышей. Сначала Танабай сам держал овцу, а дочка подсаживала ягнят. Но матка крутилась, вертелась, отбивалась. Ничего не получалось у девочки.

— Отец, они не могут сосать.

— Могут, ты просто безрукая.

— Да нет же, смотри, они падают.— Она чуть не плакала.

— А ну держи, я сам!

Но сколько там силенок у девочки! Только было подсунул он ягнят к вымени, только было они начали сосать, а овца как рванется — сбила девочку с ног и убежала. Лопнуло терпение Танабая. Залепил он пощечину дочке. Никогда не бил детей, а тут сорвался. Девочка захлюпала носом. А он ушел. Плюнул на все и ушел.

Походил, вернулся, не знал, как попросить прощения у дочки, а она сама прибежала:

— Отец, приняла она их. Мы с мамой подсадили ягнят. Больше она не гонит их.

— Ну вот и хорошо, доченька. Молодец.

И сразу легче стало на душе. И вроде не так уж все плохо. Может быть, еще удастся сберечь, что осталось. Смотри, и погода налаживается! А вдруг да встанет весна по-настоящему и минут черные дни чабана? Снова впрягается он в работу. Работать, работать, работать — только так, только в этом спасение...

Приехал учетчик — парнишка верховой. Наконец-то. Спрашивает, что и как. Хотелось Танабаю послать его к такой-то матери. Да какой с него спрос...

— Где же ты был раньше?

— Как где? По отарам. Не успеваю, я один.

— А как у других?

— Не лучше. Эти три дня покосили много.

— Что говорят чабаны?

— Да что. Ругаются. Иные и разговаривать не хотят. Бектай, так тот погнал меня со двора. Злой ходит, не подступишься.

— Да-а-а. И у меня не было продыху, чтобы добежать до него. Ну, может, вырвусь, съезжу. Ну а ты?

— А что я? Учет веду.

— А помощь нам какая-нибудь будет?

— Будет. Чоро, говорят, вышел. Обоз отправил с сеном, с соломой, с конюшни сняли все — пусть, говорит, лучше лошади подыхают. Да, говорят, обоз застрял где-то, дороги-то вон какие.

— Дороги! А что думали раньше? Вечно у нас так. И с обоза-то этого что толку теперь? Ну, я еще доберусь до них! — грозился Танабай.— Не спрашивай. Иди сам смотри, считай, записывай. Мне теперь все равно! — И, оборвав разговор, пошел в кошару принимать окот. Сегодня еще маток пятнадцать опросталось.

Ходил Танабай, подбирал приплод, смотрит — учетчик бумагу сует ему:

— Подпишите акт о падеже.

Подписал не глядя. Черкнул так, что карандаш сломался.

— До свидания, Танаке. Может, передать что? Скажите.

— Нечего мне сказывать.— Потом все же задержал парнишку.— Заверни к Бектаю. Передай: завтра к обеду как-нибудь выберусь.

Напрасно беспокоился Танабай. Опередил его Бектай. Сам пришел, да еще как пришел...

Той ночью снова потянул ветерок, пошел снег, не очень густо, но к утру припорошил землю набело. Припорошил и овец в загоне, всю ночь простоявших на ногах. Не ложились они теперь. Собьются в кучу и стоят неподвижные и безразличные ко всему. Слишком долго тянулась бескормица, слишком долго боролась весна с зимой.

В кошаре стоял холод. Снежинки падали через размытую дождями крышу, кружились в тусклом свете фонарей и плавно опускались вниз, на стынущих маток и ягнят. А Танабай все толкался среди овец, исполнял службу свою, как солдат похоронной команды на поле боя после побоища. Он уже свыкся со своими тяжелыми мыслями, возмущение перешло в молчаливое озлобление. Колом стояло оно в душе, согнуться не позволяло. Ходил он, чавкая сапогами по жиже, дело свое делал и все вспоминал урывками в эти ночные часы прошлую свою жизнь...

Бегал когда-то он мальчишкой-подпаском. Пасли вместе с братом Кулубаем овец у одного родственника. Прошел год, и оказалось, что работали они только за одни харчи. Надул хозяин. И разговаривать не захотел. Так и ушли они с прохудившимися чокоями на ногах, со своими жалкими котомками за спинами, с пустыми руками. Уходя, Танабай пригрозил хозяину: «Я тебе это припомню, когда вырасту». А Кулубай ничего не сказал. Он был старше лет на пять. Он знал, что этим хозяина не испугаешь. Другое дело самому стать хозяином, скотом обзавестись, землю заиметь. «Буду хозяином — никогда не обижу работника»,— говаривал он уже тогда. С тем они и расстались в том году. Кулубай пошел в пастухи к другому баю, а Та-

набай подался в Александровку, батраком к русскому поселенцу Ефремову. Мужик этот был не очень богатый — пара волов да пара лошадей, свое поле пахотное. Хлеб сеял. Пшеницу свозил на вальцовую мельницу в городишко Аулиэ-Ата. Работал сам с рассвета и до ночи, Танабай у него больше за волами и лошадьми ходил. Строг был, но в справедливости тоже нельзя было отказать. Положенное платил. Тогдашняя киргизская беднота, вечно обираемая своими же сородичами, предпочитала наниматься к русским хозяевам. Выучился Танабай говорить по-русски, побывал вместе с извозом в городишке том Аулиэ-Ата, свет повидал немного. А там революция подоспела. И перевернулось все вверх дном. Пришло время Танабаев.

Вернулся Танабай в аил. Другая жизнь началась. Захватила, понесла, кружа голову. Все пришло сразу — земля, воля, права. Избрали его в батрачком. С Чоро сошелся в те годы. Тот был грамотным, молодежь обучал писать буквы, читать по складам. А Танабаю очень нужна была грамота — как-никак батрачком. Вступил в комсомольскую ячейку. И здесь был заодно с Чоро. И в партию вместе вступали. Все шло своим ходом, беднота наверх выбралась. А когда коллективизация началась, Танабай прикипел к этому делу всей душой. Кому, как не ему, было бороться за новую жизнь крестьянскую, за то, чтобы все стало общее — земля, скот, труд, мечты. Долой кулаков! Крутое, ветреное время зашумело. Днем — в седле, ночью — на заседаниях и собраниях. Составлялись списки кулаков. Баи, муллы, всякие другие богатеи выбрасывались, как сорная трава с поля. Поле нужно было очистить, чтобы поднялись новые всходы. В списке раскулачивания оказался и Кулубай. К тому времени, пока Танабай носился вскачь, пока митинговал да заседал, брат его успел выбиться в люди. Женился на вдове, хозяйство пошло. Скот имел — овец, корову, пару лошадей, кобылу дойную с жеребенком, плуг, бороны и все прочее. На жатву нанимал работников. Нельзя было сказать, что он стал богачом, но и не бедным он был. Крепко жил, крепко работал.

На заседании в сельсовете, когда очередь дошла до Кулубая, Чоро сказал:

— Давайте, товарищи, подумаем. Раскулачивать его или нет. Такие, как Кулубай, пригодились бы и в

колхозе. Ведь он сам из бедняков. Враждебной агитацией не занимался.

По-разному стали говорить. Кто «за», кто «против». Слово осталось за Танабаем. Сидел он нахохлившись, как ворон. Хоть и сводный брат, но брат. Идти надо было против брата. Жили они мирно, хотя и редко виделись. Каждый был занят своим. Сказать: не троньте его, но тогда как с другими быть — у всякого найдется защитник, родственник. Сказать: решайте сами — подумают, что в кусты прячешься.

Люди ждали, что он скажет. И оттого, что они ждали, в нем нарастало ожесточение.

— Ты, Чоро, всегда так! — заговорил он, поднявшись.— В газетах пишут о книжных людях, как их там, энтеллегенты. Ты тоже энтеллегент. Ты вечно сомневаешься, боишься, как бы что не так. А чего сомневаться? Раз есть в списке — значит, кулак! И никакой пощады! Ради Советской власти я отца родного не пожалею. А то, что он брат мой, пусть вас не смущает. Не вы, так я сам раскулачу его.

Кулубай пришел к нему на другой день. Встретил Танабай брата холодно, руки не подал.

— За что же меня кулачить? Разве не мы с тобой ходили в батраках? Разве не нас с тобой прогоняли баи со двора?

— Это теперь не имеет значения. Ты сам стал баем.

— Какой же я бай? Своим трудом все наживал. И то не жалко. Возьмите все. Только зачем в кулаки меня тащить? Побойся бога, Танабай.

— Все равно. Ты враждебный класс. И мы должны ликвидировать тебя, чтобы построить колхоз. Ты стоишь на нашем пути, и мы должны убрать тебя с дороги...

Это был их последний разговор. Вот уже двадцать лет, как они словом не обмолвились. Когда Кулубая выслали в Сибирь, сколько разговоров, сколько пересудов было в аиле!

Всякое болтали. Придумали даже такое, что, мол, когда угоняли Кулубая из аила под конвоем двух верховых милиционеров, то уходил он, опустив голову, никуда не глядя и ни с кем не прощаясь. А когда вышли за аил и пошли по дороге через поля, бросился будто он в пшеницу молодую — то была первая колхозная озимь, и стал-де рвать ее с корнями да топтать и

мять, как зверь в капкане. Конвоиры, мол, насилу сладили с ним и погнали дальше. И, уходя, сказывали, горько плакал он и проклинал Танабая.

Танабай этому не очень-то поверил. «Болтовня вражеская — хотят допечь меня этим. Но черта с два, так уж я и поддался!» — убеждал он себя.

А перед самой косовицей объезжал он однажды поля, любовался — хлеб уродился в тот год на славу, колос перед колосом гордился, и наткнулся на то самое место в пшенице, где бился в отчаянье Кулубай, где топтал он и рвал с корнем молодое жито. Вокруг пшеница стояла стеной, а тут словно быки дрались, все истоптано, изломано, повысохло все, позарастало лебедой. Как увидел это Танабай, так и осадил коня.

— Ах ты, гад! — прошептал он, вскипая злобой.— На колхозный хлеб руку поднял. Значит, ты и есть кулак. А кто же ты больше...

Долго стоял он так здесь на коне, молчаливый и мрачный, с тяжелой думой в глазах, потом развернулся и уехал не оглядываясь. И после долгое время избегал он это злосчастное место, объезжал стороной, пока не выкосили хлеб, пока жнивье на полях не сровнялось с землей под копытами скота.

Мало кто защищал тогда Танабая. Больше осуждали: «Не приведи бог иметь такого брата. Лучше безродным быть». Иные прямо резали это в глаза ему. Да, откровенно говоря, отшатнулись от него тогда люди. Не то чтобы открыто, но когда голосовали его кандидатуру, стали воздерживаться. Так мало-помалу и выбыл он из актива. И все же оправдывал себя тем, что кулаки жгли колхозы, стреляли, а самое главное, что колхоз зажил, дела пошли год от года лучше. Совсем другая жизнь наступила. Нет, не зря все то было тогда.

Вспоминал Танабай все то минувшее до мельчайших подробностей. Словно бы вся жизнь его осталась там, в той удивительной поре, когда колхозы набирали силу. Опять припомнил он песни той поры про «ударницу в красной косынке», припомнил первую колхозную полуторку и то, как стоял он ночью у кабины с красным флагом.

Бродил Танабай ночью по кошаре, служил свою горькую службу и думал свои горькие думы. Отчего же теперь все лезет по швам? А может, ошиблись, не

туда пошли, не той дорогой? Нет, не должно быть так, не должно! Дорога была верная. А что же тогда? Заплутали? Сбились? Когда и как это случилось? Вот ведь и соревнование теперь — записали обязательства, и больше дела нет никому до того, как ты тут, что с тобой. Раньше красные и черные доски были, каждый день сколько разговоров, сколько споров: кто на красной доске, кто на черной — важно это было для людей. Теперь говорят, что это все пройденное, отжившее. А что взамен? Пустые разговоры, обещания. А на деле ничего. Почему так? Кого винить за все это?

Устал Танабай от безысходных дум. Безразличие, отупение охватывало его. Работа валилась из рук. Голова болела. Спать хотелось. Видел, как молодая сакманщица приткнулась к стене. Видел, как слипались ее воспаленные глаза, как она боролась со сном, и как стала медленно сползать, и как потом села на землю и уснула, уронив голову на колени. Не стал ее будить. Тоже прислонился к стене, и тоже стал медленно сползать вниз, и ничего не мог поделать с собой, с той навалившейся на плечи тяжестью, которая клонила и клонила его вниз...

Проснулся он от сдавленного крика и какого-то глухого удара о землю. Испуганно шарахнувшиеся овцы затопали по его ногам. Вскочил, не понимая, в чем дело. Развиднялось уже.

— Танабай, Танабай, помоги,— звала его жена.

К ней подбежали сакманщицы, и он за ними. Смотрит — придавило ее обвалившейся с крыши стропилиной. Соскочил один конец ее с размытой стены, и рухнули стропила под тяжестью гнилой кровли. Сразу сон как рукой сняло.

— Джайдар! — вскрикнул он, подлез плечом под стропилину, поднял рывком.

Джайдар выползла, заохала. Женщины запричитали, стали ощупывать ее. Растолкал их, ничего не соображая от испуга, зашарил Танабай дрожащими руками под фуфайкой жены:

— Что с тобой? Что?

— Ой, поясница! Поясница!

— Ушибло? А ну давайте? — Он скинул мигом плащ, Джайдар положили на него и понесли из кошары.

В палатке осмотрели. Снаружи как будто бы ничего не было. Но пристукнуло крепко. Шевельнуться не могла.

Джайдар заплакала:

— Как же теперь? В такое-то время, а я? Как же теперь вам!

«О боже! — пронеслось в голове Танабая.— Надо радоваться, что жива осталась. А она? Да провались эта работа ко всем чертям! Только бы ты цела была, бедняжка моя...»

Он стал гладить ее по голове.

— Что ты, Джайдар, успокойся! Лишь бы ты встала на ноги. А все остальное ерунда, справимся...

И все они, только теперь придя в себя, стали наперебой уговаривать и успокаивать Джайдар. И ей от этого словно полегчало. Улыбнулась сквозь слезы.

— Ладно уж. Не обижайтесь только, что так случилось. Я не залежусь. Дня через два встану, вот посмотрите.

Женщины принялись готовить ей постель и разжигать огонь, а Танабай пошел обратно в кошару, все еще не веря, что несчастье пронеслось стороной.

Утро открывалось белое, в новом мягком снегу. В кошаре Танабай нашел задавленную стропилиной матку. Давеча они и не заметили ее. Сосунок тыкался мордочкой в соски мертвой овцы. И еще страшней стало Танабаю, и еще радостней, что жена осталась жива. Он взял осиротевшего ягненка, пошел отыскивать ему другую мать. И потом, ставя подпорку под стропилину, подпирая стояком стену, все думал, что надо пойти поглядеть, что там с женой.

Выйдя наружу, он увидел невдалеке стадо овец, медленно бредущих по снегу. Какой-то пришлый чабан гнал их к нему. Что за отара? Зачем он гонит ее сюда? Перемешаются овцы, разве же можно так? Танабай пошел предупредить этого странного чабана, что тот забрел в чужие места.

Подойдя ближе, увидел, что отару гонит Бектай.

— Эй, Бектай, ты, что ли?

Тот ничего не ответил. Молча подгонял к нему отару, лупил овец палкой по спинам. «Да что он так суягных маток!» — возмутился Танабай.

— Ты откуда? Куда? Здравствуй.

— Оттуда, где меня уже нет. А куда, сам видишь.—

Бектай подходил к нему, туго подпоясанный веревкой, с рукавицами, засунутыми на груди под плащ.

Держа палку за спиной, остановился в нескольких шагах, но не поздоровался. Сплюнул зло и зло притоптал плевок в снегу. Вскинул голову. Черный был, обросший бородой, точно приклеенной к его молодому, красивому лицу. Рысьи глаза его смотрели исподлобья с ненавистью и вызовом. Он сплюнул еще раз, судорожно перехватил палку, махнул ею на стадо:

— Бери. Хочешь считай, хочешь нет. Триста восемьдесят пять голов.

— А что?

— Ухожу.

— Как это — ухожу? Куда?

— Куда-нибудь.

— А я при чем?

— При том, что ты мой шеф.

— Ну и что? Постой, постой, ты куда? Ты куда собрался? — Только теперь дошло до Танабая то, что задумал его подшефный чабан. И ему стало душно, горячо от прилившей к голове крови.— Как же так? — промолвил он растерянно.

— А вот так. Хватит с меня. Надоело. Сыт по горло жизнью такой.

— Да ты понимаешь, что ты говоришь? Окот у тебя не сегодня завтра! Как же так можно?

— Можно. Раз с нами так можно, то и нам так можно. Прощай.— Бектай раскрутил палку над головой, закинул ее что есть силы и пошел прочь.

Танабай застыл, онемевший. Слов уже не находил. А тот шагал не оглядываясь.

— Одумайся, Бектай! — Он побежал за ним.— Нельзя так. Подумай сам, что ты делаешь! Ты слышишь!

— Отстань! — Бектай резко обернулся.— Это ты думай. А я хочу жить, как люди живут. Я ничем не хуже других. Я тоже могу работать в городе, получать зарплату. Почему я должен пропадать здесь с этими овцами? Без кормов, без кошары, без юрты над головой. Отстань! И иди расшибайся в доску, утопай в навозе. Ты посмотри на себя, на кого ты стал похож. Подохнешь здесь скоро. А тебе еще мало этого. Призывы еще бросаешь. Хочешь и других за собой потянуть. Дудки! Довольно с меня! — И он зашагал, топча бе-

лый нетронутый снег с такой силой, что следы его мигом чернели, наливаясь водой...

— Бектай, ты послушай меня! — догнал его Танабай.— Я тебе все объясню.

— Другим объясняй. Ищи дураков!

— Остановись, Бектай. Поговорим.

Тот уходил, не желая слушать.

— Под суд попадешь!

— Лучше под суд, чем так! — огрызнулся Бектай и больше не оборачивался.

— Ты дезертир!

Тот все шагал.

— Таких на фронте расстреливали!

Тот все шагал.

— Стой, говорю! — Танабай схватил его за рукав. Тот вырвал руку и пошел дальше.

— Не позволю, не имеешь права! — Танабай крутанул его за плечо, и вдруг белые сопки вокруг поплыли в глазах и померкли в дыму. Неожиданный удар под челюсть свалил его с ног.

Когда он поднял кружившуюся голову, Бектай уже скрылся за пригорком.

Уходила за ним одинокая цепочка темных следов.

— Пропал парень, пропал,— застонал Танабай, поднявшись на четвереньки. Встал. Руки были в грязи и снегу.

Отдышался. Собрал бектаевскую отару и понуро погнал к себе.

17

Двое всадников выезжали из аила, направляясь в горы. Один на буланом коне, другой — на гнедом. Хвосты их коней были подвязаны тугими узлами — путь предстоял далекий. Грязь, перемешанная со снегом, чавкала, разлеталась из-под копыт брызгами и комьями.

Гульсары шел на тугих поводьях напористой поступью. Настоялся иноходец, пока хозяин болел дома. Но сейчас на нем ехал не хозяин, а кто-то незнакомый в кожаном пальто и распахнутом брезентовом плаще поверх пальто. От его одежды попахивало краской и резиной. Чоро ехал рядом, на другом коне. Это слу-

чалось — уступал иноходца товарищу, приехавшему из района. А Гульсары, собственно, было все равно, кто на нем сидел. С тех пор как его взяли из табуна, от прежнего хозяина, много людей ездило на нем. Разных людей — добрых и недобрых. Удобных и неудобных в седле. Попадал и в руки лихачей. Ох и дурные же они на коне! Разгонит такой вовсю и вдруг осадит удилами, поднимет на дыбы и снова разгонит, снова осадит намертво. Сам не знает, что вытворяет, только чтобы все видели, что он на иноходце. Ко всему уже привык Гульсары. Ему лишь бы не стоять на конюшне, не томиться. В нем все еще жила прежняя страсть — бежать, бежать и бежать. А кого он везет, ему все равно было. Это седоку было не все равно, на каком коне он ехал. Буланого иноходца подали — значит, уважают, боятся его. Силен, красив Гульсары. Покойно и надежно на нем седоку.

В этот раз на иноходце ехал районный прокурор Сегизбаев, посланный в колхоз уполномоченным. Сопровождал его парторг колхоза — тоже, стало быть, уважение. Молчит парторг, боится небось: дела-то плохи с расплодной в овцеводстве. Очень плохи. Ну и пусть молчит. Пусть боится. Нечего ему лезть с пустыми разговорами, нижестоящие должны робеть перед вышестоящими. Иначе никакого порядка не будет. Есть еще такие, что запросто держатся со своими подчиненными, так потом от этих же самых подчиненных такие щелчки получают, что пыль идет с них, как со старой одежды. Власть — дело большое, ответственное, не каждому по плечу.

Ехал с такими мыслями Сегизбаев, покачиваясь в седле в такт поступи иноходца, и нельзя сказать, чтобы был в дурном расположении духа, хотя направлялся с проверкой к чабанам и знал, что там мало чего приятного увидит. Зима сшиблась с весной, не уступают друг другу, и в этой сшибке больше всех достается овцам — гибнет молодняк, гибнут отощавшие матки, а ничего не поделаешь. Каждый год ведь так. И все об этом знают. Но раз уж его послали уполномоченным — значит, должен он будет кого-нибудь призвать к ответу. И где-то в глубоких потемках своей души он знал еще, что высокий процент падежа в районе ему даже на руку. В конце концов, не он, районный прокурор и всего лишь член бюро райкома, отвечает за положение

дел с животноводством. Первый секретарь — вот кто отвечает. Новый еще, недавно в районе, вот пусть и отдувается. А он, Сегизбаев, посмотрит. И там, наверху, пусть посмотрят, не ошиблись ли, прислав секретаря со стороны. Досадовал Сегизбаев, когда это случилось, не мог смириться, что его обошли. Давно уже он тут в прокурорах, не раз, кажется, доказывал, на что способен. Ну ничего, друзья у него есть, поддержат при случае. Пора, пора ему переходить на партийную работу, засиделся в прокурорском кресле... А иноходец хорош, качается, как корабль, ни грязь, ни слякоть ему нипочем. У парторга-то лошадь уже в мыле, а иноходец только сыреть начал...

А Чоро думал о своем. Выглядел он очень плохо. Желтизна разлилась на изможденном лице, глаза ввалились. Сколько лет мучается с сердцем, и чем дальше, тем хуже и хуже. И мысли его были тяжкие. Да, Танабай оказался прав. Председатель кричит, шумит, а толку от этого нет. Больше пропадает в районе, всегда у него какие-то дела там. Надо бы поставить вопрос о нем на партсобрании, но в районе велят подождать. А чего ждать? Поговаривают, будто Алданов сам хочет уходить, может, потому? Ушел бы уж лучше. И ему, Чоро, тоже пора уходить. Какова от него польза? Вечно болеет. Самансур приезжал на каникулы, тоже советует уходить. Уйти-то можно, а совесть? Самансур парень неглупый, теперь он лучше отца во всем разбирается. Все толкует, как надо вести сельское хозяйство. Учат их хорошим наукам, со временем, может, так оно и станет, как их учат профессора, но пока суд да дело — отец, видно, душу отдаст. И не уйти ему от горя своего никуда. От себя не уйдешь, не скроешься. Да и что скажут люди? Обещал, обнадеживал, завел колхоз в невылазные долги, а сам теперь — на покой? Нет ему покоя, не будет, лучше уж стоять до конца. Придут на помощь, так долго не может быть. Скорей бы уж только. И по-настоящему, а не так, как этот. Судить, говорит, будем за развал! Ну, суди! А дело приговором не поправишь. Едет, насупился, будто там, в горах, одни преступники, а он один борется за колхоз... А ведь ему наплевать на все, так только, вид напускает. Но попробуй скажи.

18

Большие горы стояли в серой мгле. Забытые солнцем, угрюмо темнели они наверху, как обиженные великаны. Весне нездоровилось. Сыро, мутно вокруг.

Бедовал Танабай в кошаре своей. Холодище, духота. Ягнилось сразу по нескольку маток, и некуда было девать ягнят. Хоть криком кричи. Галдеж, блеянье, толкотня. Все хотят есть, все хотят пить и мрут как мухи. А тут еще жена лежит с разбитой поясницей. Хотела встать, но разогнуться не может. Пусть что будет, то будет. Сил никаких уже нет.

Из головы не выходил Бектай, бессильная злоба на него душила Танабая. Не потому, что он ушел — туда ему и дорога, и не потому, что отару свою подкинул, как кукушка яйца свои в чужое гнездо,— в конце концов пришлют кого-нибудь, заберут его овец, а потому, что не сумел ответить Бектаю так, чтобы шкура с него слезла от стыда. Так, чтобы свету белому не возрадовался. Мальчишка! Сопляк! А он, Танабай, старый коммунист, всю жизнь положивший за колхоз, не нашел слов, чтобы достойно ответить ему. Закинул палку чабанскую и ушел, сопляк. Разве думал Танабай когда, что случится такое? Разве он думал когда, что станут смеяться над его кровным делом?

«Хватит!» — останавливал он себя, но через минуту снова возвращался к тем же мыслям.

Вот еще разрешилась одна матка, двойню принесла, хорошенькие ягнята. Только куда их? Вымя у овцы пустое, да и с чего молоку-то быть? Значит, и эти подохнут! Эх, беда, беда! А там вон лежат уже дохлые, закоченелые. Собрал Танабай трупики, пошел выносить. Вбежала запыхавшаяся дочурка.

— Отец, к нам едут начальники.

— Пусть едут,— буркнул Танабай.— Ты иди за матерью присмотри.

Выйдя из кошары, Танабай увидел двух всадников. «О! Гульсары! — обрадовался он. Тенькнула в груди старая струнка.— Сколько не видались! Смотри, как идет, все такой же!» Один был Чоро. А другого, в кожаном пальто, что ехал на иноходце, не узнал! Из района кто-нибудь.

«Ну-ну, подъезжайте. Наконец-то»,— со злорадством подумал он. Тут можно было бы пожаловаться,

выплакать свою долю, но нет, не станет он хныкать, пусть они покраснеют. Разве же можно так! Бросили на погибель, а теперь заявляются...

Танабай не стал ожидать, когда они подъедут, пошел за угол кошары, выбросил мертвых ягнят в кучу. Вернулся не спеша.

Те были уже во дворе. Кони дышали тяжело. Чоро выглядел жалким, виноватым. Знал, что ответ придется держать перед другом. А тот, на иноходце, сердит был, грозен, даже не поздоровался. Вспылил сразу.

— Безобразие! Везде так! Смотри, что тут творится! — возмущался он, обращаясь к Чоро. Потом повернулся к Танабаю: — Что же это ты, товарищ,— кивнул он в ту сторону, куда отнес Танабай мертвых сосунков,— чабан-коммунист, а ягнята дохнут?

— А они, наверное, не знают, что я коммунист,— съязвил Танабай, и вдруг будто сломалась в нем какая-то пружина, и сразу пусто стало на душе, безразлично и горько.

— То есть как? — Сегизбаев побагровел. И замолк.— Социалистические обязательства принимал? — нашелся он наконец, одергивая для острастки голову иноходца.

— Принимал.

— А что там было сказано?

— Не помню.

— Вот потому и дохнут у тебя ягнята! — Сегизбаев ткнул рукояткой камчи опять в сторону и вскинулся на стременах, воодушевившись возможностью проучить дерзкого пастуха. Но сначала он накинулся на Чоро: — Куда вы смотрите? Люди не знают даже свои обязательства. Срывают планы, губят скот! Чем вы занимаетесь здесь? Как воспитываете своих коммунистов? Какой он коммунист? Я вас спрашиваю!

Чоро молчал, опустив голову. Мял в руках поводья уздечки.

— Какой есть,— спокойно ответил за него Танабай.

— Во-во, какой есть. Да ты вредитель! Ты уничтожаешь колхозное добро. Ты враг народа. В тюрьме твое место, а не в партии! Ты смеешься над соревнованием.

— Угу, в тюрьме мое место, в тюрьме,— подтвердил Танабай так же спокойно. И губы его запрыгали,

смеясь от раздирающего приступа бешенства, вспыхнувшего в нем от обиды, от горечи, от всего того, что переполнило чашу его терпения.— Ну! — уставился он на Сегизбаева, силясь унять прыгающие губы.— Что ты еще скажешь?

— Зачем ты так разговариваешь, Танабай? — вмешался Чоро.— Ну зачем? Объясни все толком.

— Вот как! Значит, и тебе надо объяснять? Ты зачем сюда приехал, Чоро? — закричал Танабай.— Ты зачем приехал? Я тебя спрашиваю! Чтобы сказать, что у меня мрут ягнята? Я и сам знаю! Чтобы сказать, что я в дерьме сижу по горло? Я и сам знаю! Что я дураком был всю жизнь, что расшибался в доску ради колхоза? Я и сам знаю!..

— Танабай! Танабай! Опомнись! — Побелевший Чоро спрыгнул с седла.

— Прочь! — оттолкнул его Танабай.— Плевал я на свои обязательства, на всю свою жизнь плевал! Уйди! Мое место в тюрьме! Ты зачем привел этого нового манапа в кожаном пальто? Чтобы измывался он надо мной? Чтобы в тюрьму меня сажал? А ну давай, сволочь, сажай меня в тюрьму! — Танабай метнулся, чтобы схватить что-нибудь в руки, схватил вилы, стоявшие у стены, и кинулся с ними на Сегизбаева.— А ну вон отсюда, сволочь! Убирайся! — И, уже ничего не соображая, замахал вилами перед собой.

Перетрусивший Сегизбаев бестолково дергал иноходца то туда, то сюда, вилы били ошалевшего коня по голове, отскакивали, звеня, и снова обрушивались на его голову. И в ярости своей не понимал Танабай, почему так судорожно дергается голова Гульсары, почему так рвут удила его красную горячую пасть, почему так растерянно и жутко мелькают перед ним выкатившие из орбит глаза коня.

— Уйди, Гульсары, прочь! Дай мне достать этого манапа в коже! — ревел Танабай, нанося удар за ударом по неповинной голове иноходца.

Подоспевшая молодая сакманщица повисла на его руках, пыталась вырвать вилы, но он швырнул ее наземь. Чоро тем временем успел вскочить в седло.

— Назад! Бежим! Убьет! — Чоро бросился к Сегизбаеву, загораживая его от Танабая.

Танабай замахнулся на него вилами, и оба всадника припустили коней прочь со двора. Собака с лаем

преследовала их, цепляясь за стремена, за хвосты коней.

А Танабай бежал вслед, спотыкаясь, хватал на бегу комья глины, швырял вдогонку и, не переставая, орал:

— В тюрьме мое место? В тюрьме! Вон! Вон отсюда! В тюрьме мое место! В тюрьме!

Потом вернулся, все еще бормоча, задыхаясь: «В тюрьме мое место, в тюрьме!» Рядом горделиво, с чувством исполненного долга, шел пес. Он ждал одобрения хозяина, но тот не замечал его. Навстречу, опираясь на палку, ковыляла бледная, перепуганная Джайдар.

— Что ты наделал? Что ты наделал?

— Зря.

— Что зря? Конечно, зря!

— Зря избил иноходца.

— Да ты в уме своем? Ты знаешь, что ты наделал?

— Знаю. Я вредитель. Я враг народа,— проговорил он, борясь с одышкой, потом замолк и, стиснув лицо руками, согнувшись, громко зарыдал.

— Успокойся, успокойся,— просила жена, плача вместе с ним, но он все плакал и плакал, качаясь из стороны в сторону. Никогда еще не видела Джайдар плачущего Танабая...

19

Бюро райкома партии состоялось на третий день после этого чрезвычайного происшествия.

Танабай Бакасов сидел в приемной и ждал, когда его вызовут в кабинет, за дверью которого шел разговор о нем. Много передумал он за эти дни, но все еще не мог решить, виновен он или нет. Понимал, что совершил тяжелый проступок, что поднял руку на представителя власти, но если бы дело было только в этом, то все обстояло бы просто. За свое недостойное поведение он готов был принять любое наказание. Но ведь он, поддавшись порыву гнева, выплеснул на ветер всю свою боль за колхоз, испоганил все свои тревоги и раздумья. Кто ему теперь поверит? Кто его теперь поймет? «А может, все-таки поймут? — вспыхивала у него надежда.— Скажу обо всем: о зиме нынешней, о кошаре и юрте, о бескормице, о бессонных ночах моих, о Бек-

тае... Пусть разберутся. Можно ли так хозяйничать?» И он уже не сожалел, что так получилось. «Пусть накажут меня,— замышлял он,— зато другим, может быть, станет легче. Быть может, после этого оглянутся на чабанов, на житье наше, на наши беды». Но спустя минуту, вспоминая все пережитое, он снова поддавался ожесточению, и каменно сжимал кулаки между коленками, и упрямо твердил себе: «Нет, ни в чем я не виноват, нет!» А потом снова впадал в сомнения...

Здесь же, в приемной, сидел почему-то и Ибраим. «А этому что тут надо? Прилетел, как стервятник на падаль»,— злился Танабай, отворачиваясь от него. И тот помалкивал, вздыхал, поглядывая на поникшую голову чабана.

«Что же они тянут? — ерзая на стуле, думал Танабай.— Чего еще — бить так бить!» Там, за дверями, кажется, все были уже в сборе. Последним, несколько минут тому назад, пришел в кабинет Чоро. Танабай узнал его по налипшим к голенищам сапог шерстинкам. То был желтоватый волос буланого иноходца. «Крепко спешил, видать, пропотел Гульсары до мыла»,— подумал он, но не поднял головы. И сапоги с разводьями конского пота и шерстинками на голенищах, нерешительно потоптавшись возле Танабая, скрылись за дверью.

Долго тянулось время, пока из кабинета не выглянула секретарша:

— Войдите, товарищ Бакасов.

Танабай вздрогнул, встал, оглушенный ударами сердца, и пошел в кабинет под эту несмолкающую канонаду в ушах. В глазах затуманилось. Он почти не различил лиц сидящих здесь людей.

— Садитесь.— Первый секретарь райкома Кашкатаев показал Танабаю на стул в конце длинного стола.

Танабай сел, положил отяжелевшие руки на колени, ждал, когда пройдет туман в глазах. Потом глянул вдоль стола. По правую руку первого секретаря сидел Сегизбаев с надменным лицом. Танабай так напрягся весь от ненависти к этому человеку, что туман, стоявший в его глазах, разом пропал. Лица всех сидевших за столом выступили резко и отчетливо. Самым темным среди всех, темно-багровым, было лицо Сегизбаева и самым бледным, совершенно бескровным — лицо Чоро. Он сидел с самого края, ближе всех

к Танабаю. Худые руки его нервно подрагивали на зеленом сукне стола. Председатель колхоза Алданов, сидевший напротив Чоро, шумно сопел, насупленно поглядывая по сторонам. Он не скрывал своего отношения к предстоящему делу. Другие, видимо, еще выжидали. Наконец первый секретарь оторвался от бумаг в папке.

— Приступим к персональному делу коммуниста Бакасова,— сказал он, жестко нажимая на слова.

— Да, с позволения сказать, коммуниста,— ехидно проронил кто-то с усмешкой.

«Злы! — отметил про себя Танабай.— Пощады от них не жди. А почему я должен ждать пощады? Что я, преступник?»

Он не знал, что в решении его вопроса столкнутся две тайно соперничающие стороны, готовые каждая по-своему использовать этот прискорбный случай. Одна сторона — в лице Сегизбаева и его сторонников — хотела испытать сопротивляемость нового секретаря, проверить, нельзя ли для начала хотя бы прибрать его к рукам. Другая сторона — в лице самого Кашкатаева, который угадывал, что Сегизбаев метит на его место,— обдумывала, как сделать так, чтобы и себя не уронить, и не обострить отношений с этими опасными людьми.

Секретарь райкома зачитал докладную записку Сегизбаева. В докладной были обстоятельно описаны все преступления, учиненные словами и действиями Танабая Бакасова, чабана колхоза «Белые камни». В докладной не было ничего, что Танабай мог бы отрицать, но ее тон, формулировки предъявляемых ему обвинений привели его в отчаяние. Он покрылся испариной от сознания своего полного бессилия перед этой чудовищной бумагой. Докладная Сегизбаева оказалась куда страшнее его самого. Против нее не бросишься с вилами в руках. И все, о чем намеревался Танабай сказать в свое оправдание, рухнуло в один миг, потеряло в его же собственных глазах всякое значение, превратилось в жалкие жалобы пастуха на свои обычные невзгоды. Не глупец ли он? Какая цена его оправданиям перед этой грозной бумагой?! С кем вздумал он сразиться?

— Товарищ Бакасов, признаете вы объективность фактов, изложенных в записке члена бюро товарища

Сегизбаева? — спросил Кашкатаев, закончив читать докладную.

— Да,— глухо отозвался Танабай.

Все молчали. Казалось, все были в страхе от этой бумаги. Алданов удовлетворенно смерил сидящих за столом вызывающим взглядом — видите, мол, что происходит.

— Товарищи члены бюро, если разрешите, я внесу ясность в сущность дела,— решительно заговорил Сегизбаев.— Я хочу сразу предостеречь некоторых товарищей от возможной попытки квалифицировать действия коммуниста Бакасова просто как хулиганский поступок. Если бы это было так, то, поверьте мне, я не стал бы выносить вопрос на бюро: с хулиганами у нас есть другие меры борьбы. И дело, конечно, не в моих оскорбленных чувствах. За мной стоит бюро районного комитета партии, за мной в данном случае, если хотите, стоит вся партия, и я не могу допустить надругательства над ее авторитетом. А самое главное — все это говорит о запущенности нашей политико-воспитательной работы среди коммунистов и беспартийных, серьезных недостатках в идеологической работе райкома. Нам всем еще предстоит ответить за образ мыслей таких рядовых коммунистов, как Бакасов. Нам еще предстоит выяснить, один ли он такой или у него есть единомышленники. Что стоит его заявление: «Новый манап в кожаном пальто!» Оставим в сторону пальто. Но, по Бакасову, выходит, что я, советский человек, партийный уполномоченный,— новый манап, барин, душитель народа! Вот как! Вы понимаете, что это означает, что кроется за такими словами? Думаю, комментарии излишни... Теперь о другой стороне дела. Удрученный крайним неблагополучием с животноводством в «Белых камнях», я в ответ на возмутительные слова Бакасова, якобы забывшего свои социалистические обязательства, назвал его вредителем, врагом народа и сказал, что его место не в партии, а в тюрьме. Признаю — оскорбил его и готов был извиниться перед ним. Но теперь я убедился, что это именно так. И не беру слова свои назад, а утверждаю, что Бакасов — опасный, враждебно настроенный элемент...

Чего только Танабай не пережил, войну прошел с начала до конца, но не подозревал, что сердце мо-

жет кричать таким криком, каким оно кричало сейчас. С этим криком, отдававшимся неумолкающей канонадой в ушах, сердце его падало, вставало, карабкалось, срывалось вниз и снова пыталось встать, но пули били его в упор. «Боже,— стучало в голове Танабая,— куда девалось все, что было смыслом моей жизни, смыслом всей моей работы? Вот уже до чего дожил — стал врагом народа. А я-то страдал за какую-то кошару, за ягнят этих обдристанных, за беспутного Бектая. Кому это нужно!..»

— Напомню еще раз выводы своей докладной записки,— продолжал Сегизбаев, расставляя слова железным порядком.— Бакасов ненавидит наш строй, ненавидит колхоз, ненавидит соцсоревнование, плюет на все это, ненавидит всю нашу жизнь. Это он заявил совершенно открыто в присутствии парторга колхоза товарища Саякова. В его действиях наличествует также состав уголовного преступления — покушение на представителя власти при исполнении им служебных обязанностей. Я прошу правильно понять меня, я прошу санкцию на привлечение Бакасова к судебной ответственности, с тем чтобы по выходе отсюда он был взят под стражу. Состав его преступления полностью соответствует статье пятьдесят восемь. А о пребывании Бакасова в рядах партии, по-моему, и речи не может быть!..

Сегизбаев знал, что запросил слишком, но он рассчитывал на то, что если бюро и не сочтет нужным привлекать Танабая Бакасова к судебной ответственности, то исключение его из партии, во всяком случае, будет обеспечено. Этого требования Кашкатаев уже никак не сможет не поддержать, и тогда его, Сегизбаева, позиции еще больше утвердятся.

— Товарищ Бакасов, что вы скажете о своем поступке? — спросил Кашкатаев, уже приходя в раздражение.

— Ничего. Все уже сказано,— ответил Танабай.— Выходит, я был и остаюсь вредителем, врагом народа. Так зачем же знать, о чем думаю я? Судите сами, вам виднее...

— А вы считаете себя честным коммунистом?

— Теперь этого не докажешь.

— А вы признаете свою вину?

— Нет.

— Вы что, считаете себя умнее всех?

— Нет, наоборот, глупее всех.

— Разрешите, я скажу.— С места встал молодой парень с комсомольским значком на груди. Он был моложе всех, щуплый, узколицый, выглядел еще както по-мальчишески.

Танабай только теперь приметил его. «Крой, мальчик, не жалей,— сказал он ему про себя.— Я тоже был когда-то таким, не жалел...»

И, как вспышку, сверкнувшую в далеких тучах, увидел он то место в пшенице у дороги, где Кулубай рвал и топтал молодое жито. Он увидел это совершенно отчетливо, все разом предстало перед его мысленным взором, и содрогнулся он, закричал в душе беззвучным криком.

Его вернул в себя голос Кашкатаева:

— Говорите, Керимбеков...

— Я не одобряю поступка товарища Бакасова. Считаю, что он должен понести соответствующее партийное взыскание. Но я не согласен и с товарищем Сегизбаевым.— Керимбеков сдерживал в голосе дрожь волнения.— Мало того, я считаю, что надо обсудить и самого товарища Сегизбаева...

— Вот те раз! — оборвал его кто-то.— Это у вас в комсомоле, что ли, порядки такие?

— Порядки у всех одни,— ответил Керимбеков, еще больше волнуясь и краснея. Он запнулся, подбирая слова и превозмогая свою скованность, и вдруг, словно с отчаяния, заговорил хлестко и зло: — Какое вы имели право оскорблять колхозника, чабана, старого коммуниста? Да попробуйте вы назвать меня врагом народа. Вы объясняете это тем, что были крайне удручены состоянием животноводства в колхозе, а вы не предполагаете, что чабан был удручен не меньше вашего? Вы, когда приехали к нему, поинтересовались, как он живет, как идут у него дела? Почему гибнет молодняк? Нет, судя по вашей же записке, вы сразу же начали поносить его. Ни для кого не секрет, как тяжело идет расплодная кампания в колхозах. Я часто бываю на местах, и мне стыдно, неудобно перед своими комсомольцами-чабанами за то, что мы требуем с них, а помощи практической не оказываем. Посмотрите, какие кошары в колхозах, а с кормами как?

Я сам сын чабана. Я знаю, что это такое, когда мрут ягнята. В институте нас учили одному, а на местах все идет по старинке. Душа болит, глядя на все это!..

— Товарищ Керимбеков,— перебил его Сегизбаев.— Не пытайтесь разжалобить нас, чувство — понятие растяжимое. Факты, факты нужны, а не чувства.

— Извините, но тут не суд над уголовным преступником, а разбор дела нашего товарища по партии,— продолжал Керимбеков.— Решается судьба коммуниста. Так давайте же призадумаемся, почему так поступил товарищ Бакасов. Действия его, конечно, надо осудить, но как случилось, что один из лучших животноводов колхоза, каким был Бакасов, дошел до такой жизни?

— Садитесь,— недовольно сказал Кашкатаев.— Вы уводите нас в сторону от существа вопроса, товарищ Керимбеков. Всем тут, по-моему, абсолютно ясно — коммунист Бакасов совершил тягчайший проступок. Куда это годится? Где это видано? Мы никому не позволим накидываться с вилами на наших уполномоченных, мы никому не позволим подрывать авторитет наших работников. Вы бы лучше подумали, товарищ Керимбеков, как наладить дела в комсомоле, чем заниматься беспредметными спорами о душе и чувствах. Чувства чувствами, а дела делами. То, что позволил себе Бакасов, действительно должно насторожить нас, и, конечно, ему нет места в партии. Товарищ Саяков, вы как парторг колхоза подтверждаете всю эту историю? — спросил он у Чоро.

— Да, подтверждаю,— проговорил бледный Чоро, медленно поднимаясь с места.— Но я хотел бы объяснить...

— Что объяснить?

— Во-первых, я попросил бы, чтобы мы у себя в парторганизации обсудили Бакасова.

— Это не обязательно. Проинформируете потом членов парторганизации о решении бюро райкома. Что еще?

— Я хотел бы объяснить...

— Что объяснить, товарищ Саяков? Антипартийное выступление Бакасова налицо. Объяснять тут уже нечего. Вы тоже несете ответственность. И мы вас накажем за развал работы по воспитанию коммунистов. Почему вы пытались уговорить товарища Сегизбаева

не ставить вопрос на бюро? Хотели скрыть? Безобразие! Садитесь!

Начались споры. Директор МТС и редактор районной газеты поддержали Керимбекова. На какой-то момент показалось даже, что им удастся защитить Танабая. Но сам он, подавленный и смятенный, уже никого не слушал. Он все спрашивал себя: «Куда девалось все то, чем я жил? Ведь здесь никому, кажется, и дела нет до всего того, что там у нас в отарах, в стадах. Каким же я дураком был! Жизнь свою извел ради колхоза, ради овец и ягнят. А теперь все это не в счет. Теперь я опасный. Ну и черт с вами! Делайте со мной что хотите — если от этого лучше станет, не буду жалеть. Давайте гоните меня взашей. Мне теперь один конец, кройте, не жалейте...»

Выступил председатель колхоза Алданов. По выражению лица и жестам председателя Танабай видел, что тот кого-то поносит, но кого именно — не доходило до его сознания, пока он не услышал слова: «Кишен... иноходец Гульсары...»

— ...И что вы думаете? — возмущался Алданов. — Он в открытую грозился размозжить мне голову только за то, что мы вынуждены были надеть путы на ноги коню. Товарищ Кашкатаев, товарищи члены бюро, я, как председатель колхоза, прошу избавить нас от Бакасова. Его место действительно в тюрьме. Он ненавидит всех руководящих работников. Товарищ Кашкатаев, за дверью находятся свидетели, которые могут подтвердить угрозы Бакасова в мой адрес. Можно ли будет их пригласить?

— Нет, не надо,— брезгливо поморщился Кашкатаев.— Достаточно и этого. Садитесь.

Потом стали голосовать.

— Внесено одно предложение: исключить из членов партии товарища Бакасова. Кто «за»?

— Одну минутку, товарищ Кашкатаев.— Снова порывисто встал Керимбеков.— Товарищи члены бюро, не совершим ли мы тяжелую ошибку? Есть другое предложение — ограничиться строгим выговором с занесением в личное дело Бакасова и объявить вместе с этим выговор члену бюро Сегизбаеву за оскорбление партийного и человеческого достоинства коммуниста Бакасова, за недопустимый метод работы Сегизбаева как уполномоченного райкома.

— Демагогия! — вскричал Сегизбаев.

— Успокойтесь, товарищи,—сказал Кашкатаев. — Вы находитесь на бюро райкома, а не дома у себя, прошу соблюдать дисциплину.— Теперь все зависело от него, первого секретаря райкома. И он повернул дело так, как и рассчитывал Сегизбаев.— Привлекать Бакасова к уголовной ответственности я не нахожу нужным,— сказал он,— но в партии ему, конечно, не место, в этом товарищ Сегизбаев совершенно прав. Будем голосовать. Кто за исключение Бакасова?

Членов бюро было семь человек. Трое подняли руки за исключение, трое — против. Оставался сам Кашкатаев. Помедлив, он поднял руку «за». Танабай ничего этого не видел. Он узнал решение своей участи, когда услышал, как Кашкатаев обратился к секретарше:

— Запишите в протокол: решением бюро райкома товарищ Бакасов Танабай исключен из членов партии.

«Вот и все!» — сказал про себя Танабай, помертвев.

— А я настаиваю на объявлении выговора Сегизбаеву,— не сдавался Керимбеков.

Можно было и не ставить этого на голосование, отклонить, но Кашкатаев решил, что надо поставить. В этом тоже был свой тайный смысл.

— Кто за предложение товарища Керимбекова? Прошу поднять руки!

Опять три на три. И опять Кашкатаев поднял руку четвертым и спас тем самым Сегизбаева от выговора. «Только поймет ли он, оценит ли эту услугу? Кто его знает... Коварен, хитер».

Люди задвигались на стульях, как бы собираясь уходить. Танабай решил, что все уже кончено, встал и молча, ни на кого не глядя, направился к дверям.

— Бакасов, вы куда? — остановил его Кашкатаев.— Оставьте свой партийный билет.

— Оставить? — Только теперь до Танабая дошло все то, что случилось.

— Да. Положите на стол. Вы теперь не член партии и не имеете права носить его при себе...

Танабай полез за партбилетом. Долго возился в наступившей тишине. Он был там, глубоко, под фуфайкой, под пиджаком, в кожаной сумочке, сшитой руками Джайдар. Сумочку эту Танабай носил на ремешке через плечо. Наконец вытащил наружу, достал

партийную книжицу, нагретую у груди, и положил ее, теплую, пропитанную запахом своего тела, на холодный, полированный стол Кашкатаева. Поежился даже, самому стало холодно. И, опять ни на кого не глядя, стал запихивать сумочку под пиджак, собираясь уйти.

— Товарищ Бакасов,— послышался сзади, из-за стола, сочувствующий голос Керимбекова.— А что вы сами скажете? Ведь вы ничего не сказали здесь. Может быть, вам трудно было? Мы надеемся, что двери для вас назад не закрыты, что рано или поздно вы сможете вернуться в партию. Вот скажите, что вы думаете сейчас?

Танабай обернулся с болью и неловкостью за себя перед этим незнакомым парнем, все еще пытавшимся как-нибудь облегчить свалившееся на его плечи горе.

— Что мне говорить? — промолвил он грустно.— Всех не переговоришь тут. Одно лишь скажу, что не виновен я ни в чем, если даже и поднял руку, если даже и сказал нехорошие слова. Объяснить вам этого не смогу. Вот и все, стало быть.

Наступило гнетущее молчание.

— Хм. Значит, на партию обижаешься? — раздраженно сказал Кашкатаев.— Ну, знаешь, товарищ. Партия тебя на путь истинный наставляет, от суда тебя спасла, а ты еще недоволен, обижаешься! Значит, ты действительно недостоин звания члена партии. И вряд ли двери назад будут тебе открыты!

Вышел Танабай из райкома спокойным на вид. Слишком даже спокойным. И это было скверно. День стоял теплый, солнечный, близился вечер. Люди шли и ехали по своим делам. Детвора бегала на площади у клуба. А Танабаю тошно было смотреть на все и от самого себя было тошно. Скорей отсюда в горы, домой. Пока не случилось с ним еще что-нибудь плохое.

У коновязи рядом с его конем стоял Гульсары. Большой, длинный и сильный, переступил он с ноги на ногу, когда приблизился Танабай, и посмотрел на него спокойно и доверчиво темными глазами. Позабыл уже иноходец, как колотил его Танабай вилами по голове. На то он и конь.

— Забудь, Гульсары, не обижайся,— шепнул иноходцу Танабай.— А у меня беда большая. Очень большая беда,— и всхлипнул, обняв шею коня но сдержался, не заплакал, постыдившись прохожих.

Сел на свою лошадь и поехал домой.

Чоро догнал его за Александровским подъемом. Как только заслышался позади знакомый перестук бегущего иноходца, Танабай обидчиво поджал губы, нахохлился. Оглядываться не стал. Обида за себя темнила душу, темнила глаза. Теперешний Чоро был для него совсем не тем, каким был когда-то прежде. Вот и сегодня — стоило Кашкатаеву повысить голос, и он покорно сел на место, как вышколенный ученик. А что же дальше? Люди верят ему, а он боится сказать правду. Бережет себя, слова выбирает. Кто научил его этому? Пусть Танабай отсталый человек, простой работяга, а ведь он грамотный, все знает, всю жизнь в руководстве ходит. Неужели не видит Чоро, что все это не так, как говорят сегизбаевы и кашкатаевы! Что слова их снаружи красивы, а внутри лживы и пусты. Кого обманывает, ради чего?

Не повернул Танабай головы и тогда, когда Чоро догнал его и поехал рядом, сдерживая разгоряченного иноходца.

— Я думал, Танабай, мы вместе выедем,— сказал он, переводя дыхание.— Хватился, а тебя уже нет...

— Чего тебе? — все так же не глядя на него, бросил Танабай.— Езжай свой дорогой.

— Давай поговорим. Не отворачивайся, Танабай. Поговорим как друзья, как коммунисты,— начал Чоро и осекся на полуслове.

— Я тебе не друг и тем более не коммунист уже. Да и ты давно уже не коммунист. Ты прикидываешься им...

— Ты это серьезно? — спросил Чоро упавшим голосом.

—Конечно, серьезно. Выбирать слова еще не научился. Что, где и как говорить, тоже не знаю. Ну, прощай. Тебе прямо, а мне в сторону,— Танабай свернул коня с дороги и, не оборачиваясь, так и не глянув ни разу в лицо друга, поехал полем, прямиком в горы.

Он не видел, как мертвенно побледнел Чоро, как хотел остановить его, протянув руку, и как потом скорчился, схватился за грудь, и как повалился на гриву иноходца, хватая ртом воздух.

— Плохо мне,— шептал Чоро, корежась от невыносимой боли в сердце.— Ой, плохо мне! — хрипел он,

синея и задыхаясь.— Скорей домой, Гульсары, домой скорей.

Мчал иноходец его к аилу по темной, пустынной степи, пугал коня голос человека, слышалось в нем что-то страшное, жуткое. Прижал Гульсары уши, испуганно фыркая на бегу. А человек в седле мучился, корежился, судорожно вцепившись руками и зубами в гриву коня. Поводья болтались, свисая с шеи бегущего Гульсары.

20

В тот поздний час, когда Танабай был еще в пути к горам, по улицам аила носился верховой, поднимая лай всполошившихся собак.

— Эй, кто там дома? Выходи! — вызывал он хозяев.— На партсобрание давай, в контору.

—А что такое? Почему так срочно?

— Не знаю,— отвечал посыльный.— Чоро зовет. Сказал, чтобы быстрей шли.

Сам Чоро сидел в это время в конторе. Привалившись плечом к столу, согнувшись, задыхаясь, крепко зажимал он пятерней грудь под рубахой. Мычал от боли, кусал губы. Холодная испарина выступила на позеленевшем лице, глаза провалились в орбиты темными ямами. Временами он забывался, и снова казалось ему, что несет его иноходец по темной степи, что хочет он окликнуть Танабая, а тот, бросив на прощание раскаленные, как уголь, слова, не оглядывается. Прожигают сердце слова Танабая, душу прожигают...

Сюда привели парторга под руки из конюшни, после того как отлежался он там немного на сене. Конюхи хотели отвести его домой, но он не согласился. Послал человека сзывать коммунистов и теперь ждал их с минуты на минуту.

Засветив лампу и оставив Чоро одного, сторожиха возилась у печки в передней комнате, иногда заглядывала в приоткрытую дверь, вздыхала, качала головой.

Чоро ждал людей, а время уходило каплями. Горькими, тяжелыми каплями каждую секунду иссякало отпущенное ему на роду время, цену которого он постигал только теперь, прожив немалую жизнь. Не уследил он дней своих и годов, оглянуться не успел, про-

летели они в трудах и заботах. Не все получилось на веку его, не все удалось, как хотелось. Старался, бился, но где-то и отступал, чтобы обойти углы, чтобы не так жестко было ходить. И, однако, не обошел. Приперла его к стене та сила, с которой избегал он сталкиваться, и теперь отходить было некуда, путь кончался. Ах, если бы он пораньше спохватился, если бы пораньше заставил себя прямо смотреть в глаза жизни...

А время убывало горькими, гулкими каплями. Как долго не идут люди, как долго их ждать!

«Только бы успеть,— со страхом думал Чоро.— Только бы успеть все сказать!— Беззвучным, отчаянным криком удерживал он покидавшую его жизнь. Крепился, готовился к последнему бою.— Все расскажу. Как было дело. Как проходило бюро, как исключили Танабая из партии. Пусть знают: я не согласен с этим решением райкома. Пусть знают: я не согласен с исключением Танабая. Скажу все, что я думаю об Алданове. Пусть потом, после меня, заслушают его. Пусть решат коммунисты. О себе расскажу все, какой я есть. О колхозе нашем, о людях скажу... Только бы успеть, скорей бы уж приходили, скорей...»

Первой прибежала жена с лекарствами. Перепугалась, запричитала, заплакала:

— Да ты в уме своем? Да неужто ты не сыт этими собраниями? Пошли домой. Ты посмотри на себя. Боже мой, подумай хоть о себе!

Чоро не хотел слушать. Отмахнулся, запивая лекарство. Зубы стучали о стакан, вода лилась на грудь.

— Ничего, мне лучше уже,— проговорил он, пытаясь дышать ровней.— Ты подожди там, уведешь меня потом. Не бойся, иди.

И когда послышались с улицы шаги людей, Чоро выпрямился за столом, подавил в себе боль, собрал все силы, чтобы выполнить то, что он считал своим последним долгом.

— Что случилось? Что с тобой, Чоро? — спрашивали его.

— Ничего. Скажу сейчас, пусть подойдут все,— отвечал он.

А время убывало горькими, гулкими каплями.

Когда коммунисты собрались, парторг Чоро Саяков встал из-за стола, снял шапку с головы и объявил партсобрание открытым...

21

Вернулся Танабай к себе ночью. Джайдар вышла во двор с фонарем. Ждала, глаза проглядела.

И с первого взгляда поняла она, какая беда стряслась с мужем. Он молча разнуздывал коня, расседлывал, а она светила ему, и он ничего ей не говорил. «Хоть бы напился в районе, может, легче было бы ему»,— подумала она, а он все молчал, и страшно становилось от его молчания. А она-то собиралась порадовать его — корма подвезли немного, соломы, муки ячменной, и теплее стало, ягнят выгоняли на пастьбу, травку щиплют уже.

— Бектаевскую отару забрали. Нового чабана прислали,— сказала она.

— А хрен с ним, с Бектаем, с отарой, с чабаном твоим...

— Устал?

— Чего устал? Из партии выгнали!

— Да потише ты, сакманщицы услышат.

— Чего тише? Что мне скрывать? Выгнали как последнюю собаку, и все. Так мне и надо. И тебе тоже так и надо. Мало нам. Ну чего стоишь? Чего смотришь?

— Иди отдыхай.

— Сам знаю.

Танабай пошел в кошару. Осмотрел овец. Потом пошел в загон, там тоже побродил впотьмах и снова вернулся в кошару. Места себе не находил. От еды отказался и разговаривать отказался. Плюхнулся на солому, сваленную в углу, и лежал неподвижно. Жизнь, заботы, тревоги всякие потеряли смысл. Уже ничего не хотелось. Не хотелось жить, не хотелось думать, не хотелось видеть ничего вокруг.

Ворочался, хотел уснуть, хотел забыться, но где там, куда уйдешь от себя? Снова припоминал, как уходил Бектай, как оставались за ним черные следы на белом снегу, как нечего ему было сказать в ответ, снова представлял себе, как орал Сегизбаев, сидя на иноходце, как поносил его последними словами, как грозил засадить его в тюрьму, как предстал Танабай на бюро райкома вредителем и врагом народа, и на этом кончалось все, вся его жизнь. И снова хотелось ему схватить вилы и броситься с криком, бежать в

ночь, истошно орать на весь свет, пока не свалится куда-нибудь в овраг и не свернет там себе шею.

Засыпая, он думал, что лучше умереть, чем так жить. Да, да, лучше смерть!..

Проснулся с тяжелой головой. Несколько минут не мог сообразить, где он и что с ним. Рядом перхали овцы, блеяли ягнята. Значит, в кошаре он. Брезжил рассвет на дворе. Зачем он проснулся? Зачем? Лучше бы не просыпался совсем. Умереть осталось только, надо покончить с собой...

...Потом он пригоршнями пил воду из речки. Холодную, студеную воду с тонким, хрустящим ледком. Вода с шумом протекала между дрожащими пальцами, а он снова черпал ее и пил обливаясь. Отдышался, пришел в себя и только тогда представил себе всю нелепость этой затеи с самоубийством, всю глупость этой расправы над собой. Да как можно лишить себя жизни, которая единожды дается человеку?! Да разве сегизбаевы стоят того? Нет, Танабай будет еще жить, он еще будет горы ворочать!

Вернувшись, он незаметно спрятал ружье, патронташ и весь тот день усердно работал. Поласковей хотелось ему быть с женой, с дочками, с сакманщицами, но сдерживал себя, чтобы женщины ничего не заподозрили. А те работали как ни в чем не бывало, точно ничего особенного не случилось, все было в порядке. Благодарен им был Танабай за это, помалкивал и работал. Сходил на выпас, помог пригнать отару домой.

Вечером погода испортилась. Дождь или снег, но что-то будет. Затуманились горы вокруг, небо отяжелело в тучах. Опять надо было думать, как уберечь молодняк от холода. Опять надо было расчищать кошару, стелить солому, чтобы снова не начался мор. Мрачнел Танабай, но старался забыть, что было, и не падать духом.

Стемнело уже, когда во дворе появился приезжий всадник. Встретила его Джайдар. Они о чем-то поговорили. Танабай в это время работал в кошаре.

— Выйди на минутку,— позвала его жена.— Человек к тебе.— И уж по тому, как позвала она, он почувствовал что-то недоброе.

Вышел. Поздоровался. То был чабан из соседнего урочища.

— Это ты, Айтбай? Слезай с коня. Откуда?

— Из аила. Был я там по делам. Просили передать тебе: Чоро тяжело болен. Сказали, чтобы ты приехал.

«Опять этот Чоро!» Вспыхнула угасшая было обида. Видеть его не хотелось.

— А что я, доктор? Он всегда болеет. У меня тут и без него забот по горло. Погода вон портится.

— Ну, дело твое, Танаке, поедешь не поедешь, сам знаешь. А я передал, что просили. До свидания. Мне пора, ночь скоро.

Айтбай тронул лошадь, но затем придержал.

— Ты подумай все же, Танаке. Плохо ему. Сына вызвали с учебы. Поехали встречать на станцию.

— Спасибо, что передал. Но я не поеду.

— Поедет,— застыдилась Джайдар.— Не беспокойтесь, поедет он.

Танабай промолчал, а когда Айтбай выехал со двора, сказал жене зло:

— Ты брось эту привычку отвечать за меня. Я сам знаю. Сказал, не поеду — значит, не поеду.

— Подумай, что ты говоришь, Танабай!

—Мне нечего думать. Хватит. Додумался до того, что выгнали из партии. Нет у меня никого. И я если заболею, пусть никто не приезжает. Подохну один! — Он махнул в сердцах рукой и пошел в кошару.

Но покоя на душе не было. Принимая роды у маток, таская ягнят, устраивая их в углу, цыкая на орущих овец, расталкивая их, чертыхался и бурчал:

— Давно бы ушел, не страдал бы так. Всю жизнь болеет, стонет, за сердце хватается, а сам с седла не слазит. Тоже мне начальник. Видеть тебя не желаю после этого. Обижайся не обижайся, а я тоже в обиде. И никому нет дела...

На дворе стояла ночь. Снег стал сыпать понемногу, и тишина вокруг была такая чуткая, что слышно было даже, как с шорохом падали на землю редкие снежинки.

Танабай не шел в юрту, избегал разговора с женой, и она не приходила. «Ну и сиди,— думал он.— А поехать меня не заставишь. Мне теперь все безразлично. Мы с Чоро чужие люди. У него своя дорога, у меня своя. Были друзьями, а теперь не то. А если я друг его, то где он был раньше? Нет, мне теперь все безразлично...»

Джайдар все же пришла. Принесла ему плащ, сапоги новые, кушак, рукавицы, шапку, которую он надевал при выездах.

— Одевайся,— сказала она.

— Напрасно стараешься. Я никуда не поеду.

— Не теряй времени. Может случиться, что потом всю жизнь будешь жалеть.

— Ничего я не буду жалеть. И ничего с ним не случится. Отлежится. Не первый раз.

— Танабай, никогда я тебя ни о чем не просила. А сейчас прошу. Отдай мне свою обиду, отдай мне свое горе. Поезжай. Будь человеком.

— Нет.— Танабай упрямо мотнул головой.— Не поеду. Мне теперь все безразлично. Ты думаешь о приличии, о долге. Что люди скажут? А я теперь знать ничего не хочу.

— Одумайся, Танабай. Я пойду пока присмотрю за огнем, как бы не упали угли на кошму.

Она ушла, оставив его одежду, но он не тронулся с места. Сидел в углу, не мог переломить себя, не мог забыть тех слов, которые он говорил Чоро. А теперь «Здравствуйте, проведать явился, как здоровье? Не помочь ли чем?» Нет, не сможет он так, не в его это правилах.

Джайдар вернулась.

— Ты еще не оделся?

— Не надоедай. Сказал: не поеду...

— Встань! — гневно вскрикнула она. И он, к удивлению своему, встал по ее приказу, как солдат. Она шагнула к нему, глядя в тусклом свете фонаря исстрадавшимися, возмущенными глазами.— Если ты не мужчина, если ты не человек, если ты баба слюнявая, то я поеду за тебя, а ты оставайся нюни разводи! Я поеду сейчас же. Иди седлай немедленно коня!

И он, повинуясь ей, пошел седлать лошадь. На дворе порошил снег. Тьма, казалось, кружилась вокруг бесшумной, медленной каруселью, как вода в глубокой заводи. Горы не различишь — темно. «Вот еще наказание! Куда она теперь одна среди ночи? — думал он, набрасывая впотьмах седло.— И не отговоришь. Нет. Не откажется. Убей, не откажется. А если собьется с пути? Ну, пусть пеняет на себя...»

Седлал Танабай коня, и самому стыдно становилось: «Зверь я, больше никто. Одурел от обиды. Вы-

ставляю ее напоказ,— смотри, какой я несчастный, как мне плохо. И жену извел. А она-то при чем? За что ее терзаю? Не видать мне добра. Никудышный я человек. Зверь, и только».

Заколебался Танабай. Нелегко было отступиться от своих слов. Пошел назад, набычившись, опустив глаза.

— Оседлал?

— Да.

— Ну так собирайся.— И Джайдар подала ему плащ.

Танабай молча стал одеваться, радуясь, что жена первая пошла на мировую. И все же для вида покуражился:

—А может, с утра поеду?

— Нет, отправляйся сейчас. Будет поздно.

Ночь кружилась в горах тихой заводью. Плавно и мягко оседали большие хлопья последнего весеннего снега. Один среди темных склонов ехал Танабай на зов отвергнутого им друга. Снег налипал на голову, на плечи, на бороду и руки. Танабай сидел в седле неподвижно, не отряхивая его. Так ему было лучше думать. Думал он о Чоро, обо всем том, что связывало их долгие годы, когда Чоро учил его грамоте, когда они вступали в комсомол, а потом и в партию. Вспомнил, как они работали вместе на стройке канала и как Чоро первый принес ему газету с заметкой о нем и с фотографией, первый поздравил, пожал руку.

Смягчался душой Танабай, оттаивал, и его охватывало щемящее чувство беспокойства: «Как он там? А может, и правда ему очень плохо? А то зачем бы вызывать сына? Или сказать хочет что? Посоветоваться?..»

Уже светало. Снег все так же кружил. Танабай заторопил коня, погнал рысью. Скоро за теми вон буграми, в низине,— аил. Как там Чоро? Быстрее бы.

И вдруг в тишине утра донесся смутный, далекий голос со стороны аила. Всплеснул чей-то крик и оборвался, замер. Танабай осадил коня, подставил ухо по ветру. Нет, ничего не слышно. Наверное, это так показалось.

Конь вынес Танабая на бугор. Внизу перед ним среди белых, заснеженных огородов, среди голых садов лежали улицы аила, еще безлюдные в эту раннюю

пору. Нигде никого. И только у одного двора толпилась черная куча народа, у деревьев стояли оседланные лошади. Это был двор Чоро. Почему так много собралось там люда? Что случилось? Неужели...

Приподнявшись на стременах, Танабай судорожно глотнул колючий ком холодного воздуха и замер, и сейчас же погнал коня вниз по дороге. «Не может быть! Как же так? Не может быть!» На душе у него стало так скверно, словно бы он был виновен в том, что там, наверное, случилось. Чоро, единственный его друг, просил приехать на последнее свидание перед вечной разлукой, а он артачился, упрямствовал, тешил свою обиду. Да кто же он после этого? Почему жена не плюнула ему в глаза? Что может быть на свете уважительнее последней просьбы умирающего человека?

Опять перед Танабаем встала та дорога в степи, на которой догнал его на иноходце Чоро. Что он ему тогда ответил? Да разве можно простить себе это?

Как в бреду, ехал Танабай по снежной улице, сгибаясь под тяжестью своей вины и стыда, и вдруг увидел впереди, за двором Чоро, большую группу конных. Они приближались молчаливой кучей и вдруг все разом громко заголосили в один голос, раскачиваясь в седлах:

— Ойбай, баурымай! Ойбайай, баурым! [1]

«Казахи приехали»,— догадался Танабай и понял, что надеяться уже не на что. Соседние казахи, прибывшие из-за реки, оплакивали Чоро как брата, как соседа, как человека, близкого им и известного во всей округе. «Спасибо вам, братья,— подумал в ту минуту Танабай.— От дедов и отцов — в беде и горестях вместе, на свадьбах и скачках вместе. Плачьте, плачьте вместе с нами!»

И сам вслед за ними огласил утренний аил истошным, надсадным криком:

—Чоро-о-о! Чоро-о-о! Чоро-о-о!

Он рысил на коне, свисая с седла то на левую, то на правую сторону, и рыдал по своему ушедшему из этого мира другу.

---

[1] Ойбайай, баурымай! — траурный крик, оплакивание умершего.

Вот уже двор, вот стоит возле дома Гульсары в траурной попоне. Оседает снег на него и тает. Остался иноходец без хозяина. Стоять ему с пустым седлом.

Танабай припадает к гриве коня, подымается и снова припадает. Вокруг — едва различимые, как в тумане, лица людей, плач. Он не слышал, как кто-то сказал:

— Снимите Танабая с седла. Подведите к сыну Чоро.

Несколько пар рук протянулись к нему, помогли слезть с коня, повели его под руки через толпу.

— Прости меня, Чоро, прости! — плакал Танабай.

Во дворе лицом к стене дома стоял сын Чоро, студент Самансур. Он повернулся к Танабаю в слезах, они обнялись, плача.

— Нет твоего отца, нет моего Чоро! Прости меня, Чоро, прости! — захлебываясь, рыдал Танабай.

Потом их развели. И тут Танабай увидел рядом с собой среди женщин ее, Бюбюжан. Она смотрела на него и молча лила слезы. Танабай зарыдал еще сильнее.

Плакал за все, за все утраты, за Чоро, за вину свою перед ним, за то, что не мог вернуть назад те слова, которые бросил ему по дороге, плакал за нее, что стояла теперь рядом, как чужая, за ту любовь, за ту грозовую ночь, за то, что оставалась она одинокой, и за то, что старела она уже, плакал за иноходца своего Гульсары, стоящего в траурной попоне, за обиды свои и муки, за все то, что было не выплакано.

— Прости меня, Чоро, прости! — повторял он. И тем самым как бы просил прощения у нее.

Ему хотелось, чтобы Бюбюжан подошла и утешила его, чтобы она утерла ему слезы, но она не подходила. Она стояла и плакала.

Утешали его другие:

— Довольно, Танабай. Слезами не поможешь, успокойся.

И от этого ему было еще горше и больнее.

22

Хоронили Чоро после полудня. Мутный диск солнца бледно просвечивал сквозь блеклые слои неподвижных туч. Все еще плавали в воздухе мягкие влажные хло-

пья снега. По белому полю черной молчаливой рекой тянулась похоронная процессия. Эта река словно бы возникла здесь внезапно и словно бы впервые прокладывала себе русло. Впереди на машине с откинутыми бортами везли усопшего Чоро, туго и глухо запеленатого в белую погребальную кошму. Возле сидели жена, дети, родственники. Все другие следовали верхом на лошадях. Двое шли за машиной пешком — сын Самансур и Танабай, ведший на поводу коня покойного друга, иноходца Гульсары, с пустым седлом.

Дорога за околицей была в мягком ровном снегу. Широкой и темной, изрытой копытами коней полосой следовала она затем по пятам процессии. Она словно бы отмечала последний путь Чоро. Путь выводил к холму, на кладбище. И здесь оканчивался для Чоро уже безвозвратно.

Вел Танабай иноходца на поводу и говорил ему про себя: «Вот, Гульсары, лишились мы с тобой нашего Чоро. Нет его, не стало... Что ж ты тогда не крикнул мне, не остановил меня? Не дал бог тебе языка. А я хоть и человек, а оказался хуже тебя, коня. Бросил друга на дороге, не оглянулся, не одумался. Убил я Чоро, убил его словом своим...»

Всю дорогу до самого кладбища Танабай вымаливал у Чоро прощение. И на могиле, спустившись в яму вместе с Самансуром, он говорил Чоро, укладывая его тело на вечное ложе земное:

— Прости меня, Чоро. Прощай. Слышишь, Чоро, прости меня!..

Падала в могилу брошенная горстями земля, потом она посыпалась потоками с разных сторон, уже с лопат. Наполнила яму и выросла свежим бугром на холме.

Прости, Чоро!..

После поминок Самансур отозвал Танабая в сторону:

— Танаке, дело у меня к вам, поговорить нам надо.

И они пошли через двор, оставив людей, дымящие самовары и костры. Вышли на зады в сад. Пошли вдоль бровки арыка, остановились за огородом, у сваленного дерева. Сели на него. Помолчали, каждый думал о своем. «Вот она, жизнь-то,— размышлял Та-

набай,— мальчишкой знал Самансура, а теперь вон какой стал. Повзрослел от горя. Теперь он вместо Чоро. Теперь мы с ним как равный с равным. Так оно и должно быть. Сыновья заступают на место отцов. Сыновья род продолжают, дело продолжают. Дай-то бог стать ему таким же, как отец. Да чтобы дальше пошел, чтобы разумом и умением выше нас поднялся, чтобы счастье творил себе и другим. На то мы и отцы, на то мы и рождаем сыновей с надеждой, что будут они лучше нас, в этом вся суть».

— Ты, Самансур, старший в семье,— сказал ему Танабай, по-стариковски оглаживая бороду.— Ты теперь вместо Чоро, и я готов выслушать тебя, как самого Чоро.

— Должен я вам передать, Танаке, наказ отца,— проговорил Самансур.

Танабай вздрогнул, ясно уловив в говоре сына голос и интонации отца, и впервые обнаружил, что он очень похож на отца, на того молодого Чоро, которого сын не знал, но которого знал и помнил Танабай. Не потому ли говорят, что человек не умирает до тех пор, пока живут знавшие его?

— Слушаю тебя, сын мой.

— Я застал отца живым, Танаке. Вчера ночью успел приехать за час до его кончины. Он был в сознании до самого последнего вздоха. А вас, Танаке, он очень ждал. Все спрашивал: «Где Танабай? Не приехал?» Мы его успокаивали, что вы в дороге, что вы вот-вот появитесь. Видно, хотел он вам что-то сказать. И не успел.

— Да, Самансур, да. Нам надо было увидеться. Очень надо было. Век не прощу себе. Это я виноват. Это я не успел.

— Так вот просил он меня передать. Сын, говорит, скажи Танаке моему, что прощения прошу у него, скажи, чтобы обиду не держал в душе и чтобы он сам отвез мой партбилет в райком. Пусть, говорит, Танабай собственноручно сдаст мой билет — не забудь, передай. Потом забылся. Мучился. И, умирая, смотрел так, точно ждал кого-то. И плакал, слов уже было не разобрать.

Танабай ничего не отвечал. Всхлипывая, теребил бороду. Ушел Чоро. Унес с собой половину Танабая, часть жизни его унес.

— Спасибо, Самансур, за слова твои. И отцу твоему спасибо,— промолвил наконец Танабай, беря себя в руки.— Одно лишь меня смущает. Ты знаешь, что меня исключили из партии?

— Знаю.

— Как же я, исключенный, повезу партбилет Чоро в райком? Не имею я на то права.

— Не знаю, Танаке. Решайте сами. А я должен выполнить предсмертную волю отца. И буду вас просить сделать так, как хотел он, покидая нас.

— Я бы от души рад. Но такая беда приключилась со мной. А не лучше, если ты сам отвезешь, Самансур?

— Нет, не лучше. Отец знал, что просил. Если он вам верил, то почему я не должен вам доверять? Скажите в райкоме, что такой был наказ отца моего, Чоро Саякова.

Еще затемно, ранним утром, выехал Танабай из аила. Гульсары, славный иноходец Гульсары, в беде и радостях одинаково надежный конь,— Гульсары бежал под седлом, дробя копытами мерзлые комья дорожной колеи. В этот раз он вез Танабая, ехавшего с особым поручением умершего друга его, коммуниста Чоро Саякова.

Впереди, над невидимыми краями земли, медленно наливался рассвет. В чреве рассвета нарождалась новая заря. Она разрасталась там, внутри серой мглы...

Иноходец бежал туда, к рассвету, к одинокой и яркой звезде, еще не угасшей на небосклоне. Один по пустынной гулкой дороге выбивал он рокочущую дробь ходкой иноходи. Давно не доводилось Танабаю ездить на нем. Бег Гульсары по-прежнему был стремителен и прочен. Ветер пластал гриву, дул седоку в лицо. Хорош был Гульсары, в доброй силе был еще конь.

Всю дорогу Танабай раздумывал, терялся в догадках, почему именно ему, Танабаю, изгнанному из партии, Чоро наказал перед смертью отвезти в райком свой партбилет. Чего он хотел? Или испытать думал? А может, хотел тем самым сказать о своем несогласии с исключением Танабая из партии? Теперь этого никогда не узнаешь, не выпытаешь. Никогда больше ничего не скажет он. Да, есть такие слова страшные: «Никогда больше!» Дальше и слов уже нет...

И опять нахлынули разные мысли, снова ожило все то, что хотел забыть, оторвать от себя навсегда. Нет, оказывается, еще не все кончено. С ним, при нем еще последняя воля Чоро. Он придет с его партбилетом и поведает о нем, о Чоро, все как есть, расскажет, каким был Чоро для людей, каким был для него. И о себе расскажет, потому что Чоро и он — пальцы одной руки.

Пусть узнают, какими они были тогда, в молодости, какую жизнь они прожили. И может быть, поймут, что не заслуживает он, Танабай, чтобы отлучали его от Чоро ни при жизни, ни после. Только бы выслушали его, только бы дали высказаться!

Танабай представил себе, как он войдет в кабинет секретаря райкома, как он положит ему на стол партбилет Чоро и как расскажет обо всем. Признает свою вину, извинится, только бы вернули его в партию, без которой жить ему плохо, без которой не мыслит он самого себя.

А что, если скажут: какое он, исключенный из партии, имеет право приносить партийный документ? «Не должен был ты прикасаться к партбилету коммуниста, не должен был ты браться за это дело. И без тебя нашлись бы другие». Но ведь такова была предсмертная воля самого Чоро! Так он завещал при всех, умирая. Это может подтвердить его сын, Самансур. «Ну и что же, мало ли что может сказать человек при смерти, в бреду, забытьи?» Что тогда он ответит?

А Гульсары бежал по звонкой, смерзшейся дороге и, минуя степь, уже выходил к Александровскому спуску. Быстро домчал Танабая иноходец. Не заметил даже, как приехал.

Рабочий день в учреждениях только начинался, когда Танабай приехал в райцентр. Нигде не задерживаясь, он направил взмокшего иноходца прямо к райкому, привязал его у коновязи, стряхнул с себя пыль и пошел с бьющимся от волнения сердцем. Что ему скажут? Как его встретят? В коридорах было пусто. Не успели еще понаехать из аилов. Танабай прошел в приемную Кашкатаева.

— Здравствуйте,— сказал он секретарше.

— Здравствуйте.

— Товарищ Кашкатаев у себя?

— Да.

— Я к нему. Я чабан из колхоза «Белые камни». Моя фамилия Бакасов,— начал он.

— Как же, знаю вас,— усмехнулась она.

— Так вот, скажите ему, что парторг наш Чоро Саяков умер и при смерти просил меня отвезти его партбилет в райком. Вот я и приехал.

— Хорошо. Обождите минутку.

Не так уж долго пробыла секретарша в кабинете Кашкатаева, но Танабай перемучился, места себе не находил, дожидаясь ее.

— Товарищ Кашкатаев занят,— сказала она, плотно прикрывая за собой дверь.— Он просил передать билет Саякова в сектор учета. Это там, направо по коридору.

«Сектор учета... направо по коридору». Что это? — не соображал Танабай. Потом понял все разом и разом упал духом. Как же так? Неужели все так просто? А он-то думал...

— У меня к нему разговор. Прошу вас, пойдите скажите ему. Важный разговор у меня.

Секретарша неуверенно пошла в кабинет и, вернувшись, снова сказала:

— Занят он очень.— И потом добавила от себя сочувственно: — Разговор-то ведь с вами окончен.— И еще тише сказала: — Не примет он вас. Лучше уезжайте.

Пошел Танабай по коридору, завернул направо. Надпись: «Сектор учета». В дверях окошечко. Постучал. Окошечко открылось.

— Что вам?

— Билет привез вам сдать. Умер парторг наш — Чоро Саяков. Колхоз «Белые камни».

Заведующая учетом терпеливо ждала, пока Танабай доставал из-под пиджака кожаную сумочку на ремешке, в которой еще недавно носил свой партбилет и в которой на этот раз привез партбилет Чоро. Передал он книжечку в окошко: «Прощай, Чоро!»

Смотрел, как она писала в ведомости номер партбилета, фамилию, имя, отчество Чоро, год вступления в партию — последняя память о нем. Потом дала ему расписаться.

— Все? — спросил Танабай.

— Все.

— До свидания.

— До свидания.— Окошечко захлопнулось.

Вышел Танабай на улицу. Стал отвязывать поводья иноходца.

— Все, Гульсары,— сказал он коню.— Это все.

И неутомимый иноходец понес его назад, в аил. Большая весенняя степь бежала навстречу с ветром, под рокочущий перестук копыт. Только в беге коня унималась, стихала боль Танабая.

В тот же день вечером вернулся Танабай к себе в горы.

Жена встретила его молча. Взяла коня под уздцы.

Помогла мужу слезть с седла, поддерживая его под руку.

Танабай обернулся к ней, обнял ее, привалился к плечу. Она тоже обняла его, плача.

— Похоронили мы Чоро! Нет его больше, Джайдар. Нет моего друга! — говорил Танабай и еще раз дал волю слезам.

Потом он молча сидел на камне подле юрты. Хотелось побыть одному, хотелось посмотреть на восход луны, которая тихо поднималась из-за зубчатых вершин белого снежного хребта. В юрте жена укладывала детей на ночь. Слышалось, как огонь потрескивал в очаге. Потом запела, хватая за душу, гудящая струна темир-комуза. Будто ветер тревожно завыл, будто бежал человек по полю с плачем и жалобной песней, а все вокруг молчало, затаив дыхание, все безмолвствовало, и только бежал как будто одинокий голос тоски и скорби человеческой. Будто бежал он и не знал, куда приткнуться с горем своим, как утешиться среди безмолвия этого и безлюдья, и никто не откликался. Он и плакал и слушал себя один. Танабай понял, что это жена играет для него «Песню старого охотника»...

...В далекие времена был у старика сын — молодой смелый охотник. Отец сам обучал сына нелегкому делу охотничьему. И тот превзошел его.

Промаха не знал. Ни одна живая тварь не могла уйти от его меткой и смертоносной пули. Перебил он в горах вокруг всю дичь. Маток беременных не жалел, малых детенышей не жалел. Истребил он стадо Серой Козы, первоматери козьего рода. Осталась Серая Коза со старым Серым Козлом, и взмолилась она, обращаясь к молодому охотнику, чтобы тот пожалел старого Козла, не убивал его, чтобы им род свой про-

должить. Но тот не послушался, уложил метким выстрелом громадного Серого Козла. Рухнул Козел со скалы. И тогда запричитала Серая Коза, повернулась боком к охотнику и сказала: «Стреляй мне в сердце. Я с места не стронусь. Но ты не попадешь — это будет твоим последним выстрелом!» Засмеялся молодой охотник над словами выжившей из ума старой Серой Козы. Прицелился. Грянул выстрел. А Серая Коза не упала. Пуля задела ей только переднюю ногу. Испугался охотник — такого еще никогда не случалось. «Ну вот,— обернулась к нему Серая Коза.— А теперь попробуй поймай меня хромую!» Засмеялся в ответ молодой охотник: «Что ж, попробуй уйди. А догоню — пощады не жди. Прирежу тебя, старая, как паршивую хвастунью!»

Стала убегать хромая Серая Коза, охотник — за ней. Много дней и много ночей по скалам, по кручам, по снегам и камням продолжалась эта погоня. Нет, не давалась Серая Коза. Давно уже бросил охотник свое ружье, одежда на нем висела клочьями. И не заметил он, как завела его Серая Коза на неприступные скалы, откуда не было путей ни вверх, ни вниз, откуда ни слезть, ни спрыгнуть нельзя было. Здесь и оставила его Серая Коза и прокляла его: «Отсюда тебе не уйти вовек, и никто тебя не сможет спасти. Пусть твой отец поплачет над тобой, как плачу я по убитым детям своим, по исчезнувшему роду своему. Пусть воет отец твой среди каменных гор, один среди холодных гор, как вою я, старая Серая Коза, первоматерь козьего рода. Проклинаю тебя, Карагул, проклинаю...» С плачем убежала Серая Коза — с камня на камень, с горы на гору.

Остался молодой охотник на головокружительной крутизне. Стоит на узком уступе, прижавшись лицом к стене, боится оглянуться — ни вверх, ни вниз, ни вправо, ни влево не ступить ему. Ни неба не видно, ни земли не видно.

А отец тем временем искал его повсюду. Облазил все горы. И когда нашел на тропе брошенное им ружье, понял, что с сыном стряслось несчастье. Побежал он по скалистым ущельям, по темным теснинам. «Карагул, где ты? Карагул, отзовись!» А в ответ ему каменные горы грохотали каменным хохотом, отвечали его же словами: «...Где ты, Карагул? Отзовись!..»

«Здесь я, отец!» — вдруг донесся до него голос откуда-то с высоты. Глянул старик вверх и увидел сына своего, как вороненка на краю обрыва, на высокой, неприступной скале. Стоит там спиной к миру, обернуться не может.

— Как же ты там очутился, несчастный сын мой? — перепугался отец.

— Не спрашивай, отец,— отвечает тот.— Я здесь в наказание свое. Завела меня сюда старая Серая Коза и прокляла страшным проклятием. Я стою уж много дней, не вижу ни солнца, ни неба, ни земли. И лица твоего не увижу, отец. Сжалься надо мной, отец. Убей меня, облегчи мои страдания, прошу тебя. Убей и похорони меня.

Что мог поделать отец? Плачет, мечется, а сын все молит: «Убей меня поскорей. Стреляй, отец! Сжалься надо мной, стреляй!» До самого вечера не решался отец. А перед заходом солнца прицелился и выстрелил. Разбил ружье о камни и запел прощальную песню над телом сына:

Убил я тебя, сын мой Карагул.
Один остался я на свете, сын мой Карагул,
Судьба покарала меня, сын мой Карагул.
Судьба наказала меня, сын мой Карагул.
Зачем обучил я, сын мой Карагул,
Тебя ремеслу охотника, сын мой Карагул,
Зачем истребил ты, сын мой Карагул,
Всю дичь и тварь живую, сын мой Карагул,
Зачем уничтожил ты, сын мой Карагул,
То, что явилось жить и умножаться, сын мой Карагул?
Один остался я на свете, сын мой Карагул,
Никто не откликнется, сын мой Карагул,
Плачем на мой плач, сын мой Карагул.
Убил я тебя, сын мой Карагул...
Своими руками убил, сын мой Карагул...

...Сидел Танабай подле юрты, слушал древний киргизский плач, смотрел, как медленно всплывала луна над молчаливыми и темными горами, как зависала она над островерхими снежными пиками, над громоздящимися каменными скалами. И опять молил он умершего друга о прощении.

А Джайдар в юрте все наигрывала на темир-комузе плач по великому охотнику Карагулу:

Убил я тебя, сын мой Карагул...
Один остался я на свете, сын мой Карагул...

23

Близился рассвет. Сидя у костра, в изголовье умиравшего иноходца, припоминал старик Танабай то, что было потом.

Никто не знал, что ездил он в те дни в областной город. То была его последняя попытка. Хотелось ему повидать секретаря обкома, выступление которого он слышал на совещании в районе, и рассказать ему о всех своих бедах. Ему верилось, что этот человек понял бы и помог бы. И Чоро говорил о нем хорошо, и другие хвалили его. О том, что того секретаря перебросили в другую область, он узнал, уже придя в обком.

—А вы не слыхали разве?

— Нет.

— Ну, если у вас очень важное дело, то я доложу нашему новому секретарю, может, он вас примет,— предложила женщина в приемной.

— Нет, спасибо,— отказался Танабай.— Я ведь так хотел, по своему личному делу. Я ведь его знал, и он меня знал. А так беспокоить не стал бы. Извините, до свидания.— Он вышел из приемной, веря в душе, что хорошо знал секретаря и что тот тоже лично знал его, чабана Танабая Бакасова. А почему бы нет? Они могли бы знать и уважать друг друга, в этом он не сомневался, потому и сказал так.

Шел Танабай по улице, направляясь к автобусной станции. Возле пивного ларька двое рабочих грузили на машину пустые бочки из-под пива. Один стоял в кузове. А тот, что накатывал бочку к нему наверх, случайно оглянулся на проходящего мимо Танабая и замер, переменился в лице. Это был Бектай. Удерживая бочку на накате, он пристально и с неприязнью смотрел на Танабая своими узкими рысьими глазами, ждал, что тот скажет.

— Ну ты что там, уснул, что ли? — раздраженно бросил Бектаю тот, что стоял в машине.

Бочка скатывалась вниз, а Бектай, удерживая ее, пригибался под тяжестью и смотрел не отрываясь на Танабая. Но Танабай не поздоровался с ним. «Так вот ты где. Вот где ты. Хорош. Ничего не скажешь. К пивному делу пристроился,— подумал Танабай и, не задерживаясь, пошел дальше.— Пропадет ведь парень,

а? — подумал он затем, замедляя шаги.— Хорошим человеком мог бы стать, может, поговорить?» И захотел вернуться, жалко стало ему Бектая, готов был простить ему все, только бы тот одумался. Однако не стал этого делать. Понял, что если тот знает о его исключении из партии, то разговор не получится. Не хотел Танабай давать этому злословному парню повода издеваться над собой, над судьбой своей, над делом, которому оставался верен. Так и ушел.

Ехал из города на попутной машине и все думал о Бектае. Запомнилось ему, как тот стоял, пригибаясь под тяжестью скатывающейся бочки, как пристально и выжидательно глядел на него.

Позже, когда Бектая судили, Танабай сказал на суде только, что Бектай бросил отару и ушел. Больше ничего не стал говорить. Очень хотелось ему, чтобы Бектай в конце концов понял, что был не прав, и раскаялся. Но тот, кажется, и не думал раскаиваться.

— Отсидишь — приезжай ко мне. Потолкуем, как быть дальше,— сказал Танабай Бектаю. А тот ничего не ответил, даже глаз не поднял. И Танабай отошел от него. После исключения из партии стал не уверен в себе, виновным чувствовал себя перед всеми. Оробел как-то. Никогда в жизни не думал он, что с ним случится такое. Никто ему не колол глаза, и все равно сторонился людей, избегал разговоров, молчал больше.

24

Иноходец Гульсары неподвижно лежал у костра, уронив голову на землю. Жизнь медленно покидала его. Клокотало, хрипело в горле у коня, глаза расширились и угасали, не мигая глядя на пламя, деревенели вытянутые, как палки, ноги.

Прощался Танабай с иноходцем, говорил ему последние слова: «Ты был великим конем, Гульсары. Ты был моим другом, Гульсары. Ты уносишь с собой лучшие годы мои, Гульсары. Я буду всегда помнить о тебе, Гульсары. И сейчас при тебе я уже вспоминаю о тебе потому, что ты умираешь, славный конь мой Гульсары. Когда-нибудь увидимся с тобой на том свете. Но не услышу я там топота твоих копыт. Ведь там нет дорог, там нет земли, там нет травы, там жизни нет.

Но покуда я буду жив, ты не умрешь, потому что я буду помнить о тебе, Гульсары. Перестук твоих копыт будет для меня как любимая песня...»

Думал так старик Танабай и грустил, что время промчалось, как бег иноходца. Что быстро как-то постарели они. Быть может, и рано еще Танабаю считать себя стариком. Но ведь человек стареет не столько от старости своих лет, сколько от сознания того, что он стар, что время его ушло, что осталось только доживать свой век...

И сейчас, в эту ночь, когда умирал его иноходец, Танабай, заново пристально и внимательно оглядывая пройденное, сожалел, что так рано сдался старости, что не решился сразу последовать совету того человека, который не забывал, оказывается, о нем, который сам нашел его и сам пришел к нему.

Случилось это лет семь спустя после того, как его исключили из партии. Танабай тогда работал объездчиком колхозных угодий в Сарыгоуском ущелье, жил там в сторожке со старухой своей Джайдар. Дочери уехали учиться, а потом вышли замуж. Сын после окончания техникума определился на работу в районе и тоже был уже семейным человеком.

Однажды летом выкашивал Танабай траву по берегу речки. День стоял сенокосный, жаркий и светлый. Тихо было в ущелье. Кузнечики трещали. В рубашке навыпуск, в белых широченных стариковских штанах ступал Танабай за звенящей косой, ровной, плотной гривой клал траву в валок. С удовольствием работал. И не заметил, как остановился неподалеку легковой «газик», как вышли из машины двое и направились к нему.

— Здравствуйте, Танаке. Бог на помощь! — услышал он рядом с собой. Оглянулся и увидел Ибраима. Тот был все такой же проворный, толстощекий, с брюшком.— Вот мы и нашли вас, Танаке,— заулыбался Ибраим во всю ширь лица.— Сам секретарь райкома приехал, увидеть вас пожелал.

«Ох и лиса! — с невольным восхищением подумал о нем Танабай.— Во все времена находит себе место. Смотри, как юлит. Прямо-таки раздобрейший человек. Всякому угодит, всякому услужит!»

— Здравствуйте.— Танабай пожал им руки.

— Не узнаете, отец? — спросил приехавший с Иб-

раимом товарищ, не выпуская из своей крепкой ладони его руки.

Танабай медлил с ответом. «Где же я его видел?» — допытывал он себя. Перед ним стоял очень знакомый как будто бы и в то же время, видимо, очень изменившийся человек. Молодой, здоровый, загорелый, с открытым и уверенным взглядом, одетый в серый парусиновый костюм, в соломенной шляпе. «Городской кто-то»,— подумал Танабай.

— Так это же товарищ...— хотел было подсказать Ибраим.

— Постой, постой, я сам скажу,— остановил его Танабай и сказал, смеясь про себя: — Узнаю, сын мой. Еще бы не узнать! Здравствуй еще раз. Рад тебя видеть.

Это был Керимбеков. Тот самый комсомольский секретарь, который смело защищал Танабая в райкоме, когда его исключали из партии.

— Ну, если узнали, то давайте поговорим, Танаке. Пойдемте пройдемся по берегу. А вы пока тут берите косу и покосите,— предложил Керимбеков Ибраиму.

Тот с готовностью засуетился, скидывая с себя пиджак:

— Конечно, с удовольствием, товарищ Керимбеков.

Танабай и Керимбеков пошли по сенокосу, сели у реки.

— Вы, наверно, догадываетесь, Танаке, по какому делу я к вам,— начал разговор Керимбеков.— Смотрю на вас, вы такой же крепкий, сено косите — значит, здоровье в порядке. Этому я рад.

— Слушаю тебя, сын мой. Я тоже рад за тебя.

— Так вот, чтобы яснее вам было, Танаке. Сейчас, вы сами знаете, многое изменилось. Многое уже пошло на лад.

— Знаю. Что верно, то верно. По колхозу нашему могу судить. Дела как будто бы лучше пошли. Даже не верится. Был я недавно в долине Пяти Деревьев, там как раз бедовал я в тот год чабаном. Позавидовал. Кошару новую поставили. Добрая кошара, под шифером, голов на полтыщу. Дом построили для чабана, стало быть. А рядом сарай, конюшня. Совсем не то, что было. Да и на других зимовьях то же самое.

И в самом аиле народ строится. Как ни приеду, так новый дом вырос на улице. Дай-то бог и дальше так.

— Об этом и наша забота, Танаке. Не все еще, как надо. Но со временем наладим. А к вам я с вопросом таким. Возвращайтесь в партию. Пересмотрим ваше дело. На бюро был разговор о вас. Как говорится, лучше поздно, чем никогда.

Танабай молчал. Смутился. И обрадовался, и горько ему стало. Вспомнил все пережитое, глубоко засела в нем обида. Не хотелось ворошить прошлое, не хотелось думать об этом.

— Спасибо на добром слове,— поблагодарил Танабай секретаря райкома.— Спасибо, что не забыл старика.— И, подумав, сказал начистоту: — Стар я уже. Какой толк теперь от меня партии? Что я могу сделать для нее? Никуда я уже не гожусь. Прошло мое время. Ты не обижайся. Дай мне подумать.

Долго не решался Танабай, все откладывал — завтра поеду, послезавтра, а время шло. Тяжеловат стал на подъем.

Однажды все же собрался, оседлал коня, поехал, но вернулся с половины дороги. А почему? Сам понимал, что по глупости своей вернулся. Сам себе говорил: «Одурел, в детство впал». Понимал все это, но ничего не мог поделать с собой.

Увидел он в степи пыль бегущего иноходца. Сразу узнал Гульсары. Теперь он редко когда его видел. Белым бегучим следом прочерчивал иноходец летнюю, сухую степь. Смотрел Танабай издали и мрачнел. Раньше пыль из-под копыт никогда не догоняла иноходца. Темной стремительной птицей несся он впереди, оставляя за собой длинный хвост пыли. А теперь пыль то и дело накатывалась на иноходца облаком, окутывала его. Он вырывался вперед, но через минуту снова исчезал в густых клубах самим же им поднятой пыли. Нет, теперь он не мог уйти от нее. Значит, крепко постарел, ослаб, сдался. «Плохи твои дела, Гульсары», — с едкой печалью подумал Танабай.

Он представлял себе, как задыхался конь в пыли, как трудно ему было бежать, как злился и нахлестывал его всадник. Он видел перед собой растерянные глаза иноходца, чувствовал, как он изо всех сил старается вырваться из клубов пыли и не может. И хотя всадник не мог услышать Танабая — расстояние было

изрядно,— Танабай крикнул: «Сто-ой, не гони коня!» — и пустился вскачь наперерез ему.

Но не доскакал, остановился вскоре. Хорошо, если тот человек поймет его, а если нет? А если скажет ему в ответ: «Какое тебе дело? Откуда ты такой указчик? Как хочу, так и еду. Проваливай, старый дурак!»

А иноходец тем временем уходил все дальше неровным, трудным бегом, то исчезая в пыли, то вновь вырываясь из нее. Долго смотрел ему вслед Танабай. Потом повернул коня и поехал назад. «Отбегали мы свое, Гульсары,— говорил он.— Постарели. Кому мы теперь нужны такие? И я тоже не бегун теперь. Осталось нам, Гульсары, доживать последнее...»

А через год увидел Танабай иноходца, запряженного в телегу. И опять расстроился. Печально было смотреть на старого, вышедшего из строя скакуна, уделом которого осталось ходить в побитом молью хомуте, таскать ветхую повозку. Отвернулся Танабай, не захотел смотреть.

Потом еще раз встретил Танабай иноходца. Ехал на нем по улице мальчишка лет семи в трусиках, в драной майке. Пришлепывал коня голыми пятками, сидел он на нем гордый и ликующий оттого, что сам управлял лошадью. Видно, мальчуган ехал на коне впервые, и потому посадили его на самую смирную и покорную клячу, каким стал бывший иноходец Гульсары.

— Дедушка, посмотрите на меня! — похвалился малыш старику Танабаю.— Я Чапаев! Я сейчас через речку поеду.

— Ну-ну, езжай, я посмотрю! — ободрил его Танабай.

Смело, одергивая поводья, мальчишка поехал через речку, но, когда конь стал выбираться на тот берег, не удержался, шлепнулся в воду.

— Ма-ма-а! — заревел он от испуга.

Танабай вытащил его из воды и понес к коню. Гульсары смиренно стоял на тропинке, держа на весу поочередно то одну, то другую ногу. «Мозжат ноги у коня — знать, совсем уже плох»,— понял Танабай. Он посадил мальчика на старого иноходца.

— Езжай и больше не падай.

Гульсары потихоньку побрел по дороге.

И вот в последний раз, уже после того, как ино-

ходец снова попал в руки Танабая, и после того, как, казалось бы, старик выходил его, поставил на ноги, последний раз свозил он его в Александровку и теперь умирал в дороге.

Ездил Танабай к сыну и невестке по случаю рождения внука, второго у них в семье ребенка. Привез им в подарок тушу барана, мешок картошки, хлеба и всякой снеди, испеченной женой. Понял он потом, почему Джайдар не захотела приезжать, сказалась больной. Хотя и не говорила никому, но не любила она невестку. Сын и без того был человеком несамостоятельным, безвольным, а жена попалась жестокая, властная. Сидя дома, помыкала мужем, как ей хотелось. Бывают же такие люди, которым ничего не стоит обидеть, оскорбить человека, лишь бы верх держать, лишь бы чувствовать свою власть.

Так случилось и на этот раз. Оказывается, сына должны были повысить по работе, но потом почему-то повысили другого. Вот она и накинулась на не повинного ни в чем старика:

— Зачем было вступать в партию, если всю жизнь в пастухах да табунщиках проходил. Все равно под конец выгнали, а из-за этого теперь сыну твоему ходу нет по службе. Так и будет он сто лет сидеть на одной должности. Вы там живете себе в горах — что вам еще нужно, старикам, а мы здесь страдаем из-за вас.

Ну и прочее в этом же духе...

Не рад был Танабай, что приехал. Чтобы как-то успокоить невестку, сказал неуверенно:

— Если уж такое дело, может, я обратно в партию попрошусь.

— Очень ты там нужен. Так тебя там и ждут. Обойтись не могут без старья такого? — фыркнула она в ответ.

Если бы то была не невестка, жена его родного сына, а кто-нибудь другой, разве позволил бы Танабай разговаривать с собой таким образом? Но своих, плохи они или хороши, никуда не денешь. Промолчал старик, не стал перечить, не стал говорить, что мужа ее не продвигают по службе не потому, что отец виноват, а потому, что сам он никудышный и жена попалась ему такая, от которой доброму человеку бежать надо куда глаза глядят. Недаром же в народе говорят: «Хорошая жена плохого мужа сделает сред-

ним, среднего — хорошим, а хорошего прославит на весь мир». Но опять же не хотелось старику позорить сына при жене, пусть уж думают они, что он виноват.

Потому и уехал Танабай поскорей. Тошно было ему оставаться у них.

«Дура, ты дура! — ругал он теперь невестку, сидя у костра.— Откуда только беретесь вы такие? Ни чести, ни уважения, ни добра человеку другому. Все о себе печетесь. Обо всех по себе судите. Только не быть по-твоему. Нужен я еще, нужным буду...»

25

Открывалось утро. Вставали горы над землей, прояснялась, ширилась степь вокруг. На краю оврага чуть тлели побуревшие угольки потухшего костра. Рядом стоял седой старик, накинув на плечи шубу. Теперь не было нужды укрывать ею иноходца. Отошел Гульсары в иной мир, в табуны господни... Смотрел Танабай на павшего коня и диву давался — что с ним стало! Гульсары лежал на боку с откинутой в судороге головой, на которой видны были глубокие впадины — следы уздечки. Торчали его вытянутые, несгибающиеся ноги с истертыми подковами на потрескавшихся копытах. Больше им не ступать по земле, не печатать следы по дорогам. Надо было уходить. Танабай наклонился к коню в последний раз, опустил ему на глаза холодные веки, взял уздечку и, не оглядываясь, пошел прочь.

Шел он через степь в горы. Шел, продолжая долгую думу свою. Думал о том, что стар он уже, что дни его на исходе. Не хотелось ему умирать одинокой птицей, отбившейся от своей быстрокрылой стаи. Хотел умереть на лету, чтобы с прощальными криками закружились над ним те, с которыми вырос в одном гнездовье, держал один путь.

«Напишу Самансуру,— решил Танабай.— Так и напишу в письме: помнишь иноходца Гульсары? Должен помнить. На нем я отвозил в райком партбилет твоего отца. Ты сам отправлял меня в тот путь. Так вот, возвращался я прошлой ночью из Александровки, и в дороге пал мой иноходец. Всю ночь я просидел возле коня, всю жизнь свою продумал. Не ровен час, паду в пути, как иноходец Гульсары. Должен ты мне по-

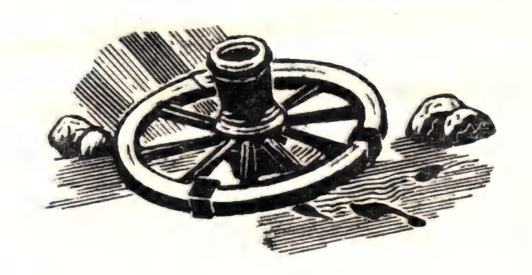
мочь, сын мой Самансур, вернуться в партию. Мне немного осталось. Хочу быть тем, кем я был. Как теперь понимаю, твой отец Чоро неспроста завещал мне отвезти его партбилет в райком. А ты его сын, и ты знаешь меня, старика Танабая Бакасова...»

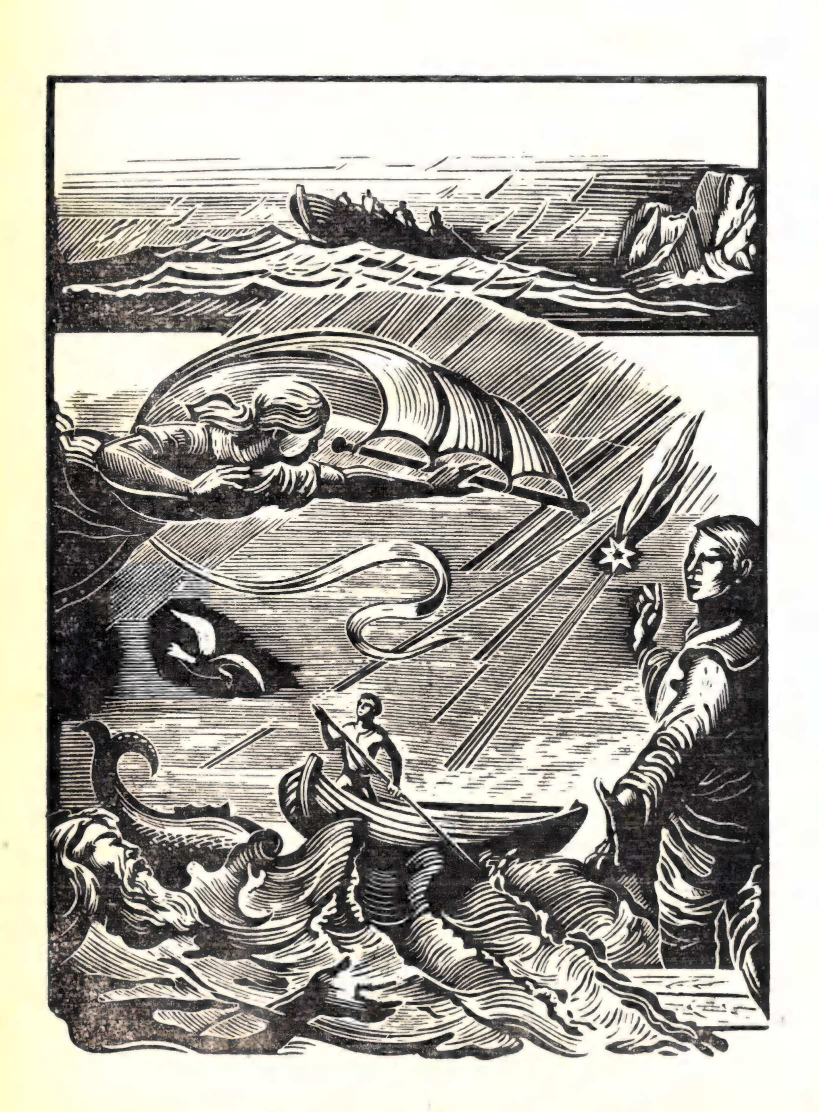
Шел Танабай по степи, перекинув уздечку через плечо. Слезы стекали по лицу, мочили бороду. Но он не утирал их. То были слезы по иноходцу Гульсары. Смотрел сквозь слезы старик на новое утро, на одинокого серого гуся, быстро летящего над предгорьем. Спешил серый гусь, догонял стаю.

— Лети, лети! — прошептал Танабай.— Догоняй своих, пока крылья не устали.— Потом вздохнул и сказал: — Прощай, Гульсары!

Он шел, и слышалась ему старинная песня.

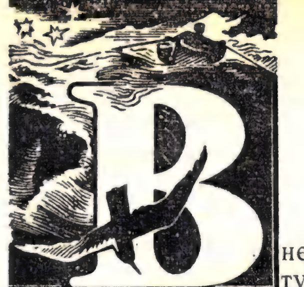
...Бежит верблюдица много дней. Ищет, кличет детеныша. Где ты, черноглазый верблюжонок? Отзовись! Бежит молоко из вымени, из переполненного вымени струится по ногам. Где ты? Отзовись. Бежит молоко из вымени, из переполненного вымени. Белое молоко...





Владимиру Санги

ПЕГИЙ ПЕС, БЕГУЩИЙ КРАЕМ МОРЯ



В непроглядной, насыщенной летучей влагой и холодом приморской ночи, на всем протяжении Охотского побережья, по всему фронту суши и моря шла извечная, неукротимая борьба двух стихий — суша препятствовала движению моря, море не уставало наступать на сушу.

Гудело и маялось море во тьме, набегая и расшибаясь на утесах. Надсадно ухала, отражая удары моря, каменнотвердая земля.

И вот так они в противоборстве от сотворения — с тех пор как день зачался днем, а ночь зачалась ночью, и впредь быть тому, все дни и все ночи, пока пребудут земля и вода в нескончаемом времени.

Все дни и все ночи...

Еще одна ночь протекала. Ночь накануне выхода в море. Не спал он той ночью. Первый раз в жизни не спал, первый раз в жизни изведал бессонницу. Уж очень хотелось, чтобы день наступил поскорее, чтобы ринуться в море. И слышал он, лежа на нерпичьей шкуре, как едва уловимо подрагивала под ним земля от ударов моря и как грохотали и маялись волны в заливе. Не спал он, вслушиваясь в ночь...

А ведь когда-то все было по-иному. Теперь такое невозможно даже представить себе, об этом теперь никто знать не знает, не догадывается даже, что не будь в ту издавнюю пору утки Лувр, мир мог бы устроиться совсем по-другому — суша не противостояла бы воде, а вода не противостояла бы суше. Ведь в самом начале — в изначале начал — земли в природе вовсе не было, ни пылиночки даже. Кругом простиралась вода, только вода. Вода возникла сама из себя, в круговерти своей — в черных безднах, в безмерных

пучинах. И катились волны по волнам, растекались волны во все стороны бесстороннего тогда света: из ниоткуда в никуда.

А утка Лувр, да-да, та самая, обыкновенная кряква-широконоска, что по сей день проносится в стаях над нашими головами, летала в ту пору над миром одна-одинешенька, и негде ей было снести яйцо. В целом свете не было ничего, кроме воды, даже тростиночки не было, чтобы гнездо смастерить.

С криком летала утка Лувр — боялась, не удержит, боялась, уронит яйцо в пучину бездонную. И куда бы ни отправлялась утка Лувр, куда бы ни долетала она — везде и повсюду плескались под крыльями волны, кругом лежала великая Вода — вода без берегов, без начала, без конца. Извелась утка Лувр, убедилась: в целом свете не было места, где бы устроить гнездо.

И тогда утка Лувр села на воду, надергала перьев из своей груди и свила гнездо. Вот с того-то гнезда плавучего и начала земля образовываться. Мало-помалу разрасталась земля, мало-помалу заселялась земля тварями разными. А человек всех превзошел среди них — приноровился по снегу ходить на лыжах, по воде плавать на лодке. Стал он зверя добывать, стал он рыбу ловить, тем кормился и род умножал свой.

Да только если бы знала утка Лувр, как трудно станет на белом свете с появлением тверди среди сплошного царства воды. Ведь с тех пор, как возникла земля, море не может успокоиться; с тех пор бьются море против суши, суша против моря. А человеку подчас приходится очень туго между ними — между сушей и морем, между морем и сушей. Не любит его море за то, что к земле он больше привязан...

Приближалось утро. Еще одна ночь уходила, еще один день нарождался. В светлеющем сероватом сумраке постепенно вырисовывалось, как губа оленя в сизом облаке дыхания, бушующее соприкосновение моря с берегом. Море дышало. На всем вскипающем соприкосновении суши и моря клубился холодный пар летучей мороси, и на всем побережье, на всем его протяжении стоял упорный рокот прибоя.

Волны упорствовали на своем: волна за волной могуче взбегали на штурм суши вверх по холодному

и жесткому насту намытого песка, вверх через бурые, осклизлые завалы камней, вверх — сколько сил и размаха хватало, и волна за волной угасали, как выдох, на последней черте выплеска, оставляя по себе мгновенную пену да прелый запах взболтанных водорослей.

Временами вместе с прибоем выметывались на берег обломки льдин, невесть откуда занесенных весенним движением океана. Шалые льдины, вышвырнутые на песок, сразу превращались в нелепые беспомощные куски смерзшегося моря. Последующие волны быстро возвращались и уносили их обратно, в свою стихию.

Исчезла мгла. Утро все больше наливалось светом. Постепенно вырисовывались очертания земли, постепенно прояснялось море.

Волны, растревоженные ночным ветром, еще бурунились у берегов беловерхими набегающими грядами, но в глубине, в теряющейся дали море уже усмирялось, успокаивалось, свинцово поблескивая в той стороне тяжкой зыбью.

Расползались тучи с моря, передвигаясь ближе к береговым сопкам.

В этом месте, близ бухты Пегого пса, возвышалась на пригористом полуострове, наискось выступавшем в море, самая приметная сопка-утес, и вправду напоминавшая издали огромную пегую собаку, бегущую по своим делам краем моря. Поросшая с боков клочковатым кустарниковым разнолесьем и сохранявшая до самого жаркого лета белое пятно снега на голове, как большое свисающее ухо, и еще большое белое пятно в паху — в затененной впадине, сопка Пегий пес всегда далеко виднелась окрест — и с моря и из лесу.

Отсюда, из бухты Пегого пса, поутру, когда солнце поднялось высотой на два тополя, отчалил в море нивхский каяк. В лодке было трое охотников и с ними мальчик. Двое мужчин, что помоложе и покрепче, гребли в четыре весла. На корме, правя рулем, сидел самый старший из них, степенно посасывая деревянную трубку,— коричневолицый, худой, кадыкастый старик, очень морщинистый — особенно шея, вся изрезанная глубокими складками, и руки были под стать — крупные, шишковатые в суставах, покрытые

рубцами и трещинами. Седой уже. Почти белый. На коричневом лице очень выделялись седые брови. Старик привычно жмурился слезящимися, красноватыми глазами: всю жизнь ведь приходилось смотреть на водную гладь, отражающую солнечные лучи,— и, казалось, вслепую направлял ход лодки по заливу. А на другом конце каяка, примостившись, как кулик, на самом носу, то и дело мельком поглядывая на взрослых, с великим трудом удерживал себя на месте, чтобы поменьше крутиться, дабы не вызывать неудовольствие хмурого старейшины, черноглазый мальчик лет одиннадцати-двенадцати.

Мальчик был взволнован. От возбуждения ноздри его упруго раздувались, и на лице проступали скрытые веснушки. Это у него от матери — у нее тоже, когда она очень радовалась, появлялись на лице такие скрытые веснушки. Мальчику было отчего волноваться. Этот выход в море предназначался ему, его приобщению к охотничьему делу. И потому Кириск крутил головой по сторонам, как кулик, глядел повсюду с неубывающим интересом и нетерпением. Впервые в жизни отправлялся Кириск в открытое море с настоящими охотниками, на настоящую, большую добычу, в большом родовом каяке. Мальчику очень хотелось привстать с места, поторопить гребцов, очень хотелось самому взяться за весла, подналечь изо всех сил, чтобы быстрей доплыть до островов, где предстояла большая охота на морского зверя. Но такие ребяческие желания могли показаться серьезным людям смешными. Опасаясь этого, он всеми силами пытался не выдать себя. Но это не совсем удавалось. Трудно было ему скрыть свое счастье — горячий румянец отчетливо проступал на смуглых крепких щеках. А главное, глаза, сияющие, чистые, одухотворенные глаза мальчишечьи, не могли утаить радости и гордости, переполнявших его ликующую душу. Впереди море, впереди большая охота!!!

Старик Орга́н понимал его. Углядывая прищуром глаз направление по морю, он замечал и настроение мальчишки, ерзающего от нетерпения. Старик теплел глазами — эх, детство, детство,— но улыбку в углах запавшего рта вовремя подавлял усиленным посасыванием полуугасшей трубки. Нельзя было открывать улыбку. Мальчик находился с ними в лодке не ради

забавы. Ему предстояло начать жизнь морского охотника. Начать с тем, чтобы кончить ее когда-нибудь в море,— такова судьба морского добытчика, ибо нет на свете более трудного и опасного дела, нежели охота в море. А привыкать требуется сызмальства. Потому-то прежние люди говаривали: «Ум от неба, сноровка сызмальства». И еще говаривали: «Плохой добытчик — обуза рода». Вот и выходит: чтобы быть кормильцем, мужчина должен с ранних лет постигать свое ремесло. Пришел такой черед и Кириску, пора было натаскивать мальчишку, приучать его к морю.

Об этом все знали, все поселение клана Рыбы-женщины у сопки Пегого пса знало, что сегодняшний выход в плавание предпринимался ради него, Кириска, будущего добытчика и кормильца. Так заведено: каждый, кто рождается мужчиной, обязан побрататься с морем с малолетства, чтобы море знало его и чтобы он уважал море. Потому-то сам старейшина клана старик Орган и двое лучших охотников — отец мальчика Эмрайин и двоюродный брат отца Мылгун шли в плавание, повинуясь заветному долгу старших перед младшими, в этот раз перед ним, мальчиком Кириском, которому предстояло отныне и навсегда познаться с морем, отныне и навсегда, и в дни удач и неудач.

Пусть он, Кириск, сейчас мальчишка, пусть еще молоко материнское на губах, и неизвестно, выйдет ли толк из него, но кто возьмется сказать, может статься, когда они сами отойдут от дел, превратясь в немощных старцев, именно он, Кириск, будет кормильцем и опорой рода. Так оно и положено быть, так оно и идет в поколениях, из колена в колено. На том жизнь стоит.

Но об этом никто не скажет вслух. Человек думает об этом про себя, а говорит об этом редко. Оттого-то там, на побережье Пегого пса, никто из людей Рыбы-женщины не придал особого значения этому событию — первому выходу Кириска на добычу. Наоборот, соплеменники постарались даже не заметить, как он уходил в море вместе с большими охотниками. Вроде бы не принимали всерьез эту затею.

Провожала его только мать, и то, не сказав вслух ни слова о предстоящем плавании и не дойдя до бух-

ты, попрощалась. «Ну, иди в лес!» — нарочито внятно сказала она сыну, при этом не глядя на море, а глядя в сторону леса: «Смотри, чтобы дрова были сухие, и сам не заблудись в лесу!» Это она говорила для того, чтобы запутать следы, оберечь сына от кинров — от злых духов. И об отце мать не проронила ни слова. Точно бы Эмрайин был не отец, точно не с отцом Кириск отправлялся в море, а со случайными людьми. Опять же умалчивала потому, чтобы не проведали кинры, что Эмрайин и Кириск — отец с сыном. Ненавидят злые духи отцов и сыновей, когда они вместе на охоте. Погубить могут одного из них, чтобы силу и волю отнять у другого, чтобы с горя поклялся один из них не ходить в море, не вступать в лес. Такие они, коварные кинры, только высматривают, только выжидают случай какой, чтобы вред учинить людям.

Сам-то он, Кириск, не боится злых кинров, не маленький уже. А мать боится, особенно за него страшится. Ты, говорит, еще мал. Сбить тебя с толку, погубить очень просто. И то правда! Ох, эти злые духи, сколько они бед приносят в малолетстве — болезни разные или вред какой нашлют, покалечат дитя, чтобы охотник из него не вышел. А кому тогда нужен такой человек! Поэтому очень важно остерегаться злых духов, особенно в малолетстве, пока не подрос. А когда человек поднимется на ноги, когда станет самим собой, тогда не страшны никакие кинры. Им тогда не совладать, боятся они сильных людей.

Так и попрощались мать с сыном. Мать постояла молча, затаив в том молчании и страх, и мольбу, и надежду, да пошла назад, не оглянувшись ни разу в сторону моря, не обмолвившись ни словом об отце, вроде бы она и в самом деле ведать не ведала, куда отправлялись ее муж с сыном, а ведь сама накануне собирала их в путь, еду готовила с запасом — на три дня плавания, а теперь прикинулась ничего не знающей, так боялась она за сына. Так боялась, что ничем не выдала тревоги своей, чтобы не учуяли злые духи, как страшится она в душе.

Мать ушла, не доходя до бухты, а сын, петляя по кустам, запутывая след, скрываясь от незримых кинров, как и наказывала мать,— не хотелось огорчать ее в такой день,— пустился догонять ушедших далеко вперед мужчин.

Он быстро догнал их. Они шли не спеша, с ношей, с ружьями, со снастями на плечах. Впереди старейшина Орган, за ним, выделяясь своей фигурой и ростом, плечистый, бородатый Эмрайин, а за ним, косолапо ступая, коренастый, сбитый и круглый, как пень, Мылгун. Одежда на них была обношенная, для моря, вся из выделанных шкур и кож, чтобы тепло держала и не намокала. А Кириск по сравнению с ними выглядел нарядным. Мать постаралась, давно готовила она его морскую одежду. И торбаса и верхняя одежда порасшиты по краям. На море-то к чему это. Но мать есть мать.

— Ух ты, а мы думали, что ты остался. Думали, увели тебя за ручку домой! — насмешливо подивился Мылгун, когда Кириск поравнялся с ним.

— Это почему? Да никогда в жизни! Да я! — Кириск чуть не задохнулся от обиды.

— Ну, ну, шуток не понимаешь,— урезонил его тот,— ты это брось. На море-то с кем разговаривать, как не друг с другом. На вот, неси-ка лучше! — подал он ему свой винчестер. И мальчик благодарно зашагал рядом.

Предстояли погрузка и отплытие.

Вот таким образом уходили они в море. Но зато возвращение, если выпадет удача, если с добычей вернутся они домой, будет иным. Тогда-то по праву мальчику честь воздадут. Будет праздник встречи юного охотника, будут песни петься о щедрости моря, в необъятных глубинах которого умножаются рыбы и звери, предназначенные сильным и смелым ловцам. Величать будут в песнях Рыбу-женщину, прародительницу,— от которой пошли они — люди Рыбы-женщины по земле. И тогда загудят бревна-барабаны под ударами кленовых палок, и среди пляшущих шаман — самый многоумный человек — разговор заведет с Землей и Водой, разговор о нем, Кириске, новом охотнике. Да-да, о нем будет говорить шаман с Землей и Водой, заклинать станет и просить, чтобы всегда добры были к нему Земля и Вода, чтобы вырос он великим добытчиком, чтобы удача всегда сопутствовала ему на Земле и на Воде, чтобы всегда суждено было ему делить добычу среди старых и малых по всей справедливости. И еще заклинать и просить станет он, шаман многомудрый, чтобы дети народились у Кири-

ска и все выжили, чтобы род Великой Рыбы-женщины умножался и потомки к потомкам прибавлялись:

Где ты плаваешь, Великая Рыба-женщина?
Твое жаркое чрево — зачинает жизнь,
Твое жаркое чрево — нас породило у моря,
Твое жаркое чрево — лучшее место на свете.
Где ты плаваешь, Великая Рыба-женщина?
Твои белые груди как нерпичьи головы,
Твои белые груди вскормили нас у моря.
Где ты плаваешь, Великая Рыба-женщина?..
Самый сильный мужчина к тебе поплывет,
Чтобы чрево твое расцветало,
Чтобы род твой на земле умножался...

Вот такие песни будут петься на празднике среди плясок и гомона. И на празднике том для Кириска состоится еще одно важное действо. Судьбу его охотничью неистово пляшущий шаман поручит одной из звезд в небе. Ведь у каждого охотника есть своя звезда-охранительница. А какой звезде будет поручена его, Кириска, судьба, об этом никто никогда не узнает. Только сам шаман и та звезда, незримая охранительница, будут знать.

Ну, конечно, мать и сестренка возрадуются больше всех, будут петь громче всех и выплясывать. И отец, Эмрайин, во всеуслышанье назовется отцом и тоже будет рад и горд. А покуда он не отец. В море нет отцов и сыновей, в море все равны и подчиняются старшему. Как скажет старший, так тому и быть. Отец не станет вмешиваться. Сын не станет жаловаться отцу. Так положено.

И еще, пожалуй, Музлук, девчонка, с которой они играли в детстве, обрадуется очень. Теперь они стали меньше играть. А отныне и вовсе: охотнику не до игр...

Лодка шла справно, слегка принырывая по волнам. Уже давно осталась позади бухта Пегого пса, минули мыс Длинный и, выйдя из залива в море, обнаружили, что на море волна не сильнее, чем в заливе. Волны всплескивались на одинаковую высоту с одинаковым промежутком времени. По таким устойчивым волнам можно плыть ходко.

Хорошо, сноровисто шла лодка, долбленная из ствола могучего тополя. Надежно держалась она и на прямой и на боковой волне, легко повинуясь рулю.

Посасывая все ту же уже угасшую трубку, старик Орган испытывал удовольствие от прочного хода лодки и в душе чувствовал себя так, точно бы он сам был лодкой, идущей по студеному морю вполборта осадки на воде; будто то сам он плыл по раздолью морскому, под ровный скрип уключин и мерные взмахи весел; будто то он сам двигался, прорезая килем, как собственной грудью, упругость встречных волн, слегка покачиваясь от ударов и толчков воды. Это ощущение полной слитности с движением лодки вызывало в нем странное раздумье. Доволен он был лодкой, очень даже, ведь сам стругал и долбил; тополь свалили сообща, одному да и четверым такое не под силу, а работал сам — три лета сушил и рубил и уже тогда знал: выйдет лучший каяк среди всех сработанных им на своем веку. Но, думая об этом, огорчался невольно: а что, если это последний в его жизни? Еще бы пожить Еще походить бы за добычей по морю, еще пару каяков состругать бы, пока зрение есть, пока чутье не утратил.

И, думая так, он разговаривал мысленно с лодкой. «Я люблю себя и верю тебе, брат мой каяк,— говорил он лодке.— Ты знаешь язык моря, ты знаешь повадки волн, в том твоя сила. Ты достойный каяк, лучший среди всех соструганных мною. Ты большой каяк — два лахтака и еще нерпа вмещаются в тебя. Ты приносишь удачу нам. Поэтому я уважаю тебя. Мы все тебя любим, когда тебе тяжко от добычи нашей, когда возвращаешься ты к берегу, проседая до краев и даже зачерпывая воду. Вот тогда все выбегают к берегу встречать тебя, брат мой каяк!

Если я умру, ходи долго, ходи далеко по богатым добычей местам. Если я умру, плавай по морю с молодыми и сильными охотниками. Если я умру, служи им, как служишь мне. И дождись, брат мой каяк, чтобы и этот отпрыск наш, что вон сидит на носу, головой крутит, едва терпит,— была бы не вода, а твердь, побежал бы он сейчас на большую охоту, сам один управляться с делами, так ему кажется,— дождись, брат мой каяк, чтобы и этот подрос, чтобы и он плавал с тобой далеко и близко. А сегодня он с нами впер-

вые в море. Так надо. Пусть привыкает. Мы уйдем, а ему еще оставаться долгие годы. Удастся в отца, в Эмрайина, значит, будет толковый человек. Не пустобрех какой-нибудь. Эмрайин, пожалуй, лучший охотник среди нынешних. Крепкий парень, дельный. Когда-то и я был таким. В самой силе. Женщины меня любили тогда. А я-то думал — век нескончаем. Только поздно узнаешь, что это не так. А молодые знать не хотят. Вот Эмрайин и Мылгун наверняка еще не думают. Ну да ладно. Узнают еще. А гребут они хорошо, ухватисто. Мылгун под стать Эмрайину. Надежная, выносливая пара. Лодка вроде сама по себе играючи плывет. Но это так кажется. По морю ведь на руках ходишь. А впереди — грести и грести! Сегодня, почитай, до самой темноты плыть, пока доберешься до Третьего сосца. И завтра весь день в обратный путь. С утра и весь день. Подменять буду то одного, то другого, однако тяжелое это дело — переболтать веслами целое море. А вернемся с добычей, праздник устроим.

Ты слышишь, ты понимаешь меня, брат мой каяк? Ты доставишь нас на острова, к Трем сосцам, к месту большой охоты. Для того и плывем. Там, на лежбищах, на берегу, встретим нерпу. Скоро окот, нерпа в стада собирается на островах.

Ты меня понимаешь, брат мой каяк? Ты-то меня понимаешь. Я с тобой начал говорить, когда ты еще не знал моря, когда ты еще жил в чреве великого тополя в лесу. Я освободил тебя из чрева дерева, и теперь мы плывем.

А когда не станет меня, не забывай обо мне, брат мой каяк. Помни, когда будешь плавать по морю...»

Так думал Орган, держа курс от главного ориентира на побережье, от сопки Пегого пса по прямой в море. Эта сопка-утес имела необычайное свойство, о чем говорили все ходившие в плавание,— в ясную погоду сопка как бы вырастала по мере удаления от нее. Точно бы Пегий пес сам увязывался следом, не желая отстать. Как ни оглянешься, Пегий пес все на виду. Очень долго видна эта сопка на удалении, а потом вдруг за какой-то крутизной воды сразу исчезает с глаз. Значит, ушел Пегий пес домой, значит, земля осталась далеко позади...

И тогда надо запомнить, хорошо запомнить, где, в какой стороне остался Пегий пес, надо запомнить на-

правление ветра, стояние солнца по отношению к сопке, облака приметить, если в тихую погоду, и следовать в море, все время, до самых островов, держа в уме месторасположение Пегого пса, чтобы не сбиться с пути в морском пространстве.

Они направлялись к островам, находящимся на расстоянии почти дневного перехода. То были необитаемые, крохотные скальные островки — три клочка суши, выступавшие темными сосцами среди водного безбрежья. Поэтому островки прозывались Три сосца — Малый, Средний, Большой. А за ними, если плыть еще дальше, путь лежал в океан, меры которому не было, имя которого они не знали,— Великая, нехоженая, неведомая Вода вечности, возникающая сама из себя, пребывающая от сотворения мира, еще от тех времен, когда утка Лувр с криком носилась в поисках маленького местечка для гнезда — кусочка тверди величиной с ладонь — и не находила его в целом свете. Вот там, на тех островах, на границе моря и океана, в эти весенние дни располагались нерпичьи лежбища. За тем и шли, за тем и путь держали в ту сторону...

Мальчик поражался, что море оказалось совсем иным, не таким, каким представлялось оно ему в его играх на кручах Пегого пса, и даже не таким, каким оно было при лодочных катаниях по лагуне. Особенно остро он ощутил это, когда они вышли из залива, когда море вдруг расступилось, заполняя собой все видимое пространство до самого неба, превратившись в безраздельную, неоглядную, единственную сущность мира.

Открытое море ошеломило Кириска. Такого зрелища он не ожидал. Только вода — зыбучая, тяжелая вода, только волны — скоротечно возникающие и немедленно умирающие, только глубина — темная, тревожная глубина и только небо в кочующих белых облаках, легковесных и недоступных. И то был весь сущий мир — и ничего больше, ничего иного, кроме этого, кроме самого моря,— ни зимы, ни лета, ни бугра, ни оврага.

Вода застилала свет из края в край.

А лодка плыла, все так же принырывая по волнам. Все так же занятно и радостно было мальчику находиться в лодке в ожидании большой охоты. Но, однако, все, что он видел и замечал вокруг — в воде и над

водой,— в этот раз он воспринимал мимолетно, по-праздничному вполвнимания, поскольку душа его торопилась, всецело занятая ожиданием иных впечатлений. В другое время его привлекала бы и нескончаемая игра лучей на воде, причудливо скользящих по поверхности, преображая лик моря переливами оттенков от нежно-фиолетового и темно-зеленого до густой тьмы в тени за бортом; и очень обрадовался бы он тем странным, любопытным рыбам, нечаянно оказавшимся возле лодки, и посмеялся бы над горбушами, что столкнулись с ними плотным косяком и вместо того, чтобы разбежаться, с перепугу стеснились еще плотней и стали выпрыгивать из воды и смешно падать на спины, зависая в воздухе.

Всего этого он не удостоил особого внимания — пустяки какие-то. Он жаждал лишь одного — скорей бы добраться до островов! Скорей бы за дело!

Но вскоре настроение мальчика как-то странно, само по себе изменилось, хотя он и не подавал вида. По мере того как удалялись они от земли, особенно после того, как Пегий пес вдруг скрылся с глаз за взгорбившейся чернотой воды, он стал улавливать некую смутную опасность, исходящую от моря, и почувствовал всю свою зависимость от моря — свою бесконечную малость и бесконечную беззащитность пред лицом великой стихии.

Для него это было ново. И тут он понял, как дорог ему Пегий пес, о котором он прежде никогда не вспоминал, беззаботно и безбоязно резвясь на его склонах, любуясь с высоты сопки ничем не угрожающим морем. Теперь он понял, какой могучий и добрый был Пегий пес, несокрушимый и всесильный на своем месте.

Теперь он понял разницу между сушей и морем. На земле не думаешь о земле. А находясь в море, неотступно думаешь о море, даже если мысли твои о другом. Это открытие настораживало мальчика. В том, что море заставляло постоянно думать о себе, таилось нечто неведомое, настойчивое, властное...

А взрослые, однако, были спокойны. Эмрайин и Мылгун все так же гребли, взмах за взмахом, как один человек, в ровном, слаженном темпе: четыре весла разом соприкасались с водой, легко и свободно сообщая лодке постоянный ход. Но это стоило гребцам непре-

рывного напряжения. Кириск не видел их лиц. Гребцы сидели к нему спиной, но он видел, как бугрились и расправлялись их заплечья. Они лишь изредка обменивались словом. Отец, правда, иногда успевал оглянуться, успевал улыбнуться сквозь бороду сыну: «Ну, как, мол?..»

Так они и плыли. Взрослые были спокойны и уверены в себе. Старик Орган, тот и вовсе был невозмутим. Все так же посасывая трубку, правил лодкой на своем месте. Так они и плыли, каждый занятый своим делом. Правда, раза два Кириск брался грести — то в паре с Мылгуном, то в паре с отцом. Гребцы ему охотно уступали одно из весел. Пусть, мол, поработает. И хотя он ворочал весло обеими руками, надолго его не хватало: слишком тяжела была для него лодка, да и весло великовато. Но никто его в том не упрекал и не жалел, всё больше работали молча.

А когда Пегий пес вдруг скрылся из виду, все разом оживились почему-то.

— Пегий пес ушел домой! — объявил отец.

— Да, ушел! — подтвердил Мылгун.

— Разве? Ушел, стало быть.— Глянул в ту сторону и старик Орган.— Ну, коли так, значит, дело идет. Эй, Кириск,— лукаво обратился он к мальчику,— а не покликать ли тебе Пегого пса, может, вернется?

Все засмеялись, и Кириск засмеялся. Потом он подумал и громко сказал:

— Тогда надо поворачивать назад — вот он и вернется!

— Ишь ты какой скорый! — воскликнул Орган, усмехаясь.— Давай-ка лучше займемся делом. Перелезай ко мне. Хватит глазеть. Море не пересмотришь.

Кириск покинул свое место на носу, стал перебираться к корме, переступая вещи на дне лодки: пару винчестеров, завернутых в оленьи кожи, гарпун, моток веревки, бочонок с водой, мешок с провизией и еще какие-то узлы и одежды. Протискиваясь по борту мимо гребцов, переступая через весла, мальчик ощутил запах крепкого мужского пота и табака, исходящий от взмокших затылков и спин. Тот самый запах отцовской одежды, который мать любит вдыхать, когда отец в море,— возьмет его старый кожух и прижмется лицом.

Отец кивнул сыну, прибоднул его слегка плечом в бок, но весел не выпустил из рук. Кириск, однако, не задержался на невольную отцовскую ласку. Ишь чего! В море все равны. В море нет ни отцов, ни сыновей. В море есть только старший. И без его ведома пальцем не пошевельни...

— Садись, прилаживайся возле,— указал ему место Орган, притрагиваясь к плечу длинной, узловатой рукой.— Ты, никак, сробел малость, а? Сначала вроде ничего, а потом...

Кириск смутился: значит, старик Орган догадался. Но все же протестующе возразил:

— Да нет, аткычх[1], вовсе не сробел! Чего мне бояться.

— Ну как же, первый раз в море.

— Ну и что — первый раз?! — не сдавался Кириск.— Да я ничего не боюсь.

— Ну, дело. А вот я, когда первый раз поплыл, а это было очень давно, честно признаюсь, перепугался. Смотрю: берега давно не видно и Пегий пес убежал куда-то. А кругом только волны. Домой захотелось. Да вон спроси у них — у Эмрайина и Мылгуна, каково им было?

Те в ответ понимающе заулыбались, закивали головами, налегая на весла.

— А я нет! — стоял на своем Кириск.

— Значит, молодец, коли так! — успокоил его старик.— А теперь скажи мне, в какой стороне остался Пегий пес?

Кириск призадумался от неожиданности и потом указал рукой:

— Вон там!

— Ты уверен? Что-то рука у тебя дрожит.

Унимая дрожь в руке, мальчик указал чуть-чуть, лишь слегка правее:

— Вон там!

— Вот теперь точно! — согласился Орган.— А если каяк повернется носом в эту сторону, тогда где будет Пегий пес?

—Вон там!

— А если ветер развернет нас в ту сторону?

---

[1] Аткычх — дед, дедушка.

— Вон там!

— А если налево поплывем?

— Вон там!

— Хорошо, а теперь скажи мне, как ты определяешь,— ведь вокруг глазам ничего не видно, кругом вода? — допытывался Орган.— Можешь объяснить?

— А у меня еще есть глаза,— ответил Кириск.

— Какие глаза?

— Не знаю, какие. Они у меня в животе, наверно, и они видят не видя.

— В животе! — Все рассмеялись.

— И то верно,— отозвался Орган.— Есть такие глаза. Только они не в животе, а в голове.

— А у меня в животе,— отстаивал свое Кириск, хотя соглашался уже, что такое зрение может быть лишь в голове.

Спустя некоторое время старик снова принялся испытывать Кириска и, убедившись в его способности запоминать стороны моря, остался доволен.

— Ну-ну, неплохие у тебя глаза в животе,— пробормотал он.

Польщенный похвалой, Кириск принялся сам задавать себе задачи и находить ответы. Пока что, при относительно спокойном море, это не представляло больших трудностей. Верный и великий Пегий пес всякий раз безотказно отзывался — без особых усилий памяти возникал перед внутренним взором Кириска именно там, в той стороне, где он оставался, возникал как бы воочию, всей своей громадой, с лохматыми лесами по кручам, с пятнами снега на «голове» и в «паху», с гремящим, неутомимым, вечным прибоем у подножия утеса. Представив себе Пегого пса, мальчик не мог не думать о других, окружающих сопках и невольно начинал думать о доме. Виделась ему небольшая долина среди прибрежных сопок, а в той долине у опушки леса, на берегу речки стойбище — срубы, лабазы, собаки, куры, вешала для сушки рыбы, дымы, голоса и там мать и сестренка Псулк. Он живо представил их себе и то, что они сейчас делают, чем занимаются. Мать втайне думает, конечно, о нем, и об отце, и обо всех них — охотниках в море. Да, вот сейчас она наверняка думает о них. Думает, а сама очень боится, чтобы злые духи не отгадали ее мысли, не проведали ее страха. И еще кто думает о нем, так

это, наверно, Музлук. Музлук, пожалуй, прибегала уже вроде бы поиграть с Псулк. А ведь мать может отругать ее, если та ненароком скажет вслух или спросит что-нибудь о нем, ушедшем в море. Мать непременно отчитает ее: «Ты о чем это болтаешь, разве ты не знаешь, что он ушел в лес за дровами». Девочка спохватится, замолчит, пристыженная. Кириску при этом даже жаль стало ее. Он хотел, чтобы Музлук думала о нем, но ему очень не хотелось, чтобы ее укоряли из-за него.

А лодка все так же плыла, слегка приныривая по волнам. И кругом блистало в мелком кипении волн все то же сплошь бурунистое море. Нивхи рассчитывали пополудни, самое позднее к концу дня добраться до первого островка (то был близлежащий из Трех сосцов — Малый сосец) и при удаче начать там охоту. Затем им предстояло засветло доплыть до второго — Среднего сосца и там заночевать, благо у берега есть удобная затишь для лодки. А рано утром снова в море. Если с вечера повезет, если добудут сразу три туши нерпы, утром могут не мешкая лечь в обратный путь. Но как бы то ни было, возвращаться предстояло в первой половине дня, не позднее высоты солнца в два тополя. Известно ведь, чем раньше покинешь море, тем лучше.

Все это было предусмотрено стариком Органом, на все он имел свой расчет. Да и подручные его — Эмрайин и Мылгун —не первый раз шли к Трем сосцам. Сами отлично знают что к чему. Главное же — чтобы погода стояла и чтобы зверя вовремя обнаружить на лежбище. Это главное, а все остальное, как сумеешь справиться, тут уж каждый за себя в ответе.

Старик Орган ходил в плавание не только в силу необходимости, нужда нуждой, ясное дело — без прокорма с моря не проживешь, но еще и потому, что море влекло его. Морские дали располагали старика к его заветным раздумьям. Были у него сокровенные мысли свои. В море ничто не мешало предаваться им, ибо всему тому, о чем поразмыслить некогда на суше, среди повседневных забот, в море наступал черед— здесь ничто не отвлекало Органа от его великих дум. Здесь он чувствовал себя сродни и Морю и Небу.

Он понимал, что перед лицом бесконечности простора человек в лодке ничто. Но человек мыслит и тем

восходит к величию Моря и Неба, и тем утверждает себя перед вечными стихиями, и тем он соизмерен глубине и высоте миров. И потому, пока человек жив, духом он могуч, как море, и бесконечен, как небо, ибо нет предела его мысли. А когда он умрет, кто-то другой будет мыслить дальше, от него и дальше, а следующий еще дальше и так без конца... Сознание этого доставляло старику горькую усладу непримиримого примирения.

Он понимал, что смерть неизбежна, что не так уж далек предел его жизни, понимал, что смерть всему конец, но при этом надеялся почему-то, что самое сокровенное и заветное в нем — его великие сны о Рыбе-женщине пребудут, останутся с ним и после смерти. Он не мог передать свои сны другому — сновидения непередаваемы, и потому, считал он, они не должны исчезнуть бесследно... Не должны. Великая Рыба-женщина бессмертна, стало быть, и сны о ней должны быть бессмертными.

Об этом он много и часто думал в плавании. Надолго умолкал, уходил в себя, не вступая ни в какие разговоры с попутчиками. Глядя на море, обращаясь неизвестно к кому, он просил лишь об одном: оставить ему его сны о Великой Рыбе-женщине. Разве невозможно, чтобы сны уходили вместе с человеком в иной мир, чтобы они снились вечно, во веки веков? Не находя ответа, он мучительно размышлял, пытаясь убедить себя, что так оно и будет, что сны останутся при нем...

Когда-то очень и очень давно, в незапамятные времена, на побережье близ сопки Пегого пса жили три брата. Старший был скороход, легок на подъем, везде и повсюду поспевал: женился он на дочери оленного человека, стал хозяином оленьих стад, откочевал в тундру, с тем и ушел. Младший был следопыт и меткий стрелок. Он тоже женился, взял себе девушку из лесных людей, ушел в тайгу, стал охотником в таежных местах. А средний брат был хромоногий от рождения, не повезло человеку, рано вставал, поздно ложился, да что толку — за оленями ему не угнаться, зверя в лесу не выследить. Никто в округе не отдал ему дочери своей в жены, братья покинули его, и остался он один у самого синего моря. Перебивался тем, что рыбу удил. Известное дело — сколько ее наудишь...

Однажды сидел он, горемычный брат хромоногий, в лодке своей, закинув леску в море, только вдруг почувствовал, как удилище сильно задрожало в руках. Обрадовался — вот будет улов! Начал он выводить рыбину, все ближе и ближе к лодке подтягивать.

Смотрит — что за диво! А то рыба в образе женщины! По воде колотит, извивается, уйти хочет. А красоты невиданной — тело гладкое, серебром отливает, как речной галечник в лунную ночь, груди белые с темными сосцами торчком, точно бы то еловые шишечки, а глаза зеленые огнем искрятся. Поднял он Рыбу-женщину из воды, подхватил под руки, тут она обняла его, и легли они в лодку. От счастья такого голова хромоногого братца кругом пошла. Сам не помнит, что с ним было, и казалось ему — до небес вскидывалась лодка. Раскачалось море до неба, небеса раскачались до моря. А потом все утихло разом, как после бури. Тут Рыба-женщина выпрыгнула из лодки и уплыла. Кинулся хромоногий братец, стал ее звать и умолять вернуться, но она не откликалась, исчезла в морской глубине.

Вот такой случай приключился с хромоногим средним братом, одиноким и покинутым всеми на краю моря. Уплыла Рыба-женщина и больше никогда не появлялась. А хромоногий брат с того дня затосковал, закручинился крепко. С того дня все дни и все ночи ходил он с плачем по берегу и все звал Рыбу-женщину, заклинал и просил ее хотя бы издали показаться.

По приливу шел и пел:

Где ты плаваешь, Великая Рыба-женщина?

По отливу шел и пел:

Где ты плаваешь, Великая Рыба-женщина?

Лунной ночью шел и пел:

Это море — тоска моя,
Эти воды — слезы мои.

Темной ночью шел и пел:

А земля — голова моя одинокая!
Где ты плаваешь, Великая Рыба-женщина?..

По приливу шел и пел, по отливу шел и пел...

А тем временем зима миновала, следом весна миновала, и однажды в летнюю пору шкондылял по берегу горемычный брат хромоногий, по волнам прибоя по колено брел и все в море смотрел — не покажется ли вдруг Рыба-женщина, и все звал ее — не откликнется ли вдруг Рыба-женщина, только вдруг услышал он на отмели вроде бы детский плач. Вроде бы дитя малое плачет-надрывается. Побежал он туда и глазам не верит своим — младенец голышом сидит на отмели у самой воды, волна то накроет его, то уйдет, а он плачет да все приговаривает громко: «Кто мой отец? Где мой отец?» Еще больше диву дался хромоногий брат, и не знал он, бедняга, как тут быть. А младенец увидел его и говорит: «Это ты мой отец! Возьми меня к себе, я твой сын!»

Вот ведь какая история вышла! Взял человек сына своего, унес его к себе.

Быстро подрос мальчик. По морю стал ходить. Отважным и крепким добытчиком прослыл. Удачливым родился: сеть забросит — рыбы полно, стрелу выпустит — зверя морского насквозь прошьет. Слава пошла о нем далеко, за леса и горы. Тут и девушку со всем уважением выдали за него из лесного племени. Дети народились, и отсюда пошел умножаться род людей Рыбы-женщины.

И отсюда песня поется на праздниках:

Где ты плаваешь, Великая Рыба-женщина?
Твое жаркое чрево — зачинает жизнь,
Твое жаркое чрево — нас породило у моря,
Твое жаркое чрево — лучшее место на свете.
Где ты плаваешь, Великая Рыба-женщина?..
Твои белые груди как нерпичьи головы,
Твои белые груди вскормили нас у моря.
Где ты плаваешь, Великая Рыба-женщина?..
Самый сильный мужчина к тебе поплывет,
Чтобы чрево твое расцветало,
Чтобы род твой на земле умножался...

Этот сон наплывал исподволь, как неумолимо прибывающий прилив из глубин океана, погружающий на какое-то время прибрежные земли, травы, дюны в околдованную призрачность подводного сумрака.

Всякий раз этот сон оставлял ошеломляющее, долго не проходящее ощущение у Органа. Он верил в него настолько, что никому, ни одной душе на свете не

рассказывал о своих свиданиях с Рыбой-женщиной, как не стал бы рассказывать кому бы то ни было о подобных случаях в обычной жизни.

Да, то был сон-спутник, часто навещающий старика, доставляя ему и отраду, и печаль, и неземные страдания духа. Удивительное свойство этого сновидения состояло в том, что каждый раз оно поражало Органа нескончаемостью сути своей и многозначностью намеков, заключенных в невероятных превращениях и причудах сна. Размышляя об этом, пытаясь разгадать тайную тайных — ту вечно неуловимую, непрестанно изменяющуюся связь сновидений с живой жизнью, которая вечно мучает человека своей загадочностью и неведомыми предзнаменованиями, Орган ловил себя на мысли, что при всем смятении духа он всегда жаждет возвращения этих снов, с неизбывной тоскою всегда жаждет свидания с ней, с Великой Рыбой-женщиной...

Он встречался с ней в море. Ожидая ее появления, выходил к берегу и в ожидании шел по пустынным прибрежным пескам, на которых не задерживались следы ног, но сохранялись черные, неподвижные тени от угасших лучей ушедшего солнца. Эти тени лежали подобно черному снегу, по которому он шел страдая, объятый пронзительной, нечеловеческой тоской. Боль любви, боль желаний и надежды переполняла его, а море оставалось пустынным и безучастным. Ни ветра, ни звуков, ни шороха не присутствовало в том напряженном безмолвном мире одиночества. А он ждал, неотрывно глядя на море, ждал чуда, ждал ее появления.

И тяжко становилось ему оттого, что бесшумные волны нагоняли вдоль его пути белую кипень бесшумного прибоя. Как огромные, мятущиеся хлопья снега, беззвучно витали над головой безголосые чайки. В этом оглохшем и онемевшем пространстве он не находил себе места, чувствуя, как ему делалось дурно, как по мере ожидания все больше, все острей и мучительней нарастала в нем неуемная, неумолимая тоска по ней, и даже во сне он понимал, что ему будет плохо, что он погибнет в пустоте одиночества, если не увидит ее, если она не появится. И тогда он принимался кричать, звать ее. Но голоса своего не различал, ибо голос отсутствовал, как отсутствовали все звуки

в этом странном сне. А море молчало. Лишь собственное тяжкое дыхание, невероятно громкое и прерывистое, и неумолчный бой собственного сердца, бешено отдающийся в висках, преследовали его. Они раздражали его. Он не знал, куда деваться, как избавиться от самого себя. Он ждал Рыбу-женщину как безумец, так страстно и дико, как ждет утопающий последней надежды на спасение. Он знал, что только она, Рыба-женщина, может дать ему счастье, знал и ждал из последних сил.

И когда, наконец, она стремительно выныривала на поверхность, когда она плыла к нему со взором, обращенным к нему, мелькая неясным ликом между волнами, немота мира сокрушалась, как обвал. Крича и ликуя, встречал он возвращение звуков: вновь пробудившийся рев прибоя, шум ветра и гомон чаек над головой. Крича и ликуя, он бросался к ней в море и плыл к ней, превратившись в быстроплавающее, как кит, существо.

А она, Рыба-женщина, ждала его, ходила бурными кругами, взмывая на миг над водой, и, вся трепеща, зависала в длинных бросках, ясно вырисовываясь в те мгновения живой телесной плотью, как самая обыкновенная женщина с хорошими бедрами, очутившаяся вдруг в море.

Он подплывал к ней, и они уходили в океан.

Плыли рядом, бок о бок, легко соприкасаясь в стремительном, все убыстряющемся движении. Это и было то, ради чего он томился в муках тоски и немоты одиночества.

Теперь они были вместе. С непостижимой силой и скоростью мчались они в мерцающую даль ночного океана, излучающего необыкновенное, из глубины идущее сияние на зыбкой черте горизонта, они неслись туда, к неуловимому горизонту, прошивая телами вспененные гребни беспрестанно бегущих навстречу волн, они мчались по нескончаемым перекатам, то возносясь вверх, то скользя вниз, захваченные восторгом ликующего полета — то вверх, то вниз, с гряды на гряду, от переката к перекату. А рядом с ними, сопровождая их, неотступно следовала скачущим зеркальным пятном вытянувшаяся в беге, поспешающая по волнам желтая луна. Только луна и только они — он и Рыба-женщина, только они царили в этом без-

брежном океанском просторе, только они и океан! То была вершина их счастья, то было упоение свободой, то было торжеством их свидания...

Они мчались беспрерывно и мощно, во власти неодолимого желания поскорее достигнуть некоего места на свете, предназначенного им, где они, одержимые страстью, соединятся, наконец, чтобы познать в одно молниеносное мгновение всю усладу и всю горечь начала и конца жизни...

Так они и плыли, стремглав, безудержно, в надежде скорого достижения желанной цели.

И чем быстрее они плыли, тем отчаяннее разгоралось в нем яростное нетерпение плоти. Он плыл без устали, рвался вперед изо всех сил, как лосось, несущий к месту нереста всю свою жизненную энергию до единой, до наипоследней, наиисчерпывающей капли. Он плыл, готовый умереть от любви. А загадочная Рыба-женщина, увлекая его все дальше и дальше в глубь океана, продолжала лететь по волнам в туче брызг и сверкающей радуге, восхищая Органа жемчужной теплотой, стремительностью и гибкостью тела. Дыхание занималось от совершенства красоты ее, омываемой синевой и белизной завихряющихся струй воды.

Они ни о чем не говорили, они лишь неотрывно смотрели друг на друга, пытаясь вглядеться в потоках воды и брызгах в смутные очертания лиц, и безостановочно мчались по океану в нетерпеливом, всевозрастающем ожидании места и часа, предназначенных им судьбой...

Но они никогда не достигали того места, и тот час никогда не наступал...

В большинстве случаев сны его кончались ничем — внезапно все обрывалось, исчезало, как дым. И тогда он оставался в недоумении. По-настоящему огорчался и долго потом тосковал, испытывал чувство некой неудовлетворенности, незавершенности. Иной раз, спустя много времени, припоминал все изначала, задумывался всерьез — что бы все это значило и к чему это, ибо в душе он верил, что то, что ему снилось, было больше, чем сон. Ведь обычный сон если и вспомнишь, то вскоре забудешь навсегда. От такого зряшного дела голова болела бы, мало ли чего не приснится. А Рыбу-женщину Орган никогда не забывал, ду-

мал, размышлял о ней как о чем-то таком, что действительно имело и имеет место в жизни. Поэтому, пожалуй, старик каждый раз искренне переживал, воспринимая свою встречу и неожиданную разлуку с Рыбой-женщиной во сне и как подлинное событие.

Но, бывало, сильнее всего терзался он духом, когда сон завершался тяжким финалом. В таких случаях сокрушался он с великим отчаянием и прискорбием, не находя объяснения загадочному исходу сна.

Снилось ему, что вот-вот доплывают они до заветного места, что вот уже виден вдали какой-то берег. То был берег любви — к нему направлялись, поспешали они что есть мочи, охваченные неистовым желанием поскорее достигнуть этого берега, где они смогут отдаться друг другу. Вот уже близко совсем до берега, и вдруг с ходу врезались в песчаное дно мелководья, где воды ниже колена и где плаванию конец. Орган спохватывался, оглядывался: Рыба-женщина бешено колотилась в мелкой воде, тщетно пытаясь вырваться из плена коварной отмели. Обливаясь холодным потом, Орган бросался к ней на помощь. Но проходила целая вечность, пока он, увязая в засасывающей, как болото, трясине дна, полз на коленях, волоча непослушные, обмякшие, чужие ноги. Рыба-женщина была совсем рядом, рукой дотянуться оставалось самую малость, но добираться до нее было мучительно, он задыхался, захлебывался, проваливаясь в илистом дне, запутывался в липнувших водорослях. Но еще более мучительно было видеть, как трепыхалась, билась застрявшая на мели его прекрасная Рыба-женщина. И когда, наконец, он добирался и, шатаясь от головокружения, шел к берегу, прижимая ее к груди, он явственно слышал, как панически стучало готовое разорваться на части сердце Рыбы-женщины, точно то была схваченная в погоне птица-подранок. И от этого, от того, что он нес ее на руках, крепко прижимая к себе, от того, что до боли, всем существом своим проникался нежностью и жалостью к ней, как если бы он нес на руках беззащитное дитя, к горлу подкатывал тугой, горячий ком слез. Растроганный, стыдясь Рыбы-женщины, он сдерживал себя, чтобы не заплакать. Он нес ее, замирая сердцем, плавно передвигаясь, замирая и зависая на лету в воздухе, думая о ней на каждом шагу. А она, Рыба-женщина, умоля-

ла его, в слезах заклинала, чтобы он отнес ее обратно в море, на волю. Она задыхалась, она умирала, она не могла любить его вне большого моря. Она плакала и молча смотрела на него такими просящими, пронзительными глазами, что он не выдерживал. Поворачивал назад, шел через отмель к морю, погружаясь все глубже и глубже в воду, и здесь осторожно выпускал ее из своих объятий.

Рыба-женщина уплывала в море, а он оставался оглушенный и одинокий. Глядя ей вслед, Орган просыпался в рыданиях...

Где ты плаваешь, Великая Рыба-женщина?
Это море — тоска моя,
Эти воды — слезы мои.
А земля — голова моя одинокая.
Где ты плаваешь, Великая Рыба-женщина?

Тяжко и невыносимо было ему вспоминать об этом, будто бы и в самом деле держал он Рыбу-женщину в руках и сам же отпустил ее на волю. Отчего так случалось? Разве невозможно, чтобы во сне сбывались любые желания человека? От кого зависит это? Кто стоит и что стоит за этим, в чем смысл, какой тут сказ и к чему он? Теряясь в догадках, отмахивался Орган от таких мыслей, пытался забыть, не думать о Рыбе-женщине.

Но очутившись на промысле, сам не замечал, как начинал думать о ней и обо всем, что было с этим связано. В море он как бы заново переживал всю историю необыкновенного сновидения и, размышляя трезво, удивлялся, спрашивал себя: зачем он думает об этом, разве его стариковское дело тосковать о несуществующей Рыбе-женщине? Укорял себя и себе же признавался: не будь ее, сам бы себе был уже в тягость — вот постарел уже, и силы не те, и глаза не те, и краса ушла, и зубов не хватает. Все, чем славен был, все уходит, разрушается, и смерть не за горами, и лишь грудь не сдается, желания в груди живут по-прежнему, как в молодости, беда — не стареет душа. Потому-то и думы думаются такие, и сны видятся такие,— потому как только во сне и в мыслях человек для себя бессмертен и свободен. Мечтой восходит в небо он и опускается в глубины морей. Тем и велик он, что до самого смертного часа думает обо всем, что есть в жизни. Но

смерть не считается с этим, дела ей нет, что жил человек, какого величия в мыслях достиг и какие сны он видел, каким он был, насколько и на что ума у него хватало — все ей нипочем. Почему так? Зачем так устроено на свете? Пусть Рыба-женщина — сон, но пусть оставался бы этот сон навечно и там, в ином мире...

Так же, как он верил в Рыбу-женщину, верил Орган и в то, что море внемлет ему. Здесь ему и дышалось и думалось вольготно. Тут изливал он душу свою. Погруженный в свои мысли, порой он даже спрашивал себя: «А не здесь ли мы проплывали с ней?»

В такие минуты заново набивал трубку. Упивался табачным дымом: «И где она растет трава эдакая — вроде злая, а на душе легчает... В Маньчжурии, говорят купцы. Оттуда они ее привозят. Далеко она, эта Маньчжурия, ох, далеко, никогда никто из наших людей там не бывал... Неужто табак растет там, как трава в лесу? Вот чудеса, чего только не бывает на свете...»

Солнце уже перевалило за полдень. Несколько раз за это время оно скрывалось за облаками, набегавшими вдруг откуда-то из-за горизонта, точно бы там таилось гнездовье непогоды,— и тогда море моментально меркло, темнело ликом, сумрачно, неуютно становилось вокруг. То вновь выглядывало, светило из-за туч по-весеннему щедро и ясно, и тогда море играло мириадами живых, купающихся отблесков, сверкавших до боли в глазах, и опять становилось веселей на душе.

Кириск хотя и привык к морю и даже заскучал немного, но все еще не покидало его чувство удивления огромностью, неоглядностью морского простора. Сколько плывут — все конца-краю не видно. На земле, какая бы она ни была обширная, он никогда не удивлялся бы этому, как в море.

А взрослые ничуть ничему не удивлялись. Им было все привычно. Эмрайин и Мылгун продолжали грести все так же ровно, без замашистости зацепляя веслами верх воды. Они работали неутомимо, не позволили даже Органу подменить их для передышки, сказали, что лучше на обратном пути, когда с грузом будут, тогда поможет, а сейчас, мол, пусть правит себе.

Старый Орган, кадыкастый и длинношеий, сидел на корме ссутулившись, как орлан, выжидающий добычу. Больше молчал, думал о чем-то своем.

А лодка плыла, все так же слегка прицыривая по волнам. И волна стояла все та же — умеренной силы. Ветер шел низовой, устойчивый.

Так они плыли...

— Аткычх! Аткычх! Вон остров! Малый сосец! — радостно воскликнул вдруг Кириск, дернув Органа за рукав.

— Где остров? — не поверил Орган, приставляя ладонь к глазам. И гребцы удивленно оглянулись туда, куда указывал мальчик.

— Не должно быть,— пробормотал старик, ибо мальчик показывал совсем в другую сторону, неожиданную для них сторону.

Мальчик не врал. Там, вдали, очень далеко, действительно, неподвижно темнела в море застывшая неровная полоса грязно-бурого оттенка, точно то был выступ тверди среди воды. Орган долго всматривался.

— Нет, то не остров,— убежденно сказал он наконец.— Нам до Малого сосца еще плыть по прямой, на закат, туда, куда мы плывем. А это совсем в стороне. И то не остров,— продолжал он.— Сдается мне, то не остров.

— Такого острова в этих водах никогда не было, никогда не видели мы такого острова,— сказал Мылгун.— Малый сосец будет слева, а это не знаю, что такое.

— А не туман ли это или облако какое? — промолвил Эмрайин.— Или волна так бурунит, тогда почему она не движется?

— Вот то-то, что оно есть? Туман или облако, кто его знает. Далеко отсюда. Но то не остров,— рассуждал Орган.— Но если это туман такой, то радости мало.

— Ничего, лишь бы ветер не изменился,— налегая на весла, высказал свое мнение Эмрайин.— Стоит оно на месте, не движется. А нам в той стороне делать нечего, пусть себе что есть, то есть...

Кириск вначале разочаровался было, что обнаруженное им оказалось чем-то неопределенным, но потом быстро забыл об этом.

А охотники не ошиблись. Островок Малый сосец вскоре завиднелся из воды по левую руку. Тут уж никаких сомнений не было. То оказался совсем небольшой, сплошь каменистый, бугристый выступ суши, и в самом деле напоминавший сосок.

Завидев остров, все оживились, особенно Кириск,— значит, не бесконечно море. И тут началось самое интересное в плавании.

— Ну вот,— Орган потрепал башлык на голове мальчишки.— Пегий пес довел нас до острова, хотя сам остался дома. Ведь побеги он следом за нами, утонул бы?

— Еще бы! — подтвердил Кириск, улавливая смысл игры.

— А Пегий пес затем нам и нужен, чтобы оставался дом стеречь, а мы, помня его, добрались бы, не сбиваясь с пути, к месту охоты. Как ты думаешь, нужен будет нам еще Пегий пес или нет?

— Нет, не нужен,— опять же совершенно уверенно отвечал Кириск.— Теперь мы сами видим, куда плыть.

— А ты подумал бы, а! — укорил Орган.— А то ведь ты такой шустрый, ты бы подумал.

Кириск не сообразил, зачем еще нужен будет этот Пегий пес в море у далекого острова.

— А зачем тут наш Пегий пес?

— А домой возвращаться как будешь? Куда поплывешь, в какую сторону? Ну-ка, подумай? Догадался? Запомни, с какой стороны подплываем, какой стороной остров смотрит на Пегого пса — тогда будешь знать, куда путь держать, когда возвращаться.

Кириск молча согласился, но все же самолюбие его было уязвлено, и, возможно, поэтому он спросил несколько запальчиво:

— А если будет темно, а? Если ночью окажемся в море и ничего не видно, а? Так как?! А! Тогда как узнать, где Пегий пес, в какой стороне? А!

— Ну что ж, и тогда можно узнать,— спокойно отвечал ему на это Орган.— Для этого есть звезды на небе. Звезды не подведут, всегда точно укажут. Только бы сам знал, где какая звезда. Дай срок, научишься еще. Ты созвездие утки Лувр знаешь?

— Знаю, кажется,— неуверенно произнес Кириск, глянув на отца. Эмрайин понял затруднение сына:

— Знает чуть-чуть, я ему как-то показывал. Но этого мало. Надо еще поучиться...

Так они плыли, постепенно приближаясь к острову. А когда стали различимы отдельные камни и скалы на берегу, пошли обходом вокруг острова, пристально вглядываясь в прибрежные места с тем, чтобы обнаружить лежбище нерпы. Кириск смотрел очень усердно, ему хотелось первому увидеть стадо. Но его предупредили — если заметит зверей, не производить лишнего шума. Орган сказал, что нерпы лежат где-то среди прибрежных камней у воды — они выползают на сушу погреться на солнце. Надо приметить, где они расположились, а затем, высадившись скрытно на берег, подкрасться к ним незаметно, чтобы не вспугнуть. Но Кириск так ничего и не разглядел. Берега были пустынны и унылы. Сплошной дикий камень, разрушенный от времени, бесформенный, глыбистый. Вокруг острова белопенным кипящим кольцом шумел прибой, норовя все время перехлестнуть через завалы обледенелых камней. Нет, ничего не углядел на островке Кириск. Только камни на камнях и никаких живых тварей.

Зато Мылгун первым заметил. И пока Кириск крутил головой, пытаясь различить, где именно затаились нерпы, лодка отплыла подальше от того места, чтобы не оказаться увиденной с лежбища.

А старый Орган понял, что Кириск ничего не разглядел.

— Ну, ты видел? — спросил он у него.

Мальчик не посмел соврать.

— Нет, не увидел,— признался он.

— Подплывем еще раз,— велел Орган.— Учись различать среди камней. А иначе ты не сможешь стать охотником.

Гребцы повиновались, подвели лодку на прежнее место, хотя это было рискованно. Стоило одной нерпе поднять тревогу, как все стадо немедленно кинулось бы в море. Но, к счастью, звери не замечали охотников. Они лежали за каменной грядой, среди корявых, беспорядочно разбросанных каменьев почти у самой воды.

— Вон видишь острый камень, как обломанный клык, и неподалеку красноватый такой, обледенелый бугорок — смотри между ними,— сказал Кириску Мылгун.

Кириск вглядывался. Мылгун и Эмрайин тем временем, нагребая веслами, старались устойчиво держать лодку на месте. И тут Кириск увидел спины морских зверей — мощные хвостатые тулова. Сероватые, пятнистые, лоснящиеся спины были неподвижны. Издали для неопытного глаза они были неразличимы между камнями.

И с этой минуты мальчика охватило волнение. Начинается: вот они, настоящие морские звери! Вот она, большая охота!

Когда они затем высаживались на берег, он был возбужден, он был переполнен отвагой и восхищением. Отвагой, ибо он чувствовал себя в этот момент сильным и значительным. И восхищением — он видел, как здорово и слаженно действовали охотники: как они подвели лодку к берегу, как Эмрайин и старик Орган держали на веслах лодку у прибоя, а Мылгун изловчился, выпрыгнул на край галечника, как затем он подтянул лодку за брошенный конец, перекинув его через плечо, и как, подхватив винчестеры, выпрыгнул на берег отец. За ним, не без помощи старика Органа, выпрыгнул и он сам, хотя и намочил при этом ноги в прибрежной волне и выслушал негромкий выговор отца.

В лодке оставался Орган, чтобы держать ее на волне у берега, а они втроем — Эмрайин, Мылгун и Кириск — поспешили к лежбищу. Шли берегом, инстинктивно пригибаясь, быстрыми перебежками от укрытия к укрытию. Кириск не отставал и только чувствовал, как бешено колотится сердце в груди и как временами кружится голова от возносящего чувства гордости и волнения.

Если бы только люди Рыбы-женщины могли видеть его сейчас, быстро идущего с большими охотниками на морского зверя! Если бы видела его сейчас мать, как она гордилась бы им, будущим великим добытчиком и кормильцем рода! Если бы видела его сейчас Музлук, с которой он часто играл, а теперь никогда не будет играть, ибо отныне имя его — охотник, и если бы она видела, как он сейчас вдали от родного Пе-

гого пса пробирается незнакомым бушующим берегом, среди диких скал и камней, к лежбищу нерпы. И не беда, что винчестеры находились у Мылгуна и Эмрайина: отец обещал дать ему в руки ружье, когда наступит время стрелять.

Так они шли, подкрадываясь к месту лежбища, а потом поползли по земле, и Кириск пополз. По жестким камням и щербатому льду ползти было тяжко, неловко, но Кириск понимал, что это необходимо.

Они ползли, тяжело дыша, обливаясь потом, то и дело затаиваясь, то и дело выглядывая, осматриваясь по сторонам. И замерли, затихли, когда оставалось приладиться и стрелять.

На всю жизнь запомнил Кириск этот час, этот весенний день, этот холодный каменистый островок среди бесконечно огромного моря и на нем — эти дикие темно-рыжие камни, вывороченные и раскиданные повсюду некой безумной силой, эту голую смерзшуюся землю, на которой он лежал ничком, еще не оттаявшую ото льда, жесткую и безжизненную, а рядом с собой отца и Мылгуна, изготовлявшихся к стрельбе, а впереди, в ложбинке у самого края моря, среди скальных развалин, замшелых, корявых, разрушенных ветрами и штормами,— небольшое нерпичье стадо, пока еще ничего не подозревавшее и спокойно возлежащее на своем месте. А над ними, над лежбищем, над островом, над морем — слегка мглистое, застывшее небо, как показалось ему тогда, напряженно ожидающее первого выстрела.

«Только бы попасть!» — думал он, придвигаясь плечом к прикладу винчестера, переданного ему отцом.

В то короткое долгожданное мгновение, когда, гордясь собой, он уже видел себя прославленным, отважным охотником, его вдруг поразило, что живые спины, живые бока этих неуклюжих, тучных животных, затесавшихся в каменную лощину в ожидании скупого солнечного тепла, так беззащитны и уязвимы. Но то была лишь минутная заминка. Вспомнил, что он охотник и что люди ждут от него добычи, что без мяса и жира нерпы жизнь голодна и скудна, и где-то мелькнула еще мысль, что надо первым выстрелить и показать себя. Он окреп духом, твердо целясь, как советовал отец, под левый ласт и чуть выше и чуть пра-

вее — в самое сердце крупного, пятнистого лахтака. А лахтак, будто предчувствуя что-то недоброе, вдруг насторожился, хотя он не видел охотников и учуять их не мог — ветер дул с моря. Надо было еще слегка пододвинуться в сторону — для лучшего прицела, что-то мешало впереди, какая-то тень,— надо было пододвинуться очень осторожно, и тут камень из-под локтя Кириска резко сдвинулся и покатился вниз по уклону, зацепляя случайные камни по пути. Пятнистый лахтак издал короткий лающий звук — стадо встрепенулось и с ревом быстро поползло, покатилось к воде. Но в ту секунду, упреждая их отход к морю, прогремел выстрел, сразивший большую нерпу с края стада — то Мылгун спасал положение. Кириск растерялся.

— Стреляй! — приказал ему Эмрайин.

В плечо сильно саданулo, выстрел ударил в уши, и все потонуло в глухоте. Кириску стало невыносимо стыдно, что промазал и что по его вине охота срывалась. Но отец совал ему патрон:

— Заряжай, стреляй быстрей!

То, что казалось не таким уж трудным делом — зарядить и выстрелить (сколько раз он это проделывал запросто, когда учился стрелять), теперь не получалось. Затвор винчестера не сразу поддался. Мылгун тем временем дал с колена еще два выстрела вдогонку кинувшимся в воду нерпам. Одну ранил, и она закрутилась у самого края берега. Охотники побежали туда. Стадо уже скрывалось в море, а раненое животное, оставшееся на берегу, всеми силами пыталось уползти в воду. Когда люди подбежали к тому месту, нерпе удалось добраться до воды, и она, увлекая за собой кроваво колыхающееся пятно, поплыла, работая лапами-ластами, медленно погружаясь в прозрачную глубину моря. Ясно были видны ее испуганно вытаращенные глаза и светло-сиреневая полоса по хребту, от затылка до самого кончика хвоста. Мылгун опустил вскинутый винчестер — добивать нерпу теперь не было смысла.

— Оставь, все равно утонет,— проговорил Эмрайин.

А Кириск стоял, запыхавшись, удрученный, недовольный собой. Он-то ожидал гораздо большего. Вот тебе и великий охотник!

И замолчал мальчишка, все силы собрал, чтобы не заплакать вдруг от обиды. Так было ему горько.

— Ничего, у тебя еще будет удача,— успокоил его потом Мылгун, когда они принялись потрошить убитую нерпу.— Вот сейчас поплывем на Средний сосец, там зверья побольше водится.

— Да я просто поспешил,— начал было Кириск, но отец прервал его:

— Не оправдывайся. С первого выстрела никто не становится охотником. Будь здоров, стрелять умеешь, добыча от тебя никуда не уйдет.

Кириск промолчал, но в душе был благодарен, что взрослые не упрекали его. И теперь он дал себе слово — не спешить на охоте и не думать ни о чем другом, стрелять наверняка, когда глаз и дыхание, как учил отец, «переселятся в прицел». Вот тогда посылать пулю!

Нерпа оказалась большой, тяжеловесной, совсем еще теплой, как живая. Мылгун удовлетворенно потирал руки, освежевывая тушу с брюшной части: «Жира-то, видишь, на четыре пальца. Хороша!» Забыв уже о своем огорчении, Кириск с увлечением помогал ему. А Эмрайин тем временем пошел к старику Органу причалить поблизости лодку.

Вскоре он вернулся, озабоченно торопливый.

— Время не ждет, давайте быстрей! — И, поглядев на небо, добавил, ни к кому не обращаясь: — Не нравится мне погода...

Наскоро выпотрошив тушу, оставив из внутренностей только печень и сердце, охотники потащили нерпу на связанных жердях к лодке. Кириск шел следом, нес ружья, оба винчестера.

На берегу, возле лодки, их ждал Орган. Старик был обрадован.

— Пусть Курнг[1] услышит, как мы довольны! Для начала и это неплохо! — приговаривал он, готовя свой охотничий нож для трапезы. Предстояло самое главное после охоты — поедание на месте сырой нерпичьей печенки. Орган присел над располосованной тушей, нарезал печень дольками. Слегка присыпав солью, охотники глотали нежные куски печени, причмокивая от удовольствия. Печень была очень вкусна — нежная,

---

[1] Курнг — высшее божество.

теплая, сытная. Во рту она таяла, обволакивая язык жирным соком. Сбылась мечта Кириска — как настоящий мужчина, ел сырую печень на охоте!

— Глотай, глотай побольше! — советовал Орган мальчику.— Ночь будет холодной, промерзнешь. А печень — самый лучший согрев. И от всех болезней первое средство.

Да, здорово это было. Наелись отменно, и сразу пить захотелось. Но вода была в бочонке, в лодке.

— Разделывать тушу сейчас не стоит,— сказал Эмрайин, когда все насытились, и опять беспокойно посмотрел на небо.

— Успеется,— согласился Орган.— Чай согреем на ночь, когда устроимся на Среднем сосце,— добавил он.— А пока обойдемся. Будем грузиться.

Перед самым отплытием охотники не забыли покормить землю. Мелко нарезанное сердце нерпы разбросали с приговором для хозяина острова, чтобы тот не отказывал им в удаче в следующий раз. С тем они снова вышли в море.

Малый сосец оставался позади. Одинокий сиротливый островок среди хмурой воды вызывал чувство жалости и неприкаянности. Путь держали к Среднему. День уже клонился к вечеру. Гребцы приналегали на весла, торопились засветло попасть к Среднему сосцу, где предстояло зачалить лодку в укрытие и заночевать. Малый сосец вскоре исчез из вида, как бы опустился в море, но Средний еще не появлялся. Снова кругом обступала вода.

Пока они промышляли нерпу, море заметно изменилось. Волна стала плотней. Тверже. Масса воды еще продолжала катиться в прежнем направлении, ветер же успел уже перемениться. Лодку встряхивало и качало теперь гораздо жестче. Но охотников больше беспокоило небо. Что оно предвещало? Что-то непонятное и неожиданное в это время года! Невесть откуда летящая муть в воздухе покрывала небо белесой текучей завесой, как марью, гонимой верховым ветром от далеких лесных пожаров, бушующих где-то в черных дебрях. И хотя дымка эта всего лишь затягивала небо и ничем никому не мешала, охотники хмурились.

— Откуда ее прет? — бормотал Орган, недовольно оглядываясь вокруг.

Теперь они плыли в напряжении, ожидая с каждым взмахом весел, что вот-вот покажется впереди земля — Средний сосец, самый удобный и надежный из Трех сосцов.

Тем временем небо даже прояснилось, и даже солнце вновь проглянуло с края моря, а может быть, с самого края света — настолько далеко и неправдоподобно это было. На солнце можно было запросто смотреть, не отворачиваясь. Четко очерченное и налившееся багровостью, солнце уже угасало, смутно рдея, в той далекой багрово-дымной стороне. Приоткрылось небо, и снова свет и спокойствие воцарились в мире. И этого оказалось достаточно — сразу спало напряжение. Люди в море уже предвкушали приют и отдых на острове.

— Потерпи еще немного, и Средний сосец подымется впереди,— сказал Орган сидящему возле Кириску, ободряя его похлопыванием по спине.

Мальчику давно хотелось пить, но он пока воздерживался, по детской наивности своей неукоснительно соблюдая запрет отца. Тот накануне еще сказал ему, что в плавании питьевой воды всегда в обрез, нельзя пить попусту, как дома. Даже на островах, на всех трех, нет ни капли пресной воды. А в лодку лишний груз брать тоже невозможно. Пить можно лишь тогда, когда будут все пить.

В тот светлый промежуток, когда вдруг в прояснившейся дали выглянуло солнце, мальчик почувствовал доброту старика Органа.

— Аткычх! Пить хочется очень! — сказал он, мужественно улыбаясь и поглядывая на отца.

— Во-он как! — понимающе усмехнулся Орган.— После такой печенки-то немудрено! Ясное дело! Да ведь мы все пить хотим, а?

Эмрайин и Мылгун одобрительно закивали в ответ со своих мест. И это обрадовало Кириска — значит, все пить хотят, не только он один.

— Ну что ж, коли так, побалуем себя водицей, а потом и закурим! — С этими словами старик Орган заклинил рулевое весло, поднял со дна лодки бочонок с водой, поставил его сподручней и стал нацеживать воду через желобок в луженный изнутри медный ковш. Вода была холодная, светлая — в роднике набирали, как раз на обратном от моря склоне Пегого пса. Там

самая любимая вода, всегда чистая, вкусная. Летом травами наполоскавшимися пахнет и сырой землей.

Ковшик держал под струйкой Кириск. Очень хотелось побыстрей напиться. И когда ковш наполнился наполовину, старик Орган прикрыл струю затычкой.

— Ну, пей! — предложил он Кириску.— А потом напоишь и других. Не расплескивай,— предупредил он.

Кириск пил вначале жадно, а под конец помедленней и тогда ощутил, что вода уже припахивает набухшим деревом.

— Напился? — спросил Орган.

— Да.

— По глазам вижу — не совсем. Ну так и быть уж. Еще малость дам. Печенка — штука сильная, были бы на земле, пей хоть целое ведро,— приговаривал старик, нацеживая Кириску на дно ковша.

И тогда он напился вдоволь и почувствовал справедливость слов, которые взрослые говаривали в таких случаях: ох, мол, на душе отлегло!

Потом по три четверти ковша налили гребцам. Кириск сам подавал каждому из них ковш с водой. Напившись досыта, он ничего не имел против, чтобы отец и Мылгун тоже пили столько, сколько захотят. Старейшина Орган, однако, счел нужным объяснить ему, почему он налил им по три четверти ковша:

— Ты еще мал телом, а они вон какие! И работа у них тяжелая. Когда гребешь, пить очень хочется.

Эти двое и в самом деле сразу осушили свои ковши, и еще пришлось им налить. В этот раз старейшина Орган счел нужным пожурить самих гребцов:

— Вы, братцы, не очень-то. Не на берегу реки сидите!

Эмрайин и Мылгун в ответ только заулыбались. Понимаем, мол, но ничего не могли поделать — пить хотелось.

Но и сам Орган, выпив свою долю воды, покачал с усмешкой головой:

— Да-а, неплохо бы и у реки посидеть. Вот ведь какая сила — печень сырая...

Потом он набил трубку, закурил, задымил, блаженствуя, не подозревая, что уж больше никогда не испытает такой отрады...

Первым увидел беду Кириск!..

Перед этим была удивительная минута покоя, когда все, утолив жажду, почувствовали себя довольными, счастливыми.

Первая нерпа была добыта, вскоре предстоял отдых на острове, а с утра снова большая охота на морского зверя. И сразу после охоты возвращение домой, без промедления. Все было в порядке.

Лодка все так же плыла, привычно приныривая по волнам. Старик Орган правил на корме, посасывая свою трубку, и, быть может, думал о своей Рыбе-женщине. Эмрайин и Мылгун знай себе гребли, махали веслами, казалось бы, без усилий, легко, точно, красиво. Кириск невольно залюбовался охотниками. По какому-то мальчишечьему наитию в ту минуту он разглядывал каждого из них в отдельности, думая о каждом из них. Он любил их неосознанно, гордился тем, что находился в этот час вместе с ними в плавании.

Кириск не мог представить себе этих людей иными. Старик Орган, должно быть, всегда, во все времена был стариком Органом, вот таким кадыкастым, длинношеим, с узловатыми, как корневища, длинными руками и привычно слезящимися, всепонимающими глазами. А разве могло быть иначе? Разве могла быть жизнь без старейшины, без этого всеми уважаемого человека? Странно, разве могло быть так?

Мать говорит, что он, Кириск, очень похож на отца и что, когда он вырастет, будет вылитый Эмрайин. И глаза, говорит, точно такие, карие, как желуди, и зубы крепкие и точно такие — два передних немного выпирают вперед. И борода, говорит она, будет у него, как у отца, черная, сильная и густая. Недаром же отца зовут Бородатым Эмрайином. А когда Кириск был еще поменьше, когда он еще купался голышом в ручье, мать подталкивала сестру свою под бок: смотри, смотри, ну в точности, как сам. И, потешаясь над чем-то, они до упаду смеялись, озорно перешептывались, и мать говорила, что, если Кириску, когда он вырастет,

попадется жена такая же, как она сама, та будет не в обиде — ей будет хорошо, это она знает. Странно, думалось ему, кому и как это будет хорошо? И почему жене его должно стать хорошо, если он будет похож на отца?

Вот он сидит впереди, нагребает. Чернобородый, белозубый. А сам плечистый, уверенный в себе, всегда ровный характером. Не помнил Кириск, чтобы отец громко накричал на него или пожалел, оберегал, как другие. А глаза и в самом деле, как зрелые желуди — чистые, налитые блеском.

За ним, у второй пары весел, сидит его двоюродный брат Мылгун, младше отца на года два. Даром что брат — бороды у него почти нет. А что есть, так топорщится, как у моржа усы. И сам он похож на моржа. Этот и поговорить и поспорить любит, если что не так. Обиды никому не спустит — подрался раз с каким-то заезжим купцом. Пришлось всем родом извиняться да задабривать купца. А Мылгун ни в какую; несмотря что короткий ростом и круглый, как пень, рвется; я, говорит, докажу ему правду. Напился пьяный. До этого дела он охочий. Несколько человек, и Эмрайин в том числе, хотели его скрутить, так туго пришлось. Силен оказался, как медведь. Кириску он аки-Малгун[1]. С отцом они дружны, всегда в паре ходят на охоту, потому что они никогда не подведут друг друга и оба одинаково надежные охотники. У Мылгуна сын еще совсем маленький — только-только бегать стал и две девочки постарше. Кириск их никому в обиду не дает, пусть попробует кто-нибудь тронет. А мать Кириска души не чает в девчушках Мылгуна, часто прибегают они поиграть к Псулк.

Но красивее всех среди всех девочек Музлук! Жаль, говорят, когда она вырастет, ее отдадут на сторону — замуж соседним людям. Вдруг бы взять и не отдать...

Там, на побережье, редко когда думал Кириск о таких вещах, а теперь, на отдалении, все обычное обрело для него ранее неведомый трогательный смысл.

---

[1] **Аки** — употребляется по отношению к старшему родственнику.

Ему вдруг очень сильно захотелось домой, туда, где за сопкой Пегого пса, в долине реки, у опушки леса, расположилось старинное становище прибрежных нивхов — людей Рыбы-женщины. Так ему захотелось в тот час к матери, что сердце заныло. Но так далеко находились они от родного побережья, от родного Пегого пса, вечно бегущего по делам своим краем вечного моря. Кириск невольно обернулся даже, как бы желая удостовериться в том, и, озираясь по сторонам, увидел совершенно неожиданное.

По морю, застилая почти полгоризонта, двумя широкими, смыкающимися языками надвигалась на них серая стена густого тумана. Туман подступал зримо, могуче клубясь по черной поверхности воды, неуклонно заполняя собой все окружающее пространство. Он приближался, как живое существо, как чудовище, имеющее непременной целью захватить, поглотить их вместе с лодкой, вместе со всем видимым и невидимым миром. Туман шел именно с той стороны, в какой ранее, приняв издали за остров, Кириск видел нечто неопределенное, какую-то застывшую средь моря серую массу. Теперь вся эта масса, набухая и разрастаясь на глазах, бесшумно и безостановочно катилась, гонимая ветром, к ним.

— Смотрите! Смотрите! — испуганно вскричал Кириск.

Все оторопели. Лодка, оставшаяся на миг без управления, заплясала на волнах. И в ту же минуту донесся грозный шум великой волны, выбегающей из-под плотной завесы тумана. Волна шла накатом, со все возрастающим грохотом взбунтовавшейся воды, вспучиниваясь, вырастая и разрушаясь одновременно.

— Разворачивай! — отчаянно закричал Орган.— Разворачивай носом!

Едва гребцы успели развернуть лодку навстречу волне, как первый удар шторма чуть не опрокинул органовский каяк. Волна пронеслась, вызывая следом возмущение моря, и тут уже подступил туман. Когда оставалось до наползающего края тумана совсем близко, стало отчетливо видно, с каким мрачным торжеством, с какой зловещей непреклонностью и неотвратимостью двигалась эта клубящаяся, живая тьма.

— Запоминайте ветер! Запоминайте ветер! — успел прокричать Орган. И сразу все потонуло в беспро-

светной мглё. Туман обрушился, как обвал, погребая их в пучину безмерного мрака. Сразу, в мгновение ока, они попали из одного мира в другой. Все исчезло. С этой минуты не стало ни неба, ни моря, ни лодки. Они не различали даже лиц друг друга. И с этой минуты они уже не знали покоя — море бушевало. Лодку кидало то вверх, то вниз, то разом вскидывая, то низвергая разом в расступающуюся пропасть между волнами. От брызг и всплесков одежда намокала, тяжелела. Но самая большая беда заключалась в том, что люди в сплошном тумане ничего не различали вокруг, ровным счетом ничего не видели и не могли определить, что происходит в море, что следует предпринять. Оставалось единственное — бороться наугад, вслепую, только бы удержать каким-либо способом лодку на плаву, не дать ей перевернуться. Теперь уже не могло быть и речи, чтобы направлять лодку к какой-то цели. Волны несли ее по своей необузданной прихоти неизвестно куда, и неизвестно, как долго могло так продолжаться.

Кириск и прежде слышал, бывали случаи, охотники в море попадали в непогоду, случалось, исчезали навсегда, тогда при всеобщем трауре женщины и дети много дней жгли костры на склонах Пегого пса в безнадежной надежде: а вдруг! Но и тогда даже приблизительно не мог предполагать он, насколько это страшно и дико — погибать в открытом море. И тем более не предполагал он, что безобидные туманы, эти безмолвные пришельцы зимней поры, появление которых он так любил, когда весь мир, околдованный молочной тишиной, покрывался ровным белым маревом, когда земные предметы как бы воспаряли, призрачно цепенея в воздухе, когда душа переполнялась необъяснимой жутью и истомой в ожидании некоего сказочного видения, что эти туманы могут обернуться в такого грозного вездесущего врага. Скручиваясь, скользя, растекаясь и снова сжимаясь, темные клубы тумана, плывущие над разыгравшимся морем, напоминали змеиное движение...

Вцепившись в сиденье, Кириск судорожно жался в страхе к ноге старика Органа.

— Ты держись за меня! Крепко держись! — прокричал ему на ухо Орган, и больше он уже не мог что-либо сказать или сделать для мальчика.

И никто из них не мог облегчить его участи, ибо все они были равны перед лицом яростной стихии. Если бы даже Кириск закричал, заплакал и стал бы звать отца, то и тогда Эмрайин не сдвинулся бы с места, ибо лодка только тем и держалась на плаву, что он и Мылгун отчаянно балансировали веслами, предугадывая разрывы и взрывы волн.

Волны же безостановочно уносили лодку во тьму непроглядного тумана. Орган еще пытался как-то управлять рулем, чтобы сохранить устойчивость, но чем дальше, тем больше усиливался шторм.

Возможно, стояла уже полночь. Трудно было определить в тумане течение суток. О наступлении ночи они могли лишь догадываться по сгустившейся кромешной тьме. И в этой тьме уже много времени шла эта беспрерывная, изматывающая, неравная борьба с почти безнадежным исходом. И все-таки нивхи пока держались, все-таки не покидала их отчаянная надежда, что, быть может, шторм так же внезапно утихнет, как и начался, что туман рассеется, тогда они могли бы подумать, как им быть дальше. И один раз эта надежда начала почти сбываться. В какое-то время шторм вроде пошел на убыль, болтанка стала угасать, успокаивались всплески и брызги. Но тьма окружала все та же — плотная, аспидно-черная. Первым, пересиливая шум моря, подал голос Орган:

— Это я! Кириск со мной! Вы слышите меня?

— Слышим! Мы на местах! — прохрипел Эмрайин.

— Кто запомнил ветер? — прокричал Орган.

— А что толку? — со злостью выкрикнул Мылгун.

Старик замолчал. В самом деле, направление ветра теперь было им ни к чему. Куда занесло их, где они, далеко или близко от островов, могущих послужить ориентиром угадать было трудно. А возможно, их унесет так далеко, что они никогда не найдут свои Сосцы. И он замолчал, угнетенный мраком и качкой. Великий Орган замолчал в тяжком раздумье. Единственное, что можно было посчитать везением, это то, что, минуя по воле судьбы острова, они избежали участи быть разбитыми о прибрежные скалы. Но без островов и без звезд средь ночи и тумана никакого способа определиться теперь не существовало. Орган был бессилен что-либо сказать. И все-таки через некоторое время он прокричал:

— Ветер был Тланги-ла[1], когда мы развернулись носом!

Ему никто ничего не ответил. Гребцам было не до ответов. И опять Орган замолчал. Кириск дрожал всем телом, приткнувшись у его ног. Тогда Орган предупредил гребцов:

— Мы с Кириском будем вычерпывать воду, а вы держитесь!

Он склонился к Кириску, ощупал его в темноте и сказал ему, убедившись, что мальчик невредим:

— Кириск, ты не бойся. Давай вычерпывать воду. Иначе нам будет плохо. Черпак у нас один, вот он, я его нашел, а ты на вот, возьми ковшик, все же лучше... Ты держишь? Возьми ковш, говорю...

— Да, аткычх, я держу. А долго так будет? Мне страшно.

— Мне тоже страшно,— проговорил старейшина Орган.— Но мы мужчины, и нам положено такое.

— А мы не утонем, аткычх?

— Не утонем. А если утонем, значит, так должно быть. А теперь давай держись за меня одной рукой, а другой вычерпывай, выплескивай воду.

Хорошо, что Орган вовремя спохватился, и, пользуясь небольшой передышкой, они смогли отлить накопившуюся воду из лодки. И именно тогда, когда они, действуя ощупью, вычерпывали воду, Орган обратил внимание Кириска на небольшой бочонок, из которого они днем пили.

— Кириск,— сказал он ему, беря его за руку.— Вот бочонок наш с водой. Нащупал? Запомни, что бы то ни случилось, береги бочонок. Держись за него, вцепись, но не разлучайся. Если что, лучше нам погибнуть, чем остаться без него. Ты понял меня? Ни на кого не надейся... Слышишь?

Хорошо, что он сказал об этом, хорошо, что он вовремя предупредил об этом мальчика. Очень скоро это ему пригодилось.

Немного пооcлабнув, шторм снова принялся раскачиваться. В этот раз с еще большей силой и свирепостью, точно бы пользуясь прикрытием ночи и беспо-

---

[1] Тланги-ла — юго-восточный морской ветер, сильный и холодный.

мощностью людей, ничего не видящих во тьме и в тумане. В этот раз волны обрушились с новым приступом ярости, поистине как в отместку за доставленное короткое послабление. И закрутился, завертелся органовский каяк между невидимыми волнами, нещадно швыряемый их ударами во все стороны. Всплески захлестывали лодку. Лодка оседала, зачерпывая воду. Как ни метался Орган с черпаком, ползая на коленях, успеть вычерпать набегающую воду было немыслимо. И тогда закричали гребцы зло и отчаянно:

— Выбрасывай все! То-онем. Выбрасывай!

Кириск громко заплакал от страха, но его никто не слышал, и никому не стало дела до него. Мальчик забился в углу у кормы, крепко держа бочонок под собой. Он навалился на него боком, судорожно скрючившись, содрогаясь от плача. Он помнил, что это главное дело, которое он должен был делать, как бы то и что бы то ни случилось. Он понимал, они тонут, но и тогда он делал то, что было сказано старейшиной Органом,— сохранял бочонок с водой.

Полузатонувшую лодку надо было срочно спасать. Мылгун продолжал пока сумасшедше работать веслами, стараясь изо всех сил действовать так, чтобы лодка не перевернулась, а Орган и Эмрайин выбрасывали за борт все, что находилось в лодке. Другого выхода не было. В море полетели оба винчестера, гарпун, мотки веревок и все прочие вещи и даже жестяной чайник Органа. Труднее всего им пришлось с тушей нерпы. Намокшая, отяжелевшая, осклизлая туша не поддавалась. Ее надо было поднять со дна лодки и перевалить за борт. То, ради чего они шли в плавание на необитаемые острова — добычу,— предстояло выкинуть прочь. Хрипло рыча, выкрикивая ругательства и проклятия, они с большим трудом выталкивали в тесноте тушу к краю борта и наконец опрокинули ее в море. Даже в этой сумятице и дикой схватке с морем было ощутимо, как облегченно качнулась лодка, освободившись от груза нерпы. И, возможно, это-то и спасло положение...

Орган очнулся первым. В белой безжизненной пустоте он не сразу мог взять в толк, где он и что значит эта мутная, непроглядная неподвижность вокруг. То был туман.

То был Великий туман, безмолвно, безраздельно и незыблемо покоившийся в ту пору над всем пространством океана. Великий туман переживал свое великое оцепенение...

Когда глаза немного присмотрелись, старик Орган различил во мгле контуры лодки, потом и людей. Эмрайин и Мылгун валялись на своих местах возле весел. Вусмерть истерзанные, измотанные ночным шквалом, они лежали в странных позах, точно бы они были сражены наповал, и только сиплый, прерывистый храп свидетельствовал об их жизни. Кириск лежал, скорчившись у его ног, привалившись к бочонку. Он продрог во сне от сырости и холода. Орган пожалел его, но ничем не мог помочь.

Оглушенный пережитой ночью, он сидел на корме, опустив седую голову. Все тело старика болело и ныло. Его длинные узловатые руки свисали, как плети. Много разных бед и испытаний довелось пережить Органу на своем веку, но такого жестокого случая не знавал даже он. Он не представлял себе, где они сейчас находились, куда угнал их шторм, как далеко они от земли, в море ли они или в самом океане. Он не представлял себе даже, какое время протекало в тот час. В сплошном, беспросветно застывшем стоянии тумана невозможно было отличить день от ночи. Но, по всей вероятности, если учесть, что штормы обычно утихают к утру, стоял день. Возможно, вторая половина дня.

Как бы то ни было, даже радуясь, что чудом остались в живых, Органу было от чего повесить голову. Лишившись всего, что имелось с ними в плавании, вплоть до ружей, выменянных у заезжих купцов за сотни соболей, они оставались теперь в лодке с двумя парами весел и початым бочонком пресной воды. Что их ждало впереди?

Конечно, как только гребцы придут в себя, они вместе обдумают, как им быть и что делать дальше. Но кто скажет, в какую сторону им двигаться? Это прежде всего. Во-вторых, если дождаться ночи и если небо не будет в облаках, можно попытаться определиться по звездам. Но как долго придется им плыть? Сколько потребуется сил и времени? Дотянут ли, выдержат ли?

А туман, что за туман? Так густо и неподвижно лежит он над морем. Точно бы он встал здесь навечно. Неужто повсюду так, неужто весь мир погрузился в такой туман?..

Хотелось курить и пить. О куреве, однако, не приходилось беспокоиться — тот табак, что оставался при нем, весь вымок. И трубка куда-то подевалась. А вода? А пища? Орган побоялся думать об этом. Пока еще можно терпеть и пока еще можно было не думать...

На море стояла мертвая зыбь, полный покой, штиль. Лодка лишь слегка покачивалась на месте. Никуда ее не влекло, и никуда она не двигалась. Весла, брошенные в воду, безвольно лежали на поверхности. Можно было понять Эмрайина и Мылгуна — они достигли такого предела усталости, что не могли поднять весла на борта: свалились в мертвецком сне.

При полном безветрии все замерло во мгле и неподвижности. Море стояло, туман стоял, лодка стояла, спешить было некуда... плыть было некуда...

Печально прикорнув, старик незаметно уснул и проснулся, когда его разбудил Кириск.

— Аткычх, аткычх! — толкал его мальчик.— Мы хотим пить.

Орган встрепенулся и понял, что трое соплеменников ждут от него действий, ибо он старейшина, и понял, что начинается самое страшное — распределение воды...

Туман стоял все так же густо и неподвижно. Море находилось в полном затишье.

Весь остаток дня они неспешно плыли в тумане. Бесцельно и неизвестно куда.

После того как люди пришли в себя и осознали свое положение, стоять на месте было уже невозможно.

И они плыли. Быть может, приближаясь к земле, а возможно, напротив, удаляясь от нее.

Но все-таки в этом имелась какая-то иллюзия движения.

Вся надежда была на то, что туман рассеется и тогда станет ясней, что к чему.

Во всяком случае, ночью можно будет увидеть звезды, если рассеется туман. Перво-наперво необходимо было ухватиться за звезды.

И еще была надежда, что натолкнутся на какой-нибудь остров. А там будет легче сориентироваться.

Так они и плыли пока в никуда — все время в туман.

Но и при этом Орган велел навести некоторый порядок в лодке. Вычерпали начисто остатки воды со дна, чтобы под ногами не хлюпало. Кириска он посадил рядом с собой на корму, чтобы теплее было мальчику под боком и чтобы он обсыхал побыстрей. Воды выдал всем поровну. На первый раз всем по не полному на одну четверть ковшу. После штормовой ночи необходимо было напиться хотя бы раз досыта. Но Орган предупредил, что отныне пить будут только тогда, когда он найдет нужным, и лишь столько, сколько он нальет. И при этом для пущей убедительности покачал воду в бочонке — он был уже наполовину пуст.

Была и нечаянная радость: когда приступали разливать воду, за бочонком, в самом углу кормы, под сиденьем, обнаружили кожаную, из нерпичьей шкуры торбу с вяленой юколой. Большую торбу с пищей выбросили за борт вместе с другими вещами, а этот мешочек, собранный в дорогу женой Мылгуна, остался ненароком на месте, потому что лежал под сиденьем, за бочонком, который Кириску поручили сохранить во что бы то ни стало. Правда, в той торбе было полно морской воды, и юколу невозможно было взять в рот: настолько она пропиталась солью, и без того соленая. И все же то была пища. И если бы имелось вдосталь воды питьевой, то и такая юкола вполне сгодилась бы.

Но пока что юколу никто не ел, опасаясь жажды...

Все ждали одного: когда исчезнет туман...

В полном безмолвии и неподвижности тумана лишь уныло скрипели уключины весел. Скрип тот среди великой тишины походил на усталые мольбы и стенания заблудившегося человека: где я, где я? Куда мне, куда мне податься теперь?

Все ждали одного: когда исчезнет туман...

Но он не исчез и не собирался исчезать. Туман не шевелился. Казалось, что нечто невообразимо чудовищное, какая-то иная сущность, неземная, дышащая

промозглой влажностью, поглотила весь белый свет — и Землю, и Небо, и Море...

Снова наступила ночь в чреве тумана. Об этом можно было судить по налившейся черноте вокруг. И никаких звезд, никакого неба наверху.

Плыть куда-то для того лишь, чтобы только куда-то плыть, уже не имело смысла.

Ждали, уповали, надеялись, не покажутся ли звезды на небе. Ждали с часу на час. Ждали появления ветра, который угнал бы этот ненавистный, трижды проклятый туман. Не спали. Обращались с мольбой к духу неба, чтобы раскрыл он звездный небосвод, вызывали мольбой хозяина ветров, чтобы проснулся он за морем — гривастый и косматый зверь.

Но все тщетно. Никто не слышал их обращений, и туман не развеивался.

Кириск тоже ждал появления звезд. Эти звезды, обычно, как игрушечки, блиставшие в небе, теперь были ему нужнее всего. Все то, что довелось пережить с прошлого вечера, потрясло, устрашило мальчика. Ведь ничего не стоило детской душе отчаяться, надломиться, сокрушиться навсегда. Но то, что трое взрослых, находясь в одной лодке с ним, при общей смертельной опасности, когда, казалось, уже наступал конец их плаванию, выстояли, преодолели разъяренную стихию, вселяло в него надежду, что и в этот раз путь к спасению будет найден. Он очень верил, что стоит только показаться звездам в небе, как придет конец их страданиям.

Только бы побыстрее это совершилось, быстрее бы вернуться назад, к земле, туда, к Пегому псу, быстрее, быстрее, быстрее потому, что очень хотелось пить и есть, невыносимо хочется пить и есть, и чем дальше, тем острее хочется пить и есть, очень хочется домой, к матери, к сородственникам, к жилищам, к дымам, к ручьям и травам...

Всю ночь бедствующие томились в ожидании, но ничто не изменилось — туман не тронулся с места, звезды не высыпали в небе, море продолжало оставаться во мгле.

И всю ночь очень хотелось пить, было сыро и зябко, но прежде всего очень хотелось пить. Кириск мог полагать, что только он так тяжко хотел воды, но и другие так же страдали от неутоленной жажды. Но ему

хотелось пить больше всех. И это его терзало, что ему хотелось пить больше всех.

А старейшина Орган не дал воды, когда Кириск все же попросил немного.

— Нет,— твердо сказал он,— сейчас не будем. Терпи.

Если бы знал он, старик Орган, как хотелось пить после юколы, которую они втроем, с отцом и Мылгуном,— все же не утерпели к концу дня — начали грызть от голода. И хотя запили юколу водой, но этого было совсем недостаточно, а через некоторое время пить захотелось еще сильней. А старик Орган не притронулся к юколе, перетерпел, но и воды не пил, сберег, не позволил себе ни глотка. В тот день два раза пили воду — утром и вечером, за исключением Органа. Вечером совсем немного, всего лишь на донышке ковша. А воды в бочонке оставалось все меньше и меньше.

Когда хотелось пить, пить и пить, ожидание перемен вдвойне становилось пыткой.

Так длилось всю ночь... И всю ночь недвижно лежал стылый туман. И море не шелохнулось...

И наутро никаких перемен. Лишь чуть светлее стало в серо-бурых недрах тумана, чуть попросторнее. Теперь можно было различить лица и глаза. И на несколько сажен вокруг лодки тускло серебрилась тяжелая, неподвижная, как ртуть, мертвая зыбь. Такой стоячей воды Кириск никогда не видел.

И никакого ветерка, и никаких перемен.

Но в то утро мальчика очень поразило, как сильно изменились лица взрослых. Осунулись здорово, позарастали жесткой щетиной, глаза померкли, провалились темными кругами, точно бы схватила их смертная болезнь. Даже отец, на что сильный и уверенный, и тот крепко переменился. Только и осталось — борода. Губы искусаны до черноты. И на Кириска смотрит с жалостью, хотя и молчит, ничего не скажет. Особенно сдал старик Орган. Ссутулился старик, еще белее стал, и кадыкастая шея его вытянулась еще длиннее, а глаза слезились больше прежнего. И только во взгляде осталось то, чем был Орган. Мудрый, строгий взгляд старейшины все так же таил в себе нечто значительное, известное и доступное только ему.

День начали с самого тяжкого — с того, что распределили между собой по нескольку глотков воды. Орган сам наливал. Зажав бочонок под мышку, тоненькой струйкой цедил он влагу на дно ковша, и руки его при этом крупно дрожали. Первым он подал Кириску. Кириск едва дождался этого. Застучал зубами о край ковша и, проглатывая воду, почувствовал лишь на мгновение, как увлажнился, опал жар внутри и как от волнения зашумело в голове. Но, пока он возвращал ковш, жар снова восстановился, как прежде, и даже больше, точно бы там, внутри, раздразнили зверя. Потом пил Мылгун. Потом Эмрайин. Страшно было смотреть, как они пили. Хватали ковш дрожащими руками и возвращали, не глядя в лицо Органа. Будто бы он был виноват, что так мало оказалось питья. А сам Орган, когда наступил его черед, не налил себе ни капли. Молча приткнул затычку. Это казалось Кириску невероятным. Был бы бочонок в его руках, он готов был сейчас налить себе полный ковш, потом еще и еще и пить, пить, пока не упал бы. А потом будь что будет. Лишь бы один раз досыта напиться. А старик Орган отказывал себе даже в том, что полагалось ему. Отказывался от воды на донышке.

— Зачем так, аткычх. Наливай, как всем! — не вытерпел наконец Эмрайин, хрипя, пересиливая себя.— И вчера не пил. Погибать, так вместе погибать!

— Я обойдусь! — невозмутимо ответил Орган.

— Нет, это неправильно! — повысил голос Эмрайин и добавил с раздражением: — Тогда и я не буду пить!

— Пить-то тут нечего. О чем разговор! — Орган усмехнулся, мол, какие вы неразумные, тихо покачал головой, снова откупоривая бочонок и нацедив воды на донышко, сказал: — Пусть Кириск выпьет за меня.

Мальчик растерялся, и все замолчали. А Орган протягивал ему ковш:

— На, Кириск, пей. Не думай ни о чем.

Кириск молчал.

— Пей,— сказал ему Мылгун.

— Пей,— сказал ему Эмрайин.

— Пей,— сказал старик Орган.

Кириск колебался. Умирая от жажды, хотел разом

опрокинуть в себя эти несколько глотков воды, но не посмел.

— Нет,— сказал он, перебарывая пожирающее изнутри желание,— нет, аткычх, сам пей,— и почувствовал, как закружилась голова.

Рука Органа дрогнула от этих слов, он тяжело вздохнул. Взгляд его смягчился, благодарно лаская мальчика.

— Я ведь на веку своем, знаешь, ой как много выпил воды. А тебе надо еще долго жить, чтобы...— И он не договорил.— Ты понял меня, Кириск? Пей, так надо, ты должен выпить, а за меня не беспокойся. На!

И опять, проглатывая воду, лишь на мгновение почувствовал мальчик, как увлажнился, опал жар внутри, и снова, вслед за облегчением, тут же захотелось пить. В этот раз он ощутил, что во рту остался привкус протухающей воды. Но это не имело значения. Лишь бы была вода, пусть какая угодно, лишь бы питьевая. А ее оставалось все меньше и меньше...

— Ну, как быть, что будем делать? — проговорил Орган, обращаясь тем временем к соплеменникам.— Будем плыть?

Наступило долгое молчание. Все оглянулись вокруг. Но, кроме непроницаемого тумана в двух саженях от лодки, в мире ничего не существовало.

— Куда плыть? — со вздохом нарушил молчание Эмрайин.

— Что значит — куда? — неожиданно вспылил почему-то Мылгун.— Будем плыть, лучше плыть, чем подыхать на месте!

— Ну а какая разница — что мы плывем, что не плывем? — урезонил его Эмрайин.— При таком тумане плыть в никуда, какая разница?

— А мне плевать на туман! — с еще большим вызовом возразил Мылгун.— Мне плевать на твой туман! Ясно? Будем плыть, а нет, я переверну сейчас этот проклятый каяк вверх дном, и все пойдем кормить рыб! Ты понял меня, Эмрайин Бородатый, будем плыть! Ты понял?..

Кириску стало не по себе. Ему стало стыдно за аки-Мылгуна. Тот поступал не так, как следовало, все же он был младше отца. Значит, что-то стронулось, что-то нарушилось в нем или в том, что они из себя

теперь представляли, эти четверо нивхов в лодке. Все молчали, подавленные и горестные. Умолк, шумно дыша, и сам Мылгун. Эмрайин опустил голову. А старик Орган смотрел куда-то в сторону, и лицо его было непроницаемо, как тот туман, что окружал их со всех сторон глухой пеленой.

— Успокойся, Мылгун,— промолвил наконец Эмрайин.— Ведь я так, к слову сказал, конечно, лучше плыть, чем стоять на месте. Ты прав. Давай, поплыли.

И они двинулись. Снова заскрипели уключины, снова со всплеском поднимались и опускались весла, беззвучно разбегалась и тут же снова смыкалась за лодкой тихая бесследная вода. Но впечатление было такое, что они не плыли, а стояли на месте. Сколько бы они ни продвигались, кругом стоял туман, получалось, как в заколдованном кругу. Это-то, наверно, и вывело опять Мылгуна из себя.

— А мне плевать на твой туман, ты слышишь, Бородатый Эмрайин! — заговорил он, раздражаясь.— И я хочу, чтобы мы плыли быстрее! Пошевеливайся, Борода, греби, не спи, ты слышишь! Мне плевать на твой туман!

И при этом Мылгун стал резко налегать на весла.

— А ну, нагребай! Нагребай! — требовал он.

Эмрайин не стал озлоблять его, но, задетый им, тоже включился в эту безумную игру.

Лодка набирала все большую и большую скорость. Она напропалую неслась рывками сквозь туман, неизвестно, куда и неизвестно зачем. А Мылгун и Эмрайин, не уступая друг другу, продолжали зверски грести, в каком-то диком, остервенелом, яростном ожесточении, точно они могли обогнать туман, вырваться из его беспредельных пределов.

Мелькали лопасти весел, взвеивая косо летящие брызги, шумела вода за бортами, наклонялись и вскидывались залитые потом, ощеренные лица гребцов, то падающих, сгибаясь, выбрасывая весла, то с силой разгибающихся, упираясь веслами в воду...

То вдох, то выдох, то вдох, то выдох... Вдох, выдох, вдох, выдох...

Туман — впереди, туман — позади, туман — кругом.

— Хана, хана[1]! — как бы выхаркивая, зло подзадоривал, выкрикивал Мылгун.

Вначале Кириск оживился, поддался обману движения, но потом понял, как это бесплодно и страшно. Мальчик испуганно смотрел на старейшину Органа, ожидая, что тот прекратит эту бессмысленную гонку. Но тот как бы отсутствовал — задумчивый взгляд его блуждал где-то в стороне, на лице застыло отрешенное выражение. И то ли старик плакал, то ли привычно слезились глаза — лицо его было мокрое. Он неподвижно сидел на корме, будто не ведая, что происходит.

Лодка же шла, гонимая напропалую сквозь туман, неизвестно куда и неизвестно зачем...

— Хана, хана! — отчаянно разносилось в тумане.— Хана, хана!

Так продолжалось довольно долго. Но постепенно гребцы стали выдыхаться, постепенно убывала скорость, и вскоре они опустили весла, шумно дыша, задыхаясь от удушья. Мылгун не поднимал головы.

Так наступило горькое отрезвление. Туман они не обогнали, за пределы его не выскочили, все осталось по-прежнему: мертвая зыбь, полная неизвестность, сплошная непроницаемая мгла. Лишь лодка продолжала еще некоторое время плыть и кружиться с разбегу сама по себе...

Зачем это было делать? К чему? А что выиграли бы они, если бы стояли на месте? Тоже ничего.

Каждый, пожалуй, думал об этом. И тогда Орган сказал:

— Послушайте теперь меня.— Слова свои он выкладывал неторопливо, возможно, сберегая тем свои силы — ведь он уже не пил, не ел второй день: — Может статься,— рассуждал он,— туман продержится еще много дней. Бывают такие годы. Случаи такие бывают. Сами знаете. Семь, восемь, а то и десять дней лежит туман над морем, как мор над краем, как болезнь, которая не уйдет, пока не выйдет срок. А каков ее срок, об этом никто не знает. Если туман этот из тех, значит, судьба наша тяжкая. Юколы осталось совсем малость, да и к чему она, когда нет воды. А вода

[1] Хана — давай, а ну-ка!

наша, вот она! — И он поболтал содержимое бочонка. Вода свободно плескалась где-то на ладонь-полторы лишь выше дна.

Все молчали. И старик замолчал. Ясно было всем, о чем он хотел сказать: пить воду только раз в день, на самом донышке ковшика, чтобы протянуть подольше, если удастся, превозмочь, переждать напасть тумана. А откроется море, появятся звезды или солнце — тогда видно станет, а вдруг и повезет — дотянут до земли.

Да, так оно получалось. И иного выхода не могло быть! Но легко сказать — перетерпеть, и то, что человек умом приемлет, далеко не всегда приемлет его плоть. Им, страждущим, сейчас хотелось пить, немедленно и не на донышке, а много, очень много хотелось воды.

Орган понимал безвыходность положения, и тяжелее всех было ему самому. Старик высыхал на глазах. Изборожденное складками и морщинами, темно-коричневое лицо его становилось с каждым часом чернее и жестче от боли, идущей изнутри. В слезящихся глазах появился напряженный, лихорадочный оттенок — нелегко было старику заставить себя выносить такие страдания. Но пока, сохраняя в себе присутствие духа, он держался, как держится на корню умирающее дерево. Однако так не могло долго продолжаться. Необходимо было высказать все, что могло иметь хоть малейшее значение для их спасения.

— Думал я о том,— продолжал он,— что надо все время присматриваться и прислушиваться к воздуху — не пролетит ли вдруг сова агукук[1]. Агукук — единственная птица, что летает над морем в такую пору. Если мы находимся между каким-нибудь островом и землей, то полет агукук может указать нам путь. Любая птица в открытом море летит только по прямой дороге. Никуда не сворачивая, только прямо. И агукук тоже.

— А если мы не находимся между островом и землей? — мрачно спросил Мылгун, все так же не поднимая головы.

— И тогда не видать нам ее,— опять же спокойно ответил Орган.

---

[1] **Агукук** — полярная сова.

Кириск хотел уточнить, а зачем, мол, агукук станет летать над морем, по какой нужде такой, но Мылгун опередил его.

— А если агукук забудет летать над нами, а, аткычх,— мрачно насмехался Мылгун,— а вздумает пролететь стороной, вон там, где-нибудь, тогда как?

— И тогда не видать нам ее,— опять же спокойно ответил Орган.

— Значит, не видать? — удивляясь, озлоблялся Мылгун.— Стало быть, и так и эдак, но агукук нам не видать? Так чего же, спрашивается, мы торчим здесь? — озлобляясь все больше, бормотал Мылгун, потом громко захохотал, потом умолк. Всем было не по себе. Все молчали, не зная, как быть.

Мылгун тем временем что-то надумал. Выбил ударом ладони из-под низу весло из уключины, затем взобрался зачем-то на нос лодки и стал там во весь рост, балансируя веслом. Никто ничего не сказал ему. И он ни на кого не обращал внимания.

— Э-эй ты, сука! — закричал он во гневе.— Э-эй ты, Шаман ветров! — угрожая веслом, кричал он что есть мочи в туманную мглу.— Если ты хозяин ветров, а не падаль собачья, то где твои ветры? Или ты подох в берлоге своей, сука, или обложили тебя кобели со всего света, и не знаешь, которому подставить или склещаешься со всеми подряд, сука, и некогда тебе ветры поднять, или забыл ты, что мы здесь, в тумане гиблом, как в яме, сидим? Или не знаешь ты, что с нами малый, как же так?! Он хочет пить, он хочет воды! Воды, понимаешь?! Я же тебе говорю, с нами малый, он первый раз в море! А ты так с нами поступил?! Разве это честно? Отвечай, если ты хозяин ветров, а не тюленье дерьмо вонючее! Посылай свои ветры! Слышишь? Убирай туманы себе под хвост. Ты слышишь меня? Посылай бурю, собака, самую страшную бурю — Тланги-ла посылай, сука, опрокидывай нас в море, пусть волны погребут нас, сука паршивая! Ты слышишь? Ты слышишь меня?! Плевать мне, плюю и мочусь я в твою морду косматую! Если ты хозяин ветров, посылай нам свою бурю, потопи нас в море, а нет — ты сука последняя, а я кобель, еще один кобель, только я тебя не стану, на-ка, вот, на тебе, на, на, выкуси, выкуси!

Вот так, последними словами поносил Мылгун Шамана ветров, неведомо где существующего и неведомо где укрывающего подвластные ему ветры. Долго еще, до хрипоты, до изнеможения кричал и выходил из себя Мылгун, издеваясь, оскорбляя и одновременно выпрашивая ветра у хозяина ветров.

Потом он с силой отшвырнул весло в море и, усаживаясь на свое гребное место, громко и страшно зарыдал вдруг, уткнувшись лицом в руки. Все беспомощно молчали, а он захлебывался в рыданиях, выкрикивая имена своих малых детей, а Кириск, никогда не видевший мужчину в плаче, задрожал от страха и со слезами на глазах обратился к Органу:

— Аткычх! Аткычх! Зачем он так, зачем он плачет?

— Не бойся,— успокаивал старик, сжимая руку мальчика.— Это пройдет! Скоро он перестанет. А ты не думай об этом. Это тебя не касается. Это пройдет.

И вправду, Мылгун стал утихать понемногу, но лица не отнимал от рук и, всхлипывая, судорожно вздергивал плечами. Эмрайин медленно подводил лодку к плавающему на воде веслу. Он подбил весло к лодке, поднял его и установил на место, в уключину.

— Успокойся, Мылгун,— сочувственно говорил ему Эмрайин.— Ты прав, лучше в бурю попасть, чем томиться в тумане. Ну подождем еще, а вдруг да откроется море. Что ж делать...

Мылгун ничего не отвечал. Он все ниже и ниже ник головой и сидел согнувшись, как помешанный, боящийся взглянуть перед собой.

А туман все так же бесстрастно и мертво висел над океаном, скрывая мир в великой оцепеневшей мгле. И никакого ветра, никаких перемен. Как ни донимал, как ни бранил, ни поносил Мылгун Шамана ветров, тот остался ко всему тому и глух и безучастен. Он даже не разгневался, не шевельнулся, не обрушил на них бурю...

Эмрайин тихо нагребал своей парой весел, чтобы не стоять на месте, лодка скользила по воде едва-едва заметно. Орган молчал, ушел в свои мысли, быть может, опять и, быть может, в последний раз в жизни думал он о своей Рыбе-женщине.

От невеселых стариковских размышлений отвлек его Кириск.

— Аткычх, аткычх, а зачем агукук летает на острова? — тихо спросил он.

— А я и забыл тебе сказать. В таком большом тумане только агукук может летать над морем. Агукук летает на острова охотиться, а иной раз малых детенышей нерпичьих схватывает. У агукук глаза такие — и в тумане и темной ночью видит, как днем. На то она сова. Самая большая и самая сильная сова.

— Вот бы и мне такие глаза,— прошептал сухими губами Кириск.— Я бы сейчас разглядел бы, в какую сторону нам плыть, и мы быстро доплыли бы к земле и стали бы пить, пить много и долго... Вот бы и мне такие глаза...

— Эх,— вздохнул Орган.— Каждому даны свои глаза.

Они замолчали. И спустя много времени, как бы возвращаясь к этому разговору, Орган сказал, глядя в лицо мальчику:

— Тебе очень тяжко? Ты потерпи. Если выдержишь, будешь великим охотником. Потерпи, родной, не думай о воде, думай о чем-нибудь другом. Не думай о воде.

Кириск послушно старался не думать о воде. Но ничего не получалось. Чем больше пытался он не думать, тем сильней хотелось пить. И очень хотелось есть, даже дурно становилось. И от этого хотелось орать, как Мылгун, на весь мир.

Вот так протекал тот день. Все время ждали, все время надеялись, что вдруг послышится издали шум волны, и ударит свежий ветер, и угонит туман на другой конец света, а им откроет путь к спасению. Но на море царила тишина, такая неподвижная, гиблая тишина, что становилось больно в голове и ушах. И все время, беспрерывно, бесконечно хотелось пить. Это было чудовищно: находясь среди безбрежного океана, они погибали от жажды.

К вечеру Мылгуну стало плохо. Он совсем не разговаривал, и глаза его были бессмысленны. Пришлось налить ему немного воды, чтобы промочил горло. Но, глядя на Кириска, который при этом не мог оторвать взгляда от ковша, Орган не удержался, налил и ему на донышке, а потом и Эмрайину. А сам так и не взял в рот ни капли. В этот раз, поставив бочонок с остатком воды под скамью, он долго сидел неподвижно,

по-особому сосредоточенный и ясный, занятый какими-то иными, высокими мыслями, точно бы вовсе не испытывал никакой жажды и никаких мучений плоти. Он сидел на корме молчаливый, несуетный, как одинокий сокол на вершине скалы. Он уже знал, что предстоит ему, и потому, собираясь с духом, сохранял в себе остатки сил перед последним делом своей жизни. Очень не хватало трубки в такой час. Закурить, подымить хотелось старику напоследок, думая думу о ней — о своей Рыбе-женщине...

Где ты плаваешь, Великая Рыба-женщина?

Он знал себя, знал, на сколько хватит еще сил и достоинства на пороге Предела. Единственное, что пока воздерживало его от задуманного,— Кириск, так привязавшийся за эти дни и все время льнущий под бок в поисках защиты и тепла. Мальчишку было жалко. Но ради него надо было идти на это...

Так завершался тот долгий, безрадостный, последний день старейшины Органа.

Уже вечерело. Еще одна ночь наступала.

Но и в эту ночь погода оставалась по-прежнему без изменений. Туман на море пребывал все в том же состоянии невозмутимого оцепенения. И опять надвигалась глухая вечерняя тьма, а за ней предстояла невозможно долгая, невыносимая, жуткая ночь. Но если бы вдруг среди ночи ударил ветер, пусть шторм, пусть что угодно, только бы открылось небо и увидеть бы звезды! Однако ночь ничего не предвещала, не заметно было никакой волны на воде, никакого дуновения в воздухе — все замерло в нескончаемой тишине и в нескончаемой тьме. Одинокая, заблудшая во мраке лодка с измученными, умирающими от жажды и голода людьми медленно кружилась в тумане, в полной безвестности и обреченности...

Кириск не помнил точно, когда он уснул. Но засыпал долго, томясь, изнывая от нестерпимой жажды. Казалось, во веки веков не будет конца этим снедающим его заживо мукам. Нужна была только вода! Только вода — и ничего другого! Чувство голода постепенно притуплялось, как глухая, ушедшая внутрь боль, а жажда разгоралась чем дальше, тем с большей силой. И ничем нельзя было унять ее.

Вспомнилось Кириску, что в детстве, когда он однажды тяжко заболел и лежал в горячем поту, ему было так же плохо и очень хотелось пить. Мать не отходила от его изголовья ни на шаг, все прикладывала мокрую тряпку к его пылающему лбу, плакала украдкой и что-то пришептывала. В полутьме, при свете жировника, в зыбком, мерцающем мареве склонялось над ним озабоченное лицо матери, отца не было — он находился в море,— а Кириску хотелось, чтоб дали пить и чтобы быстрее вернулся отец. Но ни то, ни другое желание его не исполнялось. Отец был далеко, а нельзя ни в коем случае. Она смачивала тряпицей его спекшиеся губы, но это облегчало его страдания лишь на мгновение. И снова хотелось пить и становилось невыносимо.

Мать уговаривала его, упрашивала не пить воды, говорила, что надо перетерпеть и тогда болезнь отойдет.

— Потерпи, родной! — говорила она.— И к утру тебе станет лучше. Ты повторяй про себя: «Синяя мышка, дай воды». Вот посмотришь, легче будет. Попроси, родной, синюю мышку, пусть прибежит и пусть принесет тебе воды... Только ты хорошенько попроси...

В ту ночь, борясь с жаждой, он шептал это заклинание, ожидая, что синяя мышка и вправду прибежит и принесет ему пить. Он все повторял и умолял синюю мышку: «Синяя мышка, дай воды! Синяя мышка, дай воды!» Потом он бредил, метался в жару. И все просил: «Синяя мышка, дай воды!» Она не появлялась очень долго, а он все шептал, звал ее, плакал и просил: «Синяя мышка, дай воды!» И наконец, она прибежала. Синяя мышка была прохладная, неуловимая, как ветерок над полуденным ручьем в лесу. Разглядеть ее было трудно, она оказалась вся голубая, воздушная и порхала, как бабочка. Мышка прикасалась, порхая, мягкой шерсткой к лицу, к шее, к телу и тем приносила облегчение. Кажется, она дала ему испить воды, и он долго и ненасытно пил, а вода прибывала, бурлила вокруг, захлестывала его с головой...

Утром он проснулся со светлым, легким ощущением на душе, выздоровевший, хотя и сильно ослабев-

ший. И долго потом не выходила из памяти мальчика эта синяя мышка-водонос, прибегавшая той ночью, когда ему было очень худо, чтобы напоить и излечить его...

Теперь он вспомнил об этом, иссыхая, сгорая от жажды в лодке. Вот бы опять появилась синяя мышка! И с пронзительной тоской и горестью подумал в тот час о матери, заронившей в душу его надежду на синюю мышку-поительницу. Он с жалостью вспоминал, как мать склонялась над ним, когда ему дышалось так тяжко и так хотелось пить. Каким печальным и до слез преданным было ее лицо, с какой тревогой, с какой готовностью сделать для него все, что только сумеет, смотрела она на него и с мольбою и с затаенным страхом. Что теперь с ней, как там она сейчас? Убивается, плачет, ждет-пождет у моря... А море ничего не скажет. И никто не в силах помочь ей в такой беде. Только женщины и дети, наверно, палят еще костры на кручах Пегого пса и тем еще обнадеживают ее, а вдруг да и грянет счастье — вдруг да и объявятся у берегов пропавшие в море.

А они тем временем медленно кружили на лодке в безжизненном, аспидно-черном пространстве, медленно утрачивая во мгле ночного тумана последние надежды на спасение. Нет, слишком неравны были силы — мрак вечности, существующий еще до появления Солнца во Вселенной, и четверо обреченных в утлой ладье... Без воды, без пропитания, без путеводных звезд среди океана...

Никогда не видел Кириск такой черной черноты на свете и никогда не предполагал за свою короткую жизнь, что так жестоки страдания неутоленной жажды. Чтобы как-то совладать с собой, Кириск стал думать о той синей мышке-поительнице, которая когда-то вызволила его, напоив и исцелив...

«Синяя мышка, дай воды!» Он принялся без устали нашептывать про себя это удивительное заклинание, которому научила его мать: «Синяя мышка, дай воды! Синяя мышка, дай воды!» И хотя чуда не происходило, он продолжал истово молить и звать синюю мышку. Теперь она стала его надеждой и заговором против жажды.

Синяя мышка, дай воды!

Заговаривая себя, пытаясь таким способом отвлечься, мальчик то задремывал, то просыпался, невольно прислушиваясь урывками среди сна к разговору Органа и Эмрайина. Они о чем-то тихо и долго разговаривали. То был странный, непонятный разговор, с долгими паузами молчания, с недосказанными и порой невнятными словами. Кириск отчетливей разбирал слова Органа, приткнувшись у него под боком,— старик говорил с трудом, тяжело дыша, но с упорством преодолевая хрипы и клокотание в горле, а отца слышал хуже — тот находился подальше, на своих веслах.

— Не мне тебя учить, но подумай, аткычх,— горячо шептал Эмрайин, точно бы кто-то мог их услышать здесь.— Ты же умный человек.

— Думал, крепко думал, так будет лучше,— отвечал Орган, оставаясь, по-видимому, все-таки при своем мнении.

Они ненадолго умолкли, и потом Эмрайин произнес:

— Мы все в одной лодке — всем нам должна выйти одна судьба.

— Судьба, судьба,— с горечью пробормотал старик.— От судьбы не уйдешь, известно,— говорил он с хриплым придыханием в голосе,— но на то она судьба — хочешь покорись, хочешь нет. Раз нам конец — кому-то можно и самому поторопить судьбу, чтобы другие повременили. Сам подумай, а вдруг пути откроются, пустишься из последних сил, и земля будет уже на виду, и не хватит нескольких глотков воды душу дотянуть, разве разумно, разве не обидно будет?!

Эмрайин что-то ответил невнятное, и они замолчали.

Кириск пытался уснуть и все звал свою синюю мышку. Ему казалось, что она появится, когда он будет спать... Но сон не шел.

Синяя мышка, дай воды!

— Ну, как там Мылгун? — спросил Орган.

— Да все так же — лежит,— ответил ему Эмрайин.

— Лежит, говоришь.— И, повременив, старик промолвил, напоминая: — Придет в себя — передай ему.

— Хорошо, аткычх.— Голос Эмрайина при этом дрогнул, он с усилием прокашлялся.— Все передам, как было сказано.

— Скажи ему, что я уважал его. Он большой охотник. И человек недурной. Я всегда уважал его.

Опять они замолчали.

Синяя мышка, дай воды!

Эмрайин потом что-то сказал, Кириск не совсем расслышал его слова, а Орган ответил тому:

— Нет, не смогу ждать. Разве не видишь? Сил не хватит. Хорошая собака подыхает в стороне от глаз. Я сам. Я был великим человеком! Это я знаю. Мне всегда снилась Рыба-женщина. Тебе этого не понять... Я хочу туда...

Они еще о чем-то говорили. Кириск засыпал, призывая мышку-поительницу:

Синяя мышка, дай воды!

Последнее, что он слышал, как отец, придвинувшись поближе к Органу, сказал:

— Помнишь, аткычх, как-то купцы приезжали на оленях, топоры меняли и разные вещи. Вот тот, Рыжий большой, говорил, что был в какой-то далекой стране великий человек, который пешком прошел по морю. Ведь были такие люди...

— Значит, он очень великий человек, самый великий из всех великих,— ответил на то Орган.— А у нас самая великая — Рыба-женщина.

Кириск уже спал, но какие-то слова еще смутно доходили до его сознания:

— Подожди. Подумай немного...

— Пора. Я свое пожил... Не удерживай. Сил нет, не вынесу...

— Такая тьма...

— А какая разница...

— У меня еще не все слова кончились к тебе...

— Слова не кончаются. Не кончатся и после нас.

— Такая тьма...

— Не удерживай. Не вынесу, силы уходят. А я хочу сам...

— Такая тьма...

— Вы еще подержитесь, там еще есть немного воды...

Чья-то большая, жесткая и широкая ладонь, ощупью притрагиваясь, осторожно легла на голову мальчика. Он понял спросонья: то была рука Органа. Теплая, увесистая рука некоторое время покоилась на его голове, как бы желая защитить и запомнить ее, голову Кириска...

Снилось Кириску, что он шел пешком по морю. Шел туда, где должна быть земля, чтобы напиться воды. Шагал, не проваливаясь, не утопая. Дивное и странное было видение вокруг. Чистое, сияющее море простиралось повсюду, куда только достигали глаза. Кроме моря, кроме морской воды, ничего на свете не существовало. Только море и только вода. И он шел по той воде, как по твердой земле. Волны плавно катились под солнцем, отовсюду, со всех сторон. Не угадать, откуда появлялись волны и куда они уходили.

Он ступал по морю в полном одиночестве. Вначале ему показалось, что он побежал впереди Органа, Эмрайина и Мылгуна, чтобы поскорее найти воду и поскорее позвать их. Но потом он понял, что оказался здесь в совершенном одиночестве. Он кричал, звал их, но никто не откликался. Ни души, ни звука, ни тени... Он не знал, куда они исчезли. И от этого ему стало страшно. Докричаться не мог. И земли не видно было нигде, ни в какой стороне. Он побежал по морю, тяжело дыша, истрачивая силы, но никуда не приближался, оставался на месте, пить хотелось все сильней и нестерпимей. И тут он увидел летающую над ним птицу. То была утка Лувр. Она с криком носилась над морем в поисках места для гнезда. Но нигде не находила ни клочка суши. Кругом плескались бесконечные волны. Утка Лувр жалобно стонала и металась.

— Утка Лувр! — обратился к ней Кириск.— Где земля, в какой стороне, мне хочется пить!

— Земли еще нет на свете, нигде нет! — отвечала утка Лувр.— Кругом только волны.

— А где остальные? — спросил мальчик об исчезнувших людях.

— Их нет, не ищи их, их нигде нет,— отвечала утка Лувр.

Не передаваемое словами жуткое чувство одиночества и тоски охватило Кириска. Ему хотелось бежать отсюда куда глаза глядят, но бежать было некуда, только вода и волны обступали со всех сторон. Утка Лувр исчезала вдали, превращаясь в черную точку.

— Утка Лувр, возьми меня с собой, не оставляй меня! Я хочу пить! — взмолился мальчик.

Но она не отзывалась и вскоре скрылась над морем, в поисках не существующей еще земли. А солнце слепило глаза.

Он проснулся в слезах, все еще всхлипывая и испытывая тяжесть безысходной тоски и страха. Медленно открыл заплаканные глаза, понял, что видел сон. Лодка слегка покачивалась на воде. Сереющая туманная мгла нависала и обступала со всех сторон. Значит, ночь минула, приближалось утро. Он шевельнулся.

— Аткычх, я хочу пить, я видел сон,— пробормотал он, протягивая руку к старику Органу. Рука его никого не обнаружила. Место Органа на корме было пусто.

— Аткычх! — позвал Кириск. Никто не отозвался. Мальчик поднял голову и встрепенулся:

— Аткычх, аткычх, где ты?

— Не кричи! — разом придвинулся к нему Эмрайин. Он обнял сына, крепко прижал его к груди.— Не кричи, аткычха нет! Не зови его! Он ушел к Рыбе-женщине.

Но Кириск не слушался:

— Где мой аткычх? Где? Где мой аткычх?

— Да послушай же! Не плачь! Успокойся, Кириск, его уже нет,— пытался уговорить отец.— Ты только не плачь. Он сказал, чтобы я тебе дал воды. У нас еще есть немного. Вот ты перестанешь, и я дам тебе попить. Ты только не плачь. Скоро туман уйдет, и тогда вот посмотришь...

Кириск не унимался, отчаянно вырываясь из рук отца. От резких движений лодка закачалась. Эмрайин не знал, как быть.

— Вот мы сейчас поплывем! Смотри, мы сейчас поплывем! Эй, Мылгун, поднимись, поднимись, говорю! Поплыли!

Мылгун стал нагребать. Лодка тихо заскользила по воде. И опять поплыли они неизвестно куда и неизвестно зачем в сплошном, молочном тумане, по-прежнему наглухо затмившем весь белый свет.

Так они встретили новый день. Теперь их оставалось трое в лодке.

Синяя мышка, дай воды!

Потом, когда Кириск немного успокоился, Эмрайин пересел к веслам, и они поплыли в четыре весла чуть быстрее, опять же неведомо куда и неведомо зачем. А Кириск, потрясенный исчезновением старика Органа, все еще горько всхлипывал, сиротливо сидя на корме. Отец и Мылгун тоже были подавлены и ничем и никак не могли помочь ни себе, ни ему, Кириску. Только и нашлись — взяться за весла. Плыли, лишь бы плыть. Лица их были черны в белом тумане. И над всеми ними висела общая, неотвратимая, безжалостная беда — жажда и голод.

Они молчали, ни о чем не говорили. Боялись говорить. Лишь через некоторое время Мылгун бросил весла.

— Дели воду! — мрачно сказал он Эмрайину.

Эмрайин нацеживал из бочонка на донышко ковша каждому по нескольку глотков. Вода была затхлая, с неприятным запахом и гнилым вкусом. Но и той оставалась теперь самая малость. Еще поделить раза три-четыре — не больше. Никто не напился, и никому не стало легче от выпитого.

И опять наступило тягостное, отупляющее ожидание: изменится погода или нет? Уже никто не высказывал никаких обнадеживающих предположений. Ослабшие и изнуренные, они невольно впадали в безразличие — смиренно ждали своей участи, бесцельно кружа на лодке в гиблом тумане. Оставалось только это — примириться с участью. Туман все больше угнетал и подавлял их волю. Лишь раз, крепко выругавшись, Мылгун проговорил с дрожью и ненавистью в голосе:

— Пусть бы исчез туман, и я готов умереть! Сам выброшусь из лодки. Только бы увидели глаза мои край света!

Эмрайин промолчал, даже головы не повернул. Что было сказать? Теперь он оставался в лодке за старейшину. Но ничего иного предложить он не мог. Некуда было плыть!

Время шло. Лодка теперь дрейфовала сама по себе, то замирая на месте, то снова трогаясь.

И с каждым часом возрастала угроза их жизни — к неутихающей жажде прибавлялся жестокий, разрушительный голод. Силы угасали, уходили из тел.

Кириск лежал на корме с полуприкрытыми глазами. Голова отяжелела, кружилась, дышать было трудно — то и дело схватывались спазмы пустого желудка. И все время хотелось пить. Страсть как хотелось пить.

Синяя мышка, дай воды!

Заклиная и призывая синюю мышку-поительницу, мальчик пытался теперь забыться, теперь он искал спасение в воспоминаниях о той жизни, которая осталась у подножия Пегого пса и которая была теперь недоступной и сказочной.

«Синяя мышка, дай воды!» — шептали его губы, и оттого, что кружилась голова, он представлял себе, как они играли, скатываясь с травянистого бугра, наподобие бревен. О, это была забавная, отличная игра! Кириск был самый ловкий и выносливый в этой игре. Надо было взбежать на крутой бугорок и оттуда катиться с горки, перевертываясь вокруг себя, точно ты ошкуренное бревно, пущенное вниз по склону. Надо плотно прижать руки вдоль тела. Вначале приходится помогать себе, чтобы стронуться с места. Перевернешься раз, два, три, и дальше пойдет — не удержишься. А сам смеешься, хохочешь от удовольствия, а небо накреняется то одним, то другим краем, облака кружатся и мельтешат в глазах, кружатся и валятся деревья, все летит вверх тормашками, а солнце в небе надрывается от смеха. А кругом крики и визг ребят! Катишься, катишься вниз, перевертываясь все быстрей и быстрей, и в это время до того чудно мелькают то вытянутые лица, то искривленные ноги

скачущих следом ребят, и наконец остановка. Ух! Только шум в ушах! И тут самый ответственный момент. До счета — раз, два, три — надо успеть вскочить на ноги и не упасть от головокружения. Обычно все с первой попытки падают. Вот смеху-то! Все смеются, и сам смеешься! Хочешь устоять, а земля плывет под ногами. А Кириск не падал. Удерживался на ногах. Старался. Музлук ведь была всегда рядом. Не хотелось при ней валиться с ног, как какому-то слабаку.

Но самое лучшее и самое смешное было, когда они вместе с Музлук наперегонки катились с бугра. Девочки тоже могут скатываться. Только они трусихи и, бывает, косицами зацепятся за что-нибудь. Но это не в счет. Без синяков не обходится в таком веселом деле.

А когда они вместе с Музлук скатывались, то Кириск нарочно растопыривал незаметно локти, тормозил, чтобы не обгонять ее. Они одновременно докатывались вниз под крики и хохот окружающих, одновременно вскакивали до счета «три» на ноги, и никто не догадывался, какое наслаждение было удерживать Музлук, помогать ей устоять на земле. Они невольно обнимались, вроде бы поддерживая друг друга. Музлук так весело смеялась, губы ее были такие заразительные, и все время она делала так, чтобы Кириск удерживал ее, она все время изображала, что падает, а он должен был помогать ей устоять на ногах, подхватывая, обнимая ее. И никто не догадывался, какие минуты неведомого счастья и пугающей любви переживали они при этом. Под тонким платьицем билось дикое сердце девочки, то и дело соприкасались их тела, и Кириск улавливал, как под руку попадались крохотные, еще только возникающие, тугие грудки и как вздрагивала и быстро льнула она при этом к нему, какие загадочные, сияющие были глаза ее, опьяненные от головокружения. И весь мир — все, что имелось на земле и в небе,— плыл, кружился вместе с ними, купаясь в их несмолкающем смехе и счастье. Никто не догадывался, какое это было удивительное счастье!

И лишь однажды один соплеменник чуть постарше Кириска, ненавистный и презренный, догадался — стал валиться, как дурак, на Музлук — вроде не в си-

лах устоять от головокружения на месте. Музлук отстранялась, убегала от него, а он делал вид, что падает от кружения, догонял ее и валился на нее. Кириск подрался с ним. Тот был побольше его и несколько раз сбивал его с ног. И все-таки выходила ничья — Кириск не сдавался и не позволил Музлук вступаться за него. Но это случилось лишь однажды...

И еще были отрадные мгновения, когда, наигравшись, потные и разгоряченные, они бежали пить воду из ручья.

Синяя мышка, дай воды!
Ах, синяя мышка, дай воды!

Ручей протекал неподалеку. Из лесу шел он и выходил на то место, где они играли. Вода в нем журчала по камням, сохраняя в беге лесной сумрак и лесную прохладу. Травы, теснясь вокруг, обступали ручей вплотную, до самой проточной воды. Те, что росли с самого края, полоскались в ручье, сопротивляясь вытянутыми стеблями напору радостного течения. И бежал себе ручей бесшабашно в сторону моря, то юрко поблескивая на солнце, то ныряя под крутой, нависающий берег, то скрываясь в зарослях трав и лозняка.

Они разом добегали до ручья и разом припадали к воде, раздвигая травы по сторонам. Некогда там мыть руки и черпать воду пригоршнями, пили по-оленьи, свесив головы к воде, окуная лица в булькающий, ласково щекучущий поток. Эх, какое это было наслаждение!

Синяя мышка, дай воды!
Синяя мышка, дай воды!
Ах, синяя мышка, дай воды!..

Они лежали у ручья, опустив головы к воде. Их плечи соприкасались вплотную, и руки, опущенные в быструю струю, сливались, точно бы у них была общая пара рук. Они пили, ловя воду губами, с передышками, с упоением насыщаясь и дурачась, булькая ртами в воде. Им не хотелось уходить отсюда, им не хотелось поднимать опущенные головы от чистого потока, в котором они разглядывали свои быстротекущие, неуловимые отражения, улыбались им, смешно искаженным отражениям, и улыбались друг другу.

Синяя мышка, дай воды!
Синяя мышка, дай воды!
Синяя мышка, дай воды!
Ах, синяя мышка, дай воды!..

А Музлук, не поднимая лица от ручья, смотрела на него, лукаво скосив продолговатые глаза, и он смотрел на нее таким же манером и так же лукаво улыбался ей в ответ. Она толкала его плечом, как бы отстраняя его от себя, а он не уступал. Тогда она набирала в рот воды и брызгала ему в лицо. Он делал то же самое: набирал воды еще побольше и с силой выдувал струю ей в лицо. И с этого начиналась безудержная возня и беготня. Они гонялись по воде, забрызгивали друг друга, как могли и сколько могли, и, мокрые с головы до ног, с криком и хохотом носились взад-вперед по ручью...

Синяя мышка, дай воды!

Тяжело было Кириску сознавать, что это больше никогда не повторится. Дышать становилось все труднее, все чаще сводило судорогой желудок. Он тихо плакал и тихо корчился от боли, обращаясь все к той же синей мышке:

Синяя мышка, дай воды!

Так он лежал, пытаясь забыться в грезах. И ничто не изменилось вокруг. Белая пелена тумана все так же неподвижно нависала над ними. Они бессильно валялись в лодке каждый на своем месте. И неизвестно было по-прежнему, что их ждало впереди, когда вдруг лодка сильно вздрогнула, и он услышал испуганный возглас отца:

— Мылгун! Мылгун! Что ты делаешь? Перестань!

Кириск поднял голову и поразился. Мылгун, перевалившись за борт, зачерпывал ковшом морскую воду и пил ее.

— Перестань! — кинулся к нему Эмрайин, собираясь вырвать ковш.

Но Мылгун угрожающе изготовился:

— Не приближайся, Борода! Убью!

Эту горько-соленую воду, которую немыслимо было взять в рот, он пил, обливая одежду, вода лилась на грудь и рукава, пил, давясь, принуждая себя, опро-

кидывая на себя ковш дрожащими руками. Лицо его при этом звероподобно ощерилось.

Потом он швырнул ковш на дно лодки и откинулся навзничь, заваливаясь, хрипя и задыхаясь. Так он лежал, и помочь ему ничем невозможно было. Кириск от страха сжался в комок, испытывая еще большую жажду и острые рези в животе. А поникший Эмрайин снова взялся за весла и тихо повел лодку куда-то в тумане. Ничего иного предпринять он не мог.

Мылгун то утихал, то снова судорожно вздрагивал, хрипел, погибал от приступа жажды. Через некоторое время он, однако, поднял голову:

— Горит, внутри все горит! — И стал раздирать одежду на груди.

— Ну скажи, что сделать? Как тебе помочь? Там еще есть,— кивнул Эмрайин на бочонок.— Налить немного?

— Нет,— отказался Мылгун.— Теперь уже нет. Хотел дотянуть до ночи и потом, как наш покойный аткычх, но не дотянул. Пусть так. А не то сделал бы что-нибудь не то. Выпил бы всю воду. А теперь мне конец, и я уйду. Теперь мне конец... Я сам, я еще в силах...

Среди пустынного моря, в тумане, которому не было ни конца, ни края, ни погибели, страшно и невыносимо было слушать слова человека, обрекшего себя на медленную смерть. Эмрайин пытался как-то успокоить друга и брата своего Мылгуна, что-то сказать ему, но тот не желал его слушать, он торопился, он решил пресечь свои муки одним ударом.

— Ты не говори мне, Эмрайин, ничего, уже поздно! — бормотал Мылгун как безумный.— Я сам. Я сам уйду. А вы, отец с сыном, вы сами решайте. Так будет лучше. Вы меня простите, что так получается. Вы отец с сыном, вы оставайтесь, еще есть немного воды... А я сейчас перешагну.— И с этими словами Мылгун встал, пригибаясь, держась за борт лодки. Пошатываясь, собрав в себе силы, Мылгун сказал Эмрайину, глядя исподлобья:

— Ты мне не мешай, Борода! Так надо. Ты мне не мешай. Прощайте. Может быть, дотянете. А я сейчас... А ты сразу гони прочь... Сразу и не жди... Если приблизишься, опрокину. А теперь греби, Борода, греби сильнее. Слышишь, опрокину...

Эмрайину ничего не оставалось, как подчиниться угрозам и мольбам Мылгуна. Лодка пошла по прямой, рассекая бесшумный туман и бесшумную воду. Кириск жалобно заплакал:

— Аки-Мылгун! Аки-Мылгун! Не надо!

И именно в эту минуту Мылгун решительно перевалился за борт лодки. Лодка сильно накренилась и снова выправилась.

— Прочь! Прочь уплывайте! — закричал Мылгун, барахтаясь в ледяной воде.

Туман сразу скрыл его с глаз. Все затихло, и потом в звенящей тишине еще раз раздался голос, последний выкрик утопающего! И тут Эмрайин не выдержал:

— Мылгун! Мылгун! — откликнулся он и, рыдая, развернул лодку назад.

Они быстро вернулись, но Мылгуна уже не было. Поверхность воды была пуста и спокойна, будто бы ничего и не произошло. И уже трудно было определить то место, где затонул человек.

Весь остаток дня кружили они здесь, никуда не уплывая. Опустошенные и убитые горем, они оба плакали. Первый раз в жизни видел Кириск, как плакал отец. До этого никогда не случалось с ним такого.

— Вот теперь мы одни,— бормотал Эмрайин, утирая слезы с бороды, и никак не мог унять себя.— Мылгун, верный мой Мылгун! — шептал он, всхлипывая...

А день уже клонился к концу. Так оно казалось. Если существовало где-то солнце, если оно ходило по небу над морями, над туманами, то, должно быть, уже закатывалось спокойно на свое место. А здесь, под плотным покровом тумана, постепенно темнеющего, насыщаясь сумрачной мглой, кружила по морю затерявшаяся без вести одинокая лодка, в которой оставались теперь только двое — отец и сын.

Перед этим, перед тем, как сказать себе, что приближается вечер, Эмрайин наконец решил, что пора им испить воды. Он видел, как тяжко дожидался этого Кириск, и понимал, чего стоило сыну терпеть жажду и голод, пересиливая себя, не проронив ни звука. Гибель Мылгуна на долгое время как бы приглушила мысль о воде. Но постепенно жажда брала свое и теперь уже разгоралась с удвоенной силой, жестоко возмещая невольную отсрочку мучений.

С чрезвычайной осторожностью, чтобы не пролить напрасно ни единой капли, нацедил он протухшей воды сначала Кириску. Мальчик схватил ковш и тут же проглотил свою долю воды как одержимый. Затем Эмрайин налил для себя, обнаружив, что воды в бочонке после этого осталось, собственно, на дне. Кириск тоже понял это, судя по наклону бочонка в руках отца. Эмрайин помертвел, пораженный этим, хотя и предполагал, что так оно и должно было быть. Теперь Эмрайин не спешил выпить свою воду. Он задумчиво держал в руке ковш, потрясенный грянувшей вдруг мыслью, с появлением которой утоление жажды уже ничего не значило.

— На, подержи,— передал он ковш сыну, хотя не следовало этого делать. Для мальчика это было равносильно пытке — держать ковш с водой и не сметь выпить. Освободив руки, Эмрайин плотно вогнал пробку и поставил опустевший почти до дна бочонок на свое место.

— Выпей,— предложил он сыну.

— А ты? — удивился Кириск.

— А я потом. Ты не думай ничего, выпей,— спокойно сказал отец.

И Кириск снова без промедления проглотил и эту порцию вонючей воды. Жажда не утолилась, как хотелось бы, но все же он почувствовал какое-то небольшое облегчение.

— Ну как? — спросил отец.

— Немножко лучше,— благодарно прошептал мальчик.

— Ты не бойся. И запомни, даже совсем без капли воды во рту человек может протянуть два-три дня. И что бы то ни было, ничего не бойся...

— Потому ты не выпил? — перебил его Кириск.

Эмрайин растерялся, застигнутый врасплох этим вопросом. И, подумав, сказал коротко:

— Да.

— А без еды сколько? Мы уже не едим давно.

— Лишь бы вода была. Но ты не думай об этом. Давай-ка мы лучше поплывем немного. Я хочу с тобой поговорить.

Эмрайин заскрипел веслами, и они медленно потащились в тумане по морю, точно не могли поговорить на том месте, где они находились. Отцу предсто-

яло собраться с духом. Ему казалось, что так будет легче сосредоточиться, подготовить себя к тому разговору, при одной мысли о котором тягостно холодело внутри. Не только сам нагребал, но и сыну велел сесть за весла. Необходимости в этом никакой не было, так же, как не было необходимости куда-то плыть. Мальчик с трудом ворочал непомерно большими для него морскими веслами. С одним он бы еще мог управиться, а для пары пока не подрос. К тому же чувствовалось, мальчишка заметно ослаб, как и сам он слабел час от часу. Это-то и вынуждало отца торопить события. Время уходило, время истекало.

Кириск молчал и не оглядывался, невпопад проворачивая тяжелые весла. Но не это терзало Эмрайина. Глядя на сына со спины, на эту согбенную и, как теперь он заметил, все еще по-детски щуплую, беззащитную фигурку, он кусал себе губы, и сердце его, он это явственно ощутил, обливалось кровью — горячим, пульсирующим потоком боли. Но начать разговор он не смел, хотя и не было иного выхода...

Постепенно видимость в недрах тумана снижалась, а Эмрайин все плыл в тяжком раздумье, и времени у него оставалось действительно мало. Как ни крепился он, каким бы ни был могучим от природы, жажда и голод быстро одолевали, быстро съедали его силы. Надо было успеть подготовить сына к тому, что он обдумывал в тот час, надо было сделать это, пока сам был в состоянии держаться и проявлять волю.

Он понимал, что и ему предстоит вслед за Органом и Мылгуном покинуть лодку, что это единственная возможность если не сохранить, то хотя бы продлить жизнь сына настолько, насколько оставалось на дне бочонка той немногой воды. Он не мог сказать себе, развеется ли туман этой ночью или следующим днем, и уж вовсе не мог сказать себе, что предстоит сыну впереди, если даже наладится рано или поздно погода, как, каким образом, оставшись один в море, смог бы он выжить и спастись. На это ответа не существовало. Единственная надежда, маловероятная, а то и вовсе несбыточная, в которой он пытался уверить самого себя, состояла в том, что, если откроется море, быть может, случайно встретится большая лодка белых людей. По слухам, он знал, что белые люди иной раз появлялись в этих водах — проплывали океаном, вдалеке

от их берегов, плыли по каким-то своим делам, из каких-то далеких стран в какие-то другие далекие страны. Сам он никогда не встречался с ними, но рассказывали об этом купцы, которые все на свете знают, а иные из них сами якобы плавали на этих огромных, как горы, лодках белых людей. Только такое чудо, если разгуляется погода, если совпадут пути, если заметят белые люди маленький каяк-долбленку в океане, только это могло быть надеждой, слабой, невероятной, почти невозможной, но все-таки какой-то надеждой.

Об этом и собирался поведать Эмрайин сыну перед тем, как покинуть его. Необходимо было еще убедить Кириска, строго-настрого наказать ему, чтобы он оставался в лодке до самого последнего дыхания, пока сознание будет при нем. И если суждено ему умереть, когда кончится вода, то умереть он должен в лодке, а не выбрасываться в море, как вынуждены были поступить старик Орган, Мылгун и как поступит он, его отец. Никакого иного выхода не было. Требовалось повиноваться, примириться с жестокостью судьбы... Однако при мысли, что одиннадцатилетний мальчик останется в лодке один на один со всем светом, в беспросветном тумане, в безбрежном море, медленно умирая от жажды и голода, Эмрайина охватывала оторопь. С этим невозможно было примириться, то было выше всяких сил. И тогда он ловил себя на мысли, что не сможет оставить сына одного, лучше умереть вместе с ним...

Вскоре стало совсем темно. Опять воцарилась в море черная чернота туманной ночи. Если бессмысленно плыть куда-либо днем по туману, то тем более бессмысленно это ночью. Лодка тихо покачивалась на месте. И опять никаких признаков того, что погода изменится. Море лежало бездыханное.

Отец с сыном примостились на ночь на дне лодки, тесно прижавшись друг к другу. Не спали ни тот, ни другой. Каждый думал, мучимый жаждой и голодом, что ожидает их впереди...

Лежа рядом с отцом, Кириск остро ощутил, как здорово исхудал и извелся отец за эти дни, как уменьшился телом и обессилел. Только и осталась борода — по-прежнему жесткая и упругая. Прижимаясь к отцу, тихо сглатывая слезы от жалости к нему, мальчик постиг той ночью неведомые прежде чувства изначаль-

ной сыновней привязанности. Он не смог бы выразить эти чувства словами — они таились в душе, в крови, в сердцебиении его. Прежде он всегда гордился, что похож на отца, подражал ему и мечтал быть таким, как отец, а теперь он приходил к пониманию, что отец — это он сам, это его начало, а он продолжение отца. И потому ему было больно и жалко отца, как самого себя. Он воистину заклинал синюю мышку, чтобы она принесла им воды — и ему и отцу:

Синяя мышка, дай нам воды!
Синяя мышка, дай нам воды!

Отец же о воде для себя уже не думал, хотя с каждым часом все тяжелее переносил страдания неутоленной, все возрастающей, уже физически невыносимой жажды. Внутри все горело, пересыхало и сжималось железной, необратимой спазмой. В голове поднимался гул. Теперь он понимал последние муки Мылгуна. И, однако, не о том была его дума. Думать о воде, желать напиться досыта теперь для него уже не имело смысла. И уже давно бы прервал он эти безысходные мучения, если бы не сын, если бы он мог принудить себя оставить сына, примостившегося у него под боком этой темной последней ночью. Ради сына, пусть не имеющего никаких надежд на спасение и все-таки и вопреки этому оберегаемого им до наипоследней возможности, ради того, чтобы сколько-нибудь продлить ему жизнь, и в том теперь заключалась безотчетная борьба и надежда отца, в том теперь он видел свою последнюю волю и деяние, ради всего этого он должен был поскорее покинуть лодку. Но именно из-за него, из-за сына, он не мог на то решиться, не смея бросить его на произвол судьбы. Но и медлить, тянуть дальше тоже становилось опасно — уходили последние силы, необходимые, чтобы собраться с духом...

Время жить у отца истекало...

Как, какими словами было объяснить это сыну? Как сказать ему, что он оставит его ради него?..

Время жить у отца истекало...

— Отец! — прошептал вдруг Кириск, будто бы отгадывая его мысли, и еще крепче прижался к отцу, заклиная свою синюю мышку:

Синяя мышка, дай нам воды!
Синяя мышка, дай нам воды!

Эмрайин, стискивая зубы, застонал от горя и не посмел ничего сказать. Мысленно он прощался с сыном, и чем дольше прощался, тем труднее, тем мучительнее было подняться на последний шаг. Этой ночью он понял, что, оказывается, вся его предыдущая жизнь была предтечей нынешней его ночи. Для того он и родился и для того он умирал, чтобы из последних сил продлить себя в сыне. Об этом он думал в тот час, молча прощаясь с сыном. Эмрайин совершал для себя открытие — всю жизнь он был тем, кто он есть, чтобы до последнего вздоха продлить себя в сыне. И если он не думал об этом раньше, то лишь потому, что не было на то причин.

И тут он вспомнил, что были и прежде случаи, когда мысль эта проскальзывала в сознании, как молния по небу. Он вспомнил и понял теперь то, что произошло с ним однажды, когда они с покойным Мылгуном и другими соплеменниками рубили великое дерево в лесу. Дерево стало валиться, а он по чистой случайности оказался в тот момент на той стороне, куда заваливалось, сокрушая все вокруг, это поверженное дерево-гигант. Все закричали в голос:

— Берегись!

Эмрайин оцепенел от неожиданности, и было уже поздно: треща, громыхая рвущейся кроной, обрушивая и опрокидывая само небо, вырывая кусок зеленого лесного потолка вверху, дерево медленно и неумолимо падало на него. И он подумал в то мгновение лишь об одном, что Кириск — тогда он был малышом и единственным ребенком, Псулк еще не родилась,— он подумал тогда, в те считанные секунды, на пороге неминуемой смерти, подумал только об этом, и ни о чем другом он не успел подумать, что сын — это то, что будет им после него. Дерево рухнуло рядом с грозным гулом, обдав его волной листьев и пыли. И тут все облегченно вскричали. Жив остался, жив и невредим Эмрайин!

Теперь, вспомнив об этом случае, он понял, что именно появление сына сделало его таким, каким он есть, и что ничего лучшего и более сильного он не испытывал в жизни, нежели отцовские чувства. За это

он был благодарен детям и прежде всего сыну, Кириску. Эмрайину хотелось рассказать Кириску об этом, но он не стал его тревожить. Мальчику и без того было худо...

Время жить у отца истекало...

Синяя мышка, дай нам воды!
Синяя мышка, дай нам воды!

Время жить у отца истекало...

Осталось еще два-три дорогих воспоминания, с которыми трудно было ему расставаться. И он не хотел уходить туда, не подумав об этом, хотя время уже поджимало. Теперь он прощался с воспоминаниями, постоянно помня, что пора покидать лодку...

Он любил жену с первых дней. Удивительное было в том, что, находясь в море, он думал, оказывается, о том же, о чем думала она дома. Так было с первых дней. Она знала, о чем он думал, находясь в плавании, так же, как он знал о ее мыслях... Это узнавание на расстоянии было их тайной и никому не ведомым счастьем близости.

Когда Кириск еще не родился, но появились первые признаки, которые могли подтвердиться и не подтвердиться, он сразу сказал, вернувшись, жене:

— У нас будет мальчик?

— Тише, кинры услышат! — перепугалась она, и глаза ее налились радостью.— Откуда ты знаешь?

— Ты думала об этом сегодня. Ты этого очень хочешь.

— А ты?

— Ты же знаешь, что я знаю, о чем ты думала, и я думал об этом же.

— А я думала потому, что ты думал об этом и очень хотел этого...

Так оно и случилось. Сбылось их предчувствие. Кириска еще не было, но он должен был вскоре появиться. И тот срок постепенно приближался. В те дни жена ходила в его старых кожаных штанах, видавших виды, латаных-перелатаных. Это для того, объясняла она, чтобы присутствовал его мужской дух, когда он уходит на промысел, а не то плохо будет расти тот, кто должен появиться. В те дни жена в его старых кожаных штанах была самой красивой и желанной. Самой красивой и самой желанной!

Славные, тревожные и радостные были те дни, когда они думали о том, кто должен был сделать их отцом и матерью...

То был Кириск...

С ним и со всем, что было связано с ним, предстояло теперь разлучиться навеки.

И еще, когда Кириск уже подрос, мать как-то, рассерженная им, сказала, что, когда его не было, ей было гораздо лучше без него.

Мальчика это очень обидело.

— А где я был, когда меня не было? — пристал он к отцу, когда тот вернулся с моря.

Вот смеху-то... Смеялись они с женой молча, лишь глазами. Особенно ей доставляло удовольствие, что он никак не мог ответить и не знал, как ему быть, как объяснить мальчику, где он был, когда его не было.

Теперь бы отец ему сказал, что он был в нем, когда его не было на свете, что он был в его крови, в его пояснице, откуда он истек в чрево матери и возник, повторяя его, и что теперь, когда он сам исчезнет, он останется в сыне, чтобы повторяться в детях его детей...

Да, так бы ему и сказал и был бы счастлив сказать перед смертью именно так, но теперь всему приходил конец. Его роду приходил конец. Самое большее жизнь Кириска могла продлиться еще на день, два, но не дольше, отец это хорошо понимал. И в том заключалась для него непримиримая беда и несчастье, а не в том, что приходилось покидать лодку ради сына...

И еще хотелось Эмрайину внушить напоследок сыну, чтобы он с благодарностью думал в оставшееся для него время о старике Органе и аки-Мылгуне. Людей этих уже нет, им все равно, вспоминает ли о них кто или не вспоминает, но думать так следует для самого себя. Даже за мгновение перед смертью надо думать об этом для самого себя. Умирать надо, думая для себя о таких людях.

Но потом он решил, что, быть может, сын сам догадается об этом...

Когда Кириск проснулся, он удивился, что спалось ему теплее, чем в предыдущие ночи. Он был укрыт отцовской кухлянкой. Мальчик открыл глаза, поднял голову — отца в лодке не было. Он рванулся, шаря по лодке, и закричал жутким воплем, горестно огласив-

шим безмолвную пустыню туманного моря. И долго не смолкал его одинокий, полный отчаяния и боли вопль. Он плакал страшно, до изнеможения, и потом упал на дно лодки, хрипя и биясь головой. То была его плата отцам, от которых он шел, его любовь, его горе и причитание по ним...

Мальчик лежал на дне лодки, не поднимая головы, не открывая глаз. Ему некуда было смотреть и некуда было деваться. Кругом все так же расстилался белесый туман, и лишь море в этот раз нерешительно пошевеливалось, покачивая и кружа лодку на месте.

Кириск плакал, сокрушаясь и упрекая себя в том, что уснул, что если бы он не уснул, то никогда и ни за что не пустил бы отца, вцепился бы руками и зубами и не отпустил бы его, пусть бы они погибли вместе, пусть бы скорее умерли от жажды и голода, но только бы не оставаться одному в полном и страшном одиночестве. Ругал и упрекал себя, плача, что не проснулся, не вскочил и не закричал, когда ночью вдруг он почувствовал, как сильно дернулась и закачалась лодка от резкого толчка. Разве он допустил бы, чтоб отец выбросился в море! Разве он не кинулся бы с ним вместе в эту черную пучину!

Потом он забылся постепенно, плача и трясясь всем телом. И через некоторое время с новой силой, как бы возмещая свое отступление перед горем, начался приступ жажды. Он даже во сне чувствовал, как изнывал и страдал от безводья. Жажда одолевала, жажда терзала и душила его. Тогда он почти вслепую дополз до бочонка и обнаружил, что пробка слегка приослаблена, чтобы легче было ее вытащить, и ковш был рядом. Он налил себе воды и, ни о чем не думая, напился, разнимая тем слипшиеся губы и спазмы глотки. Хотел еще налить и еще выпить, но раздумал, сумел остановить себя. Водицы оставалось еще раза на два попить...

Потом он сидел уныло и думал о том, почему отец ушел, не сказав ничего. Ведь вместе с отцом ему было бы легче утонуть, чем теперь, когда одиночество и страх сковали его руки и ноги и когда он так страшится переступить за борт лодки. Он решил, что сделает это, как только соберется с силами...

Был уже полдень, а может быть, чуть больше полдня. Так казалось Кириску, судя по светлеющим то-

нам тумана. Значит, солнце сияло где-то в зените. Однако солнечные лучи не пробивали пока толщу Великого тумана в его великом оцепенении над океаном. Туман становился жиже, голубоватым, как дым от усохших дров. И все равно далее двадцати — тридцати саженей ничего не различить было, кроме темной, колышущейся воды вокруг.

Плыть было некуда, да он и не справился бы теперь с веслами. Он с грустью посмотрел на отцовские и мылгуновские весла, аккуратно заставленные по бортам. Лодка дрейфовала теперь сама по себе, двигаясь в тумане в неизвестном направлении. И со всех сторон обступало мальчика одиночество, и кругом царил безысходный страх, холодящий душу.

Позднее, к вечеру, ему опять нестерпимо захотелось пить. И голова шла кругом от голода и слабости. Ему не хотелось ни двигаться, ни глядеть по сторонам. Да и некуда и не на что было смотреть. И даже трудно стало добраться до бочонка. Он пополз на коленях и остановился от усталости. Кириск понимал, что скоро не сможет и двигаться. Он поднес к лицу руку и ужаснулся: рука его утончилась, уменьшилась, как ссохшаяся шкурка бурундучка.

В этот раз он напился больше, чем следовало бы. Теперь воды осталось на самом дне, еще на один раз, и на том питью наступал конец. Ни капли. Но ему теперь все стало безразлично. Все равно хотелось пить, ненасытно хотелось пить. Острота голода притупилась, и в желудке засела неутихающая, тяжкая, ноющая боль.

Он несколько раз впадал в беспамятство, потом снова приходил в себя. А лодка дрейфовала сама по себе, плыла в тумане, увлекаемая ожившими течениями.

В какой-то момент он всерьез решил броситься в море. Но сил не хватило. Поднявшись на колени, повис на краю борта. И так висел, выпростав руки за борт, но не в силах выкинуть тело свое из лодки. Потом он обессилел настолько, что даже не пытался допить остаток воды в бочонке.

Он лежал на дне лодки и тихо плакал, призывая свою мышку-поительницу:

Синяя мышка, дай мне воды!..

Но синяя мышка не появлялась, и только еще больше хотелось пить. И опять припоминалось ему то лето, когда он голышом купался в ручье. Ведь было ему тогда лет семь, не больше. Лето стояло в тот год жаркое. На опушке леса здорово припекало. Там они собирали ягоду. А потом купались. Мать и сестра ее тоже купались. Они не очень-то стыдились его. Разделись обе и, смугло поблескивая бедрами, прижимая ладони к грудям, боязливо вошли в ручей. И странно вскрикивали, визжали, плескаясь в воде. А когда он бегал вдоль ручья и прыгал с бережка в воду, они потешались над ним до упаду, особенно мать. «Посмотри, посмотри,— говорила она сестре,— как он похож на него, в точности как сам!» И еще что-то они говорили, озорно перешептываясь и задорно смеясь... А вода текла в ручье нескончаемым потоком, и ее можно было пить досыта и купаться в ней сколько угодно...

Синяя мышка, дай мне воды!..

Чудилось ему, что снова он у того ручья. И вроде бы снова жарким летом купается в нем голышом. Вот он бежит берегом, прыгает в поток, но не ощущает прохлады струи. То какая-то неуловимая, невещественная вода, то туман. Он купается в тумане. Ему зябко в такой воде. А мать не смеется, а плачет. «Посмотри, посмотри, как он похож на него!» — говорит она кому-то и плачет, горько плачет... Слезы ее солоны, они стекают по лицу...

Ночью Кириск проснулся от качки и шума волн за бортом лодки. Мальчик тихо вскрикнул — он увидел над собой звезды! Первый раз за все эти дни. Они высоко блистали в темном небе, в разрывах туч, проносящихся над морем. И даже луна несколько раз показывалась, быстро ныряя в облаках.

Мальчик был ошеломлен — звезды, луна, ветер, волны — жизнь, движение! И хотя туман еще держался скоплениями, и, когда лодка попадала в такие места, все снова погружалось в мутную мглу, продолжалось это недолго. Тронулся Великий туман, вышел из оцепенения, расползался по свету, гонимый ветром и волнами.

Мальчик смотрел на звезды со слезами на глазах. У него не было сил взяться за весла, он не знал, как

находить дорогу по звездам, он не знал, куда ему плыть, он не знал, где он и что ожидало его впереди, и все равно он был рад, что слышит шум бегущих волн, что ветер ожил, что лодка плыла по волнам.

Он плакал от радости и горя, оттого, что мир прояснился, оттого, что море пришло в движение и что, будь у него вода для питья и какая-то еда, он бы еще мог любить эту жизнь. Но он понимал, что не удастся теперь подняться с места, что дни его сочтены, что он умрет скоро от жажды...

А лодка плыла по волнам все резвей и резвей. Плыла по течению, без руля и без весел. Уже смутно угадывался над морем горизонт, все ясней раздвигалось ночное пространство, все реже встречались на пути скопления тумана. И мгла, что встречалась, была уже не та, не такая глухая и все подавляющая. Теперь в тумане чудились бесшумно мчащиеся фантастические существа. Они возникали и исчезали на ветру сами по себе, растворяя и расталкивая туман по сторонам.

Как только появлялась луна из-за облаков, поверхность моря живо рябилась, живо поблескивала, и снова угасала, и снова оживала. Мальчик смотрел на молчаливо светящиеся звезды и думал: «Которые из них звезды-охранительницы? Которая звезда аткычха Органа, которая аки-Мылгуна, а которая отца моего — Эмрайина? Вас не видно было все эти дни. И вы, звезды, не могли нас видеть в тумане. А теперь я один, и я не знаю, куда я плыву. Но мне теперь не страшно, потому что я вижу всех вас в небе. Только я не знаю, которая звезда чья. Но вы не виноваты, что так случилось. Вы же не видели нас в море. Великий туман скрывал нас. И теперь я один. А они уплыли, все трое уплыли. Они очень любили вас, звезды. Они очень ждали, очень хотели увидеть вас, чтобы найти дорогу к земле. Аткычх Орган говорил, что звезды никогда не подведут. Он хотел научить меня... Но вы не виноваты, что так случилось. Я тоже скоро умру. У меня нет воды, и я уже совсем без сил, и я не знаю, куда я плыву... У меня осталось немного воды, совсем немного, я ее выпью сейчас, больше не могу терпеть, мочи нет. Я сегодня сжевал кусок торбы из-под юколы, она из нерпичьей шкуры. Но я больше не могу, меня тошнит, выворачивает от этого... Я выпью сейчас последнюю

воду. И если мы не увидимся больше, я хочу сказать вам, звезды,— аткычх Орган, аки-Мылгун и отец мой Эмрайин очень любили вас... Если я буду до утра, я потом попрощаюсь...»

Вскоре лодка снова попала в обширную полосу тумана. И все скрылось, снова исчезла видимость. Но лодка по-прежнему плыла, гонимая ветром и волнами. Кириску теперь было безразлично. Выпив остаток окончательно прогнившей, затхлой воды, он остался лежать там, у пустого бочонка, на корме, на том месте, где обычно сидел старик Орган. Он приготовился умирать, и туман теперь ему был не страшен. Он лишь сожалел о том, что не видно стало звезд и что, возможно, он не успеет с ними попрощаться... Ему становилось все хуже и хуже...

Так он лежал в полубреду и полусне, и неизвестно, сколько прошло времени. Быть может, было уже за полночь, а быть может, ночь приближалась к концу. Трудно сказать. Легкая мгла стелилась над морем, как дым по ветру.

Есть судьба, и есть судьба. Мальчик мог услышать, а мог и не услышать. Но он услышал. Он услышал, как над головой вдруг со свистом прошумели крылья и что-то низко пролетело во мгле над лодкой. Он встрепенулся и в мгновение ока успел увидеть, что то была птица, большая, сильная птица, широко машущая крыльями.

— Агукук! — прокричал он.— Агукук! — И успел проследить направление полета полярной совы и успел запомнить ветер. Ветер был слева, слева в затылок, чуть позади левого уха!

— Агукук! — прокричал он вслед птице и уже держал в руках органовский руль, направляя лодку туда, куда улетала агукук.

Кириск весь напрягся, вцепившись в рулевое весло, он поднял в себе все силы, которые еще сохранились в нем, и ни о чем другом не думал, он помнил только ветер и только направление полета.

Неизвестно было, куда и откуда летела полярная сова. С острова на материк или с материка на какой-нибудь остров. Но Кириск не забыл, как рассказывал старик Орган,— эта птица летит над морем только по прямой. Это самая сильная птица, летающая по ночам и в тумане. Теперь он следовал за ней.

Лодка же плыла с волны на волну. Ветер был устойчивый. Мгла редела, развеивалась, и уже слегка светлели края неба. Впереди же, прямо перед ним, на плотном темно-синем небосклоне ярко высвечивалась одинокая лучистая звезда. Кириск заметил, что звезда стоит как раз в той стороне, куда направлял он нос лодки. Он догадался, что должен держаться ее, должен следить за ней и идти к ней, ибо туда, в ту сторону, пролетела агукук. Он не знал этой звезды, но теперь он не спускал с нее глаз и затылком помнил ветер: его направленность, его силу, его струю.

«Ты держись, ветер, не уходи. Я не знаю, как тебя звать, это мог бы сказать мне аткычх Орган. Но будь моим братом. Не уходи, не уклоняйся, ветер, в другую сторону. Ведь ты можешь долго держаться так, как тебе нужно. Помоги мне, ветер, не уходи. И я узнаю твое имя и буду звать тебя по имени. А хочешь, я буду звать тебя ветер Орган? По имени моего аткычха Органа. И буду всегда тебя так называть — ветер Орган. И ты будешь меня знать...»

Так заговаривал он попутный ему ветер, убеждал его держаться, вселяя в него свою волю и душу. А глаза не спускал с путеводной звезды, по которой он плыл. «Я люблю тебя, звезда моя,— говорил он звезде.— Ты так высоко и далеко стоишь впереди. Ты самая большая и красивая. Я прошу тебя, не уходи, стой на месте, не угасай. Я плыву к тебе. В твою сторону пролетала агукук. Я не знаю, куда она полетела,— на остров или на землю. Если даже на остров, пусть я умру на острове. Не уходи, не угасай, звезда. Я не знаю, как тебя звать, ты не гневись на меня. Я не успел узнать твоего имени. Твое имя мог бы сказать мне отец Эмрайин. Если хочешь, я буду звать тебя по имени отца, я буду называть тебя звездой Эмрайина. И когда ты будешь появляться на небе, я буду здороваться с тобой и шептать твое имя. А ты помоги мне, звезда Эмрайина, не уходи прежде времени, не угасай, не спрячься вдруг за тучей...»

Так заговаривал он свою путеводную звезду. И еще заговаривал он волны: «Волны, вы сейчас погоняете мой каяк, вы сейчас хороши. Я буду звать вас — волны акимылгуны. Вы идете туда, куда полетела агукук. Ведь вы можете долго катиться туда, куда вам нужно. Не уходите, волны акимылгуны, не сбивайтесь с пу-

ти. Я бы поплыл на веслах, но я совсем обессилел. Вы же видите, я плыву по вашей воле. Если я останусь жить, я всегда буду знать: вы идете по ветру Органа и звезде Эмрайина. И я всем передам: акимылгуны в море к добру! Помогите мне, акимылгуны. Не уходите, не оставляйте меня...»

Среди всех звезд дольше всех светилась звезда Эмрайина. К рассвету она осталась одна на всем небосклоне. К рассвету она запылала сильным чистым сиянием, и потом постепенно угасала в сереющем воздухе утра, и еще долго проступала в небе нежным, белым пятном.

Так наступило утро. Потом взошло солнце над морем. Кириск обрадовался и испугался. Обрадовался солнцу и испугался неоглядности моря. Переливаясь зыбкой синевой под солнцем, море было почти черным и необозримо пустынным. Мальчик судорожно держался за рулевое весло, пытаясь плыть по памяти, не сбиваясь с ветра. Это было утомительно...

Он помнил, как у него закружилась голова и все поплыло перед глазами...

Лодка шла теперь своим ходом...

Солнце уже передвинулось на другой край неба, когда мальчик пришел в себя. Подтягиваясь и опираясь на трясущиеся руки, он с трудом вылез на корму и замер с закрытыми глазами, пережидая головокружение. Потом он открыл глаза. Лодка плыла по волнам. И море все так же рябилось, насколько хватало глаз, бесчисленными бликами живой, колышущейся воды. Кириск глянул перед собой, протер глаза и обомлел. Прямо на него из-за темно-зеленой горбины моря выплывал Пегий пес. Пегий пес бежал навстречу! Великий Пегий пес!

Берег был уже виден на краю моря серо-голубой гористой полосой. Но Пегий пес, белоухий и белопахий, вздымался выше всех сопок, и уже различима была кипящая кайма вечного прибоя у подножия Пегого пса. Уже слышны были в воздухе голоса прибрежных чаек. Чайки первыми приметили его. А над сопкой витал голубой дымок угасающего на круче сигнального костра...

Пегий пес, бегущий краем моря,
Я к тебе возвращаюсь один —
Без аткычха Органа,
Без отца Эмрайина,
Без аки-Мылгуна.
Где они, ты спроси у меня,
Но сначала дай мне напиться воды...

Кириск понял, что это и есть начальные слова его именной песни, с которой ему жить до конца его дней...

...Гудело и маялось море во тьме, набегая и расшибаясь на утесах. Надсадно ухала, отражая удары моря, каменнотвердая земля.

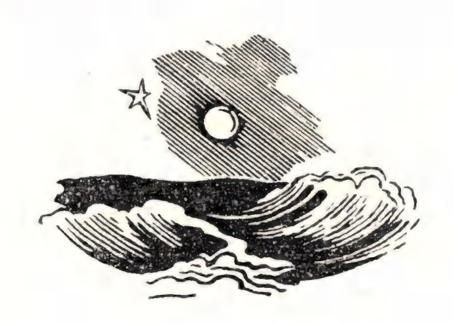
И вот так они в противоборстве от сотворения, с тех пор, как день зачался днем, а ночь зачалась ночью, и впредь быть тому, все дни и все ночи, пока пребудут земля и вода в нескончаемом времени...

Все дни и все ночи...

...Еще одна ночь протекала...

Шумел над морем ветер Орган, катились по морю волны акимылгуны, и сияла на краю светлеющего небосклона лучистая звезда Эмрайина.

...Еще один день наступал...



Рассказы





БЕЛЫЙ ДОЖДЬ



Ветер, охлажденный в вышине каменных скал, с силой вырывается из сумрачной глубины ущелья и уносится к подножию гор. Там, внизу, спит аил.

Тихо кругом, в окнах гаснут огни, луна чуть заметно серебрит подернутые весенней изморозью тугие почки, готовые вот-вот лопнуть. И только ветер шуршит камышовой кровлей, да собака урчит спросонья. А там, вдалеке, слышится еле уловимый шум горной реки и рокот моторов...

В темноте к окраине аила быстро приближаются две фигуры. Вот они, замедлив шаг, остановились.

— Ну теперь я сама... спасибо,— послышался женский голос.

— Давай еще провожу, вдруг собаки покусают,— ответил мужской голос.

— Я не боюсь собак...

— Все же...

— Нет, Касымджан, ты опоздаешь на работу.

— Успею, еще есть время.— Касымджан зажег спичку. Трепещущее пламя на миг выхватило из темноты девушку, повязанную клетчатым платком, и молодого парня в кожаной спортивной куртке на «молнии» и кирзовых сапогах.— О, Саадат, еще целых два с половиной часа...— сказал он, взглянув на часы.

— Не надо. Касымджан, иди... Увидит еще кто, пойдут разговоры... Потом я очень беспокоюсь, зачем мать вызвала меня?.. Вдруг заболела?..

— Да-а, если это так, то оставлять ее одну нельзя. Но ты не печалься, что-нибудь придумаем...

Они постояли еще немного и разошлись: Саадат — домой, а Касымджан — по дороге в горы. Пройдя немного, он оглянулся.

— Если что, сообщи... Я буду ждать...

— Хорошо,— сдавленным голосом отозвалась Саадат...

Она прошла несколько шагов, остановилась и оглянулась. Қасымджана уже не видно. Темно. Саадат поспешила домой. Чем ближе она подходила к дому, тем торопливее становились ее шаги. Саадат наконец не выдержала и побежала. В голове путались мысли, одна мрачней другой. Девушке чудилось, что вот сейчас она прибежит, откроет дверь и увидит в постели больную, с запавшими глазами мать. «Апа, дорогая моя, милая апа!» — силится крикнуть Саадат, но голос пропал. А вот уже и знакомая калитка. И вдруг она увидела, как навстречу ей движется какая-то тень.

— Ты, Саадат? — спросила мать.

— Апа, что случилось?

— Ты одна в такую ночь?

— Одна,— солгала Саадат.

— Что ты, бог с тобой! — всплеснула руками Сейнеп-апа.— Да можно ли...

— Нет, я на попутной бричке приехала,— вовремя сообразила Саадат.

Обнимая дочь, Сейнеп-апа заплакала:

— Истомилась... Все глаза проглядела. Уж ночь, а тебя все нет и нет. Думаю, не случилось ли чего в дороге... Собиралась уже сама идти навстречу...

— Да что с тобой, апа, ведь мы виделись на той неделе...

Саадат работает прицепщицей в тракторной бригаде и почти все лето живет на полевом стане. И всякий раз, когда она приходит домой, для Сейнеп-апа это настоящий праздник. Она так скучает, что потом ни на шаг не отходит от дочери. Они вместе растапливают очаг, хлопочут по хозяйству — одна месит тесто, другая варит мясо, Саадат доит корову, а мать стоит возле, готовит пойло. И нет конца разговорам. И в колхозе, где работает Сейнеп-апа, и в тракторной бригаде новостей много. Только когда Саадат идет к реке по воду, Сейнеп-апа стоит у калитки и провожает ее взглядом. Не верится матери, что дочь уже выросла. С умилением глядит Сейнеп-апа на упругие, стройные плечи Саадат. С какой легкостью несет она коромысло, придерживая его полной смуглой рукой с чеканным серебряным браслетом, как красиво ступают ее ноги! Как размеренно дышит грудь, приподнимая оборки платья.

— Доченька, свет очей моих, пусть напасти, минуя тебя, обрушатся на мою голову! — невольно вырывается у матери.

Сегодня дочь с матерью были особенно радостны и нежны друг к другу. Саадат чувствовала, что мать не зря вызвала ее, что она должна сказать ей что-то важное. И действительно, Сейнеп-апа давно готовилась к этому разговору.

В последнее время с дочерью творилось что-то неладное. Что бы это могло означать?

Как-то ранней весной, едва сошел снег, Саадат, запыхавшись, прибежала домой.

— Апа,— взволнованно крикнула она с порога,— комсомольская бригада приехала!

— Какая бригада?

— Ну не знаешь разве — комсомольская бригада из МТС! Комсомольцы на новых землях будут работать. Я сама видела, апа, как они проехали мимо мельницы на машинах и тракторах. Они везут с собой плуги и сеялки...

«Чего она так всполошилась? — недоумевала тогда Сейнеп-апа.— Ну, приехали и приехали».

А дочь продолжала с жаром выкладывать свое:

— Я знаю, апа, где они будут пахать. Совсем недалеко от нас. Токой-аке говорит, что они в этом году распашут все «Старое кочевье».

Через несколько дней Саадат попросила разрешения у матери поступить в МТС прицепщицей. Сейнеп-апа не хотелось отпускать дочь из дому, но Саадат была упряма, настаивала на своем, и скрепя сердце мать уступила.

— В этом году я буду прицепщицей, а потом нас будут учить на трактористов. Не могу же я нарушить своего слова, которое дала на комсомольском собрании.

Но эти доводы едва ли подействовали бы на мать, если б не вмешался Токой-аке — дядя Саадат.

— Не мешай молодым, им виднее, пусть идет! — посоветовал он матери.

И Саадат ушла, а мать вскоре горько раскаялась. Она видела, что Саадат теперь принадлежит не только ей, что есть другая могучая сила, которая все больше и больше овладевает ее дочерью.

Иногда ей кажется, что Саадат становится умнее ее. Не слишком ли много это для девушки? У Саадат появились свои заботы, которых не понимает она, мать. Почему Саадат, придя домой, так соскучившись по матери, чуть свет, спозаранку спешит обратно в бригаду?

Странно. Порой Саадат серьезна, деловита, порой необыкновенно весела, поет, смеется, пристает к матери с ласками, а то вдруг затуманятся глаза, как у осиротевшего верблюжонка, сидит тихая, печальная.

— Довольна ли ты, Саадат, своей работой? — украдкой спрашивала Сейнеп-апа.— Что за люди у вас там в бригаде?

— Очень довольна! — всегда отвечала Саадат и с восхищением принималась рассказывать о своих товарищах. Они приехали издалека и хорошо знают машины. А есть и такие, что сами делали их на заводе. «Вот бы и мне такой стать!» — говорила Саадат. И глаза ее загорались. В эту минуту она становилась для матери чужой и непонятной. Не замечая тревоги в глазах матери, Саадат рассказывала обо всем, что ее волновало, о комсомольском собрании, о стенгазете, где протащили тракториста-лодыря, и еще о многом, правда, не всегда понятном для Сейнеп-апа.

Напились чаю. Саадат собрала достархан, вымыла пиалы, поставила их на полку. Пора и спать, но Сейнеп-апа еще сидела на кошме, внимательно поглядывая на Саадат.

— Подойди-ка, доченька, ко мне, сядь,— показала она на кошму рядом с собой.— Хочу с тобой поговорить...

— Говори, апа, я слушаю...

Долго собиралась с мыслями Сейнеп-апа, не зная, с чего начать.

— Ты у меня единственная, Саадат,— сказала она, пристально глядя в лицо дочери.— Ты мне и за сына и за дочь. У меня никого, кроме тебя. Ты думаешь, мне легко одной? — На глазах матери навернулись слезы.— Только на работе и забываюсь, а приду домой... тоска сжигает душу... Где ты, что с тобой, здорова ли... Не женская у тебя работа, Саадат. Разве девушке сидеть за плугом... Оставь ты это, вернись домой... и в колхозе немало работы...

Сейнеп-апа вытерла глаза и тяжело вздохнула. Кажется, этого было достаточно, чтобы понять, что хочет она, но Саадат чувствовала, что мать не сказала главного.

— Да разве я единственная девушка у нас в полевом стане? Есть ведь и из нашего колхоза девчата. А сколько их у нас в МТС! И работают не хуже мужчин. Почему же я должна все бросить?

— А ты не равняйся с ними! — рассердилась Сейнеп-апа.— Они не одни у родителей.

Саадат обняла мать и замерла, прижав ее к груди. Не могло быть и речи, чтобы не согласиться с ней.

— Ну хорошо, апа, пусть будет по-твоему. Но разреши мне еще немного побыть там. Скоро кончится весенний сев, и тогда я вернусь. Совсем немного осталось, потерпи, апа...

Мать успокоилась. Пора и спать.

Веки начали было смыкаться, но вот послышался шорох. Сейнеп-апа открыла глаза и увидела, что Саадат встала и тихонько пробралась к окну. Голубоватый лунный свет падал на голову и плечи девушки. Саадат беспокойно оглянулась на мать, затем осторожно села на подоконник, обхватила колени руками и затихла. Видно, о чем-то думает. Руки нервно теребят косы, упавшие на грудь.

«И чего ей не спится?» — Сердце матери снова тревожно заныло.

Прильнув к стеклу, Саадат пристально смотрит в горы, где на пологих склонах время от времени вспыхивают огни тракторных фар. Прислушивается она к далекому рокоту моторов. Шум то приближается, и тогда кажется, что тракторы находятся здесь, рядом, то удаляется, заставляя девушку напрягать слух.

«Слушает трактор»,— догадывается Сейнеп-апа и ловит себя на том, что и сама постоянно прислушивается к этому рокоту. Ее дочь тоже работает там, на полях, и когда ее нет дома, находит в этом рокоте успокоение. Да, неспроста сидит дочь у окна. Сейнеп-апа понимает, что Саадат душой находится не здесь, а там, на пашне.

Саадат смотрит на далекие фары, и ей кажется, что она видит, как лемеха плуга подрезывают пласты

целины снизу наискось и опрокидывают их рассыпчатыми гривами друг возле друга. Долгие годы лежала земля эта нетронутой. И вот они с Касымджаном первые возрождают эти необжитые земли. Теперь здесь будут колоситься хлеба, а вскоре пролягут дороги, вырастут дома среди гор в долине «Старого кочевья», и люди по-хозяйски будут говорить приезжему: «Проедете вот это поле, увидите там скотный двор, а дальше улицы, это и есть наш колхоз!» «Да, все это будет создано нами!» — думает Саадат, ощущая в душе прилив радости. Разве это не настоящее счастье, разве не стоит посвятить этому жизнь!

Ей мерещится под лучами яркого солнца черная зыбь целины, как живая дышит она паром. Тянет сырым запахом свежей земли. Хорошо!..

В конце загона, где поворот, Саадат быстро переставляет рычаги плуга. Отполированные, как зеркало, лемеха поднимаются на поверхности пашни. И в каждом из них светит маленькое солнце...

Разворачивая трактор, Касымджан улыбается ей. А Саадат кричит:

— Давай, Касымджан, гони! Сегодня первенство наше!.. Давай!..

«Касымджан... как хорошо, что мы встретились, как хорошо, что работаем вместе! Я готова хоть на край света пойти за тобой!» — шепчет про себя Саадат...

Тревожно было на сердце Сейнеп-апа. Не зная, как поступить, что сказать дочери, она с тяжелым вздохом повернулась на другой бок. Саадат вздрогнула. Долго еще сидела она безмолвно, глядя на мать, потом бесшумно подошла к кровати и легла. Но ни дочь, ни мать не спали. Каждая была занята своими мыслями.

Сейнеп-апа думала о том, что дочь уже взрослая и пора позаботиться о ее дальнейшей судьбе. Хорошо, если нашелся бы достойный джигит из своего аила,— тогда дочь всегда была бы под боком. А еще лучше, если зять будет одиноким, тогда жили бы дома. Дочь и не знает, что приданое почти готово. Туш-кийиз есть, ала-кийизы есть, осталось приобрести шелка для полога.

А Саадат думает о Касымджане, о первой встрече с ним. Тогда они работали на одном агрегате. Всякий

раз, как останавливался трактор, Касымджан подходил к ней и спрашивал:

— Ты не устала, Саадат? Отдохни немного.

«И чего он пристает ко мне?! — сердилась Саадат.— Что я, маленькая, что ли?»

Но когда Касымджан не спрашивал, сердилась Саадат: «Почему он не спрашивает? Обиделся или я надоела ему?»

А однажды в верховьях урочища они решили взобраться на самую высокую скалу. Саадат никогда не забудет тот день. Подъем был крутой, но они, забыв об усталости, не останавливались, словно дали клятву обязательно, во что бы то ни стало подняться на эту вершину. Оба думали, что там они скажут друг другу что-то очень важное. Ведь этих слов никто не услышит, кроме них, вокруг на несколько километров нет ни души. Однако, достигнув вершины, никто из них не осмелился высказать то, что носил в сердце. Лишь при спуске, когда Саадат нечаянно поскользнулась, Касымджан подхватил ее на руки и приник к ее губам. Но Саадат не сердилась. Она была счастлива, как никогда...

* * *

Сейнеп-апа стоит, прислонившись к косяку распахнутой двери, и смотрит в комнату. В ее неподвижно-понурой позе, в удивленно приподнятых бровях, в скорбных складках крепко сжатого рта чувствуется безмолвное отчаяние. То ли она боится перешагнуть порог, ожидая чего-то страшного, то ли что-то вспомнила и остановилась, а может быть, прислушивается к шуму с гор, приносимому порывами ветра... Широкие, длинные рукава платья обвисают на ее худых плечах. Возле, под ногами, валяется брошенное коромысло, стоят ведра с расплескавшейся водой. Сейнеп-апа только что вернулась с реки. Там ей сказали, что Саадат вышла замуж. Свершилось то, чего больше всего боялась мать. И вот теперь она осталась одна в этом доме. Казалось бы, все есть у нее, но с уходом дочери все потеряло всякий смысл.

Неизвестно, сколько простояла бы так Сейнеп-апа, если бы не пришла невестка Токой-аке — Жийдегуль. Увидев ее, Сейнеп-апа запричитала:

— Вот что значит дочь! О, я несчастная женщина! Бог наказал меня, не дал сына. Он уж не покинул бы родного гнезда, а привел бы сноху в дом.

Жийдегуль со страхом смотрела на эту щупленькую, обычно спокойную, а сейчас совсем другую женщину.

— Опозорила меня Саадат! — продолжала между тем Сейнеп-апа.— Ушла, как беглянка, без почестей, без проводов, за скитальца. Увезет он ее, и не увижу...

— Да что вы, Сейнеп-апа, она же здесь, недалеко! — вступилась Жийдегуль.

— Замолчи! Вы тоже виноваты в моем горе. Это твой Токой подбивал Саадат пойти в МТС. А я по глупости послушалась его как брата своего мужа... Иди и передай, если дорога ему память брата и честь нашего рода, пусть вернет Саадат. Иди!..

В тот же день Токой-аке по праву старшего послал свою жену, чтобы она привела Сейнеп.

Ожидая золовку, он сидел на овчине, постланной поверх кошмы, и хмурился. Тут же присутствовала вся его большая семья. В комнате было жарко, в котле варилось мясо, на столе шумел самовар.

— Я все знаю, Сейнеп,— начал Токой, почтительно поднося ей пиалу с чаем.— И мне стыдно за тебя. Если Саадат поступила дурно, я сейчас же оседлаю лошадь и приволоку ее сюда за волосы! — Глаза старика гневно сверкнули.— Но я не сделаю этого. Пусть лучше руки мои отсохнут... Земли «Старого кочевья» давно ждали таких людей, как твоя дочь. Я не собираюсь, Сейнеп, утешать и уговаривать тебя, но напомню одну вещь.— Токой заложил насвай за губу и задумчиво разгладил побуревшие усы.— Сейчас поднимают целину «Старого кочевья». А ведь было время, ты сама знаешь, когда мы не могли сделать этого. Тогда мы и мечтать не смели получить землю в низовье. Баи теснили, теснили нас и наконец отогнали на «Старое кочевье». И пахать там было трудно, и поливать неудобно.

Ты помнишь, как ты полюбила моего брата, как вы бежали с ним сюда? Чтобы не умереть с голода, мы решили тогда вспахать маленький клочок земли, не больше, чем эта овчина. Ты, верно, не забыла, как мы расчищали поле, как на руках выносили камни,

как рыли арык по склону горы и как вода возле Змеиной скалы не поднялась по этому арыку.

Ты помнишь это, Сейнеп? Разве мыслимо было голыми руками проломить скалу! Пропали наши труды, погибли посевы. Помнишь, Сейнеп, как ты плакала тогда, и даже мы, мужчины, едва удерживали слезы. Тогда мы не могли обработать на «Старом кочевье» земли даже с ладонь. А много ли нам нужно было? Лишь бы только не умереть с голоду... А теперь наши дети взялись за это «Старое кочевье», и ты бы посмотрела, что они уже сделали! Они работают наверняка, у них есть знания, машины... Скоро зерно потечет к нам рекой. Эх, Сейнеп, в молодости ты пошла за любимым человеком на все трудности, так почему же твоя дочь не имеет права устроить свою жизнь и трудиться вместе с любимым, а?

Сейнеп-апа молчала.

— Ты умная женщина,— продолжал Токой,— и должна понять, что Саадат не могла поступить иначе. А зять твой Касымджан не безродный скиталец, а замечательный джигит, первый тракторист в бригаде. Родители его в городе живут. Говорят, что они хорошие, уважаемые люди... А что касается Саадат, то она не из таких, кто может забыть о матери. В воскресенье они приедут к тебе, а осенью ты, как положено по обычаю, навестишь их. А свадьбу отпразднуем, когда они соберут первый урожай и поселятся в новом доме.

Все, что говорил старый Токой, Сейнеп-апа слушала молча. Потом встала и пошла к двери. Никто так и не понял, согласилась она с ним или нет.

Токой-аке вышел проводить гостью. На дворе шел такой сильный дождь, что не видно было ни гор, ни деревьев, ни дальних домов. Все было объято водянистой мглой.

— Ишь как обложило! Это белый дождь, считай, два-три дня без передышки пойдет...

— Белый дождь, говоришь? — глухим голосом спросила Сейнеп-апа. И, не дожидаясь ответа, ушла.

* * *

Придя домой, Сейнеп-апа словно в забытье села в углу и поглядела на заплаканные окна.

— Белый дождь! — прошептала она, словно вспоминая что-то.

Еще по пути домой Сейнеп-апа пришла к выводу, что Токой, пожалуй, прав. Но стоило ей переступить порог своего дома, как руки опустились, сердце похолодело и она снова почувствовала себя одинокой. Хотела заняться чем-нибудь по хозяйству, но ни к чему не лежала душа. Она все время думала, что ей чего-то не хватает, но никак не могла понять, чего именно. И наконец догадалась: не слышно привычного гула моторов, доносившегося с гор. Обычно шум тракторов успокаивал ее, потому что с ним было связано будущее ее дочери. Сейнеп-апа забеспокоилась: «Молчат тракторы, идет белый дождь, который, верно, продлится двое-трое суток... И как там они, бедные, в палатках? Сыро, холодно. Печки нет». Ей стало жаль молодоженов. Ведь у них медовый месяц. Скорей бы воскресенье!

Сейнеп-апа на пальцах сосчитала, сколько дней осталось до воскресенья. Четыре! Как долго! А ей хотелось как можно скорей увидеть Саадат и Касымджана. Посидев немного, она решительно поднялась, достала из сундука белое полотно и скроила большую мужскую рубаху. Потом затопила печь. В комнате сразу стало уютней. Пока варилось мясо, Сейнеп-апа почти сшила на машинке рубашку. Теперь она не сидела сложа руки, а суетилась возле котла, в котором жарились боорсоки. Лицо, разгоряченное огнем, порозовело, покрылось мелкими каплями пота. Глаза блестели в ожидании чего-то радостного. Со стороны могло показаться, что Сейнеп-апа готовится к большому празднику. Да это и действительно было так. Она решила сейчас же идти на «Старое кочевье». Когда приготовления были окончены, Сейнеп-апа принесла припасенную в приданое Саадат большую цветастую шаль и все это вместе с рубашкой сложила в один «глаз» курджуна, а другой наполнила мясом и боорсоками. Теперь можно было идти, но она раздумывала — не подобает без приглашения являться к замужней дочери. Токой советовал ждать осени. Нет, это слишком долго. Правда, Саадат и Касымджан приедут в воскресенье. Но до воскресенья еще целых четыре дня... Она хочет сейчас увидеть своих детей, своими глазами посмотреть, что делается на «Старом ко-

чевье». А вдруг ее осмеют? «Пусть судят как хотят, а я пойду».

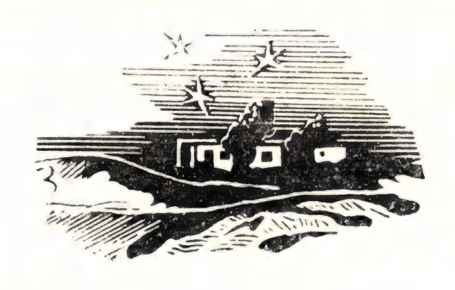
Сейнеп-апа надела новое шелковое платье, новые ичиги и галоши, лучший чапан, перекинула на плечо курджун, накрылась большим мешком и вышла из дому.

А на дворе шел белый дождь.

* * *

В серой дождливой мгле по тропинке через пашню медленно ехала женщина верхом на лошади. Верно говорит Токой: распахано море земли, прорыты большие арыки, и первые всходы яровой пшеницы, мокрые, зеленые, робко пробиваются сквозь толщу земли. Не узнать «Старого кочевья»! Где клочок земли, не давший плодов? Где арык, по которому не поднялась вода?..

Сейнеп-апа слезла с лошади, села на камень и заплакала. Но теперь это были слезы гордости за своих детей, за их большие дела.



КРАСНОЕ ЯБЛОКО



же ночь, а Исабеков все сидит и думает. С чего начать письмо? Да и что он вообще напишет в этом письме? Очень это трудно, просто невозможно. Так много нужно сказать, столько всего накопилось! Поймет ли она его запоздалые откровения?

Много лет сложной семейной жизни позади. И сможет ли она теперь, после стольких взаимных обид, после бесконечных упреков, часто несправедливых, после стольких ссор и стольких примирений и, наконец, после разрыва,— сможет ли она теперь трезво, нет, не так, сможет ли она теперь просто по-человечески понять его и простить? Сможет ли стать такой, какой была в первые годы их совместной жизни,— бесхитростной, открытой, доброй? А если не сможет? Если не поймет или, того хуже, оскорбится и опять начнет твердить о женской гордости, несчастной судьбе... Что тогда?

Исабеков вспомнил, что называл ее претензии бабьим самолюбием.

Она всегда завидовала подругам.

— Ты заметил, он даже в гостях не сводил с нее глаз и не постеснялся при людях встать на колени и завязать ей шнурки на туфле.

— Не умею угодничать и сюсюкать не умею,— отрезал тогда Исабеков.

— Ну при чем тут угодничество? Нет в тебе чуткости, душевности, не знаю, как сказать, стесняешься ты, что ли, своей любви? А я не хочу так жить, я хочу, чтобы человек, которого я люблю, не боялся открыто любить меня. Иначе это унизительно. Ты просто над этим никогда не думал.

— И не желаю думать. Времени у меня на это нет. И не понимаю, как ты при своей занятости, ведь за-

щита диссертации на носу, способна замечать такую ерунду: кто кому шнурок завязал!

— С тобой бесполезно разговаривать, ты просто ничего не понимаешь.

Но теперь он понимал; понимал, о чем она говорила, и чувствовал, хотя себе не признавался в этом, что в чем-то она все-таки права.

Когда она шла по улице и прохожие задерживали на ней взгляд, Исабекову было приятно. Он тоже находил, что она женственна, обаятельна, умна. И походка ему нравилась. Она вообще очень красиво и легко двигается, а когда надевает туфли на гвоздиках, можно подумать, что идет девчонка. А как изящно она танцует и какими счастливыми и юными становятся ее глаза, когда она видит, что люди ею восхищаются! В такие минуты он очень любил ее.

И все-таки ему всегда что-то мешало любить ее свободно, не раздумывая над тем, за что он ее любит. Просто любить. Он смутно сознавал, что должен сделать над собой какое-то усилие, чтобы вернуться в свою юность, словно именно там он оставил то, чего не следовало оставлять.

Теперь Исабекову предстояло признать свою вину, если это можно было назвать виной. Но больше его тревожило другое: сможет ли она теперь, когда они, как принято выражаться, не сойдясь характерами, разъехались, чтобы побыть вдали друг от друга и окончательно решить, что делать дальше, сможет ли она перебороть себя и попытаться как-то иначе, со стороны взглянуть на прожитую жизнь? А если не сможет? Значит, все? Конец? Нет, он этого не допустит!

Исабеков несколько раз брался за перо, потом бросал его, подходил к окну и подолгу понуро стоял, притулившись к стене, худой, длинный, с взъерошенными волосами.

Последние автобусы останавливались на углу, быстро забирали пассажиров и уходили, мигая красными огоньками в сумеречной осенней тьме.

Какой-то парень вот уже несколько раз подходил с соседской девушкой к подъезду, затем они снова уходили и снова возвращались, и все время держались

за руки, словно в детском саду. И не то чтобы Исабеков завидовал им, но было в этом что-то хорошее, трогательное, до тоски знакомое.

А где-то далеко, за городскими россыпями электричества, должно быть, высоко в горах, светился звездочкой живой огонек. Наверно, чабанский костер. В этот миг ему захотелось очутиться там, ни о чем не думать и, поеживаясь от жуткой ночной темноты, подбрасывать в огонь трескучие ветки можжевельника.

Потом он отходил от окна и шел в спальню посмотреть на дочку, на Анарку. Большая уже, а всегда раскрывается, посинеет от холода. На этот раз Анара спала спокойно, видно, набегалась за день. Да, дочка спала спокойно и не подозревала, что она натворила сегодня. Эх, Анарка, Анарка! Не знала она, как взбудоражила душу отца! Не знала, почему он в этот поздний час не спит. И, глядя на дочку, Исабеков молча говорил ей: «Вот и хорошо, что ты спокойно спишь. Успеется еще, вырастешь, и у тебя будут впереди ночи раздумий. Наверно, никому этого не избежать. А пока спи, спи, и пусть тебе снятся красивые сны».

Днем он возил Анару за город. Он намеревался там, на природе, растолковать ей свои взаимоотношения с мамой. Жена решительно требовала этого в письме. Он хотел объяснить девочке, что мама в Москве не только из-за своей диссертации, а еще и потому, что им лучше жить врозь, и Анара должна решить, с кем она хочет остаться. Исабеков боялся начинать этот страшный для ребенка разговор дома. Ему почему-то казалось, что за городом сделать это будет легче и дочь все-таки останется с ним, не захочет уехать в Ташкент, куда собиралась перебраться жена на постоянную работу в исследовательском институте.

Анара играла во дворе, когда отец позвал ее.

— Надень свитер, мы поедем за город.

— За город! — захлопала в ладоши Анара и вдруг удивленно спросила: — Зачем?

— Так просто, погуляем.

Исабекова раздражало, что на улицах полно народу — машины еле-еле ползли. В воскресенье всегда так. Когда же они выехали за городскую черту, по-

ток машин схлынул. Упруго покачиваясь, «Волга» стала набирать скорость. Окаймленная высокими деревьями, гладкая лента асфальта, тускло поблескивая, полого поднималась, уходя далеко в горы. Исабеков молча смотрел на отчетливо белеющие впереди вершины.

— Папа, можно потише,— попросила Анара.

Исабеков сбавил скорость.

— Ты боишься?

— Нет, просто так,— ответила она и снова прильнула к стеклу.

— Ты ведь всегда любила быстро ездить.

Анара не обернулась и ничего не сказала, точно не расслышала.

Исабеков глянул на ее угловатые детские плечи, проступившие под тонким свитером, на худенькую шею с завитушками мягких черных волос и ощутил в ее молчаливой фигурке, прильнувшей к дверце, что-то совсем незнакомое, не свойственное ей. Девочка казалась озабоченной.

Может быть, она догадывается? Ведь мы часто забываем, что дети очень чутки ко всему. Но почему же она никогда ни о чем не спрашивала?

Исабекову стало не по себе от этих мыслей. Нет, откуда ей знать? Не может она этого знать. Ни он, ни жена не давали ей никаких поводов. А впрочем, кто тут разберет! Самое страшное — этого он всегда опасался — исковеркать психику ребенка. Так уж устроена душа человеческая: заморозить ее легко, отогреть трудно, а порой невозможно. А потом вырастают неврастеники. Нет, Анара нормальная девочка. Может, она предчувствует что-то. Ведь он-то в детстве знал, если в доме какая беда. Никто и не подозревал, как он страдал тогда. Ну что ж, рано или поздно, придется и ей узнать. Не он, так мать скажет, она прямая. Нет, уж лучше он сам. Ничего не поделаешь. Дальше тянуть нельзя... И, может быть, ему только так кажется, просто Анарочка смотрит в окно и любуется падающими листьями. А что, собственно, это меняет, все равно надо сказать... Эх, денек сегодня хорош. Если бы и на душе было так же хорошо...

Дорога, усеянная листьями, по-осеннему пустынна. Исабеков подумал, что и в самом деле нелепо мчаться с такой скоростью. Листья, медленно кружась, тихо

опускаются на землю. Иные падают на капот, на секунду прилипают к ветровому стеклу, потом уносятся в сторону и летят какое-то время рядом с машиной, словно не желая отстать от нее. По обе стороны дороги лежат залитые солнцем, убранные желтые поля, пожухлые, обобранные виноградники, широкие зеленые клеверники. За тракторами на пахоте гоняется стая скворцов. Последние дни золотой осени.

«Пройдут дожди, и все сникнет, потемнеет, утратит свою красочность»,— с сожалением подумал Исабеков. Он щелкнул зажигалкой, закурил и снова взглянул на Анару. Она смотрела в окно.

— Ты что молчишь, Анара?

Девочка удивленно посмотрела на отца и ничего не ответила.

— А ты вчера уроки сделала?

Она кивнула.

— Красиво вокруг, да?

— Да, очень.

Исабеков смутился. Кому нужны эти вымученные, унылые вопросы? Но что с ней? Ведь обычно они так легко и непринужденно болтают. Наверно, он сам сегодня унылый.

— Робертино! — встрепенулась Анара.— Ой, папа. Робертино. У нас в классе все его любят. И мальчики и девочки. Ведь ты его тоже любишь? И мама любит.

— Да, Анара, да. Конечно, и мама. Ах, какая ты у меня красивая стала, доченька.— Исабеков потрепал ее по головке, удивленный тем, как вдруг засветились карими золотинками ее широко раскрытые глаза.— А я уж подумал, что ты на меня обиделась.

— Что ты, папа!

— Ну вот и хорошо, давай послушаем. А потом я тебе расскажу о Шуберте и о родине Робертино.

И пока шел этот разговор, мелодия «Ave Maria» величественно плыла над осенними просторами, словно одухотворяя собой и эту осень, и эту землю, и человеческие сердца. Внезапно Исабекову передалось ощущение гармонии, полного согласия, связавшего воедино солнце, сияющие впереди горы, голос Робертино и волнение дочери.

Наверно, в душе каждого живет жажда прекрасного. Видимо, это в самой природе человека. Но как

часто мы, сами того не понимая, не бережем эту красоту. Вот и сейчас ему предстоит разрушить полусказочный и еще не окрепший мир детских представлений...

Робертино пел, и Анара вполголоса подпевала ему. А машина тем временем, огибая ограду большого яблоневого сада, свернула с шоссе к речке.

Исабековы бывали здесь летом. Сюда редко кто приезжал: речка мелкая — сквозь студеную горную воду просвечивало каменистое дно. И пляжа никакого не было. Но зато горы стояли близко, вздымаясь за пустынными увалами кряжистым седым хребтом. Оттуда, сверху, принесло сюда огромные валуны, на которые любила взбираться Анара. Быть может, поэтому и тянуло сюда Исабекова.

Вокруг стояла полуденная тишина. Анара побежала к валунам, и ее голосишко, подражающий Робертино, то затихал за камнями, то снова звенел среди них.

Звуки «Ave, Maria» не покидали Исабекова, и все вокруг казалось ему обновленным.

Сад, уже опустевший, стоит над речкой, убранный и чистый, и будто прислушивается: не придут ли еще люди за плодами? И стога сена вдоль ограды — как памятники ушедшему лету. Они дольше всех будут хранить запах зноя. Летом здесь все было, наверно, по-иному, а он не помнит, будто не было у него лета. А вон появились тучки — белые верблюжата. Ах, в аиле бы побывать! Как давно он там не был...

Заметив, что Анара побежала по тропе в сторону сада, Исабеков вспомнил, зачем он сюда приехал, и окликнул ее:

— Ты куда?

— В сад. Я хочу залезть на дерево.

— Мне надо поговорить с тобой.

— О чем, о Робертино?

— Да.

— Ну, я потом послушаю, я быстро.— И Анара вприпрыжку пустилась в сад.

И снова Исабеков стал обдумывать, что и как он скажет дочери. То, что он собирался ей сказать, казалось ему самому странным, нелепым, чудовищным и никак не вязалось ни с этим осенним днем, ни с чувствами, навеянными светом, «Ave Maria» и голосом

Робертино. Ему стало страшно. И захотелось, чтобы Анара подольше побегала и не вынуждала его говорить то, о чем он обязан был ей сказать. И когда из сада донесся ее голос, чем-то удивленный и восхищенный, он вздрогнул и сел на землю спиной к ней, опустив голову.

— Папа, папа! Посмотри, что я нашла!

Он не обернулся. Он слышал, как она подбегала, запыхавшаяся, разгоряченная. Анара с разбегу обняла его за шею и протянула ему большое красное яблоко.

— Яблоко нашла?

— Да, оно там спряталось в листьях, его совсем не было видно! Хитрое какое. А я нашла! Оно горело, как фонарик. Это самое последнее и самое вкусное яблоко. Во всем саду больше ни одного нет. Смотри, какое красивое, а пахнет как хорошо! Как солнце!

— Да, очень красивое, это зимний апорт.— И вдруг, неожиданно для себя, он добавил: — Ты знаешь, Анара, это к счастью. Это яблоко ждало тебя все лето, оно потому так спряталось, чтобы никто его не заметил. А ты нашла. И тот, кто съест это яблоко, будет очень счастливым.

Исабеков обтер яблоко платком и протянул его дочери.

— На, ешь.

— А о Робертино когда расскажешь?

— Потом, ты поиграй еще в саду.

— Знаешь, папа, как я здорово карабкаюсь на деревья. Яблони большие, высокие, а ветки такие толстые, удобные. А вот урюк — злое дерево, сучьев и колючек много.

— А ты лазай на добрые деревья,— засмеялся Исабеков.

— Папа, а ты хоть раз нашел такое яблоко? — вдруг неожиданно спросила Анара.

Исабеков даже растерялся. Прежде чем ответить, он помолчал немного, а потом тихо проговорил:

— Да. Ты иди, поиграй еще, а я здесь посижу.

Анара побежала в сад с красным яблоком в руке, а он вспомнил о другом красном яблоке и поразился странному, невероятному совпадению. Он тоже однажды нашел такое же красивое красное яблоко и чуть

ли не в этом саду, да, именно здесь, только на другой стороне сада, там, где яблони спускаются с бугра прямо к полям...

* * *

После войны он приехал в город поступать в сельскохозяйственный институт, в тот, где сам теперь читает лекции студентам.

И в такой же вот осенний день весь их курс повели утром по булыжной дороге, тогда она еще не была асфальтирована, в пригородный колхоз копать свеклу.

Работали целый день, пайка черного хлеба была давно съедена, и к вечеру, усталые и голодные, возвращались в город. По пути вся ватага завернула в колхозный сад. Урожай давно был собран, но в траве и ворохах листьев кое-кому посчастливилось найти несколько яблок. По-братски поделили их, съели, и еще больше захотелось есть. И тут все разбрелись, пошли прочесывать сад. Однако ничего стоящего не нашли и стали выбираться на дорогу.

Исабеков, как сейчас помнит, бежал по саду, догоняя товарищей, когда вдруг в листве на ветке перед ним мелькнуло что-то яркое. Он остановился, но ничего не разглядел. Подумал, что померещилось, но, пробежав несколько шагов, вернулся назад. Обошел вокруг молоденькой яблони, посаженной среди старых деревьев. Это нарядное деревце в отличие от других сохраняло еще густую бронзовую листву. Солнце золотило темный загар увядших листьев сухим, жарким блеском. Чиркни спичкой, и яблонька вспыхнет. И все-таки он увидел и в изумлении прошептал: «Ох, ты!»

Большое, в два мужских кулака, багрово-красное яблоко, может быть, единственный плод этого молодого дерева, висело, заслоненное листвой, на тонкой, согнувшейся ветке.

Несколько секунд Исабеков просто смотрел на это диво, потом подпрыгнул, пригнул ствол, поднялся на цыпочки и сорвал увесистый красный шар. Его обдало пахучим ароматом, даже голова закружилась. Под тонкой алой кожицей просвечивала солнечная, сочная мякоть. Так и хотелось впиться в нее зубами. Он уже собрался разломить яблоко, но в последний момент раздумал.

Он отдаст это яблоко ей!

Как он вспомнил в ту минуту о ней? Вот здорово! Но ведь он всегда думал о ней, об этой незнакомой девушке, имени которой он даже не знал. Как же он мог о ней не вспомнить! И, уже ни о чем больше не думая, Исабеков стал засовывать яблоко в карман брюк. Из этого ничего не вышло. Тогда он отпорол подкладку на куртке, опустил яблоко в дыру и побежал догонять ребят. Они стояли на дороге в ожидании попутной машины. Исабеков решил сразу честно рассказать товарищам о своей находке.

— Ребята, я нашел яблоко, но никому его не дам. Я подарю его одному человеку.

— А где оно, яблоко-то?

— Вот. Потрогайте.

— О, какое здоровое!

— То есть как это одному человеку? Кому? — вызывающе подступился к нему долговязый Шер.

— А не все ли равно кому? — ответил Исабеков.

— Подумаешь, нашел какое-то яблоко.— Снисходительно посмеиваясь, Шер похлопал Исабекова по плечу.— Брось, слушай, хитрить, давай-ка его сюда.— Шер захохотал в лицо Исабекову и схватил его за куртку, намереваясь то ли в шутку, то ли всерьез отнять у него яблоко.

Исабеков крепко ударил его по руке. Шер отскочил в сторону.

Ребята дружно расхохотались.

Тут подоспел попутный грузовик, и все кинулись в кузов.

Исабеков решил подарить это необыкновенное яблоко той незнакомой девушке. Он часто встречал ее в городской библиотеке. Пожалуй, ради нее он почти каждый день тащился с окраины, где находился сельскохозяйственный институт, в центр города. Сидя в читальном зале, он каким-то непостижимым образом точно угадывал, когда она появится. Он ждал ее всегда с таким томительным волнением, что подчас не понимал, что читает. Исабеков садился за стол против дверей и, когда она появлялась на пороге, отрывался от книги, и глаза их на какое-то мгновение встречались. Он боялся задержать на ней взгляд. И, словно понимая его смущение, она с едва заметной улыбкой быстро направлялась к свободному месту, оставляла

на столе портфель и шла за книгами. А Исабеков снова ждал, когда она, взяв книги, пройдет мимо, гордая, независимая, всегда опрятно и красиво одетая.

Наверно, она очень умная и очень образованная. Исабеков думал об этом с восхищением и радовался, что она такая, и гордился ею.

И муки и радость испытывал Исабеков от одного только ее присутствия в читальном зале. Он любил поглядывать сбоку на ее смуглый, чистый профиль с аккуратно зачесанными волосами, на задумчиво опущенные ресницы, на быструю мягкую руку, все время записывающую что-то в тетрадь. И не дай бог, если какой-нибудь малый вдруг задерживался возле нее или если ребята бросали ей на стол записки и она их читала. Исабеков стискивал под столом руки и готов был броситься на всех с кулаками. Но зато как ликовала его душа, как благодарен он был ей, когда она рвала эти нахальные записки и даже не оглядывалась на шушуканье и смешки!

Исабеков считал, что ей здесь никто не нравился, разве что немного он сам. Ему этого так хотелось, он так об этом мечтал, что едва заметные улыбки и легкие, небрежные кивки воспринимал как выражение некой симпатии к себе. Но познакомиться с ней Исабеков не решался. Она ему казалась слишком интеллигентной, а он был обыкновенный парень из аила, студент, каких в городе не одна сотня. К тому же Исабеков стыдился своего вида. Ходил он в гимнастерке и сапогах, доставшихся ему от старшего брата-фронтовика, и с его же полевой сумкой. И зиму ему предстояло ходить в шинели брата.

Она появлялась в библиотеке довольно поздно и оставалась порой до закрытия читального зала. Когда она поднималась из-за стола и шла сдавать книги, Исабеков быстро собирал свои пожитки, библиотечные книги он сдавал заранее, чтобы не задерживаться, и выходил на улицу. Перейдя на другую сторону, он ждал, когда она выйдет. И на таком вот расстоянии, следя за ней через головы снующих прохожих, он вроде бы провожал ее до дома. Жила она неподалеку, в двух кварталах от библиотеки, в большом сером доме.

Проводив ее, Исабеков шагал к себе в общежитие пешком через весь город. По пути он заворачивал в го-

родской парк. Там была танцплощадка. Если бы кто знал, как он завидовал парням, которые запросто брали девушек за руки, обнимали их за талии и кружились под музыку. Парни что-то говорили своим подругам, а те улыбались и становились от этого еще милей. И, глядя вот так на танцующих, Исабеков выбирал самую красивую и, как ему казалось, самую влюбленную пару и представлял себе, что это — он, а она — это она. Его ощущения были настолько правдоподобны, настолько реальны, что он не только танцевал со своей любимой, но даже разговаривал с ней. Эти воображаемые разговоры выглядели примерно так:

— Вы знаете, я ведь только ради вас прихожу в библиотеку.

— Да, знаю. Я знаю, что вы всегда ждете меня.

— Я думаю о вас целый день — и на лекциях, и в столовой, и в общежитии. Я сижу в кино и не вижу, что делается на экране. Если бы вы знали, как мне хорошо, когда я думаю о вас.

— Странно, я тоже иногда думаю о вас. Но почему вы никогда не подойдете ко мне, не заговорите?

— А мне и так хорошо. Если бы вы сидели в библиотеке до рассвета, я бы тоже сидел и просто смотрел на вас.

— А если меня станут провожать молодые люди, что тогда?

— Я не позволю. И вы не позволите, ведь я вас люблю.

— А откуда вы знаете, что я не позволю?

— Вы не такая.

— Ведь вы обо мне ничего не знаете, как же вы можете судить?

— Я очень верю вам. Я знаю вас. Знаю запах ваших волос, знаю, как вы смеетесь, хотя никогда не слышал вашего голоса. Я верю вашим глазам, вы добрая, хорошая, самая красивая и самая умная.

— Ой, сколько вы наговорили. И все это правда?

— Правда.

Вечером того дня, вернувшись в общежитие, Исабеков положил яблоко в тумбочку и первым делом побежал помыться, почистить сапоги — надо же привести себя в порядок, чтобы бежать в библиотеку. Но, глянув на часы в коридоре, он понял, что уже поздно.

В комнате давно все спали, а он долго ворочался в темноте, силясь представить себе, как он завтра подарит ей это чудесное красное яблоко. Он видел ее изумление и радость — ведь такое огромное яблоко, такого цвета и такого запаха, пожалуй, не сыщешь в эту пору в целом свете. Он непременно во всех подробностях расскажет ей о своей находке, о молодой яблоньке в старом осеннем саду и о том, что яблонька эта была самая нарядная, в бронзовых листьях, темно-золотая в лучах вечернего солнца.

А еще он откроет ей свои мечты и признается, как провожает ее каждый раз домой, как танцует с ней на танцплощадке и разговаривает. Она, наверно, засмеется и скажет: «Вот чудак!» И в том, как она произнесет эти слова, в ее интонации он слышал не насмешку, а нежность. А потом они, наверно, пойдут в кино, и он будет сидеть с ней рядом, чувствовать ее близость, и никакого кино он, конечно, не увидит, да оно и не нужно ему. Вот если бы костюм приличный да туфли, а то вроде неудобно в сапогах рядом с ней. Но раз она умная, она не придаст этому значения.

С этими мыслями Исабеков уснул. Но ночью он вскочил с койки. Ему приснилось, что наглый Шер пожирает его красное яблоко. Исабеков спросонья бросился к Шеру, но тот самозабвенно храпел, спали и другие ребята. И все же Исабеков открыл тумбочку, нащупал в темноте яблоко и только тогда успокоился. «Смотри у меня!» — прошептал он яблоку.

Утром, открывая форточки, ребята вожделенно поводили носами:

— Ну и яблоко у тебя, Исабеков. Запах-то какой! Ты его в больницу кому-нибудь несешь, так неси побыстрее, а то, чего доброго, Шер слопает.

— Я еще вчера хотел,— огрызнулся Шер.— Сами не поддержали.

— Попробуй только! — тихо пригрозил ему Исабеков.

Потом они все пошли на занятия. Ох, какие тягучие были лекции!

И тут после перемены Исабеков вдруг обнаружил, что Шера в аудитории нет. Его бросило в жар. Он вскочил и, прервав лекцию профессора зоологии, сказал:

— Профессор, извините. Мне надо срочно, немедленно уйти.

— Что с вами, молодой человек? — удивился профессор.

— Не могу объяснить, но прошу вас, очень прошу отпустить меня...

От учебного корпуса до общежития Исабеков мчался со стиснутыми кулаками. В комнате Шера не оказалось. Исабеков бросился к тумбочке — яблоко лежало на месте. И стыдно и радостно стало Исабекову. Значит, Шер просто улизнул с зоологии. И, задыхаясь от бега и от волнения, Исабеков шептал, сидя на койке: «Извини, извини меня, Шер! Никогда больше не буду так дурно думать о тебе!»

Вечером, зажав под мышкой яблоко, завернутое в газету, Исабеков наконец отправился в библиотеку. Он пришел раньше обычного, как всегда, занял место против дверей, разложил на столе книги, тетради и стал ждать. И, как всегда, вокруг сидели люди, склонившись над книгами, перешептывались, ходили в курилку и снова возвращались. На все это Исабеков глядел как во сне. Он ждал. Красное яблоко, завернутое в газету, лежало у него на коленях под столом, поэтому он сидел, боясь шевельнуться. Прошло часа полтора, на улице стало темно. Она не появлялась. Прошло два часа — нет! Прошло три — нет! Исабеков все еще ждал. Она не пришла.

Назавтра он снова сидел на лекциях, и снова ждал вечера, и снова шагал по городу с яблоком. И снова с еще большим, более мучительным нетерпением ждал ее в библиотеке. А когда она появилась в дверях, Исабеков почувствовал себя оглушенным ударами собственного сердца. Как всегда, она чуть заметно улыбнулась, кажется, слегка кивнула ему и, проходя мимо, кажется, задела его рукой, заняла место через стол от него и пошла за книгами.

Исабеков сидел, пьяный от радости пережитого волнения, и дрожащей рукой придерживал под столом свое заветное красное яблоко.

Потом она вернулась с книгами и принялась делать записи в тетради, как всегда ни на кого не глядя и ни на что не обращая внимания.

А Исабеков ждал. И опять томительно долго тянулось время, и опять ему становилось жутко и радостно

при мысли, что сегодня все-таки осуществится его мечта. Он поглядывал сбоку на ее смуглый, чистый профиль с аккуратно зачесанными волосами, на задумчиво опущенные ресницы и на ее быструю мягкую руку и представлял, как она улыбнется и скажет: «Вот чудак!» И у него дух перехватило от небывалого счастья. Да, он ей расскажет обо всем, о том, как вспомнил о ней, уже собираясь съесть это красное яблоко, а вспомнил потому, что постоянно думает о ней, потому что всегда, когда он встречает в жизни что-то хорошее, красивое, ему хочется, чтобы она была рядом, чтобы она видела, чувствовала и радовалась вместе с ним, потому что только с ней он может ощутить полноту прекрасного.

На улице уже горели ночные огни, читатели расходились, а она все сидела. Исабеков ждал. Потом, когда она стала собираться, он быстро сунул в сумку конспекты и, прихватив яблоко, завернутое в газету, вышел на улицу. Он не перешел на другую сторону, он остановился у выхода, не в силах унять свое беспокойное сердце. Во рту пересохло, хотелось пить. Но вот наконец застучали по каменным ступенькам ее каблучки, и она появилась в блеклом свете фонаря, красивая, легкая, в коротком пальто. Прижимая яблоко к груди, Исабеков заставил себя сделать к ней шаг. Она молча прошла мимо.

— Девушка! — неуверенным голосом окликнул ее Исабеков.

— Да,— приостановилась она и обернулась.— Вы мне хотели что-то сказать?

Наступила идиотская пауза.

— Я принес вам... яблоко,— выдавил из себя Исабеков.

— Яблоко? Какая невидаль! Неужели вы думаете, что я никогда не ела яблок?

— Нет, понимаете, я его нашел...

— Ну и что? Не понимаю, что вам от меня надо,— раздраженно проговорила она и, не оглядываясь, быстро зашагала прочь.

Она уходила от своего красного яблока.

А Исабеков ошеломленно смотрел ей вслед, держа в руках свою драгоценность, и не понимал, что произошло. Чудесный мир, созданный им вокруг красного яблока, внезапно рухнул, разлетелся вдребезги.

Исабеков понуро поплелся домой. Вдруг он размахнулся и со всей силой швырнул яблоко в ночь. Оно где-то глухо стукнулось о стену.

Он шел, как пьяный, по пустынным улицам, прямо посреди мостовой. Редкие машины с опаской объезжали его.

Потом у него было много знакомых девушек, но ни одной из них ему не хотелось подарить красное яблоко. Да и они этого не хотели...

И все-таки, оказывается, была, была одна женщина, которая всю жизнь просила, настаивала, требовала у него красное яблоко. Это была его жена, Сабира. Об этом думал теперь Исабеков, сидя у ограды осеннего сада.

К вечеру Исабеков и Анара возвращались домой. Быстро темнело. Впереди зажигались городские огни. Машина тихо катила по улицам, усеянным листьями.

Исабеков достал сигарету, щелкнул зажигалкой и увидел в руках Анары красное яблоко.

— Как? Ты разве его не съела?

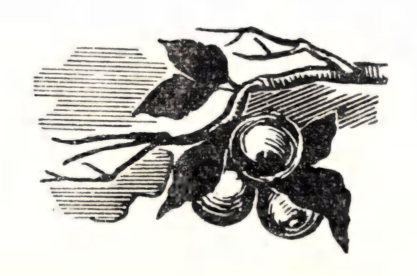
— Нет. Я маме оставила,— тихо ответила девочка.

— Маме?— пробормотал Исабеков. Горячий комок сдавил ему горло.— Правильно, мы повезем его маме.

Больше они ни о чем не говорили. Исабеков думал о дочери. А ведь она, оказывается, все понимает. Только бы она всегда была такой. Только бы она никогда не отказывалась от своего красного яблока.

Исабеков так и не написал письма.

Утром, когда он еще спал, Анара увидела у отца на столе не отправленную в Москву телеграмму: «Сабира, мы едем к тебе». Девочка взяла ручку и четкими буквами приписала: «Встречай нас, мама. Мы везем тебе красное яблоко».



ПЛАЧ ПЕРЕЛЕТНОЙ ПТИЦЫ



Гончие собаки почему-то любят, когда из аила выезжают гурьбой верховые в дорогу. В суматохе выезда непременно увяжутся, и потом гони их назад, грози и стращай сколько угодно — все равно не отстанут, будут упрямо трусить в сторонке. Странные они твари — им бы только в поле, на простор, да чтобы пошумней было, да людей побольше, так и ждут — потому они, наверно, и гончие...

Элеману пришлось бежать за своей собакой до самого Озера. Пока он помогал брату Турману заарканить двухлетнего бычка, которого тот уводил вместе с отправлявшимися на похороны женщинами и стариками для забоя на поминках, гончий пес Учар успел пристроиться к толпе и уже наладился на серьезный манер — рыскал, принюхивался, прыгал вокруг по кустам, взлаивал, торопя людей двигаться быстрее. Сколько ни звал, сколько ни манил его к себе Элеман — все бесполезно. Невдомек было неразумному псу, что это не выезд на охоту, а скорбная, траурная процессия, держащая путь в другой аил по случаю внезапной смерти сестры Алмаш — семнадцатилетней девушки; что среди верховых, сидящих на кобылах и волах, не было ни одного молодого джигита на сколько-нибудь резвом коне. Откуда было знать собаке, что все мужчины, все лучшие кони, все киргизы Прииссыккулья, способные носить оружие, находились в тот день далеко за горами; отсюда в трехдневном переходе, в Талчуйской долине, чтобы встретиться там в битве с полчищами наступавших джунгарцев. Шел уже пятый день, и никаких известий не приходило с Талчуя. Глупый-глупый пес — кому же в такой момент могла прийти в голову мысль об охоте, когда неизвестно, как могла решиться судьба целого народа.

Но, собственно, какое дело должно быть собаке до людских печалей, какое ей дело до войны, до разлук,

до смертей и тревог и вообще до людских забот, кроме как до погони за зверьем — за лисицами да за зайцами, когда люди на конях сами становятся такими же яростными, неутомимыми преследователями, как и собаки...

Повизгивая от нетерпения, то забегая вперед и при этом коротко тявкая и умоляя людей всем своим видом, глазами и прыжками поторопиться, последовать за ним, то кружа вокруг толпы, пес Учар не давался в руки Элеману. Уж как хотелось черному гончему псу, чтобы кони рванулись вслед за ним вскачь, чтобы люди загигикали, привстав в стременах, чтобы закипела жизнь в беге, в голосах, в упругом, свистящем встречном ветре. Он все звал их...

Ан нет! Эти люди, старики и старухи, молчаливые и подавленные, окружавшие из чувства родового долга убитую горем сенирбаевскую невестку Алмаш, не замечали Учара, черного гончего пса. Им было не до него. В такое тревожное, в такое опасное время они отправлялись на похороны скрепя сердце не столько ради самой Алмаш — кто она, молодая, келин [1], лишь полгода как взятая в семью Сенирбая,— сколько из уважения к мужу ее — Койчуману, находившемуся сейчас на Талчуйской битве, и, главное, ради самого Сенирбая, великого мастера-юртовщика, гордости небольшого и бедного рода Бозоев. Старик Сенирбай третьи сутки лежал в своей плотницкой юрте, как захватил его приступ, а он давно уже страдал сердцем, и когда пришла весть от сватов, что средь бела дня упала и испустила дух единоутробная сестренка их невестки семнадцатилетняя Уулкан, Сенирбай-юртовщик собрался было немедленно отправиться на похороны, как повелевал долг и обычай между сватами, и уже надел шубу, на дворе уже стояла оседланная лошадь, а сыновья-подростки Турман и Элеман взяли его под руки, чтобы усадить в седло, как он, переступив порог юрты, схватился за сердце и уж не смог вдеть ногу в стремя. Застонал, вцепившись в гриву коня, закачался, едва устоял на ногах.

И тут, как это часто бывало и прежде, дело взяла в свои руки сама Кертолго-зайип. Она умела, когда это требовалось, действовать решительно. Вместе с

---

[1] Келин — невестка, в буквальном смысле «приемная».

сыновьями Кертолго-зайип внесла мужа в его плотницкую юрту, раздела, быстро уложила в постель и сказала Сенирбаю-юртовщику:

— Уста[1], бог простит тебя, если ты не в силах отправиться на похороны к сватам. Оставь это мне. После тебя я аксакал этой семьи, и с годами мне быть старшей матерью нашего рода Бозой. Сваты не обидятся, если я сама поведу бозоев на плач. Да и до обид ли сейчас, когда один бог знает, что там, в Талчуе, как там наши сыновья: или победят, или сложат головы. И пока никаких вестей, сам видишь, все в страхе. Ты моли о здоровье своем, ты думай о тех, кто там, на побоище! Побереги себя, ты большой человек среди бозоев, а для меня ты, отец моих детей,— самый великий человек. Позволь мне самой исправить службу эту горькую. А ты не двигайся, лежи. Элеман останется при тебе, а все мы отправимся...

Вот такой был разговор, на что бледный, с холодной испариной на лбу Сенирбай-юртовщик сказал негромко с подушки:

— Ты права, жена. Если не я, то ты езжай. Собери всех родичей-бозоев, чтобы не одиноко предстала Алмаш наша пред своими. Поднимите плач издали, чтобы слышно было далеко вокруг, что то плачут бозои всем родом, поднимите плач громкий, чтобы скрасить голосами отсутствие зятя ихнего Койчумана и свата ихнего — меня больного. Пусть будет сказано этим: как бы война ни подступила, а хоронить и оплакивать усопших не забудем, пока мы все люди...

Вот так уезжали на похороны женщины с детьми, старики и старухи небольшого рода Бозой: в страхе за исход битвы с джунгарскими ойратами, не было в те дни человека, который и вслух, и молча не думал бы: а что там, как там в Талчуйской долине? Почему нет никаких вестей? Почему никто ничего не знает? Уезжали, лишь повинуясь обычаю сохранения чести рода. Уезжали сумрачные, в большой тревоге.

Элеману пришлось порядком попотеть, прежде чем он сумел нагнать и накинуть на шею Учара свой поясной ремень, а то тот и дальше подался бы вместе с толпой. Но и на ремне Учар рвался, хотел ускользнуть. Однако никак нельзя было в этот раз отпускать его в

---

[1] Уста — мастер.

отлучку — в чужом аиле гончего пса погрызли бы своры тамошних собак. Уж это точно.

Держа Учара на ремне, Элеман остановился, не зная, как поступить в таком случае — что сказать едущим на похороны: не пожелаешь ведь им доброго пути. Он стоял в растерянности, когда мать, придерживая поводья, обернулась в седле.

— Ну, ты иди домой поскорей, не стой здесь,— сказала она, хмурясь.— Да приглядывай за отцом, слышишь? Не отходи ни на шаг, слышишь?

Молча соглашаясь, Элеман кивал головой. Да, конечно, он все сделает, как она велит. Глядя на мать, глядя на ее стареющее, в коричневых морщинах, очень сосредоточенное лицо — такой озабоченной он никогда ее не видел,— Элеман слушал ее наставления и думал, обращаясь к ней: «Ты езжай, раз уж так случилось. Не беспокойся за нас — я ведь не маленький уже. Все сделаю, от отца ни на шаг не отлучусь. Лишь бы Койчуман наш вернулся на стремени, а не перекинутым через седло. И чтобы все джигиты вернулись, сидя на седлах, а не вьюком. А за нас с отцом не беспокойся.Все сделаю, мама, как велишь...»

Лишь накоротке придержала поводья Кертолгозайип, и в то мгновение, глядя на младшего сына, на последыша своего, остававшегося на тропе рядом с черным гончим псом, она вдруг почувствовала, как пронзилось сердце ее острой, исступленной болью: что будет с ним, ведь он еще мальчишка, как там старший — Койчуман, жив ли, или исколот ойратскими копьями, что ждет их завтра, что будет со всеми ними, что будет с народом?

И чтобы не выдать этих страшных мыслей, она пробормотала:

— Беги, сынок, в аил, поручаю тебя и отца твоего богу Тенгри.— И, отъезжая, снова остановилась: — Как придешь домой, сделай отцу отвар из той самой травы...

— Ясно, как приду, так сделаю,— заверил ее Элеман.

Но мать принялась подробно объяснять, как приготовить снадобье, как обдать ту траву кипятком, да чтобы кипяток был крут, как затем запарить траву, как потом, чуть остудив отвар, напоить им отца и что-

бы пил он до пота, потому как распарится в груди и полегчает...

— Ты слышишь меня, ты понял? — допытывалась у сына Кертолго-зайип.

Убедившись, что все втолковано, она пустила лошадь вслед за спутниками, потихоньку удалявшимися вдоль берега. Но, оглянувшись по сторонам, опять остановилась, слезла с седла:

— Элеман, иди сюда,— позвала она сына.—Держи поводья, я хочу помолиться Озеру. Пошли.

С этими словами она повернулась лицом к Озеру и неторопливо, торжественно направилась поближе к воде. Она шла через чистый, красноватый прибрежный песок, намытый волнами-перехлестами в большие ветры. В огромном, белом, как снег, тюрбане на голове, намотанном туго и плотно и полностью окаймляющем лицо белыми складками подбородника, она выглядела красивой, хотя и заметно постаревшей, хотя и выбивались на висках под тюрбаном седые волосы. Телом она была еще упругой и даже стройной, крепкой— ведь дома до прихода невестки Алмаш со всем хозяйством управлялась одна, а мужчин у нее было четверо — трое сыновей и муж, известно, какой от них толк в домашней колготне повседневной.

Ступая по песку, сосредоточенная и уже отчужденная от обычных забот и обычных мыслей, она шла к Озеру, одухотворенная, взволнованная, взирая на голубую, зыбкую гладь воды и вздымавшиеся в сиреневой дали на той, на далекой, призрачной стороне призрачные вершины снежного хребта, на призрачные облака над ними. Это был тот пространственный мир, доступный взгляду и пониманию, в котором жил человек и от которого он зависел, это был мир могучий и вседарящий, как бог, как земное воплощение самого бога.

Кертолго-зайип остановилась на гряде мелкого зернистого галечника, почти у самой хлюпающей полосы пенистого прибоя. Сюда же пришел вместе с ней и Элеман, ведя на поводу лошадь, а в другой руке — собаку на ремне. Кертолго-зайип опустилась на колени, ее примеру последовал и сын, и мать взмолилась, не громко и не тихо, вполголоса:

— О Иссык-Куль, ты око земли, ты всегда смотришь в небо. Обращаюсь к тебе — вечный, незамерзающий Иссык-Куль, чтобы стала известна мольба моя

богу неба — вершителю судеб — Тенгри, когда он глянет сверху в твои глубины.

О Тенгри, в час грозный и опасный дай нам силу устоять перед врагом ойратским. Сохрани наш шестиколенный киргизский народ, живущий в горах твоих дарами твоими — выпасая скот на лугах и травах. Не дай истоптать очаги наши копытам ойратских коней. Будь справедлив — не откажи нам в победе в битве открытой. Но что там, за теми вон горами, в Талчуйской долине? Что там случилось? Ни вестей, ни гонцов с поля брани—глаза проглядели, сердца истомились в тревоге. Что там? Что ожидает нас завтра? Сохрани, сохрани же, Тенгри, ушедших сражаться. Дай увидеть их в седлах и не дай нам встретить тела их, навьюченные на верблюдов.

Услышь молитву мою, Тенгри, я мать троих сыновей...

Коленопреклоненный Элеман стоял между гончим псом Учаром и рыжей гривастой кобылой, держа их поводья в руках. Он смотрел на темную хребтину Озера — на кривизну большой воды, которая, как живая спина, дышит-колышется, опадая и поднимаясь. Озеро в тот час было спокойным, лишь подернулось поверху мелкой зеркальной рябью. На исходе затяжной зимы, в начале весны берега Иссык-Куля стояли обнаженно-пустынно — тугаи без листьев, травы желты и сухи, нигде ни дымящих аилов, ни скачущих всадников, ни каравана кочевий, ни пасущихся стад.

Но зато перелетные птицы, отзимовавшие на Иссык-Куле, почуя весну, почуяв скорый отлет в новые края, уже кружились над Озером большими роями, а те, что сбились в стаи, уже намахивали крыло в быстром, косо летящем полете вдоль подножия гор. И повсюду в сияющем весеннем воздухе далеко-далеко разносились их взбудораженные крики и голоса.

Вот совсем близко, почти рядом, прогудел в стремительном лете косяк серых краснолапых гусей. Крича шумно и шало, гогоча во все легкие, они промчались над головой так низко, что слышно было, как свистели крылья на маху. Глаз мальчика различил над озером еще несколько стай перелетной птицы. Были то гуси ли, утки ли, лебеди ли, или длинноногие розовые фламинго, он не смог бы ответить. Далеко и высоко роились те птицы. Только гомон доносился то ясней, то

смутно. «Значит, полетят не сегодня-завтра»,— решил он.

А мать все молилась, горячо и страстно, выкладывая богу неба — Тенгри все, что накопилось на душе. Просила она, чтобы судьба смилостивилась над мужем ее — великим мастером Сенирбаем-юртовщиком, над которым хворь грудная собирает уже темные тучи — сегодня не смог даже сесть на коня:

— Сбереги, Тенгри, отца нашего, мастера всеумеющего. Нет ведь в наших краях ни одного дыма, не уходящего через купол юрты, не смастеренной его руками. Сколько жилищ поставил он на веку своем! Всем нужен кров — и молодым и дряхлым, и богатому и бедному, и овцепасу и дояру кобылиц.

И еще просила она, чтобы дано ей было нянчить внуков, и еще, и еще молила она... Мало ли печалей у человека...

А великое синее Озеро, глядевшее оком в небо среди скалистых снежных гор, перекатывало воды в хмурых глубинах и бугрилось плотью живой — упругими мускулами больших, медлительных волн, возникающих и умирающих втуне. Озеро как бы потягивалось, собиралось с духом, чтобы грянуть ночью бурей. А пока над чистым Озером, над его чистым простором, залитым весенним солнцем, все так же высоко в воздухе роились, все так же кричали во все голоса перелетные птицы, охваченные предчувствием сбора и скорого движения в новый путь по миру.

А мать все молилась истово и яро:

— Заклинаю белым молоком своим материнским, услышь, Тенгри, услышь мои слова! Мы пришли сюда, к оку твоему на земле — к священному Иссык-Кулю, чтобы к тебе обратиться, великий вершитель судеб — небесный Тенгри. Вот я, а вот рядом сын мой Элеман — мой последыш, больше уж мне не зачать, и не родить мне больше ни хорошего, ни худого человека, а прошу только, дай моему последышу дар отцовский — мастерство Сенирбая, он и сам уже к ремеслу его тянется... А еще хочет он, последыш мой Элеман, хочет быть сказителем «Манаса», как брат его Койчуман. Не откажи и в этом, а прежде всего и перво-наперво дай ему силу Слова издревнего, чтобы то Слово в душе приросло, как древо корнями, чтобы сберег он Слово, от предков к потомкам идущее, для детей и внуков

своих, дай ему силу и дух могучий, чтобы память вместила в себя Слово предков с тех пор, как киргизами стали они...

Я мать троих сыновей, Тенгри, услышь мои мольбы, услышь. И просят тебя вместе с нами безъязыкие твари, что с человеком всегда заодно,—гончий пес наш Учар, настигающий зверя любого, что по правую руку сына стоит, и рыжая кобылица гривастая, что ни разу еще не прохолостила, что по левую руку стоит...

И хотя мать молилась негромко, вполголоса, чудилось Элеману, будто слова ее разбегались, рассыпались и вдаль, и вширь по всему Озеру кликом жарким, завораживающим, и чудилось, будто слова ее отзывались тревожным и чутким эхом в горах окружающих: «Услышь меня, Тенгри, услышь, услышь...»

А когда она села на лошадь и поспешила вслед за спутниками, удалявшимися небольшой кучкой берегом Озера, он еще долго стоял здесь, держа на ремне гончего пса Учара. Не знал он, дитя, что еще не раз и не два, а много раз в жизни вспомнит этот день, этот час мольбы матери на Озере, что, вспоминая, будет плакать и отрадно, и горько, будет благодарить судьбу за то, что мать вымолила ему у самого Тенгри дар великого сказителя «Манаса», за что имя ему дадут в народе — громоподобный манасчи Элеман. Не знал он, что молодые годы его совпадут с лихими годинами насилия ойратов, что людям придется слушать «Манас», скрытно собираясь в глухих ущельях, не знал он, что каждый раз, начиная с зачина «Манаса», мысленно будет возвращаться к мольбе матери на Озере, давно уже убитой ойратами за сокрытие сына-сказителя, и потому в сокровенном смысле зачина будет ему и утешение, и обретение духа величия, и ощущение красоты и глубины Слова предков, в котором воспета суть бессмертия народа. Не знал он, что именно ему будет написано на роду напоминать затаившим от страха дыхание людям «Манас»:

«О киргизы, о самом великом среди нас, о Манасе слушайте сказ.

От тех дней и до этих дни утекли, как песок, несчетные ночи, ушли чредой безвозвратной, годы ушли и века караваном в бесследные дали... В этом мире с тех пор столько душ пребывало, сколько камней есть на свете, а может, и больше. Среди них великие были лю-

ди и безвестные были. Были добрые люди и злые. Силачи гороподобные были, батыры тигроподобные были, мудрецы всезнающие были, мастера всеумеющие были, народы многолюдные были, давно исчезнувшие, от которых остались теперь лишь их имена.

Что было вчера — того нет сегодня. В этом мире все приходит и все уходит. В этом мире только звезды извечны, что правят свой путь при извечной луне, только вечное солнце извечно с востока встает, только земля черногрудая на извечном месте своем. А на земле только память людская живет дольше всех, а самому ж человеку путь отмерен короткий — как расстояние между бровями. Только мысль бессмертна, от человека к человеку идущая, только слово извечно, от потомков к потомкам идущее...

От тех дней и до этих земля изменяла свой лик много раз. Там, где не было гор, горы возникли кряжистые. Там, где горы стояли, равнины сухие простерлись. Там, где зияли овраги, ямы сровнялись, как тесто, там, где реки бежали, берега сомкнулись, как швы. А тем временем новые рвы и пропасти новые промыты дождями в толще земной. Где когда-то плескались моря голубые со дня сотворения мира, пустыни сыпучие ныне лежат в молчаливом пространстве... Города воздвигались, города разрушались, и на старые стены новые стены вставали...

От тех дней и до этих слово рождало слово, мысль рождала мысль, песня сплеталась с песней, быль стала древним преданием. Так дошло до нас сказание о Манасе и сыне его Семетее, ставших твердыней киргизских родов, ставших защитой от многих врагов...

В этом сказании воскресили мы голос отцов и дедов, в этом сказании услышим мы: птицы полет в высоте, давно отлетавшей, топот копыт, давно заглохший, крики батыров, в поединке сразившихся. Плач по погибшим и клики побед. В этом слове минувшая жизнь снова возникнет перед взором живых, во славу живых, во славу живых...

Так начнем же наше сказание о превеликом Манасе и доблестном сыне его Семетее — во славу живых, во славу живых...»

Не знал он, мальчонка, что предстояло ему милостью божьей стать глашатаем слова народного в

дни бед и тяжких испытаний под игом джунгарским, не знал он, что голова его будет оценена врагами в тысячу голов отборных коней и что, выданный предателями, погибнет он, истерзанный, с выколотыми глазами, в знойной казахской степи. И, истекая кровью, умирая от жажды, в те последние мгновения снова вспомнит этот день, этот час, это Озеро, которому поклонялась мать, и этих птиц, что собирались в дальние края, и что, увидев все это, как наяву, умрет он с криком «мама!»

Все это ждало его впереди — и слава, и борьба, и гибель...

А сейчас он просто стоял на берегу Иссык-Куля, на том месте, где молилась мать, и крепко держал за повод гончего пса Учара, чтобы тот не вырвался ненароком и не пустился вдогонку за скрывающейся из виду толпой. Потом он спохватился, вспомнил о больном отце, заторопился.

— Пошли, Учар, пошли! — приказал он строго и быстро направился к аилу в распадке прибрежных гор. Удаляясь от Озера, он слышал за спиной все тот же беспокойный голос и клики птичьих стай...

* * *

Той ночью на рассвете на глазах младшего сына Элемана ушел в иной мир великий мастер Сенирбай-юртовщик. Последние слова, которые отец сказал, хрипя, задыхаясь, языком, уже не повинующимся, были почти неразличимы. Но мальчик, склонившийся над ним, дрожа и плача, вглядываясь при колеблющемся пламени костра в движения коченеющих губ, понял, о чем его речь. Он уловил два слова:

— Что... Талчуй.

И, поняв их смысл, заплакал, кусая губы, а потом громко зарыдал и громко говорил, не в силах удержать рыданий:

— Нет, отец, нет никаких вестей! Я не могу тебя обманывать! Ничего не известно. Я здесь один. Ты слышишь? Мне страшно. Не умирай, отец, не умирай. Скоро вернется мать, скоро вернется мать...

Дошли ли до сознания умирающего слова сына или нет — никому не знать. Он скончался в то же мгновение с открытыми глазами. И когда это случилось, ког-

да молниеносная тень смерти сделала лицо отца чужим и страшным, мальчик в ужасе выскочил из юрты и, сам того не сознавая, в отчаянии и страхе пустился прочь. Он бежал куда-то, крича и рыдая, а за ним, испуганно поджав хвост, скакал гончий пес Учар. Элеман пришел в себя, лишь натолкнувшись на бушующий берег Озера. И здесь остолбенел, остановился, Иссык-Куль в ту ночь ярился, раскачивался в кипящих бурунах и волнах. Но сверху до слуха Элемана донеслись иные звуки — сплошной гам. Он поднял голову и увидел в рассветающем сером небе невиданное скопище птиц. Тьма-тьмущая. Они кружили широкими кругами над Озером, они набирали высоту, чтобы преодолеть горные хребты впереди. Вот они сделали последний круг, растянулись рекой и, взмывая все выше и выше, двинулись в сторону Боомского ущелья, за перевал, в сторону Талчуя. Мальчик понял, что они улетели далеко и надолго, что на пути у них лежит Талчуйская долина, а дальше — неведомые дальние края, и он закричал изо всех сил, превозмогая себя:

— Наш отец умер! Передайте брату Койчуману — наш отец умер! Отец умер, умер, умер!..

* * *

Мы летели долго над горами. На перевале сильный ветер гнал навстречу аспидно-темные, клубящиеся тучи. Вначале брызнул дождь, затем ударил секущий снег, и наши намокшие перья стали оледеневать, стало тяжело лететь. Наша стая повернула назад, за нами и другие, и снова закружили мы с криками над озером, и здесь, кружа и набирая все большую высоту, мы снова двинулись в путь, в этот раз высоко над горами и над тучами, и утром, когда солнце взошло нам вдогонку лучами, мы одолели перевал и увидели, как расступилась внизу далеко и широко Талчуйская долина. О благодатный Талчуй, долина, уходящая в просторы великих степей, вся она от края и до края была залита солнечным светом, земля уже зеленела травой, а деревья стояли с почками, набухшими, как животы жеребых кобыл.

Извиваясь, серебрясь, посреди долины протекала река Чуй, и наш путь лежал по руслу этой реки. Ис-

тосковавшимися кликами мы приветствовали долину с небес и постепенно снижались вдоль реки, спускались поближе к земле, ибо впереди, по течению, на раздольном, камышовом разливе предстоял наш первый привал на великом неизменном пути птичьих караванов. Здесь мы должны были отдохнуть, покормиться и снова двинуться в дорогу. Однако судьбе не угодно было дать нам обычный приют.

Тормозя крыльями и хвостами, наши стаи череда за чередой приближались к заветному разливу, когда вдруг внизу открылась картина людского побоища. То было страшное зрелище. Несчетное число людей, тысячи и тысячи, конных и пеших, столкнулись здесь, на нашем разливе. Дикие крики, гул и рев, орущие возгласы, визг, стоны, ржание и храпы оглашали окрестность на далеком пространстве. И на таком же огромном пространстве люди истребляли друг друга в кровавой битве. То они устремлялись навстречу большими толпами с устрашающими криками и пиками наперевес, то они сшибались, валили друг друга наземь и живьем истаптывали копытами коней, то они снова разбегались по сторонам, то одни убегали, а другие гнались. Иные в камышах бились ножами и саблями, резали глотки, вспарывали животы. Горы трупов человечьих и конских валялись кругом, много убитых лежало в воде, на широком разливе, загораживая течение, и вода, в красных пузырях и темных сгустках крови, растекалась по сторонам, превращалась под копытами в кровавое месиво.

Наши стаи дрогнули, замешкались, в воздухе поднялся гвалт, наши ряды расстроились, и закружились мы в небе беспорядочной тучей испуганной птицы. Долго не могли мы прийти в себя, долго летали мы над несчастными людьми, убивающими друг друга, долго собирали мы свои стаи, долго не могли успокоиться. Так и не пришлось нам приземляться здесь на привал, так и пришлось нам покинуть это проклятое место и двинуться дальше...

Простите, птицы перелетные! Простите за то, что было, простите за то, что будет. Мне не объяснить, а вам не понять, почему так устроена жизнь людская, почему столько убитых и убиваемых на земле... Простите, ради бога, простите, птицы небесные, путь свой держащие в чистом просторе... После битвы там пировали стервятники, зобы набивали до рвоты, крылом шевель-

нуть не могли. После битвы там пировали шакалы, ползком уползали, до отвала нажравшись мертвечины. Летите, подальше летите от мест этих страшных.

* * *

Так повелось от начальной природы: всякий раз, когда срок наступает — ни рано, ни поздно,— поднимаются птицы в дальний полет. Они летят непременно, они летят неизменно по путям, лишь самим им ведомым, по завещанным торным путям на край света, на край света, от края света. Через грозы и бури, днем и ночью, без устали машут крыльями, даже спят на лету, даже спят на лету, даже спят на лету. В этом суть их живая, в мире природы свой неизбежный порядок вещей. На север летят караваны пернатых, на великие реки, на гнездовья исконные птенцов пестовать. А по осени вместе с окрепшим приплодом на юг улетают, и так без конца...

Вот мы летим уже многие, многие сутки. В этой выси неземной, в этой выси ледяной ветер гудит, как река бесконечная. Та река — незримо текущее Время в необъятной Вселенной, неизвестно куда, неизвестно куда, неизвестно куда.

Наши шеи — как стрелы, а тела — как сердца, напряженные и неустанные. Еще долго лететь — взмах крыла, взмах крыла...

Мы летим, возносясь все выше и выше... Так высоко, что горы становятся плоскими, а потом и совсем незаметными, и земля, удаляясь все дальше и дальше, очертанья теряет: где там Азия, где там Европа, где океаны, где твердь? Так пустынно вокруг—во Вселенной безбрежной только шар наш земной, как верблюжонок заблудший в степи тихо качается, тихо плывет, ищет мать свою. Но где она, мать-верблюдица? Где мать всей земли, где мать всей земли? Ни звука! Только ветер гудит, ветер пустынных высот, и тихо плывет и качается земля с кулачок, земля с кулачок. Тихо плывет и качается, точно сиротское, точно дитячье темечко — зыбка земля, зыбка земля. Так неужели на ней столько Добра вмещается, столько Злых дел прощается, столько Добра вмещается, столько Злых дел прощается? Нет, не надо прощать, нет, не надо про-

щать, молю вас, дымы творящие, думы творящие, долю творящие!

Я всего лишь крылатая птица в этой стае летящей. Я лечу с журавлями и сам журавль. Я лечу с журавлями темной ночью — по звездам, днем — над нивами и городами. Думая думу свою.

Лечу и плачу,
    Лечу и плачу,
        Лечу и плачу,
Заклиная людей и богов,
Поосторожней с землею,
О, люди, полегче сплеча...
Что — журавлиные слезы?.. Смахните с лица!
И все же, и все же, и все же —
Упаси вас, о люди, от бед нелюдских —
Упаси от пожаров неугасимых,
От кровавых побоищ неудержимых,
Упаси вас от дел непоправимых,
Упаси вас, о люди, от бед нелюдских...

Стая вдали скрывается с глаз. Не различить уже взмахов крыла. Вот она уже как точка средь неба, и нет ее...

Но вот снова весна, и опять журавлиные клики в выси...



Публицистика





СВЕТОЧ ЭПОХИ



«Правда»... Когда родилось это бессмертное слово в человеческой речи, быть может, на заре развития самосознания, вместе со словами: хлеб, вода, солнце, без которых немыслима жизнь на земле... Переведите это простое русское слово на любой язык, и оно останется тем же: правдой, справедливостью, счастьем, свободой. И если мы знаем, что история человеческого общества — это история войн, то, думается, в конечном счете история народов — это борьба за правду. За правду веками боролись, совершали революции, сидели в тюрьмах, шли на гильотину и каторгу, со словом правды на устах погибали на баррикадах. Люди веками искали птицу-правду, люди веками вопрошали небо: «Где она, правда?» И люди всегда верили, что есть на свете правда...

Сегодня это слово, венчающее газету нашей Коммунистической партии, преисполнено для нас особого смысла, особого значения. Полвека тому назад в смутные, тяжелые времена, в ту пору, когда царские палачи расстреляли толпы рабочих на Ленских приисках за то, что они искали правду и справедливость, когда за сотни верст за «правдой-матушкой» шли по российским дорогам крестьяне-ходоки, обездоленные, отчаявшиеся, лишившиеся последних клочков земли, но все еще наивно полагавшие найти защиту, упав на колени с челобитной у порога господ, когда на заводах и фабриках, на шахтах и железных дорогах назревал в недрах рабочего класса глухой рокот революции, Ленин и большевистская партия дали народу массовую политическую газету «Правда».

Вслед за «Искрой» «Правда» загорелась факелом партии, освещая путь к свободе. И все, кто жаждал найти правду, справедливость на земле, узнали со страниц газеты, что правда с партией, с народом, в организованной политической борьбе пролетариата против капиталистического строя.

«Правда», открыто провозглашавшая целью своего существования борьбу за дело пролетариата, не могла не полюбиться, не могла не завоевать сердца и умы рабочих. Сейчас до боли трогательно представить себе, как в те годы петербургские рабочие добровольно собирали по копейке, по пятаку на издание своей газеты. Сейчас поражаешься стойкости, уверенности, упорству редакции «Правды». Ведь тогда среди массы хорошо финансируемых и пропагандируемых газет господствующих классов, газет дворянства, духовенства, промышленников, биржевиков и купцов, где по-своему освещались явления жизни, где защищались классовые, сословные интересы эксплуататоров и где велась постоянная борьба против рабочих организаций, против всего передового и честного путем обмана, лжи и клеветы, как могла «Правда» остаться не задушенной всей этой враждебной прессой, как могла она выстоять и затем стать путеводной звездой эпохи!

Сила, жизненность «Правды» были в том, что она являлась органом большевистской партии, борющейся за коренные, подлинные интересы рабочего класса, за полное и окончательное уничтожение капиталистического строя в стране. Только такая газета могла расти, набирать силу, завоевывать авторитет среди народа и воспитывать народ, готовить его к социалистической революции. Только такая газета могла вновь и вновь оживать, возрождаться, оставаться бессмертной, несмотря на все гонения, конфискации тиражей, аресты редакторов, запреты и разгоны со стороны официальных властей и реакции. Кто не помнит ту над-

менную позу юнкеров и казаков, запечатленную на фотографии в момент разгрома редакции «Правды» в июле 1917 года! Но «Правда» оставалась бессмертной.

В жизненности и силе «Правды» сказалось то, что лицо и характер газеты, ее непримиримую ко всякого рода фракционерам, раскольникам и ренегатам идейную и политическую линию определяли ленинские статьи. В. И. Ленин уделял исключительно много сил и внимания работе «Правды». Только до революции он написал для газеты более 280 статей!

Ленинское руководство и сотрудничество в «Правде» сообщило газете огромный революционный импульс, высокий теоретический уровень и организаторскую силу. И тем самым «Правда» сыграла выдающуюся роль в деятельности Коммунистической партии, в истории российского революционного движения. Она сплачивала рабочих вокруг партии, направляла их к одной цели — к свершению революции.

После возвращения из эмиграции, 5 апреля 1917 года, в состав редакции вошел В. И. Ленин и непосредственно возглавил руководство «Правдой», а 7 апреля со страниц «Правды» народ узнал всемирно известные «Апрельские тезисы» Ленина, прозвучавшие героической увертюрой Октябрьской революции. В первые дни рождения Советской власти на страницах «Правды» были опубликованы немеркнущие в веках ленинские декреты о земле, о мире, первые воззвания и распоряжения правительства первого в мире рабоче-крестьянского социалистического государства. «Правда» опубликовала в 1918 году знаменитую ленинскую работу «Очередные задачи Советской власти» и еще ряд других пламенных статей и речей Ленина в период Октябрьской революции и гражданской войны. Какое величие ленинского духа, какая бесконечная вера в будущее проявились в опубликованном на страницах «Правды» ленинском проекте Программы РКП(б) — про-

граммы построения социализма в нашей стране, принятой на VIII съезде партии. Ведь это было в разгар гражданской войны, в разоренной, голодной России, которая, читая «Правду», видела начертанное Лениным свое будущее!

И так до последних дней своих В. И. Ленин поддерживал с «Правдой» самую теплую, неразрывную связь. Люди воспринимали «Правду» как самую близкую, родную газету Ленина. В дни покушения на Ленина среди многочисленных писем трудящихся было опубликовано одно очень трогательное письмо девочки. Она писала: «Товарищи! Я прошу вас напечатать мое письмо в вашей газете. Я очень люблю т. Ленина и болею за него, а ему самому не могу сказать об этом. У меня нет папы, а есть только мама и Ленин! Мама не знает, что я написала вам, она очень расстроена. Наташа Вознесенская».

В годы мирного развития все свои силы газета направляла на решение хозяйственного и культурного строительства, твердо отстаивала политику партии, поддерживала и пропагандировала ростки коммунизма, помогала им укрепиться!

«Правда» сослужила большую службу партии в годы Великой Отечественной войны. В те грозные дни голос «Правды» был голосом Родины. Газета отражала титаническую организаторскую работу партии и народа, направленную на разгром врага. Страницы газет навеки хранят запечатленные на них описания беспримерных подвигов, ярчайших проявлений советского патриотизма, воинского долга и гуманизма.

Громадный международный авторитет завоевала «Правда» в послевоенные годы, твердо отстаивая, пропагандируя ленинские идеи мирного сосуществования между государствами с различными социальными системами. Последовательно разоблачая происки империалистических поджигателей войны, борясь с реак-

ционной прессой капиталистических стран, «Правда» заслужила законное признание за рубежом всех людей доброй воли.

Вся наша жизнь тесно связана с газетой «Правда». Все насущные вопросы коммунистического строительства, деятельности партии находятся постоянно в центре внимания «Правды», ибо нет у нее более высоких забот, нежели дела и заботы советского народа.

Славный пятидесятилетний путь прошла родная «Правда». Радостно сознавать, что она полностью оправдала свое назначение — явилась ленинским светочем эпохи, умом и совестью всего прогрессивного человечества, устремленного к миру, дружбе и свободе.

1962 г.

ЭТО ВАША ВИНА, ЗЕМЛЯКИ!

Дорогие земляки, не осудите за прямоту, будем до конца откровенны. Я хочу здесь сказать все, что думаю о той позорной истории, которая случилась в нашем селе.

...Совсем недавно глубокой ночью в моей квартире раздался тревожный звонок. Я поспешно открыл дверь и увидел наших односельчан, двух женщин — мать и дочь. Вот что они мне рассказали.

Асылгуль Абдалиева училась в седьмом классе, когда однажды на пустыре, по пути из школы, ее встретили двое незнакомых парней и средь бела дня насильно увезли в соседний горный аил, в колхоз «Бакаир». Это преступление было совершено с согласия деда и дяди Асылгуль, у которых жила тогда девушка. Отец ее погиб на фронте.

Вскоре Асылгуль бежала из дома Дыйканбая Биримкулова, похитившего ее себе в жены. Бежала, надеясь, что если она расскажет, какой это грубый, неприятный ей человек, то дома ее поймут и оставят в покое, дадут возможность продолжить учебу. Но родные встретили ее попреками и руганью и, когда прискакал за ней взбешенный Биримкулов, девушку отправили назад. «Камень должен лежать там, где упал»,— сказали ей. И муж преподал ей урок «ума-разума»: только выехали на безлюдное место, как он жестоко избил ее. «Не позволю позорить мою мужскую честь, попробуй только убеги еще, убью!» — пригрозил он. И, несмотря на это, вновь и вновь убегала Асылгуль, но каждый раз ее возвращали назад, в руки Дыйканбая. Так была искалечена юность человека, тогда еще ребенка, 15-летней девушки.

Время шло, родился первый сын, затем второй. И уже связанная семьей, Асылгуль старалась как-то устроить во имя детей эту немилую ей жизнь. Но муж продолжал беспробудно пьянствовать, плохо работал в колхозе — ничего не зарабатывал, бил жену, зная, что ей трудно уйти. Жили почти впроголодь. Наконец, Биримкулов дошел до того, что продал дом, чтобы расплатиться с долгами. Семья перебралась в землянку.

И вскоре наступила развязка. Как-то, напившись пьяным, Биримкулов зверски избил на работе женщину. Его приговорили к шести годам заключения.

Оставшись без мужа, с малолетними детьми на руках, молодая женщина, как это ни странно покажется кое-кому с житейской точки зрения, облегченно вздохнула. Асылгуль переехала в свой родной колхоз имени Калинина, поступила дояркой на ферму. Здесь же ей с детьми дали небольшую комнату, провели радио и электричество.

После многих лет надругательств она впервые почувствовала себя хозяйкой судьбы, все теперь зависело от нее, от ее труда и стараний. Она быстро освоила машинное доение, стала вскоре лучшей дояркой.

Асылгуль обрела счастье от сознания своего человеческого достоинства. И как обидно было ей признаваться себе, что кто-то долгие годы самовластно распоряжался ее судьбой, глумился над ней, калечил ее жизнь! Ведь она была молода и умела хорошо трудиться...

Он заявился неожиданно нынешней осенью. «Собирайся, жена, завтра уедем в свой аил» — это были его первые слова. Асылгуль сразу же сказала, что не желает жить с ним и не собирается покидать свою работу. Больше того, она обещала помочь ему, поделиться всем, что у нее есть, лишь бы он оставил в покое ее и детей. Казалось бы, все абсолютно ясно: человек выражает свою волю, и никто не вправе принуждать его поступить иначе.

Но, дорогие земляки, должен сказать, к величайшему огорчению, что в нашем селе Шекер по сей день, оказывается, можно безнаказанно творить дикий, средневековый произвол. И один из ярых носителей такого пережитка дядя Асылгуль — Ашим Барпиев. Это он встретил с распростертыми объятиями «дорогого зятя», потребовал от Асылгуль денег, притащил ящик водки и зарезал барана в честь вернувшегося из тюрьмы хулигана, собрал гостей, пьянствовал с ними всю ночь, а наутро приказал Асылгуль собираться в дорогу. Асылгуль наотрез отказалась. «Поедешь с мужем, никуда не денешься»,— заявил Ашим и пригрозил связать ее.

Асылгуль оставалась непреклонной. Тогда Барпиев подослал к ней стариков, и те принялись стыдить ее: где это видано, чтобы женщина пренебрегала мужчиной, подумаешь, ударница, передовая доярка, зарабатывать стала много, все равно ты для мужа была и есть жена, и не больше. А Барпиев тем временем добился, чтобы Асылгуль отстранили от работы. Женщина бросилась жаловаться в сельсовет, но Барпиев догнал ее на мотоцикле и, угрожая избить и опозорить, заставил вернуться назад. Так как Асылгуль продолжала стоять на своем, Биримкулов и Барпиев решили увезти ее и детей насильно.

И Асылгуль снова вынуждена была бежать, бросить детей и бежать, пока насильники ходили за машиной. Она скрылась на окраине села у своей матери, одинокой старушки. Мать спрятала ее в соломе. Не найдя Асылгуль, распоясавшиеся феодалы погрузили в машину ее пожитки и детей и увезли их в «Бакаир». «За детьми сама придет, завтра же прибежит»,— посмеялись они, довольные своей чудовищной выходкой.

Убедившись, что Асылгуль избежала ловушки, бандиты буквально озверели. Рыская на конях по аилу, они готовы были расправиться с ней, грозили сестре и матери Асылгуль, что, если те не выдадут ее, то они... вызовут из райцентра милицию, арестуют Асылгуль и отдадут под суд.

Двадцать дней пряталась Асылгуль в соломе на дворе у матери и наконец решила бежать из родного аила в город. Темной, буранной ночью ее вывез на станцию шофер молочной фермы — Анарбай Сатыбалдиев. Спасибо тебе, Анарбай, ты всегда был честным, отзывчивым парнем.

Вот и вся история. И тут я обращаюсь к вам, мои односельчане, и в первую очередь к председателю артели, депутату Верховного Совета республики Василию Ивановичу Толстунову. Вас, Василий Иванович, люди уважают как опытного руководителя. Но вы, видимо, плохо цените своих людей, если позволили каким-то проходимцам и преступникам творить свой суд над лучшей работницей артели. Удивляет, скажу резче, возмущает меня ваше равнодушие. Василий Иванович, ведь вы не могли не знать об этом. И совсем уже по-

ражает меня бездеятельность в этом отношении секретаря парторганизации колхоза Эшалиева.

Ну и вы, преподаватели средней школы нашего аила, коммунисты Момбеков, Колубаев, Абылгазиев... Как же вы могли отгородиться классной доской от того, что происходит в селе? А ведь, наверное, читаете в колхозном клубе лекции о моральном кодексе строителя коммунизма. И после этого, встречаясь на улице, здороваетесь за руку с теми, кто попирает эти идеалы...

А вы, ровесники отца Асылгуль — Абдалы Барпиева, активисты колхозной бригады Акматов, Сатыбалдиев, Колубаев?.. Как допустили вы глумление над дочерью товарища, павшего в бою? Где же ваша солдатская совесть?

И наконец, мне хочется сказать несколько горьких слов своим сверстникам, товарищам школьных лет — председателю сельсовета Нуралиеву, заместителю председателя колхоза Усубалиеву. Да, наш колхоз из года в год идет в гору. Но не единым хлебом жив человек. Я уже давно замечал, что вы в своей работе очень и очень недооцениваете духовную, идейную сторону жизни. И вот вам результат. Вы даже не могли защитить свою лучшую доярку, ударницу Асылгуль, а ваш колхозник, молодой человек со средним образованием, учившийся даже в медицинском институте,— Ашим Барпиев — оказался самым отсталым, темным человеком.

Я знаю, не исключено, что после этого письма некоторые мои односельчане перестанут разговаривать и здороваться со мной. Что ж, их дело. Зато я знаю, что правда должна победить, и это самое главное.

Дорогие земляки! Вы можете сказать, что, мол, было бы проще всего извиниться перед Асылгуль, уладить это дело на месте, по-свойски, не выносить сор из избы. Но я твердо убежден, что настало время поговорить нам между собой вслух, перед всем честным народом. Это будет полезней. И не только для нас, но, в частности, и для работников Кировского райкома партии.

1962 г.

Ему было лет восемнадцать, когда он добровольцем, на год раньше своего призыва, ушел на фронт, а мать его сурово говорила сочувствующим соседкам (двое старших ее сыновей уже воевали): «Оставьте меня в покое. Ушел — значит, ушел. Значит, так нужно». И помнится, как она вдруг расплакалась тогда. Плакала тихо, стыдясь своих слез, и, всхлипывая, говорила: «Думаете, он ушел туда потому, что любит войну? Думаете, что он мальчишка и не разумеет, что такое война и что такое смерть? Нет, он ненавидит войну — потому и ушел, быть может, больше всех нас ненавидит войну — потому и ушел воевать. Он очень любит людей, он очень любит всех вас и ваших детишек, он очень страдал от того, что мы все голодаем,— потому и ушел воевать. Я-то знаю, душа ведь у него такая добрая,— потому и ушел воевать. Думаете, я хвалю своего сына? Нет, я сама только теперь стала понимать его. Прошлой осенью какие холода стояли на дворе, как-то вернулся он из поездки со станции ночью в одном пиджачке, промерз весь до костей, зуб на зуб не попадает. Да что же это с тобой, охнула я, где же твой полушубок, раздели, что ли, в дороге? Нет, говорит, мама, отдал на станции одному малышу: семья эвакуированная — все голые и босые. Мальчишка совсем одичал, озлобился. А полушубок ему как раз впору...

Я тогда промолчала. Я и сейчас не стала бы об этом говорить. Глупый ты мой, сердечный, подумала я, ладно, если бы можно было одним полушубком всех одеть или одним куском хлеба всех накормить... Не о щедрости сына хочу сказать. Велико ли дело? Полушубок износится, и не в нем суть. Вот если у этого мальчика на станции согреется душа, если он с ранних лет поймет сердцем, что люди любят друг друга и что долг каждого делать добро другому,— значит, он вырастет хорошим человеком. Ведь добро не лежит на дороге, случайно его не подберешь, человек у человека учится добру. И если это сбудется, значит, сын мой сделал святое дело...»

Не знаю, насколько удачно сумел я передать этот монолог, теперь уже отрывок из моей новой повести, а тогда, в войну, я слышал такой разговор от людей, не

подозревая, что речь шла, по существу, о гуманизме, о естественном человеческом тяготении к добру, к прекрасному. Я запомнил этот разговор на долгие годы. И спустя много лет, в наши дни, я еще раз убеждаюсь в правоте рассуждений, в цельности чувств этих людей. Добро в человеке надо растить, это всеобщий долг всех людей, всех поколений.

Доля литературы и искусства в этом воспитательном процессе огромна.

Я не намерен упрощать современную проблематику гуманизма в мировой литературе. Она чрезвычайно сложна и противоречива. Приходится сталкиваться с различными течениями, концепциями и понятиями гуманизма в произведениях, например, западной литературы начиная от абстрактного гуманизма и вплоть до откровенно реакционных «теорий» о человеческом ничтожестве, одиночестве и т. п.

Есть стороны вопроса о гуманизме, на мой взгляд, важные, принципиальные, которые мне хотелось бы выделить, поразмышлять о них вслух.

С развенчанием партией культа личности наша литература широким фронтом двинулась в глубины внутреннего мира человека, стала полнее говорить о движениях его души, о его думах, помыслах и мечтах, о его страданиях и радостях. Высокое достоинство творца коммунизма — вот что украшает героев нашей литературы. Наш художественный арсенал в послевоенный период пополнился произведениями большого гуманистического содержания, такими, как «Судьба человека» М. Шолохова, «Путь Абая» М. Ауэзова, «Русский лес» Л. Леонова, «Знакомьтесь, Балуев» В. Кожевникова, произведениями М. Рыльского, М. Турсун-Заде, Э. Межелайтиса, «Живые и мертвые» К. Симонова, повестями Ю. Бондарева и Г. Бакланова, и многими, многими другими.

Канули в вечность произведения, страницы которых распирало от надуманных проблем, производственных конфликтов, быстрых побед, совершавшихся как бы «по щучьему велению», от раздутых личностей руководителей разного масштаба. Они, такие произведения, стояли в стороне от магистрального развития советской литературы. В них приглушено гуманистическое звучание. Человек-труженик, возвеличиванию которого призваны служить советская литература и ис-

кусство, отступал в таких произведениях на задний план. За «монументальным» железобетонным нагромождением в подобного рода книгах забывался человек, его простые человеческие качества и страсти, и вместо живого героя, обладающего настоящей зрелостью, подлинным, духовно сложным и многосторонним величием, представали схемы.

Мы живем планами, вместе с партией их составляем, под ее руководством боремся за их реализацию. Но именно поэтому литература наша не может удовлетвориться убогими, обедненными образами людей, единственный критерий подхода к которым — их производственные показатели.

Мне думается, что мы и по сей день не избавились окончательно от этой беды. Человек написал книгу, казалось бы, правильную во всех отношениях: здесь вам гражданский пафос и пейзажи, обличение бюрократов и воспевание новаторов. А книга не вызывает любви у читателей, не находит признания у критики. Автор возмущается: «Моя книга о Герое Социалистического Труда (о хлеборобе, шахтере или о животноводе), на современную тему... Почему же она не переиздается, не переводится на другие языки?» Когда скажешь автору, что книге не хватает того почти неуловимого, но очень значительного, без чего художественное произведение не становится волнующим,— не хватает гуманизма, не хватает любви к изображаемым героям, автор отвечает: «Гуманизма? Как же так, у меня главный герой на собрании выступает за мир, разве это не гуманизм?»

Нет, конечно, хочется сказать такому автору — это всего лишь декларации. Ведь гуманизм — это не просто частое повторение высоких идей, высоких слов. Нужно обладать свойством душевного, проникновенного понимания людей, свойством так любить и так страдать, так ненавидеть зло и так боготворить добро, чтобы читатель всецело оказался во власти этих же чувств, чтобы он сам сделался еще лучше, выше, человечнее.

Писатель должен видеть, находить, раскрывать сущность гуманизма не только в его высоких сферах, таких, как благородная миссия борьбы за мир, борьбы против расизма и фашизма, но и вместе с тем под-

мечать, воспевать гуманизм как проявление обычных качеств и свойств человека в его повседневном быту. Гуманизм должен быть естественным, неотъемлемым свойством, спутником человека, таким же естественным и простым, как потребность в труде. И пока писатель этой мыслью не проникнется, до тех пор ему трудно будет найти подход к своему герою, трудно будет и донести до читателей свою правду, свои убеждения. Каждый читатель, знакомясь с героем произведения, прежде всего хочет разобраться, какой он человек и насколько он человек. Людям свойственно искать в книге прекрасное. Это нельзя забывать. На земле не было бы понятия прекрасного, если бы не было неодолимой тяги человека к красоте в широком смысле этого слова. Мир прекрасного бесконечен и разнообразен. Находить новые краски этого мира, открывать новые глубины этого мира — значит служить народу, служить искусству, значит служить идеалам гуманизма. Тем великим идеалам гуманизма, которые утверждает в жизни наша партия всей своей повседневной практической деятельностью и высокое содержание которых так вдохновенно и ярко раскрыла она в своей Программе. Чтобы служить этим идеалам, надо любить человека. Тогда жизнь приобретает смысл, а ты, литератор,— право писать о человеке.

Недавно я прочитал рассказ Константина Воробьева «У кого поселяются аисты». Этот несколько неровно сделанный рассказ согрел меня своей трогательной, светлой, без тени сентиментальности любовью к прекрасному человеку, нашему современнику.

Несколько слов о некоторых частных, но важных моментах литературной практики. Мне кажется, что мы в произведениях иной раз заставляем человека напоказ жертвовать жизнью совсем по необоснованным и маловажным причинам. «Смертельный исход» довольно часто бывает в книгах среднеазиатских писателей. Уверен, меня не поймут превратно. Есть самопожертвование — высшее проявление гуманизма, когда жизнь отдается во имя великих целей, во имя Родины и народа, во имя спасения человека. Народ безгранично чтит таких людей, любит их, жизнь меряет по ним. И не случайно они, став главными героями наших книг, заняли в литературе свое достойное место.

Но превращать самопожертвование в самоцель — значит унижать человека, оправдывать жертвенность.

Недавно «Литературная газета» поместила информацию о выходе в свет сборника рассказов узбекского писателя Саида Ахмата «Тюльпаны на речной глади», где в нескольких строках сообщается, что героиня рассказа Джурахан утонула в реке, спасая колхозных ягнят, а теперь, мол, благодарные односельчане бросают в реку цветы, потому что у погибшей нет могилы. Но из рассказа не видно, необходима ли была эта жертва. Ягнята есть ягнята. Человек есть человек, и жизнь его — самое дорогое богатство для нашего общества.

Встречается также примитивное истолкование гуманизма как «всепрощения», что, на мой взгляд, несовместимо с принципами социалистического гуманизма. Обращусь к личному опыту. Киргизское радио решило сделать по моей повести «Лицом к лицу» радиопередачу. Инсценировка была готова. И вдруг мне сообщили, что передача не пойдет, потому что какому-то авторитетному товарищу она не понравилась. В повести рассказывается о дезертирстве Исмаила, сбежавшего из эшелона по пути на фронт, отделившего свою судьбу от народной судьбы, вступившего на преступный путь укрывательства от исполнения гражданского, воинского и человеческого долга. Так вот, этот товарищ, оказывается, счел, что сейчас не стоит бередить старые «раны»,— дезертиры давно амнистированы и негуманно, видите ли, тревожить их.

Нельзя, конечно, согласиться с такой трактовкой гуманизма. Зло, даже прощенное, остается злом. Мы должны обличать, клеймить его так же страстно, как мы его ненавидим.

В мире есть не только силы добра, но и силы зла и мрака. На Западе эти силы постоянно посягают на гуманистическую природу человека, уродуют его душу, отчуждают его от общества. Силы зла и мрака создают питательную почву для фашизма и носителей расовой дискриминации. Вызвать в людях непримиримость к злу, к духовной бедности и пошлости, вызвать в людях неуемное желание биться против социальной несправедливости — это подлинный гуманизм, борющийся гуманизм. В наше время тревог и опасностей, гро-

зящих миру атомной катастрофой, голос добра, справедливости, дружбы и братства приобретает в произведениях искусства огромное общечеловеческое звучание.

Человек обретает большое счастье от сознания своего человеческого достоинства. Порой он проделывает мучительный путь, переламывает себя, чтобы достигнуть духовного величия, чтобы подняться на высоту любви к людям и уважения к себе. Показать процесс восхождения человека к гуманизму — почетная, благородная задача искусства. Мне кажется, в этом отношении интересен киносценарий американцев Натана Е. Дугласа и Гарольда Дж. Смита «Не склонившие головы». Его, вероятно, многие читали в журнале «Иностранная литература». Авторы сценария — прогрессивные кинодраматурги, один из них числился в «черном списке» Голливуда.

Герои сценария, беглые каторжники — белый и черный, скованные одной цепью, сначала ненавистные друг другу, погибают, как братья. Они предстают перед настигшей их погоней в таком светлом величии, что преследователи останавливаются, не решаясь спустить на них свору собак. Сколько нереализованных богатых человеческих возможностей погибает в капиталистическом мире! И как больно за этих людей!

Прогресс человеческой личности в социалистическом обществе восхищает весь мир. Именно в наших условиях гуманизм обогащается новым содержанием. Мы не всегда даже успеваем осмыслить, какие знаменательные изменения происходят в духовной жизни советского человека. Подвиг наших космонавтов мне представляется прежде всего беспримерным актом гуманизма. Не ради красоты небесных звезд и космического пространства страна ведет героический штурм Вселенной. Эти невиданные открытия посвящены земному человеку, возвышению его могущества, развертыванию его творческих и духовных возможностей, его благу и интеллектуальному совершенствованию. Мы выполняем общечеловеческую задачу, и мир это высоко ценит, видит в этом проявление замечательных принципов социалистического гуманизма.

С малых лет человек начинает постигать смысл прекрасного с любви к матери, к близким, к природе, к земле, в нем рождаются любовь к Родине, чувства

гражданской солидарности и братства. Человек у человека учится добру. Это великое его свойство должно оплодотворять произведения искусства.

1962 г.

О ХЛЕБЕ, О ЛЮДЯХ, О КРАЕ РОДНОМ...

Здесь уже затишье. Ранним утром особенно тихо. Неподвижно висят белые разводья облаков в небе. А под ним жнивье, как успокоенное море после бури. В этой тиши кажется, что машина несется, словно по воздуху, по бесконечно длинной, залитой утренним светом дороге.

Да, отгрохотали комбайны, не пылят на проселках машины. Они ушли дальше на север, по горячим маршрутам страды. И теперь за убранными нивами как бы вновь открываются скрытые пространства мира: все окрест на виду — и горы, и небо, и обнаженная «география» жатвы.

Это целая страна, громадная, как эпос, раскинувшаяся по равнинам, холмам и урочищам, от подножия снежных хребтов Ала-Тау в даль и ширь казахской степи. Где ее границы? Где-то за Джувалинским нагорьем, где-то под знойным Туркестаном.

Мой путь лежал через чуйские, меркенские, джамбулские земли к знаменитым хлебным «джонам» в пустынных горах Джувалинского плато, туда, где на косогорах и в глубоких распадках шел последний и самый трудный штурм жатвы Южного Казахстана.

Когда хлеб скошен и убран, когда вывезен урожай, от которого ломятся склады, когда ходишь по дворам элеваторов среди вулканоподобных сопок зерна, когда не успеваешь просматривать полосы газет с аншлагами о выполнении и перевыполнении планов, вот тогда вдруг поражаешься тому, что сделано на твоей земле, пока ты был занят вроде бы чем-то важным, когда ты успел написать всего лишь несколько страниц.

И диву даешься, глядя на бескрайние, необозримые берега жнивья, убегающие от горизонта к горизонту, и думаешь, сколько же здесь было хлеба, и думаешь, как передать это ощущение грандиозности, неизмеримости человеческого труда?

Брат мой, пахарь, сеятель, хлебороб! Ты сейчас у штурвала на поле, ты сейчас в дороге за рулем, ты сейчас на грохочущем зерновом току, ты сейчас не спишь ночами, ты сейчас на ладони своей несешь жизнь народа, судьбу и историю страны. Ты сейчас творишь самое извечное и бессмертное дело человеческого рода — ты добываешь хлеб наш насущный.

И если бы я был акыном всех времен, то и тогда я не посмел бы сказать, что сумею воспеть вас, тружеников земли, так, как чувствую это в душе, как понимаю это сердцем.

Я лишь хочу рассказать здесь о встречах на дорогах и полях нынешней жатвы.

* * *

Мне сейчас вспоминается встреча с шоферами автоколонны 2554 Джамбулского автотреста. Они давно уже в Целинном крае, где-то в глубине за станцией Ак-Куль. У них уже проторены свои дороги в степи, и каждый из них перевез, наверное, не один десяток тонн зерна. А у меня все не выходит из памяти тот жаркий, темный августовский вечер, когда они грузились на эшелон.

Это было на далекой станционной окраине, на грузовой площадке. То, что здесь совершалось в те дни, напоминало что-то военное, походное, призывное. И невольно сжималось сердце от гудков паровозов и стука колес, проносящихся мимо, от какого-то пронзительного, тревожного и гордого чувства, от сознания причастности в тот миг к сборам этих людей. И хотелось курить на ходу, как курили они, и хотелось так же уверенно, громко и отрывисто разговаривать, подавать команды, хотелось уехать вместе с ними на далекое и трудное дело.

А машины все прибывали, как с поля боя, откуда-то из ночной тьмы. Они несли с собой свой пороховой дым — невыветренный дух молотьбы и полевых дорог, запах молодого зерна, пыли, запах горькой полыни и трав. Машин скоплялось все больше и больше — сотни машин.

И без промедления их подхватывали краны, а то, что не успевали краны, люди на своих руках втаскивали на платформы, крутили проволоку, закрепляя машины.

Эти люди и эти машины отправлялись на вторую свою жатву одного и того же года. Все лето днями и ночами они колесили по полям Южного Казахстана, сняли и вывезли урожай совхозов «Алгабас», имени Жданова, «Макбал», «Асфара». После долгой разлуки многие из них теперь вновь встречались с тем, чтобы вместе отправиться на целину и снова рассыпаться по полям и дорогам и снова днями и ночами везти в отягощенных кузовах живой, колышущийся хлеб года.

Среди станционной сутолоки и скопища машин, среди зыбкого света прожекторов, среди команд и приказов железнодорожной радиослужбы, среди бессонного ночного труда я протискивался к людям и, зная, что им сейчас не до меня, задавал один и тот же вопрос:

— Сколько вы вывезли зерна?

— 700!

— 800!

— 750!

— 700!

— 800!

И так без конца.

— А сколько надо было по плану?

— 500 тонн.

— А сколько вы думаете вывезти на целине?

— Пока рассчитываем по 900, а там видно будет. Главное, чтобы организация была, чтобы не простаивали мы.

— Ваше имя?

— Камелин Юрий.

— Петриков Афанасий Федотович.

— Лоос Виктор.

— Как? Лаос?

— Нет, Лоос Виктор Давыдович.

— Извините, а ваша фамилия?

— Кабылбаев Исман.

— Юсупов Ахмат. Я ваш земляк, таласский. Слышал о вас.

— Очень хорошо. Когда вы освободитесь, я подойду к вам. Кто у вас начальник треста?

— Сарсенбаев.

— Он здесь?

— Не видел. Наверное, здесь. Вон идет Сидельников, начальник автоколонны. Поговорите с ним.

Останавливаю Павла Ивановича Сидельникова.

— Ну и дела, Павел Иванович, к людям не подступишься.

— Да. Жатва. Здесь убрали, там подоспело. И так всю жизнь на колесах. И сейчас торопимся. Целина. Сами знаете. Видите, колеса на колеса грузим. Звонил наш уполномоченный. Там, говорит, хлеб небывалый. Будет что на пироги.

— Долго вы там собираетесь пробыть?

— До конца. Но до скорого конца. Нам еще надо успеть вернуться к осени. Здесь у нас миллион тонн свеклы будет. Опять же требуется быстро собрать и вывезти. Работают наши совхозы, крепко поработали. Все сделаем. Только бы там не подвели нас. Только бы не простаивать на погрузках и в очередях на элеваторах. И чтобы погода не засентябрила. Эй, крановщик! Куда же ты машину? — кричит он и бежит к платформе, где задние колеса одного грузовика сорвались на край платформы, застряли между вагонами.

Сбегаются шоферы на помощь товарищу: «А ну, берись! Еще! Еще! Еще раз!»

Тем временем я отправился искать на путях эшелон с комбайнерами. Но не обнаружил его. Он ушел, оказывается, еще днем. Хорошо, что он ушел быстро, без задержек, но я очень сожалел, что не пришлось встретиться с комбайнерами. Это были лучшие комбайнеры, отправившиеся на свою вторую косовицу.

Потом мне удалось все же улучить момент, поговорить с отъезжающими о жизни, о работе, об обычных заботах семейных и холостяцких, о заработках. В основном это была молодежь. Многие отслужили в армии. И на целину им было ехать не впервые. Бывали они там на уборке по два, по три раза и уже сейчас обсуждали с новичками, что к чему, как лучше организовать перевозку, как быть с запчастями, как быть в случае непредвиденного ремонта.

Уже близилась полночь. Спадала духота. В густой, чернильной тьме неба светились звезды, как отборные зерна пшеничные, на путях перемигивались зеленые, красные сигналы, проходили поезда, смутно белели вдали вершины гор. Вокруг лежала невидимая уснувшая степь. Хороша была августовская ночь!

А погрузка все продолжалась. Эшелон, груженный вздыбленными один на другой грузовиками, все рос и

удлинялся, и уже не различить было конца состава, не слышно было, что там делается. Только вокруг доносятся громкие голоса:

— А почему мою машину в углярку? Чем я хуже других?

— А где я возьму тебе платформу? Весь Советский Союз сейчас на колесах. А ты мне углярку!

И снова тихо.

Народу становилось все больше. Пришли провожающие. Жены, дети, невесты, друзья. И как обычно в таких случаях, прощались, беспокоились, просили быстрее написать письмо, совали в чемоданы какие-то крайне необходимые вещи, о которых вдруг вспомнили и привезли сюда.

Подхожу к Андрееву Владимиру Васильевичу, начальнику автоотряда, отъезжающего на целину. К нему пришли жена и сыновья, двое мальчишек, подстриженных под машинку, в трусиках и майках.

— Знакомьтесь с моим семейством, — говорит он, представляя свою семью. — Раиса Михайловна. А это Сережа и Витя. Смотрите у меня, чтобы с учебой было в порядке, пока приеду.

Он принимается охотно рассказывать о том, что Сережа отличник, а вот второй немного не того, ленится. Час тому назад от него трудно было добиться слова. И во всем том, что он рассказывал о своих детях, в голосе, глазах и на лице человека было столько любви и гордости. Я смотрю на Раису Михайловну, высокую молодую женщину в очках. Она молчит, но все понимает. Наверное, учительница, думаю я про нее. Андреев может не беспокоиться. У такой матери ребята будут хорошо учиться.

Влюбленные пары чуть сторонятся, у них особо важные дела и какие-то экстренные решения. К Сидельникову подходят парень и девушка, взявшись за руки.

— Павел Иванович, — говорит он. — Как вернемся с целины, хотим пожениться. Насчет квартиры чтобы имели в виду.

— Квартиры? Вы вперед женитесь. Эх вы, молодежь! Квартира всегда будет. — И он умолкает...

До сих пор стоит перед глазами, как одна девушка села в кабину машины и не выходила из нее. Под смех и шутки ее подняли вместе с машиной на платформу, но она продолжала оставаться в кабине. Ей трудно

было расстаться с любимым. Она сидела и молчала, не обращала внимания ни на кого и ни на какие смешки в ее адрес. Это была красивая девушка. В рассеянном свете прожектора она была удивительно красивой. А он стоял, прислонившись к дверце кабины, и тоже молчал, прикасаясь головой к ее руке. Для них ничего не существовало вокруг. Были только он, она и их любовь.

Кто-то задорно крикнул из соседнего вагона:

— Давай увезем ее с собой. Поварихой будет.

Другой ответил:

— Держи карман пошире. Не для нас он выискал себе такую. Видишь, как грустит.

Я был очень тронут всем этим. Эта немая сцена расставания говорила о многом, о чем не всегда расскажешь словами. Мне отрадно было, что так красиво умеют переживать люди, живущие на опаленной зноем земле, живущие суровым, каждодневным напряженным трудом.

И уже далеко за полночь, когда стала наливаться предрассветная синь, эшелон снялся со станции. Город спал, спал глубоко и спокойно, спали горы в невидимой дали. А они уезжали. Уезжали на свою вторую жатву, уезжали караванщики хлеба.

Они сейчас на целине, за станцией Ак-Куль.

* * *

А я уезжал в другую сторону, на родную мне Джувалу, в край белой пшеницы.

Эту пшеницу привозили из соседних казахских аулов обычно к концу лета, в начале осени. Завидев на дороге путников с мешками зерна на лошадях и верблюдах, мы босоногой гурьбой бежали навстречу. Мы радостно кричали: «Белую пшеницу везут! Джувалинскую белую пшеницу везут!» Ее привозили к нам в горы с Джувалинского плато, и для нас, детворы, это было каким-то праздничным событием.

Потом, когда ложилась зима, когда на дворе мела поземка, отряхивая с дороги налипший и намерзший снег, люди подсаживались к огню и довольно потирали озябшие, негнувшиеся руки: «Снег какой великий. Красота! В Джувале, говорят, сугробы по брюхо коню. К урожаю. Пшеница любит большой снег...»

А весной, когда шли дожди, когда над Джувалой кочевали долгие завесы ливней и когда в той яснеющей фиолетовой дали поднимались высокие красные радуги, наши табунщики приезжали из степи веселые, как с удачной скачки: «Хлеб в Джувале прет на глазах, быть урожаю».

И летом, вглядываясь в полыхающую зыбь августовского марева над горизонтом Джувалы, люди оставались довольны погодой. Там кипит жара, там ни одной тучки на небе — значит, хлеб зреет под солнцем, значит, зерно будет полновесным, ясным и белым, как солнце.

Вот так на всю жизнь осталась в памяти Джувала — житница сказочной белой пшеницы, земля, где самые сильные в округе ветры и самые глубокие снега, где по весне идут проливные дожди и где летом так жарко, что пересыхают речки.

Жизнь сложилась таким образом, что я все дальше и дальше уезжал от Джувалы. И чем дальше удалялся, тем больше любил эту землю белой пшеницы. Я вспоминал о ней всякий раз, когда тосковал по жатве, это такая же тоска, как тоска по морю, вспоминал о ней всякий раз, когда летел в другие страны, через незнакомые земли и моря, думал о ней, улыбаясь про себя, когда слышал всем известную в Средней Азии казахскую песню о белой пшенице «Ак бидай» (мне почему-то всегда кажется, что эта песня родилась на джувалинских полях). И быть может, поэтому мне представляется истинно прекрасным в народном фольклоре сравнение красоты женского лица с белой пшеницей. В этом поэтическом образе как бы слиты воедино труд хлебороба и его эстетика, взятая из самой жизни. И если подумать, то, пожалуй, верно, что красивей всего на свете пшеничное зерно.

В этот раз, когда подступила к душе тоска по жатве, когда захотелось снова стоять, как бывало, на мостике комбайна, подставив руку под поток нагретого, как кровь, пахучего зерна, когда захотелось услышать грядущее биение молотьбы и лязг комбайновых цепей, я решил поехать на джувалинские поля.

На станции Бурное, куда свозится хлеб Джувалинского управления, я прежде всего завернул на элеватор. Хотелось увидеть ту белую пшеницу. Хлеба во

дворе было много. 650 рейсов в сутки. Выходит, через каждые две с половиной минуты прибывал с полей кузов зерна. Багряные пирамиды пшеницы возвышались во дворе на уровне крыши. Ее очищали на механизмах и убирали в склады.

— А где же та белая пшеница? — спросил я у управляющего элеватором Эралиева.

— Белозерка? Как же, есть. Ее убрали в первую очередь. Идемте.

Под сводами одного из складов лежали высокие холмы той белой пшеницы, ядреной, как отборный рис. Здесь было, как в храме, спокойно, тихо, величественно. Здесь хранилось нескончаемое наследное богатство джувалинской земли. Эралиев рассказывал об урожаях, о сортах, о лучших зерновых хозяйствах. А я думал о том, что вот, казалось бы, сколько лет прошло, а белая пшеница живет, родит, умножается. И все да будет жить и умножаться. Это — непреложный закон жизни. И мне подумалось, что люди, растящие хлеб, — это носители жизни, и труд бессмертен во все времена, потому что хлеб вечен и нетленен. «Здравствуй, белая пшеница! Будь благословенна, белая пшеница. Да будут благословенны руки, умножающие тебя, белая пшеница!»

Я уезжал в глубь Джувалинского плато, туда, где еще не бывал. Там, среди пологих отрогов Куланских гор, люди убирали хлеб на «джонах». Так называют здесь горные поля. Эти поля, как океанские волны, расплескались по взгорьям, по долам и лощинам. Здесь было царство хлеба.

Я видел немало красивых мест на свете. Но подобное — никогда. Здесь не было голубых озер, здесь не было пальмовых рощ, и среди них не проглядывали белокаменные виллы, здесь не было всего того, что обычно принято считать красивым. Здесь были травы на целине, по которым с трудом пробирался «газик». Здесь были золотые и серебряные косогоры пшеничного колоса, здесь был невиданный простор воздуха и огромной гористой земли, здесь было только бездонное жаркое небо и всюду хлеб, посеянный людьми, и люди, убиравшие этот хлеб.

Мы стояли на горе с председателем колхоза имени XXII партсъезда Джурумбаем Медетовым. Это были земли его колхоза. Отсюда, насколько хватал глаз,

простирались по взгорьям и низинам пшеничные поля. Там ползали комбайны, сновали машины.

— Земля у нас богатая, но трудная, крутобокая, — рассказывал Медетов.— Технику водить не просто. Спасибо нашим механизаторам, они просто герои. Так что хлеб наш — трудный хлеб.

— А сколько вы собираете его? — спросил я.

— В прошлом году дали два плана и в нынешнем дадим два, но разве дело только в этом? Если хотите на честность, мы берем от этой земли половину того, что она может дать, а то и меньше. А труда уходит столько же. Ведь мы ни одного грамма минеральных удобрений не вносим. Не потому, что не хотим, — не дают. А если дадут немного, то дорог нет. Это сейчас как будто бы все хорошо, а наступит осень, и до самого лета не проедешь по нашим буеракам. Волоком на тракторах тащим машины, калечим технику. Разве это дело? Сколько уже говорили о строительстве дороги. Все есть у нас — и больницы, и школы, и свет, и радио. Дома, видели, какие построили, сады разбиваем. Семнадцать тысяч овец держим. А вот без дороги — будто без рук. Окупилась бы дорога с лихвой. Мы тут для себя сделали опыт такой. На одно поле внесли минеральные удобрения — сняли по 29 центнеров хлеба с гектара. А рядом на полях: 13—15 центнеров. Вот и считайте.

Я-то прикинул про себя, вот если бы посчитали это те люди, от которых зависит дорожное дело. Да и не только ради хлеба нужна дорога. Русские и казахские селения — Когалы, Луначаровка, Танджарык и другие существуют в этих краях с 1905 года. И по сей день без дорог. Автобусы ходят только в летнюю пору.

Обидно было за хлеборобов. Говорят, уже есть проект строительства дороги и уже начали строить, так уж скорей бы.

И пусть приезжают сюда люди с разных концов и пусть посмотрят на этот хлебный край джувалинских «джонов», на эту знойную, богатую житницу белой пшеницы. Пусть пожмут они руки комбайнерам и трактористам Меербекову Алишеру, Левицкому Петру Николаевичу, Борукбаеву Тургуну, Нургаеву Долдыгулу, Литаве Ивану Александровичу и многим другим, всем хлеборобам, которые живут здесь и из года в год добывают хлеб наш насущный.

Я уезжал к вечеру. Исполнилась моя мечта. Я стоял на мостике комбайна Меербекова, ловил переполненными пригоршнями горячий водопад зерна, вдыхал его родимый земной запах и всем существом своим ощущал сладость молотьбы, сладость большой косовицы. Спасибо тебе, тоска по жатве!

Проезжая, я увидел юрту в лощине, в которой жили комбайнеры и трактористы. Их матрацы и одеяла были вынесены под открытое небо и разостланы в один ряд на траве. Скоро они должны вернуться на ночлег и спать непробудным хлеборобским сном под высокими августовскими звездами, чтобы набраться сил и с утра выйти на жатву. Я желал им спокойной ночи и крепкого здоровья.

1964 г.

ЖЕНЩИНА С ТЯНЬ-ШАНЯ

Я думаю сейчас о ней и хочу сказать: «Телегей Алмамбетовна, о вас писали и до меня. Собственно, вашу историю писала сама жизнь, мы ее в лучшем случае повторяем на бумаге. Вы говорили, что справедливей будет написать о молодых чабанах, о которых вы рассказывали. Я обещал подумать. И все же пишу о вас во имя этой молодежи...»

Мы встретились с Телегей Сагимбаевой на горе, где она пасла свою отару. Отсюда была видна вся обширная Кочкорская долина, окруженная тяньшаньскими хребтами. Белые снега на гребнях искрились в выси алмазным блеском. А над горами тихо сияло чистое осеннее небо. Эта призрачная небесная синева как бы подчеркивала тяжесть гор, тяжесть выгоревшей бурой земли в долине. На полях было уже безлюдно, урожай собран. И лишь по тяньшаньскому тракту, пересекавшему Кочкорскую долину черной лентой, бежали в ту и другую сторону машины. Они казались издали совсем маленькими.

— Хороша нынешняя осень, подольше бы продержалась такая погода,— задумчиво проговорила Телегей Алмамбетовна и потом, словно бы отвечая на свои мысли, вздохнула.— Сколько раз мы покидали эти места и всегда снова возвращались. Как проклинали мы эту серую каменистую землю и как плакали по ней

на чужбине! Так было и в тот год, когда горячим, засушливым летом налетели сюда скопища саранчи. В первый раз в жизни видела такое: тьма-тьмущая, солнце в небе слепло от саранчи. А я, тогда маленькая девчонка, плакала на поле, ударяя палкой по пустому ведру. Но что это для саранчи? Все подчистую она сожрала, даже траву в горах выела с корнем, шиповник колючий не оставила. И двинулись мы всем народом куда глаза глядят.

Отец мой угонял в чужие края байских овец. И мы с ним — по тропкам, через скалистые ущелья и перевалы. В пути нас захлестнули бураны и ветры, снегом завалило. Те, что на лошадях, ушли. А мы пробивались пешком. Когда я не могла идти и падала, отец нес меня на руках. А были и такие, что бросали детей...

И вот пасли мы в жаркой степи чужой скот. С матерью собирали на топливо хворост. За десятки верст несли на себе большие вязанки курая, чтобы получить у чайханщиков ломоть лепешки. А по вечерам, сидя у костра, тосковали по родным краям. Отец иной раз говорил мне: «Боюсь я, забудешь родину. Если бы не долги, увел бы вас сейчас назад, на Тянь-Шань». Я молчала, вспоминая, что и там мы жили не лучше. И тогда отец начинал убеждать: «Думаешь, земля там скудная? Нет, дочка, не от земли наши беды. К любой земле приложи руки — и она не поскупится».

Он вспоминал, какие бурные реки текут в наших горах, какие травы растут на пастбищах, идут шумные дожди, иной раз по нескольку раз в день, и тогда в урочищах круглый год ходят овцы: корма вдосталь. «Конечно, год на год не приходится, но родина есть родина», — говорил он. А однажды вдруг хлынул ливень. Отец стоял под дождем счастливый и радостный, но когда дождь утих, он грустно сказал: «Нет, не так шумит, как у нас в горах».

Не знаю, смогли бы мы когда-нибудь вернуться на Тянь-Шань, только пошли слухи, что в России свергли царя, а землю отдали народу. Мы узнали об этом зимой. Отец едва дождался весны, все рвался на родину, ждал только, чтобы перевал открылся. И вот мы вышли в дорогу.

Шли пешком, с пожитками за плечами, с палками в руках. Впереди нас ждал ледовый перевал, он под силу только крепким и сытым. А мы шли голодные, мерз-

ли от холода. Многие не дошли. И отец мой не дошел, умер на перевале. До сих пор помню, как, умирая, шептал он почерневшими губами: «Идите. Не отставайте от других. Уходите быстрей, пропадете...» Мы его схоронили под скалой, привалив камнями. А через день, когда уже спускались с перевала, погибла и мать. Она тоже умерла от голода и долгой дороги. Я сидела у ее изголовья, смотрела, как поземка заметала ее окоченевшее тело, и не было сил встать и идти дальше. Я сказала людям, чтобы они не ждали меня, все равно идти мне было некуда: ведь я осталась совсем одна на белом свете. Но земляки не бросили меня. С тех пор прошло много лет, а иной раз нет-нет да и вспомнится вдруг...

Когда Телегей Алмамбетовна рассказывала об этом, я подумал, что люди, не бросившие ее в пути просто из жалости, вряд ли подозревали тогда, что была спасена жизнь в будущем знаменитой женщины Тянь-Шаня, имя которой — пример трудового героизма.

Телегей Сагимбаевой 63 года, и вся ее жизнь, многотрудная и славная, может служить живой историей советского крестьянства. Тридцать семь лет назад, в 1927 году, когда был организован на Тянь-Шане первый овцеводческий совхоз «Кочкорка», они с мужем Дюйшеналы Сагимбаевым первыми пошли работать в это хозяйство. Сагимбаевы по праву могут заявить, что они были пионерами новой жизни на Тянь-Шане.

Дюйшеналы Сагимбаевич, в прошлом батрак, первым сел на трактор и стал первым киргизским механизатором в Кочкорской долине, а затем бригадиром тракторной бригады. А Телегей Сагимбаева — первая женщина-чабан и с тех пор вот уже 37 лет бессменно работает в овцеводстве. Я пытался приблизительно подсчитать, сколько тысяч тонн мяса, шерсти, сколько десятков тысяч голов молодняка вырастила она за все эти годы. Телегей Алмамбетовна на это шутя сказала:

— Много или мало — все в общем котле. А притом годы прежние и нынешние сравнивать трудно. Когда организовали совхоз, то овцы у нас были грубошерстные. Мы и знать не знали, что могут быть овцы другой породы, тонкорунной. С грубошерстных настригали шерсти с горстку, и годилась она разве что на кошмы для юрт. Теперь наш совхоз — племенное овцевод-

ческое хозяйство, наших овец покупают за границей, на развод. А какая шерсть! Иной раз развернешь руно на овце, смотришь и не налюбуешься — чистое золото!

Да, права Телегей Алмамбетовна. Через ее руки прошло немало шерсти, и уж она-то знает в ней толк. В наши дни акыны поют в песнях о золоторунных отарах. Эти овцы называются теперь киргизскими тонкорунными. В выведении новой породы овец немалая доля труда и Телегей Алмамбетовны. Благодаря многолетнему труду ученых и таких самоотверженных чабанов, как Сагимбаева, Киргизия превратилась в республику тонкорунного овцеводства.

Достаточно сказать, что только одна отара Телегей Сагимбаевой ежегодно дает шерсть для костюмов пяти тысяч человек. А таких отар много на киргизской земле. Но их должно стать еще больше, и надо, чтобы продуктивность овец постоянно росла. В этом главная забота чабанов.

И здесь мало лишь присматривать за порученной отарой: чабан должен быть мастером своего дела. Таким беспокойным и хлопотливым человеком является Телегей Сагимбаева. Казалось бы, давно заслужила она право на покой. Одиннадцать детей вырастила, почти все они уже самостоятельные люди. Можно было бы Телегей Алмамбетовне отдохнуть. А она выкраивает время для поездки по чабанским бригадам соседних колхозов.

Все интересует ее: как живут чабаны, как растет шерсть на овцах, не случается ли падеж животных. И везде она желанный гость, помощник и советчик. Но нерадивым достается: высмеет, крепко пристыдит при людях. Бывают у нас серьезные разговоры и с руководителями. Как-то, кочуя по соседству с колхозными чабанами, заметила она, что чабаны стали сгонять молодые отары вниз, для отправки на мясосдачу. «Что же вы делаете? — возмутилась Телегей Алмамбетовна. — Овцы-то молодые, самую богатую шерсть с них вы еще не состригли, а гоните на убой. Это же не по-хозяйски, во вред делу!»

«Знаем, но нам надо выполнить план сдачи мяса», — ответили ей чабаны. «Так разве же так выполняют план? Где же ваша совесть? Нельзя этого делать!» Но чабаны сослались на указание председателя

колхоза. Телегей Алмамбетовна разыскала председателя, стала укорять его, и тот отговаривался: на него тоже нажимали «сверху». Тогда Телегей Алмамбетовна поскакала в райцентр. Прибыла с гор в полночь и, не слезая с коня, заколотила рукояткой камчи в окно квартиры секретаря партийного комитета.

Разговор был нелегкий, району грозил прорыв в выполнении плана продажи мяса, но она убедила, настояла на своем. Посоветовались, решили искать другие возможности продажи скота на мясо. Возвращалась в горы на рассвете, усталая от бессонницы и верховой езды, но довольная, что выполнила свой долг.

Поезжайте в любой уголок Тянь-Шаня, спросите старого и малого, и все с гордостью расскажут о Телегей-апа. И это не случайно. Такой авторитет в народе завоевывается трудом и личным примером. За последние девять лет Телегей Сагимбаева, перевыполняя производственные задания, постоянно добивается самых высоких показателей. Из года в год в ее отарах, насчитывающих 700 — 850 голов, получают с овцы по пять-шесть килограммов первоклассной тонкой шерсти. Валухов на мясо она сдает весом по 70—75 килограммов. Причем нередко сама за много десятков километров пригоняет отару на железнодорожную станцию, следит за погрузкой овец в вагоны и доставляет их на мясокомбинат.

Падеж овец в отаре Телегей Алмамбетовны—чрезвычайный случай. «Зима прошлогодняя выдалась в горах тяжелая, — рассказывает она. — Снегом дороги отрезало, завалило по брюхо коню, а овцы и вовсе копытами до земли не достают. Как тут быть? Смотрю, плохо дело — овцы начнут падать от бескормицы. Знала я одно место километров за семь от стойбища на самой вершине горы, подветренный склон такой — снег там обычно не держится, уносит его ветром. Так вот на то место мы втроем, с сыном и дочерью, тропу прокопали лопатами и стали гонять туда овец. Ветер лютовал постоянно, но зато корм был».

Для меня не было ничего удивительного в том, что недавно на концерте, устроенном для делегатов конференции коммунистов Кочкорского управления, хор самодеятельности исполнял свою песню «Телегей». С любовью и задушевностью пела молодежь: «Телегей— великий чабан, счастливая мать большой семьи!»

Слушая эту песню, вспомнил, как осенью прошлого года я с такой же гордостью рассказывал о Телегей Сагимбаевой рабочим социалистической бригады Будапештского кабельного завода. Венгерские рабочие буквально засыпали меня вопросами. Мне приятно было отвечать, что труд чабана высоко оценен, что она Герой Социалистического Труда, депутат Верховного Совета республики и в то же время мать-героиня. О том, что года два назад построила она новый дом, приобрела автомашину «Волга». Рассказывал о ее детях, которые трудятся в том же совхозе «Кочкорка».

Младший из сыновей — девятнадцатилетний Абдуманап и дочь Асыгуль пошли по стопам матери, работают в ее чабанской бригаде, перенимают мастерство. Скоро они станут старшими чабанами. И не только своих детей вывела на широкую дорогу трудовой жизни Телегей Алмамбетовна. Есть у нее ученики из числа молодых чабанов, которые уже догоняют учителя. Телегей Алмамбетовна любит об этом рассказывать.

Года три назад Аскар Усубалиев был самым отстающим чабаном в совхозе. Любил скакать по горам на коне, песни петь, а работал без охоты. Телегей Алмамбетовна попросила, чтобы отару молодого чабана поставили рядом, по соседству. Стала частенько наведываться, помогать и требовать. В 1962 году Аскар Усубалиев добился 99,5 процента сохранности поголовья, настриг по пять килограммов шерсти с каждой овцы. А другой ее ученик, молодой чабан Шаршекеев Джукун, не потерял из отары ни одной головы. Парни теперь благодарны Телегей Алмамбетовне.

Мы сидели на горе, говорили о знакомых чабанах, о погоде, о делах совхоза, о кормах...

— Если мы все будем работать по совести, дорожа своей трудовой честью, то коммунизм намного быстрей построим, — говорила она. — Это точно, в это я верю.

1964 г.

ЛУННАЯ ДОРОГА ИЗ ХЛОПКА

Представьте себе среднеазиатскую осеннюю ночь. Представьте долины, кишлаки, дороги, реки и города среди звездной большой ночи, среди снежных гор, сре-

ди степей и великих песков. И вы увидите, что не все звезды только на небе. Множество подвижных звезд вы увидите на самой земле, на ее дорогах и полях. Это огни хлопкоробских ночей.

И теперь представьте себе устремленные в космос огненные эшелоны, груженные белым пламенем хлопка, представьте их по направлению к Луне. И вы увидите мысленно, что протяженность этого космического товарного состава достигнет Луны четыре раза туда и обратно. Тут нет никакого фантастического вымысла. Так подсчитал академик Кары Ниязов. Это арифметика в форме грандиозной белой ракеты, запущенной к Луне со стартовых полей узбекских хлопкоробов.

Да, читатель, в этот час, когда вы берете в руки газету, в Узбекистане собирают очередные сотни тонн хлопка. Его собирают и вывозят здесь круглые сутки. Этим делом занят весь народ, все поголовно. На хлопкоприемных пунктах не по дням, а по часам и минутам вырастают, точно из глубин полярных вод океанские айсберги, горы белого урожая узбекской земли. И куда бы вы ни двинулись, по всем путям и дорогам днем и ночью идут и идут белые вереницы хлопковых обозов — автопоезда и тракторные сцепы.

Мир не знал еще такой производительности и таких темпов по возделыванию этой древнейшей на земле культуры солнечного волокна. Узбекский бутон хлопка — это целая история социальных и экономических преобразований края, это культура и мощь современной ирригации, это химия, селекция и наука, и, если хотите, в этом национальный гений узбекского народа, его талант и трудолюбие. Вся наша жизнь настолько тесно связана с производством и потреблением хлопка, что трудно найти величину измерения его ценности для нужд человека.

Труд хлопкороба — труд для человека, для страны, для коммунизма. О них, этих великих тружениках узбекской земли, и пойдет мой рассказ.

* * *

Много думал я над тем, как воссоздать на бумаге то былое, с чего начинали наши отцы в те бурные неповторимые годы революции. С тех пор сменилось поколение людей. Моих сверстников тогда еще не было

на свете. Но вот уже за нами идет в жизнь новая череда молодежи.

Будет ли она помнить подвиг народа, поднявшегося к свободе, как звезда из праха. Будет ли она соизмерять настоящее с прошлым, чтобы лучше знать цену того, что есть, что достигнуто было в борьбе и лишениях? Верю, что будет знать и продолжать дело отцов. Ибо это история, не уходящая в прошлое. Она и поныне живет и чем дальше, тем больше вовлекает в свою беспрестанную работу массы народа, и мы сами творим ее, нашу историю, начатую Октябрем.

В те октябрьские годы тысячелетняя история Средней Азии начала свою нелегкую новую летопись. Это было время рождения среднеазиатских республик, время пламенных выдвиженцев из народной среды, президентов из батраков-хлопкоробов, первых председателей ЦИКов, таких, как Ахунбабаев в Узбекистане, Орозбеков в Киргизии, Айтаков в Туркмении, Максумо Нусратулло в Таджикистане, и других. Это было время первой в Туркестане земельно-водной реформы, когда земля, политая кровью и потом дехканина, перешла к самому дехканину. Это было время, когда женщина впервые посмела сорвать с лица паранджу, когда открывались первые университеты по ленинским декретам. Это было время, когда мы теряли своих лучших сыновей и дочерей в схватках с врагами, когда в Фергане был закидан камнями до смерти революционный поэт Хамза, когда басмачи выслеживали тех, кто сеял хлопок, и убивали их тут же на поле. Они уничтожали хлопок на корню, пытаясь тем самым убить Советскую власть в Туркестане.

А хлопок цветет и зреет, как сама наша жизнь. Он цветет и зреет теперь и там, где никогда прежде не прорастало его семя. Поезжайте в Голодную степь, Мирзачуль, этот край вечно безводных степей, а ныне край каналов и полей, и вы увидите там хлопок, хлопок и хлопок, сады, виноградники, хлеба, улицы новых домов, новые дороги.

Заверните по пути в Самарканд, в зону Кировского канала. В голодностепские совхозы «Фархад», «Ширин» или в колхоз «Коммунизм». Этот колхоз в Янгиерском управлении, пожалуй, самый старший по возрасту: он организован лет двенадцать тому назад. Срок не такой уж большой для целинного хозяйства.

Начинали с 15 гектаров хлопка, а сейчас засевают им 2500 гектаров. Урожайность уже достигает 35 центнеров с гектара. За год колхоз продал 8,5 тысячи тонн сырца. Вместе с этим растет оплата трудодня.

68 хлопкоуборочных машин бороздят поля, снимая белый урожай. Сила великая. И все же напряженный момент переживает колхоз. Ведь, кроме хлопка, в хозяйстве сотни гектаров сада, зерновых, люцерны, кукурузы, на фермах — 1100 голов крупного рогатого скота.

Председатель колхоза «Коммунизм» Турсунбой Латипов — человек с типичной голодностепской биографией. Прошел всю войну, потом был парторгом в одном из мелких отстающих колхозов, потом, когда вошел в строй канал, привел сюда людей из нескольких таких же мелких колхозов. Объединились, начали с первого камня, с первой борозды. С тех пор и доныне коммунист Латипов бессменно возглавляет колхоз.

— Что скрывать, поначалу пришлось очень туго, всего не перескажешь,— вспоминает он.— Спасибо стране: дала воду, дала технику, помогла семенами, удобрениями, стройматериалами. Оставалось приложить руки да хозяйствовать с умом. А дальше что рассказывать? Сами все видели. Теперь мы здесь — хозяева. А для детей наших Голодная степь — родина.

Да, есть на что посмотреть и чему порадоваться в этом большом слаженном культурном хозяйстве, выросшем, как в сказке, в степи Мирзачуля.

Будут идти годы. Мирзачуль обновится, но никогда мирзачульцы не забудут первопокорителей Голодной степи, мужество и железное упорство их, когда они руками и сердцами своими отвоевывали жизнь у капризной стихии. Не забудется, как мерзли они на холоде, на неустроенной и нелюдимой земле, как увязали в солончаках, как каплю за каплей изгоняли соленую муть грунтовых вод, как ликовали и трепетали за жизнь первых ростков хлопка, будто мать над больным ребенком, как выхаживали саженцы винограда, как мрачнели, когда надвигался суховей, и плакали, когда ударяли неожиданные морозы.

Из всего пережитого, из неустанного и организованного труда выросло все то, чем теперь по праву гордятся голодностепцы.

Земля навечно освоена. Стихия покорена. Худое забывается быстро, оно меркнет перед счастьем. А у счастья нет границ. Так уж устроен человек. Вчерашнее считает пройденным, постоянно стремится вперед, всегда занят идеей совершенствования труда, улучшения жизни общества и своей.

Теперь на очереди дня в Голодной степи новые задачи: ускорение жилищного строительства и создание услуг цивилизации для хлопкоробов. Турсунбой Латипов рассказал, как несколько дней тому назад в колхозе состоялось выездное заседание Бюро ЦК КП Узбекистана по сельскому хозяйству, на котором руководители республики вместе с колхозниками рассматривали вопросы жилищного строительства и устройства быта хлопкоробов. То, что бюро состоялось здесь, не случайно. В колхозе «Коммунизм» многое сделано по благоустройству кишлаков, его опыт может пригодиться другим.

Каким должен быть новый дом узбекского хлопкороба, как лучше разместить во дворе сад, цветники, гараж, подсобные помещения? Как организовать централизованную подачу газа, воды, света в условиях кишлака? Эти и многие другие важные вопросы были рассмотрены на этой встрече, намечены меры распространения опыта голодностепцев по всей республике. Жилищное строительство на селе отныне будет вестись на промышленной основе. Создан специальный стройтрест. Колхознику предлагается покупать в долгосрочный кредит готовые дома.

Вот как обстоят дела в рядовом голодностепском колхозе «Коммунизм».

А сколько героических судеб выковывалось в Голодной степи — на этом интернациональном плацдарме нашей страны! О каждой из них можно слагать сагу.

Еще в 1925 году сюда приехал с семьей молодой кубанский тракторист, а затем экскаваторщик Степан Семенович Ступин. Он посвятил Голодной степи свою жизнь. Механизатор шаг за шагом уходил все дальше и дальше в глубь безводья, а за ним по каналам шла вода. Сорок лет продолжается этот беспримерный поход. Эти каналы углублял и продолжал ныне знаменитый в Голодной степи экскаваторщик казах Джеенбек Ибрашев.

В армию землеустроителей сейчас пришло новое пополнение. Вы их встретите повсюду, где только идет битва за плодородие Голодной степи. И среди них — дружную тройку молодых покорителей целины, бригаду скреперистов — татарина Ахмадьянова Фанзиля, русского Григория Вершагина, киргиза Кокотаева Джаныбека.

Они совсем молодые, но на тех землях, где они работали, уже снят урожай риса, убирают хлопок, растут сады. Сейчас они водят свои могучие скреперы на землях совхоза «Мирзачуль». И снова будет там, на новых землях, хлопок, поднимется новый сад.

Сколько раздумий вызывает этот пробужденный край! Среди беспредельных просторов за Сырдарьей с утра до вечера ходит жаркое солнце. Оно ходит здесь миллионы лет, и миллионы лет его колоссальная энергия, таящая в себе неисчислимые земные блага, оставалась недоступной человеку. Чтобы аккумулировать эту вечную энергию в хлебном зерне, в бутоне хлопка, в гроздьях винограда, нужна вода. А воды не было. Сырдарья текла далеко. Люди мечтали о воде, которая соединила бы их труд с солнцем. Люди сложили печальную легенду о могучем ирригаторе Фархаде. Но даже в легенде он погибал, так и не добившись своей цели. И если светлый призрак Фархада бродит ныне по Голодной степи, то, наверное, он плачет слезами радости и не наглядится на священную воду в каналах.

Узбекский народ привел воду в Мирзачуль в наше время, взявшись за руки с русским братом, с братьями всей советской семьи. И как память о великой мечте прошлого живут по соседству два хлопководческих совхоза: совхоз «Фархад» и второй, названный именем возлюбленной Фархада,— совхоз «Ширин». Так соединились наконец легенда и быль, так встретились наконец разлученные в древности любимый с любимой.

Голодная степь в движении. Прославленный совхоз «Пахта-Арал» когда-то был островком в океане засушливых земель. Он первым пробивал путь к высоким урожаям. За сорок лет «Пахта-Арал» выдал нагора полмиллиона тонн хлопка. Это немало. Но нынче Голодная степь за один год дает столько же хлопка. И это еще далеко не предел. Скорее начало. Кстати, такие же дела развертываются сейчас в другой части

Узбекистана — в Каршинской степи и в пустыне под Бухарой.

Край, где не летает птица,— так называли в народе Голодную степь. А теперь на каналах и озерах поселились морские птицы — чайки. За последние годы здесь высажено восемь миллионов деревьев. И последняя голодностепская новинка — здесь сооружаются надземные железобетонные арыки. Потеря воды сводится к минимуму.

Несведущему человеку, может быть, трудно понять величие того, что сделано в Голодной степи. А если глубоко вдуматься, то это имеет общечеловеческое значение. В мире так много земель, тысячелетиями жаждущих рук человека, в мире так много проблем, связанных с голодом и недоеданием миллионов людей, в мире так много дел, требующих усилий наций и государств! Освоение Голодной степи в Узбекистане показывает, чем стоит заниматься правительствам, если они всерьез желают добра своим народам и если они хотят быть достойными своего времени. В свободных африканских странах и странах Востока это сегодня особенно жгучая проблема. Как мне рассказывали, один приезжий иностранец с Востока, видимо, человек, много переживший и повидавший на своем веку, прибыв в Голодную степь, был настолько потрясен, что, сидя на берегу канала, плескал пригоршнями воду в лицо и плакал, никого не стыдясь.

Голодная степь стала международной школой ирригации и полеводства в засушливых землях. Счету нет, сколько здесь перебывало зарубежных делегаций. На примере Голодной степи можно смело заявить: пусть всегда увеличивается население планеты — земля в состоянии всех прокормить! Пусть смотрит мир на нас, и пусть укрепляется в нем великая вера в будущее.

Снова хочу вернуться к истории. Прошлое и настоящее — это неизбежная параллель, когда речь идет о народных судьбах. И когда мы говорим об историческом прошлом, имеем в виду прежде всего историю масс.

Древняя узбекская культура широко известна своими высокими достижениями. Узбеки были искусными ирригаторами, непревзойденными в Средней Азии земледельцами. Их зодчество создавало великолепие Самарканда и Бухары. Они дали миру выдающегося

ученого средневековья астронома Улугбека и бессмертного Алишера Навои. Позднее появилась целая плеяда демократических поэтов и писателей, и среди них такие, как Мукими и Фуркат. Все это входит в культуру, науку, искусство узбекского народа как его национальная сокровищница.

Но если обратиться к истории народных масс, то вряд ли где жизнь людей была такой тяжелой, беспросветной, как в дореволюционном Туркестане. Он был местом сосредоточения всех социальных зол национального угнетения: гнет царизма, извечная эксплуатация и тирания феодалов, мракобесие фанатичного ислама, темнота и сплошная безграмотность, нищета и эпидемии. Взять хотя бы недавнее прошлое, 20-е годы, когда старое и новое столкнулись лицом к лицу.

На Ташкентской киностудии можно увидеть чудом сохранившиеся кадры тех лет. Это редкий документ. С потрясающей правдивостью и революционной страстностью немое кино успело зафиксировать то, что теперь никому даже не приснится, но о чем мы никогда не должны забывать.

Вот Бухара, некогда блистательная Бухара. Минареты, мечети, медресе, обвалившиеся колонны, оборванный люд на кривых грязных улочках. Бродяги. Нищие и дервиши. Мальчишки-попрошайки. На улицах — голод и страх. Мельтешит на экране прыгающий тир: «26 городов-мертвецов вокруг Бухары». Это 26 громадных кладбищ, где десятки тысяч могил, копия одна другой.

Тут же на экране — другая надпись: «Самый высокий минарет!» Это действительно самый высокий минарет в городе — высоченная водонапорная башня, только что сооруженная горсоветом. Чего бы это ни стоило в те дни, Советская власть должна была построить свое первое сооружение в Бухаре для народа, чтобы избавить его от трагедии безводья и связанных с ним болезней. Кинолента показывает, что в городе был единственный пруд питьевой воды. Водоносы разносили воду в кожаных бурдюках на спине. Они идут по улицам шатаясь и продают жителям нездоровую воду.

Самарканд. Опять минареты, дворцы, обрушившиеся порталы. И та же беднота, та же нищета, пыль. Здесь люди уже вышли на первый коммунистический

субботник по очистке руин. Но старое еще сильно, старое еще не ушло. Муэдзин, забравшись на вышину городского минарета, возвещает о начале дня, дарованного аллахом. И на огромном плаце во дворе мечети падают ниц шеренги белых тюрбанов. Сколько их, молящихся, не сосчитать, тысячи. Падают шеренги ниц, прикасая белые чалмы к земле, падают и разом встают и снова падают, и мы видим ряды покорно согбенных спин. И хочется крикнуть во весь голос: «Да встаньте же наконец! Разогнитесь, посмотрите вокруг. Вы нужны революции, революция бьется, чтобы поднять вас на ноги. Ей нужны ваши руки, ваши глаза и ваше умение трудиться. Опомнитесь, кому вы бьете поклоны, зачем теряете драгоценное время? Отдайте это время революции!» Но они не слышат безмолвного крика вашей души и снова падают ниц...

Кинолента переносит вас в старый Ташкент, Хиву, в Хорезм, Ош. Вот строится первая в Фергане Кемпирабадская плотина. Мелькают тачки, носилки, кирки и лопаты. Плотина, которая и сейчас несет свою службу, строилась вручную. На дамбе красное знамя и плакат с революционным лозунгом, написанным арабскими буквами.

На поля еще не пришел трактор. Землю пашут омочом — деревянной сохой. Скудные поля. Везут по дорогам на ишаках хлопок. Какой-то городок. Кажется, Хорезм. Неуютный, зимний базар. Дехкане продают в рваных мешках свой жалкий хлопок. Им холодно в обтрепанных халатах и тюбетейках. Покупателей нет. И они стоят унылые и безучастные ко всему.

Чтобы народ получил свободу и право жить по-человечески, живет и борется Красная Армия. Кинокадры запечатлели парад в честь первого выпуска красных командиров Туркестана. После парада кавполк уходит на борьбу с басмачеством...

На экране бушуют митинги, жестикулируют ораторы на трибунах. 8 Марта. Женщины бросают паранджу в костры. Суд над баем. Земельно-водная реформа. Дехкане ставят на бумагах отпечатки пальцев вместо подписи. Идут по улицам первые пионеры в галстуках и босиком. Открываются школы. Открываются потребительские кооперативы. Выступает художественная самодеятельность — на помосте танцуют молодые узбечки.

Мы смотрели эти удивительные реликвии Туркестана 20-х годов вместе с кинорежиссером Маликом Каюмовым, известным мастером узбекского документального кино. Когда погас экран, он сказал:

— Надо перемонтировать и переснять все это на новую пленку. Будем демонстрировать во всех кинотеатрах. Вот так, как есть. Без всяких комментариев. Каждый поймет и призадумается. Ведь это подлинные материалы истории.

...Не было в Узбекистане индустриального Алмалыка. Теперь он есть. Не было Чирчика, Ангрена, Ахан-Горы, газопровода Бухара — Урал и т. д. Теперь есть. Этот список можно бесконечно продолжать.

Мы побывали на руднике. Поднимаясь на гору по тропинке, восходящей по сухому, выжженному солнцем склону, я не совсем понимал, куда мы идем через колючки и кустарники. И не заметил, как мы остановились у оврага, на краю крутого обрыва. Перед взором предстал невиданный доселе гигантский рудничный карьер среди гор. Котлован был необозрим, глубок. Экскаваторы и бурильные машины на дне карьера казались игрушечными. Здесь добывается способом открытой разработки медно-молибденовая руда. Ее беспрерывно увозят поезда-электровозы.

Отсюда, с высоты, открывался вид на город. Мы только что ходили по его улицам и восхищались им, молодым и красивым городом, построенным по последнему слову архитектуры. Это был Алмалык. И дальше, за городом, дымили трубы корпусов горнорудных металлургических предприятий. Там ковали мускулы машин.

Я не мог наглядеться на поразивший меня своим величием и обнаженностью рудный карьер. Казалось, сюда, в этот грандиозный карьер, могло уместиться само солнце, пламенеющее на закате. Я спросил у своих спутников, работников комбината:

— А что здесь было раньше?

— Горы. Вот таких две горы было. Калмак-Кыр назывались эти горы. Название осталось. Рудник Калмакир.

— Была гора, и не стало, улетучилась как дым,— задумчиво промолвил один из них.

Сказано было верно. Гора исчезла. Хотя до этого такие горы исчезали только в сказках. И все же в ду-

ше я не совсем был согласен, что гора улетучилась как дым. Нет. Вся ее громада в ином, перевоплощенном виде существовала и служила теперь людям. Она жила теперь в металле, в машинах, в скульптуре, в ракетах. Она, эта гора, не исчезла бесследно, не умерла. Вот так же, подумалось мне, и силы истории, затраченные на революцию. Они живут во всем, что есть и что достигнуто народом, что будет достигнуто в будущем.

И когда я смотрю на современный Узбекистан, на мою Киргизию, на Таджикистан и Туркмению, хочется тысячу раз славить Октябрь, партию коммунистов, Ленина. За эти годы во всех сферах жизни Средней Азии произошли коренные перемены. Самые волнующие перемены произошли в судьбах людей и в труде — это поистине революционные преобразования.

Фергана издавна славится своим хлопком. Само слово «Фергана» вызывает в воображении белый хлопок. В шутку и всерьез говорят, что ферганские дети после первого слова «мама» произносят «пахта» — хлопок. Но только дехкане знают, чего стоит каждый грамм хлопка. Хлопок был детищем кетменя, над хлопком дехканин склонялся в три погибели от весны до весны. При сборе урожая весь хлопок проходил через пальцы человеческих рук. И вся прежняя Фергана держалась на изнурительном кетменном труде. А долги дехкан-хлопкоробов дореволюционной Ферганы составляли 20 миллионов рублей.

Иным стал труд хлопкороба в наши дни. Например, на полях крупнейшего хлопкосовхоза «Савай», неподалеку от Андижана, идет уборка урожая. Здесь 5500 гектаров хлопковых плантаций. Чтобы убрать урожай с таких площадей, потребовалась бы не одна тысяча сборщиков. А здесь — обойдите все поля — не увидите ни одного сборщика. Зато 204 хлопкоуборочные машины наполняют гулом просторы плантаций. Урожай — 34 центнера с гектара. Хлопок вывозят 108 тракторных сцепов и 70 автомашин. В прошлом году сбор был закончен за 20 дней, в нынешнем намечают управиться за 18 дней.

Правда, некоторые соседние хозяйства, все еще не расстающиеся с ручным сбором хлопка, с опасением поглядывали на совхоз «Савай», который начинал уборку ровно на месяц позже обычного. Действитель-

но, риск был огромный. Шуточное ли дело: 30 уборочных дней. Были даже такие люди, которые из добрых побуждений приезжали по ночам к Сарымсакову и уговаривали молодого директора совхоза «Савай» опомниться. Но теперь и они поняли, что машинный сбор хлопка, кроме всего прочего, позволяет допускать большее вызревание хлопчатника и увеличивать урожай. И теперь хлопкоуборочной техники в области просто не хватает, ее моментально расхватывают при поступлении в «Сельхозтехнику».

Отец директора совхоза молодого агронома Сарымсакова был рабочим хлопкоочистительного завода, всю жизнь носил на спине тюки с хлопком. А сын — умелый организатор совхозного производства. Одним из первых в округе «Савай» достиг полной механизации на возделывании хлопка.

Такова судьба и известного механизатора Ферганской долины Манапа Джалилова. Он тоже сын рабочего хлопкоочистительного завода, проработавшего на нем грузчиком 25 лет. Джалилов собирает машиной за сезон по 200—250 тонн хлопка — столько же, сколько 70—80 сборщиков. Он заканчивает заочно третий курс сельхозинститута. Сейчас Джалилов со своей знаменитой бригадой механизаторов осваивает новые земли в Центральной Фергане. Другой ферганский механизатор — Мамаджан Дадажанов собирает за сезон на четырехрядной машине «Пахтакор» по 310—350 тонн хлопка — заменяет труд более ста сборщиков.

Но, пожалуй, самое поразительное в новой жизни узбекских дехкан — это роль женщины-труженицы.

Издавна проблема эмансипации женщины, превращенная буржуазными деятелями в красивые и ни к чему не обязывающие декларации, продолжает оставаться проблемой там, где об этом долго говорят, там, где нет для этого социальной почвы. Политика Коммунистической партии и практика нашего строительства новой жизни показали всему миру на примере Советского Востока, что значит раскрепощение женщины, какова ее благотворная роль в обществе.

Всем известные сестры Турсуной и Инобат Ахуновы, лучшие бригадиры и механизаторы Муттихон Джумабаева, Озода Маматова, Махбуба Насриддинова, многие, многие узбекские женщины-передовики — олицетворение новой силы узбекской нации, образец но-

вого типа женщины-труженицы Советского Востока. Это — мать-труженица, государственный деятель, новатор.

Их теперь встретите всюду. Их сотни и тысячи. Это их машины светятся по ночам звездами. Это они запускают свою белую хлопковую ракету к Луне.

Мне много приходится ездить, встречаться и разговаривать с людьми. Часто я ловлю себя на мысли, что народ вкладывает в слово «коммунист» какой-то внутренний подтекст. Идет ли речь о трактористе, о звеньевом, бригадире или агрономе колхоза, если вам скажут: «Он коммунист», можете подразумевать, что речь идет не столько о его партийной принадлежности, сколько о его делах и отношении к людям.

И, как правило, узнав этого человека поближе, вы испытываете радость и гордость за человека, носящего звание коммуниста. О некоторых из них я пытался рассказать в этом очерке. И не могу удержаться, чтобы не сказать здесь несколько слов об одном рядовом коммунисте, старейшем хлопкоробе Ферганской долины Джурабай-Ака Гаипове. Ему 70 лет. Всю жизнь человек проработал на хлопке. Сейчас он занимается садоводством, сын его — председатель колхоза. Казалось бы, можно обрести покой и ничем особенно не тревожить свою старость. Но вот случилась гроза, прошел сильный ливень с градом. И старик, с тревогой следивший за полосой града над полями, сразу отправился в соседний совхоз «Савай» к Сарымсакову. Там, по его предположению, град больше всего причинил вреда, и Джурабай-Ака не успокоился до тех пор, пока не объездил все поля и участки. И только потом он сказал с облегчением, что не надо пересевать хлопок вторично, можно выхаживать тот, который есть, и добиваться такого же урожая, как в прошлом году.

О таких людях говорят просто и скромно: он коммунист, он партийный человек.

* * *

В Ташкентском аэропорту непрерывно взлетают и приземляются самолеты. И почти в каждом из них есть путники далеких стран, влекомые сюда узами дружбы, делами, официальными визитами и просто любопытством. Они хотят узнать и понять жизнь Советского Востока. Из Ташкента они разъезжаются в разные сторо-

ны узбекской земли, а затем вновь появляются в аэропорту. А на смену им прибывают другие. И снова люди далеких стран отправляются в Фергану, в Голодную степь, в Алмалык, Самарканд, Бухару, в Карши...

Когда я думаю об этом факте, ставшем уже повседневной приметой нашей современной жизни, я, как среднеазиатец, горжусь и радуюсь, что Узбекистан превратился в край мирового «паломничества». Но вместе с этим меня иногда охватывает чувство беспокойства. Все ли они правильно понимают? И мне хотелось быть гидом для каждого из них. Я без устали пошел бы мерить вместе с ними узбекскую землю из края в край, раскрывая страницы ее свершений, как свою рукопись, написанную кровью сердца и вдохновением души.

Я это говорю потому, что все, что есть в Узбекистане, все, чем он славен и богат, с его многовековым прошлым и великим настоящим, все это — наше, родное, поднятое партией из народных недр, все это неразрывная часть судьбы в истории всех среднеазиатских народов. Узбекистан — рукопись, автором которой являются Коммунистическая партия, Ленин, Советская власть и все мы — дети Средней Азии, народы-братья многонациональной Страны Советов. И потому каждый штрих современного Узбекистана — это штрих нашей действительности, показатель всего Советского Востока.

1964 г.

МНОГОЕ ЗАВИСИТ ОТ ВАС...

«Дорогие девушки и юноши, получив от вас сразу 22 письма в одном пакете, я был немало обрадован, хотя, как вы сами догадываетесь, испытал при этом некоторое чувство озабоченности. Ответить на все письма не так просто. Пишу вам одно на всех.

Мне, конечно, приятно, что повесть «Верблюжий глаз» вошла в учебник немецкой школы, приятно, что в какой-то степени она поможет вам познакомиться с жизнью киргизского народа, приятно услышать от вас добрые отзывы. Но больше всего дороги мне ваши высказывания о себе, о жизни, о том, как вы пишете в письмах, «...что мы думаем и что мы хотим».

Действительно, «...что мы думаем и что мы хотим»? С этим вечным вопросом входит в жизнь каждое новое поколение.

Насколько я понял, каждый из вас находит нечто особо интересное для себя в окружающей его действительности и готов посвятить свои силы и способности избранному поприщу.

Двадцать две личности, двадцать два характера, двадцать два самостоятельных мнения по поводу того, что наиболее важно проявить для блага общества, что составляет счастье человека, в чем заключается, например, понятие красивой жизни (красиво одеваться, разводить цветы и сады, любить природу, заниматься спортом — следить за фигурой и т. д.), не позволят мне поддержать одно, не согласиться с другим. Главное, что все эти устремления естественны. Очевидно, каждый из вас по-своему прав. В сумме эти разности будут выражать многосторонность современных потребностей человека.

Но есть высказывания в письмах, которые меня глубоко взволновали и к которым я хочу целиком присоединиться.

Вы пишете: «Мы теперь в том возрасте, в каком примерно были Вы, когда гитлеровская Германия напала на вашу Советскую Родину». Да, правильно, тогда я учился в школе. Вам сейчас, пожалуй, трудно будет вообразить себе, какой смертоносной была эта война, каких усилий и жертв стоил советскому народу разгром фашистского строя в Германии. Наша ненависть к врагу была столь велика, что по своей ребячьей наивности мы всем классом отказались тогда изучать немецкий язык. Мог ли я думать, что спустя много лет получу от немецкой молодежи письмо, в котором будут такие слова: «Мы благодарны Вашей стране за свободу и мир...»

И для вас, и для нас — это чрезвычайно важно. В этом теперь смысл исхода той величайшей в судьбах человечества борьбы, принесшей миру мир, свободу и счастье народам. Наши отцы и братья победили, сделали для этого все, что зависело от них. С тех пор прошла четверть века, в жизнь вступают новые поколения. Наступает ваше время, когда многое будет зависеть уже от вашего образа мыслей и образа действий, так

же как от образа мыслей и образа действий ваших сверстников в других странах.

Читая ваши письма, я как бы видел воочию новый облик Германии. Германии социалистической. Читая ваши письма, я ловил себя на мысли, что нет такой силы, которая могла мы разъять узы нашей дружбы, узы социалистического союза. И я думаю о том, как трудно дается народам путь к миру и согласию, какую неоплатную цену принесли мы ради этого (Эдельтруад пишет в своем письме: «Когда мой отец упал с крыши, я поняла, что значит отец, поняла тех, кто лишился отца...» А ведь у нас миллионы раз сжимались сердца от боли утрат и потерь...). И потому долг каждого честного человека — беречь, как собственную жизнь, наши завоевания на пути мира, нашу дружбу и верность идеям социализма.

Мне понятны ваши тревоги по поводу многолетних, кровавых событий во Вьетнаме, чинимых американской военщиной. Ваши души чисты, и вы обостренно чувствуете всю преступность, бесчеловечность истребления мирных жителей, героически отстаивающих свободу своей родины. Красными чернилами на русском языке вы вывели надпись: «Положить конец войне во Вьетнаме!» Это наш общий призыв к совести и разуму человечества, это наше требование к американским агрессорам.

Манфред пишет, что в 1958 году он вместе с отцом побывал во Вьетнаме, где отец его строил суда. Сейчас там все разбомблено, верфи разрушены. «Долго ли придется теперь восстанавливать верфи, ремонтировать суда?» — вопрошает он в письме.

Если бы только верфи и суда! Злодеяния американских войск во Вьетнаме не имеют ничего равного себе в истории наших дней, они стоят рядом с проклятыми памятью фашистскими античеловеческими преступлениями. Всякому злу в мире рано или поздно приходит конец. Придет конец и американской войне во Вьетнаме. Порукой тому неустрашимая воля вьетнамского народа, неизбывная солидарность и помощь Вьетнаму всеми странами и людьми, жаждущими справедливости и спокойствия на Земле.

Друзья мои, мы живем в сложное время напряженной борьбы сил разрушения и созидания нового. Победе передовых сил способствуют, в частности, кроме

всего прочего, и те благородные порывы души, которыми отмечены ваши письма. Крепите их в себе.

Вот такие мысли навеяли ваши письма, и я почувствовал потребность высказать их вам в открытом письме.

До свидания. Что касается моего приезда к вам, то при первом же случае, когда я окажусь в ГДР, я попытаюсь приехать к вам в школу. Большой привет вашему преподавателю литературы.

1968 г.

ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА

На рассвете, среди полной тишины, в раскрытые окна нашего дома со стороны аэропорта доносится приглушенный рев самолетных двигателей. Едва взойдет солнце, десятки могучих лайнеров устремятся в глубину неба, возьмут курс на все четыре стороны света. А навстречу им поднимутся самолеты, которые повезут во Фрунзе людей, может быть, никогда еще не бывавших в столице Киргизии. Что же увидят они, прибыв в гости на древнюю землю киргизского народа, приумножившего старые традиции культуры и быта передовыми, создавшего социалистический образ жизни, поймут ли сразу по облику города, что прибыли именно в Киргизию?

Я говорю не о примелькавшемся повсюду «Добро пожаловать» с адекватной надписью на местном языке и даже не о внешних признаках пейзажа. Все это есть. Но нет чего-то единственного, что было бы присуще нашему городу. Если хотите, нет своих «Золотых ворот», под сводами которых столетиями гнездится слава неповторимости Владимира.

Вот написал о неповторимости, и сразу вспомнилось: недавно в одной газете был напечатан фотоснимок — новая улица во Владимире. Сначала показалось, что репортер ошибся, перепутал города. Ведь такая улица есть и в Новосибирске. Но потом понял: репортер не виноват, и зрительная память меня не подводит — все дело в том, что иногда безликость современной городской застройки сводит на нет усилия нашей памяти, неспособной запечатлеть архитектурные микроразличия близнецов-микрорайонов, отстоящих друг от друга на тысячу километров.

Было время, когда к депутату приходили люди главным образом с единственным вопросом: как получить жилье? В те годы отдельные квартиры с удобствами были верхом желания человека. Жилищный голод заставил нас строить сразу огромное количество зданий, и, пожалуй, нам было не до стиля. Но сейчас просьб на квартиры стало меньше. В основном разговор идет об улучшении условий, в первую очередь о расширении жилой площади. Стало быть, в неимоверном напряжении страна сумела в значительной степени решить проблему добротной крыши над головой трудового человека. И пора уже думать не только об утилитарных удобствах в квартирах, не только о количестве квартир, но и о красоте, о городе в целом, о его соразмерности, о его архитектурной культуре. Нужно сочетать удобства с красотой, с выразительностью зданий. Иначе мы очень многое упустим.

Я люблю свою столицу, бывший Пишпек — ныне Фрунзе, город у хребта вечноснежного Ала-Тоо. И когда ко мне приезжают гости, редко удержусь от традиционного вопроса: нравится ли им наш Фрунзе? Должен признаться, ответы чаще всего разочаровывают. Гости мило улыбаются и с поспешностью заявляют: чудесный город, зеленый, как сад. Все правильно: когда о городе сказать нечего, говорят, что он зеленый, или тихий, или что здесь живописные окрестности.

Конечно, цветники и парки — тоже лицо города, как говорится, слава богу, что щедрая природа принаряжает наши улицы. Но ведь, украшая, она в то же время скрывает неприглядность многих зданий, построенных без малейшего намека на вкус.

Мы живем в такое время, когда и старые и новые города претерпевают значительные изменения: меняется и Фрунзе. Но застраивается он серенько, стыдливо прикрываясь зеленой листвой. Посмотришь на новое здание — и кажется, что видел его не то в Ташкенте, не то во Владивостоке. Интересно ли, например, туристу приехать в наш город? Ну, на один-два дня заедет, мельком посмотрит. И на этом Фрунзе для него кончается — смотреть больше нечего.

Большинство наших новых городов не имеет романтического налета давности. Они выросли позднее, в бурные годы Советской власти. Дело и не в возрасте,

а в том, что мы порой не заботимся о неповторимости городского стиля, не стремимся сделать улицу заметной, уютной, забываем, что обжитость города — это не только печать времени, но и усилия современников, делающих свой город единственно прекрасным, ни на что не похожим. Есть в Средней Азии города-реликвии: Бухара, Самарканд, Хива. Куда бы ни поехал, везде в мире их знают. Спрашивается почему? Что они, по количеству жителей больше других городов или там расположены известные всему миру предприятия? Да нет же, знают их из-за архитектурных памятников. А ведь древняя архитектура когда-то, давным-давно, вся была древней. Просто культура зодчества наших предков в этих городах была настолько высокой, настолько своеобразной, отличной от всего известного, что и теперь, пробившись через толщу веков, она удивляет нас так же, как удивляла современников. Но и новые города тоже могут иметь собственное лицо. Примером тому — самые молодые в Средней Азии столицы Душанбе и Ашхабад. Они застраивались в тридцатых годах. Ашхабад даже дважды — после землетрясения. И, однако, именно эти два города при всех недостатках современного строительства выделяются национальной колоритностью, только им присущим своеобразием городских улиц и площадей.

Я далек от мысли, что за счет каких-то украшений надо удорожать строительство. Убежден: из того же материала, который мы имеем, за ту же стоимость можно придумать что-то интересное для оформления зданий. Общество, достигшее таких вершин, такого социального и экономического уровня, должно строить прекрасные города.

Особое слово — о столицах союзных республик. Они должны выражать нечто единственное и универсальное. Эти города должны быть не только административными центрами и средоточием экономических и производственных мощностей, но и средоточием культурных ценностей, архитектурной книгой прошлого и нового в истории народа. Начиная от названия улиц и площадей и кончая внешним оформлением, столица должна выражать национальную специфику края и интернациональные узы братства всех советских народов. Поиски гармонического сочетания национального и интернационального в облике города — благодарное поле деятельности архитекторов, художников,

скульпторов, которые должны оставить грядущим поколениям красивые, незабываемые города.

Мне, например, по душе очарование лучшей сохранившейся части старого Баку. Видимо, когда-то здесь была грязная окраина, были трущобы. За годы Советской власти ничего этого не осталось. Зато сохранилась прелесть старого города. Баку ни с чем не спутаешь. И даже ту его часть, которая построена в годы первых пятилеток. Чувствуешь, что приехал в столицу Советского Азербайджана и в то же время — в восточный город. Я затрудняюсь даже сказать, каким образом достигнута эта неповторимость. Наверное, в первую очередь конфигурацией зданий, формой дверных и оконных проемов. Потом, кажется, большую роль играет камень — резные орнаменты, барельефы. А где-то неподалеку строится новейшая часть города, более просторная, светлая. Это очень хорошо. Но, мне кажется, Баку утрачивает здесь свой колорит. Безусловно, новая часть города должна быть удобнее для жительства человека. Но зачем делать город похожим на сотню других? Нельзя ли избежать стереотипа и поискать возможность сохранить очарование единственного в своем роде города — Баку? Ведь получается же это у градостроителей Тбилиси. Тбилиси всегда Тбилиси, и другого такого города не сыщешь. Он действительно как бы имеет свои «Золотые ворота».

Когда много ездишь по свету, невольно сопоставляешь лица городов. Я бывал во многих западноевропейских странах и должен заметить, что даже без сооружения выдающихся в архитектурном смысле вещей, только за счет разумного, я бы сказал, художественного использования естественного рельефа — лесов, скал, берегов рек и водоемов тамошние градостроители зачастую добиваются завидной выразительности городского вида. И как иногда грустно наблюдать за работой бульдозера в моем родном городе, где почему-то считается обязательным выровнять любой холм или пригорок и на ровном плацу выстроить здания, как на казенном смотру — они потом выглядят застегнутыми на все пуговицы.

Не очень давно в нашей республиканской газете развернулась дискуссия на тему: где предпочтительнее строить новые здания — на окраинах или в центре. Я знаю, что эта проблема волнует не только жителей

Фрунзе. Но мне кажется, что главное все-таки — не где строить, а как строить. Плохое здание и на окраине, и в центре смотрится убого. Да еще если к тому же вокруг здания захламленная территория, если по вечерам улица освещена подслеповатыми фонарями.

Вечерний город заслуживает особого разговора. Умело используя освещение, можно создать сказочный облик вечернего города. В последнее время часто раздаются призывы усилить рекламу в нашей стране, имея в виду использование неоновых вывесок, витражей и других световых средств. Я сейчас умышленно опускаю необходимость рекламирования товаров и подчеркиваю только один эффект — реклама, неон, витрины придают ночному городу праздничность. Я уже не говорю, что улицы без витрин — это слепые улицы. Надо ли убеждать, что существует искусство освещения городов, и нам этому искусству нужно учиться.

Кстати, освещение — всего лишь одна из возможностей декоративного оформления, а существует множество других. Печально вспоминать, но во Фрунзе, например, действует один фонтан. Почему-то фонтаны и площади служат у нас чуть ли не официальными центрами городов. А площадь заполняется народом раз-два в году — на праздники. Безусловно, каждому городу нужна просторная площадь, куда бы мог выплеснуться яркий поток многотысячной демонстрации. Но, наверное, наряду с такой площадью нужны и другие — маленькие уютные гостиные под открытым небом.

Совсем недавно, бродя по Латинскому кварталу Парижа, я вышел на крошечную площадь, зажатую со всех сторон старыми домами. Площадь та была не больше обычного двора. Там стоят четыре причудливо изогнутые дерева, под ними — четыре скамейки. Лежат какие-то камни. И низенькая чугунная ограда. Я не знаю, как называется эта махонькая площадь, но знаю, что ее создал художник, поэт-градостроитель. Он давно догадался, что площадь — это естественный центр на стыке трех узких улиц, завершение архитектурного комплекса. Так почему же мы, обладая огромными возможностями, имея образованных архитекторов, все еще никак не можем добиться, чтобы в наших городах было множество подобных уголков? Почему человек после трудового дня должен шагать в центр города к единственному фонтану, когда он хочет успо-

коить нервы журчанием струй, хочет побыть наедине с собой?

Несколько лет назад весь мир с горечью узнал, что в Дании какие-то варвары отпилили голову знаменитой Русалке. Казалось бы, какое дело миру, обремененному тягостью множества забот, до героини андерсеновской сказки, отлитой в бронзе? Но в том-то и дело: судьба истинных произведений искусства, независимо от национальной принадлежности, волнует все человечество. Как это прекрасно, когда на улице, в парке или на бульваре открыт тысячам взоров памятник-шедевр. Разве можно представить Москву без бронзовых фигур Пушкина и Гоголя, Маяковского и Максима Горького? А Ленинград без Медного всадника? Никогда не забуду памятника 26 комиссарам в Баку. Он сделан для людей, для потомков, а не для отчетности по выполнению плана монументальной пропаганды. Обнаженные тела комиссаров выражают борьбу, непреклонность, волю даже в последнее мгновение жизни. Смерть разъединяет людей, но только не этих — в сознании потомков они остаются живыми в веках, потому что погибли за правое дело.

Среди виденных мною памятников я не знаю более сильного, который был бы установлен в столицах союзных республик. И опять я вынужден вспомнить свой родной город. Боюсь, если какая-нибудь гипсовая фигура исчезнет с его улиц, то длительное время об этом никто не догадается, кроме ближайшего постового. За исключением маловыразительных скульптур заслуженных людей, у нас почти нет ни одного памятника-символа, памятника — гордости за свой народ. Даже великий поэт Токтогул пока еще не дождался бронзы или гранита.

А какие богатые возможности для росписи города таят в себе мотивы фольклора, национального эпоса! Мне представляется скульптура эпического героя Манаса, с именем которого связана прошлая культура и история киргизского народа. Я вижу торцы зданий, расписанные фресками на исторические темы. А может быть, проспект, на котором стоят эти здания, тоже носит имя легендарного Манаса и заканчивается он площадью Ай-Чурек, названной так в честь любимой в народе луноликой красавицы из эпоса «Манас». Разве плохо звучало бы, скажем: площадь Ай-Чурек или гостиница «Паризат»?

А разве не приятно было бы писать письма в какой-нибудь российский город, выводя на конверте такой адрес: улица Ильи Муромца? Иногда едешь по городу, читаешь названия улиц и диву даешься: кто их так обозвал? Новая улица, а называется Кривоовражная, а рядом тупик Льва Толстого. Думаешь, ладно, это парадоксы. Но чем объяснишь множество невыразительных стандартизированных названий? Мне рассказывали, что в старинном сибирском городе Томске переименовали улицу Равенства. С карты города стерли революционное название. Нужно крайне осторожно подходить к изменению исторически сложившихся названий, связанных с местной историей, географией и культурой.

По-моему, при исполкоме каждого городского Совета необходимо создать небольшой общественный орган, который составлял бы рекомендации для наименования площадей, кинотеатров, улиц, гостиниц, ресторанов, крупных магазинов. Ведь название — это тоже облик города, это тоже эстетика и культура времени. Когда в Москве появились Черемушки, это звучало весело и необычно. Но когда Черемушки расплодились по всем городам, стало невыразимо скучно. Может быть, некоторым товарищам это нравится — дескать, и у нас, как в Москве, тоже свои Черемушки. Но это не проявление любви к столице Родины, это обыкновенная леность ума. Если бы общественный совет действовал при нашем горисполкоме, то во Фрунзе, столице Киргизии, конечно же, не было бы расположенных в пяти минутах ходьбы друг от друга ресторанов «Киргизия» и «Кыргызстан». Придумали бы что-нибудь поинтереснее. А ведь примеры можно привести еще. На одной из улиц города имя Ала-Тоо носят гостиница и кинотеатр. Этим же именем названы артель и пригородный совхоз.

Город — это не просто скопище улиц и домов, не просто пересечение магистралей и тротуаров. Город — это прежде всего долговременное обиталище многих поколений горожан.

«Золотые ворота» города — понятие широкое и разностороннее. Это все, что в городе талантливого, уникального, неповторимого, все, что относится к истории и современности, все, что свидетельствует о творческой жизни советских людей.

1969 г.

ВОСХОЖДЕНИЕ

В октябре 1917 года мир сорвался со старой оси, на которой он со скрежетом вращался многие сотни лет. Россия стала точкой опоры этого поворота истории. Среди невиданных потрясений, разрушения устоев старого миропорядка, среди огня революции, среди разрухи и голода, оглушенные орудийными залпами и яростным порывом атакующего класса, не все постигли сразу глубину обновления человеческого бытия, не все охватили разумом масштабы новой жизни на земле, не все заметили в урагане событий рождение новой личности, имя которой — советский человек.

На это потребовалось время, для этого потребовались совершенно новые методы познания, новые принципы измерения, новая мысль и новое слово. Такое слово в художественном отображении изменившегося мира сказала зародившаяся на заре революции наша многонациональная советская литература, главной задачей которой было и есть формирование духовного облика человека-труженика, человека — борца за новое общество.

В корне преобразовать жизнь, как показала история,— задача не из легких. Советский народ на это положил немало труда, проявив при этом невиданную духовную и нравственную энергию. И нам, художникам его, выпала задача особая, необычная, какую не ставили перед собой даже великие предшественники наши в литературе и искусстве. Мы должны были, сохранив все лучшее из культурного достояния прошлого, создать новые ценности на земле, залитой потом и кровью трудового люда. Мы должны были силой слова, силой сурового, правдивого реализма пробудить подлинную сущность самого великого из всех великих — человека-труженика, открыв и восславив в нем героя новой истории, сделав его личность мерилом всех жизненных отношений, мерилом борьбы за народное счастье.

Вряд ли кто станет теперь утверждать, что советской литературе не удалось выполнить эту труднейшую миссию, значительно обогатившую эстетическую культуру и художественную мысль двадцатого века.

Действительно, что мы сумели сделать за пятьдесят лет нашего многонационального государства —

СССР — принципиально нового для истории человеческого общества! И какой вклад внесли в это мы, художники!

Мы прошли значительную историческую дистанцию на пути художественного познания действительности. Но на этом пути мы создали беспрецедентную в истории человечества единую многоязыковую и многонациональную советскую художественную культуру, вобравшую в себя все лучшие достижения больших и малых народов и всей мировой культуры. Советская многонациональная культура — явление большое и сложное. Сложность заключается в том, что в недалеком прошлом многочисленные народы, населяющие нашу огромную страну, значительно отстояли друг от друга по степени цивилизации, по культурному и социальному опыту, придерживались самых различных обычаев и традиций, исповедовали разные религии, говорили на непонятных друг другу языках... И лишь в одном были равными перед лицом времени — им предстояла общая судьба в ходе мировой истории, их сделал равными Великий Октябрь.

На пути художественного познания современной действительности мы все, большие и малые народы, внесли свой посильный вклад. Путь этот не был простым и легким восхождением, если учесть, что для многих национальностей он пролегал через трудные переходы от устно-фольклорных культур, от патриархально-эпических, где герой еще не сложился как личность,— к социально-психологическому исследованию человека наших дней. Все это теперь позади. Ведь не секрет — есть люди, поразительно знающие чуть ли не все архаизмы, поговорки, прибаутки. Так и сыпали они ими налево и направо. К тому же они дотошно передают все известные и малоизвестные этнографические детали быта и обычаев. Однако, когда они пишут, когда ставят что-либо на сцене, в кино, то становится грустно — за всем этим погибает живая душа, мысль образа, то, ради чего существует искусство. Есть атрибуты и нет волнующих страстей, есть условности и нет общечеловеческого, интернационалистического начала. Не в этом ли заключается, что означает национальную ограниченность в искусстве, то, что порой превращается в вериги, мешая нашему продвижению вперед, что, наконец, затрудняет выход сложившихся

национальных ценностей за пределы этой культуры, ибо очень легко попасть в кабалу к собственным нормативам.

Придавая очень большое значение национальному духу искусства, мы не считаем, что национальное своеобразие играет какую-то наиглавнейшую роль и может быть некой самоцелью в творчестве художника. Решающее значение для всех национальных литератур имеет развитие их социалистического содержания. Это есть вполне определенные, общие для всех идейно-художественные принципы партийности, народности литературы и искусства, независимо от национальной принадлежности.

И если мы говорим, что партийность и народность — краеугольные камни литературы и искусства, то это не просто фраза, не просто более или менее удачная формулировка. Это закономерность нашей общественной мысли, открытая Лениным и подтвержденная практикой революции. Она не могла бы возникнуть в век феодализма или, скажем, капитализма: для этого просто не было необходимых общественных предпосылок. Эта закономерность, органично связанная с самыми коренными чертами нашего строя, существует независимо от того, отрицает ли ее кто-либо или утверждает. Но художник, если он по-настоящему задумывается над глубинными проблемами нашей эпохи, не может не отражать в своем творчестве этой закономерности нашей жизни.

Опыт литературы и искусства убедительно свидетельствует, что лучшие национальные произведения искусства, как правило, несут в себе большие общечеловеческие идеалы, проблемы, осмысленные с идейных позиций советского человека, с точки зрения наших взглядов на социальную борьбу, на историю и современность, на личность и общество.

Все это с полным основанием относится и к киргизской литературе, плодотворно развивающейся в лоне новой национальной культуры, в духовном единстве и взаимодействии со всей советской культурой.

Киргизская профессиональная литература молода, ей нет еще и пятидесяти. Но, несмотря на такое короткое время, она дала целую плеяду самобытных и талантливых прозаиков, поэтов, драматургов, критиков и литературоведов. Кто из нас не знает таких из-

вестных мастеров слова, как Алыкул Осмонов, Джоомарт Боконбаев, Тугельбай Сыдыкбеков, Касымалы Баялинов, Аалы Токомбаев, Телиев, Касымалы Джантошев, Токтоболот Абдумомунов! Их произведения читают сегодня не только в Киргизии, но и во многих уголках страны, они вошли в сокровищницу советской литературы.

Это писатели старшего поколения. На смену им пришла способная молодежь, среди которой мне хочется прежде всего назвать сегодня Омора Султанова, Турара Кожомбердиева, Майрамкан Абылкасымову.

В истории поэзии Востока мы, пожалуй, не отыщем знаменитых женщин-поэтов. Есть Рудаки, есть Навои, наконец, есть Фуркат, Токтогул. Женщин нет. А они наверняка были, но не могли пойти в мир будущих поколений...

С легкой руки узбекской поэтессы Зульфии в литературу Советского Востока вошла женщина-художник. Целая плеяда молодых и талантливых поэтесс в полный голос заявила о себе. Среди них я отмечаю Майрамкан Абылкасымову. Оставаясь глубоко национальной, она тем не менее выходит за рамки традиционных поэтических форм. Она говорит о своем поколении, о времени и о себе. Говорит взволнованно и доверительно. Поэтесса умеет найти броское слово, свежий эпитет, удачное сравнение и афоризм.

Майрамкан связала свою судьбу с литературой десять лет тому назад. Сегодня ее стихи переведены не только на русский, но и украинский, казахский, монгольский, французский языки. За книжку «Веру в сердце храню», поэмы «Отчизна это знает» и «Памятник не молчит» ей присуждена премия ВЛКСМ.

Свежестью поэтической мысли и глубоким философским раздумьем отличаются произведения Омора Султанова и Турара Кожомбердиева, уровень мастерства которых растет из года в год.

Магистральная тема нашей литературы, как и всех братских литератур,— тема борьбы и созидания, тема, идущая от Максима Горького, от первых дооктябрьских произведений писателей, посвятивших себя служению революции.

Мы и по сей день остаемся верны этой главной теме нашего творчества...

Но сегодня, как никогда, важно не только о чем писать, но и как писать, какими путями, какими средствами выражать революционное содержание социалистического бытия. Сегодня мало добросовестно описать жизнь нашего соотечественника, будь то заводской новатор или передовой чабан, механизатор или хлопкороб. Важно, какие вопросы затронуты с появлением этих героев на страницах книг и насколько они актуальны, насколько волнуют они советских людей, не праздные ли это вопросы.

Для того чтобы быть услышанным читателем, чтобы сознавать себя активно действующим участником строительства нового общества, писатель должен поднимать в своих произведениях проблемы, связанные с личностью, обществом, правдиво отражающие реальные проблемы поколения своего времени.

Мне хотелось бы написать такую книгу, за героя которой не пришлось бы краснеть перед читателем и друзьями, чтобы можно было прямо глядеть в глаза.

А сегодняшний читатель очень сложный и требовательный. Не сравнить с тем, что было, скажем, тридцать или даже двадцать лет назад. Прежде наш читатель хотел, чтобы литература отразила то, что есть в окружающей действительности, чтобы она живописала быт, труд, природу — словом, реальную натуру.

Сегодняшним людям этого мало. Они требуют, чтобы писатель, пусть на местном материале, ставил глобальные общечеловеческие проблемы, чтобы он помог им осмыслить мир и самих себя. Этим, главным образом, и объясняется большой интерес людей к произведениям на современную тему. И особенно у нас, в нашей стране, открывшей перед человеком мир новой жизни.

На первый взгляд ничего трудного в этом нет. Вот она, жизнь, вокруг тебя. Бери и пиши, изображай на экране, на сцене, в музыке, в живописи. Но это лишь кажущаяся легкость. Не отсюда ли вытекают причины многих неудач, многих неинтересных, серых произведений о современности! Я говорю о книгах, фильмах, живописи, не задевающих за душу, приземленных, увязших в мелочах быта, нарочито упрощающих или усложняющих ясные вещи. Бескрылость, бездумность — это, пожалуй, главные недостатки многих произведений о современности. Мне представляется, что

причины этого явления кроются в нас самих. Ибо нам кажется, что мы хорошо знаем современную жизнь, нам кажется, что мы совершаем открытие характера современного человека, нам кажется, что мы обнажаем конфликты современных людей. На самом деле мы идем нередко от надуманной схемы, от искусственного построения ситуации, от искусственной фабулы и сюжета.

Современная жизнь требует такого же, если не более углубленного, изучения, познания, что и историческое прошлое.

История есть опыт жизни, выстраданный многими поколениями. Время отбирает ценность, оставляя наиболее существенные, наиболее значительные факты, события, судьбы. Все преходящее уходит. Подтверждение этому — классическое наследие литературы и искусства. То, что дошло до наших дней, как правило, несет в себе большую мысль, большие страсти, большие проблемы своего времени, отраженные в образах сильных и сложных. И если это даже комедия, то вся она начинена взрывчатой силой иронии, юмора, сарказма. И комедии эти громко хохочут над людскими причудами и пороками вот уже многие века и еще долго будут смеяться. Потому что в основе классических вещей лежат коренные свойства человеческих натур.

Мы живем, разумеется, в другую эпоху, в более сложном времени, но в искусстве есть общие закономерности, распространяющиеся на все времена. Это мастерство художника, это его умение выхватить наиболее значительные черты своего времени, наиболее крупные личности и яркие судьбы.

Все это я говорю для того, чтобы еще раз привлечь внимание к нашей генеральной задаче в литературе и искусстве — ответственному отношению к теме современности. Тема наших дней, образ людей наших дней, их сложный мир и невиданные масштабы их дел лежат на нашей совести. За тему современности должны браться все способные, наиболее талантливые художники. Это должно стать нашим творческим кредо, это должно стать нашим гражданским принципом в работе.

1972 г.

ЗАМЕТКИ О СЕБЕ



исать собственную биографию для чтения других, для публикации — дело довольно трудное. Кто его знает, как лучше: подробнее описывать свою жизнь или покороче? Напишешь много, скажут: вот — развез на целую версту, напишешь мало — зачем было писать, если ничего тут интересного. Вообще-то лучше не писать...

Но коли уж так пришлось, попробую и я,— мне уже за сорок, что-нибудь да было, наверно, в моей жизни.

У нас в аиле считалось непременным долгом знать своих предков до седьмого колена. Старики на этот счет строги. Обычно они испытывали мальчишек: «Ну-ка, батыр, скажи, из какого ты рода, кто отец твоего отца? А его отец? А его? А какой он был человек, чем занимался, что говорят люди о нем?» И если окажется, что мальчик не знает свою родословную, то нарекания дойдут до ушей его родителей. Что, мол, это за отец без роду, без племени? Куда он смотрит, как может расти человек, не зная своих предков, и т. п. Здесь есть свой смысл преемственности поколений и взаимной моральной ответственности в роду. Быть может, кто-нибудь обратил внимание: в повести «Белый пароход» я попытался сказать об этом устами мальчика — когда он разговаривает с приезжим шофером.

Я бы мог тоже начать свое жизнеописание с этого, как теперь принято называть, «феодального пережитка». Я мог бы сказать, что я из рода шекер. Шекер — наш родоначальник, мой отец — Торекул, его отец — Айтмат, а его

отец — Кимбилди, а его отец — Кончуджок. Но довольно. Дальше было бы простое перечисление имен, о которых я ровным счетом ничего не знаю. И нет уже людей, которые могли бы что-либо рассказать мне о них. Мой прапрадед Кончуджок дошел до меня не по имени, а по прозвищу. Он всю жизнь ходил в чарыках (обувь из сыромятной кожи), поэтому и прозвали его Кончуджок — безголенищный, то есть без сапог. Стало быть, мы — из «безголенищных», хвалиться тут особенно нечем, но что было, то было...

Все это и то, что я расскажу затем, сообщено мне, кстати, не отцом, он не успел этого сделать, и не до того ему было.

Этим я обязан прежде всего своей бабушке по отцу Айимкан Сатан-кызы и ее дочери, моей тетке,— Карагыз Айтматовой. Поразительно, как могут быть близки, похожи — и внешне, и по характеру, и по душевному складу — мать и дочь. Они были для меня неразделимыми — словно бы одна и та же бабушка в двух лицах — в старом и молодом возрасте. Благодарю судьбу, что я видел и знал этих замечательных женщин, мудрых, красивых,— они действительно были красивыми... Они-то и оказались моими наставницами по части старины и семейной хроники.

Деда — Айтмата — я не застал. Он умер где-то в восемнадцатом — двадцатом годах, а я родился в 1928 году (12 декабря).

На окраине нашего аила Шекер (это в Таласской долине, Кировский район) и поныне лежит в пойме реки Куркуреу старый, осевший в землю мельничный камень. С каждым годом он все больше разрушается и все глубже утопает в землю. Здесь была мельница деда.

Говорят, он был человеком мастеровым: умел шить, первым привез из города швейную машину, отсюда получил прозвище «машинечи Айтмат», то есть портной Айтмат; дед умел рубить седла, умел лудить и паять, хорошо играл на комузе и даже читал и писал арабским

алфавитом. Но, при всей своей предприимчивости, всю жизнь бедствовал, не вылезал из долгов и нужды, временами оставался «джатаком» — некочующим, ибо не было для этого скота.

И вот дед делает отчаянную попытку вырваться из бедности. Решил строить водяную мельницу в надежде, что доходы от нее помогут разбогатеть. Все, что было у него и его брата — Биримкула, все состояние двух хозяйств вложили в мельницу. Все лето того года всей семьей копали они отводный арык от Куркуреу для подачи воды на мельницу (теперь от него остался едва заметный след), всей семьей поднимали стены и крышу. Прошел год, наконец мельница заработала. Но невезучему Айтмату опять не повезло. Случился пожар, и мельница, за исключением каменного жернова, сгорела дотла. Окончательно разоренный, дед уходит вместе с двенадцатилетним сыном Торекулом, моим отцом, на строительство железнодорожного тоннеля близ станции Маймак. Отсюда с помощью тамошней русской администрации мой отец попадает в русско-туземную школу города Аулие-Ата, ныне — Джамбул.

Пишу об этом не для праздного разговора. Ничего на свете не бывает без причины. Не сгори та несчастная мельница, дед не пошел бы на железную дорогу, а отец вряд ли начал учиться в городе. То, что мой отец в первые годы революции оказался грамотным человеком (позже он еще дважды учился в Москве), то, что он стал одним из первых коммунистов-киргизов, был на руководящих постах, живо интересовался политикой и литературой, к тому же моя мать — Нагима Хамзеевна Айтматова — тоже была грамотной, вполне современной женщиной, позволило им сразу приобщить меня к русской культуре, русскому языку и, стало быть, к русской литературе,— разумеется, детской литературе.

С другой стороны, бабушка, постоянно увозившая меня, внука своего, к себе в горы, на

летние кочевки, женщина исключительно обаятельная и умная, всеми уважаемая в аиле, оказалась для меня кладом сказок, старинных песен, былей и небылиц. Я видел народные кочевья такими, какими они когда-то были. Кочевье — не просто передвижение со стадами с места на место, а большое хозяйственно-ритуальное шествие. Своеобразная выставка лучшей сбруи, лучших украшений, лучших верховых коней, лучшей укладки на верблюдов вьюков и ковров-попон, которыми покрывались поклажи. Показ лучших девушек и певиц-импровизаторов, исполнявших траурные (если покидали место, где скончался близкий человек) и дорожные песни. Я застал эти яркие зрелища на самом их исходе, потом они исчезли с переходом на оседлость.

Пожалуй, сама того не подозревая, бабушка привила мне любовь к родному языку. Родной язык! Сколько об этом сказано! А чудо родной речи необъяснимо. Только родное слово, познанное и постигнутое в детстве, может напоить душу поэзией, рожденной опытом народа, пробудить в человеке первые истоки национальной гордости, доставить эстетическое наслаждение многомерностью и многозначностью языка предков. Детство — не только славная пора, детство — ядро будущей человеческой личности. Именно в детстве закладывается подлинное знание родной речи, именно тогда возникает ощущение причастности своей к окружающим людям, к окружающей природе, к определенной культуре.

Должен сказать, по крайней мере исходя из собственного опыта, что в детстве человек может органически глубоко усвоить два параллельно пришедших к нему языка, а может быть, и больше, если эти языки были равнодействующими с первых лет. Для меня русский язык в не меньшей степени родной, чем киргизский, родной с детства, родной на всю жизнь.

Мне было пять лет, когда я впервые оказался в роли переводчика, а кусок вареного

мяса был моим первым «гонораром». Это случилось на летовке в горах, где я, как обычно, был с бабушкой.

Колхозы в те годы только поднимались, только начинали устраиваться. В то лето на нашем джайлоо случилась беда. Племенной жеребец, купленный колхозом незадолго до этого, внезапно околел. Средь бела дня упал со вздутым животом и испустил дух. Табунщики переполошились, жеребец был ценный, донской породы, привезенный из далекой России. Послали гонца в колхоз, оттуда гонца в район. И через день к нам в горы приехал русский человек. Высокий, рыжебородый, с голубыми глазами, в черной кожаной куртке, с полевой сумкой на боку. Я его очень хорошо запомнил. Он не знал ни слова по-киргизски, а наши — по-русски. Надо было провести осмотр, выяснить обстоятельства гибели животного, составить документ. Табунщики, недолго думая, решили, что переводчиком буду я. А я в это время стоял в толпе ребятишек, мы глазели на приезжего.

— Пошли,— сказал мне один из табунщиков и взял за руку.— Этот человек не знает языка, ты переведи, что он говорит, а то, что мы скажем, скажешь ему.

Я застеснялся, испугался, вырвался и убежал к бабушке в юрту. За мной вся гурьба друзей, снедаемая любопытством. Через некоторое время снова приходит тот человек, жалуется на меня. Бабушка всегда была ласкова, а в этот раз строго нахмурилась.

— Ты почему не хочешь разговаривать с приезжим, тебя ведь просят большие люди, разве ты не знаешь русского языка?

Я молчал. За юртой притаились ребята: что будет?

— Ты что, стыдишься говорить по-русски или ты стыдишься своего языка? Все языки богом даны, нечего тебе, пошли.— Она взяла меня за руку и повела. Ребята снова за нами.

В юрте, где в честь гостя уже варилась свежая баранина, было полно народу. Пили ку-

мыс. Приезжий ветеринар сидел вместе с аксакалами. Он поманил меня, улыбаясь:

— Заходи, мальчик, иди сюда. Как тебя звать?

Я тихо пробормотал. Он погладил меня:

— Спроси у них, почему этот жеребец погиб,— и достал бумагу для записи.

Все стихли в ожидании, а я замкнулся и никак не могу выдавить слова. Бабушка сидела сконфуженная. Тогда меня взял к себе на колени старик, наш родственник. Он прижал меня к себе и сказал на ухо доверительно и очень серьезно:

— Этот человек знает твоего отца. Что же он скажет ему о нас, скажет, каким плохим растет у киргизов его сын! — И потом громко объявил: — Сейчас он будет говорить. Скажи нашему гостю, что это место называется Уу-Саз...

— Дядя,— робко начал я,— это место называется Уу-Саз, ядовитый луг,— и потом осмелел, видя, как радовались бабушка и этот приезжий человек, и все, кто был в юрте. И на всю жизнь запомнил тот синхронный перевод разговора, слово в слово на обоих языках. Жеребец, оказывается, отравился ядовитой травой. На вопрос, почему не едят эту траву другие лошади, наши табунщики объяснили, что местные лошади не трогают эту траву, они знают, что она несъедобная. Так я все и перевел.

Приезжий похвалил меня, аксакалы дали целый кусок вареного мяса, горячего, душистого, я выскочил из юрты с торжествующим видом. Ребята вмиг окружили.

— Ух, как здорово! — восхищались они.— Ты по-русски шпаришь, как вода в реке, без остановки! — На самом деле я говорил запинаясь, но ребятам угодно было представить это так, как им хотелось. Мы тут же съели мясо и побежали играть.

Стоит ли в литературной биографии упоминать о таких вещах? По-моему, стоит. Надо начинать с того, что впервые в жизни запомнил человек, когда, как это было. Некоторые по-

мнят себя с трех лет, другие едва припоминают свой десятилетний возраст. Я убежден, что все это много значит.

Так вот, был такой случай в моем детстве. Бабушка была очень довольна мной и долго потом рассказывала знакомым об этом, переполнявшем ее сердце гордостью, случае.

Она украсила мое детство сказками, песнями, встречами со сказителями и акынами, она всюду непременно брала меня с собой: и в гости, и на «жеентеки»[1], и на похороны, и на свадьбы. Она часто рассказывала мне свои сны. Сны эти были настолько интересны, что стоило ей немного вздремнуть, как я тут же будил ее и требовал рассказать, что она видела во сне. Маленькие, короткие сны меня не удовлетворяли. И тогда она уходила к соседям взять «взаймы» чей-нибудь сон. Позже я понял: она просто придумывала их для меня.

Бабушка вскоре умерла. Теперь я безвыездно жил дома, в городе. Потом пошел в школу. А через два года снова попал в свой родной аил. В этот раз надолго и при тяжелых обстоятельствах.

В 1937 году мой отец, партийный работник, слушатель Института красной профессуры в Москве, был репрессирован. Наша семья переехала в аил. Вот тогда и началась для меня подлинная школа жизни, со всеми ее сложностями.

В то тяжелое время нас приютила сестра отца — Карагыз-апа. Как хорошо, что была она у нас! Она заменила мне бабушку. Подобно своей матери, она — мастерица, сказочница, знавшая старинные песни,— пользовалась в аиле таким же уважением и почетом. Моя мать приехала в аил тяжело больная, болела она после этого долгие и долгие годы, а нас, детей, было четверо, я — самый старший.

Положение было очень тяжелое, но Карагыз-апа открыла нам глаза на то, что какие

---

[1] Ж е е н т е к *(кирг.)* — праздник новорожденного.

бы бедствия на человека ни обрушились, он не пропадет, находясь среди своего народа. Не только наши одноплеменники — шекеры (тогда этот «феодальный пережиток» оказал нам неоценимую услугу), но и соседи, и вовсе незнакомые раньше люди не оставили нас в беде, не отвернулись от нас. Они делились с нами всем, чем могли,— хлебом, топливом, картошкой и даже теплой одеждой...

Однажды, когда мы с братом Ильгизом — теперь он ученый, директор Института физики и механики горного дела АН Киргизской ССР — собирали в поле хворост для топлива, к нам завернул с дороги всадник. На хорошем коне, хорошо одетый.

— Чьи вы сыновья? — спросил он.

Наша Карагыз-апа постоянно учила, что в таких случаях, не опуская головы, а глядя людям в лицо, надо называть имя своего отца. Мы с братом очень переживали все, что писали тогда о нашем отце, а она, Карагыз-апа, не стыдилась нашего позора. Каким-то образом эта безграмотная женщина понимала, что все это ложь, что не может быть такого. Но объяснить свое убеждение она не могла. Я уже читал тогда книги о разведчиках-чекистах и втайне мечтал, чтобы меня послали поймать какого-нибудь шпиона и чтобы я его поймал и погиб, чтобы доказать таким образом невиновность моего отца перед Советской властью.

Так вот, человек этот, завернув с дороги, спросил, чьи мы. И хотя это было мучительно, не опуская глаз, я назвал нашу фамилию.

— А что у тебя за книга? — поинтересовался он.

То был школьный учебник, как сейчас помню, учебник географии, который я носил за поясом. Он посмотрел книгу и сказал:

— В школе хотите учиться?

Еще бы! Кусая губы, чтобы не расплакаться, мы кивали головами.

— Хорошо, будете учиться!—И с тем уехал.

А через неделю мы уже ходили в школу. То был, оказывается, один из учителей, Тына-

лиев Усубалы. Я попал в класс к учительнице Инкамал Джолоевой, очень сочувственно отнесшейся ко мне в те дни.

Я рано начал работать: с десяти лет познал труд земледельца.

Через год мы переехали в райцентр — русское село Кировское. Мать устроилась там счетоводом. Снова пошел в русскую школу.

Жизнь стала немного налаживаться, а тут— война.

В 1942 году пришлось бросить школу, матери не по плечу было в военное время учить нас всех.

И снова я у себя в Шекере, обремененном и разоренном тяготами войны. Меня назначили секретарем сельсовета, как наиболее грамотного из подростков — никого другого для этой работы не нашли. Мне было четырнадцать лет.

Но, как говорится, нет худа без добра.

Если в детстве я познал жизнь с ее поэтической, светлой стороны, то теперь она предстала передо мной в своем суровом, обнаженном, горестном и героическом обличье. Я увидел свой народ в другом его состоянии — в момент наивысшей опасности для Родины, в момент наивысшего напряжения духовных и физических сил. Я вынужден был, обязан был видеть это — я знал каждую семью на территории сельсовета, знал каждого члена семьи, знал наперечет немудреное хозяйство всех дворов. Я узнал жизнь с разных сторон, в разных ее проявлениях.

Затем я работал в годы войны налоговым агентом райфо. Собирал с населения налоги. Если бы я знал, как это трудно делать в военное время, голодное время! Для меня это было настолько мучительно, что через год, в августе 1944 года, я самовольно бросил эту работу, за что чуть не попал под суд. И пошел учетчиком тракторной бригады на уборку хлеба.

Продолжалась война, и жизнь открывала передо мной, юношей, все новые и новые страницы народного бытия. Все это много позже

отразилось,— в той степени, насколько это мне удалось,— в повестях «Лицом к лицу», «Материнское поле», отчасти в «Джамиле» и «Топольке».

В 1946 году, после восьмого класса, я поступил учиться в Джамбулский зооветтехникум. Всю производственную практику 1947—1948 годов провел у себя в аиле, и теперь мог как бы со стороны наблюдать послевоенные изменения в жизни родных мне людей.

После окончания техникума в том же году как отличник был принят в Киргизский сельскохозяйственный институт. Институт, кстати, тоже окончил с отличием.

Литературу люблю с детства, в школе охотно писал сочинения на свободную тему, а в институтские годы мне стало уже ясно, что художественная литература влечет меня все сильнее. В лучших образцах литературы того времени я искал ответы на волнующие меня вопросы. Мне очень хотелось, чтобы о войне, о подвиге народа в годы войны были написаны сильные, яркие произведения. В киргизской литературе тогда еще тема войны глубоко не затрагивалась. Хотелось, чтобы и киргизские читатели имели возможность читать лучшие книги о войне. Движимый этим чувством, я принялся переводить «Сына полка» и «Белую березу» на свой страх и риск, не имея представления о том, что такое художественный перевод и как издаются книги. Потом, когда принес в издательство свои переводы, мне сказали, что книги эти давно переведены и скоро выйдут из печати...

Тогда было очень обидно, но именно это и явилось началом моей литературной работы. Будучи студентом, писал в газетах небольшие заметки, статьи, очерки.

После института работал зоотехником. В эти годы я уже писал рассказы. В 1956 году приехал учиться в Москву на Высшие литературные курсы. Два года занятий дали мне, бывшему зоотехнику, чрезвычайно много. Не только в смысле гуманитарной и теоретической подго-

товки, но самой практической работы — наши семинары, обсуждения на Высших курсах были хорошей творческой школой. И сам я старался приобщиться ко всему лучшему в культурной жизни Москвы — и в литературе, и в театре. После окончания курсов редактировал журнал «Литературный Киргизстан», потом пять лет работал собственным корреспондентом «Правды» в Киргизии — это тоже позволило мне расширить круг наблюдений, лучше узнать жизнь.

Писатель, конечно, должен от природы обладать способностью художественно мыслить, но формирование его таланта, его личности связано с определенной общественной средой, с духовным опытом, культурными традициями данной среды, с ее мировоззрением и политическим устройством. Для нас эта среда — советское общество, социалистический строй, коммунистическое мировоззрение. Отсюда вытекает направленность творчества советских писателей.

Надо ли говорить, что присуждение мне в 1963 году Ленинской премии за книгу «Повести гор и степей» было радостным, огромным событием в моей жизни. Я благодарен народу за эту высшую честь.

Никто не становится писателем сам по себе: опыт предшественников входит в творческий мир художника задолго до того, как он осознает в себе какие-то литературные наклонности. Правда, далеко не всем нам дано совершить открытия на трудном пути искусства. Это уже зависит от таланта, от широты видения жизни. Зачастую мы топчемся на месте, что уже достигнуто предшественниками, зачастую идем вспять в смысле мастерства, глубины мысли и силы образов. Таково, по-видимому, развитие литературного процесса. Сложное, долгое, неравномерное, подчас трудно объяснимое...

О судьбах литературы, о собственном творческом пути приходится думать часто и по разным поводам. Поскольку я говорю о себе, я

хотел бы высказать здесь мысли о «Белом пароходе», вызвавшем разные споры среди читателей. Споры — это в порядке вещей. Споры в литературе должны быть. Но самое большое, что меня насторожило в данном случае,— опасность, как ни парадоксально, очень доброжелательной, по-своему очень честной критики. Иные читатели, которым, скажем, полюбились «Джамиля», «Первый учитель», «Материнское поле» и другие вещи, хотят, исходя из своих представлений об искусстве, чтобы я и впредь писал только в этом духе. Я не думаю заниматься самоотречением, я не отрицаю определенного значения того, что было сделано до «Прощай, Гульсары!», «Белого парохода», но и не собираюсь останавливаться на том, что есть уже пройденный этап. Литература должна самоотверженно нести свой крест — вторгаться в сложности жизни, с тем чтобы человек знал, любил, тревожился за все доброе, лучшее, достойное в себе, в людях, в обществе. В этом я вижу истинное назначение искусства. И мне кажется — это мое убеждение,— что так будет всегда, бесконечно, ибо человек ищет в искусстве подтверждение лучшим своим устремлениям и отрицание того, что есть зло, что есть несправедливость, что не отвечает его социальным и нравственным идеалам. Это не обходится без борьбы, без сомнений и надежд. И так, наверно, будет вечно. И потому искусству вечно предстоит рассказывать человеку о сложности и красоте жизни.

Не знаю, как образуется дальнейшая моя творческая судьба, смогу ли я сделать что-нибудь интересное. Поживем, как говорится, увидим...

1972 г.

БЕЗ КАПЛИ НЕТ ОКЕАНА

Литература: что она такое и зачем она? Есть одна черта, общая для всех народов и всех времен,— потребность рассказать другим об интересных, значительных и глубоких по смыслу событиях или переживаниях. И если это не будет рассказано, то событие или знание теряет свою ценность. Его как бы и не было. В этом смысл передачи каких-то сокровенных мыслей от человека к человеку. Слово, не сказанное вовремя, не достигает своей цели, не выполняет своего назначения. Поэтому цель литературы в том, чтобы своевременно и возможно большее число людей узнало бы о волнующих автора событиях, мыслях, людях.

В слове «своевременность» заключено понятие «современность». Горько представить себе, что современники могут так и прожить бок о бок, не узнав друг о друге.

Эту передачу друг другу опыта, чувств и мыслей о жизни и выполняет литература.

Литература нашей страны — многонациональная и многообразная — имеет в этом смысле богатейший опыт. И очень значительную роль играет в нашей литературе рассказ, культура которого — я говорю об этом с гордостью — очень высока.

Рассказ — та капля, без которой не может быть океана. Мне думается, что рассказ как бы составляет мозаику времени. А мозаика, как всем известно, состоит из мельчайших частиц. Словно бы «собирается» целостный портрет времени. Можем ли мы сказать, что сегодня рассказ развивается должным образом, то есть вносит существенный вклад в стремление литературы не просто выразить, но и широко отобразить свое время? Я не берусь это утверждать. И это внушает мне некоторое опасение, тревогу. Хотя, повторяю, у нас есть подлинные шедевры.

Мы, писатели-профессионалы, не можем бесхозяйственно вести литературу, как и любой труженик — свою работу.

Искусство рассказа похоже на гравюру, а труд писателя здесь граничит с искусством гравера — та же трудоемкость, та же экономичность изобразительных средств, точность штриха. Это филигранная работа.

Трудоемкость на малой площади отличает рассказ как предмет искусства от других жанров.

От далекого прошлого до наших дней можно проследить, как совершенствовался этот жанр. Но полезно и другое: подумать о состоянии разных типов рассказа в данный момент.

Возьмем, к примеру, рассказ повествовательный: агроном приехал в колхоз, вот он уже работает. Автор повествует о его удачах и трудностях. Такой рассказ, очень безобидный, никого не затрагивающий, ни на что не претендующий, очень часто появляется в печати. Особенно газеты потрафляют такому рассказу. Он вроде бы отображает кусочек современной жизни. А на самом деле? Ведь и повествовательный рассказ должен иметь свою художественную задачу, вызывать нас на какие-то волнения, размышления, в конце концов! Именно такой рассказ я имел в виду, выступая на V съезде писателей, когда говорил, что рассказ во многом утратил свою привлекательность, что жанр рассказа скудеет, мельчает, теряет присущие ему достоинства. Вот так и надо понимать мои слова, которые процитировал в своем письме читатель С. Курбангалеев («ЛГ», 1972, № 41).

Мне лично по душе рассказ остросюжетный, где происходят какие-то события, где есть конфликт. К сожалению, таких рассказов, на мой взгляд, появляется мало. Или вот рассказ «настроенческий». Вспомните Паустовского. В его рассказах вроде бы ничего не происходит. Никто никого не отругал. Никто ни за кем не гнался. Никто ни с кем не разошелся. Тем не менее какое удовольствие читать его рассказ! Это уже мастерство более высокого порядка. У этого типа рассказа есть свои возможности, свои темы.

Нельзя не сказать и о воздействии на рассказ современного прогресса техники. Не говорю уже о пишущей машинке, хотя бы благодаря ей сейчас каждый из нас за час отстучит столько, сколько раньше от руки писал бы месяц. Эта техническая легкость, может быть, порождает и определенную легкость в мыслях. Это, разумеется, «спорное» положение. Писатель и на машинке может хорошо работать. Хемингуэй печатал на машинке, стоя за конторкой. У него получалось здорово.

Ну а если говорить серьезно, то мне думается, что появление средств массовых коммуникаций, конечно, с одной стороны, благо, а с другой?.. Не «содействуют» ли порой эти средства информации снижению художественного качества именно литературы? Здесь я разделяю мнение В. Короткевича. Сколько подчас всяких киноинсценировок, в которых труд писателя предстает в разжеванном виде! А радиоинсценировок, предназначенных нередко не для размышления, но для развлечения? Писателю надлежит знать, что есть такие вещи, которые читатель должен прочитать наедине с самим собою.

1973 г.

СНЕГА НА МАНАС-АТА

В Шекер я наезжаю довольно часто — два-три раза в году. По разным делам, на свадьбу, на похороны... Эту близость к своим землякам и сородичам пытаюсь привить и сыновьям — сугубым горожанам. Не знаю, насколько преуспею я в этом. Времена, кажется, меняются.

Наш Шекер — большой, крепко укоренившийся киргизский аил. Триста с лишним дворов. Как ни приеду — то тут, то там новые дома под новыми крышами. Прибавляются дворы. Растет аил. И стоит он на видном месте, как говорят у нас, у «головы воды» — в предгорье, под самым Таласским хребтом, как раз в створе здешней великой двуглавой вершины — напротив пика Манаса. На ту высоченную гору взлетал на коне Манас обозревать местность вокруг: не идут ли откуда враги?.. (Нетрудно вообразить, какое огромное пространство мог оглядывать Манас с той высоты. Масштабы поистине эпические. Таким хотелось видеть в древности народу своего сына и героя Манаса.) Как бы то ни было, оттуда, из-под вечных снегов Манаса, прибегает в долину бурная и студеная Куркуреу, приносящая воду, а стало быть, жизнь всему, что живет на этой земле...

Я всегда волнуюсь, приближаясь к Шекеру, завидев еще издали сине-белые снега Манаса, сверкающие бликами в недоступной небесной высоте. И если от-

влечься, если долго смотреть только на эту вершину, в небо, то время как бы теряет свое свойство. Исчезает ощущение прошлого. Нет, думаешь себе, ничего не произошло, ничего не изменилось, все в мире так, как было десять, двадцать, а быть может, сто и тысячу лет тому назад. Стоит Манас на земле, как стоял. И облака над ним так же плывут, все те же облака. И сам ты все тот же мальчишка, который, выбегая из дому по утрам, видит и радуется этой горе над аилом. Увы, упиваться грезами можно только минуту, другую...

В этот раз я еду в Шекер, волнуясь больше обычного. Есть к тому причины. Редакция «Огонька» попросила меня написать очерк о своих земляках военной поры. Вначале я сомневался, что уж такого можно написать, ведь тыл есть тыл. Война — это фронт, сражения, а уж потом все остальное. Эти сомнения не оставляли меня и по пути. Но, приближаясь к аилу, глядя на извечные снега Манаса, вспомнил я многое.

Было о чем. Мое детство, все военные и послевоенные годы прошли здесь, в этой округе, именуемой в ту пору Шекерским аилсоветом. Вот об этом, о людях тех дней, вспомнилось.

Люди были как люди — труженики, крестьяне, активисты, каких встретишь в любом колхозе или совхозе. Теперь, когда я думаю о войне, каждый из них предстает как бы крупным планом в резком и глубоком освещении событий военных лет. Я помню митинги первых дней войны. Общая ответственность за судьбу страны становилась персональной. Прямо с митингов уходили из райцентра колонны добровольцев. В этом суть. Как теперь я понимаю, каждому человеку, великому и малому, на фронте и в тылу нашлось свое историческое место в этой грандиозной, всенародной борьбе... Да, историческое. Другими словами об этом не скажешь...

И потому, когда мы говорим: «до войны», «после войны», «в войну», — то это не просто разговорные фразы. Для меня в них нечто большее, чем житейская хронология, для меня в них, в этих словах,— время сурового познания жизни, время приобретения нашим обществом опыта, ставшего достоянием мирового значения. Ибо война явилась не только глобальной исто-

рической вехой, разделившей XX век на две части — на довоенный и послевоенный периоды в развитии человечества, но и явилась судьбою, участью каждого человека, жившего в ту пору, мерилом его поступков и нравственных ценностей. Война предстала перед ликом буквально каждого из людей, не знаю я никого, кто обошел бы войну так или иначе стороной. Кто пытался это делать, неизбежно сталкивался с самим народом, ибо то была общая судьба народа, и никому не могло быть никакого исключения. (Об этом я и хотел сказать в самой первой своей небольшой повести «Лицом к лицу».) Война предъявила максимальный счет эпохи каждому на его жизненном пути...

И тут никак не обойтись без ссылки на личный опыт. Когда началась война, мне было тринадцать лет. Этим началось открытие большого мира для моего поколения. Самому теперь не верится, в четырнадцать лет от роду я уже работал секретарем аилсовета. В четырнадцать лет я должен был решать довольно сложные общественные и административные вопросы, касающиеся самых различных сторон жизни большого села, да еще в военное время. Но тогда это не казалось ничем таким из ряда вон выходящим. Ребята, окончившие в 41-м году седьмой класс, Момбеков Паизбек (всю жизнь, тридцать три года, проучительствовал человек!) и нынешний директор Шекерской средней школы Бекмамбетов Сейталы уже преподавали в школе, в младших классах. После войны они получили высшее образование. Мой брат Ильгиз — теперь он директор Института физики и механики горных пород Киргизской академии наук — младше меня на три года. Он учился в школе и одновременно работал почтальоном. Всю войну. Я горжусь им. Славным и добросовестным был он почтальоном в ту горькую пору. Босой, худенький мальчишка одиннадцати лет, такого сейчас, пожалуй, одного на другую улицу не отпустят, бегал за солдатскими письмами и газетами, которые он зачитывал людям вслух на полевых работах, за многие километры, переправляясь через реку, в соседнее село, где была почта. В свои 15 лет он был награжден, по представлению общего собрания колхоза «Джийде», медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». Заслужил. Это и я могу подтвердить.

Но не в этом дело. Собственно, мы с ним, как и многие подростки военных лет, всем лучшим в себе обязаны старшим людям, воспитывавшим нас и словом и делом на своем примере.

Помню, как зимой 1942 года вызвали меня однажды из дома. Сельсоветский рассыльный Кенеш приехал на коне.

— Садись, сынок, ко мне на коня. Начальство требует. Наверное, дело важное.— Он освободил стремя с ноги, потянул меня на круп лошади, и мы поехали с Кенешем. Он — впереди, я — позади.

Вот тоже была интересная личность в нашем аиле. Настоящее имя его — Ибраим. Но все в округе звали этого человека Кенешем. «Кенеш» от слова «совет», и имелась в виду «Советская власть». Будучи бедным из бедных, он первым в аиле поднял клич за бедняцкую, за Советскую власть, первым батрачкомом был в начальные годы после революции. Тем и прославился этот безграмотный батрак, что всю жизнь, на всех больших и малых собраниях, агитировал за Советскую власть. И всегда заявлял при этом, что лично для себя никакой выгоды не ищет: «Мне — кусок хлеба, и коню — клок сена. И больше ничего не требуется. А для Советской власти днем и ночью буду работать, пока не свалюсь с седла». Когда потребовалось, последнюю козу отдал при подписке на заем. Так и работал до конца дней своих рассыльным и добровольным агитатором, и умер он, можно сказать, действительно в седле. На склонах Манаса люди по сей день поминают его добрым словом. И по сей день с чувством удивления. В годы войны Кенеш был уже старым, но натура, активная и страстная, брала свое — несколько раз я был свидетелем его «спонтанных» митинговых выступлений на собраниях. Чувствовалась батрачкомовская закалка, от души, от сердца говорил, зажигал словами...

Этот человек и привез меня в сельсовет. В холодном, нетопленом помещении с земляным полом и оконцами из составленных обломков стекла сидели трое. Тот, что в шубе, сивобородый, высоченного роста, пожилой чабан из Арчагула, соседнего аила за рекой,— Турдубаев Кабылбек, новый председатель сельсовета вместо ушедшего на фронт. Двое других — в солдатских шинелях, раненые фронтовики: председатель кол-

хоза Алишер Айдаров, вернувшийся с войны лишь недавно, с еще забинтованной рукой, и секретарь сельсовета Нукеев Калый, с костылями, прислоненными к стене. (Все трое ветеранов здравствуют: Турдубаев Кабылбек — на пенсии, заслуженный колхозник, Алишер Айдаров — агроном-табаковод, Калый Нукеев — председатель соседнего Кок-Сайского сельсовета.)

— Школу тебе придется пока оставить,— сказал мне тогда Турдубаев.— Потом доучишься. После войны. Потому как Калый пойдет бригадиром,— кивнул он в сторону Нукеева.— Ему на костылях куда лучше быть здесь секретарем. Но без бригадира в колхозе никак нельзя. Сам понимаешь. А больше некому. Я же человек малограмотный. Всю жизнь за скотом ходил. Мне помощник нужен толковый. Вот мы и решили, что ты подойдешь для этой работы...

Вот так я стал секретарем сельсовета. Арчагул, аил за рекой, был тоже приписан к нам. Два больших аила, тревожное военное время: председатель пришел от отары, секретарь — мальчишка со школьной скамьи. Такова была ситуация. А жизнь шла своим ходом, выдвигая дела, не терпящие отлагательства. Работы оказалось много. Грамотей я был тоже не ахти. В одной из бумаг райисполкома предписывалось провести на территории сельсовета «маленизацию», как потом выяснилось, то был ветеринарный термин,— речь шла о специальной обработке препаратами конского поголовья. Я же сказал Турдубаеву, что предстоит «мобилизация» всех лошадей. Он даже почернел лицом: «А как же мы тут в колхозах без тягла?» И отправились мы с ним в спешном порядке в райцентр, в село Кировское, за сорок километров. В полночь выехали. Прибыли в большом беспокойстве. Но там нам объяснили, что к чему. Конфуз получился. А тут еще вышли мы из райисполкома, стали садиться на лошадей, конь мне попался высокий, а росту я был небольшого, да еще в шубе, в шапке, подпоясанный, дело-то было зимой, и в этой одежде не дотянусь до стремени ногой, и все тут! А нам надо побыстрей в банк успеть. Пока я крутился, пытаясь вскарабкаться на лошадь, Турдубаев приподнял меня, человек он был сильный, и усадил в седло. Совсем стало мне стыдно. Что ж это за секретарь сельсовета, которого, как малое дитя, сажают в седло!

— Я так работать не буду! — заявил я довольно резко.

— Никто не видел,— успокоил меня Турдубаев.— А работать придется. Вот только учиться тебе еще надо. Как кончится война, сразу в школу отправляйся. Поехали.

Теперь, по истечении многих лет, я благодарен судьбе, что мне довелось, как говорится, сызмальства встретить интересных, достойных людей. Одним из таких был мой председатель сельсовета, мудрый аксакал Турдубаев, бывший чабан. Года через полтора, когда появились грамотные люди, раненые офицеры, он снова вернулся к своей исконной профессии. Встретились мы как-то много позже на поминках одного близкого нам человека, разговорились и вспомнили, конечно, совместную работу нашу в сельсовете. Думал, что посмеется старик, как говорят в таких случаях, что, мол, не было утки,— кулик был уткой. Нет, серьезный вел он разговор. Часто, говорит, вспоминаю, все ли мы сделали тогда, как требовалось.

А требовалось многое в ту тяжкую, суровую пору. Мобилизации шли одна за другой. На фронт, в трудармию, на шахты, на лесозаготовки и даже на Чуйский канал, который продолжали строить и в те годы. Мы не ограничивались вручением людям повесток и положенной при этом канцелярской регистрацией. Турдубаев считал своим долгом поговорить с каждым человеком, с его семьей, убедить, помочь словом, делом и непременно сам провожал уезжающих напутственным словом, часто отправлялся с ними в райцентр и военкомат, был с ними вместе до последней минуты отправки. Несколько раз эту миссию он поручал и мне, несмотря на то, что вряд ли я мог справиться с ней надлежащим образом. Как я ни пытался держаться серьезней, мальчишка есть мальчишка.

Однажды произошел такой случай. Чабан, которого призывали в трудармию, не явился в назначенный срок в сельсовет для отправки в райцентр. Рассыльному ответил отказом. Пришлось мне подскочить. Человек встретил меня на пороге зло и раздраженно. Честно говоря, он был прав. Весь год ходил с отарой, кочевал с семьей, с детьми. Вместо положенных четырех пастухов работал с женой вдвоем. На трудодни ничего не получил. Теперь его мобилизовывали. Спустился

с гор в свой нежилой, брошенный дом в аиле. А тут хоть шаром покати, никаких запасов — ни топлива, ни одежды, ни корма для коровенки.

— Как я поеду, как я их брошу! — говорил он, указывая на малых ребятишек и на больную жену, которая лежала, укрывшись шубой, в углу.

Я не знал, как быть. Однако понимал, что закон есть закон и его необходимо выполнять.

— Вы отправляйтесь, а мы позаботимся,— искренне заверил я его, хотя не представлял себе, каким образом и что мог сделать для этой семьи. Чабан грустно улыбнулся:

— Это ты-то позаботишься?

— Да, я, сельсовет наш...

— Ладно, мальчик,— сказал он со вздохом.— Иди, я уж как-нибудь сам. Иди. Никуда я не денусь. Пристрою их малость и отправлюсь хоть на край света.

Вернулся я в сельсовет удрученный всем этим. Рассказал Турдубаеву. Очень он хмурился. То и дело бороду сжимал в кулаке. Была у него такая привычка.

— Что ж ты предлагаешь? — спросил он глухим, басовитым голосом.

— Помогите, — сказал я. — Надо топлива, сена, да и с мукой у них плохо дело. Ребятишки мерзнут, голодные с виду.

— Что надо, это я сам знаю. Ты обещал, от имени сельсовета обещал, значит, ты и должен выполнить свое обещание. Иначе нам с тобой люди не будут верить. Иди к председателю колхоза и добейся, чтобы бричку дали да сена подвезли, соломы на топливо. Добейся, чтобы муки, картошки им выписали. Человек должен завтра уехать в трудармию и понимать, что есть тут Советская власть. Пусть один старый, другой малый, но все-таки власть.

Не так-то просто оказалось выбить у председателя колхоза то, что требовалось. Попал под горячую руку. У него в колхозе своих дел, своих нужд по горло. С него спрос за все: дай план, дай то, дай это. И никто не скажет колхозу: на! Только — дай! А чтобы дать, надо работать. А с кем работать, кому работать? Некогда и некому развозить по дворам сено-солому!

В грудармию уходит человек; пусть идет — не он один. Вся страна воюет. Все семьи нуждаются, все бедствуют...

Надо же такому случиться, в недобрый час подступился я к председателю. Наболело, накипело на душе человека. Но я настаивал, как мог, доказывал, просил. В отчаянии готов был за вилы схватиться. Дело происходило на конном дворе. И когда сказано было мне: вон кони, вон упряжь, солома в поле, у гумна; вон сено в скирдах; везти некому, как хочешь, так и управляйся,— я тут же кинулся, запряг лошадей, швырнул в рыдван пару вил и с грохотом выкатил на улицу. Надо было поспешать. Зимний день быстро вечереет. На улице приостановил возле дома двоюродного братишки — Паизбека Момбекова. Жил он у родственников, отец в армии, мать померла, сам Паизбек, как уже говорил, учительствовал в школе, ему было лет пятнадцать. Хорошо, что Паизбек оказался дома. На пару с ним покатили в поле за соломой. Большой воз уложили. По дороге опрокинулись. Перепрягли лошадей. Поставили, правда с большим трудом, рыдван на колеса. Снова уложили солому. И к вечеру, еще засветло, приехали во двор чабана. Сидя на возу, увидел я, что уже многие деревья у него на огороде порубил он под корень. Подряд валил. Мы скидывали солому, а он все стучал топором. Потом подошел, взопревший, со спины пар поднимался. Мы молчали, и тогда он сказал:

— Спасибо, ребята. А я вон порубил тополя на дрова. Подсохнут малость, сгодятся потом, без меня. Жалко, деревья еще молоденькие были. Да ладно. После войны, бог даст, насадим, нарастим еще.

Я отдал ему бумажку с распоряжением председателя о выдаче его семье муки и картошки. Точно помню — 8 килограммов размола и 20 килограммов картофеля. И сказал, что сено подвезем завтра с утра.

— Извини, брат, что я давеча погорячился,— проговорил чабан смущенно. — Страшно мне стало: дети совсем малые, и жена последнее время часто хворает. Простудилась в горах. Не то стал бы слово молвить...

Мы с Паизбеком принесли пилу и в тот вечер долго пилили сваленные тополя на чурбаки, чтобы колоть их затем на поленья.

Вернулся очень поздно, отбиваясь от собак на улицах. И ночью не спалось. Боялся проспать. Рано утром надо было проследить сбор и отправку в райцентр мобилизованных. Но не только это. Разные мысли лезли в голову. О войне думалось. Прежде она представлялась как сплошная стрельба из пулеметов и сплошные подвиги, враги падают снопами, а нашим хоть бы что... Эта наивная детская иллюзия претерпевала жестокое крушение. Что ни день прибывают в сельсовет «черные бумаги» — похоронные извещения с фронта. Пал смертью храбрых этот, пал тот, тот и тот... Самое страшное — оповестить об этом семьи погибших. И хотя сообщали эту горькую весть с положенным достоинством старики аксакалы и оплакивали погибшего всем аилом, саму бумагу, «черную вестницу», приходилось вручать на дому мне. Не сразу, попозже, уже после взрыва отчаяния и страданий. И все равно жутко вынимать из казенной полевой сумки, доставшейся мне по наследству от прежнего секретаря, небольшую, размером с ладонь, печатную бумагу с военным штампом и подписями майоров, капитанов или других штабных лиц. Текста несколько строк. Тихо зачитываю, перевожу слова на киргизский язык и умолкаю. Слышу тяжкий, опустошенный вздох, будто каменистая осыпь зашуршала с горы и поползла, покатилась вниз. Трудно поднять мне глаза, хотя я ни в чем не виноват. Я отдаю бумагу. «Спрячьте»,— говорю. И тут сдерживаемый, сдавленный плач матери прорывается вдруг судорожными рыданиями и затем долгим, бесконечно горестным плачем. Неужели эта бумажка дана взамен живого сына?!

Я не могу ни встать, ни уйти, ни утешить. Как тут утешишь, какими словами! В такие минуты мне хочется выскочить из дверей, схватить пулемет, да, именно пулемет, и бежать с ним без передыху прямо туда, на фронт, откуда пришла эта бумага. И там, крича от ярости и гнева, расстреливать фашистов очередями, очередями из неиссякающего и неумолкающего пулемета. Но это только в мыслях. Кто мне даст пулемет, мальчишке и притом небольшого роста! Хотя бы ростом был повыше...

Наконец ухожу подавленный горем близких мне людей. Ухожу, перебросив через плечо сельсоветскую полевую сумку. В ней еще есть другие похоронки.

Об этой казенной сумке довоенного образца, такие сумки обычно носили разъездные уполномоченные, я как-то рассказал своему земляку, известному киргизскому писателю Ашиму Джакыпбекому, главному редактору студии «Киргизфильм». То была сумка его старшего брата Айтаалы. Ашим тогда — школьник младшего класса. Айтаалы же был общительным парнем, не чурался нас, устраивал военные игры, водил в походы, а потом вдруг быстро вырос, повзрослел и незадолго до войны работал секретарем сельсовета. Потом, когда пришел мой черед секретарствовать, Нукеев поинтересовался при передаче дел: «А сумка у тебя есть? В чем будешь бумаги носить?» Разумеется, никакой сумки у меня не было, в школу мы ходили с книгами за поясом. И тогда он достал эту сумку со дна шкафа среди старых бумаг. «На, держи. Это сумка Айтаалы. Как бросил ее, когда уходил в армию, так и лежит. Бери, пользуйся. Не будешь же носить бумаги в руках...»

Так эта сумка попала ко мне. В ней я обнаружил разные деловые записи, старые квитанции, неврученные извещения об обложении дворов разными налогами, и среди этих бумажек было письмо в стихах, признание в любви. «Ашыктык кат» — так и было озаглавлено это послание. Видимо, Айтаалы не успел передать его той девушке, которой оно предназначалось. Я не знал, как с ним поступить. Имя девушки не было указано. Проставлены лишь инициалы. Мне показалось неудобным показывать это письмо кому-либо, и я по наивности своей и недопониманию взял да порвал его. Потом очень сожалел об этом. Когда в эту сумку попало извещение о гибели Айтаалы на фронте, понял я необдуманность своего поступка...

В мои обязанности входило распределять по спискам между семьями фронтовиков крохотные связочки кустарных промкомбинатовских спичек, такое же самодельное мыло, порезанное на кусочки, нитки, керосин — «чекуша» на семью...

Бедствия, лишения, страдания. Думалось: будет ли предел всему этому? Это ли не испытания? И все же самое высшее испытание заключалось не в этом — народ явил великое, невозможное выразить словами мужество, не склонив головы перед грозным ликом войны. Как бы ни приходилось трудно, казалось, нет уже

никаких сил выносить все новые и новые беды и бремя тягот, казалось, терпение человеческое уже на исходе, и все же люди не утратили способности к борьбе, снова и снова принимались делать все, что от них могло зависеть.

О женщине военных лет сказано много. Достойно и справедливо воспета она как труженица и мать. И все-таки, будь я скульптором или художником, жизнь посвятил бы тому, чтобы создать образ женщины военных лет, в котором попытался бы выразить в едином порыве все свои чувства благодарности, восхищения, гордости и сострадания к ней, к этой великой фигуре XX века.

Помню, как-то появился в сельсовете заезжий художник. Пожилой человек рисовал за муку портреты стахановок. Наша красавица Асия Дубанаева, лучшая звеньевая, веселая и общительная, на портрете получилась совсем иная. Похожая и непохожая на себя. Не знаю, сохранился ли тот портрет. Молодое, красивое лицо с глазами, полными тревоги и скорби. Мы стояли возле художника, наблюдая за его работой. Кто-то сказал художнику, что Асия непохожа на себя.

— Она похожа на всех, кто ждет мужей,— ответил художник.

К сожалению, наша Асия так и не дождалась своего мужа. Так и прошли ее годы: ожидая, работала, работая, ожидала.

Подростки — все же большие дети. Но именно они рядом с женщинами приняли на себя в те дни на неокрепшие, полудетские свои плечи мужицкие заботы о хлебе насущном... Тогдашние мальчишки двенадцати-тринадцати лет стали пахарями и хлеборобами. В 1942 году наш колхоз в Шекере решил распахать дополнительно более 200 гектаров новых земель под яровые. «Хлеб для фронта!» Этим было сказано все. По нынешним понятиям, вспахать пару сотен гектаров никакая не проблема. Загнал трактор на полосу— и делу конец. Тогда же, при конном тягле, при считанных плугах в колхозе, поднять сверх плана такую пашню было делом подвига. Да, именно так! За день четырехконная упряжка двухлемешного плуга может от силы обернуть пласт на залежном или целинном поле немногим более полугектара. Вот и считайте...

Ребятам-пахарям пришлось бросить школу по этой чрезвычайной причине. Потому как готовили коней с зимы. Тягловый конь требует каждодневного и неусыпного ухода, иначе в первые же дни посевной выйдет из строя. Работа с плугом наитяжелейшая в сельском хозяйстве. На селе это знает каждый.

Чтобы поспеть со вспашкой и севом, в тот год выехали в поле самой ранней весной. Почва только-только задышала. Можно сказать, зима еще не сошла. Помню, как сейчас, то был конец февраля.

В первые же дни я поехал проведать своих товарищей на поле в Кок-Сайскую степь. Когда выезжал утром, день стоял серый, пасмурный. А когда приехал, снег повалил вдруг. Закружило, побелело. И вот с тех пор не покидает мое воображение та картина маленьких плугарей в плывущем по воздуху снегу. Снег был крупный, густой, быстро тающий. Он шел на огромном, пустынном пространстве, застилая взор на весь белый свет. Тишина стояла кругом, безлюдье, только сыплет бесшумно падающий снег. И только плугари не унимались, погоняя лошадей. Вдоль черной, перекинувшейся через пригорок полосы загона один за другим шли плуги, как корабли в тумане на крутизне воды. Они скрывались за пригорком, точно бы ныряли в волны. И тогда доносились лишь голоса ребячьи. Я поехал краем пашни на встречу с ними.

Плуги выплывают из вихрей снега. Припадая к борозде, сжались в напряжении четверки жадно дышавших лошадей. Снег мгновенно таял на их горячих спинах белым паром. Тяжело коням, земля под ногами сырая, мокнущая, сбруя наволгла. Да и ребятам понукающим не легче. На головах у них набрякшие от сырости порожние мешки... А сами с локоток. Им бы в такую погоду в теплом углу сидеть. Но они дети войны, и они знают, что такова их доля и ответственность.

Снег идет... В белой завесе снега ползут черные упряжки плугов. Плуги идут, не останавливаются... Узнаю ребят по голосам. Байтик, Тайрыбек, Сатар, Анатай, Султанмурат... Мои одноклассники. Я долго не приближаюсь к ним, не хочу, чтобы они видели, как я плачу...

Зимой мы пережили страшный случай. Ночью раздался сильный стук в окно. Нагнувшись с седла, кто-то кричал:

— Вставай! Быстрее на конюшню! Лошадей увели!

Я мигом оделся и побежал. Из домов выскакивали люди, натягивая на ходу одежду. Приближаясь к конюшне, услышал громкие, взволнованные голоса. Оказывается, в полночь, когда уснул дежурный конюх, неизвестные увели двух лучших лошадей со стойла с краю от ворот. Конюх сперва подумал, что лошади отвязались случайно, и спохватился лишь тогда, когда обнаружил, что вместе с лошадьми исчезли и седла. Выскочил, но было поздно...

Надо было догнать конокрадов. Без седел, кто на какую лошадь успел вспрыгнуть, кинулись мы в разные стороны, вдогонку. Неизвестно, что бы мы делали, если бы и догнали. Какие конокрады убоялись бы нас, мальчишек?.. До самого рассвета рыскали мы по оврагам, по буеракам, по заброшенным зимовкам, нет нигде, и следа не видно. Опытные оказались воры. Мы очень переживали: готовили лошадей к весновспашке, бросили учебу ради этого, но нашлись же такие люди, которым все нипочем...

Я сознательно пытаюсь писать обо всем как можно сдержанней и лаконичней, ибо не уложусь в необходимые границы жанра, если стану подробно излагать, что и как было в те годы в нашем Шекере. Постараюсь как-то сгруппировать людей и события. О своих сверстниках-односельчанах я мог бы поведать еще много интересного и достойного внимания, ибо мы оказались тем поколением подростков, которые на другой день войны шагнули сразу из мира детства в пучину военной жизни, в многострадальную тыловую действительность, потребовавшую от нас далеко не детской зрелости и мужества.

Думая о тогдашних своих сверстниках, я сейчас прихожу к выводу, что мое поколение оказалось столь жизнестойким и цельным, возможно, благодаря именно этой суровой обстановке. Это вовсе не значит, что современные условия материального благоденствия мало способствуют жизнестойкости молодежи. Наоборот. Только по недомыслию можно благо обернуть во зло себе. У каждого времени свой спрос с человека,

свои проблемы и требования, и потому жизнь никогда не дается легко, если к ней подходить всерьез, если дерзать, а не выискивать беспечное житье. Где обрел человек беспечное проживание, там человек кончается как цельная натура. И если на то пошло, такие возможности развития личности, как теперешние, нам и не снились. Но не об этом, собственно, речь. Я просто хочу сказать, что среди моих сверстников военных лет нет такого человека, за которого мне сейчас было бы стыдно. Нет, таких нет. Все они давно семейные люди, почти у всех уже взрослые дети, каждый занят своим делом, и мне доставляет большое удовольствие сказать, что их жизненный путь — это путь людей большого человеческого достоинства. Кого бы ни взять, за каждого можно поручиться. Братья Тайсариевы — «плугари» Байтик и Тайрыбек — от тех дней и поныне труженики, не покладающие рук, уважаемые в аиле люди, коммунисты. Байтик — звеньевой, знатный в республике табаковод. Тайрыбек — одинаково нужный человек и в полеводстве и в животноводстве. О Паизбеке Момбекове я уже говорил — 33 года учительствовал, умер два года тому назад. Токтогул Усубалиев прошел путь от учетчика до председателя колхоза. Сейчас он руководит в соседнем Бакаире. Нуралиев Абдалы — бывший комсомольский работник, колхозный активист. Токтогул Мамбеткулов, Батима Орозматова вот уже годы и годы учат в школе шекерских детей. Нурия Джолоева, Орозгуль Усубалиева тоже учительствуют в отдаленных районах. Алымсеит Доолбеков — ветфельдшер с многолетним стажем. Жапарбек Досалиев — работник лесхоза. Тургунбай Казакбаев — председатель одного из самых крупных киргизских колхозов. В хозяйстве колхоза «Россия» только овец 60 тысяч голов. Мирзабай Джолдошева — главбух тоже очень крупного колхоза в нашем Кировском районе. Гапар Медетбеков стал ведущим артистом Нарынского драматического театра...

Вот так сложились наши судьбы. Трудно, очень трудно, но не бесцельно.

У великого казахского поэта Абая сказано, что жизнь — это движение моря, когда за грядою волн катит следующая гряда, за волной «предыдущего поколения» следует новая смена, а за ней последующая и так без конца... И море живет...

Размышляя о годах войны, прихожу к убеждению, что в нашем нравственном становлении, безусловно, определяющую роль сыграла «предыдущая волна» — старшее поколение, поколение фронтовиков. Об этом можно было бы рассказывать очень многое. Конечно, все поколения всегда взаимосвязаны. В мирной жизни этот процесс протекает своим естественным ходом преемственности опыта и традиций. В войну же все резко сдвинулось. Наш тихий Шекер у подножия вечного Манаса, находясь среди гор, вдруг оказался в быстрине общих событий, потрясающих мир. Наши люди, призванные на защиту Отечества, хлынули на фронты, к нам докатывались волны эвакуированных. А за горами, через станцию Маймак, связывавшую нас с внешним миром, через Джамбул, наиболее близкий к нам город, шли и шли круглыми сутками эшелоны в ту и другую сторону — на запад и на восток. Здесь гудел напряженный пульс борющейся страны...

Одним из первых, кто это познал на собственном опыте, кто рассказал нам о войне, о фронте, о схватках с танками, о бомбовых разрывах, о лесных пожарах, о человеке в сражениях, о госпиталях, о военных хирургах, о смерти и мужестве, был наш знаменитый аильный певец поэт Мырзабай Укуев. Давно уже нет его на свете. А песни Мырзабая Укуева в округе Манаса помнят и поют по сей день.

Мырзабай Укуев — первый раненый фронтовик, которого мы встретили всем аилом с радостью и оторопью, ибо его сняли с телеги и сунули под руки костыли: он был без ноги. Такого мы никогда не видели. Хромые, кривые были. Но чтобы начисто отсутствовала нога выше колена, такого, по крайней мере мы, мальчишки, никогда не видели. Страшно стало...

Когда-то он был молодым, красивым учителем. Ездил на сером иноходце, коня так и называли — «мырзабаевский джорго». Песни петь любил Мырзабай и сам сочинял, перебирая струны чертмека. И вот теперь он появился без ноги, неестественно бледный после госпиталей и эшелонов, стоял на костылях, в окружении односельчан, улыбаясь и плача вместе со всеми.

В тот вечер при большом стечении народа Мырзабай спел свои фронтовые песни, сочиненные им в гос-

питале. То было большим для нас событием. На всю жизнь запомнилось. Все мы были захвачены песней Мырзабая, его рассказом в стихах о войне. Люди слушали, затаив дыхание, вспоминая о своих, ушедших на фронт, слушали, утирая слезы... Он пел о себе, о своих однополчанах, но он пел о каждом из нас и в целом о всем народе.

Импровизаторскую устную поэзию трудно переводить и пересказывать. Потому что соль «акынского» стихосложения в самом моменте творчества, в синхронности исполнения и сочинения. И все же попробую. (Сыны разных народов — русский, казах, узбек и киргиз — стали мы в армии роднее родных. Одна у нас мать — наша страна, белым молоком вскормила всех нас. Как же сердце наше утерпит, джигиты, если мать наша в беде! Не она ли наша опора, когда в гору крутую идти, не она ли наша надежда, когда с горы крутой спускаться. Поклянемся, как клялись батыры, если смерть, будем лежать на одном поле, если победа, будем стоять на одной горе. Так говорили мы друг другу, приближаясь в лесах к местам боев с фашистами. И уже гудела под ногами земля, как будто великое землетрясение учинилось. И уже падали сверху бомбы, страшным воем своим изгоняя душу из тела и вскидывая черную пыль к небесам. И мы вступали в битву близ Ленинграда...)

Вот так он пел своим аильчанам. И особенно дорого и трогательно было для нас то место в истории Мырзабая, когда воинский эшелон, шедший из Новосибирска на фронт, видимо, изменив маршрут следования, вдруг оказался на линии, проходящей через нашу станцию Маймак. На рассвете, не сбавляя хода, эшелон проследовал, не задерживаясь на станции, через Маймакское ущелье, через тоннель, вдоль Таласского хребта, мимо горы Манас. И, видимо, тогда родились слова, потрясшие нас в пении Мырзабая и ставшие с тех пор нашей аильской песней. То были слова сыновнего прощания, обращения к горам Ала-Тоо:

В стороне от взора остался Ала-Тоо,
Сине-снежный, чистоводный Ала-Тоо
В стороне от взора остался наш Манас.
Беловерхая, отцовская гора Манас.

До свидания, сине-снежный Ала-Тоо,
Пожелай сынам своим победы над врагом.
До свидания, отцовская гора Манас,
Пожелай сынам своим победы над врагом.
Я в зрачках своих, как в зеркале,
вас увезу с собой —
Сине-снежный, чистоводный Ала-Тоо,
Беловерхая, отцовская гора Манас...

Сколько раз потом доводилось нам петь эту песню при встречах и расставаниях! А их было немало...

Зимой того года провожали мы восемнадцатилетних парней. Еще недавно, казалось бы, «водились» мы вместе. Пусть чуть постарше, но они были нашими обычными друзьями, товарищами. Теперь эти ребята уходили на фронт. И среди них Джумабай Орунбеков, мой родственник и друг. Он был совсем юн. Учился в школе, потом работал в колхозе. Вот и вся жизнь, которую он отдал на поле брани. Запомнилось, как он первым, когда ребята сели на телегу, запел эту песню:

Я в зрачках своих, как в зеркале,
вас увезу с собой —
Сине-снежный, чистоводный Ала-Тоо,
Беловерхая, отцовская гора Манас...

И они покатили по улице через аил. Провожающие бежали за телегой. И только Мырзабай остался на костылях стоять на месте, прислушиваясь, как долго еще доносилась с дороги песня расставания с родиной.

Мырзабай Укуев пользовался в нашем аиле поистине большим уважением и почетом. Не было события — будь то собрание колхоза, после возвращения и до конца дней своих Укуев работал счетоводом, всегда состоял членом партбюро, будь то семейные торжества, на встречах и прощаниях,— и в беде и радостях аила Укуев всегда был желанным, нужным, своим человеком. Мудрым словом и песней он внушал людям надежду, заставлял верить и бороться за победу.

В нашем аиле все от мала до велика гордились им и знали его фронтовую биографию. Знали по именам, с кем он служил, кто они и откуда были те люди, кто командовал ими, ибо обо всем этом рассказывалось в его напетой поэме о войне. Знали, как и при каких обстоятельствах был он ранен и кем спасен.

Случилось это под Ленинградом, в лесах, кажется, летом или осенью 1941 года. В одном из боев рядом разорвался снаряд. Помнит, что что-то ударило в колено. Когда очнулся, то бой все еще продолжался, вокруг все грохотало от стрельбы и разрывов. Истекая кровью, лежал он, не в силах двинуться, и уже прощался с жизнью, когда подползла к нему санитарка. Русская девушка Таня. В аиле ее называли Тания. Если бы знала она, наша Тания, как ею восхищались и как ее любили односельчане Мырзабая Укуева. Жаль, что теперь уже не установить, кто она была, Таня, поскольку Мырзабая Укуева уже нет в живых. Это она успела наложить бинты и сумела вынести его с поля боя. Это о ней пел Мырзабай нам:

> Какая мать родила такую девушку,
> Добрей которой не сыскать на свете...
> Та женщина мне стала роднее родной матери,
> Какой отец воспитал такую девушку,
> Храбрей которой не сыскать на свете,—
> Тот человек мне стал роднее отца родного...

Эти строки я привожу, разумеется, в очень приблизительном переводе. Сказовую поэзию, связанную как таковую всецело с моментом живого исполнения ее творца в присутствии слушателей, излагать на бумаге, возможно, не стоит. На бумаге она умирает, как цветок, засушенный между страницами книги.

Послевоенная молодежь Шекера многим была обязана таким фронтовикам, как Мырзабай Укуев. Он очень переживал, что нам пришлось прервать учебу в школе. В сорок четвертом году, когда уже война перекатилась на запад, когда стали возвращаться трудармейцы и многие раненые фронтовики, Мырзабай заторопил нас с учебой. Часть из нас уже тогда вернулась за парты. После войны я поехал учиться в Джамбулский зооветеринарный техникум. Время было, прямо скажу, очень-очень трудное, голодное. Както в перерыве между занятиями кричат мне: тебя ищет какой-то человек на костылях. Выбегаю во двор — то был Мырзабай-ака. Улыбается, поглаживая усы. Я тоже очень обрадовался.

— По делам приезжал в город, на базу, дай, думаю, загляну, как ты тут постигаешь науки.

Я ему рассказал о нашем житье-бытье. Доволен остался.

— Пошли на улицу,— заковылял он со двора.— Я там кое-что привез тебе в телеге.

Мы пошли к воротам.

— Вот что,— сказал он мне тогда.— Я знаю, тут нелегко, тут сейчас очень трудно. Но не вздумай бросать учебу. Мы сейчас не имеем такого права. Война кончилась. Если придется уж очень туго, дай знать. Придумаем в аиле что-нибудь. Только учись...

Сверстником Мырзабая Укуева, его другом и таким же для нас наставником в то время был первый комбайнер нашего аила, старый коммунист Тойлубай Усубалиев. Теперь, как мы его зовем, Тойлуке-аксакал, дед многочисленных внуков. Сын его — Сатий Тойлубаев — чабан элитной отары в совхозе «Кок-Сай». У Сатия дети подрастают шеренгой. В большом уважении у потомков своих Тойлубай Усубалиев. Но накануне 30-летия Победы хотелось бы мне сверх того напомнить им, молодым, что Тойлуке в годы войны был тем редким человеком, которого, несмотря на его просьбы, не отправляли на фронт — он был единственным комбайнером на несколько колхозов. И то, как он работал на комбайне, теперь легенда. И никто не поверит, что такое возможно, ныне даже не возьмутся ремонтировать такие машины — вывезут на свалку, а он жизнь свою вселял в развалины комбайна и делал свое дело... Это о его комбайне я писал в повести «Джамиля». Летом 1944 года во время уборочной кампании я работал у него помощником. Когда комбайн был на ходу, пусть то круглые сутки, отдыха мы себе не позволяли... Фронт не ждал, хлеб не ждал... Самое героическое лето в моей жизни. Никогда не забуду тех дней...

И снова песня. Вот уже трава зеленеет по обочинам, бродят стада с приплодом на склонах, на косогорах. Поля пошли разделанные, как зеркало, то озимые, то пропашные. Снова поля, то пропашные, то озимые... Позади остался Джамбул, неудержимо растущий, насыщенный современными темпами урбанизации, бывший караванный Аулие-Ата. Отсюда на эшелонах уезжали мои земляки на фронт, сюда, на железную дорогу, привозили мы свой хлеб для фронта... И вон уже впереди завиднелись под облаками снега Манаса...

Первый секретарь Джамбулского обкома партии Хасан Бектурганович Бектурганов, политрук роты лыжников в обороне под Москвой, как-то сказал в разговоре, что у каждого солдата есть посмертное поручение павших однополчан — сделать жизнь такой, чтобы вспомнить о них, о павших, с гордостью и с чистой совестью.

То же самое мы могли бы сказать о себе, о неисчислимой народной рати тыла военных лет.

Об этом думалось в пути, глядя на снега отцовской горы Манас-Ата.

1975 г.

ДУХУ ХЕЛЬСИНКИ АЛЬТЕРНАТИВЫ НЕТ

Мы все понимаем — пути наши сошлись в Софии далеко не случайно. Слишком много для этого в мире серьезных причин. Мы собрались, в общем-то, в напряженное, если не сказать, в тревожное время — непримиримая борьба человеческого духа с собственными противоречиями приняла в наши дни глобальный и чрезвычайно обострившийся характер. Мы приехали сюда с тем, чтобы посвятить друг другу в свои самые сокровенные мысли, с которыми зачастую остаешься наедине с собой, размышляя о жизни, о человеке, о судьбах современного общества. Никогда еще мир не достигал такой усложненности, никогда еще человек не испытывал таких ошеломляющих перемен, как в наши дни, никогда еще перед человеком не возникали такие перспективы развития и такие угрозы его существованию, как сейчас.

Все это неизбежно находит свое отражение в культуре, в нашем художественном опыте, в характере наших раздумий. Ведь за пределами книги обычно остается еще много такого, что живет в нас в ожидании своей формы, своего образного выражения. Позвольте мне сказать о том, что меня давно волнует, что я хотел бы сообщить вам. Позвольте мне засвидетельствовать свое глубокое уважение к присутствующим.

Здесь собрались те, чьими устами глаголет современная литература, те, кто ныне создает, творит ее изо дня в день, вдыхая в нее свои жизни и страсти. Время

покажет, на что оказались мы способными, отважившись на этот тяжкий и неизбежный путь поисков истины и красоты духа, со временем станет ясно, что открыто на этом поприще познания действительности, на котором до нас трудились многие поколения великих художников слова, время покажет, что нам удалось прибавить своего к вечному сказу человека о человеке, и тогда же обнаружится и то, что не удалось нам сделать, что оказалось не по силам, короче говоря, время — всему судья.

Но есть вещи, которые мы не можем отложить на бесстрастный суд истории, вещи, которые требуют, чтобы о них говорили сейчас, с непременной оценкой сути явлений. Именно сейчас, если мы хотим быть убеждены, что сделали при жизни все зависящее от нас,— ибо ясно, речь идет о самом существенном — о борьбе за мир. Образное слово художника, ратующее за сохранение жизни на земле, не может быть оставлено на потом — оно требует своего немедленного действия. Так обстоит дело в наши дни, если мы хотим до конца быть верными призванию и долгу писателей.

Мы пишем для людей, для современников своих, чтобы средствами литературы культивировать те качества, те черты личности, которые в наибольшей степени соответствуют совокупному опыту всех времен — основным человеческим идеалам. Да, в этом было и остается истинное, вековечное назначение литературы. Я понимаю, этот подход к задачам литературы наших дней, освоившей изображение сложнейших движений души и интеллекта в их противоречивости, в их глубочайшей социальной обусловленности, может на первый взгляд показаться несколько упрощенным, и тем не менее именно это — извечные и общечеловеческие идеалы — остается коренной проблемой литературы и искусства. Ибо могут изменяться и изменяться функции литературы, но ее первооснова — отражение человеческой сущности — остается неизменной. И потому, быть может, сейчас важнее, чем когда бы то ни было, прежде всего способность литературы сделать узнаваемыми чувствования другого человека, научить каждого из нас думать о другом как о самом себе, заставить увидеть, что он, другой человек, так же любит жизнь, страшится смерти, страдает, переживает, отстаивает свое право на место под солнцем.

Из того, что первооснова литературы остается неизменной, не следует, однако, что неизменны ее формы. Напротив, развитие и углубление наших представлений о человеке, об обществе, о мироздании в целом и нашем месте в нем требуют непременного развития литературы, развития в реалистическом русле, потому что реализм среди всех форм отражения действительности есть вершина нашего художественного мышления. Реализм современной мировой литературы ныне достиг такого совершенства, что он отличен от реалистических повествований прошлого, как Евклидова геометрия от геометрии Лобачевского. Как никогда прежде, литература занимает главенствующее место в духовной жизни человека. И одно это нас ко многому обязывает.

Не будем сейчас вдаваться в споры, что есть преходящее и что есть вечное в литературе, так же как какие идеологические категории, отражающие ту или иную экономическую практику, политическое устройство, способствуют наибольшим образом художественному познанию действительности, а какие выступают в роли сил инерции на нашем пути. Это особый вопрос. Всякий мыслящий человек не может не знать, что феномен вечности заключается в бессмертной красоте идеи и духа, сокрытой в предмете искусства.

А что касается борьбы идей, то все мы знаем: такова диалектика, такова суть общественного бытия — борьба идей извечна и неизбежна. В том движущая сила социального прогресса.

Мне хотелось предложить поговорить о том, что явилось общей особенностью для всех нас, для наших судеб, для нашего творчества как писателей второй половины XX века, что поставило перед нами особые творческие задачи с особой остротой. Возможно, это-то и более всего обязывает нас прислушаться друг к другу.

В силу целого ряда исторических причин мы наверняка отличаемся от наших предшественников в литературе, и надо надеяться, что судьбы наших последователей будут иными. Что я имею в виду? То, что нас всех привела сюда неотложная необходимость, перед лицом которой мы все едины и в равной степени ответственны,— никогда в истории человечества не возникала такая всеобщая угроза жизни и культуре люд-

ского рода, как в наше время, и в этой же связи никогда в истории не возникала такая опасность для природы, для жизненных функций окружающей нас среды. Все мы это хорошо знаем.

Именно потому, что на нашу долю выпала эта особенность времени, сюда собрались писатели из разных стран, писатели разных традиций, разных культур, разных политических и эстетических убеждений.

Но прежде всего я попытаюсь ответить себе, в чем же особые обстоятельства, делающие нас отличными от других эпох и неизбежно объединяющие нас не только перед лицом общей опасности, но и в самой глубинной сути современности.

Разумеется, нас прежде всего объединяет осознание общей ответственности за судьбу человеческой культуры, за нравственный климат на нашей планете. Мы можем смело сказать: сейчас выбираются пути, по которым пойдет развитие человеческого духа, и наша ответственность при этом особенно велика, потому что мы не можем отложить решение этих вопросов на будущее,— будущее само в очень значительной степени зависит от того, что мы можем сделать сегодня.

Речь идет о том, способны ли разум, культура, искусство в условиях непримиримости противоборствующих, полярных сил, при остром столкновении разных идеологий, в условиях всеохватывающей научно-технической революции пересоздать природу человека таким образом, чтобы в ней постоянно преобладали извечно великие бессмертные страсти: созидание, продление и сохранение рода человеческого, познание человеком себя и своего назначения в жизни. Ибо только в этом случае, если удастся выстоять перед лицом разрушающих сил бесчеловечности и безнравственности, сохранив и возвысив дух гуманизма,— только в этом случае человек оправдает свое наименование мыслящего существа. И этот путь единственный, другого быть не может.

История поставила перед нами жесточайшие условия выбора: «или — или».

Я далек при этом от мысли убеждать кого-либо здесь в необходимости бороться за мир на земле — это аксиома. Разве существует какая-то альтернатива это-

му? Надо ли сомневаться, что каждый из нас в полную меру своих возможностей делает и будет делать все ради сохранения жизни на земле?! В наши дни конкретная форма этой борьбы заключается в воплощении — в поступках и устремлениях — решений, принятых в Хельсинки, за превращение разрядки международной напряженности в необратимый процесс. Опять же, как было сказано выше, альтернативы нет. Нет альтернативы духу Хельсинки на сегодня. Коллективный разум человечества не изобрел пока ничего иного. Опять же возникает перед нами жесточайший выбор «или — или», ибо по сути своей это глубоко взаимосвязанные вещи — мир и человечность. Не в этом ли заключается одна из важнейших задач писателей — видеть жизнь через призму Хельсинки?!

Я не исторический фаталист, и я отдаю себе отчет в том, что если человечеству до сих пор удается ценой непрестанных усилий и прежде всего — тут я, думаю, выражу общее мнение — во многом благодаря миролюбивым акциям нашей страны, Советского Союза, отдалить угрозу ядерной катастрофы, то это еще далеко не все, что могло бы нас успокоить, что могло бы уменьшить наши тревоги. Ко всему этому необходимо еще приложить неизмеримо больше усилий для того, чтобы обуздать, обезопасить саму социальную стихию, порождающую насилие, жестокость, человеконенавистничество.

Есть тут один момент, заставляющий нас говорить об этом как о непосредственной угрозе. Мы не отделяем себя от болезненных мировых проблем, и все то негативное, с чем приходится сталкиваться ныне Западу, мы рассматриваем как общую беду человечества. Научно-техническая революция дала современным людям возможность мгновенного общения в масштабе всей планеты через средства массовых коммуникаций, физически сблизила народы через скоростные транспортные средства и тем самым сделала нас гораздо более зависимыми друг от друга, чем когда бы то ни было. Мы все сегодня в одной лодке, а за бортом — космическая бесконечность.

Но этот же научно-технический прогресс своими блистательными, универсальными успехами, вторгшимися в жизнь буквально каждого человека, успехами ощутимыми, предметными, способствовал вместе с из-

менением образа жизни распространению бесстрастного, а подчас и беспощадного рационализма и на оценку личности, народов, самобытности культур. Так называемый КПД — коэффициент полезного действия, вынесенный из техники в духовную, моральную сферу,— превратился в оправдание тому, чему оправдания нет и не может быть,— насилию, унижению, обесчеловечиванию человека. С точки зрения КПД, ставшего мерилом, своеобразным стереотипом, каждый человек взаимозаменяем, с человеческой же точки зрения каждый из нас бесценен и неповторим. Кто заменит Джульетте Ромео, кто заменит сына матери, кто заменит павших на войне?

Только стереотип легко и просто заменим. А их массовое трансформирование аудиовизуальными и прочими техническими средствами вызывает равнодушие и заставляет людей верить в то, что все это в порядке вещей. Вот что страшно и губительно в стандартизации духа, в культурном ширпотребе любого жанра и вида. Мы же не сразу осознали, что технический прогресс не означает той же степени нравственного прогресса.

Оценка человека по его КПД автоматически включает в себя неуважение к его индивидуальности, к его эмоциональной жизни, делает ненужными наши усилия в нравственном совершенствовании человека. В результате человек предстает как машина потребления, а культура получает только потребительскую ценность. Отсюда шаг до романтизации, поэтизации насилия, жестокости. С огорчением приходится констатировать, что в чудовищной индустрии культа силы и жестокости, принявшего устрашающий размах в современной культуре западных стран, мы видим угрозу всему человечеству. Так случается, когда обществу нечем заполнить вакуум бездуховности, так заронятся в сознание бациллы фашизма.

При этом самое страшное, что мы можем допустить,— это недооценка потенциальной опасности, которую несет в себе привыкание к мысли о том, что насилие в мире неизбежно и еще страшнее путать жестокость, свирепость с героикой. Я хотел бы подчеркнуть, обратить внимание на то, что пренебрежительность, которую мы склонны испытывать при соприкосновении с культурным ширпотребом, зачастую

мешает нам до конца понять зловещую связь пропаганды, бездумности с реальной угрозой войны. Это должно вызывать озабоченность прежде всего у нас, писателей, деятелей культуры.

Отсюда, мне представляется, первейшая задача литературы заключается сегодня в том, чтобы способствовать оздоровлению нравственного климата на планете, что ныне так же важно, как заботы о естественной среде, без которой не может быть нормальной, здоровой жизни.

Эта задача выдвигает перед нами для всех нас общую проблему, которую я условно называю проблемой выработки современного мышления. Ибо современники — это не только физически живущие в одно время люди, но и — что важнее всего — это люди, для которых характерны общие черты мышления. Это прежде всего способность и умение мыслить на уровне передовых, прогрессивных идей, мыслить планетарно, это, по существу, подлинный интернационализм, подлинное уважение к самобытности культур, национальных языков, художественных ценностей, выработанных всеми народами. И, наконец, это умение мыслить перспективно, различая в сегодняшнем дне тенденции завтрашнего. Понимание современности именно в этом аспекте чрезвычайно важно, если оно станет второй природой человека, его новой натурой. Оно-то и явится одной из надежных гарантий мира на земле.

Это задача прежде всего литературы. Я не намерен приписывать литературе какую-то мессианскую роль. Политические деятели борются за мир своими методами, решающая роль за ними, но литература обладает собственными способами изображения жизни и воздействия на человеческие души, и, естественно, мы, писатели, сопрягаем свои усилия, свое творчество, свое художественное видение с прогрессивными политическими устремлениями, направленными к самой великой исторической цели, в основе которой лежат идеи мирного сосуществования, идеи сохранения основных ценностей на земле — человеческой жизни и культуры.

Я не могу не подчеркнуть при этом (мы говорим об этом с гордостью и надеждой), опыт XX века убеждает: среди всех достижений мирового сознания ленинские принципы мирного сосуществования явили собой,

без преувеличений, вершину разума и гуманизма. С этой верой и надеждой мы обращаемся ко всему свету.

Друзья, товарищи, мы живем в экологии стремительных перемен. В Древней Индии говорили: изменчивость — единственное, что неизменно. Это никогда не ощущалось так реально, как в наши дни. Мы изменяем мир, мир изменяет нас.

В современных условиях все более усложняющейся конструкции бытия литературе уже недостаточно быть просто зеркалом, плоско отражающим окружающие предметы, она должна быть многогранной призмой, правдиво воссоздающей в своих стереосферах глубины жизни и человеческих судеб. Этому мы посвящаем свои дни и труды.

1977 г.

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА VII СЪЕЗДЕ ПИСАТЕЛЕЙ СССР



На днях я прочитал книгу одного ученого о долголетии. Книга эта захватила меня так, как ни один бестселлер. И я подумал: вот как надо писать, чтобы читатель увидел в твоем сочинении настолько жизненно необходимое для себя дело, что не мог бы оторваться до заключительной строки и сожалел бы, что книга кончилась, и долго еще думал потом о прочитанном.

Утопия? Да. Но и без утопии жить нельзя. Нельзя обращаться к человеку с книгой, которая не предназначалась бы для него как предел откровения, как некая новая библия. И так каждый раз. Даже если это недостижимо. Но таков должен быть закон искусства, закон работы художника.

Так чем же увлекла и потрясла меня эта научная вещь? Поэзией философии! И хотя я далек от мысли сравнивать такую книгу с произведением художественной литературы — это совершенно различные стихии,— но есть одно великое свойство, точнее говоря, преимущество искусства. Подлинное творение искусства не заканчивается на последней странице, не исчерпывает повествование с окончанием истории героев, оно переселяется в душу и сознание читателя, оно продолжает жить и воздействовать как внутренняя сила, как мука и свет неумирающей совести, как поэзия правды, которая заключает в себе отнюдь не безоблачное, прекраснодушное восприятие мира, но и страдание, но и мужество преодоления трагедии, которая неизбежна в жизни любого человека.

Казалось бы, сколько уже сказано и пересказано во все эпохи по поводу назначения и

природы художественного творчества. Существуют горы трудов. И однако—и это еще одно непреложное свойство искусства — раздумья о путях и судьбах литературы нескончаемы, поскольку у каждого времени свои заботы, свои тяготы, свои надежды.

Вот и на этот раз, собираясь на наш съезд, каждый из нас, несомненно, думал о времени, в котором мы живем, ибо нет на свете ничего из присущего миру людей, именуемого издавна в двух всеобъемлющих словах «добро» и «зло», нет ничего такого в жизни человека и общества в прошлом и настоящем, что не имело бы отношения к литературе и искусству. В этом смысле все на свете существует для нас и мы для всех.

Об этом необходимо думать постоянно, бесконечно, как бесконечна сама жизнь. И из этих дум в результате выкристаллизовывается замысел — идея, содержание, форма произведения. Отсюда наша ответственность — ответственность художника своего времени.

Памятуя об этом, снова и снова сверяя свои наблюдения с реальностью, с делами, с идеями, провозглашенными социализмом, и воплощением их в действительности, спрашиваем себя: как мы живем, куда мы движемся, что ждет нас завтра, как лучше быть полезным людям в их устремленности создать наиболее справедливую, наиболее умную и красивую жизнь на Земле? Ведь в этом суть — в извечной, неуемной, все время ускользающей и возникающей, как птица Феникс из праха, великой и святой надежде счастья, для всех и повсюду и навсегда. Такова она — бессмертная и могучая иллюзия вечного духа борьбы.

И в этой связи, насколько правдиво твое слово в искусстве, правдиво исторически и эстетически, насколько оно отвечает идеалам и реальности, потребности общества, в котором ты гражданин, и прежде всего — насколько содействует оно тем коренным открытиям эпохи, что были выдвинуты Октябрьской революцией.

Ответ на этот вопрос не так прост, подчас он мучителен, ибо наша современность сложна, противоречива и многолика. Взгляду открывается повсюду пестрое слияние разнообразных жизненных проявлений, личного, социального, исторического характера, требующих своего художественного исследования в аспекте всего мирового поэтического и философского опыта.

И только в том случае, если художник выступает не просто как зарисовщик быта, но и как гражданин, как судья, ответчик и пророк одновременно, совмещая в своей творческой ипостаси и Иешуа и Понтия Пилата, возникает заключенный в лицах и действиях опыт времени на долгий срок для поколений. Таков для нас Толстой, таковы Достоевский, Горький, Шолохов. И, смею думать, только так, развивая и обновляя основу художественных традиций, не отступая ни на шаг от революционных идей, ибо мы возвестили новую эру и несем за это ответственность, мы могли бы удовлетворить духовные запросы современного человека, который и есть носитель сложности сегодняшнего мира и который вновь и вновь, неизбежно и неодолимо, приходит к всегдашнему вопросу о том, кто он, что он и как он стал таким, каков он есть в канун нового тысячелетия на Земле.

Так обстоит вопрос, как мне думается, в целом, во всяком случае, надеюсь, для многих из нас,— что писать, как писать, зачем писать.

Да, пишущих много. Верно и то, что все мы исходим из благих намерений. Но далеко не все из напечатанного имеет отношение к настоящей литературе. Актуальность ли замысла, важность ли темы не могут сами по себе быть некой самоценностью, ради которой стоило бы писать книгу. И об этом надо говорить прямо, не выдавая мнимое за подлинное.

Предмет искусства — не тема, затвержденная в графе перспективного плана мероприя-

тий, а острейшие проблемы бытия, противоречия, конфликты эпохи, система отношений личности и общества, и вытекающие отсюда судьбы, истории, образы, поступки людей.

Синтез проблем и конфликтов — это та почва, на которой зиждется искусство, на которой вырастают характеры настоящего и будущего.

Когда же мы пренебрегаем этой закономерностью, заранее собираясь что-то воспеть, приукрасить, исходя из соображений чисто тематических и прочих, то тем самым мы предполагаем лесть. Эта лесть порождает и особый стиль — высокопарный и примитивный одновременно, стиль лживой романтики.

Человек же хочет знать о себе правду. Подчас, возможно, и горькую, ибо, устремленный к идеалу, он хотел бы знать и то, с чем извечно борется человеческий дух в самом себе. А это можно передать лишь средствами подлинного реализма.

Скажу о «деревенской прозе», и вот в каком плане. Так называемую деревенскую прозу, которой критика так и не сумела найти лучшего определения, обвиняли во всех смертных грехах, в том числе и в ностальгии по патриархальному быту, в ограниченности, противопоставлениях городу и прочее и прочее.

Мы просто оговаривали себя, боялись обжечься огнем и утверждали, что этот огонь не огонь. Но теперь ясно, что такого рода проза в лучших ее образцах была вызвана в литературе жизненной необходимостью откликнуться на драматические события, переживаемые послевоенной деревней, необходимостью сохранить и, более того, восстановить в новом качестве, в новых исторических условиях те духовные, нравственные, этические, трудовые традиции и ценности, которые подверглись испытанию временем. Эта проза деревенская по географии и образу жизни героев, но она общечеловеческая по знанию, ибо она выражает людей, а через них время, историю и, если хотите, черты эпохи.

«Деревенская проза» стала в некотором роде эпосом нашей современности.

Я хочу особенно подчеркнуть то обстоятельство, что эта проза, относимая к разряду деревенской с оттенком скрытого снобизма, по сути дела, явилась высшим достижением советской литературы 70-х годов, поскольку, повторяю, она вторглась в самые наболевшие проблемы наших дней. Она показала человека, глубоко переживающего боль, и если угодно, ощущение вины перед заброшенной пашней и нескошенными лугами, перед самим собой, утратившим чувство рачителя земли, хранителя и творца народного уклада жизни.

Под пером «деревенщиков» — этой прекрасной плеяды ныне действующих писателей — «деревенская проза» возросла до эстетической и исторической общезначимости, и в том, должно быть, магия искусства; эта волна определила один из магистральных путей развития современной литературы, обозначила новый уровень реализма, партийности и народности творчества в доподлинном смысле этого слова. «Деревенская проза», повествующая о народной жизни, стала понятием высокой гражданственности, великой сыновней любви художника к народу, его сопереживания и соучастия в делах и судьбах современников. И если говорить о национальных свойствах литературы, то это как раз опыт глубокого национального проникновения в суть характеров, отношений и традиций, без чего не может быть настоящего, жизненного искусства, обращенного к большому миру. Кто знает, быть может, настанет время, когда под названием «деревенская проза» будет подразумеваться высокое качество литературы вообще.

Вместе с этим я не могу не сказать и о том, что меня тревожит. У меня возникает такое ощущение, что пора приступать к бурению новых «скважин» на полях деревенской темы, ибо в старых скважинах добыча вроде бы подходит к концу. Возможно, я ошибаюсь. Во всяком случае, глубокое философское осмысление воз-

рождающейся народной жизни на селе необходимо.

Но о чем бы мы ни писали, на производственную ли тему, нравственную или историческую, как принято подразделять, мы должны помнить о главном: человек — не узкая специализация, он хочет видеть и воспринимать мир не просто как слесарь, архитектор, врач, тракторист, а как цельная гармоническая личность. Обращаясь к культуре, взаимодействуя с людьми, он выступает как человек вообще, а не как носитель той или иной профессии. Но, чтобы увидеть себя со стороны, ему надо подняться на большую высоту, ради чего и существует искусство, но для этого, однако, явно недостаточно той узкой специализации, в рамках которой пишутся наши книги о профессиях — о строителях, о геологах и так далее.

Наш наипервейший долг — писать хорошо. Как сказал Маркес: это революционный долг художника — писать хорошо. Вроде бы просто и понятно. Но не так все просто. Можно сколько угодно заявлять о своей приверженности идее, но если литератор не в состоянии выразить ее с подлинной художественной силой и страстью, а только проиллюстрировать, он способен разве что дискредитировать саму идею. Но что значит писать хорошо? Вряд ли кто сможет ответить исчерпывающе. Это, как мне кажется, и мощь замысла, и идейная убежденность, и выход мыслью в общечеловеческий космос, где сходятся в узел самые сокровенные помыслы человеческого рода...

Одна из главных задач писателя — ставить диагноз нравственного состояния общества, предвидеть эволюцию в духовной атмосфере времени.

В этой связи я хотел бы сказать несколько слов о проблеме школьного учителя как воспитателя, словесника, проповедника культуры, как основной фигуры в обществе, связующей поколения и формирующей облик юных граждан. Да, такая проблема существует. И не по-

тому, что с учителем в стране что-то неладное, нет, он на месте, он дает образование. Однако образование и воспитание далеко не одно и то же. Не исключая, разумеется, семью, от учителя зависит, каких нравственных принципов будет придерживаться в будущем человек, что он будет читать, сможет ли осилить Достоевского и Толстого или ограничится чтением детективных романов в ранней юности?

А что он будет читать и сможет ли разобраться, сделать выбор в современной ему, текущей, литературе? Чтобы учитель был учителем, его должны уважать окружающие люди. В этом смысле учитель в наши дни попал в трудное положение. Ему положено быть высоким авторитетом, наставником, примером, носителем лучших качеств культурного человека. Вспомните, каков был учитель в наши школьные годы, какая это была уважаемая фигура, особенно на селе и особенно на Востоке. Он был учителем для всех — и для малых, и для взрослых.

Таков ли он сейчас, школьный учитель? Не осмелюсь утверждать. Но тревогу скрывать нет смысла.

Учительство — великая сила страны. Духовный потенциал учительства определяет в нашей жизни очень многое. Истоки знаний, культуры, патриотизма закладываются в сознание детей при непосредственном и повседневном радении учителя. Но и он сейчас сталкивается с такой силой, одолеть которую не так просто.

Дело в том, что повышение жизненного уровня народа имеет и свои диалектические негативные стороны. Надо улучшать жизнь, безусловно. Необходимо, чтобы люди жили обеспеченнее, комфортабельнее, богаче. Не об этом речь. Беспокоит другое. Издавняя болезнь. Не случайно, должно быть, у нас издавна говорят: «Аш, еси болоо кааде коп» — «Велика сытость — велико высокомерие».

Мы оказались недостаточно подготовленными в социальном, нравственном и культурном смысле перед лицом резкого роста материальных возможностей, что вылилось в болезнь потребительства среди определенных слоев населения. И как следствие этого — утечка духовности, ослабление идейности, дух приобретательства на фоне пресловутого «я тебе, ты мне» и прочие недуги мещанства вплоть до расхитительства, спекуляции и взяточничества.

На пути этого ползучего потока, несущего с собой смещение истинно человеческих и нравственных ценностей, оказался школьный учитель, который в силу того, что ничего не может «достать» из дефицита и потому мало что значит в глазах обывателя, чувствует себя не совсем уютно.

Учитель первым принимает на себя этот удар бездуховности: атака мещанства идет здесь изо дня в день, и ему не сдержать ее, если не поднимется на помощь вся культурная общественность.

Речь уже идет не о процессе и качестве преподавания литературы, здесь должна подняться вся культурная общественность. Как здесь говорил в своем прекрасном выступлении В. Абрамов — о процессе и качестве преподавания литературы.

Речь идет о большем — не о преподавании, не о процессе, а о самом учителе как о личности.

Мы все обязаны помочь поднять профессиональный и социальный престиж школьного учителя, если мы хотим, чтобы воспитателем был учитель с большой буквы, а не случайный человек, не имеющий призвания, тяготящийся ношей педагога. А потому этот вопрос перерастает в проблему приема, отбора в педвузы вообще, обнаруживает связь со всеми издержками, со всем тем, что связано с приемом студентов.

И публицистика, и большая литература в долгу перед школьным учителем. Не будем забывать об этом!

Вот такие дела! — как любят выражаться персонажи Воннегута.

Но над всеми этими делами и заботами нависает сейчас самая страшная проблема. Никогда и никто еще до сих пор не сталкивался с такой невероятной, немыслимой, невообразимой, угрожающей нам с вами опасностью.

Как сохранить мир на своем месте?

Человечество давно было озабочено концом света и еще на заре самосознания пыталось предвидеть и даже нарисовать его. В Библии — это великий потоп, в других произведениях — всевозможные стихийные сокрушения. Согласно китайской мифологии, должен появиться гигантский крокодил, который поглотит солнце, и наступит всему конец.

Как бы это ни было, человек был обязан представить себе исход мира, поскольку он наделен был воображением, но и при этом он оставлял себе лазейку, уповая, в частности, на второе пришествие.

Но до нас с вами никто и нигде в истории не мог себе представить — и никому такое не приходило в голову,— что конец света может наступить в результате самоистребления, самоубийства человеческого рода, накопившего в своем арсенале смертоносные средства космического объема.

Такое никому не мерещилось в прежние времена. И во втором пришествии, выходит, отпадает необходимость. И действительно, куда и зачем пришествовать, если случится то, что замысливают люди, возгордившиеся от пресыщения властью, военными достижениями и безнаказанным манипулированием общественным сознанием с помощью господства над массовыми средствами коммуникации. Эти люди ставят себя уже превыше богов. И об этом мы должны говорить со всей силой, и пусть американцы постигнут, что их правители совершают пре-

ступление против самой Америки прежде всего. Такова логика событий.

Борясь за мир, за наши советские инициативы, нам предстоит осмыслить не только в публицистических выступлениях, но и в большой литературе, в судьбах и жизнях людей это обстоятельство, это трагическое противоречие конца XX века, заключающееся в беспредельности человеческого гения и невозможности реализовать его, невозможности пользоваться его плодами из-за политических, идеологических, расовых барьеров, порожденных империализмом.

Когда экономические и экологические нужды человечества требуют осуществления этой возможности ради продления цивилизации на Земле, разжигание розни между народами, растрачивание материальных ресурсов и мозговой энергии на гонку вооружений есть самое преступное злодеяние против ныне живущих людей и их потомков.

Этому растранжириванию человеческого потенциала должен быть положен конец!

Если вдуматься, художнику наших дней предстоит сопрягать свои силы в масштабах небывалых в истории, проповедовать и внушать человеку мысль о необходимости чувствовать, думать, понимать другого, как себя, обращаться ко всему свету, доходить словом до каждого индивидуума.

Только при этом условии можно надеяться, что человек избежит эмоционального оскудения, избежит озверения, избежит технического дикарства и не посмеет нажать ту самую ядерную кнопку, к которой подключены все жизни.

Мир замер в ожидании. Мир поднимается, как грозная, вскипающая океанская волна, но тем временем сигналы тревоги, превращаясь, к сожалению, в риторику привычных повседневных ситуаций, скользят по сознанию людей, заставляя их насторожиться лишь на мгновение, ибо их жизнь, дела, семья, повседневные заботы и быт ждут их.

Человеку свойственно жить сиюминутной жизнью. Литература и искусство призваны эти великие идеи перевести из глобального плана в личный план, чтобы каждый человек понимал, и думал о проблемах мира, как о собственных.

Это наша миссия, это наша задача, это дело всех деятелей литературы и искусства, и в первую очередь советских художников, ибо предпосылка социализма заключается в том, чтобы найти гармонию всеобщего благосостояния и счастья и удовлетворение потребностей и права на счастье каждого человека.

Это наш девиз, и я думаю, что мы будем его свято придерживаться.

1981 г.

ХРУПКИЙ ЖЕМЧУГ ИССЫК-КУЛЯ

В истории человеческого общества издревле проявлялся некий внутренний конфликт: удовлетворение надобностей насущных и первоочередных зачастую противоречило потребностям высшего порядка, не носящим характер повседневности. И может быть, всего ощутимее это противоречие обнаруживалось в отношениях между человеком и природой.

Людям, занятым решением актуальных задач, погруженным в эти дела и заботы, кажутся они самыми важными и неотложными. Но живем мы не в вакууме, мы обитаем и действуем в мире природы. И, увлеченные заботами повседневного бытия, гипотетически представляем порой, что черпать из него можно сколько угодно и когда угодно.

Однако иллюзорность представлений о неиссякаемости ресурсов природы в последние десятилетия становится все более очевидной. Возьму самый близкий, а потому, быть может, самый болезненный для меня пример: озеро Иссык-Куль.

Его называют голубой жемчужиной, имея в виду невиданную красоту. Что ж, так оно и есть. Заключенное в оправу из кольца снежных хребтов, отличается оно индиговым цветом воды и ее кристальной прозрачностью. Мне доводилось бывать на некоторых берегах Тихого и Атлантического океанов. Там зачастую мутный вал грозного прибоя, перемешанный с илом, песком, грязью, нефтяными пятнами, буквально выбрасывает человека, рискнувшего войти в воду. В такие минуты мне всегда вспоминалось наше высокогорное озеро, тоже, кстати, обладающее «морскими» качествами. Насколько же умиротвореннее и благожелательнее к человеку его воды, насколько полноценен и богат здесь отдых!

Голубая жемчужина... Произнося традиционное это определение, мы имеем в виду прежде всего внешние, видимые глазу качества. Но ведь есть у жемчуга и другая ипостась — он хрупок и, расколотый, раздавленный, уже не представляет никакой ценности.

Хрупка, нежна и, как оказалось, уязвима жемчужина Иссык-Куля. Не у одного меня при мысли об озере рождается ощущение горечи и тревоги. Озеро, как шагреневая кожа, все сжимается и сжимается. Даль-

ше и дальше отступает от берега его вода. Только за последнее десятилетие уровень его понизился почти на три метра.

По расчетам ученых, уровень Иссык-Куля в ближайшие десятилетия при таком положении вещей уменьшится еще на три-четыре метра. При этом только поддающийся учету экономический ущерб, по данным Госплана республики, исчисляется сотнями миллионов рублей. А в какой валюте выразить экологический, социальный, нравственный урон?!

Реестр возможных потерь, составленный учеными, довольно обширен. Береговая линия может отойти на пятьсот — тысячу метров. Температура воды понизится на две трети градуса. Почти на месяц короче станет купальный сезон, в пионерских лагерях в связи с этим будет не три, а две смены. Около двух миллионов тонн целебных грязей, образование которых длилось тысячи лет, обречено на гибель. Высохнет кольцо облепихи и эфедры, обрамляющее озеро. Исчезнут нерестилища. Ухудшится навигационная обстановка. Будут потеряны естественные пляжи. Утратят смысл функциональные и архитектурные решения уже воздвигнутых здравниц...

Перечень этот можно продолжать. Но — достаточно. Годовой дефицит воды в озере достиг уже 400—500 миллионов кубометров, а к двухтысячному году он обещает удвоиться. Возникновение этого дефицита объясняется просто: влага более чем сотни рек, речек и ручьев, искони впадавших в Иссык-Куль, в наше время не достигает естественного водоема — почти полностью расходуется на орошение. Площадь поливных земель в котловине озера превысила уже 150 тысяч гектаров.

Короче говоря, интересы людей вступили в противоречие с нуждами озера. Парадокс? Ведь Иссык-Куль нам очень нужен! Собственно, возникшее противоречие можно сформулировать по-иному: человек не против озера, а против самого себя.

Возникает дилемма: идти путем, которым влекут нас повседневные экономические требования, или отказаться от сегодняшних забот, поделиться с природой жизненно важной для ее существования влагой?

Проще всего было бы сказать: давайте остановим рост производства сельскохозяйственной продукции в котловине озера, перераспределим задания по другим районам республики, а то и страны — ведь Иссык-Куль государственными документами утвержден в качестве всесоюзной здравницы. Резон в этом есть: ведь к 1990 году число отдыхающих здесь может достигнуть миллиона человек, и приезжать они будут со всех концов страны. Стало быть, и обеспечение их продуктами питания — дело общее.

В то же время мы должны отдавать себе отчет и в том, что земли, уже освоенные в Прииссыккулье, не могут быть вычеркнуты из севооборота. Назад хода нет. Другое дело, что ориентировать их необходимо на производство продукции, которую для отдыхающих издалека не привезешь, а если и привезешь, то это будет накладно: фрукты, овощи, горный мед и т. д.

Словом, остановить потребление воды и отдать ее полностью озеру невозможно. Следовательно, надо искать другой выход. Проектов и прожектов спасения Иссык-Куля в последние десятилетия было множество, но все они не шли дальше области теорий. И вот мы с огромным облегчением, с чувством искренней радости узнали: в Основных направлениях развития нашей страны, утвержденных XXVI съездом КПСС, предусматриваются работы по комплексному использованию минерально-сырьевых, земельных, водных и энергетических ресурсов Иссык-Кульской области и районов Чуйской долины.

Именно поэтому необходимо изначально предусмотреть и утвердить во всех документах долю пополнения озера как незыблемую и неприкосновенную величину. Сотни миллионов кубометров воды ежегодно, нужные для сохранения озера и стабилизации его уровня, должны быть юридически оговорены и закреплены законодательным образом, чтобы никакое должностное лицо ни под каким «объективным» предлогом не посмело бы использовать долю Иссык-Куля в иных, пусть даже и насущных целях. Сказать об этом считаю важным и потому, что за обмеление озера никто персонально не отвечает, никому за это не грозит ни выговор, ни снятие с работы. А вот за невыполнение планов спрашивают...

Мы обязаны мужественно и прозорливо искать и находить разумный баланс будущих и повседневных нужд. Это, конечно, трудно, потому-то и необходимы серьезные, гарантированные сдерживающие факторы. Судьба озера Иссык-Куль должна стать своего рода образцом правильных отношений природы и человека общества развитого социализма, новым свидетельством того, что самое прогрессивное общество на планете способно найти возможности и ресурсы для сохранения разумного баланса в нерасторжимом звене человек — природа.

Впрочем, заботы о сохранении Иссык-Куля в нашей стране вовсе не уникальны. Вспомним Байкал, Севан, Онегу, Беловежскую Пущу, множество других жемчужин природы, которые требуется сохранить для потомков.

Сегодня мы достигли таких вершин цивилизации, когда человек должен быть не только «потребителем» природы, но и ее покровителем, ее сотворцом. Сегодня уже не только мы зависим от природы, а и она от нас. Нашей волей и нашим разумом — этим величайшим даром Времени и Пространства, той же Природы и Истории — мы должны противостоять нарушению экологического равновесия.

В борьбе за сохранение и возобновление природных богатств, за устойчивость экологических систем не должны быть преградой и государственные границы. Ибо возникновение дисбаланса в одном месте больно, а порой катастрофически «детонирует» в другой части земного шара. Иссык-Куль в этом отношении не исключение. Озеро находится на путях перелета птиц из Сибири в Индию. В этой связи Советский Союз принял на себя определенные обязательства перед международными организациями. Так что спасение редкостного водоема еще раз утвердит в умах всего человечества благородные и гуманные начала социалистического образа жизни.

...Грандиозен проект сохранения водного баланса Иссык-Куля. Реализация его займет не менее трехчетырех пятилеток. Перспектива эта внушает надежды, но и до той поры мы не можем жить в праздном ожидании. Иссык-Куль взывает — ему необходима карета «Скорой помощи»! И так же, как в медицине, чем быстрее, тем лучше.

Уже сейчас интенсивно разрабатываются проекты переброски части стока рек Каракара и Арабель-Су в бассейн Иссык-Куля. На это потребуется всего три-четыре года, и уровень озера начнет постепенно стабилизироваться. Причем затраты будут сравнительно невелики. Только бы не застопорилось это дело...

Однако добавить воды в Иссык-Куль — только часть решения проблемы. Необходим целый комплекс мер, защищающих его от загрязнения ядохимикатами, а воздушного бассейна над ним — от загазованности. Необходимо, чтобы промышленность в прибрежных городах не разрасталась неумеренно. Словом, многое нужно продумать и предусмотреть...

Уверенно, с оптимизмом смотрим мы в будущее, неуклонно готовим и строим его. Пусть же голубая жемчужина Иссык-Куля перейдет в ладони Грядущего нетронутой и сияющей, пусть станет драгоценным подарком тем, кто придет за нами...

1981 г.

ЧАС СЛОВА

ДИАЛОГ С В. КОРКИНЫМ

— В свое время, размышляя о литературе — «что она такое и зачем она»,— вы, Чингиз Торекулович, так ответили на поставленный самому себе вопрос: «...мне представляется, первейшая и злободневнейшая задача литературы заключается сегодня в том, чтобы способствовать оздоровлению нравственного климата на планете, что ныне так же важно, как забота об экологической среде, без которой не может быть нормальной, здоровой жизни».

Что вы можете сказать об этом сегодня? Какую общую социально-философскую и нравственную проблему выдвигает эта задача перед мировой литературой?

— Условно я назвал бы ее проблемой выработки современного мышления... Это прежде всего способность и умение мыслить на уровне передовых, прогрессивных, гуманистических идей, что, по существу, означает подлинный интернационализм, подлинное уважение к самобытности культур, национальных языков, художественных ценностей, накопленных всеми

народами. И, наконец, это умение мыслить во времени и пространстве, различая и слыша зов будущего в дне сегодняшнем.

Восприятие современности именно в этом аспекте чрезвычайно важно, если оно станет второй природой человека, его новой натурой.

— Кто-то из философов сказал, что мыслить — значит примыкать к общечеловеческой мысли. Какой вам, Чингиз Торекулович, представляется нынче «общечеловеческая мысль», без которой невозможно современное мышление?

— Сегодня у человечества нет и не может быть ничего главнее, чем мысль о мире.

Надо, чтобы эта мысль стала всепроникающей и всепоглощающей страстью, идеей, завладела умами и сердцами всех и каждого, почиталась нравственной мерой личности в человеке.

— Но какую «меру» можно считать самой высокой, когда узнаешь о поразительных, ошеломляющих фактах, как, например, о таком, описанном в одном из научно-популярных журналов?.. Вдруг в Париже начали умирать экзотические цветы, вывезенные когда-то из Латинской Америки. Между тем стояла прекрасная погода. Ученые не обнаружили каких-то явных причин, которыми можно было бы объяснить случившееся. Что же оказалось? На их прародине выдалась необычайная засуха — и там такие же цветы погибли. Какой в этом мудрый урок и горький урок для людей!

Но, может быть, мера личности равна «детской совести»? Это ваши слова из «Белого парохода».

— Что ж, возможно, и так.

Можно только пытаться представить, какой была бы история человечества, наша сегодняшняя жизнь, если бы мы, люди, почитающие себя «венцом творения», так же могли чувствовать друг друга и откликаться на страдания или радость другого народа, отдельного человека.

— Если бы... Возможно ли что-нибудь подобное в человеческом обществе в принципе?

— Скорей всего это утопия. И, однако, стоило ли в противном случае выходить человеку из животного

состояния, если отрицать эту мысль? Пренебрегать такой возможностью? Я верую в человека!

Разве можно допустить, что человечество, прошедшее тысячелетний многострадальный путь духовного развития и только теперь — впервые в истории! — с такой пронзительной остротой и гордостью осознавшее величие движения жизни и себя в ее могучем потоке, согласится на самоуничижение и самоуничтожение... Это означало бы и крах великих идей, достигнутых столь дорогой ценой самопознания с тех пор, как человек стал человеком...

Пессимизм — отсутствие цели. А это, я уверен, хуже смерти.

— Что же должен, по-вашему, испытывать человек, живущий без цели?

— Еще с библейских времен это почиталось самой ужасной пыткой. Вот как она запечатлена на языке древней поэзии: «В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее; пожелают умереть, но смерть убежит от них».

— Что же подскажет нам цель, следуя которой человек обретет истинный смысл жизни, что избавило бы его от «библейских» мук?

— Жизнь. Стоит подумать вот о чем: не было бы высшей цели, жизнь давно бы уже остановилась, ее древо зачахло, вместе с ним пресеклась бы мыслящая ветвь его — человечество, ибо без надежды любое наше деяние не имело бы смысла.

— Но, согласитесь, обретение цели жизни только из страха...

— ...это было бы самообманом! И скоро завело бы в еще более глухой тупик отчаяния или отбросило назад, в неолит.

Мощное движение за мир, охватившее сегодня с небывалой силой многие страны и народы,— не кампания, которая, возникнув, казалось бы, стихийно, должна кончиться, как только исчезнет зловещая тень войны. Это необратимый процесс социального пробуждения масс, духовного возрождения человека. Человечество вступило в новую эру. Начало ее летосчисления — Октябрь. Я думаю, что никогда человек не был и не мог быть таким счастливым, как теперь, ибо впервые он осознал подлинное достоинство, которое, по-моему, есть ум, окрыленный свободой.

Народ — творец истории. Эта великая основополагающая идея революции, испытанная в горниле грозной борьбы и вдохновенного созидательного труда, стала той необычайно мощной силой, которая объединила прежде разрозненные народы в державу. В ней и через нее мы познаем, я бы сказал, и новую ступень эволюции человеческого рода на пути к самоусовершенствованию и постижению высшего смысла жизни. Ее реальное воплощение — социализм. Мы сами — новая историческая общность, имя которой советский народ.

Этим определяется наш долг и ответственность за судьбу планеты, за будущее. Разве до XX века было нечто подобное, чем является нынче движение народов за мир, у истоков которого мы с гордостью находим ленинский Декрет о мире?

— Стало быть, борьба за мир — это в известном смысле борьба за планетарное сознание?

— Да, ибо на другом полюсе существует безумие — замыслы ядерной войны, всевозможные концепции и доктрины применения оружия массового уничтожения людей. Борьба с безумием, которого еще не знавало человечество, которое, опровергая все наши самые фантастические представления о зле и о том, в каком образе оно могло бы явиться, вызвало в то же самое время необыкновенную ответную силу человечности, какой мы в себе не подозревали. Человечность, которая все больше осознает себя в действии, в борьбе.

В движении за мир, как ни в чем другом, конкретно, а не абстрактно, со всей полнотой отражается, испытывает себя и реализуется современное мышление человечества — озаряющее постижение величия исторического творчества, идеи мира и единения народов в чувстве братства и дружбы.

— Новое мышление предполагает освобождение от прежнего. От чего должен, по-вашему, освободиться человек?

— От всеобщего унизительного страха, от чувства одиночества, от равнодушия или жестокости — от всего, что ему нагло внушается и на что он провоцируется буржуазной пропагандой, служащей безумию. Это освобождение происходит теперь с тем большей силой, чем больше люди понимают, во что их пытаются пре-

вратить и в каком качестве использовать. По-моему, невозможно гнуснее оскорбить человека, предлагая ему роль мародера. Я говорю, в частности, о злонамеренной попытке западной пропаганды успокоить и даже соблазнить народы своих стран войной, уверяя, что они выживут в то время, как все другие народы будут стерты с лица земли, и тогда уж в полной мере можно будет насладиться плодами их труда.

— *Это может иметь только обратное действие.*

— Не сомневаюсь. Меня волнует другое: как вообще такая мысль могла родиться? Это плод безумия!

Чем дальше, тем меньше человек будет соглашаться на что-нибудь иное, кроме бесконечного и неистребимого движения к новому, к сохранению и продолжению жизни. Да и то: кто бы добровольно отказался от прекраснейшего дара природы, который, как полагал Эйнштейн, радость видеть и понимать?

— *Что значит в этом смысле «видеть»?*

— Это, по-моему, значит — видеть мир одновременно глазами ребенка и мудреца.

Жизнь — вечное чудо. Нас, взрослых, не надо убеждать, что это святая правда. Мы знаем сами. Но... чувствуем ли это теперь? Так, как — самозабвенно и бескорыстно — чувствует без слов ребенок, в душе которого мир всякий раз рождается вновь? Он открывает его прекрасным, как в первый день «творения», когда весь мир еще играет в утренней росе.

Именно в этом — в стихийной и неотразимой любви ко всему сущему — непроизвольно заявляет себя и с первозданным трепетом проявляется природа человека. Природа, которая вечно нова.

Детство не умеет удивляться. Это, как парадоксально ни звучало бы, самая воистину серьезная пора жизни. Ребенок любит весь мир, всех людей. Для него нет незнакомых, то есть чужих. Он еще вне времени и во всех временах, а выйдет он из детства не раньше, чем пройдет в своем духовном развитии всю человеческую историю. Представляете, что и как он видит?

— *Кстати, эта волнующая тайна не случайно увлекает сегодня не только художников, но и ученых. Недавно в одной статье я уловил жгучую тоску биологов, мечтающих «подглядеть» начало человеческой жизни: «Если бы новорожденные могли помнить и говорить,*

они бы появлялись на свет, рассказывая истории, такие же чудесные, как у Гомера. Они бы описали волшебство оплодотворения и волнистую хореографию нервных клеток, миллиарды которых «танцуют па-де-дс», образуя соединения, наполняющие обычное вещество сознанием... Все это кажется чудом. Как если бы одиночный мазок белой краски вдруг превратился в многокрасочное великолепие потолка Сикстинской капеллы»[1].

По-моему, это настоящая поэзия, не говоря о том, что содержания в ней несравнимо больше, чем в тысячах тысяч стихов.

— Это естественно.

— *Почему же?*

— Ученый, стремящийся проникнуть в глубь живой жизни, прикоснуться к чуду (ни в коем случае руками — иначе оно погибнет), не может не быть истинным поэтом. И — главное! — он видит то, чего еще никто до него не видел и не переживал.

— *Не следует ли из этого, что сегодня быть поэтом — «видеть необыкновенное в обыкновенном и обыкновенное в необыкновенном» — привилегия только ученого?*

— Нет. Ни в коем случае! Мы видим лица людей, преисполненных радостью и гордостью творцов.

— *Поразительно, когда делом рук своих любуется не один человек, а весь народ и каждый человек, кто вложил свой труд и душу в общее деяние. Что, по-вашему, в этот момент способен переживать и о чем думать человек?*

— Чувство народа — чувство истории, ибо она и есть дело его рук. Он сознательный творец ее. То есть история воспринимается как личная судьба. Судьба, которую человек выстрадал в своем сердце.

— *Мне кажется, такое жизневосприятие отличает героя вашего романа «И дольше века длится день», Буранного Едигея. Кстати, там вы изображаете и прошлое, трудное послевоенное время. Правда, оно протекает в воображении героя, вспыхивает в образах памяти. Чем оно притягательно для вас?*

---

[1] Бегли Ш., Керн Д. Начало человеческой жизни.— «За рубежом», 1982, № 14.

— Тем, что оно естественно героическое: его характер определен духом народа, человека, повергнувшего в прах самое страшное зло на земле — фашизм. Тогда понятия «отчизна», «народ», «мужество», «честь», «совесть» имели особую цену — они были оплачены и омыты святой кровью тех, кто пал смертью храбрых во имя жизни на земле. Тех, кого еще ждут матери, кто еще является в их мучительные, тяжкие сны как живой.

Что же касается характера Буранного Едигея, если уж вы вспомнили о нем, могу заметить: он смотрит на жизнь глазами войны. Он хочет и человека видеть таким, каким он сам мечтал быть, если смертная чаша минует его. Настоящим человеком Едигея сделали нечеловеческие испытания, выпавшие на долю страны, народа, тяжесть которых он разделил, как принял бы на свои плечи любое бремя всенародной судьбы.

Не дай бог подобного испытания, чтобы человек научился быть человеком. Как не дай бог, чтобы нынешние люди пренебрегали подвигом, совершенным во имя них, отреклись от священного долга памяти.

— Да, Чингиз Торекулович, сегодня это самое строгое испытание, данное нам, живущим, историей. Говорят: если бог хочет покарать человека, он лишает его ума. Это беда. Пусть нестерпимо горькая, но кто осудит или посмеется над несчастьем? Хуже, если у человека отнимают память. И не бог, а сами люди, превращая человека в чучело, способное убить родную мать. Я, конечно, имею в виду вашу легенду о манкурте. Это ведь не только история?

— А вы что думаете?

— Я так и думаю. И о том, что есть вещи еще страшнее — добровольный манкуртизм. Разве не таков Сабитжан, сделавший для себя выбор быть роботом, а не человеком? Мне кажется, самое опасное в явлении, которое он олицетворяет, то, какой восторг, оказывается, можно при этом испытать, стараясь к тому же заразить им других, еще не понявших своей «выгоды»: «А наступит время, когда с помощью радио будут управлять людьми, как теми автоматами. Вы понимаете — людьми, всеми поголовно, от мала до велика. Есть уже такие научные данные. Наука и этого добилась, исходя из высших интересов».

И ведь, кроме всего прочего, Сабитжан заявляет претензии на самоутверждение в качестве нового человека, суперсовременной личности, которой ведомы «высшие интересы».

— Ну тем-то он и смешон. Я стремился показать вульгарность и абсурдность его «философии», чья генеалогия, в общем-то, не составляет секрета, она ясна: духовное мещанство, потребительская психология...

— *И как следствие — атрофия памяти?*

— Даже, пожалуй, как первопричина: память — это беспощадная совесть наша. А совесть никогда не позволит человеку невольно, а тем более вольно предать высшие духовные идеалы. Сабитжан должен, вынужден, если хотите, перестать быть человеком (суперличность — это не то!), чтобы спокойно предаться страсти стяжательства, деланию карьеры и т. п. И желание заражать своей «теорией» также объяснимо по его логике — обратить «наивных» людей в свою веру, чтобы тем самым лишить их морального права судить его. Роботу люди мешают. Его раздражает даже их молчаливый укор; так и Сабитжан тушуется, суетится, мельтешит перед отцом и тем более перед Едигеем. Он не выдерживает их взгляда.

Жизнь человека, достойно прошедшего свой путь, отдавшего свой труд и всего себя людям,— то, перед чем зло, какое обличье ни старалось бы оно принять, неизбежно обнаружит и разоблачит себя.

История и судьба народа — память, перед лицом которой человек не может не обратиться к думам о мире и о себе.

Это испытание, которое не выбирают. Слабый духом человек противится испытанию, сильный идет навстречу этому испытанию. Но никому не дано избежать его.

— *Но вы сами, Чингиз Торекулович, нередко испытываете своего героя «слепыми», враждебными человеку стихиями — степью, горами, океаном...*

— Они слепые, пока мы смотрим со страхом, не понимая их природы. А все, что не понимаешь, кажется враждебным. Но почему же человека испокон веков неотразимо влекли к себе стихии? Почему он хотел постичь их душу? Не потому ли, что сам он стихия мыслящая, что старается вспомнить, как думается,

с печалью, то время, когда понимал язык птиц и зверей, видя в них не «добычу», а «братьев наших меньших»?

Я не призываю к вегетарианству. Я против бесчеловечности, ставшей нормой, оправдывающей истребление всего живого в угоду нашему чреву. Я за «хорошее отношение к лошадям».

Если мы научимся этому, то докажем, что мы люди современные. Не должен же таковым почитаться индивидуум, варварски относящийся к своей матери-природе, настолько лишенный воображения, что не может представить, на какое убогое, нищее прозябание и одиночество в будущем обрекает он потомков, которые не будут ведать, что когда-то пели птицы, цвели цветы и белый марал завораживал человека своей царственной грацией.

Да, человек призван преобразовать мир. Он сделает это правильно, если всегда будет помнить, что возможно лишь, как сказал поэт, «в соавторстве с землею и водой».

Я уверен, так оно и будет. «Закон о природе» — закон нашего государства, получивший всенародное одобрение. Будущие поколения, приняв в наследство прекрасную Родину, увидят в ней нас и вспомнят с благодарностью, как сегодня мы, глядя на бывшую целину, преклоняемся перед теми, кто согрел ее жаром своих сердец, возродил своим бессонным, самоотверженным трудом.

— *То есть человек сам творит свое бессмертие?*

— Только так. Это и есть единственная «привилегия» человека-творца, чей труд одухотворен неизбывной любовью к людям, стремлением помочь им выстоять и победить, будь он композитор, создающий симфонию, колхозник, поднимающий хлеб, строитель, возводящий дома, мореплаватель, преодолевающий океан...

— *...или писатель?*

— Если его творчество равно по силе воздействия прекраснейшей из поэм, состоящей из одного-единственного слова «Земля!», в устах впередсмотрящего в тот критический момент отчаяния, когда оно больше всего необходимо. Сегодня больше, чем когда бы то ни было. И потому, что человечество переживает, может быть, самый сложный час своей истории. И потому,

что, несмотря на это и даже, пожалуй, благодаря этому (как ни парадоксально!) человек едва ли когда-либо так жаждал увидеть красоту бытия, жить полной жизнью, как теперь, ибо отныне его не перестает волновать вопрос: а что дальше?

Во всяком случае, несомненно одно: по своей природе человек не может всегда не тосковать о чем-то, чего он не видел, что он должен увидеть, иначе он не будет счастлив.

— *Как в русской сказке: пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что?*

— Вот именно! Оказывается, сказочная фантазия весьма реальна. В ней было закодировано будущее.

Чувство вечности жизни —
дар детства.
Жажда нового —
залог мудрости.

То и другое вместе — поэтически-философская суть современного мышления.

— *Но, может быть, прежде — современного видения?*

— Скорее всего тут и «обратная связь»: чем больше видишь, тем больше понимаешь, и чем больше понимаешь, тем больше видишь.

Когда спрашивают, что значит сегодня писать «по-новому», это, в частности (мы еще вернемся к этой проблеме подробнее), я уверен, значит стремиться выразить переливающуюся гармонию восприятия жизни человеком. То есть воссоздать величественную картину мира, каким он предстает перед восхищенным взором современника или стихийно отражается в его мыслях, чувствах, деяниях, преображающих самого человека, обращающих в конечном счете его взгляд и на себя самого.

— *Мне кажется, Чингиз Торекулович, эта ваша мысль по сути перекликается с тем, что вы писали в предисловии к роману «И дольше века длится день»: «Фантастическое — это метафора жизни, позволяющая увидеть ее под новым, неожиданным углом зрения. Метафоры сделались особенно необходимыми в наш век не только из-за вторжения научно-технических свершений в область вчерашней фантастики, но скорее потому, что фантастичен мир, в котором мы живем...»*

Не старались ли вы этим самым предупредить упреки в свой адрес, будто бы прибегли к услугам «фантастики» в ущерб реалистическому изображению жизни?

— Ни в коем случае! Я не считал и не считаю нужным застраховываться от каких-либо мнений. Напротив. Все это необходимо мне, писателю и человеку, как воздух. Значит, ты кого-то задел, взволновал, разбередил душу, если читатель не смог удержаться, чтобы не поспорить с тобой или просто сказать доброе слово. Что может быть дороже? Я сердечно благодарен всем за их неравнодушие, за их дружбу и за строгий суд.

В предисловии же речь не о чем другом, как о моем понимании восприятия реальности человеком (как принято по недоразумению говорить — «обыкновенным»), открывшим сокровенную красоту мира, в котором до этого он пребывал тысячелетия, не видя ее.

Разве это не самая величайшая трагедия из всех мыслимых трагедий!

Разве не касается она и меня лично?

Этим, думаю, объясняется, что самая глубокая печаль настигает человека в минуту, казалось бы, наивысшего счастья, ибо он всегда думает обо всем мире, обо всех людях, ныне живущих и живших задолго до него. Это святая боязнь оскорбить безумным, беззаботным выражением своего ликования тех, кто не мог или не может теперь чувствовать себя так, как, скажем, мы с вами.

Я уверен, человека — и в этом он будет все больше становиться человеком — никогда не должна покидать тревога о горькой судьбе людей, влачащих жалкое, нищее существование, в какой бы точке планеты, будь то Чили, ЮАР или Соединенные Штаты, они ни находились.

Эта страшная фантастика реальности — муки человека, которого истязают, убивают лишь за то, что он не хочет быть рабом. За то, что он захотел быть человеком.

И столь же страшная фантастика — торжество нèлюдей, которые мучают, убивают.

У этой «фантастики» немало имен: апартеид, расизм, колониализм... Но есть и одно общее — империализм.

— *Несомненно, что изображение этих чудовищных явлений в решающей мере определяет идейное и философско-нравственное содержание национальных литератур тех стран, которые совсем недавно освободились от колониального ига или до сих пор находятся под его гнетом.*

Как один из руководителей Ассоциации писателей Азии и Африки, вы, Чингиз Торекулович, знакомы с проблемами, стоящими сегодня перед ними. Каковы главные из них?

— Национально-освободительная борьба народов Азии и Африки стала одним из самых могучих общественных сдвигов второй половины XX столетия. Никогда раньше история не знала такого мощного одновременного пробуждения многих народов. Литература первая ощущает течение истории. И естественно, что писатели стран Азии и Африки острее, чем кто-либо, почувствовали необходимость консолидации своих действий, направленных на решение общих антиимпериалистических задач и целей. Писатели этих стран поставлены перед необходимостью трезво оценить культурное наследие прошлого с позиций современных достижений человечества, определить, что̀ есть жизнеспособные ценности и что̀ анахронизм, что способствует прогрессу и что тормозит его, что мешает освободившимся народам быстрее занять свое место в сложной системе мировых взаимоотношений, что содействует единству и всеобщей гуманистической направленности, а что изолирует народы, играя на руку неоколониализму, отнюдь не сдавшему своих позиций.

В ряду общих творческих задач мне хотелось бы выделить наиболее важную миссию литератур Азии и Африки на современном этапе — психологическое, моральное раскрепощение человека от последствий колониализма.

Чтобы освободить человека от многовекового комплекса неполноценности, пробудить в человеке человеческое достоинство, сделать естественным для него дух братства и интернационализма, необходимо осмыслить последствия колониализма, причинившего

колоссальный ущерб развитию человеческого духа. Можно лишь догадываться, какие огромные и долгие усилия потребуются, чтобы окончательно вытравить их из умов и душ людских.

Художнику необходимо социальное и философское осмысление последствий колониализма как тягчайшего опыта «самозакабаления», перенесенного человечеством. Лишь тогда мы со всей определенностью сможем сказать в своих произведениях о нелепости и алогичности всех и всяческих концепций национальной, государственной или расовой исключительности.

— *Мне видится в судьбе литератур Азии и Африки (во всяком случае, в аспекте социальном) отражение, в частности, проблемы становления самосознания, которую пришлось решать многим национальным литературам нашей страны, в том числе и киргизской. Так ли это*?

— Не только так, но и не может быть иначе. «Десять дней, которые потрясли мир» — отнюдь не только поэтическая метафора.

Исторический опыт первой в мире страны социализма практически доказал преимущества новой общественной формации. 60 лет, прошедшие с тех пор, как образовался Союз Советских Социалистических Республик, с точки зрения общечеловеческой истории — мгновение. Но сколько вместило оно гигантских, не поддающихся перечислению событий и свершений! И главное из них — рождение нового человека. Советского.

Этим объясняется и влияние советской литературы на становление и формирование молодых литератур. Разумеется, и она, в свою очередь, берет все лучшее, прогрессивное, что возникает в других литературах.

— *Как с этой точки зрения вы, Чингиз Торекулович, относитесь к идее «мировой литературы»*?

— Человечество едино в Гомере, Данте, Шекспире, Гёте, Пушкине, Толстом, Достоевском, Бальзаке, Шолохове, Фолкнере, Гарсиа Маркесе и т. д.

То, что, в свою очередь, объединяет поэтов (беру по сути, а не по жанру) во времени и пространстве в единую плеяду сынов человеческих, в единую и нерасторжимую поэтическую силу, в единую и бесконечную вселенную,— это революционность и народность их творчества. Поэзия — революция души. Поэты, как мо-

сты, пролегают на нашем жизненном пути. Это мосты мысли и духа. Мосты, соединяющие поколения людей, связующие мир в главных нравственно-философских исканиях и проблемах «единого человечьего общежития» на планете. Мосты, по которым идет накопление культурных ценностей и опыта познаний, одухотворенных генетической, глубоко выстраданной идеей гуманизма.

Современное мышление человечества, в том числе и художественное, было бы невозможно без той пронзительной тоски по идеалу, которая, по словам Белинского, возжигается высшею идеею в творчестве великих художников, становясь символом веры в неизбежность прекрасной жизни, совершенного человека, ибо он обязан и должен быть счастливым. Для того он и рожден.

— *Каким главным критериям в этом случае должна, по-вашему, следовать национальная литература?*

— Я вполне согласен с мыслью, высказанной на одном из форумов писателей Азии и Африки бенгальским критиком Сарваром Муршидом, который заметил, что сегодня каждая литература должна решить, рассматривать ли ей себя как составную часть всей мировой литературы или же быть «великой» лишь у себя дома.

Соблазн «собственного величия» неотвратимо ведет к самодовольству. А от него к догматизму.

Поэтому каждая литература, стремящаяся к прогрессу, должна судить себя максимальнейшими критериями. Идейными и эстетическими. В этом и только в этом случае можно преодолеть замкнутость, избежать провинциализма.

Духовный провинциализм есть отчуждение людей.

Между тем мировая литература в лице своих гениальных творцов создала и продолжает совершенствовать великий язык искусства — поэзию правды,— понятный и близкий всему человечеству.

Истинный художник — код общения.

Если я встречаю человека и узнаю, что он любит Чехова, я нахожу друга.

Если незнакомый до того человек, какой бы национальности он ни был, слушая впервые «Манас», способен ощутить мощь и красоту этого океаноподобного эпоса,— он мой брат.

— Страшно представить, Чингиз Торекулович, что могло быть и так: люди разных национальностей не только боялись бы, но и не умели бы понять друг друга.

Так же, как вы, киргиз, благодарны революции, что она спасла ваш народ от рабства, так и я, русский, готов до конца дней своих славить Октябрь за то, что он освободил мой народ от чувства стыда и вины перед другими народами, которых закабаляло царское самодержавие.

Можно не сомневаться, сколь важен для национальных литератур освободившихся стран идейно-нравственный и философский опыт национальных литератур нашей страны, отразивший в своих лучших произведениях со всей полнотой «прекрасный и яростный» процесс возрождения человека, для которого стало естественным чувство дружбы и братства. Что вы думаете на этот счет?

— Несомненно, что многие национальные литературы нашей страны проделали небывалый путь художественного познания действительности, в результате чего мы с гордостью можем говорить о создании беспрецедентной в истории человечества единой многоязыкой и многонациональной советской художественной культуры. Этот путь не был простым и легким восхождением. Для многих национальностей он пролегал через трудные переходы от устно-фольклорных культур, от патриархально-эпических форм, где герой еще не сложился как личность, к социально-психологическому постижению человека наших дней.

И тут не могу не подчеркнуть, что, придавая большое значение национальному духу искусства, нельзя считать, что национальное своеобразие играет какую-то наиглавнейшую роль и может служить некой самоцелью в творчестве художника. Решающее значение для всех национальных литератур имеет развитие их социалистического содержания. Это есть вполне определенные, общие для всех идейно-художественные принципы партийности, народности литературы и искусства.

— Однажды вы, Чингиз Торекулович, сказали, что невозможно создавать современную прозу, не впитав опыт классического реализма Толстого и Чехова. Не могли бы вы остановиться на этом подробнее?

— Опыт русской художественной мысли необычайно интересен и сам по себе, своим собственным богатством, интересен и важен тем, что через посредство «великого, могучего» русского языка приобщает к общемировой культуре.

— *Что вы чувствуете, когда пишете по-русски?*

— Вряд ли возможно сформулировать это чувство. Но, мне кажется, я выражаю себя совершенно особым и неповторимым образом.

Должен сказать, по крайней мере исходя из собственного опыта, что в детстве человек может органически глубоко усвоить два параллельно пришедших к нему языка, а может быть, и больше, если эти языки были равнодействующими с самых первых лет.

Для меня русский язык в не меньшей степени родной, чем киргизский. Родной с детства. Родной на всю жизнь.

— *Чем вы объясните причину небывалого интереса к русскому языку, который мы наблюдаем в наши дни?*

— Это объяснил еще Маяковский: «Я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин». Любовь к русскому языку — выражение любви к языку революции.

Замечу, Ленин глубоко понимал и ценил русскую классическую литературу, видя в ней носителя великих идеалов и страстного борца за освобождение человечества. В этом ее непреходящая современность. В этом ее неотразимое влияние и на нас, решившихся на трудное дело — продолжать вечный сказ человека о человеке.

Эпиграфом ко всей русской литературе я поставил бы пронзительные, до боли сердечной щемящие слова Александра Радищева: «Я взглянул окрест меня — душа моя страданиями человечества уязвленна стала».

— *Не думаете ли вы, что эти слова могли бы служить эпиграфом ко всей мировой литературе, ибо «окрест» для нас сегодня — вся планета?*

— Согласен с вами.

Сотни лет «звездная тоска» звала человечество в беспредельные просторы космоса — не затем ли, чтобы человек мог увидеть себя со стороны?

Сколь необыкновенно человечно и поэтично свидетельство космонавтов, увидевших Землю — колыбель человечества — в образе голубой звезды.

— *Едва ли подобное желание испытывал хотя бы один человек прежде, будь он даже великим поэтом. Это новое чувство!*

Не оно ли, в частности, может стать тем «геном», в котором таится вторая природа человека?

— О том и речь. Раньше мы слишком беспечно и эгоистично (теперь это особенно ясно) относились к Земле, считая, что она обязана кормить, поить, одевать, защищать нас, не требуя ничего взамен, кроме того, чтобы мы лишь снисходительно соизволили признать факт ее существования.

Теперь же, выйдя в космос, мы вдруг с невыразимой нежностью и болью поняли, что и она сама нуждается в защите...

— *От нас же самих?*

— К сожалению. И к счастью, ибо сегодня это еще не поздно.

Долг литературы — поддерживать и расширять это убеждение, не позволить человеку привыкнуть к мысли, что насилие в мире неизбежно и что от него, человека, будто бы «ничего не зависит»: он заложник, который рано или поздно будет принесен в жертву безумию.

— *Вы ведь имеете в виду не только советскую литературу и литературу социалистических стран, где любой даже намек на пропаганду войны, проповедь ненависти или насилия не только караются законом, но прежде всего несовместимы с их природой и принципами?*

— Конечно. Я возлагаю надежды на всю прогрессивную мировую литературу. Прогрессивные художники Запада (я встречался со многими из них), может быть, иной раз острее и болезненнее осознают смертоносную угрозу антигуманизма, которую несет в себе буржуазная идеология, и решительно восстают против нее. Это не только их писательский, но прежде всего человеческий подвиг. Я горжусь и восхищаюсь их благородным мужеством, презрением к страху.

Да, нам, советским писателям, не приходится творить в тлетворной атмосфере чудовищной индустрии псевдокультуры, пытающейся внушить человеку культ силы и жестокости, романтизирующей убийство или, напротив, усыпляющей совесть человека, волю к жизни слащавой иллюзией, тем самым, по мнению ее «гу-

манных» авторов, готовя к безболезненному и даже желанному уходу в небытие, где он-де обретет избавление от мук земных и вечное блаженство заодно... Но не думать об этом нельзя. Разумеется, когда я пишу книгу, я не могу быть уверен, что она обязательно придет к зарубежному читателю, поможет ему распознать наглую и бессовестную ложь, которая внушается ему, чтобы одурманить и оболванить его, пробудить в нем пещерные инстинкты. Но если она все-таки дойдет, то должна воздействовать именно так: пробуждать в нем честь, совесть, достоинство, веру в себя, в человека.

— *То есть любой писатель непременно обязан думать и о мировом читателе?*

— Прежде о человеке!

— *Об этом пристально размышлял Толстой, утверждая, что важнейшая цель и смысл литературы в том, чтобы заставить человека любить жизнь во всех ее проявлениях. Вас не смущает «заставить»?*

— Почему это должно меня смущать? Я убежден, Толстой не оговорился, ибо заставить — значит, по его же выражению, заражать силой искусства, потрясать воображение и возвышать душу.

Огромен великий художественный мир, вызванный и сотворенный его гением. Страшно помыслить, в схватку с какой чудовищной, видимой только ему силой, грозящей унизить и уничтожить человека в человеке, должен он был вступить. Решился бы он на этот подвиг, на эту борьбу, грозящую, казалось бы, неминуемым поражением, если бы им руководило что-нибудь иное, кроме великой любви к правде, к человеку? Нет, конечно. Впрочем, тогда не было бы и Толстого, о чем нельзя думать без ужаса, такая зияющая бездна разверзлась бы в нашей душе, как нельзя без глубокой муки думать и о том, сколько же выстрадал этот лучший из лучших людей, чтобы одарить нас верой в торжество добра над злом.

— *Но «добро» и «зло» — понятия социально конкретные. Они не существуют вне времени. Как вы заметили, сегодняшнее зло показалось бы невероятным людям прошлых веков. Какими же средствами может художник изображать сегодня природу и сущность «зла», чтобы «потрясти» воображение человека XX столетия? Вы правы, реальная действительность фантастич-*

на. И не только. Она страшнее любой фантастики, ибо... реальна.

— Да, сегодня не так-то просто потрясти человека силой искусства — болевой порог человечества, испытавшего ужасы войны с фашизмом, прошедшего через трагедию Хиросимы и Нагасаки, знающего о каждодневных зверствах, которые творятся во многих точках земного шара, значительно изменился.

Возьмите, например, «Апокалипсис». Еще совсем недавно он потрясал воображение человека, повергал его в священный ужас картиной «конца света», каким ее представлял древний поэт-пророк:

«По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну; и на головах у ней как бы венцы, похожие на золотые, лица же ее — как лица человеческие.

И волосы у ней — как волосы у женщин, а зубы у ней были, как у львов.

На ней были брони, как бы брони железные, а шум от крыльев ее — как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну.

У ней были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее были жала...»

Разумеется, цель искусства не в том, чтобы «пугать» читателя, но помогать человеку преодолевать отчаяние и страх перед жизнью, пробуждать в его душе великие чувства, испытывая которые он сможет противостоять «злу», какие бы формы и обличия оно ни принимало. Мне кажется, в этой связи встает проблема трагедии как жанра, способного с наибольшей полнотой выразить сегодняшнее мироощущение.

— *И вы верите, что появится новый Шекспир?*

— Такой вопрос в свое время я задал Дмитрию Дмитриевичу Шостаковичу. Меня удивила и восхитила его мысль о том, что в современном мире гораздо больше шансов для новых Шекспиров, ибо никогда человечество в своем развитии не достигало такой универсализации духа, и поэтому, когда появится такой великий художник, он сумеет выразить, как музыкой, весь мир в одном себе... Разговор этот происходил на ходу, и лишь позже, наедине с собой, я понял значение сказанного: Шостакович ждал от литературы всеохватного, «музыкального» обобщения жизни. Весь мир в одном себе...

Пусть недостижимо трудная задача, но может ли быть более великая мечта для художника!..

Великая и благородная миссия литературы — повторяю слова Толстого — заставить человека любить жизнь, мир. В этом долг каждого честного художника, сознающего, что «час слова», когда оно крайне насущно, необходимо, пробил. Это и значит быть реалистом.

1982 г.

ЗАВОЕВАТЕЛЬ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ГЕРОЕМ

Мне выпала честь участвовать в первой нашей встрече пять лет назад. Тогда я имел возможность подробно поделиться своими сокровенными раздумьями с этой высокой трибуны. С тех пор прошло не так уж мало времени. Сейчас мы видим, что наше начинание не угасает, а, наоборот, все больше привлекает к себе внимание писателей мира. Со всех сторон в Софии собираются люди, пишущие, владеющие пером и потому имеющие возможность влиять на умы и сердца современников. Это не только прекрасно, это необходимо.

Если бы каждая выходящая в свет книга могла утвердить в сознании, в мировосприятии читателей те благородные идеи, о которых здесь идет речь, мы могли бы считать, что наши необыкновенной трудности задачи, предложенные XX веком, выполнены.

Именно в XX веке возникла совершенно новая функция писателей мира, если можно так сказать, дополнительный груз, бремя, новая их миссия. Прежде классики наших литератур выступали глашатаями гуманизма, имея возможность жить в более спокойных условиях. Даже когда в недавнем прошлом раздавались тревожные голоса Роллана, Горького, Хемингуэя, не было еще такой опасности, не возникало положения, когда вопрос стоял: быть нам или не быть.

Альтернатива именно такова — либо мы сохраним все то, что человечество создавало с таким трудом и усилиями на протяжении своей долгой истории, или мы все это утратим. И вот в этот самый момент, когда мы с вами собрались здесь, чтобы поделиться своими

впечатлениями, мыслями, тревогами, надеждами, отчаянием, другие люди — и это надо с полной ответственностью себе представлять — подсчитывают коэффициенты возможных потерь убитыми и ранеными при той или иной боевой операции. Возможно, именно сейчас кто-то подсчитывает, сколько будет стоить подготовка одного солдата для участия в ядерной войне. Я думаю, что такие расчеты ведутся.

Вспоминаю слова, однажды сказанные моим другом: «Вот вы все рассуждаете о мире, боретесь за мир, пытаетесь повлиять на людей, чтобы они тоже приняли активное участие в этой борьбе, стали вашими единомышленниками. А вы задумываетесь хоть на короткое мгновение, что некий молодой генерал, чья военная служба, чья карьера приходятся на наши дни, которому пока ничем не удалось отличиться, прославить себя, в эти самые дни мечтает о том, как вписать свое имя в анналы военной истории? Что, наверное, есть и такие, кто не прочь бы выступить в амплуа сегодняшнего Александра Македонского или Наполеона?»

Я действительно призадумался над этим. Сколько было принесено людских жертв в те времена, когда Александр Македонский покорял мир? Многие ли сейчас помнят об этих жертвах? А Македонский остается одной из самых известных личностей этой эпохи. Или Наполеон — это уже ближе к нашему времени, — сколько людских жертв было принесено в его пору на алтарь войны?

Не будем разбираться сейчас, почему возникали эти войны, какие причины привели к ним. Сам факт, что фигура Наполеона нередко героизируется, а погибшие — они вроде бы никто, они не воспринимаются нами, забыты,— вот эта мысль приводит меня в отчаяние. И я думаю о том, как это важно сейчас каждому из нас каждым своим словом, каждой строкой своей книги — единственного оружия в наших руках — таким образом повлиять на умы и настроения, на сознание, на формирование взглядов молодых людей, чтобы показать им, как опасно героизировать это в прошлом, превращать это в символ славы величия, хоть в чем-то содействовать рождению какого-нибудь новоявленного Наполеона. Тем более страшна была бы сейчас, обладая сегодняшним оружием, личность,

которой может прийти в голову мысль: «А чего, собственно, стоит человеческая жизнь? Был же Наполеон в конце концов... Какую оценку дает ему история, к чему мы пришли? Как он выглядит, какой ореол окружает его и где эти безвестные солдаты, армии, дивизии, которые полегли на полях тогдашней войны?»

Не бродят ли такого рода мысли в чьей-нибудь голове? Не жаждет ли сегодня кто-нибудь еще раз прославить себя таким образом? Трудно сказать. Наша задача — вот этой жажде славы, этому человеческому пороку противопоставить другие ценности, другие критерии.

Везде и всюду, на всех языках, во всех литературах нам следует насаждать мысли и чувства истинно гуманные, благотворные, позволяющие нам именоваться людьми, теми разумными существами, которые, однажды возникнув почему-то на этой планете в этой природе, не кончили бы жизнь столь бесславным образом.

1983 г.

ЭХО МИРА

Начну с утверждения, с моей точки зрения, отнюдь не парадоксального, напротив, понимаемого мной безусловно однозначно.

Настало время судить о литературе с позиции не только традиционных эстетических идеалов, но прежде всего с высоты самых насущных и жестких требований дня.

Расщепив атом, человечество вторглось в такие тайны мироздания, которые, казалось, доступны и подвластны только «богам». Все зависит отныне от нас, от воли людей — мы держим в руках могучую энергию Вселенной. При разумном использовании она может принести великие блага, но легкомыслие, безответственность чреваты угрозой невиданной катастрофы — исчезновения всего живого на планете. И что же обнаружилось? Тяжко, страшно быть «богом». Так вот. Если современная литература не способствует тому, чтобы люди, ставшие «богами» над самими собой,

ощущали себя все-таки сначала людьми, если она не способствует возвышению и распространению высшей идеи человечества — социалистического гуманизма, идеи, которые мы обязаны противопоставить бездуховности, бесчеловечности империализма и милитаризма, то эта литература не может претендовать на статус современной.

Если литература способствует преобладанию в мире главной мысли эпохи, ведущей к рождению нового сознания, к взаимопониманию между обществами, народами, отдельными людьми, — это наисовременнейшая литература.

Мне представляется, что судить себя и других надо, исходя из этих требований. Вся так называемая текущая литература должна быть к этому устремлена. Миссия ее в том, чтобы в своем живом развитии она могла породить мыслителей-художников типа Толстого или Достоевского наших дней.

Почему типа Толстого? Почему типа Достоевского?

Потому, что они — «эталоны» художественного самопознания действительности. Не случайно сразу же по выходе романа «Братья Карамазовы» И. Н. Крамской писал в одном из своих писем: «После Карамазовых (и во время чтения) несколько раз я с ужасом оглядывался кругом и удивлялся, что все идет по-старому, а что мир не перевернулся на своей оси. Казалось: как после совета Карамазовых у старца Зосимы, после «Великого инквизитора» есть люди, обирающие ближнего, есть политика, открыто исповедующая лицемерие, есть архиереи, спокойно полагающие, что дело Христа своим чередом, а практика жизни своим: словом, это нечто до такой степени пророческое, огненное, апокалипсическое, что казалось невозможно остановиться на месте, где мы были вчера, носить те чувства, которыми мы питались, думать о чем-нибудь, кроме страшного дня судного».

И все-таки жизнь идет «по-старому» и... «не по-старому».

Каким был до и стал после Пушкина, Толстого, Достоевского, Чехова, Горького, Маяковского мир и человек в мире?

Сколько поистине гигантских шагов в своем художественном развитии сделало человечество благодаря им!

Я не думаю, что классикам было легче пробиться к душе человека. Это никогда не бывает «легче».

Другое дело, что любое произведение, написанное нынешним автором, неизбежно прочитывается на фоне Пушкина.

Кстати, этот «фон» остро чувствовали такие гении русской литературы, как Толстой, Достоевский, Блок. Недаром первый из них называл Пушкина «отцом».

Мне кажется, всякий сегодняшний писатель, берясь за какую-либо самую архисовременную тему, не может не задаваться вопросом: а как об этом написал бы Толстой?

Личность — подтекст творчества.

Подражать в литературе — дело безнадежное.

Суть же истинного, стало быть, современного творчества в другом. Толстой размышлял и об этом: чтобы быть в состоянии сказать нужное и важное людям, писатель должен быть участником «общей жизни человечества».

«Общая жизнь человечества» сегодня, от чего зависит состояние, то есть историческое и нравственно-философское мироощущение художника, призванного сказать нужное и важное людям,— это и Октябрьская революция, и победа над фашизмом, чумой XX века, и выход человечества в космос, и, наконец, всеобщая тревога за всеобщую судьбу всех нас.

Важно осмыслить эти всемирно-исторические прозрения, потрясения, принципиальным образом повернувшие и изменившие судьбу человечества, как события личной духовной жизни.

Осмыслить — прежде всего выстрадать.

Говоря иными словами, писатель (кто, по определению Горького,— не нянька собственной души, а эхо мира) обязан выстрадать историю.

Только в том случае, если вся его душа переполнена болью, негодованием и любовью, он имеет моральное право называться писателем, ибо только так и можно «служить литературе», а не служить в ней или при ней.

Я уверен, необходимо вернуть истинный смысл понятиям, выражающим суть и назначение искусства, которые были святыми для тех, кого мы сегодня величаем классиками, и не стесняться признать, что они мысли-

ли масштабнее, смелее, чем мыслят многие из нас, желающих «мыслить лучше».

Легко сетовать, что классикам «повезло»: они, мол, не дожили до Хиросимы и Нагасаки, до фашистских лагерей смерти, до безумия страха, охватившего ныне человечество перед угрозой самоистребления, до...— удалось бы им с той же непревзойденной художественной мощью выразить все это?

Я же уверен, что ожидание художников типа Толстого и Достоевского (сумевших в свое время потрясти человека изображением невероятных бездн и вершин его духа, пытавшихся угадать и выявить наглость зла, унижающего и оскорбляющего человека,— и все во имя того, чтобы заставить его любить жизнь во всех ее бесчисленных проявлениях) сегодня продиктовано самой насущной, не терпящей отлагательства надобностью и потребностью.

Увидеть и понять, каков он, сегодняшний мир, каковы мы, сегодняшние люди,— значит прежде всего стать не только свидетелем великого зрелища бытия, но и творцом яростно-прекрасного мира, сегодняшнего и будущего. Значит, испытать ни с чем не сравнимое чувство сопричастности к бессмертию человеческого духа, ибо, сознательно участвуя в бесконечном процессе созидания, человек ищет себя и свое место во времени и пространстве.

Не хочу, чтобы читатель считал меня человеком, не способным оценить то интересное в литературе, что уже существует.

Если взять в целом мировую литературу — от Шолохова до Фолкнера, от Томаса Манна до Леонова, от Ауэзова до Маркеса, то нам есть над чем размышлять всерьез. И наши мысли и чувства запечатлены этими писателями в спектре литературы XX века с достаточной силой.

Это еще одна причина, почему, решая — современна ли современная литература наших дней и насколько современна? — надо судить себя по самой верхней нравственно-эстетической отметке.

Когда же мы судим о современной литературе в пределах НТР, в пределах локальных событий, в пределах только тематических пластов, в пределах риторико-декларативной поэзии, а порой в рамках прописных истин, выдаваемых и воспринимаемых как откро-

венке, разговор не может быть полноценным и перспективным.

Не объясняется ли это обстоятельство, в частности, тем, что сегодня действительно все труднее потрясти человека силой искусства — болевой порог резко повысился: даже библейские пророчества «конца света» стушевались и совсем уже стали наивными перед тем ужасом, какой дамокловым мечом навис над человечеством?

Неужели в самой жизни нет ничего, что бы уже теперь не восстало против грозящей катастрофы и в чем литература могла бы черпать новые, еще неведомые ей, неиспробованные ею силы?

Разумеется, есть. Не может не быть.

Всегда ли мы умеем увидеть и распознать это — вот в чем вопрос.

Мне приходилось уже рассказывать одну потрясшую меня историю. Повторю ее, чтобы со всей очевидностью проиллюстрировать свою мысль.

Это было сравнительно недавно. Видавшая виды американская пехота, окопавшись на краю джунглей, вела мощный артиллерийский обстрел крупнокалиберными снарядами позиций вьетнамских бойцов, находившихся на противоположном краю поля. Огонь был шквальным, рассчитанным на то, чтобы стереть с лица земли все живое и неживое.

А в это время под навесным артиллерийским огнем, под грохот и взрывы снарядов шли по полю пахари, следуя за плугами, нарезая борозду за бороздой. Шли, не поднимая голов. А за ними размеренным шагом сеятелей следовали женщины, бросая семена в землю.

И это священнодействие, воспетое и возблагодаренное еще в текстах ветхозаветных пророков, жизнеутверждающее шествие сеятелей было символом неистребимости народного духа, противопоставлением извечного труда и разума смертоносной войне.

Эту сцену увидел и описал один американский журналист, которому принадлежат горькие, но правдивые слова позора, стыда и отрезвляющего прозрения: «Мы их никогда не победим! Мы проклятые воители!»

Каким же должно быть современное искусство, чтобы иметь моральное право говорить от имени этих лю-

дей?! От имени самой жизни, которая в образе пахаря идет против смерти?!

Ныне человечество совершает свой неимоверно тяжкий и благородный путь под «навесным огнем» разного рода крупнокалиберных снарядов, будь то смертоносные артиллерийские или снаряды буржуазной пропаганды, нацеленные в души людей и рассчитанные на то, чтобы оставить от человека пустую оболочку.

Помнится, Лорка сказал, что поэт — творец современных мифов.

Но разве порой не меркнет любой миф перед непридуманной жизнью?

Возможно, спустя столетия наша реальная история станет восприниматься как легенда и будущие участники одной из подобных дискуссий сломают немало копий в поисках ее корней. И может быть, подумают о наивно-фантастическом миросозерцании, присущем человечеству в седом прошлом, то есть в XX веке.

Не хочется, чтобы кто-то из них, опустившись из заоблачных высей абстрактных рассуждений, высказал и такую точку зрения: «миф», коль скоро он родился и выдержал испытание временем, имел же он в основе своей нечто реальное, а не служил только сказкой для детей.

Эта реальность — мера нашей нравственности, активного гуманизма, гражданственности, неизбежная в любой сфере человеческой деятельности, если мы всерьез исповедуем идею, что человек — творец собственного отношения к миру и к самому себе.

Вне этого бесполезно говорить о концепции личности современного человека, идеал которого заявлен в литературе социалистического реализма — «положительный герой».

Создан ли его канонический образ? Убежден, что, ставя так именно вопрос, мы уже совершаем ошибку, ибо, вынужденные признать, что «нет», можем усомниться в самой идее «положительного героя».

Выскажу по ходу одно соображение.

Не упрекаем же мы Достоевского, мечтавшего о «положительно прекрасном человеке», кого из его героев, с точки зрения иных нынешних критиков, можно было бы причислить к лику таковых? Ведь, пожалуй, никого.

И все-таки он есть. Этот герой — правда, которую в муках и борениях искал писатель вместе со своими героями. И та самозабвенная и самоотверженная любовь к правде, которую он воспитывал в читателе, в человеке.

Вернувшись к нашим делам, нужно не огорчаться, а благодарить судьбу, что образ «положительного героя» не поддается канонизации, что он не желает быть втиснутым в рамки регламентированных недальновидными критиками поступков, чувств, мыслей.

Задача состоит в том, чтобы изобразить «положительного героя» человеком мыслящей души. Современная литература современна настолько, насколько современен герой, ею изображаемый,— какой накал страсти способен он испытывать в борьбе за социальную справедливость, сколь велики его боль и тревога за судьбу сегодняшнего мира, сколь глубока и остра его историческая память, его вера в будущее человечества.

Николай Тихонов говорил, что мировоззрение — внутреннее солнце поэта.

Так вот. Если в книге мы не ощущаем внутреннего света, присутствия солнца надежды, которое должно засиять, хотя бы небо было затянуто тучами, мало сказать, что такая книга несовременна,— она тянет назад.

И подлинно современная литература, призванная помочь сделать правильный выбор человечеству и отдельному человеку, тогда лишь может надеяться, что выполнит свою миссию, если поднимется на высший уровень нравственно-философского и художественного мышления.

«Литературная газета», 4 янв. 1984 г.



СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ

РАССКАЗЫ

ПУБЛИЦИСТИКА

Айтматов Ч.

А 36 Повести. Рассказы. Публицистика / Сост. В. Ф. Коркина; Ил. В. В. Лукашова.— М.: Правда, 1985.— 528 с. ил.

Высокая гражданственность, гуманизм, утверждение советского образа жизни — неотъемлемые черты творчества известного советского писателя Чингиза Айтматова. В повестях и рассказах, в статьях и очерках он знакомит читателя с историей своего народа, показывает путь становления Советской Киргизии.

В предлагаемый однотомник включены наряду с публицистическими произведениями ряд повестей и рассказов Чингиза Айтматова, хорошо известных нашим читателям.

А $\frac{4702280200-1063}{080(02)-85}$ 1063—85 84 Кир

Айтматов Чингиз Торекулович

ЭХО МИРА

Повести. Рассказы. Публицистика.

Составитель
Владимир Федорович Коркин

Редактор В. Т. Башкирова

Оформление художника В. С. Комарова

Художественный редактор Г. О. Барбашинова

Технический редактор К. И. Заботина

ИБ 1063

Сдано в набор 25.03.85. Подписано к печати 29.07.85.
А — 04602. Формат $84 \times 108^1/_{32}$. Бумага книжно-журнальная.
Гарнитура «Литературная». Печать высокая.
Усл. печ. л. 27,72. Усл. кр.-отт. 27,93. Уч.-изд. л. 27,12.
Тираж 500 000 экз. (2-й завод: 250 001—500 000).
Заказ № 443. Цена 1 р. 80 к.

Набрано и сматрицировано в ордена Ленина
и ордена Октябрьской Революции типографии
имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда».
125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

Отпечатано в типографии издательства
«Уральский рабочий», 620151, г. Свердловск,
проспект Ленина, 49.

1 р. 80 к.

Чингиз Айтматов ❖ ЭХО МИРА